

РУССКОЕ СЛОВО

ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ

ЖУРНАЛЪ.

ГОДЪ СЕДЬМОЙ.

1865.

ОКТАБРЬ. ✓

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.

1865.

Въ типографіи Рюмина и К^о.

СОДЕРЖАНІЕ ОКТЯБРЬСКОЙ КНИЖКИ.

ОТДѢЛЪ I.

Усовершенствованіе и вырожденіе человѣческаго рода. (Статья вторая)	В. М. Флоринскій.	✓
Новые матеріалы для биографіи и характеристики Гейне	П. И. Вейнбергъ.	✓
Историческія идеи Огюста Конта. (Статья вторая)	Д. И. Писаревъ.	✓
Нашествіе 1814 года или юродивый Игофъ. Романъ Э. Шатріана. (Окончаніе)		✓
Три семьи. Повѣсть (Гл. I—VI).	Н. Ф. Бажинъ.	✓
Цивилизація Китая. (Окончаніе)	Н. В. Шелгуновъ.	✓
Кяхта. Записки моего знакомаго. (Окончаніе).	Д. И. Стахъевъ.	✓
Баринъ и не-баринъ. (Изъ Фаллерслебена).	П. И. Вейнбергъ.	✓
Годъ жизни. Повѣсть. (Гл. XXVIII—XXXVI).	Г. Н. Потанинъ.	✓
Изъ чиновничьяго выта. Разсказъ.	Г. И. Успенскій.	✓

ОТДѢЛЪ II.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

Новый типъ.	Д. И. Писаревъ.	
О капиталѣ. (По поводу Милля). Статья третья	Н. В. Соколовъ.	✓
Библиографическій листокъ	В. А. Зайцевъ.	
<i>Душа челоуѣка и животнаго. Лекціи профессора гейдельбергскаго университета В. Вундта. Переводъ съ нѣмецкаго Е. К. Кемница. Томъ первый. Изданіе П. А. Гайдебурова. Спб. 1865.—</i>		

Прогрессъ. Сочиненіе Эдмонда Абу. Переводъ съ французскаго. Части 1 и 2. Спб. 1865. Изданіе Генкеля. — Общее государственное право Блунчи. Переведено съ третьяго изданія подъ редакціею профессора О. М. Дмитриева студентомъ императорскаго московскаго университета юридическаго факультета IV курса Николаемъ Дятидевскимъ. Томъ первый. Выпускъ I. М. 1865.

ОТДѢЛЪ Ш.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПОЛИТИКА ЖАКЪ-ЛЕФРЕНЬ.

Оцѣнка политической дѣятельности Пальмерстона. — Былъ ли онъ великій человекъ? — Былъ ли онъ честный человекъ? — Ничтожность его государственной карьеры. — Сравненіе Пальмерстона съ пустой бутылкой Пенчезъ. — Смерть «старого Дюпена». — Процессы. Тандона и отвратительная интрига министра Бильо. — Плачевная роль National-verein'a. — Этикетъ виртембергскаго двора. — Демонстрація прусскихъ юнкеровъ въ пользу Франциска II. — Отставка Мерода.

ДОМАШНЯЯ ЛѢТОПИСЬ Н. В. ШЕЛГУНОВЪ.

Пьянство, какъ общественное явленіе въ Россіи. — Причины пьянства. — Меры, предлагаемыя противъ него нашими провинціальными и столичными публицистами. — Непониманіе дѣла тѣми и другими. — Соціально-экономическій взглядъ на это народное зло. — Тѣсная связь его съ условіями общественной жизни.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ВЫРОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА.

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ).

III.

УСЛОВІЯ, СОДѢЙСТВУЮЩІЯ ИЗМѢНЕНІЮ ЧЕЛОВѢЧЕСКОЙ ПОРОДЫ.

При заботахъ объ улучшеніи породы человѣкъ имѣетъ въ виду: 1) потребность усовершенствованія здоровья; 2) потребность усовершенствованія красоты и 3) потребность усовершенствованія умственныхъ и нравственныхъ качествъ.

Всѣ эти потребности такъ неотразимы, что каждый изъ родителей, сознательно или безсознательно, заботится объ ихъ осуществленіи на своемъ потомствѣ. Эта забота, однакожъ, далеко не всегда бываетъ успѣшна, именно потому, что съ одной стороны понятіе объ этихъ требованіяхъ не всегда бываетъ правильно, а часто превратно, съ другой стороны средства къ выполненію ихъ остаются мало или вовсе неизвѣстными. Всякій человѣкъ естественно желаетъ здоровья и себѣ и своему потомству, но далеко не всякій хочетъ и имѣетъ пользоваться тѣми правилами науки, при которыхъ сохраненіе здоровья наиболее возможно. Сплошь и рядомъ какъ личнымъ здоровьемъ жертвуютъ житейскимъ удовольствіямъ, точно также при женитьбѣ чаще имѣютъ въ виду другія побочныя выгоды и удобства брака, нежели здоровое сложеніе будущей матери. Относительно красоты можно сказать, что объ ней заботятся больше, чѣмъ о здоровьи, но и здѣсь цѣль не всегда достигается. Понятіе о красотѣ до такой степени индивидуаль-

но, что нерѣдко красота, признаваемая однимъ, считается другимъ за безобразіе. Возьмите, наприм., калмычку или татарку: въ своей средѣ онѣ могутъ считаться красавицами, а въ нашемъ обществѣ признаются чуть не уродами. Точно также пикантная красота нашей свѣтской барыни, съ ея блѣднымъ личикомъ и сухощавымъ сложеніемъ, для купческаго вкуса будетъ ниже всякой посредственности. О вкусахъ не спорять, говоритъ пословица. У каждаго народа и даже у каждаго сословія идеаль красоты не только бываетъ различенъ, но и измѣчивъ, смотря по времени и по степени развитія націи или сословія. При всемъ томъ, какъ вообще въ понятіи объ изящномъ должно существовать нѣчто общее, опредѣленное, на чемъ должна сходиться большая часть индивидуальныхъ вкусовъ, такъ точно должна существовать извѣстная доля опредѣленности и въ понятіяхъ о человѣческой красотѣ. Здоровье есть тоже понятіе относительное; не смотря на то, мы различаемъ человѣка больного отъ здороваго, крѣпкаго отъ слабого: точно также, при всѣхъ варіаціяхъ и уклоненіяхъ личнаго вкуса, нельзя не отличить существо красивое и некрасивое. Во всякомъ: случаѣ истинная красота, при симметріи и изяществѣ сложенія, должна быть неразрывна съ здоровьемъ. Красота, идущая въ ущербъ физиологическому отправленію членовъ или органовъ, не должна считаться истинной красотой, точно также, какъ напр. понятіе о красотѣ костюма должно быть сообразно съ понятіемъ о его пригодности. Мы не будемъ несправедливы, если непомѣрную шнуровку или необъятные кринолины и шлейфы сочтемъ за безобразіе. Точно также не будемъ несправедливы, если современный вкусъ въ женской красотѣ, основывающійся на неестественной блѣдности (малокровіи) и тонкости членовъ въ ущербъ ихъ развитію, назовемъ вкусомъ извращеннымъ, какъ вкусъ китайцевъ относительно дамскихъ ногъ. Слишкомъ малая и узкая головка, не смотря на всю грацію, которую желали бы въ ней отыскать, не будетъ хороша, потому что въ ней помѣщается мало мозгу. Чахоточная женщина, не смотря на всю прелесть ея блестящихъ глазъ, выраженія и нѣжнаго румянца, не можетъ служить представительницей женской красоты, точно также какъ разлагающійся рябчикъ не можетъ служить образцомъ вкуса этой птицы, хотя до тѣхъ и другихъ есть много охотниковъ.

Какъ образецъ болѣе выработаннаго вкуса касательно человѣческой красоты, мы можемъ взять красоту греческую и римскую. При взглядѣ на древнія статуи каждый увидитъ въ нихъ не только полную гармонію сложенія, но и совершен-

ное развитіе каждаго органа въ отдѣльности. Греческая и римская головка нравится намъ не только по своей пропорціональности, но и по развитію черепа, свидѣтельствующему о развитіи мозга. Широкій черепъ съ выпуклыми висками и открытымъ лбомъ всегда будетъ красивѣе плоскаго, узкаго или длиннаго черепа, если бы даже послѣдній относительно лица и туловища былъ сложенъ и пропорціонально. Точно также, почему мы восхищаемся красивымъ торсомъ напр. Венеры милосской, медіцейской, Юпитера или Аполлона бельведерскаго и пр? Потому что этотъ торсъ служитъ выраженіемъ полной гармоніи фізіологической жизни. Взглянемъ-ли мы на мускулы, на устройство грудной кѣтки, таза, на груди и пр., и мы видимъ, что здѣсь каждая часть и каждый органъ какъ бы просятъ исполнить свою функцію и обнаруживаютъ скрывающуюся въ нихъ полную и гармоническую жизнь. Отнимите у Венеры одно какое нибудь качество, напр. представьте, что грудная кѣтка ея плоска, или что тазъ уже, тогда впечатлѣніе совершенно измѣнится. Такая Венера, не смотря на ея прекрасную головку, будетъ внушать не восхищеніе, а грустное, тяжелое чувство, какое внушаютъ намъ вообще болѣзни и недостатки человѣческіе. Если бы мы привыкли почаще отдавать себѣ отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ, то во многихъ случаяхъ поняли бы, почему внѣшность одного человѣка производитъ на насъ пріятное впечатлѣніе, а другого — отталкивающее. Симпатіи и антипатіи наши не безотчетны и кажутся намъ такими только потому, что процессъ умозаключенія, основывающійся на тѣхъ или другихъ признакахъ человѣка, происходитъ слишкомъ быстро, неуловимо. Относительно физической красоты слово — нравится и не нравится, произносимое нами часто безотчетно, всегда имѣетъ свое основаніе. Полнота и правильность жизни, гдѣ бы и въ чемъ бы она ни проявлялась, всегда производитъ пріятное впечатлѣніе, и наоборотъ, болѣзненность, угнетеніе, страданіе вызываютъ впечатлѣніе грустное. Вслѣдствіе этого человѣкъ безотчетно стремится къ тому, чтобы дышать большею и лучшею жизнью. Вслѣдствіе этого мы чувствуемъ симпатію преимущественно къ тѣмъ лицамъ, въ которыхъ какъ физическая, такъ и нравственная жизнь выражается полнѣе и гармоничнѣе, точно также какъ мы больше склонны наслаждаться цвѣтущей природой (весной), а не заглошшей и скованной зимними морозами. При половыхъ ввусахъ это безотчетное влеченіе къ цвѣтущей жизни проявляется еще сильнѣе. Пластическая красота, съ пробивающейся наружу кипучею жизнью, во всякомъ гораздо легче вызоветъ чувство любви, чѣмъ красота на увядающемъ или сраженномъ болѣзнію тѣлѣ.

Въ этомъ отношеніи половой вкусъ руководится болѣе или менѣе замаскированнымъ, даже не сознаваемымъ, но совершенно естественнымъ чувствомъ (чутьемъ), указывающимъ на болѣе соответственность избираемаго лица для половыхъ цѣлей. Въ каждомъ человѣкѣ, какъ и въ животномъ, существуетъ половой инстинктъ, замаскированный розовыми красками въ видѣ сердечныхъ отношеній, и поэтому самому инстинктъ весьма дѣятельный и въ высшей степени важный, потому что онъ служитъ рычагомъ для продолженія рода всего живущаго. Помощію его природа указываетъ человѣку на одну изъ главныхъ физиологическихъ цѣлей, и, не оскорбляя нескотливаго чувства стыдливости, незамѣтно подводитъ его къ этой цѣли, окружая ее ореоломъ любви и нравственныхъ отношеній.

Но однимъ инстинктомъ полового влеченія природа достигла бы только цѣли размноженія, безъ дальнѣйшей гарантіи качества размножаемыхъ продуктовъ. Нужно было вложить человѣку такое чувство или такое стремленіе, которое бы отыскивало факторовъ для произведенія болѣе совершенныхъ индивидуумовъ, стало бытъ болѣе удовлетворяющихъ цѣли размноженія. Поэтому вмѣстѣ съ инстинктомъ полового влеченія у человѣка существуетъ стремленіе къ обладанію существомъ болѣе совершеннымъ, т. е. болѣе здоровымъ, правильно сложеннымъ и развитымъ и, стало бытъ, красивымъ. Такимъ образомъ, понятіе о человѣческой красотѣ, тѣсно связанное съ инстинктомъ половой любви, при половыхъ влеченіяхъ основывается на пригодности или непригодности человѣка къ размноженію рода. Слѣдовательно, съ этой точки зрѣнія чувство человѣческой красоты должно вытекать изъ понятія о степени здоровья разсматриваемаго индивидуума, о полнотѣ и совершенствѣ его физиологической и моральной жизни, и слѣдовательно вкусъ, отыскивающей красоту внѣ здоровья, долженъ считаться вкусомъ неестественнымъ.

Древніе эстетяки очень хорошо поняли условія идеальной красоты; поэтому каждое ихъ изображеніе представляетъ не только пропорціональное развитіе всѣхъ частей человѣческаго тѣла, но вмѣстѣ съ тѣмъ указываетъ на болѣе совершенное и вмѣстѣ съ тѣмъ пропорціональное же физиологическое отправленіе этихъ частей. Эта олицетворенная въ мраморѣ нормальная физиологическая жизнь, дышащая силой и здоровьемъ,—жизнь, при которой ни одинъ органъ не развился и не дѣйствуетъ въ ущербъ другому и служить душой художественнаго произведенія.

Мы не хотимъ сказать, чтобы понятіе о красотѣ было совершенно тождественно съ понятіемъ о здоровьѣ. Много людей мо-

гуть считаться совершенно здоровыми, но не красивыми, потому что тонкая пропорциональность и гармония частей не составляют еще необходимого условия здоровья. Но с другой стороны, истинная красота без здоровья, т. е. без нормального устройства и отправления всех органов тела, существовать не может. Выходя с этой точки зрѣнія, можно установить общій идеалъ чело-вѣческой красоты, къ которому слѣдуетъ подводить всѣ личные вкусы.

Потребность усовершенствованія умственныхъ и нравственныхъ качествъ такъ же свойственна чело-вѣку, какъ и потребность усо-вершенствованія здоровья и красоты. Но и здѣсь точно такъ же, какъ и во вкусахъ, нравственное чутье у различныхъ націй и сословій, смотря по степени ихъ развитія, бываетъ различно. Въ общемъ итогѣ, однако же, массы неизбѣжно стремятся къ тому, чтобы поднять уровень своего умственного и нравствен-наго развитія. Эта цѣль достигается какъ индивидуальнымъ ум-ственнымъ трудомъ, такъ и наслѣдственной передачей выработан-ной такимъ образомъ способности къ этому труду при благопріят-ствующихъ половыхъ сочетаніяхъ. Въ силу этого требованія, при устройствѣ брачныхъ союзовъ, большею частію имѣется въ виду степень нравственныхъ и умственныхъ качествъ избираемаго лица, благородство и развитость породы. Насколько эта потребность можетъ выполняться путемъ наслѣдственности, мы показали въ предъидущей главѣ. При частномъ разборѣ условий, содѣйствующихъ измѣненію породы, мы прежде всего поставимъ:

а) ВКУСЪ И ЗАПРОСЪ НА ИЗВѢСТНЫЯ КАЧЕСТВА.

Каждый чело-вѣкъ сознательно или бессознательно стремится къ тому, чтобы видѣть въ себѣ и своемъ потомствѣ лучшія качества, касается-ли это внѣшнихъ признаковъ или моральныхъ свойствъ. Руководимый этимъ побужденіемъ, онъ заботится о своей внѣшно-сти фізіономіи, костюмѣ, обстановкѣ; поэтому же самому ин-стинктъ полового влеченія указываетъ ему на личности, по его субъективнымъ понятіямъ болѣе совершенныя, болѣе удовлетворя-ющія его вкусу. Любо-въ въ фізіологическомъ смыслѣ, какъ мы сжа-зали выше, есть проявленіе не просто полового стремленія, а по-лового эстетическаго, т. е. не просто потребность воспроизведенія,

в смутно сознаваемая или вовсе бессознательная потребность воспроизведенія потомства болѣе совершеннаго. Это мы видимъ не только на человѣкѣ, но и на животныхъ: Крѣпкіе и болѣе красивые самцы и самки стараются, такъ сказать, щеголять своими качествами другъ передъ другомъ: птицы соперничаютъ одна съ другой въ толосѣ; домашнія животныя и звѣри — въ своей ловкости, силѣ, храбрости. Дарвинъ говоритъ, что «гвіанскій каменный пѣтушокъ, райскія птицы и т. д., въ періодъ половыхъ стремленій, собираются кучами, и самцы, одинъ за другимъ, распускаютъ свои сверкающія перья и выдѣлываютъ странныя эволюціи передъ самками, которыя наконецъ выбираютъ самого привлекательнаго изъ нихъ. Тотъ, кто наблюдалъ за домашними птицами, очень хорошо знаетъ, что онѣ подвержены личнымъ симпатіямъ и антипатіямъ». Такимъ образомъ и у животныхъ есть періоды любви, періоды весны, соперничества, выборъ невѣсты и жениховъ, основанный на предпочтеніи лучшаго худшему. Это—естественный подборъ, въ силу котораго лучшія породы размножаются, а худшія и слабыя рѣдѣютъ и исчезаютъ. То же самое и у человѣка. Какъ только начинаютъ проявляться въ немъ половые инстинкты, вмѣстѣ съ этимъ развивается чувство любви, т. е. предпочтеніе лучшаго (по личнымъ понятіямъ) индивидуума худшему и стремленіе вступить въ брачныя половыя сношенія именно съ этимъ индивидуумомъ.

Періодъ лучшей красоты и силы, обыкновенно, совпадаетъ съ періодомъ этого выбора. Какъ только эта половая задача кончена, воспроизведеніе потомства произошло, мужчина и женщина большею частію перестаютъ заботиться о своей болѣе выгодной внѣшности и сосредоточиваютъ свою заботу на потомствѣ и опять-таки на томъ, чтобы это потомство было по возможности лучше. Поэтому и говорятъ, что любить можно одинъ разъ въ жизни, такъ какъ цѣль или побужденіе къ любви только одно — воспроизведеніе рода въ болѣе удовлетворительной формѣ. Если мы видимъ факты повторяющейся любви, то должны объяснить ихъ не иначе, какъ неудовлетворительностію прежнихъ попытокъ, незаконченностію цѣли, вслѣдствіе чего являются новыя стремленія къ ея достиженію. Если любовь не увѣчалась бракомъ, или бракъ плодородіемъ, то вслѣдъ за разочарованіемъ является новая инстинктивная потребность къ выполненію закона природы, новые поиски за женщиной по своему вкусу, новыя попытки любви, и продолжается это до тѣхъ поръ, пока человѣкъ не удовлетворитъ своей цѣли. Оттого самая прочная и счастливая любовь — это любовь,

имѣющая послѣдствіемъ воспитаніе дѣтей, и оттого бездѣльное супружество не такъ прочно и не такъ удовлетворительно.

Мы сказали, что любовь есть половой эстетической выборъ съ цѣлю воспроизведенія болѣе совершеннаго потомства; но требованія при этомъ выборѣ у разныхъ личностей, разныхъ сословій и націй бываютъ различны. Здѣсь играютъ роль *запросъ на тѣ или другія качества и личный вкусъ*. Въ силу преобладанія этихъ требованій и развиваются въ послѣдующихъ поколѣніяхъ тѣ или другія характеристическія особенности; стало быть вкусъ и запросъ при выборѣ супруговъ играютъ не маловажную роль въ прочности или подвижности, совершенствѣ или ухудшеніи физическихъ и даже моральныхъ качествъ послѣдующихъ поколѣній. Доказательство этого можно видѣть въ сохранившихся до сихъ поръ особенностяхъ сложенія у различныхъ сословій. Такъ, напримѣръ, русскій крестьянинъ, для котораго жена—работница, выработалъ потребность при выборѣ невѣсты искать преимущественно физической крѣпости, дородства, здоровья. Жена его должна быть и работница и кормилица, а потому у крестьянина и развился вкусъ въ женщинамъ плотно-сложеннымъ, краснощекимъ, съ большими грудями. Этотъ вкусъ когда-то былъ и обще-русскимъ вкусомъ, когда на женщину смотрѣли не какъ на Сильфиду, а какъ на расторопную хозяйку и здоровую мать.

Если мы вспомнимъ идеаль русскои женщины, по оставшимся литературнымъ памятникамъ, то увидимъ, что прежде болѣе всего цѣнились: длинная русая коса, лебедина грудь, щеки съ ямочкой, бровь съ молокомъ. Въ 1793 г. идеаль женскои красоты рисовали такъ: «женское пригожество составляютъ: младость, средній ростъ и *дородство*; стройность всѣхъ частей, длинныя, бѣлокурые волосы, тѣло нѣжное и чистое; здоровая и румяная бѣлизна, ровное чело и не мускулистые виски, глаза свѣтлобрые, большіе, не на выкатѣ, но ровно съ лицомъ, имѣющіе пріятный взоръ; носъ долговатъ, *щеки не много выпуклы съ небольшими ямками*, губы румяныя, малый ротъ, бѣлыя и ровныя зубы, нѣсколько продолговатую бородку *съ ямкою*, небольшія уши, прилегшія къ головѣ; грудь бѣлая и круватая, кисти у рукъ бѣлыя, длинноватая и полныя; островатые пальцы, почти жемчужныя и овальныя; тихое дыханіе, пріятный голосъ и добрый пріемъ, съ перехватомъ станъ, благородная и скромная походка» *).

Поэтому русская женщина напр. до-петровскаго періода была не

*) Письмовникъ Курганова. 5-е изданіе 1793, ч. 1. стр. 283.

то, что теперь въ высшихъ слояхъ общества. Щедушное сложеніе, блѣдно-матовый цвѣтъ лица, тонкія черты тогда были не въ модѣ; потому естественно, что потомство съ такими качествами много не размножалось и наружный типъ русской женщины складывался по другимъ требованіямъ, чѣмъ онъ складывается теперь.

Прежній взглядъ на женщину и прежнія требованія отъ нея остались теперь почти исключительно въ низшемъ классѣ; оттого здѣсь преимущественно и сохранился прежній типъ русской женщины. При взглядѣ на деревенскихъ красавицъ, мы до сихъ поръ очень часто можемъ встрѣтить и круглыя, красныя щеки съ ямочками, и длинную русую носу, и полныя груди. Деревенская женщина до сихъ поръ такъ же плотна и коренаста, какъ была и прежде.

Относительно мужскимъ запросъ былъ преимущественно на физическую силу, высокій ростъ, коренастое сложеніе. Такой идеалъ мужского совершенства рельефнѣе всего выразился въ народной поэзіи о богатыряхъ, поднимающихъ палицу въ тридцать пудъ, выпивающихъ однимъ духомъ чару зелена вина въ полтора ведра, побивающихъ цѣлую рать и пр. Отъ мужчины изящныхъ формъ не требовали, развѣ за исключеніемъ русыхъ кудрей, а требовали силы и отваги. Подъ вліяніемъ такого идеала, русскій крестьянинъ въ послѣдующихъ поколѣніяхъ долженъ былъ развивать или, крайней мѣрѣ, поддерживать поминутыя качества. И мы дѣйствительно видимъ, что масса русскаго народонаселенія сложена гораздо вѣрнѣе, обладаетъ большей физической силой, чѣмъ другія націи.

У купцовъ средней руки или вообще у купцовъ, не измѣнившихъ дѣдовскимъ вкусамъ и обычаямъ, понятіе о красотѣ и запросъ на эту красоту совсѣмъ другіе, чѣмъ у привилегированныхъ сословій, даже чѣмъ у крестьянъ. Купецъ отдаетъ въ этомъ отношеніи преимущество пухлости и округлости формъ; ему нужна не сухая пикантность, а плоть и кровь съ достаточнымъ количествомъ жира, лебединая грудь, щеки съ сплошнымъ румянцемъ; поэтому, вслѣдствіе усиленнаго запроса на эти качества, личности, обладающія ими, скорѣе выходятъ замужъ и, стало быть, въ большемъ количествѣ плодятъ себѣ подобныхъ. Такимъ образомъ размножается и складывается купеческій типъ, по которому, въ большинствѣ случаевъ, купчихъ легко отличить отъ женщинъ другого сословія.

Въ среднемъ и высшемъ классѣ нашего общества понятіе о красотѣ, а стало быть и вкусъ, совершенно измѣнились. Не вдаваясь въ причины измѣненія этого вкуса, скажемъ только, что здѣсь не маловажное значеніе имѣла литература. Въ былое время дѣвочки и мальчяги зачитывались Жуковскимъ и другими подоб-

ними поэтами, рисовавшими женскій идеалъ въ полувоздушныхъ формахъ. Такой болѣзненнымъ, искаженнымъ идеалъ естественно принималъ въ жизнь. Дѣвушки и женщины морили себя голодомъ или, въ крайней мѣрѣ, стыдились при людяхъ ѣсть, какъ слѣдуетъ здоровому человѣку, пили уксусъ, ѣли мѣлъ и глину, наносили на себя худобу и блѣдность, чтобы больше походить на неземное твореніе и ярличнѣе вздымать и смотрѣть на луну*). Мужчины въ свою очередь, зараженные тѣмъ же извращеннымъ вкусомъ, предпочитали подобныхъ женщинъ. Крѣпко сложенная и здоровая красавица имъ казалась Матреной. Кроме того, и сами мужчины любили поинтересничать своей фізіономіей въ томъ же родѣ, добиваясь естественной или искусственной блѣдности, и невозможности утончая свое тѣло. Однимъ словомъ, страдальческій видъ былъ въ модѣ, и чѣмъ болѣзненнѣе, блѣднѣе человѣкъ, тѣмъ онъ казался лучше. Понятно послѣ этого, какого приплода можно было ожидать отъ сочетанія подобныхъ личностей. И вотъ въ нараждающихся поколѣніяхъ достигли наконецъ необыкновенной тонкости и нѣжности кожи, истончили кости скелета, по возможности уничтожили жирную подстилку, однимъ словомъ—сдѣлали изъ привилегированныхъ сословій нѣчто безплотное и бездушное, потому что сильная душа можетъ быть только въ крѣпкомъ тѣлѣ.

Англійская нація выработала себѣ вкусъ къ здоровью и крѣпости. Тамъ, даже въ высшихъ слояхъ общества, между другими качествами жены требуютъ качествъ здоровой матери и кормилицы. Мужчины, съ своей стороны, также не щеголяютъ нѣжнымъ сложеніемъ, и чѣмъ крѣпче, рослѣе и мускулистѣе мужчина, тѣмъ онъ предпочтительнѣе. Отъ такихъ браковъ, естественно, рождается такой же приплодъ. Мы любимся дѣтьми англичанъ, перенимаемъ отъ нихъ манеру воспитанія, но, не смотря на это, наши привилегированныя дѣтки, гуляющія съ голыми ножками, все-таки остаются тѣми же щедушными созданиями. И это понятно, потому что сложеніе ребенка есть результатъ наслѣдственности; воспитаніемъ оно можетъ только поддерживаться и сохраняться. Изъ чахлаго сѣмяни не разовьется крѣпкое потомство; сколько бы мы ни положили заботъ на его воспитаніе.

Мы не разбираемъ здѣсь, который изъ приведенныхъ вкусовъ или

*) Въ настоящее время я знаю нѣсколько женщинъ, которыя откровенно признавались, что во время своей цвѣтущей молодости онѣ ненавидѣли свое здоровье, свой румянецъ, и различными образомъ настаивали на томъ, чтобы ежегодно производить по нѣскольку кровопусканій единственно съ цѣлю уменьшить совсѣмъ не мѣдную красноту щекъ.

идеаловъ красоты лучше и натуральнѣе,—это легко могутъ рѣшить сами читатели,—а приводимъ только факты, что вкусъ и запросъ отражаются на человѣческомъ поколѣніи точно также, какъ они отражаются, путемъ искусственного подбора, на усовершенствованныхъ съ извѣстною цѣлю животныхъ. (тонкорунныя овцы, рысистыя лошади и проч.). Но мы, конечно, далеки отъ той мысли, чтобы измѣненіе или характеристику физическихъ свойствъ извѣстной націи или сословія выводить исключительно изъ этого источника. Напротивъ, на развитіе тѣхъ или другихъ физическихъ качествъ имѣютъ вліяніе и много другихъ условій, о которыхъ мы скажемъ ниже.

Кромѣ запроса на физическую красоту, естественно въ обществѣ долженъ существовать и запросъ на нравственную и умственную силу. Относительно послѣдняго слѣдуетъ однако же замѣтить, что онъ до сихъ поръ преимущественно направленъ былъ къ однимъ мужчинамъ, а не къ женщинамъ. Отъ первыхъ требовали по преимуществу ума и силы, отъ вторыхъ красоты и сердца. Правда, относительно выбора невѣсть еще давнымъ давно ставили условіемъ, чтобы она была *«лицомъ красна и умомъ свершина»*, но послѣднее условіе большею частію пренебрегалось. Народъ привыкъ смотрѣть на женщину, какъ на созданіе въ умственномъ отношеніи слабое, поэтому и не былъ къ ней взыскателемъ, удовлетворяясь одними физическими ея качествами. *«У бабы волосъ дологъ да умъ коротокъ»*, говоритъ народъ. *«Умъ женскій не твердъ; говорили старыя книжки, аки храмъ не покровенъ; мудрость женская, аки оплотъ не окованъ, до вѣтру стоитъ: вѣтръ повѣтъ—и оплотъ порушится; такъ и мудрость женская, аки оплотъ, до прелестнаго глаголанія и до сладкаго увѣщанія тверда есть. Немоощѣйшии суть разумы женскіи, въ нечувственныхъ ничтоже могуща умное постигнути»*. *«Московского государства женскій полъ, говоритъ Котошихинъ, грамотѣ неученые, и не обычай тому есть, а природнымъ разумомъ простоваты, и на отговоры не смышлены и стыдливы: понеже отъ младенческихъ лѣтъ до замужества своего у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ, и oprичъ самыхъ ближнихъ родственныхъ, чужіе люди никто ихъ, и они людей видѣти не могутъ, и потому мочно дознаться, отчего бъ быти гораздо разумными и смѣлыми; также какъ и замужъ выдутъ и ихъ потому жъ люди видятъ мало»*.

Такимъ образомъ, отъ женщины требовали не ума, а только красоты и доброты, рабской покорности и стыдливости. При общемъ убѣжденіи, что умственною и нравственною безсильи женщины, она сама наконецъ признала такое мнѣніе вѣка, нравственно и

физически поработить себя мужу. Выражение, что мужъ есть «глава жены», принято было въ самомъ обширномъ смыслѣ. Мужъ, не повелѣвающій своей женой, считался унижающимъ свое мужское достоинство.

«Ни въ скотѣхъ скотъ коза, ни въ рыбахъ рыба раба, ни въ птицахъ птица сынъ, ни въ звѣрахъ звѣрь ежъ, ни въ человѣцѣхъ человѣкъ, которымъ мужемъ жена владѣеть».

Въ такомъ положеніи былъ запросъ на умственныя качества женщинъ до-петровскаго періода. Съ этого времени женщина стала принимать большее участіе въ общественной жизни, начала больше сталкиваться съ людьми и поэтому, естественно, запросъ на ея умственныя качества увеличился. Мужу стыдно было, если его жена въ обществѣ, въ разговорахъ оказывалась *простовата* и *не-смыслена*. Но этотъ запросъ на развитие, проистекающій изъ эгоистическихъ видовъ мужчины, былъ слишкомъ ограниченъ. Онъ не подрѣплялся потребностію женскаго развитія, вытекавшею изъ самой жизни, изъ социальнаго положенія женщины. Женское развитіе имѣло примѣненіе только въ гостинныхъ; а не на общественныхъ аренахъ; поэтому оно имѣло одностороннее, такъ сказать, поверхностное направленіе. Такой ограниченный запросъ на умственное развитіе женщинъ въ массѣ остается и до сихъ поръ. Отъ женщины большею частію не требуютъ ни большого ума, ни основательнаго образованія, — это считается излишней, непримѣнимою къ дѣлу роскошью, — а ограничиваются тѣмъ, если она усвоитъ внѣшнія манеры, иностранную рѣчь, съумѣетъ прилично и со вкусомъ одѣться и бросить въ обществѣ нѣсколько вычитанныхъ изъ новѣйшихъ журналовъ фразъ. При такомъ ограниченномъ запросѣ, при такомъ недостаточномъ примѣненіи умственнаго развитія къ жизни, естественно, это развитіе подвигалось очень туго. Только въ самое последнее время, когда на женщину стали смотрѣть, какъ на существо въ умственномъ отношеніи равносильное мужинѣ, когда стали ждать отъ нея и требовать болѣе серьезнаго образованія и болѣе серьезной умственной дѣятельности, въ рядахъ женщинъ стали появляться личности, болѣе или менѣе удовлетворяющія этому требованію. Если бы теперь для женщины открылось большее, или даже какое бы то ни было примѣненіе умственныхъ силъ въ гражданской жизни, положимъ напр., если бы она могла быть медикомъ, учителемъ и пр., то, само собою разумѣется, что, рядомъ съ запросомъ, развились бы и эти силы. Все это показываетъ только, что запросъ играетъ большую роль въ развитіи тѣхъ или другихъ качествъ массы народонаселенія и подтверждаетъ общее положеніе, что производитель-

ность идетъ рука объ руку съ потребленіемъ. Отъ женщины до сихъ поръ требовали любви, сердца, граціи, поветства, и она развила въ себѣ это до тоивости. Будетъ время, когда эти качества выйдутъ изъ моды, и они удалятся на второй планъ подъ выступающими новыми требованіями, точно также, какъ ступеневались въ современномъ женскомъ обществѣ нѣкоторыя, бывшія иѣвогда въ модѣ, физическія качества, напр. пухлыя щеки съ ямочками и полныя груди.

Мы не считаемъ нужнымъ распространяться здѣсь о вліяніи запроса на умственное развитіе мужчинъ, — это очевидно само собой. На мужчинѣ всегда лежала прямая обязанность всѣхъ заботъ и распоряженій какъ относительно своего семейства, такъ и дѣлъ гражданскихъ, государственныхъ. Мужчину точно такъ же сравнивали съ головой, или женщину съ сердцемъ; поэтому естественно, что умственные качества въ немъ цѣнились и требовались болѣе всѣхъ другихъ. Въ силу этого, умъ мужчины, при постоянномъ упражненіи и изоцреніи, развивался болѣе быстрыми шагами, тогда какъ другія качества, напр. физическая красота, сердечность, были оставлены на второмъ планѣ.

Разсматривая въ частности проявленіе умственнаго развитія въ различныхъ профессіяхъ, мы еще нагляднѣе убѣдимся въ прямой зависимости его отъ степени запроса. Было время, когда въ Россіи большую часть умственнаго труда, по крайней мѣрѣ, относительно нѣкоторыхъ специальностей, возлагали на иностранцевъ, считая русскихъ неспособными къ этому труду, точно такъ же, какъ теперь считаютъ женщинъ, — и слѣдствіемъ этого выходило то, что мы по этимъ специальностямъ не имѣли никакого развитія. Такъ напр. еще не очень давно думали, что механикомъ, аптекаремъ, медикомъ, профессоромъ и пр. можетъ быть только нѣмецъ, что будто бы у русскаго человѣка не хватитъ для этого ни ума, ни терпѣнія. Такое мнѣніе поддерживалось долго не только вслѣдствіе извѣстныхъ распоряженій по внушенію иностранныхъ вліятельныхъ специалистовъ, но и по ложному убѣжденію публики. Съ переѣною взглядовъ на русскія способности, съ увеличивающимся запросомъ на русскіе умы, они быстро начинаютъ развиваться въ требуемомъ направленіи. Теперь публика убѣдилась, что и русскій человѣкъ можетъ быть хорошимъ докторомъ или механикомъ, и это убѣжденіе служить уже залогомъ, что у насъ не перестанутъ развиваться эти специальности на домашней почвѣ. Но публика не убѣдилась до сихъ поръ, что женщина можетъ исполнять нѣкоторыя гражданскія профессіи точно такъ же, какъ

и мужчины, или, что аптекаремъ можетъ быть и не пѣвецъ,—и у насъ до сихъ поръ нѣтъ ни специалистовъ женщинъ, ни русскихъ аптекарей, потому что ни на тѣхъ, ни на другихъ до сихъ поръ нѣтъ запросу.

Было время, когда военные люди пользовались болѣе благосклоннымъ вниманіемъ публики, чѣмъ труженики на гражданскомъ или ученомъ поприщѣ,—и военная служба, доставлявшая больше чести и почету, привлекала къ себѣ громадныя массы молодыхъ силъ, исчезающихъ здѣсь безъ всякой производительности. Умственные силы мѣнялись на мелочи, и изъ даровитыхъ людей сплошь и рядомъ выходили только салонные герои, Печорины или Онегины, потому что массою публики эти качества цѣнились гораздо болѣе. Съ переменю вкуса и запроса переменяются и личности. Когда на первый планъ требованій выступить не физическая сила и салонная ловкость, а умственный трудъ, тогда, естественно, всякій способный къ этому труду будетъ имѣть и охоту, и возможность проявлять свою жизненную дѣятельность въ этомъ направленіи.

b) вліяніе внѣшнихъ жизненныхъ условій.

Вліяніе климата на структуру и наружныя признаки человѣка и животныхъ не должно подлежать сомнѣнію. Въ болѣе рѣзкихъ формахъ это можно замѣтить при сравненіи животныхъ тропическихъ и полярныхъ странъ. Достаточно бросить одинъ бѣглый взглядъ на животныхъ, собранныхъ въ музей, чтобы сказать, что такое-то животное живетъ около полюса, а такое-то около экватора. Подъ экваторомъ цвѣта животныхъ разнообразны—яркіе, металлическіе; подъ полюсами же однообразны, блѣдны, обыкновенно сѣрые, бѣлые. вмѣстѣ съ разнообразіемъ цвѣтовъ, по мѣрѣ приближенія къ экватору, увеличивается разнообразіе и самыхъ животныхъ, т. е. ихъ видовъ. Ростъ животного тоже подчиняется вліянію климата. Такъ напр., медвѣдь африканскій (на атласѣ) имѣетъ болѣе высокія ноги, чѣмъ медвѣдь сардинскій или тирольскій. Нашъ бурый медвѣдь (стервятникъ) еще ниже послѣдняго, а бѣлый медвѣдь на ногахъ гораздо ниже всѣхъ остальныхъ. И человѣчeskій ростъ въ жаркихъ и сырыхъ климатахъ развивается легко и достигаетъ значительныхъ размѣровъ. Доказательствомъ этому могутъ служить напр. карайбы и патагонцы.

Сельскимъ хозяевамъ извѣстно, что лошади въ холодныхъ п су-

хих мѣстностяхъ становятся малорослыми, но сильными, въ мѣстностяхъ холодныхъ и сырыхъ онѣ малорослы и вялы.

О свиньяхъ говорятъ, что бѣлыя свиньи холодныхъ климатовъ, будучи водворены въ климатѣ болѣе тепломъ, становятся черными. По свидѣтельству Тремо, то же самое наблюдается и надъ человѣкомъ, т. е. что бѣлый типъ подъ вліяніемъ жаркаго климата можетъ переходить въ черный, и наоборотъ, въ умѣренныхъ и холодныхъ климатахъ черный типъ смягчается и даже черезъ нѣсколько генерацій совершенно пропадаетъ. Евреи въ сѣверныхъ странахъ Европы болѣею частію русые; у англійскихъ евреевъ — голубые глаза и свѣтлыя волосы, у нѣмецкихъ и польскихъ очень часто встрѣчаются рыжія бороды. Въ Индіи можно видѣть совершенно черныхъ евреевъ. Смѣшанныя племена, населявшія древній Египетъ, судя по оставшимся памятникамъ, носили отпечатокъ вліянія. Кавказская порода, преобладавшая тамъ, измѣнила свой бѣлый цвѣтъ въ мѣдно-красный и темно-желтый.

Вліяніе климата на пигментъ кожи и волосъ будетъ ясно для всякаго, кто только сравнитъ сѣверныхъ жителей, напр. финновъ, съ жителями умѣреннаго и жаркаго поясовъ. Это можно рѣзко наблюдать, пробѣгая даже по одной Россіи отъ сѣвера къ югу, причѣмъ не можетъ не броситься въ глаза, какъ бѣлокурое и мелкое народонаселеніе постепенно смѣняется болѣе крупнымъ и болѣе пигментированнымъ народонаселеніемъ. Стало быть, здѣсь же можно видѣть и вліяніе климата на ростъ человѣческой. Овца, при водвореніи въ другомъ климатѣ и предоставленная самой себѣ, измѣняетъ качество своего руна. Такъ, въ суровомъ и холодномъ, горномъ климатѣ овцы получаютъ густую, грубую шерсть, тогда какъ въ странахъ теплыхъ получается противоположное явленіе. То же самое можно видѣть и на другихъ животныхъ: на сѣверѣ шерсть становится гуще и пушистѣе, на югѣ напротивъ меньше и рѣже. Вліяніе климата, отражаясь на ростѣ, цвѣтѣ кожи и волосъ, не распространяется однако же на кости скелета, не измѣняетъ типическихъ племенныхъ особенностей, которыя, кажется, подчиняются только помѣси крови. Доказать это не трудно. Почти отъ каждаго европейскаго народа отдѣлились части, за нѣсколько вѣковъ до насъ поселившіяся въ другихъ странахъ свѣта, не смотря на это они не потерпѣли существенныхъ измѣненій. Бѣлый человѣкъ давно живетъ у экватора, въ той крайней температурѣ, которая дѣйствуетъ на него сильнѣе всякой другой, но все-таки и теперь можно отличить тамъ сыновъ Англии, Франціи и Испаніи. Кожа ихъ загорѣла и стала смуглѣе, измѣнился характеръ, даже можетъ

быть ростъ, а порода не выродилась. Англійскій, французскій и испанскій переселенецъ сохраняютъ отличительныя черты своихъ праотцевъ. Самымъ убѣдительнымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи могутъ служить евреи. Этотъ народъ, разсѣянный по всему земному шару, подвергаясь вліянію всевозможныхъ климатовъ, самыхъ крайнихъ удобствъ и неудобствъ жизни, все-таки въ теченіи многихъ вѣковъ не утратилъ своихъ опредѣленныхъ и всѣмъ извѣстныхъ признаковъ. Еврей русскій, нѣмецкій, французскій, итальянскій, испанскій, американскій и пр., вездѣ остается евреемъ, за исключеніемъ мелкихъ частныхъ оттѣнковъ. У него постоянно сохраняются тѣ же характеристическія формы и пропорціи, изъ которыхъ слагается національный типъ. Этотъ типъ, не смотря на вліяніе всевозможныхъ климатовъ, не измѣнился въ теченіи цѣлыхъ тысячелѣтій. Доказательства этого можно видѣть въ египетскихъ гробницахъ и на памятникахъ, гдѣ фигуры евреевъ, сдѣланныя во весь ростъ, представляютъ почти совершенные портреты нынѣшнихъ евреевъ. Можно ли найти лучшее доказательство въ пользу прочности національнаго типа, въ пользу того, что ни климатъ, ни образъ жизни, ни всевозможныя гоненія и лишенія не измѣняютъ національныхъ признаковъ. Помянутыя вліянія, какъ мы уже сказали, могутъ отразиться на мягкихъ частяхъ, на ростѣ, на здоровьѣ народа, но не на характерѣ скелета.

Вмѣстѣ съ измѣненіемъ кожи и волосъ, смотря по мѣстности, измѣняется и продолжительность жизни. Въ жаркихъ странахъ животное спѣшитъ жить и наслаждаться жизнью, спѣшитъ удовлетворять своимъ, доходящимъ до крайности, страстямъ; въ холодныхъ же странахъ оно тихо проводитъ жизнь, безъ крайностей и безъ особенныхъ удовольствій. Зимняя спячка встрѣчается только на сѣверѣ, и то же самое животное, перенесенное на югъ, не засыпаетъ на зиму. Женщина южныхъ странъ созрѣваетъ скорѣе (10—12 л.), но зато скорѣе и старится. Средняя продолжительность жизни на югѣ гораздо менѣе, чѣмъ на сѣверѣ. Конечно, и въ жаркихъ странахъ можно найти нѣсколько столѣтнихъ стариковъ, но сравнительно они тамъ очень рѣдки; южное народонаселеніе умираетъ гораздо моложе и дряхлѣетъ скорѣе, чѣмъ сѣверное. Замѣчательныя примѣры долголѣтія встрѣчаются преимущественно въ холодныхъ климатахъ. Такъ въ Шотландіи Джемсъ Лауренсъ умеръ 140 л.; въ Ирландіи графиня Десмондъ умерла тоже 140 лѣтъ, графиня Эблектонъ умерла 143 лѣтъ, Томасъ Винсловъ — на 146 году; въ Англійи Джонъ Эффингемъ дожилъ до 144 лѣтъ, Френсисъ Коннестъ до 150 лѣтъ, Томасъ Парръ до 152; въ Норвегіи Юсифъ

Суррингтонъ умеръ 160 лѣтъ; въ Россіи, въ 1804 году, изъ 1,358,287 умершихъ, было 1504 человѣка, имѣвшихъ отъ 90 до 95 л., 1501—отъ 100 до 105 лѣтъ, 71 человѣкъ—отъ 105 до 110, 22 человѣка—отъ 110 до 115, 22 человѣка—отъ 115 до 120 лѣтъ, и 3—отъ 120 до 125 лѣтъ (Марать). Во Франціи, въ 1802 году, изъ 904,692 умершихъ, было 5,134 человѣка, достигшихъ отъ 90 до 100 лѣтъ, и только 39 человѣкъ—отъ 100 до 105, 14—отъ 105 до 110 лѣтъ, и 2—отъ 110 до 118 лѣтъ.

Въ замѣнъ уменьшенной продолжительности жизни *плодородіе* въ жаркихъ климатахъ гораздо значительнѣе. Въ древности, въ Персіи, Римѣ, Спартѣ, Финикіи и Карфагенѣ дѣтоубійство, при избыткѣ дѣтей, было если не позволено, то, по крайней мѣрѣ, терпимо подѣ видомъ особенныхъ жертвоприношеній богамъ. Въ Китаѣ, говорятъ, и теперь еще тысячами губятъ новорожденныхъ дѣтей. Физическая любовь доходитъ въ жаркихъ странахъ до высшей степени и приводитъ къ многобрачію.

Вліяніе пищи. Кормленіе на стойлѣ производитъ нѣжныхъ животныхъ, съ болѣе тонкими и слабыми костями, съ тонкой шерстью и нѣжной кожей. Кормленіе на пастбищахъ, напротивъ, подкрѣпляетъ развитіе костей и сухожилій и вообще не изнѣживаетъ тѣла. Сочный и жидкій кормъ у животныхъ усиливаетъ дѣятельность лимфатической системы и развиваетъ рыхлую кльѣтчатку и жиръ, тогда какъ сухой кормъ производитъ явленіе противоположное. То же самое мы постоянно видимъ и на людяхъ. Не говоря о скудной недостаточной пищѣ, влекущей за собою упадокъ питанія и недостатокъ развитія, родъ пищи отражается на наружномъ видѣ питомца. Взгляните на дѣтей, вскормленныхъ хлѣбомъ и картофелемъ, и на дѣтей, развившихся въ болѣе благопріятныхъ условіяхъ: между тѣми и другими вы увидите значительную разницу. Первые представляются сырыми, золотушными, съ сильнымъ развитіемъ живота и лимфатической системы, тогда какъ вторые имѣютъ угрѣнную полноту, свѣжесть и цвѣтущій видъ. Хорошая хозяйка, при взглядѣ на телятину, поданную къ столу, по цвѣту ея отличить—кормили-ли теленка, однимъ молокомъ, или другой пищей. Слѣдствія систематическаго кормленія всего поразительнѣе на свиньяхъ. Если мы сравнимъ напр., беркширскую и лейстерскую свинью съ большеухой германской или обыкновенной домашней, то увидимъ между ними страшную разницу. Первая имѣетъ низкія и тонкія ноги, маленькую голову, но колоссальное туловище, въ которомъ не видно ни позвонковъ, ни реберъ, а какъ бы все состоитъ изъ рыхлой кльѣтчатки,

проросшей жиромъ, тогда какъ во второй больше развиты кости, тѣмъ мускулы и жиръ.

Между крестьянами, ведущими трудовую, дѣятельную и подвижную жизнь, при умѣренно-питательной пищѣ, поразительной толщины никогда не встрѣчается; но тотъ же крестьянинъ, разбогатѣвъ, дѣлается напр. содержателемъ постоялаго двора, старостой, купцомъ, словомъ переходитъ въ выгодныя условія для питанія своего тѣла, и онъ начинаетъ жирѣть, иногда до безобразныхъ размѣровъ. Поразительная толщина встрѣчается преимущественно между зажиточными, мало подвижными крестьянами, купцами, духовенствомъ, однимъ словомъ—у здоровыхъ людей, пользующихся весьма питательнымъ и обильнымъ столомъ и весьма незначительною дѣятельностію. Стало быть, къ ожирѣнію располагаютъ: здоровое сложеніе, обильная пища, сидячая жизнь и бездѣятельность. Литераторъ и мелкій небогатый чиновникъ, не смотря на сидячую жизнь, не ожирѣваютъ, потому что они большею частью работаютъ сверхъ своихъ силъ и рѣдко пользуются блистательной матеріальной обстановкой. Но тотъ же литераторъ и тотъ же чиновникъ, дѣлающійся тузомъ, быстро начинаетъ прибывать въ фигурѣ и вѣсѣ. Свѣтскія барыни, не смотря на бездѣятельную жизнь, рѣдко полнѣютъ, потому что, съ одной стороны, рѣдко пользуются хорошимъ здоровьемъ, вслѣдствіе воспитанія и наслѣдственности, съ другой стороны—потому, что жизнь ихъ все-таки не такъ безпечна и сонна, какъ жизнь купчихи. Заботы о нарядахъ и выѣздахъ, о положеніи въ свѣтѣ, интриги и соревнованіе, въ состояніи такъ же изнурить тѣло, какъ умственный и физическій трудъ. О вліяніи недостаточнаго питанья будетъ сказано въ другомъ мѣстѣ.

Удобства жизни, комфортъ, забота о своей внѣшности также отражаются на физическихъ свойствахъ человѣка и животныхъ. Деревенская рабочая лошадь, превращенная въ городскую выѣздную, скоро измѣняетъ свой внѣшній видъ. Овесъ, теплая и сухая конюшня, заботливая чистка и вытираніе производятъ то, что та же самая неуклюжая лошадь дѣлается гораздо круглѣе, нѣжнѣе и красивѣе. Деревенскій мальчикъ, взятый на воспитаніе, или усыновленный *юсподами*, въ скоромъ времени дѣлается по наружному виду настоящимъ барченкомъ. Плебей или бѣднякъ, вышедшій въ люди и разбогатѣвшій, съ теченіемъ времени получаетъ въ своей фигурѣ нѣчто, такъ называемое, благородное. Это нѣчто, смягчающее и округляющее черты человѣка, и есть результатъ комфорта и довольства. Такое улучшеніе фигуры, цвѣта и выраженія лица зависитъ какъ отъ рода пищи и удобства помѣщенія (чистый

воздухъ), такъ и отъ культуры своего тѣла, нравственнаго состоянія и образа жизни. Безспорно, что уходъ за своимъ тѣломъ (ванны, обмыванія извѣстными мылами и обтиранія извѣстными жидкостями и порошками, правильная забота о волосахъ, зубахъ и ногтяхъ) можетъ значительно измѣнить свойства его тканей, смягчить, усовершенствовать цвѣтъ, что называется—облагородить. На этой возможности держится вся косметическая торговля и, благодаря этой возможности и особенной заботливости, женскій полъ пріобрѣлъ себѣ право названія прекраснаго пола. Вслѣдствіе различныхъ умываній, притираній и пудръ, кожа дѣлается бѣлѣе и мягче, жиръ, выступающій изъ сальныхъ желѣзъ (лоснящееся лицо), уничтожается; съ другой стороны, не подвергаясь по возможности дѣйствию солнца, жаркаго или слишкомъ холоднаго воздуха и всякаго раздраженія, кожа дѣлается тоньше и нѣжнѣе. Тоже самое нужно сказать про уходъ за руками и ногами. Красивая рука и нога, которыми мы восхищаемся теперь, безъ сомнѣнія, выработывались постепенной культурой и наследственностію, результатовъ этой культуры. Красоту ногтей можно выработать даже въ довольно короткій срокъ.

Выраженіе лица главнымъ образомъ складывается вслѣдствіе преимущественнаго упражненія тѣхъ или другихъ лицерныхъ мускуловъ. Дѣятельность этихъ мускуловъ находится въ связи съ нравственнымъ состояніемъ человѣка. Страсти или извѣстное настроеніе духа отражаются на лицѣ, вслѣдствіе необходимаго сокращенія при этомъ извѣстной группы мышцъ. Потому и говорятъ, что лицо есть зеркало души. Когда извѣстное нравственное состояніе повторяется у человѣка довольно часто, то и дѣятельность мускуловъ, выражающихъ это состояніе, усиливается и наконецъ дѣлается привычною. Такимъ образомъ складывается постоянное, свойственное извѣстному человѣку и характеризующее его, выраженіе лица. Мы различаемъ умное и глупое, веселое, задумчивое, или печальное, величественное (начальническое), напыщенное, злое или хитрое и т. под. выраженіе, смотря потому, какое изъ этихъ качествъ у человѣка преобладаетъ. Говорятъ, что нѣкоторыя дамы и начальники нарочно пріучаютъ свою фізіономію передъ зеркаломъ къ извѣстному выраженію, и путемъ упражненія достигаютъ своей цѣли. Выраженіе лица впрочемъ составляетъ такой индивидуальный признакъ, который характеризуетъ только личность, а не породу, и наследственно не передается.

Если мы будемъ примѣнять теперь вліяніе внѣшнихъ жизненныхъ условій къ совершенствованію человѣческихъ породъ, то прежде

всего должны замѣтить то общее положеніе, что чѣмъ благопріятнѣе сказанныя условія для каждаго человѣка или націи, тѣмъ совершенствованіе идетъ быстрѣе. Какъ несомнѣнно то, что климатъ и физическія условія страны имѣютъ неоспоримое вліяніе на успѣхи цивилизаціи, такъ же точно, съ своей стороны, плоды цивилизаціи, выражающіеся въ народномъ довольствѣ, возвышаютъ уровень физическаго и моральнаго развитія народа. Поэтому кавказское племя такъ опередило въ развитіи всѣ остальные племена; поэтому же болѣе цивилизованныя вѣтви этого племени представляются, даже въ анатомическомъ отношеніи, болѣе совершенными, чѣмъ другія, менѣе цивилизованныя. Подъ этимъ вліяніемъ греки и римляне выработали свой типъ до такой высокой степени, подъ этимъ вліяніемъ многіе современные народы Европы, происшедшіе нѣкогда отъ дикихъ или полудикихъ племенъ, облагородили свой типъ и примкнули къ народамъ болѣе совершеннымъ; отъ того же, съ другой стороны, многіа не цивилизованныя племена, находящіеся въ невыгодныхъ матеріальныхъ условіяхъ, до сихъ поръ такъ мало развиты, что по первому взгляду едва отличаются отъ обезьянъ. Чтобы оцѣнить вліяніе матеріальнаго довольства на физическое развитіе человѣка, достаточно обратить вниманіе на факты, находящіеся у насъ передъ глазами. Сравните русскія деревни, населенныя свободными крестьянами и нѣкогда бывшими крѣпостными, деревни зажиточныя—съ раззоренными и долго угнетавшимися,—и вы увидите въ типѣ жителей тѣхъ и другихъ большую разницу. Пришибенное, униженное и раззоренное народонаселеніе съ перваго разу бросится въ глаза своей физической и нравственной неразвитостію. Поставьте этихъ же самыхъ людей въ болѣе благопріятныя условія матеріальнаго быта, и они не замедлятъ догнать въ развитіи своихъ болѣе счастливыхъ сосѣдей. Впрочемъ, о вліяніи бѣдности и рабства мы будемъ еще говорить въ своемъ мѣстѣ.

Такимъ образомъ, нужно признать несомнѣннымъ, что матеріальное довольство имѣетъ громадное вліяніе на совершенствованіе физическихъ и моральныхъ качествъ, какъ цѣлой націи, такъ и отдѣльныхъ личностей, что это совершенствованіе идетъ рука объ руку съ успѣхомъ истинной цивилизаціи. Стало бытъ, та страна или тѣ учрежденія, которыя даютъ жителямъ болѣе свободы и богатства, этимъ самымъ могутъ болѣе рассчитывать на успѣхъ прогрессивнаго развитія человѣка. Жители, поработенные, воснѣющіе въ бѣдности и невѣжествѣ, могутъ, въ продолженіи цѣлыхъ вѣковъ, не только не двинуться впередъ, но потерять и то, что имѣли. Намъ

должны казаться дикими претензіи тѣхъ цивилизаторовъ, которые, подъ видомъ благодѣянія, стараются распространить европейское просвѣщеніе огнемъ и мечомъ. Разрушеніе и рабство служатъ первымъ шагомъ къ вырожденію націи. Поэтому, цивилизація внесенная въ страну такимъ путемъ, естественно, не можетъ служить стимуломъ для развитія туземныхъ силъ, а скорѣе рассадникомъ для распространенія силъ внѣшнихъ, пришлыхъ, разрастающихся здѣсь въ прямой ущербъ національному, туземному развитію.

с) РАЦИОНАЛЬНОЕ БРАКОСОЧЕТАНІЕ.

Выборъ супруговъ при бракосочетаніи представляетъ одинъ изъ важныхъ гигиеническихъ вопросовъ, самое существенное условіе для улучшенія породы. Отъ качества супруговъ непосредственно зависятъ и качества потомства. Это давно усвоено народнымъ смысломъ, выразившимъ свою мудрую наблюдательность въ пословицахъ: «яблоко отъ яблони недалеко падаетъ», «что посеешь, то и пожнешь». Поэтому вопросъ о рациональномъ бракосочетаніи по своей важности требуетъ серьезнаго вниманія. Но прежде чѣмъ мы будемъ говорить объ этомъ важномъ предметѣ, необходимо объяснить съ читательницами.

Я предчувствую, что вообще за эту статью со стороны прекраснаго пола градомъ польются на меня упреки и возраженія. Можно ли, скажутъ мнѣ, такъ матеріально смотрѣть на бракъ — самое святое таинство жизни, можно ли такъ сурово и холодно смотрѣть на любовь, подчиняя ее — это прихотливое и капризное дитя — правиламъ науки и соображенія. Наконецъ можно ли смотрѣть на бракъ, какъ на скрещиваніе домашнихъ животныхъ съ цѣлію улучшенія породы! Это уже выходитъ изъ предѣловъ матеріализма, — это цинизмъ! Понимаю ваше негодованіе, читательница, оно происходитъ отъ того, что между нами есть недоразумѣнія, потому-то и хочу напередъ установить точку нашихъ взглядовъ на бракосочетаніе. Страшенъ сонъ, но милостивъ Богъ.

Вы сейчасъ увидите, что въ моихъ словахъ нѣтъ ни цинизма, ни матеріализма, что я также уважаю святость брака и любви и не отнимаю отъ послѣдней ея очарованія. Вы согласитесь со мной, что индивидуальная любовь есть родъ личнаго вкуса: одному нравится арбузъ, другому свиной хрящикъ, одинъ любитъ осень, другой можетъ восхищаться только весной, одинъ любитъ тухляя яйца и подгнившихъ рабчиковъ, другой этого терпѣть не можетъ. Точно

также и относительно половой любви. Есть люди, которымъ нравятся худенькія, жиденькія, болѣзненные созданія, другія напротивъ находятъ вкусъ въ сочности, здоровьи и настоящей красотѣ. Отъ любви къ свиному хрящу и тухлымъ рябчикамъ вреда никому быть не можетъ, а отъ неестественно развившейся половой любви могутъ произойти весьма плачевныя послѣдствія на потомствѣ. Любовь точно также должна подчиняться ограниченіямъ, контролю разсудка, какъ и всякая другая потребность; потому что и это чувство можетъ проявляться также ненормально и нераціонально, какъ и многія другія потребности. Представьте, что у больной женщины развивается ложный вкусъ къ потребленію такихъ предметовъ, которые не только не питательны, а даже положительно вредны (уголь, глина, уксусъ и пр.), или напр. у пьяницы развивается вкусъ или любовь къ запоямъ: неужели вы вооружитесь противъ того, кто будетъ доказывать, что этотъ вкусъ существовать не долженъ, что это извращеніе вкуса. Вотъ точно также и относительно половой любви. Я ничуть не отвергаю ея необходимости при бракосочетаніи, а хочу только высказать, что не всякая любовь естественна, раціональна, а случается много такой, гдѣ супружество было бы положительно вредно, не говоря уже о тѣхъ случаяхъ браковъ, которые идутъ наперекоръ наукѣ и разсудку, въ бракахъ, повидимому, безупречныхъ сплошь и рядомъ мы видимъ, что группировка половъ дѣлается не вполне удовлетворительно. Блондина лимфатическаго тѣлосложенія, сырая и вялая, сдѣлала бы гораздо лучше, если бы вышла замужъ за человѣка съ противоположными качествами, нежели за такого же лимфатика. Два хорошихъ человѣка не всегда еще могутъ быть хорошими супругами. Говорятъ, что въ семейной жизни мужъ и жена иногда не сходятся характерами и убѣжденіями, точно также они могутъ не сходиться темпераментами и прочими физическими качествами. Какъ въ первомъ случаѣ выходитъ, что два, въ отдѣльности достойныхъ, человѣка, сведенные вмѣстѣ, принесутъ другъ другу несчастіе, точно также два въ отдѣльности порядочныхъ организма могутъ произвести неудовлетворительное потомство. Поэтому слѣдуетъ заботиться, чтобы въ брачныхъ сочетаніяхъ по возможности существовало не только моральное, но и физическое равновѣсіе. Въ знаніи тѣхъ условій, при которыхъ это можетъ быть легче достигнуто и заключается подборъ супруговъ (какой же я циникъ?)

Мнѣ скажутъ, что вопросъ о бракѣ не можетъ быть разсматриваемъ чисто съ гигиенической точки зрѣнія, что здѣсь не менѣе важны нравственные и гражданскія условія. Въ этомъ, конечно,

сомнѣваться никто не будетъ. Но разбирая только фивіологическую и гигиеническую сторону брака, я ничуть не отвергаю этихъ другихъ сторонъ, все равно какъ фізіологъ, разсматривая функціи человѣческаго организма и, умалчивая о соціальныхъ или другихъ отношеніяхъ человѣка, этимъ самымъ не отвергаетъ существованія этихъ отношеній и не подрываетъ ихъ важности. Что касается до того, на сколько гигиеническія правила брака могутъ быть примѣнны къ жизни, — это другой вопросъ. Въ жизни случается не рѣдко, что сколько ни уговаривайте не ѣсть углей или сгнившаго сыру; не пить водки и пр., но болѣзненный вкусъ беретъ свое и насъ не слушаютъ; точно также возродившаяся нераціональная любовь сплошь и рядомъ, очертя голову, кончается женитьбой, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы не стѣснять *свободнаго* чувства правилами науки. Имѣя уши слышати, да слышать. Кто захочетъ понять, что бракъ между старикомъ и молодой дѣвушкой, между чахоточнымъ или эпилептикомъ не только безразсудство, но преступленіе, тотъ не женится такимъ образомъ. Кромѣ того наши слова могутъ быть не безплодны и потому, что самый вкусъ при выборѣ предмета любви, какъ и вообще всякій вкусъ, подчиняется развитію; слѣдовательно, сознавая условія нормальнаго бракосочетанія, можно болѣе или менѣе стремиться къ выработванію настоящаго, раціональнаго вкуса. При всемъ этомъ нужно помнить, что на бракъ слѣдуетъ смотрѣть не какъ на личное удовольствіе, а какъ на важный актъ гражданской жизни, какъ на таинство воспроизведенія рода, въ которомъ должны быть заинтересованы не два только лица, но и все общество, наука и законодательство. Послѣ этого, надѣюсь, читательница не ужаснется при мысли объ улучшеніи человѣческой породы, о раціональномъ подборѣ родичей и пр.

Слишкомъ взыскательныя читательницы могутъ обидѣться въ нашей статьѣ еще тѣмъ, что мы часто сопоставляемъ вопросъ о человѣческой половой производительности съ подобными явленіями у животныхъ. Въ самомъ дѣлѣ, для человѣка, привыкшаго считать себя царемъ всего существующаго, для человѣка, всосавшаго чуть не съ молокомъ матери такое убѣжденіе, что между нимъ и животнымъ нѣтъ ничего общаго, естественно, такія сопоставленія съ непривычки могутъ показаться щекотливыми. Но мыслящая читательница должна отбросить ложное самолюбіе и смотрѣть на вещи не черезъ розовый флеръ, а такъ, какъ онѣ существуютъ въ дѣйствительности. Она должна сознать прежде всего, что органическая жизнь человѣка и животныхъ такъ близка между собой, что

наибольшая часть физиологическихъ процессовъ у нихъ почти тождественны. Потому при изученіи этихъ процессовъ необходимо и въ высшей степени важно пользоваться фактами, взятыми съ животныхъ, такъ какъ эти послѣдніе гораздо болѣе доступны экспериментальному изслѣдованію, такъ какъ у нихъ физиологическую жизнь не только можно наблюдать, но и преднамеренно выставить на видъ, направлять по произволу сообразно той или другой цѣли. Зная, что результаты этихъ опытовъ съ полной основательностію могутъ быть перенесены на человѣка, естественно, что ими слѣдуетъ дорожить, а никакъ не обижаться. Послѣ всего сказаннаго, мы можемъ спокойно продолжать свою рѣчь.

При вопросѣ о выборѣ супруговъ, мы рассмотримъ возрастъ вступающихъ въ бракъ, нравственныя и физическія ихъ качества и помѣсь крови.

Вопросъ: въ какомъ возрастѣ должны быть заключаемы браки? на столько же важенъ, на сколько и труденъ для рѣшенія. Вообще можно сказать, что бракъ долженъ быть позволяемъ тогда, когда развитіе организма окончилось и тѣлосложеніе совершенно установилось или, какъ говорить, человѣкъ совершенно «сложился». Возрастъ, въ которомъ среднимъ числомъ происходитъ это — принимаютъ 25 лѣтъ для мужчины и 20 лѣтъ для женщины. Но изъ этого ничуть не слѣдуетъ, чтобы раньше такого срока ни мужчина, ни женщина не были способны къ половой жизни. Мѣсячное очищеніе у женщины, служащее наружнымъ признакомъ половой зрѣлости, въ южной Европѣ появляется среднимъ числомъ съ четырнадцатилѣтняго возраста, въ средней Европѣ съ пятнадцати лѣтъ, въ Россіи самый обыкновенный срокъ ихъ отъ 14 до 16 лѣтъ, въ Лапландіи и вообще на самомъ сѣверѣ они показываются не раньше 18 лѣтъ, а часто и позже того. Въ исключительныхъ случаяхъ мѣсячное очищеніе появляется гораздо раньше, напр. на 9—10 году. *Вильсонъ* наблюдалъ дѣвушку, которая на 12 году забеременѣла и потомъ легко родила зрѣлаго ребенка *). По Робертсону, одна дѣвушка 11 лѣтъ была уже беременна; а по Смитту, другая 10½ л. получила регулы и 12 л. родила. Въ случаѣ Ровле дѣвочка 9 лѣтъ имѣла регулы, а 10 л. и 13 дней родила живаго ребенка. Въ южныхъ странахъ такихъ примѣровъ можно встрѣтить довольно много. Въ Россіи еще такъ недавно женщины выходили замужъ 13—14 лѣтъ, а 15—16 иногда дѣлались уже матерями. Но слѣдуетъ ли однакожъ изъ этого, чтобы такіе ранніе браки могли считаться рациональными, что появленіе менструацій у женщины и отдѣленіе

*) *Edinburgh medic. Journal*, 1861, vol. II, p. 332.

сѣмени у мужчины дѣйствительно указываютъ на полную готовность ихъ къ размноженію рода? Этотъ вопросъ и долженъ занимать насъ въ настоящее время. При разсматриваніи его представляются факты двухъ родовъ: одни могутъ оправдывать ранніе браки, другіе говорятъ противъ нихъ.

Если разсматривать женщину исключительно съ физиологической точки зрѣнія, то всякая возникающая физиологическая потребность должна считаться законною и своевременной, и стало быть удовлетвореніе этой потребности, по мѣрѣ ея возникновенія, не должно быть вредно. Человѣкъ хочетъ ѣсть — накормите его, чувствуетъ жажду — утолите ее; у человѣка въ извѣстномъ возрастѣ являются половыя побужденія — почему же не считать этихъ побужденій также естественными и своевременными? Если мы будемъ стѣснять эти побужденія, то они найдутъ другой, болѣе неестественный выходъ. Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно. Почему знать не приносимъ ли мы болѣе вреда, чѣмъ пользы, преслѣдуя ранніе браки, именно потому, что этимъ самымъ мы даемъ, можетъ быть, поводъ къ усиленному развитію въ обществѣ тѣхъ пороковъ неестественнаго полового удовлетворенія, которые растлѣваютъ молодое поколѣніе и такъ губительно дѣйствуютъ на здоровье народонаселенія. Стѣсная ранніе браки, мы ничуть не стѣсняемъ этимъ проявленія половыхъ инстинктовъ; они все равно пробиваются себѣ путь, но путь косвенный, скрытый, а потому болѣе вредный. Бракъ, разсматриваемый исключительно съ гигиенической точки зрѣнія, предохраняетъ отъ многихъ болѣзней и увеличиваетъ среднюю продолжительность человѣческой жизни. Это очевиднымъ образомъ доказали точные статистическіе выводы, напр. Каспера и др. Слѣдовательно, чѣмъ позже будутъ заключаться браки, тѣмъ больше на общественномъ здоровьѣ будутъ отражаться тѣ невыгодныя условія, которыя влечетъ за собою безбрачная жизнь.

Въ пользу раннихъ браковъ приводятъ также тотъ фактъ, что такіе браки во многихъ странахъ, въ томъ числѣ и въ Россіи, позволялись закономъ и существовали въ теченіи многихъ лѣтъ безъ замѣтнаго ослабленія народонаселенія. Изъ читателей этой статьи, вѣроятно, много еще найдется такихъ, матери которыхъ были выданы замужъ около 14 лѣтъ, но не смотря на это ни на, матеряхъ, ни на потомствѣ не отразилось замѣтнаго ослабленія. Мнѣ самому удавалось наблюдать беременность и роды у дѣвушекъ 16—17 лѣтъ, и при этомъ я не замѣчалъ, чтобы такая беременность вредно дѣйствовала на организмъ молодой матери или чтобы плодъ ея былъ неполно развитъ и упитанъ.

Что касается теперь до родовъ и послѣродовыхъ болѣзней, то съ перваго разу казалось бы, что юная мать, 15—16 лѣтъ, съ трудомъ должна выносить родовыя муки, что силы ея едва ли будутъ достаточны для продолжительнаго и вообще труднаго акта рожденія младенца. Но факты объ этомъ говорятъ противное. Всѣмъ акушерамъ извѣстно, что чѣмъ моложе женщина, рожающая въ первый разъ, тѣмъ роды ея легче. Продолжительность первыхъ родовъ у женщины 16—18 лѣтъ можно принять въ 14—15 часовъ, тогда какъ у женщины за 20 лѣтъ на это большею частію требуется около или даже болѣе 20 часовъ. Женщина, рожающая въ первый разъ послѣ 25 лѣтъ, рѣдко обходится безъ оперативнаго акушерскаго пособія. Легкія роды у нашихъ крестьянокъ, кромѣ сложенія, можетъ быть, зависятъ и отъ того, что въ крестьянскомъ сословіи дѣвушка рано выходитъ замужъ. Такимъ образомъ, повидимому, чрезмѣрная болѣзненность родовъ, на которую такъ часто сѣтуютъ наши дамы, упрекая несправедливую къ нимъ природу, во многомъ зависитъ отъ нихъ самихъ. Въ менѣе цивилизованныхъ классахъ общества, гдѣ жизнь идетъ болѣе сообразно съ природою, гдѣ половая сфера начинаетъ свою дѣятельность въ свой законный срокъ, гдѣ организмъ женщины не ослабленъ и не извращенъ несообразнымъ воспитаніемъ и образомъ жизни, тамъ процессъ рожденія младенца не представляется карой небесной. Я не хочу сказать, чтобы въ простомъ классѣ, или у полудикихъ народовъ родовой актъ былъ совсѣмъ не болѣзненъ: извѣстная доля родовыхъ болей необходима и съ телеологической точки зрѣнія. Боли при родахъ дають знать о началѣ этого процесса; безъ нихъ много бы дѣтей было потеряно на улицѣ, что и теперь даже случается нерѣдко. Поэтому роды и у животныхъ, и у человѣка сопровождаются болью, заставляющею вовремя принимать мѣры предосторожности для болѣе безопаснаго появленія на свѣтъ новаго индивидуума.

Обратимся однакожъ къ главному вопросу. Изъ вышесказаннаго видно, что раннее замужество и рожденіе дѣтей не представляютъ, съ перваго разу, особенныхъ невыгодъ ни для матерей, ни для ихъ потомства. Мало того, оно облегчаетъ мученія первыхъ родовъ и, содѣйствуя съ самаго начала нормальному ходу половой жизни, предотвращаетъ неблагопріятныя послѣдствія какъ отъ излишняго полового воздержанія, такъ и отъ неестественнаго или чрезмѣрнаго удовлетворенія половыхъ стремленій. Но это только одна сторона медали. При всестороннемъ обсужденіи дѣла необходимо взять во вниманіе не одну физическую натуру человѣка, не одни

физиологическія побужденія, но и моральную сторону брака, социальныя условія семейной и общественной жизни. Если мы будемъ смотрѣть на бракъ только съ физиологической точки зрѣнія, т. е. какъ на освященное закономъ средство для размноженія потомства, стало бытъ, если будемъ имѣть въ виду только способность или неспособность человѣка къ размноженію, то намъ ничто не попрепятствуетъ допустить женитьбу для мужчинъ 17—18 лѣтъ, а для женщинъ 15—16 лѣтъ, такъ какъ это—періодъ половой зрѣлости тѣхъ и другихъ. Но бракъ въ тоже время составляетъ начало новой, самостоятельной гражданской жизни, стало бытъ, кромѣ воспроизведенія дѣтей, отъ супруговъ требуется извѣстная подготовка къ этой жизни. У народовъ нецивилизованныхъ эта подготовка не представляетъ особенной сложности, такъ какъ самая жизнь ихъ очень проста и незатѣйлива; но чѣмъ сложнѣе социальныя условія, въ которыхъ живетъ человѣкъ, тѣмъ больше требуется запаса силъ для обезпеченія семейнаго довольства и счастья. Поэтому, кромѣ половой способности, вступающіе въ бракъ должны имѣть способности и силы для гражданской жизни, извѣстную долю образованія, извѣстную зрѣлость разсудка. Хорошъ будетъ напр. 18 лѣтній мужъ съ 15 лѣтней женой, когда ни у того, ни у другаго еще не сформировался характеръ, не установился разсудокъ. Было бы безразсудно совѣтовать такимъ юношамъ, въ силу физиологическихъ принциповъ, брать на себя важныя обязанности мужа и главы семейства. Увлеченія, свойственныя этому возрасту, шаткость убѣжденій, недостаточность подготовки для того, чтобы обезпечить и руководить свое семейство, очень легко могутъ повести не только къ разнымъ несчастіямъ жизни, но и отразиться на здоровьѣ потомства. Стало бытъ, не только въ видахъ семейнаго счастья, но и въ видахъ улучшенія рода такіе браки не должны считаться рациональными. Поэтому для большинства въ цивилизованномъ классѣ можно постановить гигиеническимъ правиломъ для мужчинъ вступленіе въ бракъ не раньше 25 лѣтнаго возраста, а для женщинъ не раньше 17—18 лѣтъ. Въ это время какъ у женщины, такъ и у мужчины разсудокъ болѣе зрѣлъ, сужденіе болѣе здраво, знанія болѣе положительны и характеръ болѣе опредѣлительнъ, что вполне необходимо для отца и матери семейства, для хозяина и хозяйки дома. Срокъ для вступленія въ бракъ, положенный нашимъ закономъ, именно для женщинъ въ 16, а для мужчинъ въ 18 л., не противорѣчитъ физиологическимъ основаніямъ, но не вполне соотвѣтствуетъ социальнымъ требованіямъ. Онъ можетъ бытъ оставленъ для большинства простаго класса, гдѣ для се-

мейной жизни не нужно особенной подготовки, но для массы просвѣщенной, имѣющей совсѣмъ другія требованія, срокъ брака долженъ быть, по возможности, отдаленъ.

Для тѣхъ, кто хотѣлъ бы руководиться для опредѣленія перваго срока половой жизни однимъ физиологическимъ побужденіемъ, слѣдуетъ замѣтить, что это побужденіе въ цивилизованныхъ классахъ большею частію развивается преждевременно, до наступленія періода возмужалости, вслѣдствіе ненормальнаго физическаго и нравственнаго возбужденія. Съ ранней юности общество, чтеніе, примѣры возбуждаютъ желанія молодыхъ людей обоихъ половъ, разжигаютъ огонь страсти и ускоряютъ преждевременное наступленіе половой зрѣлости. Слѣдовательно какъ здѣсь, такъ и во многихъ другихъ случаяхъ, однимъ побужденіемъ руководиться нельзя. Для этого и существуютъ правила гигиены, отличающія дѣйствительную потребность организма отъ ложной и извращенной. Преждевременно начавшаяся половая жизнь безъ сомнѣнія послужитъ въ ущербъ развитію тѣла, будетъ дѣйствовать ослабляющимъ образомъ какъ на самихъ производителей, такъ и на потомство. Поэтому всѣ древніе законодатели совершенно справедливо старались отдалить эпоху брака, потому что, въ самомъ дѣлѣ, преждевременное воспроизведеніе рода, до наступленія полной зрѣлости мужчины и женщины, неизбѣжно отразится на потомствѣ гибельнымъ образомъ. Наблюдателями замѣчено, что дѣти слишкомъ молодыхъ родителей (неокончательно сложившихся и окрѣпшихъ) отличаются малымъ ростомъ, слабостію и сильнымъ расположеніемъ къ болѣзнямъ. Лица молодыхъ курицъ вдвое меньше, чѣмъ курицъ взрослыхъ; щенята, родившіеся послѣ перваго оплодотворенія суки, никогда не достигаютъ большаго роста (Бурдахъ). Скотоводы замѣчаютъ, что «если животное при неполнѣмъ соответственномъ и питательномъ кормѣ допускается къ случкѣ въ раннемъ возрастѣ, то оно становится малорослымъ и слабымъ. Если оно въ послѣдствіи и получаетъ болѣе обильную пищу, то и тогда въ немъ развивается болѣе жиръ, чѣмъ мышцы и относительно полезности оно не будетъ имѣть большаго значенія *)».

Что касается до тѣхъ невыгодъ, которыя влечетъ за собою безбрачная жизнь, до извращенія и неправильнаго проявленія половыхъ инстинктовъ, то, не отвергая важности этого вліянія на ослабленіе народонаселенія, мы думаемъ, что это вліяніе слѣдуетъ

*) Др. Вейденгаммера. Сельско-хозяйств. скотоводство, какъ аргументъ дарвиновой теоріи. Зап. Импер. Рус. Общ. акклимат. Москва, 1865.

парализовать не раннимъ вступленіемъ въ бракъ (это значило бы одно зло замѣнять другимъ), а другими путями, о которыхъ говорить здѣсь не мѣсто. Если бы условія нашей соціальной жизни были не тѣ, что теперь, то и вопросъ о срокахъ вступленія въ бракъ могъ бы быть разрѣшаемъ болѣе на физиологическихъ основаніяхъ, стало бытъ и борьба съ неестественнымъ проявленіемъ половыхъ инстинктовъ могла бытъ устранена сама собой. Но намъ поневолѣ нужно примѣнять гигиеническія правила къ той жизни, которою мы живемъ, а не къ жизни идеальной, ожидаемой въ будущемъ. Поэтому помянутое зло, естественно вытекающее изъ сложившейся жизни, можетъ бытъ пока устраняемо не радикально, т. е. не измѣненіемъ самой жизни, а палліативнымъ образомъ, дѣйствуя не на корень зла, а только на его проявленія *).

Въ какомъ возрастѣ родителей можно ожидать лучшаго потомства? Зная общіе законы наследственности, этотъ вопросъ разрѣшить не трудно. Тотъ возрастъ, въ которомъ человѣкъ, окончательно сложившійся и окрѣпшій, пользуется лучшимъ здоровьемъ, тотъ возрастъ, въ которомъ различныя невзгоды и лишенія жизни, пороки и излишества не положили еще своей печати на здоровье человѣка, естественно долженъ считаться лучшимъ возрастомъ для размноженія. Стало бытъ, возрастъ отъ 25—35 лѣтъ для мужчины и 17—30 л. для женщины, т. е. періодъ лучшей красоты, силы и энергіи слѣдуетъ признать самымъ удобнымъ для размноженія рода. Само собою разумѣется, что и послѣдующіе сроки, напримѣръ съ 35—45 лѣтъ для мужчины, съ 30 до 40 лѣтъ для женщины, тоже будутъ плодородны, но это плодородіе, воспроизведенное на ослабленной и истощенной почвѣ, не будетъ

*) Древнимъ римлянамъ и грекамъ, говорятъ, рукоблудіе было не извѣстно, потому что развитіе ихъ молодости болѣе соответствовало законамъ природы, а свободѣ половыхъ сношеній не препятствовали ни религіозныя, ни моральныя взгляды, ни законъ, ни государственныя учрежденія. Новѣйшимъ вѣкамъ суждено было замѣнить многіе открытыя, часто менѣе вредныя простутки, болѣе гибельными, тайными злоупотребленіями. Сдерживаемый и потомъ неправильно прорывающійся половой инстинктъ въ современномъ обществѣ служитъ однимъ изъ самыхъ важныхъ золь, подрывающихъ народное здоровье. Это зло проявляется тѣмъ въ большихъ размѣрахъ, чѣмъ больше въ извѣстномъ классѣ или сословіи существуетъ стѣсненій относительно брачной или вообще половой жизни. Въ простомъ классѣ общества, гдѣ эта жизнь идетъ регулярно, гдѣ браки заключаются раньше, помянутыя пороки существуютъ въ гораздо меньшей степени. Какимъ образомъ устранить эту неизбежную жертву современной цивилизаціи и склада гражданской жизни, этотъ вопросъ на столько же соціальный, на сколько и гигиеническій.

уже такъ совершенно, какъ вышеупомянутое. Мы замѣчаемъ, что первыя дѣти въ семействѣ болѣею частію представляютъ лучшее здоровье и развитіе, чѣмъ дѣти, рожденныя во второй половинѣ жизни родителей. Этого факта нельзя объяснить лучшимъ уходомъ и вниманіемъ, достаемымъ на долю первыхъ дѣтей, но должно приписать лучшимъ качествамъ родителей, качествамъ, которыя съ теченіемъ жизни утрачиваются. Отъ этого самыя послѣднія дѣти, рожденныя въ предлѣтнихъ мѣсяцахъ, не смотря на устроенный бытъ и довольство родителей, почти всегда имѣютъ врожденные недостатки сложенія—результатъ слабости организма родителей. Англицкая болѣзнь, золотуха, бугорчатка, слабость физическаго и умственнаго развитія рѣзко отличаютъ эти запоздалыя произведенія отъ ихъ братьевъ и сестеръ, рожденныхъ въ цвѣтущее время жизни *).

Многимъ изъ читателей, вѣроятно, приходилось недоумѣвать, почему такъ часто у весьма развитыхъ родителей являются очень ограниченныя дѣти, но немногіе обращали вниманіе на то, что эти родители, потратившіе большую половину жизни и здоровья на свое развитіе, благодаря неудобствамъ соціальныхъ условій, слишкомъ поздно примѣнили къ дѣлу ослабѣвшую уже воспроизводительную способность.

Здѣсь мы должны обратить вниманіе еще на одно обстоятельство. Извѣстно, что въ нашемъ просвѣщенномъ обществѣ мужчины болѣею частію женятся по истеченіи 30 лѣтъ, слѣдовательно самый благоприятный возрастъ для произведенія рода и самыя лучшіе элементы для этого тратятся или совершенно даромъ, или идутъ на произведеніе такъ называемыхъ незаконнорожденныхъ дѣтей. Изъ этого повидимому слѣдовало бы, что большинство незаконнорожденныхъ дѣтей должно обладать лучшими качествами, чѣмъ позднѣйшія, законныя произведенія тѣхъ же родителей. Это и должно бы происходить на самомъ дѣлѣ, если бы на появленіи дѣтей не вліяли со всѣхъ сторонъ гибельныя условія. Извѣстно, что смертность между незаконнорожденными дѣтьми и подкидышами достигаетъ самыхъ ужасающихъ размѣровъ. Изъ 12,786 дѣтей, принятыхъ въ дублинскій воспитательный домъ съ 1789—1806

*) „Дѣти старыхъ родителей, говорятъ Левы, кажется болѣе обыкновеннаго предрасположены къ англійской болѣзни; они не отличаются живостію и веселостію, свойственною ихъ возрасту, и часто умираютъ отъ чахотки, хотя бы даже родители ихъ вовсе не страдали этою болѣзнію. Если же они остаются въ живыхъ, то не развиваются какъ слѣдуетъ и подвергаются преждевременно различнымъ страданіямъ“.

г., по прошествіи пяти лѣтъ, въ живыхъ осталось только 135 (Friedländer). Въ парижскомъ воспитательномъ домѣ въ концѣ прошлаго столѣтія изъ 100 дѣтей умрало 80, даже 90% *). Въ настоящее время въ воспитательныхъ домахъ смертность хотя и значительно уменьшилась, но все-таки она сравнительно велика. До истеченія перваго года жизни тамъ умираетъ дѣтей 22—25%, тогда какъ въ другихъ мѣстахъ, по деревнямъ и городамъ, 17—20% въ продолженіи первыхъ пяти лѣтъ обыкновенно дѣтей умираетъ около половины (не много менѣе); дѣтей то изъ воспитательнаго дома навѣрное болѣе половины. Изъ дѣтей, оставшихся въ живыхъ, большая часть носить отпечатки тѣхъ гигиеническихъ неудобствъ, на которыя обрекаетъ ихъ несчастное рожденіе. Такимъ образомъ значительный процентъ своевременной и, можетъ быть, дѣйствительно лучшей производительности народонаселенія пропадаетъ даромъ, приносится въ жертву другимъ условіямъ соціального быта.

Разность лѣтъ между мужемъ и женой также имѣетъ вліяніе на качества приплода. Основываясь на фізіологическомъ законѣ болѣе скорого созрѣванія женщины сравнительно съ мужчиной, почти во всѣхъ странахъ и во всѣхъ классахъ общества женская половина брачной четы бываетъ моложе мужской. Но эта разница не вездѣ бываетъ одинакова. Въ простомъ классѣ общества она при нормальныхъ бракахъ болѣею частію равняется 2—3 годамъ, въ классѣ же образованномъ 5—10 годамъ. Такая разность лѣтъ можетъ считаться нормальною, потому что ее оправдываютъ фізіологическія условія жизни женщины и мужчины. Выше мы видѣли, что половая зрѣлость наступаетъ у женщины нѣсколькими годами раньше, чѣмъ у мужчины, и вмѣстѣ съ тѣмъ первая старится скорѣе, чѣмъ послѣдній. Способность къ дѣтороженію у женщины продолжается до 40—45 лѣтъ, и только въ рѣдкихъ случаяхъ до 50 года, тогда какъ у мужчины эти границы въ точности еще не опредѣлены, но во всякомъ случаѣ онѣ болѣе, чѣмъ для женщины. Жизнь женщины вообще течетъ быстрѣе. Если мы возьмемъ, на примѣръ, тридцатилѣтняго мужчину и тридцатилѣтнюю женщину, то полдняя будетъ всегда казаться гораздо старше, болѣе отцвѣтающею, чѣмъ первый. Поэтому естественно, что одинаковость лѣтъ для обоихъ супруговъ и тѣмъ болѣе обратная несоразмѣр-

*) По этому поводу одинъ остроумный авторъ предложилъ на подобныхъ заведеніяхъ дѣлать надписи: „здесь губятъ дѣтей на общественномъ иждивеніи“.

ность ихъ представила бы много невыгодъ и относительно воспроизводительной способности и относительно семейнаго счастья. Отъ того помянутая разность лѣтъ всегда была покровительствуема законами и освящена народными обычаями. Но какъ во многихъ другихъ житейскихъ отношеніяхъ, такъ и здѣсь часто бываютъ злоупотребленія. На каждомъ шагѣ въ нашѣмъ обществѣ повторяются печальные факты ненормальныхъ супружествъ между пожилыми людьми, даже стариками и молоденькими дѣвками, — супружествъ, одинаково растлѣвающихъ святость брака и подрывающихъ народное здоровье. Мы уже говорили о невыгодныхъ условіяхъ и послѣдствіяхъ поздняго плодородія; они должны отразиться и здѣсь, потому что воспроизводительныя силы молодой матери будутъ болѣе или менѣе парализоваться угнетающимъ вліяніемъ старика отца. Кромѣ того, при такихъ неестественныхъ бракахъ едва ли можно рассчитывать на полную супружескую любовь и гармонію, отъ чего тоже страдаетъ произведеніе и воспитаніе дѣтей, какъ и гражданская нравственность. Поэтому было бы желательно, чтобы разность лѣтъ въ супружествѣ не превышала 10 — 12, чтобы печальные и уродливые факты брачныхъ сочетаній 16—18 лѣтнихъ дѣвушекъ съ 40—50 лѣтними стариками были преслѣдуемы, если не закономъ, то по крайней мѣрѣ общественнымъ мнѣніемъ. «Молодая дѣвушка, говоритъ Леви, по расчету выходящая за старика, оскорбляетъ природу, потому что въ этомъ случаѣ интересы цѣлаго поколѣнія приносятся въ жертву страстямъ одной личности. Это, если можно такъ выразиться, настоящій фізіологическій скандалъ; но онъ допускается закономъ и общество можетъ наказывать его только презрѣніемъ и насмѣшкою.»

Кромѣ соотвѣтствующаго возраста, мы поставили условіемъ рациональнаго бракосочетанія необходимость извѣстныхъ физическихъ и нравственныхъ качествъ супруговъ, при которыхъ можно бы было рассчитывать на болѣе удовлетворительное потомство. Важность этого условія ясна для всякаго, кто понимаетъ значеніе наследственности. Само собою разумѣется, что въ этомъ отношеніи было бы лучше всего подбирать такихъ супруговъ, которые не имѣютъ ни физическихъ, ни нравственныхъ недостатковъ; но совершенство, какъ говорятъ, не существуетъ на землѣ, поэтому, въ большинствѣ случаевъ, было бы и то хорошо, если бы относительные недостатки супруговъ были сопоставляемы такъ, чтобы они не усиливали, а ослабляли другъ друга. Съ фізіологической точки зрѣнія нужно, чтобы браки противодѣйствовали различнымъ тѣлосложеніямъ и темпераментамъ и могли, такъ сказать, нейтрализовать

болѣзненную наслѣдственность обонхъ супруговъ. Такъ, два семейства, имѣющія одинаковые недостатки, или расположенныя къ одинаковымъ болѣзнямъ, породившись между собой, непременно усилиять на потомствѣ эти недостатки. Поколѣніе, рожденное напр., отъ двухъ слабогрудыхъ супруговъ, расположенныхъ къ чахоткѣ, или отъ золотушныхъ, будетъ носить на себѣ эти недостатки или въ такой же степени какъ у родителей, или даже въ усиленной. Золотуха или чахотка, соединяясь между собой, становятся пагубными разсадниками множества болѣзней. Поэтому браки между двумя больными, худосочными лицами съ медицинской точки зрѣнія должны бы быть запрещаемы. Въ противномъ случаѣ неизбежно будетъ поддерживаться ослабленіе и вырожденіе породы. Но намъ скажутъ: что же дѣлать съ такими молодыми людьми, которые, повидимому, не годятся для рациональнаго брака, неужели за свою слабость и болѣзненное сложеніе они должны быть обречены на безбрачную жизнь? Такой приговоръ былъ бы слишкомъ жестокъ и непримѣнимъ къ практической жизни; потому что при нашей, почти общей болѣзненности, гдѣ бы было взять тогда достаточное количество жениховъ и невѣстъ? Поэтому общественная гигиена должна помириться и съ тѣмъ, чтобы въ брачной четвѣ не было двухъ болѣзненныхъ элементовъ, но чтобы одинъ изъ супруговъ обладалъ здоровымъ сложеніемъ или такими разнородными качествами, которыя бы уравнивали другъ друга, подавляли болѣзненную наслѣдственность слабого элемента. Такъ напр., если женщина, происходящая отъ чахоточныхъ родителей, выйдетъ замужъ за здороваго и крѣпкаго мужчину, то можно надѣяться, что она сдѣлается матерью здороваго поколѣнія, которое въ свою очередь, соединяясь съ «хорошею кровью», произведетъ дѣтей совершенно безукоризненныхъ. Въ этомъ случаѣ сила болѣзненной наслѣдственности, ничѣмъ не поддерживаемая, а напротивъ ослабляемая вліяніемъ здороваго элемента, естественно, будетъ уменьшаться и наконецъ совершенно истощится. Множество фактовъ, свидѣтельствующихъ о произвольномъ исчезаніи или замѣтномъ ослабленіи нѣкоторыхъ наслѣдственныхъ болѣзней (напр. проказы), говорятъ въ пользу помянутаго смѣшенія. И на оборотъ, все болѣе и болѣе распространяющееся вліяніе сифилиса, чахотки и золотухи, замѣтно ослабляющихъ наше народонаселеніе, ясно говорятъ, какъ живой укоръ, въ пользу того, что при бракосочетаніяхъ на правила гигиены обращается все таки слишкомъ мало вниманія.

Въ частности, при выборѣ супруговъ нужно имѣть въ виду: 1)

что при соединеніи двухъ особъ слабого тѣлосложенія, лимфатическаго темперамента, рождаемыя дѣти будутъ еще болѣе слабы, расположены къ золотухѣ и английской болѣзни. Поэтому слѣдуетъ избѣгать такихъ соединеній, а напротивъ должно подновлять тѣлосложеніе и темпераментъ хорошо обсуженной помѣью. Бекверель въ этомъ отношеніи совѣтуетъ, чтобы «крѣпкій, сильный мужчина, съ темною кожею и хорошо развитою мышечною системою, соединился бракомъ съ блондинкою, у которой голубые глаза, бѣлая и тонкая кожа и лимфатическій темпераментъ».

2) Такъ какъ отъ соединенія двухъ особъ перваго темперамента дѣти должны обладать этимъ темпераментомъ еще въ большей степени, то при выборѣ супруговъ нужно имѣть въ виду, чтобы темпераменты ихъ были не сходны.

3) Если у одного изъ супруговъ существуетъ наследственная или приобретенная слабость какогонибудь органа, напр. зрѣнія, слуха, недостаточное развитіе мышцъ или костей и проч., то при брачныхъ сочетаніяхъ слѣдуетъ имѣть въ виду, чтобы у другого супруга эти органы были особенно развиты. Слишкомъ полнокровныя особы, расположенныя въ апоплексіи, должны соединяться съ лицами, или неимѣющими этого недостатка, или даже съ малокровными.

4) Имѣя въ виду улучшеніе красоты потомства или лучше сказать сглаживаніе существующихъ недостатковъ (напр. наследственная чрезмѣрная полнота, раннее выпаденіе волосъ, некрасивая форма черепа и вообще сложенія и пр.), нужно стараться заключать бракъ съ такимъ лицомъ, у котораго качества эти противоположны.

5) Слишкомъ большая несообразность въ ростѣ супруговъ должна быть избѣгаема.

6) Какъ женщина, такъ и мужчина должны быть способны къ произведенію потомства; поэтому женщина, имѣющая неправильное строеніе таза, при которомъ роды невозможны, не должна бы выходить замужъ. При обсужденіи такихъ недостатковъ таза, при которыхъ рожденіе не слишкомъ крупныхъ дѣтей возможно, слѣдуетъ имѣть въ виду ростъ, размѣры головы и плечъ мужчины, за котораго эта женщина должна выйти. Лица, страдающія важными наследственными болѣзнями, какъ напр. наследственнымъ умопомѣшательствомъ, падучей болѣзнію и пр. должны бы были отказываться отъ удовольствій брачной жизни.

7) Зная наследственность умственныхъ и нравственныхъ качествъ и желая видѣть на потомствѣ эти качества, при брачномъ

сочетаніи нужно имѣть въ виду даровитость и нравственный характеръ породы. При этомъ не слѣдуетъ забывать, что умственное развитіе нерѣдко идетъ въ ущербъ физическому, что люди, истощенные непомернымъ умственнымъ трудомъ, часто бываютъ плохими производителями.

8) При всякой возможности слѣдуетъ искать и предпочитать здоровое крѣпкое тѣлосложеніе слабому и болѣзненному, стройное и красивое уродливому, умнаго человѣка ограниченному, не жертвуя этими существенными качествами другимъ, мелкимъ выгодамъ и расчетамъ женитбы. Въ случаѣ же невозможности устроить бракъ на такихъ основаніяхъ, слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, заботиться о томъ, чтобы физическіе недостатки супруговъ не совпали между собой.

Выполненіе этихъ правилъ гигиены могло бы принести важную услугу какъ отдѣльнымъ лицамъ и цѣлымъ семействамъ, такъ и цѣлому обществу. Оно могло бы послужить средствомъ устранять физическіе недостатки цѣлаго народонаселенія, влекущіе за собой ухудшеніе породъ. Къ сожалѣнію, врачей не призываютъ къ участію въ обсужденіи вопроса о бракосочетаніи, ни къ участію при составленіи законовъ объ этомъ предметѣ. Наши законодательства не предписываютъ никакихъ мѣръ къ улучшенію физическаго быта человѣчества, за исключеніемъ развѣ запрещенія браковъ въ извѣстныхъ степеняхъ родства. Поэтому общество само должно заботиться о такомъ важномъ вопросѣ. Оставляя на личный произволь условія второстепенной важности, напр. заботу о красотѣ потомства, общество должно преслѣдовать, наравнѣ съ тяжкими преступленіями, тѣ аномаліи брака, которыя влекутъ за собой гибельныя послѣдствія на поколѣніи. Въ самомъ дѣлѣ, не имѣемъ ли мы права точно также назвать извергомъ 50-лѣтняго старика, женившася на 16-лѣтней дѣвушкѣ, чахоточныхъ или сифилитическихъ родителей, какъ мы называемъ вообще людей, лишающихъ, изъ-за личной страсти, кого бы то ни было жизни или здоровья? Больные родители должны знать, что они произведутъ больныхъ дѣтей, потому они обязаны подумать не о своей только, уже сосчитанной жизни, а и о жизни несчастнаго поколѣнія. Всякій болѣзненный ребенокъ, наследственно чахоточный юноша, всякій изуродованный англійскою болѣзнію, или получившій въ даръ отъ родителей сифилисъ, паучью болѣзнь или помѣшательство, виноватъ негодовать за такое наследство, особенно если они будутъ знать, что милые родители допустили это не по неопытности, а изъ своихъ корыстныхъ или эгоистическихъ расчетовъ.

О послѣдствіяхъ нераціональнаго бракосочетанія подробности мы будемъ говорить въ статьѣ о вырожденіи человѣческихъ породъ.

Помѣсь крови. Между другими условіями, содѣйствующими улучшенію породы, помѣсь крови играетъ немаловажную роль. Вообще можно сказать, что и роды животныхъ и человѣка мельчаютъ, когда всѣ производители переродятся между собой. Коннозаводчикамъ и скотоводамъ это давно извѣстно, потому они по возможности стараются освѣжать кровь приобрѣтеніемъ новыхъ самцовъ, не родственныхъ стаду. Дарвинъ говоритъ, что скрещиваніе въ близкихъ степеняхъ родства уменьшаетъ плодовитость и силу. На этомъ, между прочимъ, основывается вырожденіе животныхъ, напримѣръ зубра въ Литвѣ. Нынѣшніе зубры Бѣловѣжской пушчи, потомки 500 зубровъ, жившихъ тамъ въ 1824 году, всѣ болѣе или менѣе переродились между собой. Вслѣдствіе этого ростъ зубровъ значительно уменьшился. Такихъ большихъ животныхъ, какія убивались королями польскими и всѣ которыхъ записывался, теперь уже нѣтъ. Полагаютъ даже, что въ настоящее время существуетъ двѣ разновидности зубровъ, изъ которыхъ одна гораздо мельче другой, представляющая, по всей вѣроятности, результатъ вырожденія. Наконецъ, самцовъ этого животнаго въ Бѣловѣжской пушчѣ родится теперь больше, чѣмъ самокъ, не смотря на то, что зубръ-животное многоженное. Подобные факты вырожденія существуютъ и въ человѣческомъ родѣ. Извѣстно, что при недостаткѣ помѣси крови вырождались и исчезали цѣлыя фамиліи, ослабѣвали и клонились къ упадку цѣлыя націи. Изъ этого очевидно, какую важную роль должна играть помѣсь крови въ гигиеническомъ отношеніи.

Почему же именно помѣсь крови дѣйствуетъ такъ благотворно?—Не говоря о томъ, не вполне еще разъясненномъ, но фактически несомнѣнномъ наблюденіи, что браки между близкими родственниками влекутъ за собою упадокъ производительной силы, — браки между лицами, живущими въ одной ограниченной мѣстности, должны содѣйствовать увеличенію на поколѣніи тѣхъ физическихъ недостатковъ, какіе существуютъ въ этой мѣстности. Положимъ напримѣръ, что въ извѣстномъ уѣздѣ, вслѣдствіе физическихъ условій мѣстности или образа жизни, у многихъ жителей развивается кретинизмъ, англійская болѣзнь, золотуха и пр.; эти жители, родясь только между собой, неизбѣжно усиливаютъ сказанныя болѣзни, такъ какъ лучшихъ и болѣе крѣпкихъ производителей взять не откуда. Мы указали на болѣе рѣзкій примѣръ, но сколько другихъ, весьма разнообразныхъ, явныхъ и скрытыхъ недостатковъ можетъ развиться въ народонаселеніи всякой

мѣстности, — недостатковъ, свойственныхъ именно взятому народонаселенію, потому что они происходятъ отъ продолжительнаго существованія одинаковыхъ болѣзненныхъ условій. Въ другой мѣстности и при другихъ условіяхъ здоровье народонаселенія можетъ быть или менѣе ослаблено, или существующія болѣзни и недостатки сложенія могутъ проявиться въ другой формѣ. При помѣси крови между двумя народностями, сословіями и пр., существующіе недостатки сглаживаются или вслѣдствіе подновленія ослабѣвшей породы породой болѣе сильною, или вслѣдствіе парализованія существующихъ недостатковъ недостатками противоположнаго свойства, какъ мы это видѣли выше, при подборѣ супруговъ. Этимъ, или, можетъ быть, многими другими путями дѣйствуетъ помѣсь крови, но несомнѣнно то, что въ общей массѣ она дѣйствуетъ благотѣльно. Цивилизованіе образованными народами дикихъ и полудикихъ племень идетъ рука объ руку съ помѣсью, если не зависитъ преимущественно отъ нея. Жизнь сословія псыкла бы въ непродолжительномъ времени, если бы оно не подновлялось постояннымъ притокомъ чуждыхъ элементовъ, отличающихся отъ него и физическимъ сложеніемъ, и нравственными свойствами. Въ этомъ непрерывномъ обмѣнѣ, въ этомъ разнообразіи, въ этой, можно сказать, борьбѣ и заключается источникъ общественныхъ силъ и живучесть всякаго сословія. Изолируйте какое угодно сословіе, — въ средѣ его въ скоромъ времени накопится столько физическихъ и нравственныхъ недостатковъ, что оно измельчаетъ, вырождается, сгоритъ и потухнетъ точно также, какъ сгараетъ всякое органическое тѣло.

Составляя одно изъ существенныхъ условій физическаго и моральнаго развитія народовъ, помѣсь крови совершается, въ большей или меньшей степени, почти повсюду, какъ между племенами и народами, такъ и между сословіями и семействами. Степень проявленія ея бываетъ, конечно, различна, смотря потому, гдѣ существуетъ больше условій, содѣйствующихъ или противодѣйствующихъ этому. Объ этихъ условіяхъ мы и считаемъ нужнымъ поговорить здѣсь.

Географическія условія страны и степень сношенія жителей съ сосѣдними народами могутъ существенно содѣйствовать или противодѣйствовать инородной, внѣшней помѣси. Мѣстности изолированныя или слишкомъ отдаленныя (нѣкоторые острова, китайская имперія и пр.), гдѣ жители не находятся почти ни въ какихъ сношеніяхъ съ жителями другихъ мѣстностей, естественно препятствуютъ помѣси. Поэтому въ такихъ мѣстностяхъ развитіе обык-

новенно подвигается очень медленно, типъ жителей не совершенствуется, или остается на одномъ уровнѣ, или даже ухудшается. Между этими мѣстностями болѣе противодействуютъ вырожденію тѣ, которыя занимаютъ большія пространства и имѣютъ смѣшанное народонаселеніе, нежели мѣстности небольшія съ однообразнымъ народонаселеніемъ. Въ первыхъ можетъ еще происходить внутренняя помѣсь (областная, сословная), вслѣдствіе чего типъ жителей разнообразится и подновляется, между тѣмъ какъ во вторыхъ, болѣею частію, мало или вовсе не цивилизованныхъ, гдѣ между жителями нѣтъ ни племеннаго, ни сословнаго различія, при существующемъ однообразіи, помѣси дѣлаются невозможными. Въ первомъ случаѣ отсутствіе внѣшней помѣси мѣшаетъ только прогрессивному развитію народа, обуславливаетъ умственный и физическій застой; но не мѣшаетъ здоровью народонаселенія. Во второмъ случаѣ, при отсутствіи даже внутренняго разнообразія и помѣси, физическіе и нравственные недостатки народа, развившіеся въ данной ограниченной мѣстности подъ вліяніемъ постоянно существующихъ однихъ и тѣхъ же условій, будутъ прогрессивно увеличиваться.

Въ тѣхъ странахъ, которыя по географическому положенію, политическому развитію жителей не разобщены отъ другихъ населенныхъ и цивилизованныхъ мѣстностей, внѣшняя помѣсь, въ той или другой степени, происходитъ неизбѣжно. Вслѣдствіе этого совершается непрерывный обмѣнъ какъ физическихъ, такъ и моральныхъ силъ, — обмѣнъ, при которомъ слагается типъ и увеличивается ростъ каждой націи, подновляются ея силы, сглаживаются недостатки. Такую помѣсь мы видимъ у всѣхъ европейскихъ народовъ. Ей содѣйствуютъ просвѣщеніе страны, торговля и политическія сношенія, удобства путей сообщенія.

Степень внутренней помѣси и результатъ ея въ каждой странѣ зависитъ также отъ географическихъ условій, характера народонаселенія, сословныхъ предразсудковъ, сословныхъ правъ и религіозныхъ взглядовъ.

Страна, раскинутая на большомъ пространствѣ, гдѣ существуетъ большое разнообразіе климата, мѣстности и вообще всѣхъ физическихъ условій, даетъ возможность къ разнообразному развитію жителей. Въ этомъ отношеніи Россія даетъ самыя выгодныя условія. Здѣсь вы найдете жителей, развившихся подъ самыми разнообразными широтами, начиная съ глубокаго сѣвера до Закавказья, — жителей самыхъ разнообразныхъ мѣстностей, начиная съ тундръ и кончая такими горными возвышенностями, гдѣ едва можетъ

обитать человѣкъ. Естественно, что такое разнообразіе физическихъ условій должно было отразиться на характерѣ и типѣ жителей. Поэтому въ Россіи, болѣе чѣмъ во всякой странѣ, можно встрѣтить самыя разнообразныя, самыя противоположныя типы сложеній и темпераментовъ. Поэтому внутренняя помѣсь у насъ должна бы была происходить самымъ дѣятельнымъ образомъ. До сихъ поръ однакожъ этому значительно препятствовали недостатки путей сообщенія и слишкомъ большая привязанность нашихъ жителей къ мѣстности. Поэтому многіе изъ отдаленныхъ провинцій Россіи могутъ быть разсматриваемы какъ мѣстности изолированныя. Родъ занятій русскаго простонародья (хлѣбопашество), недостатокъ предприимчивости и недостатокъ капитала и свободы (вслѣдствіе бывшаго крѣпостнаго состоянія) были причиною тому, что помѣси у насъ происходили несравненно рѣже, чѣмъ онѣ могли бы происходить. Эти помѣси могли быть только въ мѣстахъ центральныхъ, куда стекалось разнообразное народонаселеніе, именно въ столицахъ и большихъ городахъ, между тѣмъ какъ наибольшая масса народонаселенія рождалась только съ самыми близкими окрестными жителями (рѣдко переходя въ другую волость, еще рѣже въ другой уѣздъ и почти никогда въ другую губернію), стало быть жителями, развившимися подъ одними и тѣми же условіями, имѣющими болѣе или менѣе однообразныя свойства и недостатки. Вслѣдствіе этого результатъ помѣси крови у насъ былъ не такъ блистателенъ, какъ онъ могъ бы быть. Но можно надѣяться, что при лучшихъ путяхъ сообщенія, при большемъ богатствѣ, развитіи и свободѣ, сближеніе жителей увеличится, и тогда помѣсь крови, подновленіе провинціальныхъ типовъ будетъ замѣтнѣе. Во всякомъ случаѣ Россія, въ этомъ отношеніи, можетъ разсчитывать на свою живучесть, на свои внутреннія силы, на ростъ изъ самой себя. Обмельчаніе и вырожденіе типа въ будущемъ у насъ возможно развѣ только при самомъ несчастномъ политическомъ устройствѣ, именно если бы въ народѣ была убита всякая предприимчивость, прекратились бы сближенія между отдѣльными провинціями, если бы существующее разобщеніе массъ еще болѣе увеличилось, и отдѣльныя мѣстности Россіи еще болѣе стали играть роль изолированныхъ мѣстностей, чего конечно быть не можетъ. Съ другой стороны результатъ помѣси увеличился бы, если бы наши провинціи были болѣе самостоятельны, если бы жизнь каждой изъ нихъ не поглощалась общою центральною жизнію, если бы каждая провинція, подъ вліяніемъ собственныхъ физическихъ условій, выработывала не одни только особен-

ности сложенія и темперамента, но особенности умственные и нравственные, тогда при сближеніи этихъ разнообразно выработанныхъ данныхъ, результатъ помѣси былъ бы еще важнѣе. Въ этомъ случаѣ онъ могъ бы имѣть почти тоже значеніе, какъ помѣсь вѣшняя, иностранная.

Изъ другихъ странъ самую замѣчательную и плодотворную помѣсь представляетъ Америка. Цивилизованное народонаселеніе ея, составляющее пеструю смѣсь выходцевъ (или потомковъ ихъ) почти изъ всѣхъ странъ Европы, стало быть, лицъ съ самымъ разнообразнымъ физическимъ сложеніемъ и съ самыми разнообразными моральными задатками. При полной свободѣ сближенія, жизни и развитія, это народонаселеніе должно было воспроизвести въ поколѣніи новый типъ, или новые типы, въ которомъ олицетворились и объединились лучшія челоѣческія качества, выработывавшіяся въ Европѣ, подъ влияніемъ самыхъ разнообразныхъ физическихъ условій и политическихъ судебъ. Оттого ни въ одномъ европейскомъ народѣ, въ отдѣльности, мы не видимъ того совершенства, ума, предприимчивости, энергіи, какіе представляетъ намъ американскій народъ, вмѣстившій въ себѣ готовыя частицы всѣхъ европейскихъ цивилизацій, и отбросившій въ тоже время большую часть тѣхъ недостатковъ, которые неизбѣжно накаплиются, какъ продукты горенія, въ каждой странѣ, развивающей свою цивилизацію послѣдовательно изъ самой себя. Благодаря этой помѣси и задаткамъ для нея на будущее время, американская нація имѣетъ въ себѣ столько силы и живучести, что ни внутренніе раздоры, ни опустошительныя войны, ни другіе толчки, разшатывающіе политическій и гражданскій строй страны, не будутъ для нея такъ ощутительны, какъ для многихъ другихъ европейскихъ народовъ.

Происхожденію помѣсей, какъ мы сказали выше, могутъ препятствовать сословные предразсудки и религіозные взгляды. Мы хотимъ указать здѣсь на тѣ предразсудки, по которымъ извѣстные слои общества или извѣстныя семейства, вслѣдствіе истиннаго или ложнаго понятія о своихъ достоинствахъ, считаютъ предосудительнымъ или неприличнымъ мѣшать свою благородную кровь съ кровью менѣе благородною или плебейскою. Сплошь и рядомъ случается, что аристократъ или вообще дворянинъ всѣми мѣрами противоѣствуетъ тому, чтобы его дѣти не вступали въ брачныя сношенія съ дѣтьми изъ другого, по ихъ понятіямъ болѣе низкаго, сословія, не смотря даже на то, если послѣднія по своему образованію и природнымъ дарованіямъ значительно превосходятъ первыхъ. Такое *mésalliance* будто бы пятнаетъ ихъ родъ, мутитъ го-

глубую кровь, содѣйствуетъ вырожденію ихъ величаваго духа. Такое опасеніе не безосновательно. Новый элементъ, входящій въ семейство съ другими привычками и другимъ складомъ убѣжденій, естественно вноситъ ихъ вмѣстѣ съ собою и отражаетъ на потомствѣ. И мы дѣйствительно видимъ, что дѣти, происходящія отъ важнѣхъ фамилій, но при помѣси съ народнымъ элементомъ, утрачиваютъ свое аристократическое чванство, свои фамиліальные предрасудки и слабости и становятся уже гораздо ближе къ народу. Такая помѣсь оказывается тѣмъ болѣе благодѣтельной, что лица, (мужчины), выходящіе изъ народа и избираемые для такой помѣси, обыкновенно представляютъ собой людей передовыхъ, талантливыхъ; потому что только помощью своихъ личныхъ качествъ они могутъ сдѣлать такую помѣсь возможною. Слѣдовательно при подобныхъ бракахъ новыя и лучшія качества, вносимыя въ обществяную жизнь, по общему закону перевѣса лучшаго и сильнаго передъ худшимъ и слабымъ, должны торжествовать, представлять больше устойчивости, и стало бытъ аристократическая или дворянская кровь дѣйствительно должна терять свои качества. На этомъ и основывается подновленіе породъ, очищеніе крови отъ накопившихся недостатковъ. Даже въ томъ случаѣ, когда привилегированная личность женится по расчету, напр. на кучихѣ, что такъ часто случается, и тогда помѣсь крови можетъ отразиться на потомствѣ благодѣтельно. Одно то, что женщина изъ кучеческаго сословія вноситъ въ привилегированный кругъ долю своего здоровья, чего тамъ недостаетъ,—имѣеть уже много значенія. Но кромѣ здоровья по законамъ наследственности и путемъ воспитанія, женщина можетъ болѣе или менѣе парализовать или ослаблять тѣ сословныя нравственныя недостатки, которыхъ вездѣ такъ много. Дочки отъ матери кучихи и отца важнаго барина въ большинствѣ случаевъ не будутъ такъ тщеславны, расточительны и пусты, чѣмъ онѣ были бы отъ такой же матери. Во всякомъ сословіи есть масса, временемъ накопившихся, физическихъ и нравственныхъ недостатковъ, болѣею частію своеобразныхъ, вытекающихъ изъ историческаго склада жизни даннаго сословія. Но съ другой стороны вездѣ есть и хорошія стороны, свои отличительныя достоинства. При сословной помѣси лучшія качества сочетавшихся разнообразныхъ элементовъ будутъ имѣть перевѣсъ надъ худшими и такимъ образомъ чѣмъ больше въ сословіи будетъ помѣсей, тѣмъ больше будутъ очищаться сословныя недостатки. При противоположныхъ условіяхъ, естественно, произойдутъ и противоположныя послѣдствія: масса физическихъ и нравственныхъ недо-

статковъ будетъ накопляться больше и больше, и наконецъ доведетъ до того, что сословіе будетъ мельчать и вырождаться. Это мы и видимъ на самомъ дѣлѣ. Замѣнутыя сословія и кружки, происшедшія нѣкогда отъ прекрасныхъ родоначальниковъ, вскорѣ утрачиваютъ свои родовыя свойства и ослабѣваютъ такъ, что наконецъ совершенно стираются съ лица земли. Такъ исчезли многіе аристократическіе роды и продолжаютъ исчезать до сихъ поръ. Поэтому чѣмъ больше будетъ доступъ въ привилегированныя слои свѣжихъ народныхъ силъ, чѣмъ меньше будетъ предрасудковъ противъ плебейскаго происхожденія, тѣмъ больше шансовъ на моральное и физическое улучшеніе рода. Въ этомъ смыслѣ народныя силы, какъ обильный сырой матеріалъ, какъ кислородъ воздуха для горѣнія, будутъ служить неисчерпаемымъ источникомъ для поддержанія гражданской и государственной жизни.

Изъ вышесказаннаго слѣдуетъ, что на уснѣхъ помѣси, кромѣ сословныхъ предрасудковъ, будетъ имѣть вліяніе и установленіе сословныхъ нравъ. До тѣхъ поръ, пока негры останутся неграми, они не могутъ разсчитывать на помѣсь съ бѣлыми американцами. Во время существованія крѣпостной зависимости нельзя было ожидать сближенія народа съ дворянскимъ сословіемъ. Для этого нужно, чтобы народъ не только былъ свободенъ, но и богатъ, безъ чего самымъ талантливымъ личностямъ трудно выбраться изъ своей колен. Распространеніе грамотности, установленіе свободного права поступленія въ среднія и высшія учебныя заведенія, извѣстная доля обеспеченности и равноправности послужатъ въ экономіи государственныхъ производительныхъ силъ архимедовымъ рычагомъ. Образчикъ этого могущественнаго дѣятеля мы имѣемъ и теперь передъ глазами. Наше сельское духовенство, вышедшее непосредственно изъ народа, до сихъ поръ отличается отъ своихъ проатцевъ весьма немногимъ. Причетники и даже дьяконы, по матеріальному своему биту, почти тѣже мужики, но только грамотные и болѣе свободные. Дѣти ихъ имѣютъ право доступа въ университеты и другія учебныя заведенія и благодаря этому праву народно-духовный элементъ проникъ во всѣ слои общества, охватилъ собою всѣ роды дѣятельности и послужилъ весьма значительнымъ подспорьемъ для дворянства. Въ рядахъ ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, чиновниковъ и пр. они занимали и занимаютъ не послѣднее мѣсто, а при лучшихъ матеріальныхъ средствахъ притокъ этихъ силъ, естественно, былъ бы еще обильнѣе. Но что значить численность духовнаго сословія съ численностію крестьянства! Если бы для послѣднихъ въ прежнее время существовалъ таковой же доступъ къ

образованію и гражданской дѣятельности, то, само собою разумѣется, въ нашемъ образованномъ обществѣ былъ бы теперь во сто разъ большій процентъ свѣжихъ и энергическихъ силъ. Это послужило бы къ сліянію, въ послѣдующихъ поколѣніяхъ, дворянства съ народомъ точно также, какъ это сліяніе происходитъ теперь съ духовенствомъ. Такимъ образомъ открылся бы новый источникъ для обогащенія и подновленія привилегированныхъ породъ.

Наконецъ мы должны еще сказать о вліяніи на внутреннія помѣси религіозныхъ взглядовъ. Въ этомъ отношеніи, по крайнѣй мѣрѣ у насъ въ Россіи, можно указать на католиковъ, лютеранъ, магометанъ и евреевъ. Въ нашемъ простомъ народѣ существуетъ почти повсемѣстный предразсудокъ, по которому магометане и евреи считаются людьми погаными. Поэтому русскій крестьянинъ не только не женится на инородцахъ, исповѣдующихъ другую религію, но даже не заимствуетъ отъ нихъ никакихъ правилъ житейской мудрости. Тоже самое можно сказать относительно нѣмецкихъ колонистовъ и другихъ инородцевъ. Вслѣдствіе такого предразсудка происходитъ то, что, несмотря на самыя близкія поземельныя отношенія, не смотря на то, что русскіе крестьяне и инородцы сплошь и рядомъ живутъ въ одной деревнѣ, каждый изъ нихъ остается совершенно изолированнымъ. Татарскихъ и нѣмецкихъ помѣсей, несмотря на видимую возможность ихъ въ настоящее время въ массѣ народонаселенія, происходитъ весьма мало. Благодаря этому, нѣмцы-колонисты, разсѣянные въ Россіи небольшими отдѣльными группами, до сихъ поръ не исчезли въ массѣ русскаго народонаселенія, какъ бы слѣдовало ожидать въ силу общихъ законовъ, не слились съ нимъ и не удѣлили ему ничего, а остаются особнякомъ какъ *status in statu*. Поэтому же самому татары и многіе другіе инородцы продолжаютъ свое самостоятельное существованіе. Религія въ этомъ случаѣ служитъ имъ щитомъ отъ поглощенія болѣе сильнымъ племенемъ и съ другой стороны препятствуетъ намъ, путемъ помѣсей, заимствовать отъ инородцевъ особенности ихъ быта и физическаго сложенія. Тѣ же самыя инородцы, принявшіе господствующую религію, этимъ самымъ сближаются съ тѣмъ племенемъ, въ средѣ котораго они живутъ; вступаютъ съ нимъ въ брачныя сношенія и, по мѣрѣ нравственнаго и физическаго превосходства, или сами исчезаютъ въ массѣ другого племени, или привлекаютъ къ себѣ часть этой массы. Такъ какъ господствующее племя всегда имѣетъ на своей сторонѣ больше силы, то естественно, что горсть заброшенныхъ въ среду его инородцевъ должна переродиться легко и скоро. Такъ случилось напр.

съ жителями села Александровки (около Берлина, вблизи Подсада) — русскими мужиками, перевезенными туда въ недавнее время. Во второмъ поколѣніи ихъ русскій элементъ остался только въ одной наружности, и то едва замѣтно. Тоже самое можетъ случиться съ цѣлымъ народомъ, лишеннымъ самостоятельной политической жизни и связаннымъ съ другимъ господствующимъ народомъ единствомъ религіи. Такимъ образомъ религія служить цементомъ для соединенія племенъ, а политическое и моральное превосходство — средствомъ для поглощенія менѣе сильнаго и менѣе свободнаго племени. При такой помѣси иноплеменные силы входятъ въ составъ силъ національных и, стало быть, значительно содѣйствуютъ разнообразному физическому и нравственному развитію націи. Поэтому впрочемъ можно дѣлать точно такія же завоеванія, какъ и мечомъ.

В. Флориссій.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БИОГРАФИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЙНЕ.

(H. Heine's Sämmtliche Werke. 20-ter Band. Hamburg, 1863.)

Новыми матеріалами для біографіи и характеристики поэта являются письма, помѣщенные въ 20 т. полного собранія его сочиненій, и имѣющіе не только личный, но и историческій интересъ, такъ какъ они, съ одной стороны, во многомъ уясняютъ знаменитую личность поэта, а съ другой бросаютъ довольно яркій свѣтъ на время, къ которому они относятся.

То было время такъ называемой «молодой Германіи», время высшихъ стремленій, пламенныхъ надеждъ, разлетѣвшихся, какъ извѣстно, мыльными пузырями. Не даромъ Гейне съ ядовитою тоскою вспоминалъ объ этомъ времени, не даромъ говорилъ онъ въ одномъ изъ позднѣйшихъ своихъ сочиненій (Über Bögne): «Когда я перечитываю то, что писалъ шесть лѣтъ тому назадъ, тогда на душу мою ложатся, словно влажныя тѣни, всѣ тѣ безотрадныя муки, которыя въ то время я только предчувствовалъ. По самымъ пламеннымъ ощущеніямъ моимъ протекаетъ точно ледяная вода и жизнь моя ничто иное, какъ болѣзненное остолбенѣніе...» Не даромъ, при воспоминаніи о пережитомъ и сравненіи его съ настоящимъ, сплились поэту «сны темницы, нищеты, безумія, смерти»!

Первыя письма, помѣщенные въ 20 т. относятся къ 1832—40 г., когда дѣятельность «молодой Германіи», дѣятельность чисто литературная была въ полномъ разгарѣ. Въ это время Гейне жилъ въ Парижѣ, сдѣлавшемся средоточіемъ нѣмецкихъ эмигрантовъ, которые отсюда пропагандировали свои идеи. «Въ Парижѣ — писалъ онъ въ 1832 г. одному изъ своихъ друзей — я переживаю много великаго,

вижу всемірную исторію собственными глазами, нахожусь въ дружескихъ сношеніяхъ съ ея величайшими героями и когда нибудь, если останусь живъ, самъ сдѣлаюсь великимъ историкомъ».

Понятно, что Гейне принималъ самое дѣятельное участіе въ этой пропагандѣ. Правительство Германскаго союза смотрѣло на него крайне не ласковыми глазами; только эта неласковость доходила до смѣшного и особенно проявлялась въ старонѣмецкомъ цензурномъ наблюденіи за сочиненіями Гейне. Мы остановимся здѣсь на небольшомъ эпизодѣ, имѣющемъ довольно характеристическое значеніе.

Въ 1832 г. Гейне напечаталъ въ Германіи свое сочиненіе «Französische Zustände», кототому предпослалъ, какъ онъ это обыкновенно дѣлалъ, небольшое предисловіе... Мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи привести здѣсь это предисловіе.

«...Я пользуюсь этимъ случаемъ — говорить онъ — (т. е. изданіемъ книги: *Französische Zustände*), чтобы положительнѣйшимъ образомъ объявить, что я уже два года не печатаю ни одной строки ни въ одномъ изъ нѣмецкихъ политическихъ журналовъ, кромѣ *Allgemeine Zeitung*. Эта послѣдняя, вслѣдствіе своего значенія и несмысланно большаго числа подписчиковъ, показала мнѣ именно такую газетою, какая нужна для помѣщенія статей, имѣющихъ цѣлью вселить въ массу пониманіе настоящаго времени. Когда мы добьемся того, что эта масса пойметъ настоящее, тогда народы перестанутъ поддаваться подстрекательствамъ наемныхъ писакъ аристократіи, поджигающихъ ихъ къ ненависти и войнѣ, тогда осуществится великій союзъ народовъ, тогда намъ не нужно будетъ содержать сотни тысячъ солдатъ, тогда наконецъ мы достигнемъ мира, благосостоянія и свободы. Этой дѣятельности посвящена моя жизнь; она — моя общественная обязанность. Ненависть моихъ враговъ можетъ служить ручательствомъ, что до сихъ поръ я честно исполнялъ эту обязанность. Я всегда буду оказываться достойнымъ этой ненависти. Мои враги всегда будутъ цѣнить меня, какъ слѣдуетъ, не смотря на то, что мои друзья, въ пылу разгорѣвшихся страстей, принимаютъ мое осторожное спокойствіе за какую-то гнилую апатію. Конечно, теперь они поймутъ меня лучше, чѣмъ въ то время, когда имъ казалось, что они достигли цѣли своихъ желаній и когда надежды на побѣду раздували паруса всѣхъ ихъ помышлений; въ ихъ безумномъ увлеченіи я не принималъ никакого участія, но несчастіе ихъ всегда будетъ возбуждать мою искреннюю симпатію. Я не вернусь на родину до

тѣхъ поръ, пока хоть одинъ изъ этихъ благородныхъ бѣглецовъ будетъ бѣдствовать на чужбинѣ. Я скорѣе буду выпрашивать христаряди кусокъ хлѣба у бѣднѣйшаго изъ французовъ, чѣмъ стану служить тѣмъ богатымъ нѣмцамъ, которые считаютъ всякую сдержанность силы малодушіемъ или даже началомъ перехода къ рабству, и на нашу лучшую добродѣтель—вѣру въ честность нашего противника, смотреть какъ на плебейскую наслѣдственную глупость...

«Бѣдная, несчастная родина!... Ни одна нація не вынесла такого наглаго гнета, какъ Германія... Если вы позволите себѣ разсчитывать на нашу рабскую покорность, то вѣдь вы не имѣете никакого права считать насъ дураками. Какаянибудь горсть дворянчиковъ, которые обучены только искусству барышничать лошадьми, дѣлать вольты, показывать фокусы, и вообще тѣмъ грубымъ надувательнымъ искусствамъ, которыми можно ошеломить развѣ только поселянъ на ярмаркахъ;—эта горсть и этими штуками думаетъ надуть цѣлый народъ, да еще тотъ народъ, который изобрѣлъ порохъ, книгопечатаніе и критику чистаго разума. Это незаслуженное оскорбленіе — самое большое, какое только вы нанесли намъ въ присутствіи окружающихъ насъ народовъ, которые все еще съ изумленіемъ ожидаютъ, что мы намѣрены сдѣлать. Теперь—говорятъ они—дѣло идетъ уже не о свободѣ, а о чести.

«Я не обвиняю нѣмецкихъ конституціонныхъ государей; я знаю ихъ стѣснительное положеніе, знаю, что они сами томятся въ цѣпяхъ своей маленькой камарильи... Въ подвигахъ союзнаго сейма мы безусловно обвиняемъ только двѣ державы—Австрію и Пруссію...

«Съ Австрією мы должны сражаться, и сражаться на смерть, не выпуская меча изъ рукъ, но мы чувствуемъ въ глубинѣ души, что не имѣемъ права осыпать эту державу словами упрека. Австрія всегда была нашимъ честнымъ, открытымъ врагомъ, который никогда не отпирался отъ ненависти къ либерализму и не измѣнялъ своего образа мыслей хотя бы на самое короткое время. Меттернихъ никогда не любезничалъ съ богиней свободы, никогда не игралъ роль демагога, никогда не пѣлъ пѣсней Ардта и не пилъ при этомъ бѣлаго пива, никогда не притворялся набожнымъ пѣтастою, никогда не плакалъ съ заключенными въ крѣпости, какъ плачутъ другіе, которые въ то же время держатъ ихъ на крѣпкой привязи; — все и всегда знали, чего можно было ожидать отъ него, знала, что его слѣдовало остерегаться, и остерегались. Это былъ человекъ, на кото-

раго всегда можно было положиться, потому что онъ не обманывалъ милостивыми взглядами, не возмущалъ хитрыми шуточками. Всѣ знали, что онъ не руководствовался ни любовью, ни мелочною ненавистью, а дѣйствовалъ въ духѣ системы, которой Австрія не измѣняла въ продолженіе трехъ столѣтій. Это та самая система, за которую Австрія боролась съ реформациею; это та самая система, изъ за которой она начала войну съ революціею. За эту систему ратовали не только сыновья, но и дочери габсбургскаго дома. За сохраненіе этой системы Марія Антуанета смѣло схватилась въ Тюльери за оружіе; за сохраненіе этой системы Марія-Луиза въ томъ же самоѣ Тюльери отказалась отъ борьбы и положила оружіе. Для сохраненія этой системы императоръ Францъ отрекся отъ своихъ задушевніѣшихъ чувствъ и рѣшился терпѣть несказанное сердечное горе...

«О Пруссіи приходится говорить совсѣмъ въ иномъ тонѣ... Пруссія хорошо умѣетъ употреблять въ дѣло своихъ людей. Она умѣетъ даже извлекать выгоду изъ своихъ революціонеровъ. Для ея официальныхъ комедій ей нужны актеры всѣхъ цвѣтовъ... Еще въ послѣднее время она устроила дѣло такъ, что самые бѣшеные изъ ея демагоговъ стали вездѣ проповѣдывать, что вся Германія должна сдѣлаться прусскою. Гегель долженъ былъ оправдывать рабство, существующій порядокъ вещей, и доказывать, что этотъ послѣдній совершенно разуменъ. Шлейермахера заставили протестовать противъ свободы и проповѣдывать безусловную покорность вахмистрамъ. Возмутительно и гнусно это пользованіе философами и теологами, авторитетомъ которыхъ хотять дѣйствовать на необразованную массу и которыхъ заставляютъ обезчещивать себя измѣною разуму и Богу. Сколько прекрасныхъ именъ, сколько превосходныхъ дарованій погибло въ служеніи недостойнымъ цѣлямъ! Какъ славно было имя Аридта до тѣхъ поръ, пока вслѣдствіе увѣщаній, онъ не написалъ грязной книжонки, въ которой вертѣлъ хвостомъ, какъ собака, и по собачьи лаялъ на іюльское солнце. А имя Штегемана, это чистое имя, какъ низко упало оно съ тѣхъ поръ, какъ онъ началъ писать свои новыя пѣсни!... Что сказать о Шлейермахерѣ, этомъ кавалерѣ ордена Краснаго орла третьяго класса? Когда-то онъ былъ не такимъ кавалеромъ, и самъ былъ орломъ, и принадлежалъ къ первому классу. Но не только большіе люди падаютъ; та же самая участь постигаетъ и маленькихъ. Таковъ, напримѣръ, бѣдный Ранке, котораго прусское правительство послало одно время пу-

тешествовать на казенный счет... Его заставили недавно напечатать в официальной газетѣ апологію постановленій Союзнаго сейма. Другіе стипендіаты, которыхъ я не хочу называть здѣсь, были принуждены дѣлать тоже самое, — а между тѣмъ все это очень либеральные люди.

«О, я знаю ихъ, этихъ іезуитовъ! Стоить только одинъ разъ, по нуждѣ ли, или вслѣдствіе легкомыслія, принять отъ нихъ малѣйшій даръ, — и вы навсегда становитесь ихъ жертвой. Какъ изъ пещеры Прозерпины не возвращается никто изъ попадающихъ въ нее, такъ эти іезуиты не выпускаютъ изъ своихъ рукъ ни одного чловека, удостоившагося малѣйшей милости ихъ; съ трудомъ развѣ позволяютъ они своимъ плѣнникамъ проводить половину года не подѣ землю. И въ это-то время эти люди садятся подлѣ насъ, олимпійцевъ, и говорятъ, и пишутъ съ сладкимъ, какъ амврозія, либерализмомъ; но въ известное время ихъ снова утаскиваютъ въ подземную тьму, въ царство абскураантизма, и тамъ они пишутъ прусскія апологіи или даже оправданіе постановленій Союзнаго сейма».

Охарактеризовавъ потомъ прусскаго короля Фридриха-Вильгельма III, Гейне обращается къ прусскому правительству, говоря, что послѣ смерти Наполеона ему нечего бояться.

«Наполеонъ умеръ и вѣрнѣе запертъ въ свинцовомъ гробѣ, лежащемъ подѣ пескомъ Лонгвуда, на островѣ св. Елены. Вокругъ него шумитъ море. Значить, вамъ нечего его бояться. Вамъ не слѣдуетъ никого бояться, потому что вы могущественны и мудры. У васъ есть золото и друзья, и то, что продается — вы можете купить, а что смертно — можете убить. Съ вашей мудростью тоже невозможно бороться. Каждый изъ васъ — Соломонъ. Какъ онъ, вы имѣете желѣзные горшки, куда можете сажать людей, задающихъ вамъ загадки, о которыхъ вы и слышать не хотите, — а посадивъ, можете горшки закупоривать и потомъ бросать въ море забвенія. Какъ Соломонъ, вы тоже понимаете языкъ птицъ. Вы знаете все. Къ тому же у васъ въ услуженіи паходятся умѣйшія птицы, всѣ ястребы, всѣ вороны, и именно черныя, всѣ павлины, всѣ совы. Старый Самургъ тоже живъ; онъ вашъ великій визирь и въ тоже время самая ловкая птица въ мірѣ. Онъ хочетъ снова поставить государство на такую ногу, на какой оно находилось при допотопныхъ султанахъ, и для этого день и ночь неутомимо кладетъ яйца, которыя будутъ высидываться во Франкфуртѣ. А въ это время

Гуть — Гуть акредитованный удодъ, быстро бѣгаетъ по песку, неся въ клювъ самыя умерительныя дашеши. Право, вамъ нечего бояться

«Но только не совѣтую вамъ слишкомъ полагаться на наше безсиліе и нашу боязнь. Можетъ быть, не далеко отъ васъ уже стоитъ человекъ съ смѣлымъ сердцемъ и громкимъ языкомъ; знающій великое слово освобожденія и небожійся произнести его. Можетъ быть, онъ переодѣтъ покаймъ въ лакейскую ливрею или платье френчина, и вы не подозреваете, что тотъ, кто смиренно стаскивается съ васъ сапоги или веселятъ васъ своими шуточками, — погубитъ васъ.. Но не бойтесь! Я шучу, вы можете быть совершенно покойны. Наши глупые лакеи совѣтъ на притворяются. Не бойтесь маленькихъ шутовъ, которые иногда дѣлаютъ вамъ опасныя намеки. Большой шутъ защититъ васъ отъ маленькихъ. Большой шутъ — очень большой шутъ, исполинскаго роста, и имя его — нѣмецкій народъ.

«О, какой это большой шутъ! Его пестрая куртка состоитъ изъ тридцати шести кусковъ. На колпакѣ его, вмѣсто погремушекъ, висятъ тяжелыя колокола, а въ рукахъ онъ держитъ громадную палку. Но грудь его полна скорби. Только онъ не хочетъ думать о ней, и вслѣдствіе этого выкидываетъ веселыя фарсы, и по временамъ смѣется, чтобы не плакать. Когда же эта скорбь слишкомъ сильно охватываетъ его мозгъ, онъ, какъ сумасшедшій, трясетъ головою и оглушаетъ себя звономъ колоколовъ своего колпака. Когда приходитъ къ нему добрый пріятель и, симпатизируя его страданіямъ, начинаетъ говорить о нихъ или предлагаетъ противъ нихъ какое нибудь домашнее средство,—шутъ приходитъ въ неописанную ярость и колотитъ пріятеля желѣзною палкой. Вообще онъ бѣситъ на всѣхъ, желающихъ ему добра. Онъ самый заклятый врагъ своихъ друзей и лучший другъ своихъ враговъ. О, этотъ большой шутъ никогда не измѣнитъ вамъ; своими исполинскими фарсами онъ вѣчно будетъ веселятъ вашихъ дворянчиковъ, будетъ каждый день дѣлать свои старыя фокусы, и балансировать на носу огромными гадестями и держать на хвостѣ нѣсколько сотъ тысячъ солдатъ. Но не бойтесь, что эти тяжести когда нибудь покажутся ему слишкомъ тяжелыми. Не бойтесь, я шучу. Большой шутъ никогда не измѣнитъ вамъ, и когда маленькіе шуты захотятъ причинить вамъ огорченіе, большой забьетъ ихъ до смерти».

Таково было это предисловіе. Гейне отправилъ его къ своему издателю Кампе; Кампе препроводилъ въ цензуру, а цензура распорядилась такъ, что когда эта статья появилась въ печати, авторъ не узналъ ее. Понятно, какъ это подѣйствовало на него.

«Только что — писалъ онъ къ Кампе 28 декабря 1832 г. — я получилъ свое предисловіе въ совершенно обезображенномъ видѣ... Я ошеломленъ огорченіемъ, и только съ слѣдующею почтою вы получите слѣдующіе вамъ упреки. Теперь же спѣшу, почта отходить.. Именно потому, что теперь дѣло «молодой Германіи» находится въ такомъ скверномъ положеніи; мы должны все дѣлать для спасенія его. Я знаю, что если мое предисловіе появится въ такомъ видѣ, какъ оно написано, то двери Германіи навсегда запрутся для меня; тѣмъ не менѣе это необходимо... Скорѣе, скорѣе!.. Я только тогда начну спать сномъ честнаго человѣка, когда предисловіе будетъ напечатано... Теперь мы снова живемъ на лонѣ спокойствія. Только отвѣчайте мнѣ сейчасъ же; я до бѣшенства сердитъ на васъ... Прощайте и чортъ васъ побери! Въ самомъ дѣлѣ, я не засну до тѣхъ поръ, пока предисловіе не будетъ напечатано... Чортъ васъ побери!»

Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, именно 1 января 1833 г., Гейне напечаталъ въ газетѣ слѣдующее заявленіе: «Такъ какъ я принужденъ еще долго, а, можетъ быть, и всегда, жить далеко отъ отечества, то на меня тѣмъ болѣе прискорбно дѣйствуетъ всякое происшествіе, могущее вовлечь нѣмецкую публику въ заблужденіе касательно моего образа мыслей. Это случилось именно теперь, при изданіи «*Französische Zustände*» — книги, заключающей въ себѣ собраніе политическихъ статей, которыя я прежде писалъ для «*Allegemeine Zeitung*» и которыми, въ этомъ новомъ изданіи, должно было предшествовать подробное предисловіе. Никогда не сталъ бы я издавать эту книгу безъ этого предисловія, въ которомъ я подробно развилъ мысли, только намеками высказанныя въ вышеупомянутыхъ статьяхъ, и высказалъ новыя, думая выполнить этимъ большой гражданскій долгъ. Какъ же мнѣ выразить отвращеніе, овладѣвшее мною, когда я получалъ въ письмѣ оттискъ этого предисловія и увидѣлъ, что больше половины его было вычеркнуто цензурой; а что еще ужаснѣе, эти помарки не только обезобразили всѣ мси слова, но еще придали имъ совершенно другой, гнусный смыслъ! Этимъ заявленіемъ я хочу предупредить всякое ложное толкованіе, могу-

щее возникнуть при чтеніи моего предисловія. Прошу васъ, честные журналы, перепечатать эти строки».

Вопросъ объ этомъ происшествіи еще долго занималъ Гейне; но это была далеко не единственная стычка его съ нѣмецкою цензурою. Не станемъ, однако, забѣгать впередъ, а будемъ держаться хронологическаго порядка.

Къ 1833 г. относится начало дружбы Гейне съ Генрихомъ Лаубе. Судя по письмамъ поэта къ Лаубе, этотъ послѣдній былъ благороднѣйшая личность того времени; по крайней мѣрѣ, Гейне называлъ его «единственнымъ нѣмцемъ, интересовавшимъ его во *всѣхъ* отношеніяхъ», и письма его къ нему отличаются особенною задумчивостью и въ то же время особенно интересны, какъ матеріалъ для характеристики того времени.

10 іюля 1833 г. онъ писалъ къ нему: «Вы не можете себѣ представить, какой шумъ и гамъ происходитъ вокругъ меня. У меня на шеѣ *juste-milieu*, лицемерно-католическая партія карлистовъ и прусскіе шпіоны. Это все оттого, что мои «*Französische Zustände*» появились на французскомъ языкѣ, съ приложеніемъ предисловія въ полномъ, необезображенномъ видѣ. Это предисловіе напечатано также и пофѣмцки у Гайделофа и, можетъ быть, уже получено въ Лейпцигѣ, гдѣ вы можете прочесть его. Я бы самъ послалъ вамъ его, еслибъ не боялся компрометировать васъ. Берегите себя. Здѣсь нельзя ни одной минуты оставаться спокойнымъ. Въ прошедшее воскресенье арестовали многихъ нѣмцевъ, и самъ я каждую секунду боюсь подвергнуться той же участи. Можетъ быть, слѣдующее письмо мое вы получите изъ Лондона. Говорю вамъ это все для того, чтобы склонить васъ къ осторожности и увѣренности. Оставайтесь въ настоящую минуту какъ можно больше спокойнымъ. Притворяйтесь. Не бойтесь, что васъ не поймутъ. И я никогда не боялся этого. Изданіе предисловія именно въ это время, среди всеобщаго страха, убѣдить, надѣюсь, публику, что впередъ она можетъ вѣрить мнѣ даже тогда, когда я буду извлекать изъ своей флейты слишкомъ мягкіе звуки. Я стану играть на большой трубѣ, и въ настоящую минуту занять сочиненіемъ нѣсколькихъ энергическихъ шіесъ для этого инструмента...

«За все дружеское, что вы писали и печатали обо мнѣ, благодарю васъ отъ всей души. Будьте увѣрены, что я понимаю васъ, а вслѣдствіе этого цѣню и почитаю. Вы стоите выше, чѣмъ другіе,

которые видать только внѣшнія стороны либеральныхъ переворотовъ, а не болѣе глубокіе вопросы ихъ. Эти вопросы не касаются ни формъ, ни отдѣльныхъ личностей; главная сущность ихъ—матеріальное благосостояніе народа. Метафизическое направлеіе, господствовавшее до сихъ поръ, было спасительно и необходимо пока большая часть людей жила въ нищетѣ, и была принуждена утѣшаться духовными воззрѣніями. Но съ тѣхъ поръ, какъ вслѣдствіе успѣха въ промышленности и экономіи люди получили возможность выйти изъ своей матеріальной нищеты и быть счастливыми на землѣ—съ тѣхъ поръ... вы понимаете меня. Да и люди поймутъ насъ, когда мы имъ скажемъ, что впередъ они должны ѣсть каждый день говядину вмѣсто картофеля и будутъ меньше работать и больше танцевать. Будьте совершенно покойны: люди не ослы. Пишу вамъ эти строки въ кровати моей прекрасной и энергической подруги, которая сегодня ночью не отпустила меня отъ себя изъ боязни, чтобы меня не арестовали.»

27 го сентября 1835 года, онъ писалъ тому же Лаубе изъ Булони: «Благодарю отъ души, благодарю за неутомимую любовь, которую вы сказываете мнѣ! Если я рѣдко пишу вамъ, то Бога ради не приписывайте это моему равнодушію. Вы единственный человекъ въ Германіи, интересующій меня во *всѣхъ* отношеніяхъ; я чувствую это очень глубоко и именно поэтому не могу часто писать вамъ. Когда я беру перо, чтобы сдѣлать это, меня охватываетъ глубокое волненіе, а вы конечно знаете, что я принадлежу къ тѣмъ людямъ, которые малодушно боятся всѣхъ душевныхъ потрясеній, и стараются какъ можно дольше избѣгать ихъ. Ахъ, вѣдь вы знаете, что не смотря на величайшую осторожность, нами часто овладѣваетъ слишкомъ сильное чувство, лишшающее насъ той чистоты воззрѣнія и мышленія, отъ которой мнѣ всегда тяжело отказаться. Какъ только умъ нашъ омрачится, а душа испытываетъ потрясеніе, мы уже не товарищи боговъ. Этимъ товариществомъ, — сознаюсь вамъ, я наслаждался долго; я странствовалъ спокойный и озаренный свѣтомъ; но вотъ уже девять мѣсяцевъ какъ въ моей душѣ снова начались сильныя бури и какъ меня окружають длинныя тѣни. Этимъ признаніемъ вы можете объяснить теперешнее мое бездѣйствіе; я все еще занятъ успокоеніемъ взволнованной души, и все еще стараюсь если не выбраться на ясный свѣтъ, то, по крайней мѣрѣ, выйти изъ глубины тѣмы.»

«Ваше письмо, отправленное съ гомеопатомъ, я получилъ; но по-дателя его, къ сожалѣнiю, не видѣлъ, потому что былъ въ это время за городомъ, около Сен-Жермена въ замкѣ прекраснѣйшей, благороднѣйшей и умнѣйшей женщины... въ которую, однако, я не влюбленъ. Я осужденъ любить только самое низкое и самое глупое... Понимаете ли вы, какъ это должно мучить человѣка, который гордъ и очень уменъ?

«Я не мало безпокоился за васъ во время вашего ареста; письмо ваше, какъ ни грустенъ былъ его тонъ, все-таки подѣйствовало на меня какъ цѣлительный бальзамъ. Надѣюсь, что ваши дѣла пойдутъ лучше, хотя боюсь, что вы не избѣгнете судьбы, преслѣдующей людей нашего рода. Вѣдь вы принадлежите къ тѣмъ бойцамъ, которые умираютъ только на аренѣ.

«Собственно говоря, я золъ на васъ; мнѣ такъ не хочется думать о Германiи, а вы виною тому, что я долженъ думать о ней, потому что вы живете тамъ, и въ добавокъ къ этому я писать долженъ вамъ туда. Уже два года я не получаю изъ отечества ничего радостнаго, а тѣ нѣмцы, которыхъ я вижу въ Парижѣ, право, вылечили меня отъ тоски по родинѣ. Сволочь, нищѣ, грозящiе вамъ, когда вы имъ ничего не даете, подлещи, постоянно толкующiе о чести и отчизнѣ, лгуны и воры, — впрочемъ къ чему я говорю вамъ все это? Изъ вашего письма я увидѣлъ, что вы сами жалѣете меня, думая о неприятныхъ личностяхъ, являющихся ко мнѣ въ качествѣ моихъ соотечественниковъ. Я никогда не могъ давать *poignées de mains* грязнымъ господамъ, а теперь отказываю имъ даже въ моемъ лице-зрѣнiи.»

Черезъ два мѣсяца послѣ этого, Гейне опять писалъ къ нему: «Любезнѣйшiй Лаубе, ваше письмо, на которое я слѣшу отвѣчать, подѣйствовало на меня очень прискорбно; я увидѣлъ изъ него плачевное положенiе тамошнихъ дѣлъ и ваши собственныя постоянныя огорченiя. Въ эти три съ половиной мѣсяца, которые я провожу внѣ Парижа, до меня не доходила ни одна нѣмецкая газета, и я ничего не зналъ о недавно совершившемся литературномъ злодѣянiи *). Умоляю васъ всѣмъ, что вамъ дорого—въ войнѣ, которую ведетъ теперь «молодая Германiя», если не становиться на сторону этой послѣдней, то, по крайней мѣрѣ, сохранять очень *охранительный*

*) Здѣсь дѣло идетъ о почтенныхъ донорахъ Менцеля на Гудкова и другихъ писателей «молодой Германiи».

нейтралитетъ, и ни однимъ словомъ не нападать на это молодое поколѣніе. Дѣлайте строгое различіе между политическими и религиозными вопросами. Въ политическихъ вопросахъ вы можете дѣлать, сколько хотите, уступокъ, потому что политическія формы государственнаго устройства—только средства; монархія или республика, аристократическое или демократическое правленіе, все это не имѣетъ никакого значенія до тѣхъ поръ, пока не окончена борьба за первые принципы жизни, за самую идею жизни. Только въ послѣдствіи возбудится вопросъ о томъ, какими средствами можно осуществить эту идею? Такимъ разграниченіемъ вопросовъ можно также разсѣять опасенія цензуры; потому что разсужденій о религиозномъ принципѣ и нравственности нельзя запретить безъ того, чтобы не обвинить всю *протестантскую свободу мышленія* и произнесенія приговора; тутъ филистеры даютъ свое согласіе... Вы понимаете меня; я говорю: религиозный принципъ и нравственность, хотя въ сущности это одно и то же. Нравственность есть ничто иное, какъ перешедшая въ нравы религія. Когда же преданія прошедшаго приходятъ въ гниеніе, тогда и нравственность получаетъ затхлый запахъ. Мы протестанты хотимъ здоровую религію, для того чтобы и нравственность снова поздоровѣла и получила лучшее основаніе, чѣмъ теперь, когда этимъ основаніемъ ей служатъ только невѣріе и прогнившее ханжество.

«Можетъ быть, и безъ этихъ словъ вы поняли бы, почему я всегда ограждалъ себя протестантскимъ правомъ, точно также какъ вы легко поимаете грубую хитрость моихъ противниковъ, объявляющихъ меня членомъ синагоги... Съ какимъ состраданіемъ я смотрю на этихъ червей,—этого вы себя представить не можете. Кто знаетъ лозунгъ будущаго, тому не могутъ причинить никакого вреда мошенники настоящаго времени. Я знаю, кто я такой.

«Въ настоящую минуту у меня слишкомъ много дѣла... Приходится имѣть дѣло съ господиномъ Менцелемъ,—это отвратительно. Менцель—грязное созданіе, прикосновеніе къ которому можетъ только замарать. Это въ высшей степени лицемѣрный негодяй. Если бы можно было писать петли, онъ бы давно уже висѣлъ. Это—пошлая натура, пошлый человѣкъ, котораго слѣдовало бы награждать пинками.

«Теперь нападать на насъ! Теперь, когда противная партія держать насъ подъ ногами! Это могъ сдѣлать только Менцель, кото-

рый никогда не смотрѣлъ серьезно на наше дѣло... Надѣньте-ка перчатки, любезнѣйшій другъ, и возьмите хорошую палку, и прочтите этого грязнаго бездѣльника такъ, какъ онъ заслуживаетъ,—раскройте его личную исторію, заключающую въ себѣ столько мерзостей. Это ваше дѣло; добудьте себѣ необходимыя для біографіи матеріалы изъ Бреславля и Швейцаріи, гдѣ онъ провонялъ собою воздухъ.—Нѣтъ сомнѣнія, что молодежь нѣмецкихъ университетовъ угоститъ его самыми фактическими побоями.

«...Разсчитывайте всегда на мое искреннѣйшее участіе во всемъ, что касается лично васъ. Мнѣ очень пріятно, что вы хорошо сошлись съ нѣкоторыми изъ моихъ берлинскихъ друзей. Варнгагенъ—одинъ изъ необыкновеннѣйшихъ людей; это свѣтлая и надежная личность; мы такъ хорошо понимаемъ другъ друга, что не видимъ надобности вести между собой переписку. Вашъ вопросъ о томъ—вернулся-ли я въ Германію, очень огорчилъ меня; потому что, сознаюсь, это добровольное изгнаніе—одна изъ величайшихъ жертвъ, приносимыхъ мною *мысли*. Въ случаѣ возвращенія на родину, я бы увидѣлъ себя въ необходимости принять общественное положеніе, которое повлекло бы за собою всевозможныя злонамѣренныя толкованія. Я стараюсь избѣгать даже *видимаю* неблагородства. Сколько мнѣ извѣстно, ни одно правительство не можетъ ни въ чемъ обвинить меня; я оставался далеко въ сторонѣ отъ всѣхъ происковъ яacobинства; знаменитое предисловіе, которое, уже когда оно было напечатано, я съумѣлъ уничтожить у Кампе, появилось впослѣдствіи въ свѣтъ, только благодаря дѣятельности прусскаго шпіона Клапрота, объ этомъ знало посольство, такъ что меня нельзя обвинить даже въ преступленіи противъ печати; со всѣхъ сторонъ, чрезъ посредство дипломатовъ, съ которыми я нахожусь въ Парижѣ въ очень хорошихъ отношеніяхъ, ко мнѣ доходятъ дружескіе голоса. Но все это—причины, которыя скорѣе удерживаютъ меня отъ возвращенія на родину, чѣмъ привлекаютъ въ нее. Къ этому присоединяется еще озлобленіе нѣмецкихъ яacobинцевъ Парижа, которые въ моемъ возвращеніи домой увидятъ доказательство измѣны отечеству. До этихъ поръ они могли клеветать на меня только на основаніи догадокъ; до этихъ поръ я не далъ клеветѣ ни одного факта. Вы видите изъ всего этого, что мое путешествіе въ Вѣну должно быть отложено надолго».

Между тѣмъ цензурныя преслѣдованія сочиненій Гейне не пре-

вражались; въ рѣдкомъ изъ писемъ его нѣтъ извѣстiя объ изуродованiи того или другаго изъ его сочиненiй. Наконецъ союзный сеймъ столь нужнымъ прибѣгнуть къ рѣшительному запрещенiю всѣхъ сочиненiй, выходящихъ изъ школы «молодой Германiи».

Когда Гейне узналъ изъ газетъ объ этомъ распоряженiи Сейма, то онъ написалъ къ Кампе: «Сегодня не могу еще ничего сказать вамъ о статьѣ газеты «Nüremberger Zeitung», судя по которой, въ Пруссiи запрещены сочиненiя какъ мои, такъ и остальной «молодой Германiи». Ожидаю отъ васъ болѣе точнаго подтвержденiя этого случая и вашихъ собственныхъ соображенiй. Полагаю, что и вы не такъ легко испугаетесь. Всему преслѣдованiю «молодой Германiи» я не придаю особенно важнаго значенiя. Увидите, что крику будетъ много, а дѣла — мало... На неслыханную вещь — запрещенiе книгъ, которыя еще не написаны, Пруссiя не посмѣетъ рѣшиться, потому что въ этомъ случаѣ къ общественному неудовольствию присоединится еще осмѣянiе. Я не пугаюсь и держусь того мнѣнiя, что чѣмъ смѣлѣе мы боремся, тѣмъ легче намъ совладать съ нашими противниками. Боязнь во время опасности — самая опасная вещь. Сознанiе, что я уже четыре года ничего не писалъ противъ правительства и, какъ всѣмъ извѣстно, не шелъ объ руку съ якобинцами, моя чистая и честная совѣсть, не позволяютъ мнѣ быть на столько жалодушнымъ, чтобы отречься отъ молодыхъ людей, невинныхъ въ политическомъ отношенiи; напротивъ того, я послалъ въ «Algemeine Zeitung» заявленiе (которое можетъ быть уже напечатано), что я не отказался бы быть сотрудникомъ журнала «Deutsche Revue»... Если же прусское правительство дѣйствительно рѣшится на такое безумiе, то мнѣ будетъ легче, чѣмъ кому нибудь другому, избѣжать дѣйствiя его декретовъ; мой слогъ слишкомъ хорошо извѣстенъ для того, чтобы я былъ въ необходимости подписываться подъ моими сочиненiями... Прощайте, и будемъ въ эти тяжелыя времена выказывать столько же спокойствiя, сколько выказываютъ наши противники бѣшеной ярости. Теперь я здоровѣе и веселѣе, чѣмъ когда либо, и всею душою вливаю въ себя всѣ наслажденiя этого веселаго сезона. Слава вѣчнымъ богамъ!»

Извѣстiе о распоряженiи союзнаго правительства подтвердилось, и тогда Гейне обратился къ союзному собранiю съ слѣдующимъ юмористическимъ посланiемъ:

«Глубокимъ прискорбiемъ наполнило мою душу постановленiе,

сдѣланное вами въ 31-мъ засѣданіи 1835 года. Сознаюсъ вѣтъ, милостивые государи (во французскомъ переводѣ этого посланія, Гейне называлъ членовъ собранія *messieurs*), что къ этому при- скорбію присоединяется еще величайшее изумленіе. Вы обвинили, осудили и приговорили меня, не получивъ отъ меня ни словеснаго, ни письменнаго отвѣта, не поручивъ никому моей защиты, не обратившись ко мнѣ съ вопросомъ. Не такъ дѣйствовала въ подобныхъ случаяхъ священная Римская имперія, мѣсто которой заступилъ Германскій Союзъ; доктору Мартину Лютеру, славы памяти, было дозволено, въ сопровожденіи свободной свиты, появиться на имперскомъ сеймѣ и тамъ свободно и публично защищать себя отъ всѣхъ обвиненій. Я далеко отъ надмѣннаго притязанія сравнивать себя съ знаменитымъ и дорогимъ человѣкомъ, доставившимъ намъ свободу мыслей въ религіозныхъ дѣлахъ; но ученикъ любить ссылаться на примѣръ учителя. Если вы, милостивые государи, не хотите дозволить мнѣ лично защитить себя передъ вами, то дозвольте, по крайней мѣрѣ, сказать свободное слово въ нѣмецкой прессѣ, и от- мѣните запрещеніе, наложенное вами на все, что я пишу. Эти слова не протестъ, а только просьба. Если я боюсь чего нибудь, такъ это мнѣнія публики, которое можетъ принять мое вынужденное молчаніе за сознаніе въ порочности моихъ тенденцій или за отреченіе отъ моихъ собственныхъ сочиненій. Какъ скоро мнѣ будетъ дозволено произнести свободное слово, я надѣюсь доказать, что мои сочиненія суть порожденіе не безбожнаго и безнравственнаго наслажденія, а истинно религіознаго и нравственнаго синтеза,—синтеза, который признаетъ не только новая литературная школа, извѣстная подъ названіемъ: «молодой Германія», но и множество нашихъ знаменитѣйшихъ писателей, какъ поэтовъ, такъ и философовъ. Но какъ бы вы, милостивые государи, ни рѣшали мою просьбу, будьте увѣрены, что я всегда буду повиноваться законамъ моего отечества. Случай, поставившій меня вѣтъ вашей власти, никогда не добудитъ меня говорить враждебнымъ явкомъ; я чту въ васъ высшую правительственную власть дорогаго отечества. Личная безопасность, которою я пользуюсь вслѣдствіе пребыванія за границей, къ счастью, позволяетъ мнѣ, безъ боязни подать поводъ къ злонамѣреннымъ толкованіямъ, принести вамъ, милостивые государи, съ приличнымъ вѣрнопоподданническимъ чувствомъ, увѣреніе моего глубочайшаго высокопочитанія.»

Мы назвали это письмо юмористическимъ по отношенію къ почти-тельному тону его. Дѣйствительно, черезъ нѣсколько дней послѣ того, именно 4-го февраля 1836 года, Гейне писалъ въ Кампе:

«Ваше послѣднее письмо, въ которомъ вы сообщаете мнѣ о храбрѣ поступкѣ Союзнаго сейма, я получилъ, и очень радъ, что этотъ поступокъ не привелъ васъ въ смущеніе. На все это дѣло я смотрю, какъ на выстрѣлъ холостымъ зарядомъ. Но, во всякомъ случаѣ, я счелъ нужнымъ погладить по головѣ эти старые парики, и мое младенчески-сладко-покорное письмо, безъ сомнѣнія, произведетъ хорошее дѣйствіе. Союзный сеймъ будетъ тронутъ. Всѣ обращаются съ нимъ, какъ съ собакой, и поэтому моя вѣжливость, мое тонкое обращеніе будутъ приняты съ особенною благосклонностью. «Вотъ—скажетъ сеймъ—вотъ человекъ, чувствующій по человѣчески и не обращающійся съ нами, какъ съ собакой! И этого благороднаго человека мы хотѣли преслѣдовать! И его мы объявили безбожнымъ и безправственнымъ!» И тридцать шесть носовыхъ платковъ оросятся слезами Союзнаго сейма... Пруссія тоже, повидному, образумилась, и представитель ея интеллигенціи уже хорошо понимаетъ, въ какомъ смѣшномъ свѣтѣ выставляетъ его запрещеніе будущихъ книгъ.»

Въ слѣдующемъ письмѣ онъ говорилъ тому же самому Кампе: «Сегодня посылаю вамъ заемное письмо на сумму, которую я взялъ здѣсь на вашъ счетъ! Въ прошедшемъ письмѣ я положительно объявилъ вамъ, что лучше не буду ничего печатать, чѣмъ унижусь до подчиненія себя прусской цензурѣ; поэтому прошу васъ, въ случаѣ если посланную къ вамъ рукопись моего новаго сочиненія вы не можете печатать иначе, какъ по разсмотрѣніи ее прусскою цензурой—не принимать моей сегодняшней посылки. Пруссаки писали сюда въ редакцію «Revue des deux Mondes», что они запретятъ ввозъ этого журнала въ Германію, если я буду помѣщать въ немъ статьи, противныя ихъ духу; они, какъ видно, имѣютъ намѣреніе или разорить меня, или сдѣлать мошенникомъ; послѣднее имъ не удастся... Итакъ, я повторю мою просьбу—не акцептовать сегодняшняго переводнаго векселя въ томъ случаѣ, если вы не можете напечатать мою книгу на вышеозначенномъ условіи, потому что иначе я окажусь вашимъ должникомъ, чего мое критическое положеніе въ настоящую минуту не позволяетъ мнѣ... Теперь вы можете прислать мнѣ книги съ парохомъ; прибавьте къ нимъ также два тома «Солона», потому что помѣщенныя въ нихъ стихотворенія нужны мнѣ для по-

ваго изданія «Buch der Lieder»; но какъ отъ этого изданія, такъ и отъ третьяго изданія «Reisebilder» я откажусь, если мнѣ и въ этомъ случаѣ нельзя будетъ обойтись безъ вмѣшательства прусской цензуры. Въ настоящую минуту я служу представителемъ послѣдняго остатка свободы нѣмецкаго духа.»

Вотъ еще одно мѣсто изъ письма къ Кампе, касающееся того же предмета: «Мнѣ не хочется ничего дѣлать. Моя книга, если вы не напечатаете ее, должна остаться вовсе ненапечатанною, какъ ни плохи мои обстоятельства, я откажусь отъ гонорарія, который уже внесъ въ свой бюджетъ... Отвратительно скверное, прусское время!.. Вообще, не забывайте моего послѣдняго письма, въ которомъ я положительно говорилъ вамъ, чтобы вы не акцептовали переводнаго векселя, если находите необходимымъ отдать мою книгу на разсмотрѣнiе прусской цензуры. А я, бѣднѣйшій, думалъ обрадовать васъ еще новой просьбой, потому что вы не можете себѣ представить, какъ я нуждаюсь въ деньгахъ. Но ни въ какомъ случаѣ я не хочу быть вашимъ должникомъ, потому что не знаю, до какой степени неистовствуетъ въ вашей душѣ страхъ передъ реакціею... Прощайте и скорѣе отвѣчайте мнѣ. Если вы знаете какое нибудь средство къ появленію моей книги, кромѣ прусской цензуры,—увѣдомьте немедленно, потому что моя книга должна или скоро появиться, или совсѣмъ не появится... Я боленъ отъ огорченій... Я вижу, что и партія умѣренныхъ разбита. Теперь я... да право, я и самъ не знаю, что стану дѣлать! Но прежде всего мнѣ необходимо спасти свою честь, Кампе, я говорю очень серьезно, и надѣюсь, что въ случаѣ невозможности выполнить мое условіе, вы скоро возвратите мнѣ мою рукопись. До этого я не буду въ состояніи уснуть.»

Полагаемъ, что и приведенныхъ мѣстъ достаточно для характеристики Гейне, какъ писателя, не жертвующаго своими убѣжденіями изъ-за денегъ,—въ чемъ постоянно упрекали его враги. Понятно, что эти постоянныя столкновенія съ прусской цензурой, казнившей даже невиннѣйшія его произведенія, каковы, напримѣръ, пѣсни въ «Buch der Lieder», повергали его въ уныніе, смѣшанное съ злобынымъ негодованіемъ. «Въ настоящую минуту—писалъ онъ къ Кампе 1-го сентября 1836 г.—я точно травленая собака; мучительнѣйшія и непредвидѣнныя бѣдствія сыпятся на меня, и всѣ мои литературные интересы должны страдать отъ этого... Я одинъ изъ несчастнѣйшихъ писателей настоящаго времени. Три раза начиналъ я

писать предисловіе къ «Солону» и три раза уничтожалъ его... Къ чему мнѣ писать, когда нельзя ничего печатать.» — «Вы не знаете — говорилъ онъ ему въ другомъ письмѣ того же года — въ какое горькое расположеніе духа повергаетъ меня необходимость цензуровать въ головѣ каждую мысль, появляющуюся въ ней; необходимость писать въ то время, когда надъ головою виситъ на одномъ волоскѣ мечъ цензуры... Право, тутъ поневолѣ сойдешь съ ума!.. Часто ночью я не могу спать при мысли о томъ, до какой степени умерщвлены мои мысли въ «Романтической Школѣ» и второй части «Солона», и о томъ, что я, прежде говорившій какъ мужчина, теперь долженъ лепетать, какъ младенецъ. Въ последнее время я потерялъ, вслѣдствіе несчастія, много тысячъ и скорбѣлъ о деньгахъ далеко не такъ сильно, какъ о моихъ литературныхъ невзгодахъ...»

Нечего и говорить, что все это (впрочемъ, надо сознаться въ соединеніи съ отсутствіемъ всякой экономіи) сильно подрывало матеріальное благосостояніе поэта; онъ постоянно нуждался и терпѣлъ лишенія. Въ этомъ отношеніи, да и въ нѣкоторыхъ другихъ, интересно письмо его къ Мозесу Мозеру отъ 8 ноября 1836 г.

«Вслѣдствіе (писалъ онъ) одного, весьма трагическаго происшествія, я нахожусь въ невообразимо-стѣснительномъ денежномъ положеніи, оставаясь вдалекѣ отъ тѣхъ многихъ ресурсовъ, которые еще сохранились у меня послѣ постыдныхъ грабительствъ, совершенныхъ надо мною частными и другими лицами... Одолженіемъ мнѣ взаимны 400 талеровъ ты можешь обазать мнѣ важную услугу... Что касается до уплаты ихъ, то я долженъ тебѣ сказать вотъ что: мои дѣла въ настоящую минуту такъ плохи, что только съумашедшій или другъ можетъ дать мнѣ денегъ взаимны. Съ моими дядей, милліонеромъ, я недавно поссорился самымъ сплнымъ образомъ; я не могъ долѣе переносить его презрительное обращеніе. Мои французскіе друзья поставили меня своимъ милымъ легкомысліемъ въ самое критическое положеніе. Другіе эксплуатировали меня. Въ Германіи мнѣ позволяютъ печатать только кроткія стихотворенія и невинныя сказки, тогда какъ въ моемъ портфелѣ лежатъ печи совсѣмъ иного рода; копированіе моего пера безъ всякаго суда и расправы я считаю нарушеніемъ самаго неоспоримаго права собственности — собственности литературной, грубымъ грабежемъ. Но этихъ людямъ удалось раззорить меня только въ финансовомъ отношеніи... Не знаю, любезный Мозеръ, такъ ли ты цѣнишь меня теперь, какъ

дѣшилъ прежде; но знаю, что съ тѣхъ поръ я ничего не утратилъ изъ моей внутренней стоимости. Если бы это послѣднее случилось, я не былъ бы теперь въ такомъ критическомъ положеніи, или, по крайней мѣрѣ, прибѣгалъ бы съ просьбою о помощи не къ тебѣ, а къ людямъ совсѣмъ иного рода. Не вѣрь тому, что говорятъ обо мнѣ; суди всегда только по моимъ поступкамъ. Не придавай вѣры ни одной замѣткѣ, не подписанной моимъ именемъ. На меня нападаютъ и клеветуютъ въ одно и то же время христіане и евреи; эти послѣдніе злы на меня за то, что я не подымаю меча въ защиту ихъ эмансипаціи въ Баденѣ, Нассау и другихъ ничтожныхъ государствахъ. О, близорукіе! Вѣдь только передъ воротами Рима можно защищать Карфагенъ... Пишу тебѣ эти строки изъ Авиньона, прежней резиденціи папъ и Петрарки; этого послѣдняго я не люблю также сильно, какъ и первыхъ; я ненавижу ложь въ поэзіи столько же, сколько и въ жизни.»

Матеріальная нужда не оставляла поэта до послѣднихъ дней его жизни. А между тѣмъ враги его то и дѣло распускали про него самыя неблагонамѣренныя слухи; говорили, что онъ на жалованья у французскаго правительства и т. п. Въ 1840 г. онъ писалъ къ Кампе. «Я работаю много и долженъ отражать много нападений. Здѣсь говорятъ, что я продалъ себя министерству за 100 т. франковъ; противъ этаго я долженъ былъ возражать въ «Constitutinnel». Между тѣмъ я бѣденъ, какъ Ювъ, и въ то время, какъ я занимаюсь только высшими интересами, деньги мало по малу уходятъ изъ кармана. Вѣрьте мнѣ, если я не хочу идеалистически умереть съ голоду, какъ нѣмецкій поэтъ, то долженъ стараться эксплуатировать свое перо.»

Какъ относятся Гейне къ своимъ врагамъ—это мы показали читателямъ при ознакомленіи ихъ съ 19 т. его сочиненій.

Не смотря на всѣ невзгоды и неприятности, дѣятельность Гейне была изумительна; онъ не переставалъ писать и весь отдавался работамъ о своихъ произведеніяхъ. Въ этомъ отношеніи онъ доходилъ даже до излишней мелочности; такъ наприимѣръ, въ нѣсколькихъ письмахъ къ Кампе онъ закликаетъ его обратить вниманіе корректора на то, чтобы знаки препинанія ставились точно такъ, какъ въ оригиналѣ, и страшно сердится, когда его желаніе не исполняется. Изъ писемъ его видно, что въ 1837 г. онъ занимался составленіемъ исторіи своей жизни, и придавалъ этому сочиненію огромное значе-

нѣ. «День и ночь—писалъ онъ къ Кампе—я занимаюсь монимъ большимъ сочиненіемъ—романомъ моей жизни, и только теперь понимаю цѣну тѣхъ бумагъ, которыя я потерялъ, вслѣдствіе пожара въ домѣ моей матери. Въ послѣднемъ письмѣ я уже говорилъ вамъ, что радуюсь, что могу предложить вамъ эту книгу... Она превзойдетъ интересомъ всѣ мои прежнія сочиненія... Вы знаете, что я не люблю хвастаться, но могу уже теперь предсказать этой книгѣ самый необыкновенный успѣхъ, такъ какъ я знаю публику и хорошо понимаю, съ какими личностями, обстоятельствами и происшествіями она любить знакомиться.»

Что сдѣлалось съ этой книгой—неизвѣстно; можетъ быть, часть ея заключается въ тѣхъ мемуарахъ, которые родные поэта ревниво хранили въ своемъ портфелѣ.

Это предпріятіе Гейне, какъ и многія другія, не осуществилось, можетъ быть, потому, что со стороны прусскаго правительства онъ встрѣтилъ затрудненія. По крайней мѣрѣ, 30 марта 1838 г. онъ писалъ къ Кампе: «главнымъ дѣломъ для меня было—получить изъ Пруссіи положительное удостовѣреніе, что моя газета будетъ дозволена въ прусскихъ владѣніяхъ... Я имѣлъ важныя основанія надѣяться, что мнѣ теперь будутъ разрѣшать все, о чѣмъ я буду просить. Но, къ моему удивленію, старая непріязнь еще не совсѣмъ улеглась, и мое желаніе не будетъ выполнено такъ безусловно, какъ я надѣялся. Мнѣ не хотятъ еще дать положительное дозволеніе, и мой планъ, вѣроятно, не осуществится.»

Въ 1841 году случилось происшествіе, надѣлавшее много шума въ литературномъ мірѣ Парижа и Германіи. Для объясненія этого происшествія читателю надо знать, что въ 1840 г. Гейне напечаталъ свое сочиненіе «Ueber Bögne», справедливо навлекшее на себя общее негодованіе; увлеченный мелочною завистью, Гейне, говоря о знаменитомъ патріотѣ, тронулъ его частную жизнь и выставилъ въ самомъ грязномъ свѣтѣ его отношенія къ госпожѣ Воль, потомъ вышедшей замужъ за Страуса. 29 іюня 1841 г. въ газетѣ «Mainzer Zeitung», непріязненной поэту, появилась слѣдующая корреспонденція изъ Парижа отъ 12 іюня: «Поэтъ Генрихъ Гейне получилъ, наконецъ, должную награду за тѣ клеветы, которыми онъ уже нѣсколько лѣтъ сряду осмыкаетъ уважаемыхъ въ Германіи людей. На улицѣ, недалеко отъ театра Opéra Comique и въ присутствіи многихъ людей, онъ получилъ пощечину отъ г. Страуса, мужа госпо-

жи Воль, которую онъ такъ гнусно оклеветалъ... Надо было ожидать, что оскорбленный потребуетъ удовлетворенія, но Генрихъ Гейне счелъ за лучшее поскорѣе удрать въ Пириней, въ сопровожденіи неизмѣнившей ему возлюбленной его. По всей вѣроятности, онъ, какъ второй донъ-Діего, избираетъ себя въ мстители Сида и самъ воспоетъ потомъ его подвиги.»

Въ это время Гейне жилъ въ Котре, деревнѣ верхнихъ пиринеевъ. Узнавъ о статьѣ «Mainzer Zeitung», онъ тотчасъ же написалъ къ редактору Аугсбургской газеты, Кольбу: «...Котре—одно изъ самыхъ длиныхъ пиринейскихъ ущелій, но оно все-таки не такъ недоступно, какъ думаютъ многіе честные люди, воображающіе себя, что до меня не доходить ложь, которую они распространяютъ о моемъ добромъ имени... Случайно еще сегодня попался мнѣ на глаза номеръ «Mainzer Zeitung», заключающій въ себѣ постыдную сказку, которую вы, безъ всякаго сомнѣнія, съ удивленіемъ прочли. Я едва могу вѣрить глазамъ. Въ этой статьѣ нѣтъ ни одной буквы правды. Я не изъ тѣхъ овецъ, которыя спокойно позволили бы оскорбить себя на улицѣ, посреди Парижа, а личность, хвастающаяся этимъ поступкомъ, конечно, не тотъ левъ, который позволилъ бы себѣ сдѣлать это! Вся наша встрѣча ограничилась нѣсколькими словами, съ которыми означенная личность, судорожно дрожа, подошла ко мнѣ; этой сценѣ я положилъ конецъ тѣмъ, что смѣясь далъ этому господину свой адресъ, уведомивъ его при этомъ, что я намѣренъ отправиться въ Пириней. Вотъ въ чемъ состояла вся наша встрѣча, неизмѣвшая ни одного свидѣтеля, и я даю вамъ честное слово, что хлопоты по отъѣзду совсѣмъ заставили меня забыть объ этомъ дѣлѣ. Но, какъ я вижу, именно то обстоятельство, что я не могу сослаться ни на одного свидѣтеля-очевидца, дало означенному господину смѣлость сочинить ложь, которую «Майнцская газета» напечатала... Черезъ восемь или въ крайнемъ случаѣ десять недѣль я возвращусь въ Парижъ изъ моего путешествія, или, какъ его называютъ мои храбрые враги, бѣгства, и вернусь, какъ я полагаю, съ самою пріятною добычей... Передъ моимъ окномъ скатывается съ утеса бѣшенный потокъ, называющійся le Gase, постоянный шумъ котораго усыпляетъ всѣ мысли и пробуждаетъ всѣ кроткія чувства. Природа здѣсь удивительно хороша и возвышенна. Достигающія до небезъ горы, которыми я окруженъ, такъ спокойны, такъ лишены страстей, такъ счастливы! Онѣ не принимаютъ ни

жалѣйшаго участія въ нашихъ бѣдствіяхъ и раздорахъ; онѣ почти оскорбляютъ насъ своею страшною безчувственностью,—но, можетъ быть, эта неподвижность только видимая. Можетъ быть, внутри этихъ горъ живетъ состраданіе къ скорбящъ и преступленіящъ людей, и когда мы болѣемъ и бѣдствуемъ, въ нихъ отзываются каменные жилы, изъ которыхъ текутъ для насъ теплыя цѣлебныя силы. Здѣшніе горные источники совершаютъ чудеса исцѣленія, и и тоже надѣюсь выздороветь *). О политикѣ говорятъ здѣсь не много. Здѣшній народъ живетъ тихою, безмятежною жизнью, и глядя на него, трудно повѣрить, что революція и военныя бури, эта дикая охота нашего времени, проникли тоже за Пиреней. Эти люди держатся своихъ старыхъ обычаевъ такъ твердо, какъ деревья—почвы ихъ горъ. Только вершины трясутся иногда отъ политическаго дуновенія вѣтра, или по нимъ проносится свистъ и шопотъ мысли».

Этимъ письмомъ Гейне не удовольствовался и напечаталъ въ газетахъ слѣдующее заявленіе:

«Оскорбленное тщеславіе, мелкая зависть, литературное недоброжелательство, политическое бѣшенство партій, всевозможныя гадости не рѣдко пользовались журналисткой для того, чтобы распространять о моей жизни самыя отвратительныя сказки; я всегда предоставлялъ времени обнаруженіе нелѣпости ихъ. Вслѣдствіе моего отсутствія изъ отечества, мнѣ было невозможно контролировать тамошнія газеты, которыя я получаю здѣсь въ небольшомъ числѣ и всегда слишкомъ поздно, немедленно опровергать всѣ анонимныя клеветы, и гласно бить этихъ замаскированныхъ блохъ. Если сегодня я даю публикѣ забавное зрѣлище такой охоты, то къ этому побуждаетъ меня не столько собственное негодованіе, сколько благочестивое желаніе содѣйствовать при этомъ случаѣ интересамъ нѣмецкой журналистики. Именно, я хочу сегодня высказать, что французскій обычай — давать личному мужеству право защиты по законамъ чести отъ постыднаго, печальнаго тупоумія, долженъ быть введенъ и у насъ. Рано или поздно всѣ разумныя нѣмцы признаютъ необходимость этого обычая и примутъ мѣры къ обузданію печатной грубости и пошлости. Что касается меня, то я отъ души же-

*) Гейне здѣсь въ это время сильно страдалъ глазами; известно, что въ послѣдствіи онъ совсѣмъ ослѣлъ.

лаю, чтобы боги дозволяли мнѣ послужить въ этомъ отношеніи хорошимъ примѣромъ! Но въ тоже самое время я положительно заявляю здѣсь, что аристократичность художественнаго періода литературы кончилась и что самый царственный гений долженъ давать удовлетвореніе самому грязному бездѣльнику, если ему случится отозваться не съ должнымъ почтеніемъ о малѣйшемъ свверномъ волоскѣ этого послѣдняго. Теперь, да спасетъ насъ Богъ, мы всѣ равны! Это—слѣдствіе тѣхъ демократическихъ принциповъ, за которые я самъ боролся всю мою жизнь. Я давно уже предвидѣлъ это и всегда былъ готовъ на удовлетвореніе какому бы то ни было вызову. Сомнѣвавшійся въ этомъ, могъ во всякое время легко удостовѣриться. Но я ни разу не получалъ такихъ вызововъ въ опредѣленной формѣ. Все, что въ этомъ отношеніи утверждается анонимною статьею «Майнцской газеты», точно такъ, же какъ и разсказъ этой статьи о нанесенномъ мнѣ оскорбленіи—чистая, или, скорѣе, грязная ложь. Ни одного слова правды! Меня никто и никогда не оскорблялъ на улицѣ Парижа; герой-же этой исторіи, рогатый Сигфридъ, хвастающій тѣмъ, что онъ публично побилъ меня, и подтверждающій это показаніе только своимъ собственнымъ свидѣтельствомъ,—извѣстный бѣдный блюдолизъ, рыцарь печальнѣйшаго образа, который, находясь въ услуженіи у хитрой женщины, уже цѣлый годъ и съ такимъ же безстыдствомъ, распускаетъ на мой счетъ небылицы. На этотъ разъ онъ вздумалъ употребить для своихъ цѣлей журналистику, сострепалъ вышеупомянутую статью «Майнцской газеты», и ложь нѣсколько недѣль жила на свѣтѣ, потому что я только поздно и то случайно узналъ здѣсь въ Принсехъ, на испанской границѣ, объ этой штукѣ и могъ разрушить ее. Можетъ быть, эти господа рассчитывали, что и на этотъ разъ я отвѣчу на клевету безмолвнымъ презрѣніемъ. Такъ какъ я знаю своихъ людей, то ихъ благородный расчетъ не удивляетъ меня»...

Слова Гейне о томъ, что вся эта статья была чистою клеветой, скоро блистательно оправдались. Нашлись, правда, три милыхъ человека, именно гг. Коллоффъ, Шустеръ и Гамбергъ, которые печатно удостовѣрили своею честью, что Гейне дѣйствительно получалъ пощечицу; но потомъ эти же самые господа засвидѣтельствовали, что очевидцами они не были. Какъ бы то ни было, и дѣло это не могло кончиться иначе, какъ дуэлью, — и, дѣйствительно, дуэль состоялась послѣ долгихъ оттягиваній со стороны Страуса. 9 сен-

тября 1841 года Гейне писалъ въ Кампе: «Извѣщаю васъ въ нѣсколькихъ строкахъ о результатѣ мнимой исторіи о пощечинѣ, какъ ее называютъ здѣсь. Третьяго дня въ семь часовъ я имѣлъ наконецъ удовольствіе стрѣляться съ г. Страусомъ. Онъ выказалъ больше мужества, чѣмъ я предполагалъ въ немъ, и случай до крайней степени благопріятствовалъ ему. Пуля его прошла по моей ляжкѣ, которая еще въ настоящую минуту очень распухла и черна какъ уголь; я долженъ лежать въ постели и еще не скоро оправлюсь. Кость, по всей вѣроятности, не переломана, но сильно контужена. Такимъ образомъ, дѣло окончилось для меня не совсѣмъ счастливо—но въ физическомъ отношеніи, а не въ моральномъ.

Въ 1843 г. Гейне ѣздилъ на короткое время въ Германію. По словамъ нѣмецкаго издателя его сочиненій, это путешествіе «во многихъ отношеніяхъ произвело переворотъ въ его поэтической дѣятельности и имѣло слѣдствіемъ сильное возрожденіе его любви къ отечеству». И дѣйствительно, послѣднее письмо его, относящееся къ этому времени, заканчивается слѣдующими словами: «Какъ неохотно уѣхалъ я изъ Гамбурга — этого вы не можете себѣ представить! Сильная любовь къ Германіи живетъ въ моемъ сердцѣ; она неизлѣчима».

А между тѣмъ, какъ хорошо платила ему Германія за эту неизлѣчимую любовь!..

И. Вейнбергъ.



ИСТОРИЧЕСКІЯ ИДЕИ ОГУСТА КОНТА.

IV.

Подъ вліаніемъ наблюденій и невольныхъ обобщеній, фетишизмъ превращается по немногу въ политеизмъ; матерія перестаетъ жить самостоятельною жизнью и подчиняется волѣ многихъ высшихъ невидимыхъ существъ, надѣленныхъ всѣми человѣческими страстями, слабостями и потребностями. Эта вторая фаза теологической философіи гораздо болѣе первой доступна изученію. Политеизмъ наполняетъ собою всю древнюю исторію; подъ вліаніемъ политеизма сложились великія теократіи Индіи и Египта, развернулась умственная жизнь древней Греціи и выросло политическое могущество Рима. Вступая въ періодъ политеизма, люди были дикарями, едва знакомыми съ первыми начатками грубой промышленности и патриархальной общественности. Выходя изъ періода политеизма, люди живутъ уже въ огромныхъ государствахъ, имѣютъ чрезвычайно сложныя системы административныхъ и судебныхъ учреждений, обсуживаютъ и рѣшаютъ запутанные общественные вопросы, пускаются въ дальневидныя политическія соображенія, ведутъ обширную торговлю, фабрикують предметы самой утонченной роскоши, сооружаютъ громадныя зданія, создаютъ великолѣпнѣйшія статуи и картины, пашутъ поэмы и эпиграммы, философскія разсужденія и историческія сочиненія, математическіе трактаты и критическіе комментаріи.—Вступая въ періодъ политеизма, всѣ люди были одинаково грубы и дики; всѣ были похожи одинъ на другого, какъ по образу жизни, такъ и по умственному развитію. Выходя изъ этого періода, люди распадаются уже на множество различныхъ категорій и подраздѣленій: тутъ есть

уже знать и чернь, аристократы и демагоги, монархисты и республиканцы, ученые и невежды, жрецы и поклонники, миллионеры и голодные пролетарии. Словомъ, тутъ мы узнаемъ *цивилизацию* со всѣми ея роскошными задатками будущаго развитія и со всѣми ея грязными и кровавыми пятнами, которыя потомкамъ придется отмывать или залѣчивать. Всѣ эти проявленія цивилизаціи возникли, или, по крайней мѣрѣ, развернулись во время господства политеизма; на всѣхъ этихъ проявленіяхъ лежитъ печать его вліянія. Разсмотрѣть со всѣхъ сторонъ это вліяніе—значить опредѣлить настоящій характеръ и историческое значеніе политеизма.

Развитіе *науки* начинается подъ господствомъ политеизма. Наукою называется сознательное и систематическое исканіе законовъ природы. Чтобы приступить къ этому исканію, надо прежде всего предположить, что неизмѣнные законы существуютъ, или, по крайней мѣрѣ, могутъ существовать. Это первое предположеніе было невозможно въ періодъ фетишизма, когда каждая частица матеріи жила своею личною, измѣнчивою и капризною жизнью, когда, напримѣръ, рѣка мерзла или не мерзла, вѣтеръ дулъ или не дулъ, градъ падалъ или не падалъ, смотря по личнымъ желаніямъ или соображеніямъ тѣхъ фетишей, которые назывались рѣкою, вѣтромъ или градомъ. Фетишизмъ допускалъ только тѣ случайныя и разрозненныя наблюденія, которыя врываются въ сознаніе человѣка и укореняются въ его памяти помимо его собственнаго желанія. Человѣкъ не могъ не замѣтить, напримѣръ, что рѣка замерзаетъ именно тогда, когда онъ, человѣкъ, чувствуетъ сильное ощущеніе холода; онъ не могъ не замѣтить, что, во время замерзанія рѣки, деревья всегда обнажены и земля покрыта поблекшею, желтою травою; онъ не могъ не замѣтить, что въ это же время и дни всегда становятся короче ночей. Эти наблюденія, невольныя и неизбѣжныя, конечно, не могутъ быть названы даже и началомъ науки; однако же эти наблюденія наносятъ жестокой ударъ первобытному фетишизму и, такимъ образомъ, сворачиваютъ съ дороги то препятствіе, при существованіи котораго наука не можетъ ни развернуться, ни даже возникнуть. Фетишисты видятъ, что и вода, и деревья, и трава, и температура воздуха, и величина дней и ночей измѣняются одновременно, и эту одновременность онъ замѣчаетъ не одинъ разъ, не два раза, а постоянно, изъ года въ годъ. Ему приходится непременно предположить одно изъ двухъ: или вода, деревья, трава, воздухъ, солнце стовариваются

между собою или же они всё находятся подъ командою у какого нибудь высшаго начальника; въ сущности, оба предположенія сводятся къ одному, именно — къ тому, что какая-то причина заставляетъ постоянно воду, деревья, траву, воздухъ и солнце дѣйствовать заодно; а такъ какъ первобытный человекъ не можетъ себѣ представить никакой причины, кромѣ чьей нибудь личной воли, то въ результатъ и получается непремѣнно очень большой и очень сильный начальникъ, который не живетъ ни въ водѣ, ни въ деревьяхъ, ни въ травѣ, ни въ воздухѣ, ни въ солнцѣ, а гдѣ-то внѣ этихъ предметовъ и надъ ними. — Но всякій дилляръ знаетъ очень хорошо, что начальникъ только тогда и можетъ называться начальникомъ, когда у него есть подчиненные. На что же бы это, въ сѣмомъ дѣлѣ, было похоже, если бы главному начальнику приходилось самому бѣгать ко всѣмъ фетишамъ и напоминать водѣ, что ей пора мерзнуть, травѣ, что ей пора желтѣть, деревьямъ, что имъ пора ронять листья на землю? Необходимо предположить, что у главнаго начальника множество разныхъ помощниковъ и адъютантовъ, изъ которыхъ одинъ завѣдуетъ рѣками, другою моремъ, третій вѣтромъ, четвертой травой, пятый деревьями, шестой солнцемъ, и такъ далѣе. Когда вся эта іерархія оказывается окончательно сформированною, тогда, разумѣется, фетиши сначала превращаются въ жалкое и безгласное податное сословіе, а потомъ, мало по малу, совершенно утрачиваютъ свое существованіе. Тогда матерія становится простою, бездушною матеріею, подчиненною высшему начальству; тогда становятся возможными разсужденія о свойствахъ этой матеріи; тогда рождается понятіе о постоянныхъ законахъ, которые главный начальникъ, конечно, всегда можетъ отмѣнить или приостановить, но которыхъ онъ однако обыкновенно не отмѣняетъ и не приостанавливаетъ. Сознательное, *научное* изслѣдованіе, такимъ образомъ, получаетъ нѣкоторый просторъ, но само собою разумѣется, что просторъ этотъ очень невеликъ, и что послѣдовательное проведеніе новорожденной идеи о постоянныхъ законахъ совершенно невозможно и даже невысказуемо, потому что это послѣдовательное проведеніе разрушило бы не только все зданіе политеистической мифологии, но даже и общій фундаментъ всякой теософіи. — Законъ самъ по себѣ, думаетъ догадливый политеистъ, а все-таки, если я хорошенько попрошу главнаго начальника, или даже кого нибудь изъ старшихъ помощниковъ, то они, какъ добрые

люди, приостановятъ для меня дѣйствіе закона и сдѣлаютъ, напримеръ, такъ, что вѣтеръ утихнетъ, что молнія не ударитъ въ мой домъ, что голодная саранча не опустится на мою пшеницу.—Само собою разумѣется, что это размышленіе политекста кладетъ предѣлъ научному изслѣдованію и подвергаетъ очень серьезной опасности тѣхъ слѣпыхъ мыслителей, которымъ удастся въ собственномъ умѣ перешагнуть черезъ этотъ предѣлъ. Какъ только возникаетъ сознательное изслѣдованіе, такъ обозначается тотчасъ же естественная и непримиримая вражда между наукою и теософіею, вражда, которая можетъ окончиться только совершеннымъ истребленіемъ одной изъ воюющихъ сторонъ. Все, что выигрываетъ наука, то теряетъ теософія; а такъ какъ наука, со временъ до-историческаго фетишизма, выиграла очень много, то надо полагать, что ея противница потеряла также не мало. Дѣйствительно, вся исторія человѣческаго ума, а слѣдовательно, и человѣческихъ обществъ, есть не что иное, какъ постоянное усиленіе науки, соотвѣтствующее такому же постоянному ослабленію теософіи, которая, при вступленіи человечества въ исторію, пользовалась всеобъемлющимъ и безраздѣльнымъ могуществомъ.— Не смотря на этотъ вѣчный и роковой антагонизмъ, теософія, сама того не замѣчая и не желая, постоянно вручала своей противницѣ оружіе и собирала для нея матеріалы, которыми наука постоянно пользовалась съ свойственными ей одной неподкупностью, неумолимостью, неблагодарностью и коварствомъ.— Полудикій человѣкъ, только-что отдѣлавшійся отъ грубѣйшаго фетишизма, не могъ приняться прямо за астрономическія наблюденія или за анатомическія изслѣдованія. Какой интересъ онъ могъ находить въ движеніи небесныхъ свѣтилъ или въ расположеніи сердца, печени, селезенки и легкихъ въ тѣлѣ барана? Во первыхъ, никто не могъ ему объяснить, что его прапраправнуки будутъ нуждаться въ астрономическихъ познаніяхъ для навигаціи, а въ анатомическихъ свѣденіяхъ для леченія болѣзней. Во вторыхъ, если бы даже кто нибудь и могъ дать ему эти объясненія, то онъ, по всей вѣроятности, отвѣчалъ бы очень спокойно, что желаетъ жить для самого себя, а не для своихъ прапраправнуковъ, которыхъ ему никогда не придется увидѣть въ глаза. Что же касается до безкорыстной любознательности, то она, для круглаго невѣжды и для человѣка никогда не мысливаго, совершенно невозможна, потому что въ наукѣ, какъ и во многихъ другихъ отрасляхъ человѣческой дѣятельности, *l'appetit vient en man-*

geant. Такимъ образомъ, наука рисковала остаться на мели, но къ ней подоспѣла на помощь добродушная теософія, ухитрившаяся внушить своему полудикому воспитаннику ту заманчивую мысль, что звѣзды имѣютъ постоянное и самое рѣшительное вліяніе на всю его судьбу, и что по внутренностямъ зарѣзаннаго барана можно читать, какъ по раскрытой книгѣ, всю будущность отдѣльныхъ личностей или даже цѣлыхъ племенъ. Чѣмъ глубже невѣжество человѣка, чѣмъ слабѣе работаетъ его мысль, чѣмъ полновластнѣе господствуетъ надъ его умомъ теософія, созданная его фантазією, тѣмъ рельефнѣе и непоколебимѣе проявляется въ человѣкѣ та простодушная увѣренность, что весь міръ сотворенъ именно для него, и что все высшее начальство постоянно заботится объ его участи, постоянно слѣдитъ за его поведеніемъ, постоянно подаетъ ему разные сигналы, и постоянно готово отвѣчать ему тѣмъ или другимъ путемъ на всѣ его скромные или нескромные вопросы. Этихъ сигналовъ и отвѣтовъ полетѣишь ищеть и въ узорахъ звѣзднаго неба, и въ полетѣ различныхъ птицъ, и въ вишняхъ жертвеннаго животнаго, и въ безсвязныхъ словахъ полоумной пифіи, и въ безтолковыхъ сновидѣніяхъ, почерпнутыхъ изъ переполненнаго желудка. Кто во всемъ видитъ совѣтъ сверху или предзнаменованіе, тотъ, разумѣется, на всякую мелочь долженъ обращать вниманіе. Понятно, что эта постоянная внимательность, возбужденная теософією, собираетъ бессознательно богатый запасъ сырыхъ матеріаловъ, которыми, рано или поздно, счумѣетъ воспользоваться наука. Ученая дѣятельность великаго Гиппократата представляетъ намъ очень яркій примѣръ того искусства, съ которымъ наука, прямо изъ рукъ теософіи, беретъ собранные ею матеріалы, составляющіе для самой теософіи мертвый капиталъ. Больные, лежавшіе въ храмахъ Асклепія или Эскулапа и получившіе облегченіе, имѣли привычку, послѣ выздоровленія, описывать свои страданія и оставлять эти описанія въ храмѣ, для прославленія вылечившаго ихъ божества. Въ этихъ храмахъ набрались цѣлыя груды подобныхъ описаній; Гиппократъ объѣхалъ всѣ эти храмы, тщательно изучилъ накопившіяся въ нихъ описанія, провѣрилъ ихъ своими личными наблюденіями и составилъ, на основаніи этихъ богатыхъ матеріаловъ, тѣ великолѣпныя характеристики различныхъ болѣзней, которыя своею точностью и наглядностью до сихъ поръ изумляютъ и восхищаютъ лучшихъ представителей медицины.

V.

Съ *искусствомъ* теософія всегда жила въ добромъ согласіи, а политеизмъ, болѣе чѣмъ какая либо другая фаза теософіи, своимъ вліяніемъ благопріятствовалъ и содѣйствовалъ развитію всѣхъ различныхъ отраслей художественнаго творчества. Политеизмъ вызывалъ постоянную и напряженную дѣятельность человѣческаго воображенія, которому приходилось рѣшать безнапещанно всѣ вопросы общаго міросозерцанія. Не трудно понять, что политеизмъ предоставлялъ работѣ воображенія гораздо больше простора, чѣмъ фетишизмъ. Фетишистъ, одушевляя прямо видимые предметы, принужденъ былъ ограничивать свои фантазіи тѣмъ, что онъ дѣйствительно видѣлъ, или, по крайней мѣрѣ, тѣмъ, что ему мерещилось. Для политеиста, напротивъ того, не существовало никакой границы; онъ фантазировалъ совсѣмъ не о тѣхъ предметахъ, которые находились передъ его глазами: для него былъ открытъ міръ невидимыхъ существъ, въ которыхъ онъ, разумѣется, могъ распоряжаться, какъ ему было угодно. Фетишъ былъ привязанъ къ извѣстному мѣсту, и поэтому объ немъ трудно было сочинить какіе нибудь сложные и замысловатые мифы; трудно, въ самомъ дѣлѣ, было, на примѣръ, придумать, что дерево вышло замужъ за камень, и потомъ, вмѣстѣ съ этимъ камнемъ, ведетъ войну противъ рѣки. Эти выдумки показались бы нескладными и неправдоподобными самому грубому фетишисту, который видѣлъ бы, что дерево, камень и рѣка не имѣютъ между собою ни малѣйшаго соприкосновенія. Напротивъ того, невидимымъ существамъ можно было съ величайшимъ удобствомъ приписывать всевозможныя свадьбы, ссоры, драки, кутежи, путешествія и всякія другія приключенія, составляющія весь интересъ обыкновенной жизни тогдашняго времени. Словомъ, самое роскошное развитіе мифологіи возможно только въ періодъ политеизма. Тутъ это роскошное развитіе не только возможно, но даже и необходимо. Если бы догматическая часть политеизма заключалась только въ сухой и безцвѣтной номенклатурѣ боговъ, управляющихъ различными департаментами природы, то политеизмъ, очевидно, не могъ бы имѣть никакого опредѣленнаго вліянія ни на умственную жизнь отдѣльных личностей, ни на общественную жизнь цѣлыхъ націй. Поэты непременно должны были довершить дѣло теософовъ; когда, для obja-

сненія какого нибудь явленія, теософы создавали новое божество; тогда поэты тотчас овладѣвали этимъ новымъ созданіемъ и работали во всѣхъ подробностяхъ его фязіономію, его костюмъ, его характеръ, его наклонности и атрибуты, его отношенія къ людямъ, его положеніе въ общей іерархіи бессмертныхъ, и всѣ различныя приключенія его жизни, въ которыхъ обнаруживаются его индивидуальныя особенности. Постоянно опираясь, такимъ образомъ, на поэзію, теософія, конечно, постоянно должна была относиться къ ней съ величайшею благосклонностію. Художники, и преимущественно поэты, считались въ древности любимцами боговъ и самыми компетентными истолкователями ихъ воли. Разрабатывая такимъ образомъ мифы, поэзія, кромѣ того, должна была, заодно съ теософіею выяснять и распространять нравственное ученіе, вытекающее изъ основныхъ догматовъ господствующей доктрины. Эта задача досталась на долю поэзіи только тогда, когда уже совершилось превращеніе фетишизма въ политеизмъ. Фетишизмъ не могъ имѣть значительнаго вліянія на нравственныя понятія людей, и, вслѣдствіе этого, поэзія фетишистовъ, не имѣя возможности прислониться съ этой стороны къ господствующей теософіи, принуждена была оставлять почти нетронутою область частной и общественной нравственности, которую она, со временъ политеизма, навсегда присоединила къ своимъ владѣніямъ. Почему фетишизмъ не дѣйствовалъ на нравственныя понятія — объяснить не трудно. Какое дѣло могло быть какому нибудь фетишу, на примѣръ, рѣкѣ, камню, дереву — до того, хорошо или дурно будетъ вести себя одинъ человѣкъ въ отношеніи къ другому человѣку? Фетишь могъ требовать себѣ извѣстныхъ знаковъ уваженія и оскорбляться непочтительными поступками, направленными лично противъ него, но онъ никакъ не могъ превратиться въ повсемѣстнаго блюстителя справедливости, цѣломудрія и всякой нравственной чистоты, не могъ именно потому, что имѣлъ слишкомъ частное значеніе, былъ приврѣпленъ къ опредѣленному мѣсту и окруженъ множествомъ другихъ, равносильныхъ фетишей. Дикарь легко могъ вообразить, что рѣка сердится, когда въ нее бросаютъ какую нибудь гадость, но ему никакъ не могло придти въ голову, что рѣка будетъ на него въ претензіи, если оиъ украдетъ у своего сосѣда топоръ или лопату; не могло придти потому, что онъ, дикарь, нисколько не прогнѣвался бы на своего сосѣда, если бы тотъ обокралъ какое нибудь третье лицо. Наблюденіе путеше-

стенниковъ подтверждаютъ, какъ нельзя лучше, вѣрность этихъ замѣчаній. Нравственныя понятія чрезвычайно смутны у всѣхъ первобытныхъ народовъ. Многіе невиннѣйшіе поступки считаются тяжелыми преступленіями, и въ то же время, многіе поступки, чрезвычайно вредные для отдѣльныхъ личностей и для цѣлаго общества, кажутся предосудительными только тому человѣку, которому они наносятъ прямой ущербъ. Такъ напримѣръ, у камчадаловъ, по словамъ Вайца (*Anthropologie der Naturvölker*, I, 324), не позволяется тнуть ножомъ въ кусокъ угля, или отскрести ножомъ снѣгъ отъ башмаковъ, и въ то же время, многіе грубѣйшіе пороки считаются совершенно позволительными. Въ той же книгѣ (I, 376) Вайцъ рассказываетъ, что у одного бушмена спросили: что такое добро, и что такое зло?—Бушмень подумалъ и отвѣчалъ: когда я ворую женъ у другихъ людей—это добро; а когда у меня воруютъ жену—это зло.—Понятіе добра отождествляется такимъ образомъ съ приятнымъ ощущеніемъ, а понятіе зла съ неприятнымъ; въ своемъ основномъ принципѣ, разсужденіе бушмена совершенно вѣрно, но бушмень грѣшитъ тѣмъ, что у него не хватаетъ предусмотрительности, вслѣдствіе чего онъ и рискуетъ поплатиться за минутное наслажденіе продолжительными страданіями. Такъ напримѣръ, вѣдъ *дѣлать добро* (то есть, воровать чужихъ женъ), онъ рискуетъ *надѣлать очень много зла* (то есть, сильно помять себѣ бока кулаками и дубинами обворованныхъ мужей). Это отсутствіе предусмотрительности составляетъ единственное существенное различіе между нравственными понятіями бушмена съ одной стороны, и послѣдовательнаго европейскаго утилитариста съ другой стороны. Изъ этого основнаго различія вытекаютъ всѣ остальные несходства ихъ нравственнаго кодекса. Существенное же сходство ихъ нравственныхъ понятій заключается въ томъ, что бушмень, какъ грубый фетишистъ, и послѣдовательный утилитаристъ, какъ человѣкъ, совершенно освободившійся отъ теософической опеки, оба не ожидаютъ себѣ свыше ни награды за добро, ни наказанія за зло. У бушмена область между-человѣческихъ отношеній еще не подошла подъ господство теософіи; у утилитариста эта область уже вышла изъ-подъ этого господства; бушмень и утилитаристъ, сходные между собою по основному *принципу* нравственности, стоятъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ историческаго развитія; и бушменскому племени, если оно двинется впередъ по дорогѣ къ практическому позитивизму или

утилитаризму, придется на долю отказаться отъ того *основного принципа*, къ которому со временемъ, черезъ нѣсколько столѣтій, непременно надо будетъ придти обратно. Бушмену надо сначала ввести въ нравственныя понятія элементъ теософической опеки; и это введеніе совершается именно тогда, когда изъ фетишизма выработывается политеизмъ. Когда человѣкъ составляетъ себѣ понятіе о такихъ существахъ, которыя издали управляютъ стихіями, посылаютъ дождь и градъ, бурю и саранчу, урожай и голодъ, здоровье и болѣзнь, радость и горе, удачу и неудачу, тогда человѣку уже очень не трудно вообразить себѣ, что эти существа, одаренныя необыкновенною зоркостью, чуткостью и воспріимчивостью, способны управлять судьбою своихъ поклонниковъ, и то наказывать, то награждать людей за ихъ поступки въ отношеніи къ другимъ людямъ. Тогда возникаетъ понятіе нравственнаго закона; санпціею этого закона оказывается воля безсмертнымъ; и поэзія, прислонясь къ теософіи, начинаетъ разъяснять и обобщать отдѣльныя статьи установившагося кодекса.—Доктрина политеизма, состоявшая цѣлкомъ изъ яркихъ и конкретныхъ образовъ и не заключавшая въ себѣ никакихъ туманныхъ отвлеченностей и логическихъ тонкостей, была въ высшей степени доступна пониманію массъ, и, вслѣдствіе этого, пользовалась въ свое время такую громадную популярность, какой не достигла впоследствии никакая другая философія. Можно сказать безъ увеличенія, что въ тѣ времена, когда слагались гомеровскія пѣсни, всѣ греки, отъ перваго до послѣдняго, отъ самого богатаго до самого бѣднаго, отъ самого умнаго до самого глупаго, одинаково пламенно и простодушно вѣрили въ одни и тѣ же мифы и пленялись одними и тѣми же идеалами красоты, мужества, смѣливости и всякихъ другихъ физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ совершенствъ. Въ цвѣтущее время католической теософіи, такого полного единодушія между массою и ея вождями не было и не могло быть, потому что высшія теософическія умозрѣнія, поглощавшія силы вождей, постоянно оставались непонятными для массы, которая удовлетворялась по прежнему довольно грубымъ политеизмомъ, замѣнившимъ, напримѣръ, бога Януса—святымъ Януаріемъ, а богиню Цереру—лоретскою мадонною. Обширная популярность стараго политеизма, очевидно, составляла одну изъ самыхъ важныхъ причинъ процвѣтанія искусства. Художникъ тѣхъ временъ могъ обращаться съ своими произведеніями къ уму и чувству цѣлаго народа, и цѣ-

мый народъ, отъ правителя государства до послѣдняго пастуха, видѣлъ въ даровитомъ художникѣ достойнаго выразителя общенародныхъ и всѣмъ понятныхъ, дорогихъ и близкихъ идей, вѣрованій и стремленій. Всякій афинскій ремесленникъ могъ восхищаться совершенно сознательно мускулами Геркулеса или грудью Венеры; но чтобы понимать выраженіе лица рафаэлевскихъ мадоннъ, надо предварительно познакомиться съ такими мыслями и съ такими чувствами, которыми мужику заниматься некогда и не зачѣмъ. — Такимъ образомъ, мы видимъ, что процвѣтаніе искусства, во времена политеизма, обуславливается четырьмя главными причинами: *первая* — толчокъ, данный политеизмомъ человѣческому воображенію; *вторая* — участіе поэзіи въ выработываніи догматическихъ подробностей; *третья* — подчиненіе между-человѣческихъ отношеній теософическому вліянію; *четвертая* — обширная и недиптвенная въ своемъ родѣ популярность политеизма. — Этими четырьмя причинами объясняются очень удовлетворительно всѣ чудеса греческой поэзіи и греческой скульптуры.

VI.

Въ древнемъ мірѣ война была неизбежна и необходима. Въ періодъ фетишизма, война вывела отдѣльныя семейства изъ уединенія и сгруппировала ихъ въ небольшія общества. Въ періодъ политеизма, война должна была связать эти разрозненныя группы людей въ большія государства, внутри которыхъ сдѣлался бы возможнымъ обширный, постоянный и плодотворный обмѣнъ продуктовъ и идей. Европейецъ XIX вѣка, мало знакомый съ физіономіею и характеромъ древности, можетъ усомниться въ необходимости этого звыванія; онъ можетъ подумать, что всякаго рода обмѣны и сношенія были совершенно совмѣстимы съ существованіемъ множества отдѣльныхъ и независимыхъ политическихъ тѣлъ. Въ самомъ дѣлѣ, кто же мѣшаетъ, напримѣръ, нѣмцу завести бакирскій домъ во Франціи, англичанину — открыть машинную фабрику въ Россіи, русскому — слушать лекціи въ нѣмецкомъ университетѣ, и такъ далѣе? Нѣтъ, очевидно, никакой надобности соединять Россію, Германію, Францію и Англію въ одну громадную имперію для того, чтобы облегчить или усилить международныя сношенія. Разсужденіе это

очень вѣрно, но къ древности оно не прилагается. Въ древности существовали только двѣ политическія формы: на востокѣ — огромныя монархіи, въ которыхъ гражданинъ имѣлъ право жить до тѣхъ поръ, пока начальство не посадить его на колъ, и владѣть имуществомъ до тѣхъ поръ, пока начальство не отберетъ его въ казну; на западѣ — крошечныя республики, величиною съ небольшой русскій уѣздъ, республики, въ которыхъ гражданинъ пользовался болѣе обширными правами, но въ которыхъ всѣ права принадлежали именно только коренному гражданину, а никакъ не пріѣзжнимъ иностранцамъ. Каждый гражданинъ становился безправнымъ иностранцемъ на разстояніи какихъ нибудь тридцати или сорока верстъ отъ той площади, на которой онъ, какъ членъ державнаго народа (*peuple souverain*), рѣшалъ судьбу цѣлаго государства. Афинянинъ былъ иностранцемъ въ Мегарѣ, въ Фивахъ, въ Коринѣ, въ Аргосѣ, въ Спартѣ, словомъ — во всѣхъ греческихъ городахъ, кромѣ Афинъ. Само собою разумѣется, что Афины, въ этомъ отношеніи, платили взаимностью гражданамъ Мегары, Фивъ, Коринфа и всѣхъ остальныхъ греческихъ республикъ. А наковъ было положеніе человѣка, живущаго въ чужомъ городѣ, это видно всего лучше изъ афинскаго закона объ *андролепси*. Если какого нибудь афинянина убивали за-границею, и если городъ, въ которомъ было совершено убійство, отказывался наказать преступниковъ, то родственникамъ убитаго, по закону объ *андролепси*, предоставлялось право захватить въ Афинахъ трехъ гражданъ провинившагося города и потащить ихъ въ афинскій судъ, гдѣ съ ними тотчасъ расправлялись, какъ съ убійцами (*Laurent. La Grèce*, p. 124). Этотъ законъ доказываетъ очень ясно двѣ вещи: во-первыхъ, что убійства иностранцевъ во всѣхъ греческихъ городахъ оставались очень часто безнаказанными; и во-вторыхъ, что различныя республики считали себя въ положеніи хронической вражды между собою, и что, вслѣдствіе этого, личность иностранца никогда не находилась въ полной безопасности и постоянно изображала собою заложника, съ котораго, во всякую данную минуту, могутъ содрать шкуру за неизвѣстныя ему провинности его соотечественниковъ. Мудрено-ли, послѣ этого, что грекъ, родившійся въ одномъ городѣ, не имѣлъ права жениться на гречанкѣ, родившейся въ сосѣднемъ городѣ? Мудрено-ли, что два города острова Крита должны были заключать между собою формальный и торжественный договоръ для того, чтобы браки между ихъ жителями сдѣлались

возможными и законными? (Laurent. p. 111.) Мудрено-ли, что въ Аѳинахъ всѣ жители иностраннаго происхожденія (*метики*) были обложены поголовно податью и продавались въ рабство, когда не могли ее уплатить? (Laurent. p. 115.) Мудрено-ли, что греческая республика почти никогда не давала права гражданства иностранцу или даже его потомкамъ, хотя бы они родились въ городѣ, прожили въ немъ цѣлое столѣтіе и много разъ проливали за него свою кровь въ сраженіяхъ? Мудрено-ли, что, напримѣръ, крошечная и безсильная Мегара даровала, съ самого своего основанія, право гражданства только двумъ особамъ: Геркулесу и Александру Македонскому? Мудрено-ли, наконецъ, что, при такихъ условіяхъ, сильное движеніе продуктовъ и идей было невозможно, что заниматься обширною торговлею значило быть отчаяннымъ мошенникомъ, и что объединяющія завоеванія были совершенно необходимы для того, чтобы цивилизація и политика могли выбиться изъ грязной колеи греческихъ мелкопомѣстныхъ сплетень, перебранокъ и дракъ? Итакъ, война была необходима, и всякія чувствительныя декламація противъ древнихъ войнъ такъ же остроумны, какъ, напримѣръ сокрушенія о томъ, что семилѣтній ребенокъ неспособенъ рѣшить квадратныя уравненія. Съ этой стороны, политеизмъ сильно помогалъ историческому движенію, во-первыхъ, возбуждая въ людяхъ воинственныя наклонности, во-вторыхъ, поддерживая въ войскахъ необходимую дисциплину, и въ третьихъ, ослабляя истребительный характеръ древнихъ войнъ. — Боги политеизма были чисто національными богами, которыхъ значеніе возрастало или понижалось вмѣстѣ съ политическимъ могуществомъ ихъ поклонниковъ. Каждая нація старалась доставить своимъ богамъ господство надъ чужими богами; каждая нація была твердо увѣрена, что ея боги сражаются вмѣстѣ съ нею противъ ея враговъ, и вмѣстѣ съ нею торжествуютъ побѣду или терпятъ пораженіе и подпадаютъ подъ иго безсмертныхъ покровителей враждебнаго народа. Вслѣдствіе этого, религіозный элементъ прижиливался постоянно, въ большей или меньшей степени, ко всѣмъ войнамъ, происходившимъ въ древности между различными національностями. Защищаясь противъ персовъ, греки чувствовали, что они защищаютъ своихъ олимпійцевъ; потомъ, нападавъ на персовъ, греки мстили имъ за разрушеніе и поруганіе своей святыни. Войны противъ персовъ и вообще противъ такъ называемыхъ варваровъ всегда доставляли олимпійцамъ величайшее удовольствіе; весь

Олимпъ безраздѣльно былъ въ этомъ случаѣ заодно съ греческими войсками. Напротивъ того, войны между отдѣльными греческими городами всегда были антипатичны олимпійцамъ; затѣвая междуусобную войну, греки чувствовали, что религіозныя вѣрованія не могутъ служить имъ опорой, и вслѣдствіе этого, постоянно смотрѣли на подобныя войны, какъ на общенародное страданіе и даже какъ на преступленіе, которое часто становилось неизбѣжнымъ, но никогда не могло сдѣлаться законнымъ и похвальнымъ. Естественныя бѣдствія, поражавшія Грецію во время пелопонезской войны — неурожай, землетрясенія, повальныя болѣзни, постоянно объяснялись гнѣвомъ боговъ, возмущенныхъ раздорами избранной и возлюбленной націи: когда лучшіе люди Греціи — философы, поэты, ораторы, напрягали всѣ свои усилія, чтобы положить конецъ бесплодному и кровопролитному междуусобию, тогда они постоянно становились на почву общенародныхъ вѣрованій, рисовали яркими красками естественную противоположность между Греціею и Персіею, льстили національной гордости грековъ, разжигали ихъ ненависть противъ восточныхъ варваровъ, и этою глубокою ненавистью старались сплотить ихъ разрозненныя силы въ непобѣдимый наступательный союзъ. Съ точки зрѣнія отвлеченно-добродѣтельной филантропіи, такая тактика была конечно въ высокой степени предосудительна. Но становясь на точку зрѣнія положительной исторической науки, мы принуждены сознаться, что благоразумнѣе и общеполезнѣе этой тактики въ данную минуту ничего нельзя было придумать. Устранить войну было невозможно; надъ этимъ бесполезно было и задумываться; можно было выбирать только одно изъ двухъ: или ежедневныя мелкія драки, не ведущія за собою никакихъ результатовъ, кромѣ увѣчья и смертоубійства; или же огромныя завоевательныя войны, очень кровопролитныя, очень убыточныя, но зато дѣйствительно способныя разбить тѣ китайскія стѣны, которыми огораживалась со всѣхъ сторонъ каждая древняя національность. Передовые люди Греціи постоянно стремились къ послѣднему, то есть, къ большой завоевательной войнѣ, и они были совершенно правы, хотя, разумѣется, они при этомъ руководствовались не историко-философскими соображеніями о цивилизирующемъ вліяніи войны, а узко-національными страстями и предубѣжденіями. Если можно было чѣмъ нибудь связать между собою перессорившихся грековъ, то можно было связать ихъ именно только общею ненавистью ихъ къ другимъ народамъ.

Политеизмъ подогрѣвалъ эту ненависть, и такимъ образомъ оказывалъ людямъ существенную услугу. Конечно, исключительный греческій патриотизмъ, основанный на ненависти и на презрѣніи ко всему остальному человѣчеству, долженъ теперь казаться намъ очень узкимъ, мелкимъ и жалкимъ. Но даже и этотъ патриотизмъ покажется намъ очень широкимъ и величественнымъ, если мы сравнимъ его съ патриотизмомъ афинскимъ или фивскимъ, основаннымъ на ненависти и на презрѣніи ко всѣмъ варварамъ, и, кромѣ того, даже ко всѣмъ остальнымъ грекамъ. Эти уѣздные патриотизмы были гораздо смѣшнѣе, глупѣе и вреднѣе теперешнихъ дихтенштейнскихъ или рейс-лобенштейн-эберсдорфскихъ патриотизмовъ. Парадигму до некоторой степени эти безчисленные патриотизмы влѣчіемъ общихъ вѣрованій, общихъ праздниковъ, общихъ оракуловъ, политеизмъ приносилъ людямъ несомнѣнную пользу. — Боги политеизма стояли очень близко къ своимъ поклонникамъ и очень часто вступали съ ними въ прямые сношенія; оракулы и различныя гаданія, имѣвшія государственное значеніе только во времена политеизма, давали каждому вѣрующему полную возможность во всякую данную минуту заглядывать въ будущее и заводить разговоръ съ правителями вселенной. Въ тѣ времена, когда въ полудикихъ людяхъ еще слаба была привычка повиноваться какой бы то ни было власти, эти ежедневныя сношенія съ богами были чрезвычайно полезны для поддержанія той дисциплины, безъ которой война превратилась бы въ безтолковую, безцѣльную и бесплодную драку. Начальникъ войска, стоявшій на одной степени развитія съ своими воинами и вѣрившій совершенно искренно въ оракулы, въ гаданія, въ пророческіе сны, естественнымъ образомъ давалъ всѣмъ этимъ неопредѣленнымъ намекамъ таія толкованія, которыя, въ данную минуту, соответствовали его собственнымъ стратегическимъ соображеніямъ. Эти соображенія, освященные, такимъ образомъ, божественнымъ авторитетомъ, конечно получали для воиновъ такую обязательную силу, которая была бы невысказана, если бы начальнику приходилось дѣйствовать на своихъ подчиненныхъ голымъ страхомъ наказанія. Кромѣ того, поддерживать дисциплину палкой, напримѣръ, въ греческихъ войскахъ, было довольно затруднительно, потому что, въ качествѣ простыхъ воиновъ, сражались за отечество лучшіе, знатнѣйшіе и даровитѣйшіе граждане Греціи, богачи, аристократы, философы, поэты, политики, историки и ораторы. Только такіе воины, шедшіе

въ бой съ полнымъ и сознательнымъ воодушевленіемъ, могли разбивать непріятеля, превосходившаго ихъ числомъ разъ въ двадцать или въ тридцать; только такимъ составомъ греческихъ арій объясняются побѣды, одержанныя ими надъ персами при Маратонѣ и при Платеѣ. А при такомъ составѣ арій, дисциплина, конечно, могла поддерживаться только идеями и вѣрованіями, а не шпицрутенами.

Разогрѣвая воинственныя страсти и укрѣпляя дисциплину, политеизмъ въ то же время ослабляетъ истребительный характеръ международныхъ столкновеній. Когда фетишисты дерутся между собой, тогда они стараются преимущественно о томъ, чтобы зарѣзать, изжарить и съѣсть непріятеля; война между людьми имѣетъ въ это время почти такой же характеръ, какъ война людей съ дикими животными; вліяніе теософической доктрины проявляется только въ томъ, что побѣдитель приглашаетъ своихъ фетишей къ себѣ на пиръ и угощаетъ ихъ человѣческимъ мясомъ, добытымъ во время сраженія или послѣ побѣды. О какихъ бы то ни было политическихъ или экономическихъ отношеніяхъ между побѣдителями и побѣжденными не можетъ быть и рѣчи тогда, когда побѣжденный изображаетъ свою особую кусокъ мяса болѣе или менѣе жирный и болѣе или менѣе удовлетворительный въ гастрономическомъ отношеніи. Возможность примиренія между побѣдителями и побѣжденными является только тогда, когда область между-человѣческихъ отношеній подчиняется вліянію господствующей теософической доктрины. Этотъ общій прогрессъ въ господствующемъ міросозерцаніи, съ своей стороны, становится возможнымъ только тогда, когда настоятельныя, ежедневныя требованія желудка начинаютъ получать себѣ болѣе правильное и болѣе обильное удовлетвореніе. Что идетъ впереди, матеріальное или умственное совершенствованіе, рѣшить довольно трудно; но можно сказать навѣрное, что значительные успѣхи въ общемъ міросозерцаніи совершенно невозможны тамъ, гдѣ физическія условія не допускаютъ никакихъ существенныхъ улучшеній матеріальнаго быта. У народовъ, дошедшихъ до политеизма, людоѣдство и связанныя съ нимъ человѣческія жертвоприношенія, то есть, приглашеніе фетишей на приготовленный пиръ, обыкновенно исчезаютъ. Войны ведутся не затѣмъ, чтобы превратить побѣжденнаго врага въ такое кушанье, а затѣмъ, чтобы подчинить его господству побѣдителя; вмѣсто звѣрской кровожадности главнымъ двигателемъ войны является вла-

столюбіе; на человѣка, въ которомъ видѣли прежде кусокъ мяса, начинаютъ смотрѣть, какъ на рабочую силу; словомъ, систематическое людоедство замѣняется такимъ же систематическомъ порабощеніемъ побѣжденныхъ людей. Это порабощеніе находится въ полной гармоніи съ основнымъ характеромъ политеизма: какъ побѣдители господствуютъ надъ побѣжденными, такъ точно и боги побѣдителей господствуютъ надъ богами побѣжденныхъ, надъ богами, которые однако, отступая на задній планъ, нисколько не теряютъ своего божественнаго достоинства; не смотря на религіозный характеръ политеистическихъ войнъ, побѣда однихъ политеистовъ надъ другими не ведетъ за собою никакихъ религіозныхъ преслѣдованій и никакого насильственнаго обращенія побѣжденныхъ къ теософическому міросозерцанію побѣдителей. Послѣ побѣды совершается обыкновенно простое, механическое сліяніе политеистическихъ доктринъ; если, напримеръ, у побѣжденныхъ было двадцать боговъ, а у побѣдителей пятнадцать, то послѣ побѣды, въ государствѣ, составившемся изъ побѣдителей и побѣжденныхъ, окажется всего тридцать пять боговъ, причемъ, разумѣется, богамъ побѣдителей достанутся высшія мѣста, а богамъ побѣжденныхъ—низшія. Религіознаго антагонизма не будетъ ни малѣйшаго, тѣмъ болѣе, что сами побѣжденные увидятъ въ своемъ собственномъ пораженіи ясное доказательство превосходства чужихъ покровителей. Отсутствіе религіозной ненависти облегчитъ въ очень значительной степени сліяніе побѣдителей и побѣжденныхъ въ одинъ народъ; двѣ различныя націи превратятся по немногу въ два различныя сословія, отдѣленные другъ отъ друга тонкими и шаткими перегородками, которыя, рано или поздно, будутъ подточены и опрокинуты естественнымъ развитіемъ промышленной дѣятельности и политической жизни.

Для обширныхъ и прочныхъ завоеваній искренній политеизмъ удобнѣе и полезнѣе всѣхъ остальныхъ формъ теософическаго міросозерцанія. Монотеизмъ не соответствуетъ потребностямъ завоевательной эпохи именно потому, что онъ составляетъ высшую фазу умственнаго развитія, наступающую обыкновенно тогда, когда обширныя завоеванія уже окончены и когда различныя націи, соединенныя подъ однимъ господствомъ, уже успѣли подѣйствовать другъ на друга обмѣномъ вѣрованій, обычаевъ и понятій. Войны искреннихъ и ревностныхъ монотеистовъ отличаются обыкновенно самою систематическою и чисто-истребительною жестокостію. Политеистъ въ бо-

гахъ своего врага видятъ все-таки боговъ, которыхъ онъ уважаетъ, хотя и старается подчинить ихъ господству своихъ собственныхъ бессмертныхъ покровителей. Для монотеиста, напротивъ того, всякіе чужіе боги — непримиримые враги, съ поклонниками которыхъ невозможны никакіе компромиссы и необязательны никакіе договоры. Монотеисты поступали именно такимъ образомъ вездѣ, гдѣ они дѣствовали подъ исключительнымъ вліяніемъ своего теософическаго мірозерпанія. Для примѣра достаточно будетъ вспомнить о томъ, какимъ образомъ евреи покорили Палестину, или какимъ образомъ распоряжались испанцы въ Андалузїи съ маврами, а въ Америкѣ съ индейцами. Въ концѣ прошлаго столѣтія, искренніе и ревностные монотеисты, вандейцы и шуаны, воевали съ невѣрующими гражданами французской республики; эта война была очень похожа на дѣйствія испанцевъ въ Андалузїи и въ Америкѣ; благочестивые роялисты старались вразумлять плѣнныхъ волтеріанцевъ — сдираніемъ кожи, ломаніемъ костей, поджариваніемъ на медленномъ огнѣ, закапываніемъ въ землю и всякими другими инквизиторскими затѣями. Если бы завоеватели древняго міра, Александръ Македонскій, Сципіонъ, Лукуллъ, Помпей, Цезарь, были искренними и ревностными монотеистами, они наверное, пролили бы въ десять разъ больше крови, и цѣною этой крови не купили бы никакихъ прочныхъ политическихъ результатовъ.

VII.

Вся экономическая жизнь древнихъ обществъ была построена на *рабствѣ*, и положительная философія, къ немалому ужасу всѣхъ добродѣтельныхъ либераловъ, доказываетъ неопровержимо, что, въ свое время, рабство было такъ же неизбежно и необходимо, какъ завоевательныя войны. Во-первыхъ, дикій фетишизмъ не могъ же сразу превратиться въ расиновскаго героя, объявляющаго своему врагу, что, побѣдивши его оружіемъ, онъ вслѣдъ затѣмъ желаетъ немедленно побѣдить его деликатностью и великодушіемъ. Чтобы водерживаться отъ зарѣзыванія и пожиранія плѣнниковъ, суровому побѣдителю надо было непремѣнно имѣть въ виду, что, оставаясь въ живыхъ, плѣнники доставятъ ему значительную выгоду, далеко пе-

ревѣшивающую мимолетное гастрономическое наслажденіе. А въ чемъ же могла состоять эта выгода? Очевидно, только въ той работѣ, къ которой можно было приневолить плѣнниковъ, или же—въ томъ выкупѣ, который можно было вытребовать за нихъ отъ ихъ родственниковъ. Но когда была завоевана цѣлая страна, тогда выкупъ становился невозможнымъ, потому что все имущество жителей само собою превращалось въ собственность побѣдителей; тогда побѣжденные могли откупиться отъ смерти только своимъ личнымъ трудомъ, и рабство было неизбежно. Если бы побѣдителямъ не приходила въ голову простая и естественная мысль обратить въ свою пользу трудъ побѣжденныхъ, то безпрестанныя истребительныя войны могли бы стереть съ лица земли всю нашу породу, такъ точно, какъ это случилось съ очень многими племенами сѣверо-американскихъ индѣйцевъ, имѣвшихъ привычку замучивать до смерти своихъ военнопленныхъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что рабство спасло нашу породу отъ истребленія, и что лѣнь, корыстолюбіе и властолюбіе побѣдителей очень долго были единственнымъ возможнымъ двигателемъ экономическаго и даже нравственнаго совершенствованія. Клинь падо было выбивать клиномъ; кровожадность людоеда можно было вытѣснить только низкими своекорыстными инстинктами рабовладѣльца.

Далѣе, рабство составляетъ ту единственную школу, которая могла переработать неукротимый темпераментъ дикаря и превратить лѣнливое и кровожадное животное въ разсудительнаго и трудолюбиваго ремесленника. Эта школа отличалась крайнею суровостью, но рекомендовать въ отношеніи къ дикарю мягкія воспитательныя средства могутъ только тѣ добродушные люди, которые полагаютъ, что дикарь отличается отъ нашего простолюдина только оригинальностью своего костюма и отсутствіемъ нѣкоторыхъ элементарныхъ знаній по части общественнаго этикета. Кромѣ того, мягкія воспитательныя средства возможны только тогда, когда воспитатель по своему умственному развитію стоитъ гораздо выше своего воспитанника; но такъ какъ рабовладѣлецъ и рабъ были оба одинаково первобытными людьми, то, разумѣется, они и должны были дѣйствовать другъ на друга самыми первобытными средствами. Полное отвращеніе къ труду, совершенное отсутствіе предусмотрительности и звѣрская страстность составляютъ общіе, отличительные признаки всѣхъ дикихъ народовъ. Когда всѣ обитатели нашей планеты были одарены этими

наклонностями, тогда, разумѣется, всё хотѣли воевать и бражничать, и никто не хотѣлъ работать. Но такъ какъ кому нибудь непременно надо было работать, то, разумѣется, роль рабочей скотины досталась слабѣйшимъ членамъ каждой отдѣльной семьи, то есть, женщинамъ. Нѣтъ ни одного дикаго народа, у котораго женщина не была бы порабощена и завалена непосильною работою. Слѣдовательно, когда какой нибудь древній завоеватель покорялъ какую нибудь страну и порабощалъ ея жителей, тогда фактъ порабощенія не былъ совершенно новымъ явленіемъ; рабство не вводилось вновь, оно только распространялось и видоизмѣнялось. Если же мы поставимъ себѣ вопросъ: которая изъ двухъ формъ рабства полезнѣе, порабощеніе-ли женщинъ мужчинами, или же порабощеніе одной націи другою націею, то намъ, во всѣхъ отношеніяхъ, придется отдать предпочтеніе второй формѣ. Рабство женщинъ, доставляющее мужчинамъ возможность драться и кутить, можетъ продолжаться безгранично долго; въ этомъ рабствѣ нѣтъ никакихъ задатковъ развитія; это рабство само себя поддерживаетъ; оно могло бы прекратиться только тогда, когда измѣнились бы вкусы мужчины, а этимъ вкусамъ нѣтъ никакого основанія измѣняться, если только ихъ не измѣняетъ давленіе внѣшнихъ обстоятельствъ. Женщина будетъ надрываться надъ работою, мужчина будетъ буянить или бить баклуши, и семья будетъ жить въ грязи и въ нуждѣ, до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ завоеваніе, и пока не возникнетъ новая форма рабства. Невозможно даже и представить себѣ, чтобы какое нибудь другое событіе могло положить конецъ мелкимъ дракамъ и глупой праздности безпечныхъ дикарей. Завоеваніе приноситъ съ собою вынужденный миръ, желѣзный гнетъ и обязательный трудъ. Дикарямъ приходится очень тяжело; они отказываются работать и бунтуютъ; ихъ усмиряютъ жестокими казнями; страданія нѣсколькихъ поколѣній оказываются необходимыми для того, чтобы перевоспитать дикую природу, чтобы укротить воинственные порывы и чтобы создать привычку къ правильному труду. Наконецъ, когда характеръ населенія переработанъ, когда привычка къ миролюбивымъ промышленнымъ занятіямъ приобрѣтена, тогда рабъ начинаетъ мечтать не о томъ, чтобы воевать и лежать на боку, какъ дѣлали его славные предки, — а о томъ, чтобы работать на самого себя, то есть, потреблять вмѣстѣ съ своимъ семействомъ продукты собственного труда. Тогда историческая роль рабства оказывается законченною; урод-

ливныя стороны этого отжившаго учрежденія начинают мозолить глаза всѣмъ честнымъ мыслителямъ даннаго общества и напоминаютъ о себѣ различными болѣзненными явленіями во всѣхъ отрасляхъ промышленной, политической и умственной жизни. Сами рабовладѣльцы начинаютъ замѣчать, что доброе, старое время невозвратно, и наконецъ рабство, такъ или иначе, путемъ законнаго преобразованія или насильственнаго переворота, уходитъ въ область исторіи. Впрочемъ, паденіе рабства невозможно до тѣхъ поръ, пока не прекратится завоевательная дѣятельность господствующихъ классовъ. Война и рабство, взаимно поддерживая другъ друга, идутъ постоянно рука объ руку. Съ одной стороны, война постоянно наполняетъ невольничьи рынки дешевымъ человѣческимъ товаромъ. Съ другой стороны, дѣловой трудъ, придавая всѣмъ хозяйственнымъ и промышленнымъ операціямъ самый простѣйшій и первобытный характеръ, позволяетъ богачамъ и аристократамъ направлять всѣ ихъ умственные силы на далекія военныя предпріятія. Паденіе рабства непременно парализовало бы дѣятельность завоевателей, потому что тогда внутреннія заботы тотчасъ одержали бы перевѣсъ надъ внѣшними. Но именно по этой причинѣ паденіе рабства и немислимо тогда, когда господствуетъ завоевательная политика; тогда завоеватели берегутъ рабство, какъ зеницу ока; они совершенно справедливо видятъ въ немъ необходимый фундаментъ своего военного могущества, и, чтобы отстоять этотъ фундаментъ, готовы рѣшиться на самыя тяжелыя жертвованія и кинуться въ самую опасную борьбу. Достаточно вспомнить, съ какою непоколебимою энергіею Крассъ и Помпей подавляли возмущеніе невольниковъ и гладиаторовъ. Когда возмущались противъ Рима итальянскіе города, тогда Римъ пошелъ на уступки. Но уступки невольникамъ были для него немислимы; сенатъ понималъ очень хорошо, что если фундаментъ начнетъ шевелиться и заявлять свои человѣческія права, то произойдетъ немедленно радикальный переворотъ, послѣ котораго новымъ людямъ придется перестраивать заново все общественное зданіе, по новому плану и на немислимыхъ для сенаторовъ основаніяхъ. Общественный порядокъ, построенный на рабствѣ, никогда не можетъ считать себя совершенно прочнымъ; онъ постоянно подвергается болѣе или менѣе сильнымъ конвульсіямъ, въ которыхъ обнаруживаются намеки на предстоящій переворотъ и задатки будущаго обновленія. Если бы къ естественнымъ затрудненіямъ, вытекающимъ изъ самого

существованія рабства, присоединились еще какія нибудь религиозныя затрудненія, если бы проявилось несогласіе между идеею рабства и направлениемъ господствующей теософической доктрины, то, быть можетъ, государственнымъ людямъ древности не удалось бы поддержать рабовладѣльческой порядокъ вещей до окончанія завоевательной эпохи. Къ счастью, для воинственныхъ рабовладѣльцевъ политеизмъ былъ, въ этомъ отношеніи, очень удобенъ, уступчивъ и сговорчивъ. Онъ не требовалъ отъ своихъ адептовъ религиозной нетерпимости, и въ то же время не воспитывалъ въ нихъ чувства религиознаго равенства. Боги побѣжденныхъ входили въ пантеонъ побѣдителя, но занимали въ этомъ пантеонѣ низшія мѣста. Неравенство между людьми освящалось такимъ образомъ перавенствомъ, существовавшимъ въ мірѣ боговъ, и, въ то же время, между рабовъ и господиномъ не оставалось мѣста для взаимной религиозной ненависти. Многочисленныя возмущенія рабовъ были постоянно направлены только противъ невыносимыхъ жестокостей и злоупотребленій; до полнаго, догматическаго отрицанія рабства никогда не вышались въ древнемъ мірѣ даже сами рабы. Это отрицаніе созрѣло впоследствии, подѣ влияніемъ монотеистическихъ доктринъ, которыя, по своему основному направленію, настолько же враждебны войнѣ и рабству, насколько политеизмъ имъ благопріятенъ. Конечно, и война, и рабство, могутъ, въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, уживаться вмѣстѣ съ монотеизмомъ, но это значитъ только, что какія нибудь мѣстныя особенности, климатическія или этнографическія, мѣшаютъ господствующей доктринѣ развить изъ себя и провести въ общественное сознаніе тѣ практическія требованія, которыя вытекаютъ изъ нея прямымъ логическимъ путемъ.

Особенно важно и благопріятно для рабства и для завоевательной политики было то обстоятельство, что обѣ власти, свѣтская и духовная, — или, другими словами, *практическая* и *теоретическая* (*), —

(*) Контъ постоянно употребляетъ выраженія *pouvoir temporel* и *pouvoir spirituel*. Если переводить эти слова буквально, то надо будетъ переводить: *свѣтская власть* и *духовная власть*. Но эти слова имѣютъ по русски слишкомъ специальное значеніе, и поэтому я предпочитаю употреблять болѣе общія выраженія: *практическая власть* и *теоретическая власть*. Мое намѣреніе оправдывается тѣмъ, что самъ Контъ на стр. 122 пятого тома своей положительной философіи говоритъ, о „*principaux pouvoirs politiques, soit temporels ou pratiques, soit même spirituels ou théoriques*». *Temporels* и *pratique, spirituel* и *théoretique* оказываются равносильными терминами.

во все время господства политеизма, сосредоточивались въ однѣхъ рукахъ. Кто управлялъ дѣлами государства, тотъ былъ верховнымъ судьбою и въ области вѣрованій. Истолкованіе доктрины находилось въ рукахъ того самого класса, который пользовался плодами завоеваній и извлекалъ себѣ личную выгоду изъ обязательнаго труда. Въ тѣхъ древнихъ обществахъ, которыя, по географическимъ особенностямъ своего положенія, были избавлены отъ необходимости вести постоянныя войны, напримѣръ, въ Египтѣ и въ Индіи, жрецы давали направленіе всей внутренней и внѣшней политикѣ. Въ тѣхъ обществахъ, напротивъ того, для которыхъ война была постояннымъ занятіемъ, напримѣръ въ Греціи и въ Римѣ, военные правители государства были сами жрецами или, по крайней мѣрѣ, держали жрецовъ въ полномъ повиновеніи. Въ обоихъ случаяхъ, раздвоеніе властей не существовало; жрецъ и правитель сливались въ одномъ лицѣ, или, по крайней мѣрѣ, въ одномъ господствующемъ классѣ, съ тою только разницею, что, въ первомъ случаѣ, политическая дѣятельность являлась однимъ изъ атрибутовъ жреца, а во второмъ случаѣ, жреческая дѣятельность являлась однимъ изъ атрибутовъ война. Въ обоихъ случаяхъ, это вліяніе властей вело за собою тотъ естественный результатъ, что теософическая доктрина очень искусно припаровлялась къ потребностямъ текущей политики и превращалась въ орудіе господства въ первомъ случаѣ — для жрецовъ, во второмъ — для завоевателей. Такъ какъ рабство было выгодно для господствующаго класса, то, разумѣется, оно не могло встрѣтить себѣ никакихъ возраженій со стороны доктринъ, которыхъ храненіе и комментированіе находились въ рукахъ того же господствующаго класса.

VIII.

Сохраняя свои общія типическія свойства, политеизмъ проявляется въ трехъ различныхъ историческихъ формахъ. Представителями этихъ трехъ формъ могутъ служить Индія, Греція и Римъ. Въ первой мы видимъ чистую теократію. Во второй — военный политеизмъ, задержанный въ своемъ развитіи. Въ третьемъ — военный политеизмъ, развернувшій всѣ свои силы и принявшій строго опредѣленное и совершенно послѣдовательное завоевательное направленіе. — Основной

характеръ *чистой теократіи* заключается въ строгой наслѣдственности всѣхъ общественныхъ должностей и всѣхъ отраслей частной промышленности. При этомъ общественномъ устройствѣ, вся нація распадается на извѣстное число строго разграниченныхъ кастъ, въ которыя никому не позволено входить со стороны, и изъ которыхъ никому не позволено выходить вонъ. Сынъ жреца долженъ быть жрецомъ; сынъ воина — воиномъ; сынъ пастуха — пастухомъ, и такъ далѣе. На личныя способности и наклонности при этомъ не обращается никакого вниманія, тѣмъ болѣе, что принципъ кастъ, освященный многовѣковой древностью установившагося обычая, получаетъ себѣ, кромѣ того, сверхъестественную санкцію посредствомъ какого нибудь замысловатаго космогоническаго мифа. Такъ, напримеръ, индѣйскій политеизмъ выводитъ существованіе кастъ изъ того обстоятельства, что Брама создалъ людей изъ *различныхъ частей* своего тѣла и, такимъ образомъ, самъ отъ вѣка установилъ между людьми естественное неравенство. Наслѣдственность занятій неизбежна въ такое время, когда все воспитаніе основано исключительно на механическомъ подражаніи; очень понятно, что ребенка съ малыхъ лѣтъ присматривается къ отцовскому ремеслу, потомъ, подрастая, начинаетъ помогать отцу въ его занятіяхъ, и наконецъ, сдѣлавшись юношей, оказывается достаточно приготовленнымъ, чтобы работать вмѣстѣ съ отцомъ или даже чтобы совершенно замѣнить его, если ему уже пора на покой. Наслѣдственность занятій существуетъ въ очень обширныхъ размѣрахъ даже въ современныхъ европейскихъ обществахъ. Почти всѣ хлѣбопашцы занимаются своимъ дѣломъ по наслѣдству, и, навѣрное, ведутъ эту пенарушимую преемственность занятій съ такихъ отдаленныхъ временъ, до которыхъ не восходятъ даже самыя баснословныя генеалогіи древнѣйшихъ аристократическихъ фамилій. Но если фактъ наслѣдственности существуетъ повсемѣстно, то возведеніе этого факта въ обязательный принципъ все-таки становится возможнымъ только при особенныхъ и исключительныхъ обстоятельствахъ, парализирующихъ развитіе военной дѣятельности. Когда страна лежитъ въ тепломъ климатѣ и обладаетъ плодородною почвою, когда она защищена со всѣхъ сторонъ морями, горами или пустынями, тогда она становится колыбелью ранней цивилизаціи, которая, развившись до чистой теократіи, останавливается и замираетъ въ этой политической формѣ. Создавши себѣ множество боговъ, то есть, возвысившись до по-

литензма, обитатели тихой и плодородной страны начинают нуждаться въ посредникахъ, то есть, въ такихъ людяхъ, которые умѣли бы передавать богамъ просьбы простыхъ поклонниковъ и склонять въ ту или въ другую сторону волю боговъ точнымъ соблюденіемъ всѣхъ мельчайшихъ условій необходимаго мистическаго этикета. Важное умѣнье дипломатизировать съ богами и съ поклонниками требуетъ сначала особенныхъ способностей, а потомъ продолжительнаго навыка. Поэтому надо полагать, что первыми жрецами сдѣлались люди, одаренные пылкимъ воображеніемъ и изворотливымъ умомъ; потомъ, эти первые жрецы должны были передать свое прибыльное искусство своимъ дѣтямъ, и жреческія обязанности, подобно всякому другому ремеслу, должны были по немногу превратиться въ неотъемлемое достояніе извѣстныхъ родовъ. Эти жреческія фамиліи были, очевидно, поставлены въ такое выгодное положеніе, что, даже обладая самыми обыкновенными способностями, они непремѣнно должны были захватить въ свои руки обѣ отрасли политическаго господства — теоретическую и практическую. — Для этого требовалось только одно условіе: отсутствіе внѣшней войны. Соблюденіе этого необходимаго условія становится очень правдоподобнымъ, если взять въ расчетъ почву, климатъ и географическое положеніе разсматриваемой страны. Изобиліе плодовъ земныхъ избавляетъ жителей отъ необходимости идти за добычею въ чужія земли; а естественныя границы страны — моря, горы и пустыни — ограждаютъ ее отъ постороннихъ вторженій; такимъ образомъ, жители могутъ очень легко обойтись, какъ безъ наступательной, такъ и безъ оборонительной войны. Отсутствіе настоящей необходимости въ войнѣ даетъ жрецамъ полную возможность укоренить по немногу въ умахъ соотечественниковъ то убѣжденіе, что ихъ страна — лучше всѣхъ земель въ мірѣ, что всѣ иностранцы — поганые люди, съ которыми не должно имѣть никакихъ сношеній, что мореплаваніе — смертный грѣхъ, что путешествовать значитъ осквернять себя соприкосновеніемъ съ погаными землями и съ погаными людьми, и что вообще порядочный человѣкъ долженъ непремѣнно жить дома, вести себя скромно — и кормить жрецовъ до отвала. Задача жрецовъ значительно облегчается естественнымъ пристрастіемъ неразвитыхъ людей ко всему знакомому и родному, и такимъ же естественнымъ отвращеніемъ ихъ ко всему незнакомому и чужому. Жрецамъ надо только возвести эти самородные истиниты на степенъ религіознаго догмата; какъ только

это дѣло сдѣлано, такъ страна уже обведена прочною китайскою стѣною, подъ прикрытіемъ которой роскошное растеніе теократіи можетъ процвѣтать въ теченіе цѣлыхъ тысячелѣтій. Междоусобныя войны не могутъ помѣшать развитію теократіи; всѣ приготовления къ междоусобной войнѣ должны происходить передъ глазами самихъ жрецовъ; слѣдовательно, если жрецы не одобряютъ этой войны, то они имѣютъ полную возможность задавить ее въ самомъ зародышѣ, дѣйствуя на отдѣльныя группы соотечественниковъ то просьбами, то совѣтами, то угрозами, то различными хитростями. Принимая на себя благообразную роль примирителей, устраняя поводы къ несогласіямъ и разбирая возникающіе ссоры между отдѣльными личностями, или даже между цѣлыми деревнями, жрецы значительно усиливаютъ и упрочиваютъ свое вліяніе на массу. Огромное преимущество жрецовъ передъ всѣми остальными жителями страны состоитъ въ томъ, что они имѣютъ очень много свободнаго времени; ихъ обязанность, по мнѣнію ихъ добродушныхъ соотечественниковъ, состоитъ въ томъ, чтобы постоянно бесѣдовать съ высшими существами, выслушивать и запоминать ихъ волю, угождать всѣхъ ихъ желаніямъ, и вообще, всѣми возможными средствами, поддерживать полную гармонію между населеніемъ страны и безсмертными его повровителями. Мыслители прошлаго столѣтія относились, какъ извѣстно, очень непочтительно къ этимъ своеобразнымъ занятіямъ жрецовъ; люди XVIII вѣка говорили, съ свойственною имъ рѣзкостью, что жрецы просто морочили людей, рассказывая имъ, ради денегъ и ради власти, такія сказки, которыми сами нисколько не вѣрили. Это мнѣніе, соблазнительное по своей простотѣ, оказывается, при ближайшемъ разсмотрѣніи, очень шаткимъ и поверхностнымъ. Спрашивается: почему и какимъ образомъ жрецы могли знать, что тѣ исторіи, которыя они рассказываютъ людямъ—чистыя небылицы, и что тѣ магическія церемоніи, которыя они совершаютъ, не имѣютъ ни малѣйшаго вліянія на естественный ходъ событій? Что жрецы выдавали людямъ свои гипотезы за несомнѣнныя истины—это очевидно; но если мы заподозримъ жрецовъ въ томъ, что они, публикуя свои гипотезы, были сами твердо убѣждены въ ихъ совершенной ложности, то мы точно также должны будемъ приписать такую же сознательную недобросовѣстность тѣмъ безчисленнымъ современнымъ ученымъ, которыхъ теоріи оказываются несостоятельными передъ судомъ болѣе проникательныхъ или болѣе осторожныхъ изслѣдователей.

Знать достоверно ложность какой нибудь теории можетъ только тотъ человѣкъ, который знаетъ истинное объясненіе, или, по крайней мѣрѣ, знаетъ нѣсколько фактовъ, совершенно несовѣстныхъ съ данною теоріею. Но развѣ же жрецы могли обладать такими обширными знаніями, которыя могли бы доказать имъ несостоятельность теософическаго міросозерцанія? Если бы они, полудикіе люди, возвысились вдругъ до положительнаго пониманія природы, то въ этомъ исполнскомъ прыжкѣ человѣческаго ума на самую вершину историческаго развитія, конечно, надо было бы видѣть еще болѣе необъяснимое чудо, чѣмъ всѣ тѣ чудеса, о которыхъ жрецы простодушно рассказывали простодушнымъ поклонникамъ. Далѣе, если мы даже допустимъ существованіе этого невозможнѣйшаго изъ всѣхъ невозможныхъ чудесъ, то передъ нами возникнетъ еще одна непобѣдимая психологическая трудность: если жрецы знали истинное объясненіе всей космической загадки, то какая надобность имъ была выдумывать ложное объясненіе и тщательно прятать истинное? Имъ хотѣлось богатства и власти? Прекрасно. Но истинное объясненіе доставило бы имъ въ изобиліи и то, и другое. Куда бы они не повели народъ, въ фантастическую ли область мифологіи, или въ свѣтлый міръ реального знанія, во всякомъ случаѣ *они*, а не другіе люди, оказались бы вождями народа и воспользовались бы безпринятственно всѣми выгодами и преимуществами, которыя достаются вездѣ и всегда на долю вождей. Когда извѣстное направленіе уже принято, когда въ жреческомъ сословіи уже составились свои опредѣленные традиціи, когда народъ уже сжился съ мифологическими сказками и съ магическими обрядами, тогда, конечно, жрецамъ гораздо легче и выгоднѣе поддерживать мелкими плутнями авторитетъ установившихся понятій и привычекъ, чѣмъ провѣлывать серьезнымъ умственнымъ трудомъ новыя дороги. Но вѣдь было же время, когда *все* дороги были новыми. Въ это время жрецы шли по той единственной дорогѣ, которая была для нихъ возможна, и шли съ самымъ искреннимъ убѣжденіемъ, что эта дорога дѣйствительно ведетъ къ истинѣ, къ добру и къ началу всѣхъ началъ. Эти первобытные времена недоступны изслѣдованіямъ историка. Вездѣ, гдѣ историкъ видитъ теократію, онъ застаётъ ее уже въ томъ періодѣ ея существованія, въ которомъ она, являясь вреднымъ тормазомъ умственнаго и общественнаго движенія, охраняетъ съ старческимъ упорствомъ огромныя запасы мифическихъ преданій, магическихъ

церемоній, безполезныхъ обычаевъ и уродливыхъ учрежденій. Но само собою разумѣется, что теократія не могла отягчаться этими свойствами съ самаго начала своего существованія. Ей непремѣнно надо же было сначала *собрать* тѣ сокровища, которыя она впослѣдствіи стала охранять. Ей непремѣнно надо же было сначала *приобрѣсти* чѣмъ нибудь то слѣпое довѣріе массъ, на которое она впослѣдствіи стала опираться. Нѣтъ и не можетъ быть такой дряхлой старухи, которая, въ свое время, не была бы молодою дѣвушкою. Теократія также имѣла свой періодъ молодости, дѣятельной силы и поэтической искренности. Теократія въ свое время была прогрессивнымъ и благотѣльнымъ элементомъ. Это мнѣніе историкъ можетъ высказать даже а priori, потому что, если бы этого не было, то теократія никакимъ образомъ не могла бы привиться къ народной жизни и пустить въ нее глубокіе корни. Дарвиновскій законъ естественнаго выбора прилагается къ жизни идей и учрежденій такъ точно, какъ и къ жизни органическихъ существъ. Сохраняется только то, что само по себѣ крѣпко и приспособлено къ обстоятельствамъ времени и мѣста. Не трудно объяснить, въ чемъ именно заключалось благотворное вліяніе возникающей теократіи. Это вліяніе вытекало именно изъ того условія, которое составляло, какъ я замѣтилъ выше, огромное преимущество жрецовъ надъ массою. Обеспечивая матеріальное благосостояніе нѣкоторыхъ избранныхъ личностей, избавляя этихъ даровитыхъ родоначальниковъ будущей жреческой касты отъ физическаго труда и отъ всякихъ мелкихъ житейскихъ заботъ, народъ требовалъ отъ своихъ избранныхъ, чтобы они безраздѣльно предавались изученію теософическихъ тайнъ, которыя, въ то время, какъ массѣ, такъ и ея избраннымъ, казались единственнымъ ключомъ къ разрѣшенію всевозможныхъ космическихъ, нравственныхъ, юридическихъ, технологическихъ и социальныхъ вопросовъ. Спрашивается: чѣмъ должны были наполнить свои безконечные досуги тѣ даровитые люди, которые самымъ добросовѣстнымъ образомъ желали оправдать довѣріе соотечественниковъ? Какимъ образомъ могли они приняться за изученіе тѣхъ таинственныхъ особъ, съ которыми имъ велѣно было вступить въ постоянныя сношенія? Старыхъ книгъ у нихъ не было; торной дороги для нихъ не существовало; значитъ, надо было пробивать эту дорогу силами собственнаго ума и воображенія; средство для этого имѣлось только одно: принимая всю природу за раскрытую книгу, надо было вглядываться, вслушивать-

ся, вдумываться, вживаться во всё окружающія явления. Соприкосновеніе неиспорченнаго человѣческаго ума съ живою природою никогда не можетъ оставаться совершенно безплоднымъ. вмѣстѣ съ громаднымъ количествомъ галлюцинацій, ошибочныхъ гипотезъ и безобразныхъ мифовъ, основатели древнихъ теократій вынесли изъ своей тихой созерцательной жизни нѣсколько замѣчательныхъ наблюденій, которыхъ не могли бы собрать и удержать въ памяти ни воины, постоянно погруженные въ тревоги боевой жизни, ни чернорабочіе, задавленные грубымъ мускульнымъ трудомъ. Всѣмъ извѣстно, что древнѣйшія въ мірѣ астрономическія наблюденія принадлежатъ жрецамъ Индіи, Египта и Ассиріи. Всѣмъ извѣстно также, что медицина, арифметика, геометрія и пластическія искусства родились въ тѣхъ же жреческихъ коллегіяхъ. Ни въ какомъ другомъ мѣстѣ они и не могли родиться. Для ихъ рожденія необходимо было существованіе особаго класса людей, освобожденныхъ отъ всякихъ практическихъ заботъ и прикованныхъ личными выгодами къ наблюденію, созерцанію и размышленію. Такъ какъ полудикимъ политеистамъ никакъ не могла придти въ голову блистательная мысль устроить академію наукъ или какое нибудь общество любителей естествознанія, то само собою разумѣется, что первая корпорація изслѣдователей и мыслителей могла появиться на свѣтъ только въ видѣ жреческаго сословія. Но родившись въ жреческихъ коллегіяхъ, науки и искусства не могли въ нихъ развиваться. Основатели теократіи были пытливыми изслѣдователями и смѣлыми мыслителями; отдаленные потомки ихъ сдѣлались безсильными и тупыми буквѣдами; превращеніе это было неизбежно. Первые жрецы сами прокладывали дорогу, и сами завоевывали себѣ вліяніе на массу. При этомъ они имѣли дѣло съ живою природою. Приготовляя себѣ преемниковъ, они конечно передавали имъ безъ разбору всё свои наблюденія, всё свои галлюцинаціи и всё свои рискованныя гипотезы. Преемники все это старались запомнить, и потомъ, принимаясь за свою многостороннюю жреческую дѣятельность, усиливались согласить объясненія предковъ съ своими собственными наблюденіями. Такимъ образомъ, составлялись новыя гипотезы, которыя опять передавались преемникамъ, и опять подвергались съ ихъ стороны различнымъ повѣржамъ и комментированиямъ. Общественное могущество жрецовъ росло конечно вмѣстѣ съ запасомъ ихъ наблюденій и изобрѣтеній. Всякое крошечное открытіе, сдѣланное жрецами, принималось наро-

домъ за внушеніе свѣше и за чудесное проявленіе божественной благосклонности. Такъ какъ подобныя открытія дѣлались только жрецами, свободными отъ житейскихъ заботъ, то, разумѣется, въ народѣ скоро должно было составиться понятіе о высшемъ сверхчеловѣческомъ значеніи жреческаго сословія. Постоянно увеличиваясь, могущество жрецовъ должно было наконецъ дойти до того maximum, дальше котораго идти невозможно. Остановившись на этой вершинѣ, жреческое сословіе начинаетъ быстро деморализироваться. Оно заботится не о новыхъ открытіяхъ и усовершенствованіяхъ, а только о томъ, чтобы сохранить за собою свое *относительное* превосходство надъ массою. Это превосходство основано преимущественно на томъ, что масса очень невѣжественна. Значить, для сохраненія желаннаго превосходства, надо поддерживать это спасительное невѣжество. Достигши вершины своего могущества, жрецы имѣютъ уже за собою цѣлый громадный кодексъ теософическихъ гипотезъ и преданій, сложившихся при ихъ предшественникахъ. Такъ какъ эти гипотезы и преданія составляютъ тѣтъ путь, по которому жреческая каста пришла къ своему величайшему могуществу, то жрецы, конечно, должны питать къ нимъ почтительную нѣжность и должны особенно сильно стараться о томъ, чтобы въ народѣ эта почтительная нѣжность доходила до совершенно слѣплого и страстнаго обожанія. Такимъ образомъ, между человѣческимъ умомъ и живою природою воздвигаются мертвыя пняги, написанныя даровитыми невѣждами и годныя только на то, чтобы служить образчикомъ широсоверзанія, господствовавшаго въ далекой древности. Для того, чтобы человѣческій умъ не вырвался какъ нибудь изъ узкаго круга старыхъ преданій, жрецы ставятъ каждому изъ своихъ соотечественниковъ въ непремѣнную обязанность жить такъ, какъ жили его предки, заниматься тѣмъ же ремесломъ, употреблять тѣ же орудія, носить такое же платье, питаться такою же пищею, и такъ далѣе. Затѣмъ умственное движеніе совершенно замираетъ; народъ повертывается спиною къ будущему и видитъ свой идеалъ въ прошедшемъ. Такое положеніе вещей можетъ продолжаться безконечно долго, и только постоянныя столкновенія съ высшими формами цивилизаціи могутъ со временемъ вывести изъ болѣзненнаго усыпленія несчастный народъ, задавленный свищовою тяжестью бездушной и безтолковой теократіи.

IX.

Война спасаетъ древній міръ отъ теократической снѣчки. Война разрушаетъ принципъ наслѣдственности, потому что, когда дѣло идетъ о спасеніи отечества отъ внѣшнихъ враговъ, тогда всѣ здоровые люди берутся за оружіе, и тогда уже неудобно разбирать, чей отецъ былъ воиномъ, чей — купцомъ, и чей — свинопасомъ. Въ сраженіяхъ обнаруживаются личныя качества бойцовъ — сила, ловкость, храбрость, хладнокровіе, смѣливость, распорядительность, — и самыя очевидныя выгоды цѣлаго народа требуютъ того, чтобы каждому бойцу давалось мѣсто, соответствующее его личнымъ достоинствамъ, а не общественному положенію его родителей. Поэтому, у народа, ведущаго частыя войны, касты непременно перемѣшиваются и по немногу сглаживаются. Но война можетъ дѣйствовать на развитіе народа совершенно различнымъ образомъ, смотря по тому, какое она приметъ направленіе: безцѣльно-безалаберное или систематически-завоевательное. Въ первомъ случаѣ развертываются преимущественно умственныя способности даннаго народа; во второмъ случаѣ — его общественныя учрежденія. Греція и Римъ воплотили въ своей исторіи эти двѣ различныя стороны военнаго политизма.

Территорія Греціи изрѣзана по всѣмъ направленіямъ горными хребтами и глубокими заливами; участки удобной земли разбросаны по всей странѣ и отдѣлены другъ отъ друга естественными перегородками; на каждомъ изъ такихъ участковъ возникло и развилось населеніе, имѣвшее мало постоянныхъ сношеній съ сосѣдями, и, вслѣдствіе этого, успѣвшее выработать себѣ свои собственныя учрежденія, свою опредѣленную фizioномію и очень энергическое чувство своей политической полноправности и самостоятельности. Всѣ эти поселенія были связаны между собою единствомъ языка, теософической доктрины и національнаго характера; свободные жители всѣхъ этихъ поселеній гордились именованъ эллиновъ, и противопоставляли себя, какъ членовъ одного великаго народа, всѣмъ остальнымъ людямъ, которыхъ они называли варварами и считали созданными для вѣчнаго рабства. Но, сознавая свое національное единство въ области мысли, греки никакъ не могли и не умѣли осу-

ществовать это единство въ политической жизни. Ни одно изъ мелкихъ греческихъ поселеній не хотѣло пожертвовать въ пользу этого единства ни одной частицы своей отдѣльной автономіи и ни одной мельчайшей подробности своей внутренней организаціи. Каждый городокъ готовъ былъ защищать свою независимость до послѣдней капли крови, какъ противъ азіатскихъ варваровъ, такъ и противъ своихъ ближайшихъ греческихъ сосѣдей; каждому городку хотѣлось господствовать надъ другими городками, и ни одному изъ нихъ не хотѣлось покоряться другимъ. Если мы, при этомъ, возьмемъ въ соображеніе, что всѣ жители этихъ отдѣльныхъ городковъ были одинаково храбры, одинаково воинственны, одинаково корыстолюбивы, одинаково тщеславны, одинаково сильны, ловки и развиты въ физическомъ отношеніи, одинаково вооружены и одинаково искусны во всѣхъ воинскихъ эволюціяхъ, то мы конечно поймемъ, что, во-первыхъ, постоянныя войны между этими людьми были совершенно неизбежны, и что, во-вторыхъ, эти безконечныя войны не могли привести ни къ какому прочному политическому результату, то есть, не могли окончиться соединеніемъ всей Греціи въ одно стройное и могущественное государство, способное завоевать весь остальной образованный міръ. — «Такъ напримѣръ, говоритъ Контъ, афинское племя, во время самого блистательнаго своего преобладанія въ Архипелагѣ, въ Азій, во Фракіи, и т. д., было принуждено довольствоваться центральною территоріею, едва-ли равнявшеюся французскому департаменту средней величины, и окруженною со всѣхъ сторонъ многочисленными соперниками, которыхъ дѣйствительное покореніе въ то время справедливо считалось неисполнимымъ. Афины могли, съ большею надеждою на успѣхъ, предпринять завоеваніе, напримѣръ, Египта или Малой Азій, чѣмъ завоеваніе, не только Спарты, но даже Фивъ или Коринфа, или, можетъ быть, маленькой сосѣдней республики Мегары». (Phil. pos. V, 176). При такихъ условіяхъ, война не могла быть для Грековъ серьезнымъ государственнымъ дѣломъ; война была для нихъ дѣломъ страсти; въ войнѣ ихъ съ персами можно видѣть взрывъ національной ненависти противъ дерзкихъ азіатскихъ варваровъ, осмѣлившихся ворваться въ прекрасную Элладу; въ ихъ междуусобныхъ войнахъ можно видѣть постоянное проявленіе ихъ узкихъ своекорыстныхъ страстей. Въ первомъ случаѣ, война была подвигомъ патріотическаго энтузіазма и даже отчасти дѣломъ необходимой обороны; во второмъ случаѣ,

война была просто организованным грабежомъ, который не оправдывался и не облагораживался никакою высшею идеею. Войны второй категоріи случались гораздо чаще первыхъ войнъ; этими бесплодными, но очень упорными драками между единокровными сосѣдями или даже между гражданами одного города переполнена вся исторія древней Греціи; эти драки вытекали изъ топографическихъ условій: сосѣдъ былъ тутъ же, подъ рукою, за ближайшимъ холмомъ или ручьемъ; а чтобы колотить перса, надо было снаряжать цѣлый флотъ и отправляться въ другую часть свѣта. Но если драки съ сосѣдями были дѣломъ сподручнымъ, то во всякомъ случаѣ, не надо было обладать особенною геніальностью, чтобы оцѣнить по достоинству все безобразіе и всю пошлость этихъ ежедневныхъ потасовокъ. Греки отъ природы были очень не глупы; поэтому, умнѣйшіе изъ грековъ никакъ не могли предаваться всѣмъ сердцемъ и всѣмъ помышленіемъ тѣмъ мелкимъ разбойническимъ продѣлкамъ, которыя находили себѣ постоянную пищу въ неугомонныхъ страстяхъ раздражительной массы и узколюбыхъ аристократовъ. Даже эта масса и эти аристократы, постоянно возбуждавшіе свою пылкостью или заносчивостью разныя волненія и междоусобныя войны, смотрѣли на эти кровавыя событія, какъ на страданія и посрамленіе великаго греческаго народа. Лучшіе умы древней Греціи относились къ этимъ событіямъ совершенно отрицательно; но въ то же время, зная политическую жизнь своей страны и характеръ своихъ соотечественниковъ, они не видѣли никакой возможности искоренить это зло практическою дѣятельностію. Не видя въ государственныхъ занятіяхъ своего времени никакой великой цѣли и никакой руководящей идеи, сильные умы должны были отвернуться отъ политической практики и наполнить свою жизнь или общими теоретическими размышленіями о мірѣ, о человѣкѣ и объ обществѣ, или созерцаніемъ и воспроизведеніемъ всѣхъ прекрасныхъ явленій физической природы и человѣческаго характера. Политическая безтолковщина древней Греціи насильно толкала лучшихъ и даровитѣйшихъ ея гражданъ въ умозрительную философію и въ чистое искусство. Для позитивиста абсолютное зло и абсолютное добро не существуютъ. Позитивистъ понимаетъ, что чистое искусство и умозрительная философія, очень вредныя и предосудительныя въ XIX столѣтіи, могли быть, и даже дѣйствительно были, не только полезны, но даже необходимы для историческаго развитія человѣческаго ума и человѣческой общественности, — такъ же точно, какъ

были полезны, неизбежны и необходимы война и рабство, которые точно также сдѣлались теперь очень вредными и предрасудительными явлениями. Въ древнихъ теократическихъ обществахъ наука и искусство были орудіями; современные реалисты стараются также превратить ихъ въ орудія. Теократы пользовались искусствомъ и наукою, какъ средствами основать и упрочить свое господство надъ массою. Выше и привлекательнѣе этой цѣли они не могли себѣ ничего представить. Когда каждый человѣкъ видѣлъ въ чужомъ или незнакомомъ человѣкѣ своего естественнаго врага, тогда, конечно, никто не могъ работать для общаго блага. Кромѣ того, когда всѣ отрасли науки и промышленности лежали въ колыбели, тогда самый человѣколюбивый дѣятель въ мірѣ былъ не въ состояніи вообразить себѣ, что мышленіе и творчество могутъ обнаружить чувствительное вліяніе на матеріальный бытъ и на характеръ всей нашей породы. Стало быть, наука и искусство сначала непременно должны были оказаться мелкими орудіями мелкихъ и дрянныхъ страстей. Прямо изъ рукъ этихъ мелкихъ и дрянныхъ страстей наука и искусство никакъ не могли перейти въ руки той великой страсти, которая воодушевляетъ современныхъ реалистовъ. Откуда же взялось бы вдругъ, во-первыхъ, широкое и горячее человѣколюбіе и, во-вторыхъ, понятіе о преобразовательной силѣ науки, техники и поэзіи?—Чтобы приобрести себѣ великую способность наслаждаться любовью къ людямъ и общепольною дѣятельностью, человѣку необходимо было очень долго воспитывать себя въ такой школѣ, которая постепенно утончала и облагораживала бы его наслажденія. Личное наслажденіе и общепольная дѣятельность (которую тупые моралисты называютъ на своемъ бессмысленномъ жаргонѣ *домомъ*) дѣйствительно сливаются въ высшемъ единствѣ, но на эту точку соединенія не можетъ сразу прыгнуть звѣрообразный политеистъ, умѣющій наслаждаться только кровопролитною дракою, дикимъ пьянствомъ, животнымъ сладострастіемъ, безпечною праздною и самыми грубыми формами господства надъ другими людьми. Для такого человѣка могло считаться прогрессомъ даже умѣнье цѣнить красоту формъ и красокъ въ женщинѣ, въ лошади, въ оружіи, въ костюмѣ, въ домашней утвари, и такъ далѣе. Еще болѣе значительный прогрессъ можно видѣть въ умѣньи наслаждаться словами и содержаніемъ пѣсни, легенды или сказки. У героевъ троянской войны эти умѣнья были уже развиты

въ высокой степени. Только въ этихъ умѣньяхъ и могли приспособиться, для своего дальнѣйшаго развитія, зародыши науки и искусства, перенесенные въ Грецію изъ теократическаго Египта. То, что въ Египтѣ было политическимъ орудіемъ, должно было, на первыхъ порахъ, сдѣлаться въ Греціи пріятною забавою. Скульптура, которая въ Египтѣ поражала массу мрачною таинственностью своихъ произведеній — символическихъ фигуръ, получеловѣческихъ, полувѣбренныхъ — превратилась въ Греціи въ свѣтлое, радостное и общепонятное прославленіе человѣческой красоты. Научныя наблюденія, хранившіяся египетскими жрецами въ глубокой тайнѣ и служившія имъ орудіемъ для подавленія невѣжественныхъ массъ, въ школахъ греческихъ философовъ сдѣлались доступными для каждаго желающаго. Ни греческое искусство, ни греческая философія не имѣли никогда серьезной и ясно-обозначенной общественной тенденціи. Величественные портики, красивые статуи, стройныя философскія системы были нужны греку только для того, чтобы наполнять и разнообразить жизнь пріятными ощущеніями. Въ наше время, когда наука и литература сдѣлались великими общественными силами, такое отношеніе къ знанію и къ творчеству было бы совершенно непозволительно. Но во времена Пизистрата или Перикла единственнымъ двигателемъ человѣческаго ума на пути сознательнаго изслѣдованія было именно то удовольствіе, которое умѣньшіе изъ тогдашнихъ людей находили въ процессѣ собственнаго мышленія. Освобожденіе науки и искусства отъ узкихъ и корыстныхъ теократическихъ соображеній составляетъ такой необходимый и такой громадный успѣхъ, безъ котораго не были бы возможны никакія дальнѣйшія усовершенствованія. Благодаря этому освобожденію, греческій мыслитель могъ искать истину для самой истины, не обращая никакого вниманія на то, противурѣчить ли она или нѣтъ старымъ преданіямъ или существующему общественному устройству. Это чистое и безкорыстное стремленіе къ истинѣ, невозможное въ древнихъ теократіяхъ, сдѣлалось доступнымъ для греческихъ мыслителей только потому, что они были простыми гражданами, частными людьми, не связанными единствомъ интересовъ ни съ жрецами, ни съ администраторами. А существованіе этого класса совершенно свободныхъ мыслителей, занимающихся мышленіемъ изъ любви къ истинѣ, обусловливается, какъ мы видѣли выше, во-первыхъ тѣмъ, что война разбила теократическія формы въ самомъ зародышѣ, и во-вто-

рыхъ тѣмъ, что политическая безалаберщина оттолкнула лучшихъ людей Греціи отъ государственныхъ занятій.—Свободные мыслители древней Греціи оказали людямъ двѣ громадныя услуги: во-первыхъ, они довели геометрію до высокой степени совершенства и заложили своими математическими открытіями тотъ прочный и необходимый фундаментъ, на которомъ стоитъ вся наука и вся положительная философія нашего времени; во-вторыхъ, они своими метафизическими системами совершенно расшатали доктрину политеизма и сдѣлали первую смѣлую попытку выйдти на новую дорогу изъ-подъ тяжелой теософической опеки. Попытка оказалась неудачною, по недостатку фактическихъ знаній; но смѣлость греческихъ мыслителей не пропала даромъ, и вызвала, много столѣтій спустя, такихъ подражателей, у которыхъ, кромѣ живого стремленія къ истинѣ, кромѣ умственной неустрашимости, есть еще громаднѣйшій арсеналъ сдѣланныхъ открытій, собранныхъ опытовъ и неопровержимыхъ обобщеній. Что было у греческихъ мыслителей смутнымъ угадываніемъ, то сдѣлалось для новѣйшихъ подражателей ихъ яснымъ, отчетливымъ и спокойнымъ пониманіемъ. Попытка, неудавшаяся Грекамъ, совершенно удалась современнымъ европейцамъ.

Д. Шваревъ.

НАШЕСТВІЕ 1814 ГОДА

ИЛИ

ЮРОДИВЫЙ ІЕГОФЪ.

XVIII

Во время описаннаго нами сраженія, до самой темной ночи, гранфонтенскіе люди видѣли юродиваго Іегофа, стоявшаго на вершинѣ малаго Донона, съ короною на головѣ и съ поднятымъ скипетромъ; подобномеровингскому королю, онъ отдавалъ приказанія своимъ воображаемымъ войскамъ. Никому неизвѣстно, что происходило въ душѣ этого горемыки, когда онъ увидалъ безпорядочное бѣгство нѣмцевъ. Онъ исчезъ, когда раздался послѣдній выстрѣлъ. Куда же онъ скрылся? Вотъ что разсказываютъ объ этомъ тифенбахскіе жители.

Въ то время на Блоксбергѣ жили два загадочныхъ существа: то были двѣ сестры, изъ которыхъ одну звали *маленькою Кателиною*, а другую *большою Бербель*. Эти два оборванныя существа поселились въ *пещеръ Люитпранда*, которая, по словамъ старыхъ лѣтописей, получила это названіе оттого, что король германцевъ, до своего отправленія въ Альзасъ, приказалъ подъ этимъ огромнымъ сводомъ зарыть тѣла варварскихъ предводителей, павшихъ въ сраженіи на Блотфельдѣ. Горячій ключъ, постоянно дымящійся посреди пещеры, предохранялъ обѣихъ сестеръ отъ суровыхъ, зимнихъ холодовъ, а дровосѣкъ Даніэль Горнь, изъ Тифенбаха, сжалившись надъ ихъ безпомощностью, завалилъ главный входъ боль-

шими гучами вереска и сухого хвороста. Рядомъ съ горячимъ ключомъ бьетъ другой ключъ, холодный, какъ ледъ, и прозрачный какъ кристалль. Маленькая Кателина, каждое воскресенье тащилась въ Тифенбахъ съ большою плетеною корзиною, которую добрые люди наполняли печенымъ картофелемъ, краюшками хлѣба, а иногда, по большіимъ праздникамъ, даже лепешками и другими лакомыми остатками своихъ пировъ. Послѣ этого, жалкое, толстое существо, похожее на *жирную* замечтавшуюся индѣйку, снова взбиралось на скалу и хохотало, кудахтало отъ радости, дурачилось и веселилось. Большая Бербель заботливо избѣгала цѣть воду холоднаго ключа; она была худа, крива, поджара, какъ летучая мышь; она отличалась плоскимъ носомъ, широкими ушами и жила тою добычею, которую собирала ея сестра. Она никогда не спускалась съ Блоксберга; но въ іюль, когда наступали самыя сильныя жары, она съ вершины своей скалы махала сухимъ репейникомъ въ ту сторону, гдѣ находились поля тѣхъ, которые не всякій разъ наполняли корзину Кателины,—и въ скоромъ времени эти поля опустошались страшною бурей, градомъ, крысами и цѣлыми стаями сусликовъ. Поэтому всякій боялся колдовства Бербель хуже всякой варавы; ее вездѣ звали Wetterhexe (вѣдьмою бурь), а маленькая Кателина считалась добрымъ гешіемъ Тифенбаха и всей окрестности. Такимъ образомъ, Бербель преспокойно жила сложа руки, а другая сестра кудахтала и бѣгала за добычею.

Къ несчастію, для обѣихъ сестеръ, Іегофъ, уже много лѣтъ назадъ, избралъ пещеру Люитпранда своею резиденціею. Отсюда онъ каждую весну отправлялся до самого Гейерштейна, въ Гундерюхъ, осматривать свои безчисленные замки и отдавать приказанія своимъ тѣлохранителямъ. И каждый годъ, къ концу ноября, лишь только выпадалъ первый снѣгъ, онъ возвращался съ своимъ ворономъ, что всегда наводило ужасъ на Wetterhexe.

— Чего же ты жалуешься? говорилъ Іегофъ, покойно усаживаясь на лучшее мѣсто:—развѣ вы живете не въ моихъ владѣніяхъ? Я еще очень добръ, что терплю двухъ бесполезныхъ валькирій въ Валгалѣ моихъ праотцевъ.

Бербель приходила въ изступленіе и осыпала его ругательствами, Кателина злобно кудахтала; но онъ, не обращая ни на что вниманія, закуривалъ свою старую трубку съ буксовымъ чубукомъ и принимался разсказывать о своихъ далекихъ странствіяхъ душамъ германскихъ воиновъ, схороненныхъ въ этой пещерѣ за XVI вѣковъ; онъ звалъ ихъ по именамъ и бесѣдовалъ съ ними, какъ съ живыми людьми. Не трудно рѣшить, радовались ли Бербель и Ка-

телна приходу юродиваго: его появленіе было для нихъ просто бѣдствіемъ. Но въ нынѣшнемъ году Іегофа не было видно, такъ что обѣ сестры стали думать, что онъ умеръ, и уже радовались тому, что больше не увидятъ его. Впрочемъ, въ послѣдніе дни, Wetterhexe стала замѣчать какое-то волненіе въ сосѣднихъ ущельяхъ; къ Фалькенштейну и Донуу направлялись цѣлыя толпы людей съ ружьями черезъ плечо. Очевидно, происходило что-то необычайное. Вѣдьма вспомнила, какъ въ прошломъ году Іегофъ рассказывалъ душамъ воиновъ, что его безчисленныя войска вскорѣ завоюютъ страну, и ею овладѣла неопредѣленная тревога. Ей хотѣлось доискаться причины этого волненія; но никто не приходилъ въ пещеру, а Кателина, совершивши разъ въ недѣлю свое обычное путешествіе, ни за что не рѣшилась бы вторично сдвинуться съ мѣста.

Въ такомъ состояніи Wetterhexe бродила взадъ и впередъ по скалѣ и все больше и больше злилась и волновалась. Наступила суббота и тутъ пошло ужъ совсѣмъ не то. Съ девяти часовъ утра какъ глухой шумъ бури, грохотали и перекатывались часто повторявшіеся выстрѣлы, которые эхо доносило до самого Довона; быстро исчезающія молніи бороздили небо надъ вершинами горъ; потомъ, къ вечеру, молчаливыя ущелья оглашались еще болѣе громкими выстрѣлами. На каждый выстрѣлъ откликались потрясенныя до основанія вершины Генгста, Гантцлэ, Жиромани, и Гроссмана.

— Что это такое? спрашивала себя Бербель.—Ужели это свѣтопреставленіе?

Потомъ она вошла въ пещеру и, увидавъ Кателину, которая забилась въ уголокъ и грызла картофелину, грубо встряхнула ее и крикнула шипящимъ голосомъ:

— Дура! неужели ты ничего не слышишь? Ты ничего не боишься! Ты ѣшь, пьешь, кудахтаешь! Уродъ ты, чучело!

Она злобно вырвала у нея картофелину и, дрожа отъ бѣшенства, усѣлась возлѣ горячаго ключа, отъ котораго клубами поднимался кверху сѣроватый паръ. Черезъ полчаса совсѣмъ стемнѣло и стало такъ холодно, что она зажгла костеръ изъ сухого хвороста; блѣдныя лучи заиграли по краснымъ, каменнымъ глыбамъ и освѣтили отдаленный уголь берлоги, въ которомъ спала Кателина, уткнувшаяся лицомъ въ колѣна и зарывшая ноги въ солому. На дворѣ все стихло. Wetterhexe раздвинула кусты и оглянула окрестность; потомъ присѣла на корточки къ огню; ея сухія губы сжались, сморщенные вѣки опустились и на щекахъ еще рѣзче обозначились глубокія морщины; она притянула къ себѣ старое шер-

стяное одѣяло и какъ будто задремала. Долго слышался только шумъ сгустившагося пара, который падалъ со свода снова въ ключъ и производилъ страдное клокотаніе.]

Это молчаніе длилось часа два; было около полуночи, когда на горѣ вдругъ раздались отдаленные шаги и нестройные возгласы. Бербель стала прислушиваться; то были человѣческіе крики. Она вскочила, дрожа всѣмъ тѣломъ, схватила свой длинный репейникъ, скользнула къ выходу пещеры, раздвинула кусты и шагахъ въ 50 увидѣла передъ собою юродиваго Іегофа, который шелъ къ пещерѣ при яркомъ свѣтѣ полной луны; онъ былъ одинъ и, махая скипетромъ по воздуху, отбивался, точно будто за нимъ гнались тысячи невидимыхъ существъ.

— Ко мнѣ, Ругъ, Блэдъ, Адельриксъ! ревѣлъ онъ потрясающимъ голосомъ; борода его была всклокочена, длинныя, рыжіе волосы были растрепаны, а собачья шкура висѣла на ругѣ, точно щитъ.

— Ко мнѣ, эй! Да услышите-ли вы меня наконецъ! Развѣ вы не видите, что они идутъ! Вотъ они спускаются съ неба, словно коршуны. Ко мнѣ, рыжіе люди, ко мнѣ! Уничтожимъ это собачье племя! А! А! это ты, Мпнау; это ты, Рошаръ! Стойте, стойте!

И съ дикимъ, бѣшеннымъ хохотомъ онъ называлъ по именамъ всѣхъ павшихъ при Дюпонѣ и, казалось, вызывалъ ихъ на бой, какъ живыхъ людей; потомъ онъ отступалъ шагъ за шагомъ, не переставая махать по воздуху своей палицей, произносилъ проклятія, призывалъ къ себѣ своихъ и отбивался, точно въ свалкѣ. Эта отчаянная борьба съ невидимыми существами навела на Бербель суевѣрный ужасъ; волосы встали у нея дыбомъ и она попробовала спрятаться; но въ эту минуту послышалось неопредѣленное клокотанье, которое заставило ее обернуться: посудите же, каковъ былъ ея испугъ, когда она увидала, что горячій ключъ кипѣлъ сильнѣе обыкновеннаго и что надъ нимъ носились густые клубы пара, который отдѣлялся и тянулся къ двери.

Пока эти густыя облака, подобныя тѣнямъ, медленно носились въ воздухѣ, вдругъ появился Іегофъ и кривнуль отрывистымъ голосомъ: — Наконецъ-то вы услышали мой зовъ и пришли на него!

Онъ быстро сдвинулъ все, что стояло у него на дорогѣ; холодный воздухъ ворвался подъ сводъ и пары взвились къ безоблачному небу, крутясь и изгибаясь надъ скалою, будто и нынѣшніе и давно скороненные мертвецы стали продолжать въ воздушной области вѣчную борьбу.

Истомленное лицо Іегофа было освѣщено блѣдными лучами луны, его густая борода спускалась на грудь, глаза его сверкали; съ

поднятымъ скипетромъ, онъ привѣтствовалъ жестомъ каждую новую тѣнь и, называя ее по имени, говорилъ:

— Привѣтъ тебѣ, Блэдъ, привѣтъ тебѣ, Ругъ! Привѣтъ вамъ всѣмъ, мои храбрые молодцы!.. Вблизи часть, котораго вы ждали столько вѣковъ; орлы точатъ свои когти, земля жаждетъ крови!— помните Блютфельдъ!

Вербель была уничтожена; ее поддерживала только одна сила ужаса; но вскорѣ изъ пещеры вылетѣли послѣдніе клубы пара, который окончательно разсѣялся въ безграничномъ, синемъ пространствѣ. Тогда Игофъ быстро вошелъ въ пещеру, присѣлъ на корточки возлѣ ключа и, опершись локтями на колѣна, поддерживая свою большущую голову руками, сталъ глядѣть безумными глазами на клокотавшую воду. Кателина проснулась и закудаhtала, словно зарыдала. Wetterhexe была ни жива, ни мертва, и, забившись въ самый темный уголокъ пещеры, не сводила глазъ съ юродиваго.

— Они всѣ вырвались изъ-подъ земли, кривнуль Игофъ вдругъ: — всѣ, всѣ! Тамъ не осталось больше ни одного! Они пошли оживлять моихъ молодыхъ бойцовъ, которые пали духомъ, они пошли внушать имъ презрѣніе къ смерти!

Онъ откинулся назадъ; на его блѣдномъ лицѣ выразилась мучительная скорбь, и онъ заговорилъ, пристально глядя на Wetterhexe своими волчьими глазами:

— О женщина, происходящая отъ бесплодныхъ вальвирій! Ты никогда не оживляла своимъ дыханіемъ воиновъ, ты никогда во время пира не наполняла ихъ глубокіе кубки, никогда не ставила передъ ними дымящагося мяса кабана Серимара,—къ чему же ты годна послѣ этого? Ткать саваны! Такъ бери же свое веретено и пряди день и ночь, потому что тысячи смѣлыхъ юношей лежатъ подъ снѣгомъ!.. Они храбро бились... Да, они сдѣлали свое дѣло; но часть еще не пришелъ!.. Теперь вороны дерутся надъ ихъ трупами!

Вдругъ на него нашло страшное бѣшенство; онъ сорвалъ обѣими руками свою корону и, вырвавъ цѣлый пучокъ волосъ, отчаянно заревѣлъ:

— О проклятое племя! Неужели ты всегда будешь стоять у насъ поперегъ дороги! Безъ тебя мы бы уже завоевали Европу, рыжіе люди господствовали бы надъ вселенной!.. И я еще унижался передъ пачалипкомъ этого собачьяго племени!.. Я просилъ его, чтобъ онъ отдалъ мнѣ свою дочь, а мнѣ слѣдовало просто отнять ее у него, какъ волкъ отнимаетъ овцу!.. О! Гульдриксъ, Гульдриксъ! Онъ остановился.

— Слушай, слушай, валькирія, заговорилъ онъ тихимъ голосомъ. Онъ торжественно поднялъ палецъ.

Wetterhexe стала слушать: на дворѣ вдругъ забушевалъ вѣтеръ, сильно потрясая старья, покрытыя инеемъ, деревья. Сколько разъ на своемъ вѣку старая вѣдьма слышала завыванье вѣтра въ дѣмныя, мрачныя зимнія ночи, слышала и не обращала на него никакого вниманія, а теперь она испугалась.

И пока она прислушивалась и дрожала всѣмъ тѣломъ, на дворѣ раздался отрывистый крикъ, и почти въ ту же минуту подъ сводъ юркнулъ воронъ Гансъ и принялся описывать въ пещерѣ большіе круги, хлопая крыльями съ испуганнымъ видомъ и издавая жалобныя стоны. Смертельная блѣдность покрыла лицо Йегофа.

— Вальдъ, Вальдъ, закричалъ онъ страдальческимъ голосомъ, чѣмъ провинился передъ тобою твой сынъ Люитпрандъ? Зачѣмъ ты преслѣдуешь его, а не другого?..

Нѣсколько минутъ онъ простоялъ, точно убитый; вдругъ имъ овладѣлъ дикій энтузіазмъ и, потрясая своимъ свистромъ, онъ бросился вонъ изъ пещеры. Черезъ двѣ минуты, стоя у входа пещеры, Wetterhexe провожала его безпокойнымъ взглядомъ.

Онъ быстро шелъ впередъ, вытянувъ шею; въ эту минуту его можно было сравнить съ дикимъ звѣремъ, вышедшимъ на добычу. Гансъ порхалъ впереди съ мѣста на мѣсто: они скоро исчезли въ ущельѣ Блютфельда.

XIX.

Въ эту ночь, часа въ два, пошелъ снѣгъ; когда стало свѣтать, пришлось встряхиваться и бить нога объ ногу.

Нѣмцы удалились не только изъ Гранфонтена и Фрамона, но даже изъ Ширмека. Далеко, далеко, въ долинахъ Альзаса, виднѣлись черныя точки, которыя были ничто иное, какъ ихъ обратившіяся въ бѣгство батальоны.

Проснувшись на зарѣ, Гулленъ обходилъ бивуакъ: онъ остановился нѣсколько минутъ на площадкѣ и осматрѣлъ пушки, обращенныя къ ущелью; взглянулъ на партизановъ, спавшихъ вокругъ костровъ, на вооруженныхъ часовыхъ; потомъ, довольный своимъ осмотромъ, онъ вернулся на ферму, гдѣ еще спали Луиза и Катерина.

Въ комнату проникалъ сѣроватый свѣтъ; въ сосѣдней комнатѣ нѣсколько раненыхъ начинали страдать лихорадочнымъ жаромъ;

они въ слухъ звали своихъ жепъ и дѣтей. Вскорѣ отсюду послышался смутный говоръ, стали ходить взадъ и впередъ и ночная тишина смѣнилась шумомъ. Катерина и Луиза проснулись; у окна сидѣлъ Жанъ-Клодъ и нѣжно смотрѣлъ на нихъ; объимъ женщинамъ стало стыдно, что онъ поднялся раньше ихъ, онъ быстро встали и поспѣшили обнять его.

— Ну, что же? спросила Катерина.

— Ну, они ушли; дорога осталась въ нашихъ рукахъ; я этого и ожидалъ.

Это увѣреніе, повидимому, не успокоило старую фермершу; она выглянула въ окно, чтобы убѣдиться, что нѣмцы точно отступили до самого Альзаса. Однако, не смотря на это, съ ея строгаго лица цѣлый день не сходило выраженіе неопредѣленной тревоги.

Около 9 часовъ пріѣхалъ Гизъ деревни Шармъ священникъ Сомезъ. Тогда нѣсколько ополченцовъ спустились съ горы собирать мертвецовъ; направо отъ фермы вырыли длинный ровъ, куда положили рядкомъ и партизановъ въ плащахъ и пуховыхъ шляпахъ, и австрийцевъ въ мундирахъ и киверахъ. Священникъ Сомезъ, высокій, сѣдой старикъ, прочиталъ старинныя похоронныя молитвы тѣмъ быстрымъ и таинственнымъ голосомъ, который такъ и хватаетъ васъ за душу и будто взываетъ къ угасшимъ поколѣніямъ, чтобы выказать передъ живыми всѣ ужасы могилы.

Цѣлый день пріѣзжали телѣги и сани, увозившія раненныхъ, которые тоскливо просились назадъ, въ свои деревни. Боясь увеличить ихъ раздраженіе, докторъ Лоркенъ долженъ былъ согласиться отпустить ихъ. Было часа четыре, когда Катерина и Гуленъ очутились одни въ большой залѣ; Луиза пошла хлопотать объ ужинѣ. Съ потемнѣвшаго неба сыпались крупныя хлопья снѣга, лѣпившіеся по краямъ оконъ, а по временамъ на дворѣ медленно скользили сани, увозившіе больного, зарытаго въ солому; то женщина, то мужчина вели подъ уздцы лошадь. Катерина сидѣла у стола и съ озабоченнымъ видомъ свертывала бинты.

— Что это съ вами, Катерина? спросилъ Гуленъ. Съ самого утра вы находитесь въ какомъ-то тревожномъ состояніи. А вѣдь между тѣмъ наши дѣла идутъ хорошо.

Фермерша медленно отодвинула лежавшее передъ нею бѣлье и отвѣчала:

— Это правда, Жанъ-Клодъ, я встревожена.

— Да чѣмъ же, Катерина? Непріятель отступилъ, а сейчасъ только Францъ Матернъ и всѣ пѣшеходы окрестныхъ деревень,

которыхъ я разослалъ на рекогносцировку, принесли мнѣ извѣстie, что нѣмцы возвращаются въ Мютцигъ. Старикъ Матернъ и Касперъ, которые поднимали мертвыхъ, узнали въ Гранфонтенѣ, что со стороны Сень-Блезъ-ла-Рошъ намъ ничто не угрожаетъ. Все это доказываетъ, что наши храбрые драгуны приняли врага, какъ слѣдуетъ, на Сепонской дорогѣ, и что онъ теперь боится нападенія съ тыла, со стороны Ширмека. Поэтому, я право не понимаю, что же васъ тревожить?

На вопросительный взглядъ Гуллена она отвѣчала:—Вы опять будете смѣяться надо мною; я видѣла сонъ.

— Сонъ?

— Да, тотъ самый сонъ, который снился мнѣ на фермѣ «Дубоваго Лѣса.»

Проговоривши это, она оживилась и сказала почти гнѣвнымъ голосомъ:

— Говорите, что хотите, Жанъ-Клодъ; а намъ грозитъ неминуемая опасность... Да, да, пусть все это кажется вамъ совершеннымъ вздоромъ... Къ тому же это былъ не сонъ, это скорѣе было похоже на старую исторiю, которую вспоминаешь, на что-то, происходившее на яву и повторяющееся о снѣ! Снилось мнѣ, что мы, какъ вчера, одержали гдѣ-то большую побѣду... не помню гдѣ... что мы всѣ собрались въ большомъ деревянномъ сараѣ съ большими балками и съ оградой кругомъ. Мы были совершенно безпечны; всѣ лица, которыя я видѣла, были мнѣ знакомы; были здѣсь и вы, и Маркъ Дивесъ, и старикъ Дошенъ, было и много другихъ, давно схороненныхъ людей; были тутъ мой отецъ и старiй Гуго Рошаръ съ Гарберга, дядя того, который умеръ; всѣ они были одѣты въ сѣрыя, толстыя, холщевыя блузы, бороды у нихъ были распущены, шеи обнажены. Мы одержали такую же побѣду и пили вино изъ большихъ, красныхъ, глиняныхъ кубковъ; но вдругъ послышался крикъ: «Неприятель возвращается». И передо мною, среди ночной темноты, какъ изъ земли явился Игофъ: онъ сидѣлъ верхомъ на лошади, длинная борода его развѣвалась по вѣтру, на головѣ была надѣта зубчатая корона; онъ держалъ въ рукахъ топоръ и глаза его сверкали, какъ у волка. Я бросилась на него съ коломъ, онъ стоялъ неподвижно... потомъ я уже ничего не видала!... Я только почувствовала сильную боль въ шеѣ, потомъ по моему лицу пробѣжала словно струя холоднаго воздуха, и мнѣ почудилось, что моя голова замоталась на длинной веревкѣ: этотъ негодяй Игофъ привѣсилъ мою голову къ своему сѣдлу и поса-

валъ съ нею! Все это старуха проговорила съ такимъ горячимъ убѣжденіемъ, что Гуленъ содрогнулся.

Молчаніе длилось нѣсколько минутъ; потомъ Жанъ-Клодъ очнулся отъ своего опѣшенія и отвѣчалъ:

— Это только сонъ... И мнѣ часто снятся такіе сны... Вчера вы были встревожены, Катерина... васъ волновали эти выстрѣлы... весь этотъ гвалтъ...

— Нѣтъ, сказала она твердымъ голосомъ, снова принимаясь за свою работу,—нѣтъ, это вовсе не то. Да къ тому же, сказать по правдѣ, во время всей битвы мнѣ вовсе не было страшно, меня не пугали даже пушечные выстрѣлы; я напередъ была увѣрена, что насъ не могутъ разбить: я это видѣла и понимала!... А теперь мнѣ страшно.

— Да вѣдь нѣмцы оставили Ширмежъ; вся Вогезская линія защищена, у насъ больше народу, чѣмъ сколько нужно, къ намъ ежеминутно подходятъ новыя силы.

— Нужды нѣтъ!

Гуленъ пожалъ плечами.

— Полноте, полноте, Катерина, у васъ просто-напросто лихорадка; постарайтесь успокоиться, думайте о болѣе веселыхъ вещахъ. На мои глаза всѣ эти сны, право, просто сущіе пустяки, надъ вторыми можно только смѣяться. Главное дѣло въ томъ, чтобы держать ухо востро; чтобы имѣть по больше запасовъ, людей и пушекъ: это, право, лучше всякихъ счастливыхъ сновъ!

— Вы все шутите, Жанъ-Клодъ.

— Нисколько, но какъ послушаешь, что женщина такая умная и такая смѣлая, какъ вы, говорить подобную чепуху, такъ невольно вспомнишь и Игофа, который хвастаетъ, что жилъ 1600 лѣтъ назадъ.

— А кто знаетъ? сказала старуха упрямимъ тономъ.—Быть можетъ, онъ помнитъ то, что другіе забыли?

Гуленъ собирался рассказать ей разговоръ, который онъ имѣлъ съ кривымъ нагануи въ бивуакѣ; онъ думалъ, что ему такимъ образомъ удастся совершенно разсѣять ея мрачныя опасенія; но видя, что она соглашается съ Игофомъ относительно 1600 лѣтъ, нашъ добрякъ замолчалъ и снова съ озбоченнымъ видомъ принялся ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, потушивъ голову.—«Она рехнулась, думалъ онъ:—еще маленькое потрясеніе и тогда ниши пропало!»

Катерина тоже задумалась; она собиралась что-то сказать, но

той порой въ комнату, словно ласточка, впрорхнула Луиза и закричала своимъ нѣжнымъ, ласковымъ голосомъ:

— Тетушка Лефевръ, тетюшка Лефевръ, вотъ письмо отъ Гаспара!

Старая фермерша, насупившаяся до того, что ея крючковатый носъ касался бороды, и приведенная въ негодованіе насмѣшками Гуллена надъ ея сномъ, подняла голову и глубокія морщины нѣсколько сгладились на ея смуглыхъ щекахъ.

Она взяла письмо, посмотрѣла на красную печать и сказала молодой дѣвушкѣ:

— Поцалуй меня, Луиза; это хорошее письмо!

И Луиза охотно исполнила эту просьбу.

Обрадованный этимъ случаемъ, Гулленъ подошелъ по ближе къ женщинамъ, а въ дверяхъ стоялъ, опершись обѣими руками на палку и подавшій впередъ всѣмъ корпусомъ, утомленный почтальонъ Брейнштейнъ, въ порывѣвшихъ отъ снѣга сапогахъ.

Старуха надѣла свои очки, распечатала письмо съ какимъ-то страннымъ благоговѣніемъ, и стала читать въ слухъ Гуллену и Луизѣ, которые слѣдили за нею нетерпѣливымъ взглядомъ:

«Пишу къ вамъ, добрая матушка, чтобы сообщить вамъ, что все идетъ благополучно, и что во вторникъ вечеромъ я добрался до Пфальсбурга, какъ разъ въ то время, когда запирали ворота. Казаки были уже на Савернскомъ склонѣ; всю ночь пришлось перестрѣливаться съ ихъ авангардомъ. На другой день пришелъ къ намъ парламентаръ съ требованіемъ, чтобы мы сдали городъ. Комендантъ Менье предложилъ ему убираться къ чорту по-добру, по-здорову, и черезъ три дни въ городъ полетѣлъ цѣлый градъ ядеръ и гранатъ. У русскихъ три батареи, одна на Миттельбронскомъ косогорѣ, другая близъ верхнихъ бараконъ, третья за Пернеттскимъ черепичнымъ заводомъ; но каленныя ядра дѣлаютъ намъ всего больше вреда: они сжигаютъ дома до-тла, и когда гдѣ нибудь занимается пожаръ, въ это время лѣтять гранаты и мѣшаютъ намъ тушить огонь. Женщины и дѣти не выходятъ изъ укрѣпленій; всѣ мужчины стоятъ съ нами на валахъ; это славный народъ; между горожанами есть нѣсколько ветерановъ, ходившихъ на Самбру и Мезу, въ Италию, въ Египетъ; они умѣютъ обращаться съ пушками. Я не могу безъ удивленія смотрѣть на этихъ сѣдыхъ усачей, когда они наводятъ пушки и заряжаютъ ихъ. Благодаря имъ, у насъ картечь не пропадаетъ даромъ. Такимъ людямъ, передъ которыми трепеталъ цѣлый свѣтъ, должно быть не легко биться на

старости лѣтъ изъ-за своей лачужки да изъ-за послѣдняго куса хлѣба.»

— Да, не легко, проронила Катерина, обтирая глаза; — какъ только подумаешь объ этомъ, такъ тебя за сердце и хватаетъ.

Потомъ она продолжала письмо:

«Третьяго дня губернаторъ рѣшилъ, что надо идти на черепичный заводъ снять желѣзную рѣшетку. Надо вамъ сказать, что эти русскіе разбиваютъ ледъ на ирудѣ и купаются за-разъ штуку по 20 и до 30, а потомъ влѣзаютъ сушиться въ большую кирпичную печь. Ладно. Когда стало смеркаться, часовъ, такъ, около четырехъ, мы вышли въ кадитку арсенала по потаенной дорогѣ, и, съ ружьями черезъ плечо, бѣглымъ шагомъ пустились по Коровьей аллеѣ. Черезъ десять минутъ мы открыли бѣглый огонь по ируду. Всѣ другіе высыпали изъ черепичнаго завода; они успѣли только перекинуть черезъ плечо свои ранцы, схватить ружья и выстроиться, словно дикари, нагишомъ на снѣгу. Не смотря на это, эти каналы были въ десятеро сильнѣе насъ и уже начинали двигаться направо, къ маленькой часовнѣ Св. Иоанна, думая отрѣзать намъ отступление, но въ эту минуту орудія арсенала открыли по нимъ такой частый огонь, какого я никогда еще не видалъ; картечь такъ и очищала ихъ ряды. Не прошло и четверти часа, какъ они всѣ кинулись бѣжать, не успѣвши даже подобрать свои штаны; офицеры бѣжали впереди, а въ догонку продолжали летѣть изъ города наши ядра. Воображаю, какъ бы дядя Жанъ-Клодъ посмѣялся надъ этимъ улепетываніемъ. Наконецъ, когда совсѣмъ стемнѣло, мы вернулись въ городъ, разрушивши рѣшетку и похоронивъ на днѣ колодца два восьми-фунтовыхъ ядра: это была наша первая экспедиція. Сегодня я пишу къ вамъ изъ Бараковъ Дубоваго Лѣса, куда мы посланы для собиранія провіанта. Эта исторія можетъ затянуться на цѣлые мѣсяцы. Ходятъ слухи, что союзники заняли долину Дозенгеймъ до самого Вешема и что они цѣлыми тысячами идутъ по дорогѣ къ Парижу... Ахъ! если бы Богъ далъ, чтобы императору повезло въ Шампань или въ Лотарингію, — тогда ни одинъ изъ нихъ не ушелъ бы отъ насъ... Ну, словомъ, поживемъ — увидимъ... Мы сейчасъ отправляемся обратно въ Пфальсбургъ; въ окрестностяхъ мы собрали достаточное количество быковъ, коровъ, козъ и будемъ драться, чтобы довести ихъ до города въ совершенномъ здоровьи. До свиданья, добрая матушка, дорогая моя Луиза и дядя Жанъ-Клодъ. Крѣпко, крѣпко обнимаю васъ и прижимаю васъ всѣхъ къ своему сердцу.»

Дочитавши до конца, Катерина, не смотря на твердость своего

характера, не могла удержать двѣ крупныя слезы, которыя медленно скатились съ ея морщинистыхъ щекъ. Она быстро оправилась и сказала:

— Ну, ну, все идетъ хорошо. Войдите-ка, Брейнштейнъ, я вамъ подамъ кусокъ говядины и рюмку водки. А вотъ вамъ за труды; хотѣлось бы мнѣ давать вамъ каждую недѣлю по стоѣбу за такія хорошія письма.

Почтальонъ былъ очень доволенъ подаркомъ и пошелъ за старухой; сзади шли Луиза и Гулленъ, котораго мучило нетерпѣніе выпросить у Брейнштейна, не узналъ-ли онъ по дорогѣ чего нибудь о послѣднихъ событіяхъ; но онъ добился отъ него только, что союзники осаждали Битне, Лютцельштейнъ, и что попытка овладѣть Грауфтальскимъ ущельемъ стоила имъ жизни нѣсколькихъ сотъ человѣкъ.

XX.

Было часовъ десять, когда, распростившись съ Гулленомъ, Луиза и Катерина Лефевръ пошли на верхъ, въ комнату, находившуюся надъ большою залой. Въ этой комнатѣ стояли двѣ большія кровати съ перинами и мягкими пуховниками, обтянутыми полосатой матеріею и возвышавшимися чуть не до самого потолка.

— Ну, вскричала старая фермерша, взлѣзая на свой стулъ, — спи хорошенько, дитя мое; я такъ просто выбилась изъ силъ и отоплюсь на славу!

Она завернулась въ одѣяло и, минутъ черезъ пять, заснула крѣпкимъ сномъ.

Луиза вскорѣ послѣдовала ея примѣру.

Такимъ образомъ прошло часа два, но вдругъ старуху разбудила страшная суматоха:

— Къ оружію! въ оружію! раздавалось со всѣхъ сторонъ. Бѣгите сюда, чортъ возьми; идутъ, идутъ!

Раздались, разъ за разомъ, пять или шесть выстрѣловъ, освѣтившихъ тусклымъ стекломъ.

— Къ оружію! къ оружію!

Выстрѣлы раздавались опять. Слышались шаги, бѣготня, суетня. Сухой, звонкій голосъ Гуллена доносился издали: слышно было, что онъ отдавалъ приказанія.

Потомъ, налѣво отъ фермы, на очень значительномъ разстояніи,

послышался глухой протяжный гулъ, долетавшій изъ ущелій Гроссманна.

— Луиза, Луиза! крикнула старая фермерша:—слынишь, что тамъ дѣлается.

— Да... О, Господи! вѣдь это ужасно!...

Катерина прыгнула съ своей кровати.

— Вставай, сказала она, одѣнемся поскорѣе.

Выстрѣлы повторялись все чаще и чаще и, словно молнія, озарили окна.

— На площадь! крикнулъ Матернъ.

На дворѣ раздавалось ржанье лошадей, въ аллеѣ слышалась бѣготня толпы, люди суетились и во дворѣ, и передъ фермою; казалось, что домъ былъ потрясенъ до самого основанія.

Вдругъ изъ оконъ залы нижняго этажа раздались ружейные выстрѣлы. Двѣ женщины одѣвались въ торопяхъ. Въ эту минуту лѣстница закричала подъ тяжелыми шагами; дверь отворилась и появился Гуленъ съ фонаремъ въ рукахъ, блѣдный, съ всколоченными волосами; лицо его судорожно подергивалось.

— Скорѣй, скорѣй! крикнулъ онъ:—намъ нечего терять ни минуты.

Перестрѣлка приближалась.

— Да что же тамъ происходитъ? спросила Катерина.

— Да ну васъ совсѣмъ, рявкнулъ Жанъ-Клодъ,—есть мнѣ когда толковать съ вами.

Фермерша поняла, что приходилось только повиноваться. Она взяла свой капюшонъ и вмѣстѣ съ Луизой спустилась съ лѣстницы. При дрожащемъ блескѣ выстрѣловъ Катерина увидала Матерна, съ обнаженною шеєю, и его сына Каспера, которые, стоя у входа въ аллею, обстрѣливали просѣки; за ними стояло челоуѣкъ 10, которые безпрестанно подавали имъ заряженныя ружья, такъ что имъ приходилось только прицѣливаться и стрѣлять. Всѣ эти люди, заряжавшіе, цѣлившіе и стрѣлявшіе представляли страшную картину. Къ полуразвалившейся стѣнѣ было прислонено три-четыре мертвыхъ тѣлъ и это придавало еще болѣе мрачности всей ужасной сценѣ; густой дымъ поднимался кверху.

Сойдя съ лѣстницы, Гуленъ крикнулъ:— Вотъ онѣ, слава богу!

И всѣ присутствующіе подыали головы и закричали:— Смѣлѣй, смѣлѣй, тетушка Лефевръ!

Въ отвѣтъ на этотъ возгласъ, старуха, взволнованная всѣми перемесенными потрясеніями, горько заплакала. Она оперлась на

плечо Гуллена, но онъ поднялъ ее, какъ перышко, и побѣжалъ направо, вдоль стѣны. Луиза шла за нимъ и рыдала.

Отовсюду слышался только свистъ пуль, глухо ударявшихся объ стѣны; штукатурка обваливалась, черепицы обрывались, а напротивъ, за просѣками, на разстояніи 300 шаговъ, виднѣлись стройные ряды бѣлыхъ мундировъ, освѣщенныхъ огнемъ въ ночной темнотѣ; налѣво, по ту сторону Миньерскаго оврага, можно было различить горцевъ, которые шли на нихъ.

Обогнувъ уголь фермы, Гулленъ исчезъ; тамъ все было темно, такъ темно, что едва можно было различить доктора Лоркена, который сидѣлъ верхомъ передъ санями и былъ вооруженъ ружьемъ и двумя карманными пистолетами, заткнутыми за поясъ; рядомъ съ нимъ стояло человѣкъ 12, во главѣ которыхъ находился дрожавшій отъ бѣшенства Францъ Матернъ, съ ружьемъ въ рукахъ. Въ саняхъ лежала связка соломы, на которую Гулленъ усадилъ Катерину и потомъ рядомъ съ нею Луизу.

— Наконецъ-то вы пришли, воскликнулъ докторъ,—ну и слава Богу!

— Еслибъ дѣло шло не объ васъ, тетушка Лефевръ, прибавилъ Францъ, право не одинъ изъ насъ не ушелъ бы сегодня вечеромъ съ площадки; но для васъ мы ничего не пожалѣемъ.

— Ничего, ничего не пожалѣемъ! закричали всѣ въ одинъ голосъ.

Въ ту же минуту изъ-за стѣны выбѣжалъ долговязый дѣтина съ журавлиными ногами и сгорбленною спиной, и крикнулъ:

— Идутъ, идутъ, бѣгите, кто можетъ!..

Гулленъ поблѣднѣлъ.

— Это долговязый точильщикъ съ Гарберга, промолвилъ онъ, скрежеща зубами. Францъ не сказалъ ни слова: онъ поднялъ ружье, прицѣлился и выстрѣлилъ. Не смотря на темноту, Луиза увидала, какъ точильщикъ вытянулъ свои длинныя руки и, какъ снопомъ, повалился лицомъ на землю.

Францъ какъ-то странно улыбнулся и принялся снова заряжать свое ружье.

— Ребята, сказалъ Гулленъ,—вотъ наша мать, она дала намъ пороху, она кормила насъ ради защиты родины, а вотъ мое дитя: спасите ихъ!

— Мы спасемъ ихъ или умремъ вмѣстѣ съ ними, отвѣчали всѣ въ одинъ голосъ.

— Да не забудьте объявить Дивесу, чтобы онъ оставался на Фалькенштейнѣ впредъ до приказанія!

- Будьте покойны, господинъ Жанъ-Клодъ.
- Ну, такъ съ Богомъ въ путь, докторъ, воскликнулъ Гулленъ.
- А вы, Жанъ-Клодъ? промолвила Катерина.
- Я? Мое мѣсто здѣсь; надо защищаться до послѣдней крайности!
- Отецъ, отецъ! закричала Луиза, протягивая къ нему руки.

Но онъ уже повернулъ за уголь; докторъ стегнулъ лошадей, сани заскользили по снѣгу, Францъ Матернъ и его люди, съ ружьемъ черезъ плечо, быстро зашагали впередъ, а перестрѣлка все усиливалась около фермы. Вотъ что Луиза и Катерина Лефевръ пережили въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ. Женщины сознавали, что въ эту ночь произошло что-то странное и ужасное. Старая фермерша вспомнила свой сонъ и тяжело задумалась. Луиза обтирала слезы и бросила долгій, прощальный взглядъ на площадку, освѣщенную словно заревоиъ пожара. Лошадь неслась подъ ударами доктора; сопровождавшіе горцы едва могли поспѣвать за санями. Долго еще доносились до слуха бѣглецовъ суматоха, вопли сражающихся, выстрѣлы, свистъ пуль, разсѣившихъ кусты; но все это болѣе и болѣе стихало, и вскорѣ, при спускѣ съ горы, все исчезло, какъ сонъ.

Сани взвѣхали на противоположный склонъ горы и мчались стрѣлою въ ночной темнотѣ. Тишина прерывалась лишь топотомъ лошади, тяжелымъ дыханіемъ сопровождавшихъ людей и возгласами доктора, который по временамъ покрикивалъ на лошадей.

Изъ Саррскихъ долинъ несся потокъ холоднаго воздуха и доносилъ издали несмолкаемый, неопредѣленный, какъ вздохъ, говоръ горныхъ ручьевъ и шелестъ лѣсовъ. Изъ-за облака выглянула луна и озарила темную массу Бланруйскаго лѣса и высокія сосны, османныя снѣгомъ.

Минутъ черезъ десять сани подвѣхали къ опушкѣ лѣса, и, повернувшись на сѣдлѣ, докторъ Лоркенъ вскричалъ:

— Чтожь мы станемъ дѣлать теперь, Францъ? Эта дорожка ведетъ къ Сень-Квиринскимъ холмамъ, а вонъ та спускается къ Бланру: по какой дорогѣ намъ ѣхать?

Францъ и проводники подошли къ санямъ. Въ эту минуту они были на западномъ склонѣ Донона и въ дали, на противоположной сторонѣ, они увидали перестрѣлку нѣмцевъ, которые шли отъ Гроссманна. Виднѣлся только огонь, а черезъ нѣсколько минутъ спустя стали слышны выстрѣлы, которые эхо разносило по вѣтмъ ущельямъ.

— Дорожка къ Сень-Квиринскимъ холмамъ, сказалъ Францъ, ско-

рѣе другихъ приведетъ насъ къ фермамъ «Дубоваго Лѣса;» мы играемъ съ доброй частью времени.

— Да, отвѣчалъ докторъ, но мы рискуемъ, что насъ схватятъ австрійцы, которые заняли теперь Саррскія ущелья. Посмотри-ка, они уже захватили всѣ вершины; они, безъ сомнѣнн, послали отряды на Красную Сарру и собираются обойти кругомъ Дюнона.

— Поѣдьте по Бланруйской дорожкѣ, сказала Францъ:—этотъ путь длиннѣе, но зато и вѣрнѣе.

Сани повернули налѣво и поѣхали вдоль лѣса. Держа ружья наготовѣ, партизаны шли гуськомъ по крутизнѣ, а докторъ, верхомъ на лошади, ѣхалъ по дорожкѣ, разгребая груды глубокаго снѣга. Надъ дорогой, образуя сводъ, свѣшивались вѣтви густыхъ сосенъ и совершенно покрывали ее своими черными тѣнями, а луна яркимъ свѣтомъ заливала всю окрестность. Картина была такъ живописна и величественна, что, при другихъ обстоятельствахъ, Катерина пришла бы въ восторгъ, а Луиза залюбовалась бы на длинныя вереницы иней, на эти прихотливые узоры, блестящiе, какъ хрусталь, въ блѣдныхъ лучахъ луны; но въ эту минуту на душѣ у нихъ была тревога, и къ тому же все освѣщенiе исчезло, какъ только сани вѣхали въ ущелье, и только однѣ вершины высокихъ горъ остались залиты яркимъ свѣтомъ. Съ четверть часа они ѣхали молча; но наконецъ Катерина, у которой давно уже вертѣлся на языкѣ вопросъ, не выдержала и вскричала:

— Докторъ Лоркенъ, теперь вы завели насъ въ самую глушь Бланру и можете дѣлать съ нами все, что угодно: такъ не потрудитесь-ли вы теперь хоть объяснить мнѣ, зачѣмъ насъ насильно тащить куда-то? Жанъ-Клодъ схватилъ меня въ охапку, бросилъ меня на эту связку соломы—и вотъ я очутилась здѣсь!

— Эй, Бруно! крикнулъ докторъ.

Потомъ онъ отвѣчалъ съ нѣкоторою важностью:

— Въ нынѣшнюю ночь, тетушка Катерина, съ нами случилось самое страшное несчастье; на Жана-Клода сердиться нечего, потому что по винѣ другого мы теряемъ плоды всѣхъ нашихъ жертвъ!

— По чьей же винѣ?

— По винѣ несчастнаго Лабарба, который не сумѣлъ отстоять Блутфельдскій проходъ. Онъ потомъ умеръ, исполняя свою обязанность; но это не помогло горю, и если Шюреттъ не подоспѣетъ во время на выручку Гуллену, все пропало, придется очистить дорогу и отступить.

— Какъ! Блутфельдъ взятъ!

— Да, тетушка Катерина. И кому же могло прити въ голову,

что нѣмцы пройдутъ тамъ? Вѣдь это ущелье непроходимо даже для пѣшиходовъ, оно загорожено со всѣхъ сторонъ отвѣсными скалами, по которымъ даже пастухи съ трудомъ спускаются съ своими стадами козъ. И тутъ они прошли по два въ рядъ; они обогнули Пустую Скалу, уничтожили Лабарба, потомъ напали на Жерома, который бился, какъ левъ, до девяти часовъ вечера; но наконецъ по неволѣ пришлось броситься въ соснякъ и пропустить австрійцевъ. Вотъ и вся исторія нашей неудачи. Вѣроятно нашелся человѣкъ довольно низкій, довольно гнусный, чтобы научить враговъ напасть на насъ съ тыла и отдать насъ въ ихъ руки связанныхъ по рукамъ и по ногамъ. О разбойникъ! закричалъ Лоркентъ дрожащимъ голосомъ,—я не золь, но попадись онъ только мнѣ въ руки, какъ бы я его рознялъ на части. Эй, Бруно, ворочайся что-ли!

Партизаны молча двигались по пригорку, скользили, точно тѣни.

Сани снова пустились въ скачъ, потомъ поѣхали медленнѣе; лошадь запыхалась.

Старуха молчала и силилась собраться съ мыслями.

— Я начинаю понимать, заговорила она черезъ нѣсколько минутъ:—въ эту ночь на насъ напали и съ переди и съ боковъ.

— Это вѣрно, Катерина. Къ счастью, за десять минутъ до паденія, къ намъ прискакалъ во весь опоръ, чтобы предупредить насъ, старый драгунъ Циммеръ, контрабандистъ Марка Дивеса. Если бы не онъ, мы бы пропали. Онъ влетѣлъ въ наши аванпосты, проскакавши по площадкѣ Гросманна, мимо отряда козаковъ. Бѣднягѣ достался здоровый сабельный ударъ и его внутренности мотались по сѣдлу; не правда-ли, Францъ?

— Да, отвѣчалъ охотникъ глухимъ голосомъ.

— И что-жъ онъ сказалъ? спросила старая фермерша.

— Онъ только и успѣлъ закричать: «Къ оружію, обошли съ тыла... меня прислалъ Жеромъ... Лабарбъ умеръ... Нѣмцы прошли черезъ Блютфельдъ.»

— А славный онъ былъ человѣкъ! промолвила Катерина.

— Да, славный человѣкъ, отвѣчалъ, понуря голову, Францъ.

И снова всѣ смолкли, и сани долго ѣхали по извиистой долині. Снѣгъ былъ такъ глубоокъ, что подъ часъ приходилось останавливаться. Тогда трое или четверо горцевъ вели лошадь подъ уздцы и путешествіе продолжалось далѣе.

— Это все такъ, проговорила Катерина, вдругъ очнувшись отъ своей задумчивости. Гулень все-таки могъ бы мнѣ сказать...

— Но если бь онъ разсказалъ вамъ объ этихъ двухъ нападеніяхъ, вы захотѣли бы остаться, прервалъ докторъ.

— А кто-жъ смѣетъ помѣшать мнѣ дѣлать, что я хочу? Если бь мнѣ вотъ сейчасъ вздумалось выйти изъ саней—развѣ я не могла бы этого исполнить? Но я простила Жану-Клоду: я раскаяваюсь въ этомъ!

— О, тетя Лефевръ, если вдругъ его убьютъ въ эту самую минуту, прошептала Луиза.

— А вѣдь она права, подумала Катерина, и тотчасъ прибавила:

— Я сказала, что раскаяваюсь, но вѣдь онъ такой добрый и хорошій, что на него и сердиться-то нельзя. Я прощаю ему отъ всей души; будь я на его мѣстѣ—и я бы точно также поступила.

Проѣхавъ еще 200 или 300 шаговъ, они вѣхали въ ущелье скалъ. Снѣгъ пересталъ падать и луна свѣтила, окруженная большими, черными и бѣлыми облоками. Вдали извивался узкій проходъ, обрамленный отвѣсными скалами, а по бокамъ возвышались нескончаемые сосняки. Вдали ничто не нарушало спокойствія дремучихъ лѣсовъ. Можно было подумать, что находишься вдали отъ всякихъ мірскихъ тревоженій. Тишина наступила такая глубокая, что слышны были и порывистое дыханіе лошади, и ея шаги по глубокому снѣгу. Францъ Матернъ подьчасъ останавливался, оглядывался на темныя вершины и снова ускорялъ шагъ, чтобы догнать своихъ спутниковъ.

А между тѣмъ, долины смѣнялись долинами, сани то подымались въ гору, то спускались внизъ, поворачивали то направо, то налево, и за ними неутомимо слѣдовали партизаны съ синеватыми штыками на ружьяхъ.

Часамъ къ тремъ утра они добрались до Бримбельской долины, гдѣ еще теперь, на поворотѣ дороги, возвышается большой дубъ. Съ другой стороны, налево, виднѣлся старый сторожевой домикъ лѣсника Куни; этотъ домикъ, съ тремя ульями, прибитыми къ доскѣ, съ старою, суковатою, виноградною лозою, вившеюся на остроконечной крышѣ, съ маленькимъ пукомъ еловыхъ вѣтвей, замѣнявшихъ вывѣску, потому что въ этой глуши Куни содержалъ кабакъ, былъ окруженъ низенькою каменною стѣной и заборомъ, огораживавшимъ садикъ, и выглядывалъ изъ-за кустовъ, побѣлѣвшихъ отъ снѣга.

Въ этомъ мѣстѣ дорога шла по самой окраинѣ долины, къ которой приходилось спуститься внизъ футовъ на пять или на шесть,

а такъ какъ въ эту минуту луна скрылась за темную тучу, то докторъ, боясь опрокинуть сани, остановился подъ дубомъ.

— Намъ осталось ѣзды всего на какойнибудь часъ, тетунка Лефевръ, крикнулъ онъ; не робѣйте же, намъ некуда спѣшить.

— Да, сказала Францъ, главное дѣло сдѣлано, и мы можемъ дать вздохнуть лошадямъ.

Всѣ собрались вокругъ саней; докторъ слѣзъ съ лошади. Нѣкоторые стали высѣкать огонь и закурили трубки; но все это дѣлалось молча: у всякаго на умѣ былъ Дононъ. Что тамъ происходило въ эту минуту? Удалось ли Жану-Клоду удержаться на площадкѣ до прихода Пиоретта? Въ душѣ этихъ отважныхъ людей тѣснилось столько мучительныхъ думъ, столько тяжелыхъ чувствъ, что никому не хотѣлось говорить.

Они простояли подъ дубомъ минутъ съ пять; туча медленно сдвинулась, и когда блѣдный свѣтъ луны озарилъ ущелье, они вдругъ увидали передъ собою, на разстояніи 200 шаговъ, черную фигуру верхового, ѣхавшаго по дорожкѣ между соснами. На эту высокую, темную фигуру упалъ лучъ мѣсяца; можно было очень ясно разглядѣть казака въ бараньей шапкѣ, съ длиннымъ копьемъ на перевѣсь. Онъ медленно ѣхалъ впередъ. Францъ уже началъ прицѣливаться въ него, но вдругъ сзади блеснуло еще копье, показался еще казакъ, потомъ еще и еще... И вотъ на блѣдномъ фонѣ неба замелькали по всѣму лѣсу блестящія копья и высокія мѣховыя шапки, и казаки гуськомъ стали направляться прямо въ санямъ; они двигались не спѣша, какъ люди, которые ищутъ чегонибудь: одни смотрѣли вверхъ, другіе, пригнувшись къ сѣдлу, шарили въ кустахъ; всѣхъ ихъ было болѣе 30 человекъ.

Представьте же себѣ, каково было волненіе Луизы и Катерины, сидѣвшихъ среди дороги. Онѣ безмысленно смотрѣли на все происходившее. Каждую минуту ихъ могли окружить враги. Горцы точно остолбенѣли; вернуться назадъ было невозможно: для этого надо было или спуститься съ крутизны на поляну, или взобраться на противоположную гору. Старуха растерялась, она схватила Луизу за руку и закричала глухимъ голосомъ:

— Убѣжимъ въ лѣсъ!

Она хотѣла выскочить изъ саней, но ея бапмакъ застрялъ въ соломѣ.

Вдругъ одинъ изъ казаковъ закричалъ что-то гортаннымъ голосомъ и это восклицаніе повторили за нимъ всѣ его спутники.

— Насъ увидали! закричалъ докторъ, обнажая свою саблю.

Только-что онъ произнесъ эти слова, дорожка озарилась съ од

ного конца до другого 12 выстрѣлами, и вслѣдъ затѣмъ раздалось неистово-дикое завываніе: казаки спускались по тропинкѣ на поляну и, пригнувшись къ сѣдламъ, вытянувъ ноги циркулемъ, они, какъ олени, во весь опоръ неслись къ домику лѣсника.

— Э! Да они удирають къ чорту! крикнулъ докторъ.

Но добрякъ радовался слишкомъ рано. Проскакавъ по долинѣ шаговъ 200 или 300, казаки вдругъ собрались въ кучу, какъ стоя скворцовъ, и описали кругъ; потомъ, низко пригнувшись къ сѣдлу, выглядывая изъ-за ушей своихъ лошадей и держа копые на перевѣсь, они во всю прыть помчались къ партизанамъ съ громкимъ крикомъ: «ура! ура!»

Наступила страшная минута.

Францъ и его спутники вскочили на валъ, чтобы заслонить сани.

Секунды черезъ двѣ уже ничего нельзя было разобрать; копыя звенѣли по штыкамъ, крики бѣшенства смѣшивались съ проклятіями; подъ тѣнью широкаго дуба, куда пробивались лучи блѣднаго свѣта, виднѣлись только взвивавшіяся на дыбы лошади, съ развѣвавшимися гривами, силлившіяся вскочить на валъ, а внизу можно было разглядѣть дикія лица съ сверкающими глазами, съ поднятыми вверхъ руками; они въ бѣшенствѣ сыпали удары во всѣ стороны, бросались впередъ, отступали и сопровождали все это такими страшными криками, отъ которыхъ волосы вставали дыбомъ.

Бѣдная Луиза и старая фермерша, съ распущенными сѣдыми волосами, стояли на соломѣ въ саняхъ.

Стоя передъ ними и отражая удары своею саблею, докторъ Лоркенъ кричалъ имъ:

— Да ляжьте же, ляжьте, чортъ возьми!...

Но онѣ ничего не слышали.

Въ общемъ смятеніи, при страшномъ ревѣ сражающихся, Луиза думала только о томъ, чтобы заслонить собою Катерину, а старая фермерша—представьте себѣ ея ужасъ—разглядѣла вдали Игофа. Это былъ точно онъ; онъ сидѣлъ верхомъ на тощей влячѣ; на головѣ его блестѣла жестяная корона, борода его была всклокочена; онъ держалъ въ рукахъ копые, а на плечахъ у него моталась его длинная, собачья шкура. Она видѣла его такъ ясно, какъ среди бѣлаго дня: его темная фигура стояла шагахъ въ десяти отъ нея, глаза его сверкали и словно пронизывали ее насквозь своимъ пристальнымъ взглядомъ. Что же было дѣлать? приходилось покориться, подчиниться своей участи! Такимъ образомъ самые непоколебимые характеры гнутса предъ неумолимымъ ро-

комъ: старуха считала себя заранѣе обреченною на погибель. Она туло поглядѣла на этихъ людей, бросавшихся другъ на друга, какъ волки, бившихся и отражавшихъ удары при лунномъ свѣтѣ. Нѣкоторые падали; лошади, съ уздою на шеѣ, срывались внизъ на поляну. Она видѣла, какъ въ домикѣ старика Куни отворилось слуховое окно и какъ самъ старикъ, съ засученными рукавами, выставилъ ружье, но не могъ рѣшиться стрѣлять въ кучу... Все это она видѣла съ поразительною ясностью и говорила про себя: «Юродивый опять пришелъ... что тутъ ни дѣлай, а онъ привѣситъ мою голову къ своему сѣдлу... и сонъ мой сбудется на яву!»

И, повидимому, все оправдывало ея опасенія: горцы были слишкомъ малочисленны и отступали назадъ. Вскорѣ произошла страшная свалка. Казаки взобрались на валъ и заняли дорожку; мѣтко направленный ударъ копья задѣлъ старуху по затылку и она почувствовала, какъ холодное желѣзо скользнуло по ея тѣлу.

— О, разбойники! закричала она, падая и хватаясь обѣими руками за вожжи.

Самого доктора Лоркена свалили около саней. Францъ и другіе были окружены двадцатью казаками, такъ что они не могли подоспѣть на помощь. Луиза почувствовала, что на ея плечо опустилась чья-то рука: то была рука юродиваго, наклонившагося къ ней съ своей высокой лошади.

Наступила ужасная минута: несчастная дѣвушка, обезумѣвшая отъ страха, пронзительно вскрикнула; въ темнотѣ что-то блеснуло передъ ея глазами — блеснули пистолеты Лоркена... Съ быстротою молніи она выхватила ихъ изъ-за пояса доктора, спустила съ разу оба курка, опалила бороду Игофа, красное лицо котораго на минуту ярко освѣтилось, и прострѣлила голову казаку, который напустился къ ней, сладострастно вытаращивъ глаза. Потомъ она схватила кнутъ, и, стоя въ саняхъ, блѣдная, какъ мертвецъ, стегнула лошадь, которая рванулась впередъ. Сани понеслись сквозь кусты; они наклонялись то вправо, то влево. Вдругъ сѣлки почувствовали сильный толчекъ: Катерина, Луиза, солома—все покатилося по снѣгу, внизъ съ вала. Лошадь стала, какъ влопаная; она упала на колѣни, ротъ у нея былъ полонъ кроввою пѣной: она ударилась объ дубъ.

Какъ ни быстро было это паденіе, но Луиза успѣла разглядѣть нѣсколько тѣней, быстро промчавшихся въ чащѣ лѣса. Ей послышался страшный голосъ, голосъ Дивеса, который кричалъ:—Впередъ! Нападайте!

Она приняла все это за одно изъ тѣхъ смутныхъ видѣній, ко-

торня въ минуту смерти носятся передъ глазами человѣка; но, снова поднявшись на ноги, несчастная дѣвушка перестала сомнѣваться въ дѣйствительности того, что происходило: шагахъ въ 20 отъ нея, за группою деревьевъ, слышался стукъ оружія, и Маркъ кричалъ:—Смѣлѣй, друзья!... не щадить ихъ!

Потомъ она увидала съ дюжину казаковъ, взбравшихся, какъ зайцы, между кустами на противоположную гору, а внизу, сквозь просѣку, мелькнула залитая луннымъ свѣтомъ фигура Іегофа, который переѣзжалъ черезъ долину, какъ испугнутая птица. Раздалось нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ; но они не попали въ юродиваго; вытянувшись во весь ростъ и поднявшись на стременахъ, онъ обернулся назадъ, взмахнулъ копьемъ съ вызывающимъ видомъ, крикнулъ «ура» и помчался впередъ, словно коршунъ, которому удалось высвободиться изъ когтей орла. Изъ домика лѣсника кто-то выстрѣлилъ еще два раза: какой-то лоскутъ оторвался отъ дыряваго платья юродиваго, который мчался дальше, повторяя свое дикое «ура» и взбирался по тропинкѣ вслѣдъ за своими товарищами.

И все это видѣніе исчезло, словно сонъ.

Луиза обернулась; Катерина стояла возлѣ нея, она была поражена и слѣдила за этою сценою съ напряженнымъ вниманіемъ. Съ минуту обѣ женщины смотрѣли другъ на друга, потомъ обнялись съ чувствомъ невыразимаго счастья.

— Мы спасены, промолвила Катерина.

И обѣ заплакали.

— Ты вела себя молодцомъ, говорила фермерша; это хорошо, это превосходно. Жанъ-Клодъ, Гаспаръ, я—мы всѣ можемъ гордиться тобою.

Луиза была такъ взволнована, что дрожала всѣмъ тѣломъ. Опасность миновалась и ея крѣпкая натура снова взяла верхъ.

Прошло нѣсколько минутъ; онѣ нѣсколько успокоились и хотѣли снова взобраться на дорогу, но въ это время къ нимъ подошли докторъ и пять или шесть партизановъ.

— Да, плачьте, плачьте теперь, заговорилъ Лоркенъ, вы просто драгунъ, просто настоящій чортъ. Теперь-то вы собираете губы,—но мы всѣ видѣли, какъ вы справлялись сейчасъ съ этими негодьями. А кстати, гдѣ же мои пистолеты?

Въ эту минуту кусты раздвинулись и появился долговязый Маркъ Дивесь, съ длинною саблею въ рукѣ.

— Э! тетушка Катерина, крикнулъ онъ, вотъ такъ передрыгалъ Чортъ возьми! какое счастье, что я случился тутъ! Эти негодня вась совсѣмъ бы обобрали!

— Да, отвѣчала старуха, подпратывая свои сѣдые волосы подъ чепчикъ,—это точно большое счастье.

— Да еще бы! Я думаю! Не больше какъ минутъ съ десять тому назадъ, я приѣхалъ съ своимъ фургономъ къ старику Кунн. Не ѣзди черезъ Дононь, говоритъ онъ мнѣ, вотъ ужъ часъ, какъ небо пылаетъ въ той сторонѣ... тамъ, на горѣ, вѣрно дерутся.

— Ты думаешь?—Да.—Ну такъ я пошлю Жозона впередъ, чтобъ онъ осмотрѣлъ страну, а мы покуда выпьемъ по рюмкѣ. Такъ и сдѣлали. Но только-что Жозонъ вышелъ, раздались страшные крики. «Что это такое, Кунн?—Не знаю право!» Мы вышли за дверь и увидели свалку. Эй, закричалъ рослый контрабандистъ, чего тутъ долго думать: я вскочилъ на своего Фокса и поскакалъ. Экое счастье-то!

— Да, сказала Катерина, еслибъ мы могли быть убѣждены, что наши дѣла идутъ такъ же хорошо и на Дононь, — мы могли бы порадоваться.

— Да, правда, Францъ рассказалъ мнѣ всю эту исторію, это чортъ знаетъ, на что похоже, всегда что нибудь да не ладится, отвѣчалъ Маркъ. Но... но... чего жъ мы тутъ стоимъ по колѣно въ снѣгу? Будемъ надѣяться, что Пиореттъ подоспѣетъ во время къ своимъ,—а сами пойдемте-ка, допьемте рюмки, которыя еще почти полны.

Пришли четыре контрабандиста и объявили, что этотъ шелопапъ Игоффъ можетъ опять вернуться съ цѣлою ватагою подобныхъ ему разбойниковъ.

— Это правда, отвѣчалъ Дивесь. Мы вернемся на Фалькенштейнъ, потому что таково приказаніе Жана-Клода, но фургона мы не возьмемъ съ собою: съ нимъ намъ нельзя будетъ пуститься по объѣзднымъ дорогамъ и черезъ часъ, не больше, насъ опять настигнутъ эти разбойники. Зайдемте же къ Кунн; Катерина и Луиза вѣроятно съ удовольствіемъ выпьютъ вина, да и другіе отъ этого не откажутся, это всѣхъ насъ подкрѣпитъ и успокоитъ. Эй, Бруно!

Онъ взялъ лошадь подъ уздцы. На сани положили двухъ раненыхъ. На снѣгу валялись двое убитыхъ горцевъ и 7 или 8 казаковъ съ растопыренными ногами, обутыми въ длинные сапоги; тѣла эти были оставлены на мѣстѣ и всѣ направились къ домику стараго лѣсника. Францъ утѣшился, что не былъ на Дононь: онъ уложилъ двухъ казаковъ, а видъ харчевни почти совсѣмъ разве-селилъ его. У дверей харчевни стоялъ фургонъ съ снарядами. Кунн вышелъ на порогъ и закричалъ:

— Добро пожаловать, дорогія гости! Вотъ такъ передрага для

землянкъ, тетунка Дефевръ! Садитесь. А что-то дѣлается тамъ, на вершинѣ?

Пока наскоро расшивали бутылку, пришлось снова рассказать все, что случилось. Добрый старикъ съ морщинистымъ лицомъ и лысою головою, одѣтый въ простую куртку и въ зеленые штаны, внимательно слушалъ, вытаращивъ глаза и всплескивая руками.

— Боже мой! Боже мой! восклицалъ онъ, вотъ времена-то наступили! Ужъ и по большимъ-то дорогамъ ѣздить нельзя—сейчасъ нападутъ на тебя! При шведахъ и то лучше было!

И старикъ качалъ головою.

— Ну, крикнулъ Дивесъ, нечего по пустякамъ время терять; въ путь, въ дорогу!

Когда всѣ вышли, контрабандисты вывезли фургонъ, въ которомъ было нѣсколько тысячъ патроновъ и два небольшіе боченка съ водкой, въ долину, шаговъ на триста отъ дома, и потомъ отпрягли лошадей.

— Ступайте впередъ, крикнулъ Маркъ; мы васъ догонимъ черезъ нѣсколько минутъ.

— Но что-жъ ты сдѣлаешь съ этою телѣгою? спросилъ Францъ. Мы не успѣемъ довести ее до Фалькенштейна, такъ не лучше-ли будетъ оставить ее подъ навѣсомъ у Куни, чѣмъ бросить ее среди дороги?

— Да, чтобъ казаки налетѣли и повѣсили бѣднаго старика,— а что они налетятъ черезъ часъ, это вѣрно. Ты ужъ не безпокойся объ этомъ,— у меня свое на умѣ!

Францъ догналъ удалявшіеся сани. Скоро они оставили за собою нильню Маркиза и круто повернули направо, къ фермѣ Дубоваго Лѣса, которая виднѣлась на площадкѣ не болѣе, какъ въ полу-мили разстоянія. Они поднимались на гору, когда ихъ нагналъ Маркъ Дивесъ съ своими людьми.

— Стойте, закричалъ онъ имъ, подождите минуту. Отглянитесь туда!

Всѣ повернулись назадъ, къ ущелью, и увидали 200 или 300 казаковъ, гарцовавшихъ вокругъ телѣги.

— Идутъ, идутъ, закричала Луиза, скроемся скорѣе.

— Подождите немножко, сказалъ контрабандистъ, намъ нечего бояться.

Не успѣлъ онъ договорить своихъ словъ, какъ пѣлая рѣва пламени залила своимъ пурпурнымъ заревомъ и окрестныя горы, и лѣсъ до самыхъ вершинъ деревьевъ, и маленькій домикъ лѣсника,

скалы и даже глубокія темныя пропасти. Вслѣдъ затѣмъ раздался взрывъ, отъ котораго земля дрогнула.

Всѣ присутствующіе, ослѣпленные внезапнымъ свѣтомъ, молчали отъ ужаса, глядя другъ на друга, а громкій смѣхъ Марка смѣшивался съ оглушавшимъ ихъ грохотомъ.

— Ха, ха, ха! Я былъ увѣренъ, что эти негодяи накинута на фургонъ и захотятъ отвѣдать моей водки, и сообразилъ, что фитиль успѣетъ зажечь порохъ!... Не бойтесь! они не бросятся догонять насъ! Теперь ихъ руки и ноги висятъ на вѣтвяхъ сосенъ!.. А теперь въ путь!.. И дай богъ, чтобы такая же судьба постигла всѣхъ тѣхъ, которые перешли черезъ Рейнъ!

Проводники, партизаны, докторъ—всѣ замолчали. Всѣ эти ужасныя происшествія наводили всѣхъ на нескончаемыя думы, на такія думы, которыхъ никогда не вызвало бы спокойное теченіе обыденной жизни. Всякій спрашивалъ себя въ душѣ:—Что же это за существа—люди, что они такъ безпощадно мучаютъ, истребляютъ, разоряютъ другъ друга? Чѣмъ они умѣютъ возбуждать другъ въ другу такую ненависть? И какал мрачная, бѣшеная сила подстрекаетъ ихъ? Все это устроено нечистой силой!

Только Дивесъ и его люди не смущались такими мыслями; они съ громкимъ смѣхомъ сказали впередъ и весело разговаривали между собою.

— Ну, право, кричалъ долговязый контрабандистъ, такой штуки я нивогда не видалъ на своемъ вѣку... Ха, ха, ха! проживи я хоть тысячу лѣтъ, я и то не перестану хохотать надъ нею.

Потомъ онъ становился мраченъ и продолжалъ:

— А ужъ это непременно Іеговъ устроилъ. Надо быть олухомъ, чтобы не догадаться, что онъ провелъ нѣмцевъ черезъ Блютфельдъ. Жаль мнѣ будетъ, если его пришибло осколкомъ моей телѣги; я ему готовлю штуку получше этой. Я желаю отъ души, чтобы онъ былъ здоровъ, до тѣхъ поръ, пока намъ удастся встрѣтиться гдѣ нибудь въ лѣсу. Будетъ-ли это черезъ годъ, черезъ десять, двадцать лѣтъ—все равно, лишь бы случилось! Чѣмъ долѣе мнѣ придется ждать, тѣмъ сильнѣе во мнѣ разыграется охота: вкусные куски приберегаютъ на закуску, какъ кабаній хрюкъ съ бѣлымъ виномъ!

Онъ говорилъ это съ самымъ добродушнымъ видомъ, но всякій, кто зналъ его, могъ угадать, что Іегофу придется плохо.

Черезъ полчаса спустя, наши путешественники добрались до площади, на которой находилась ферма «Дубоваго Лѣса.»

XXI.

Жеромъ изъ Сенъ-Квирина отступилъ по направленію къ фермѣ. Въ полночь онъ уже занялъ ея площадку.

— Кто идетъ! крикнули его часовые приближавшимся путешественникамъ.

— Это мы, шармскіе жители, отвѣчалъ Маркъ-Дивесъ своимъ громкимъ голосомъ.

Часовые осмотрѣли ихъ и потомъ пропустили.

На фермѣ все было тихо; часовой, съ ружьемъ въ рукахъ, бродилъ передъ ригею, гдѣ на соломѣ спало человѣкъ 30 партизановъ. При видѣ этихъ высокихъ, темныхъ крышъ, этихъ старыхъ сараевъ, хлѣбовъ, всѣхъ этихъ старинныхъ построекъ, среди которыхъ она провела свою молодость, среди которыхъ ея отецъ, ея дѣдъ спокойно и мирно прожили свою тихую, трудовую жизнь, и съ которыми ей приходилось разставаться, быть можетъ, навсегда, у Катерины болѣзненно сжалось сердце; но она не высказала своихъ чувствъ, выпрыгнула изъ саней, какъ въ былое время, когда возвращалась съ базара, и промолвила:

— Ну, Луиза, вотъ мы и дома, — слава Богу.

Старикъ Дюшенъ отворилъ дверь и закричалъ:

— Это вы, госпожа Лефевръ?

— Да, это мы!... Нѣтъ-ли извѣстій отъ Жапа-Клода?

— Нѣтъ, сударыня!

Всѣ вошли въ большую кухню.

На очагѣ тлѣло еще нѣсколько угольковъ, а подъ огромнымъ печнымъ копакомъ, въ тѣни, сидѣлъ Жеромъ Сенъ-Квиринскій съ длинною, клинообразною, рыжею бородою; на немъ былъ надѣтъ длинный, суконный плащъ, онъ опирался на толстую, суковатую палку, а ружье его стояло у стѣны.

— А, здравствуйте, Жеромъ, закричала ему старуха.

— Здравствуйте, Катерина, отвѣчалъ величавый и спокойный начальникъ Гроссмана. Вы пріѣхали съ Днона.

— Да! Плохо дѣло, бѣдный Жеромъ! Когда мы уѣзжали, австрійцы нападали на ферму. Со всѣхъ сторонъ такъ и мелькали бѣлые мундиры. Они уже начинали показываться даже за просѣками...

— Такъ вы думаете, что Гулену придется бросить дорогу?

— Можетъ быть, и придется, если Піореттъ не подоспѣетъ къ нему на помощь.

Партизаны подошли къ огню. Маркъ Дивесъ нагнулся къ горя-

щимъ угольямъ и закурилъ свою трубку; потомъ онъ выпрямился и вскричалъ:

— Я, Жеромъ, спрошу у тебя только одно; я впередъ знаю, что тамъ, гдѣ ты былъ начальникомъ, непремѣнно дрались хорошо...

— Всякій исполнялъ свою обязанности, отвѣчалъ сапожникъ; и объ этомъ заявятъ на страшномъ судѣ тѣ шестьдесятъ человѣкъ, которые легли мертвыми на склонѣ Гроссмана.

— Хорошо. Но кто же провелъ нѣмцевъ? Они сами вѣдь не могли найти прохода черезъ Блютфельдъ.

— Провелъ ихъ Игофъ, юродивый Игофъ, промолвилъ Жеромъ, и сѣрые глаза его, окруженные глубокими морщинами, будто сверкнули въ темнотѣ изъ-подъ густыхъ, нависшихъ сѣдыхъ бровей.

— А, и ты въ этомъ твердо увѣренъ?

— Люди Лабарба видѣли, какъ онъ шелъ по горѣ; онъ велъ другихъ.

Партизаны съ негодованіемъ посмотрѣли другъ на друга.

Въ эту минуту докторъ Лоркенъ, который оставался на дворѣ и отпрягалъ лошадь, отворилъ дверь и закричалъ:

— Сраженіе проиграно! Наши возвращаются съ Донона: я сейчасъ слышалъ рожокъ Лагармита.

Не трудно представить себѣ, какое впечатлѣніе это извѣстіе произвело на присутствующихъ. Каждый призадумался надъ судьбою своихъ родныхъ, своихъ друзей, которымъ, быть можетъ, не суждено вернуться назадъ, и всѣ партизаны изъ кухни и сарая бросились разомъ на площадку. Въ эту же минуту Робень и Дюбуръ, стоявшіе на часахъ около Дубоваго Лѣса, закричали:

— Кто идетъ?

— Франція, отвѣчалъ громкій голосъ.

И не смотря на значительное разстояніе, Луиза узнала голосъ своего отца; ею овладѣло такое волненіе, что Катерина должна была поддержать ее.

Почти въ ту же минуту мерзлый снѣгъ заскрипѣлъ подъ тяжелыми шагами приближавшихся людей; Луиза не выдержала и закричала прерывающимся голосомъ:

— Батюшка, батюшка!

— Иду, иду, отделинунся Гуленъ.

— Гдѣ отецъ? крикнулъ Францъ Матернъ, выбѣжавъ на встрѣчу Жану-Клоду.

— Онъ съ нами, Францъ.

— А Касперъ?

— Онъ слегка раненъ, но это пустяки; ты сейчасъ увидишь ихъ обомхъ!

Въ эту минуту Катерина бросилась на шею Гуллину.

— О, Жанъ-Клодъ, проговорила она, какъ я счастлива, что опять вижу васъ!

— Да, промолвилъ старикъ глухимъ голосомъ, многіе изъ нашихъ не увидятъ больше своихъ.

— Францъ, кричалъ старикъ Матернъ, иди-ка сюда!

— И, не смотря на темноту, можно было разглядѣть людей, которые искали другъ друга, пожимали другъ другу руки, обнимались между собою. Многіе звали своихъ: «Никлау, Сафери!» но на эти имена никто не откликался. Тогда голоса, произносившіе эти имена, становились отрывистѣе, глуше, и наконецъ вовсе смолкли. Радость однихъ и глубокое отчаяніе другихъ производили какое-то ужасающее впечатлѣніе. Гуллиенъ обнималъ и прижималъ къ груди Луизу, которая заливалась горькими слезами.

— Ахъ, Жанъ-Клодъ, говорила тетушка Лефевръ, много вамъ придется услышать объ этой дѣвочкѣ. Теперь я ничего не стану вамъ рассказывать, но на насъ напали...

— Да... мы поговоримъ объ этомъ послѣ... Теперь время дорого, сказалъ Гуллиенъ; дорога, которая идетъ мимо Донона, занята неприятелемъ, казаки могутъ ворваться сюда на зарѣ,—а намъ еще много остается сдѣлать.

Онъ повернулъ за уголъ и вошелъ на ферму; всѣ пошли за нимъ; Дюшенъ подбросилъ въ огонь вязанку хвороста. Всѣ эти люди, съ почернѣвшими отъ пороха лицами, еще горящими отъ волненія, въ платьяхъ, изодранныхъ штыками и забрызганныхъ кровью, выступили изъ темноты въ ярко освѣщенную комнату и представляли собою странное зрѣлище. Касперъ получилъ сабельный ударъ и голова его была повязана платкомъ; его штыкъ, кожаная аммуниція и высокія, синіе холщевые штилеты были забрызганы кровью. Благодаря своему невозмутимому присутствію духа, старикъ Матернъ вышелъ изъ схватки цѣлъ и невредимъ. Такимъ образомъ остатки отрядовъ Жерома и Гуллиена соединились въ одинъ. У всѣхъ лица были одинаково свирѣпыя, одинаково дышали энергіею и духомъ мщенія; только люди Гуллиена едва стояли на ногахъ отъ усталости; они садились направо и налево на что попало, на связки хвороста, на стѣнный камень, на каменные плиты очага, опирались локтями на колѣна и склоняли голову на руки. Люди Жерома оглядывались во всѣ стороны, и обмѣнивались вопросами, чтобы удостовѣриться въ отсутствіи Ганса, Жозона, Даніеля. Послѣ этихъ

вопросовъ наступало продолжительное молчаніе. Сынновья Матерна держали другъ друга за руку, точно боялись, что имъ придется потерять другъ друга, а отецъ ихъ, стоя за ними, прислонившись къ стѣнѣ и опершись на свое ружье, глядѣлъ на нихъ съ глубокимъ, радостнымъ чувствомъ. Онъ будто хотѣлъ сказать: «вотъ они здѣсь, передо мною, молодцы они у меня! Оба вышли цѣлы и невредимы!» И старикъ кашлялъ въ кулакъ. Когда кто нибудь заговаривалъ съ нимъ о Пьерѣ, Жакѣ, Николаѣ, спрашивалъ его о своемъ сынѣ или братѣ, онъ отвѣчалъ на угадъ: «Да, да, много ихъ тамъ лежитъ на спинѣ.... Да чтожь дѣлать? Такова ужъ война.... Вотъ Николай сдѣлалъ свое дѣло.... надо утѣшиться.» А самъ онъ думалъ въ это время: «А мой-то цѣлы—вотъ главное дѣло!»

Катерина и Луиза накрывали на столъ. Изъ погреба вышелъ Дюшенъ съ боченкомъ вина, который онъ поставилъ на буфетъ; онъ выдернулъ втулку и партизаны стали поочередно подставлять свои стаканы, чаши или кружки подъ ярко красную струю, которая и скрывалась при яркомъ пламени печи.

— Пейте, кушайте, говорила старая фермерша;—не все еще кончено, вамъ еще надо запастись силами на будущее время. Ну-ка, Францъ, сними мнѣ со стѣны этотъ окорокъ; вотъ вамъ хлѣбъ, вотъ ножи. Садитесь, дѣти мои.

Францъ снималъ окорока своимъ штыкомъ.

Стали придвигать скамьи, стали садиться, и, не смотря на горе, всѣ принялись ѣсть съ тѣмъ здоровымъ аппетитомъ, котораго не отнять у горца ни настоящія страданія, ни опасенія за будущее. А все-таки невыносимая тоска подъ часъ душила этихъ сильныхъ и твердыхъ людей; то тотъ, то другой вдругъ останавливался, ронялъ вилку и, выходя изъ за стола, говорилъ: «Будетъ съ меня, не могу больше!»

Пока партизаны подкрѣпляли такимъ образомъ свои силы, начальники собрались въ сосѣдней комнатѣ и толковали о послѣднихъ средствахъ къ защитѣ. Докторъ Лоркенъ, возлѣ котораго сидѣлъ, поднявши морду кверху, Плутонъ, его огромная собака, пожѣщала у стола, освѣщеннаго жестяною лампою; направо у окна сидѣлъ Жеромъ, налѣво Гуленъ, блѣдный, какъ полотно. Опершись локтемъ на столъ, подперши голову рукою и повернувшись спиною къ двери, сидѣлъ Маркъ Дивесъ; можно было разглядѣть только его смуглый профиль да конецъ его длинныхъ усовъ. Одинъ только Матернъ стоялъ за стуломъ Лоркена, по обмѣновенію прислонившись къ стѣнѣ и опершись на ружье. Изъ кухни слышался говоръ.

Жанъ-Клодъ позвалъ Катерину; входя она услышала что-то похожее на стонъ и вздрогнула; то былъ голосъ Гуллена.

— Неужели вы думаете, кричалъ онъ надрывающимъ душу голосомъ, что у меня не изнывало сердце, когда я глядѣлъ какъ умирали всѣ эти храбрые молодцы, всѣ эти почтенные отцы семейства? Неужели вы думаете, что мнѣ не было бы легче умирать самому за нихъ? О! Вы не знаете, что я перестрадалъ въ эту ночь! Умирать ничего не значить,—но нести одному такую отвѣтственность!...

Голосъ его оборвался; дрожаніе его губъ, слеза, медленно стекавшая по его щекѣ, вся его осанка, все обнаруживало въ немъ ту внутреннюю тревогу, которая нападаетъ на честныхъ людей, поставленныхъ въ такое положеніе, когда самая совѣсть колеблется и ищетъ новой опоры. Катерина тихонько сѣла въ большое кресло, на лѣво. Черезъ нѣсколько минутъ Гуллень продолжалъ болѣе спокойнымъ тономъ.

— Около полуночи пришелъ Циммеръ и закричалъ: «Насъ обошли кругомъ! Нѣмцы спускаются съ Гроссманна, Лабарбъ смятъ; Жеромъ не можетъ устоять.—Только онъ и сказалъ. Чтожъ было дѣлать? Развѣ я могъ отступить? Развѣ я могъ отдать безъ боя пуньтъ, который стоилъ намъ столько крови, дорогу Дюнона, путь къ Парижу? Развѣ вы не назвали бы меня негодяемъ, еслибъ я это сдѣлалъ? Но у меня было всего триста человекъ, а въ Гранфонтенѣ стояло 4,000, да кромѣ того множество народа спускалось съ горы! Ну, я рѣшился держаться во что бы то ни стало! Я долженъ былъ это сдѣлать. Я сказалъ себѣ:—На что же жизнь безъ чести!... лучше пусть мы умремъ всѣ, да пусть никто не посмѣетъ сказать про насъ, что мы открыли дорогу во Францію. Нѣтъ, нѣтъ! Никто не посмѣетъ сказать этого!»

Въ эту минуту голосъ Гуллена снова дрогнулъ; къ глазамъ его подступили слезы и онъ продолжалъ:

— Да, мои храбрые ребята продержались до двухъ часовъ. Они падали у меня на глазахъ. Они падали съ крикомъ: «Да здравствуетъ Франція!!!» Съ самаго начала дѣла я послалъ къ Пиоретту. Онъ пришелъ на помощь съ пятидесятью здоровыми молодцами. Но было уже слишкомъ поздно! Враги окружали насъ справа и слѣва; они захватили три четверти площадки и отѣснили насъ къ соснякамъ, возлѣ Бланру: они донимали насъ своимъ огнемъ. Я только и могъ собрать тѣхъ раненыхъ, которые еще тащились кое-какъ, и отдать ихъ подъ покровительство Пиоретта; къ нему присоединилось человекъ сто изъ моихъ людей.

У меня осталось всего 50, съ которыми я хотѣлъ занять Фалькенштейнъ. Мы пробились сквозь ряды нѣмцевъ, которые хотѣли отрѣзать намъ отступление. Къ счастью ночь была темна; не будь этого, ни одинъ изъ насъ не ушелъ бы цѣлымъ. Такъ вотъ въ какомъ положеніи наши дѣла. Все пропало! Въ нашихъ рукахъ остается одинъ только Фалькенштейнъ и у насъ всего только 300 человекъ. Теперь надо узнать, согласны ли всѣ идти до конца. Я уже сказалъ вамъ: мнѣ тяжело нести одному такую огромную отвѣтственность. Пока дѣло шло о защитѣ дононской дороги, до тѣхъ поръ не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія: всякій долженъ принадлежать родинѣ; но дорогу мы не отстояли, а чтобы снова овладѣть ею, намъ нужно было бы имѣть 10,000 человекъ, а въ эту минуту враги занимаютъ Лотарингію... Ну, что же надо дѣлать?

— Надо идти до конца, сказала Жеромъ.

— Да, да, закричали другіе.

— А вы что скажете, Катерина?—

— Разумѣется, вскричала старая фермерша, и на ея лицѣ выразилась непреклонная твердость.

Тогда Гуленъ принялся излагать свой планъ болѣе твердымъ голосомъ:

— Фалькенштейнъ можетъ быть для насъ убѣжищемъ. Это нашъ арсеналъ, складъ нашихъ припасовъ; враги знаютъ это и помышляютъ овладѣть этимъ мѣстомъ. Всѣ мы, сколько насъ ни есть здѣсь, должны идти защищать Фалькенштейнъ; надо, чтобы вся страна видѣла насъ; пусть всѣ говорятъ: «Катерина Лефевръ, Жеромъ, Матернъ и его сыновья, Гуленъ, докторъ Лоркенъ, всѣ тамъ; они не хотятъ сложить оружія». Эта мысль ободритъ всѣхъ храбрыхъ людей. Кромѣ того Пиореттъ будетъ бродить по лѣсамъ; его отрядъ будетъ съ каждымъ днемъ увеличиваться. По окрестностямъ будутъ бродить козаки и всякіе воришки; когда неприятельская армія уйдетъ въ Лотарингію, я подамъ сигналъ Пиоретту; онъ бросится между Донономъ и дорогою и перехватаетъ, какъ коршунъ, всѣхъ отставшихъ солдатъ, которые растянутся по всей горѣ. Мы, съ своей стороны, можемъ воспользоваться благопріятными обстоятельствами, можемъ отбить обозы нѣмцевъ, напасть на ихъ резервы и, если посчастливится нашимъ разбить нѣмцевъ въ Лотарингіи, мы имъ отрѣжемъ отступление.

Всѣ встали и, войдя въ кухню, Гуленъ обратился къ горцамъ съ слѣдующею простою рѣчью:

— Друзья мои, мы рѣшили, что будемъ сражаться до конца. Впрочемъ, всякій можетъ поступить какъ ему угодно, можетъ сло-

жить оружіе, вернуться въ свою деревню; но пусть тѣ, кто хочетъ мстить, присоединяются къ намъ! Мы будемъ дѣлить съ ними послѣдній кусокъ хлѣба, послѣдній зарядъ.

Старый сплавщикъ Колонъ всталъ и сказалъ:

— Гуленъ, мы всѣ пойдемъ за тобою; мы начали драться всѣ вмѣстѣ, такъ надо же и кончить вмѣстѣ!

— Да, да, подтвердили другіе.

— Всѣ ли вы рѣшились? Ну! такъ слушайте же меня! Братъ Жерома будетъ начальникомъ.

— Мой братъ умеръ, прервалъ Жеромъ; онъ остался на склонѣ Гроссмана.

Наступило минутное молчаніе. Потомъ Гуленъ продолжалъ громкимъ голосомъ:

— Колонъ, ты примешь начальство надъ всѣми, кто остается, исключая людей, которые были проводниками Катерины Лефевръ и которыхъ я беру съ собою. Ты пройдеши черезъ *Дот-Рюки* и присоединишься къ Піоретту.

— А снаряды, вскричалъ Маркъ Дивесъ.

— Я привезу съ собою свой фургонъ, сказалъ Жеромъ; пусть Колонъ возьметъ его.

— Надо и сани запретъ, вскричала Катерина; козаки идутъ, они все ограбятъ. Не приходится нашимъ людямъ уходить съ пустыми руками; пусть они ведутъ съ собою быковъ, коровъ, козъ; пусть захватятъ все, что можно: по крайней мѣрѣ, не достанется все это врагамъ.

Черезъ пять минутъ начали опустошать ферму: на сани накладывали окорока ветчины, солонину, хлѣбъ; изъ хлѣбовъ выводили скоть, въ большую телѣгу впрягали лошадей, и вскорѣ поѣздъ двинулся подъ предводительствомъ Робена, который дулъ въ свой длинный, тростниковый рогъ; сзади шли партизаны. Когда всѣ скрылись за лѣсомъ и шумъ внезапно смѣнился глубокою тишиною, Катерина обернулась назадъ: за нею стоялъ Гуленъ, блѣдный какъ мертвецъ.

— Ну, Катерина, сказалъ онъ ей, все кончено! Мы уйдемъ туда, на верхъ!

Францъ, Касперъ, всѣ провожатые, Маркъ Дивесъ, Матернъ ждали въ кухнѣ съ ружьями въ рукахъ.

— Дюшенъ, сказала добрая старуха, иди въ деревню; я не хочу, чтобы враги обидѣли тебя, изъ-за меня.

Старый слуга покачалъ сѣдою головою и отвѣчалъ со слезами на глазахъ:

— Лучше жъ мнѣ умереть здѣсь, госпожа Лефевръ; скоро ми-

нетъ 50 лѣтъ, какъ я уже служу на фермѣ.... не заставляйте меня уходить: я просто умру.

— Какъ знаешь, мой бѣдный Дюшенъ, отвѣчала растроганная Катерина; вотъ ключи отъ дома.

И бѣдный старикъ усѣлся на скамейкѣ противъ очага, устремилъ глаза на одну точку и, полу-отерывъ ротъ, впалъ въ глубокую, тоскливую задумчивость.

Всѣ направились къ Фалькенштейну. Въ аррьергардѣ ѣхалъ Маркъ Дивесъ съ своею длинною саблею въ рукѣ. Съ лѣвой стороны Францъ и Гулленъ слѣдили за тѣмъ, что происходило на площадкѣ; справа шли Касперъ и Жеромъ, не спускавшіе глазъ съ долины; Матернъ и проважатые окружали женщинъ. Странное дѣло! изъ дверей и оконъ шармскихъ домиковъ и хижинъ высывались старыя и молодыя лица, съ любопытствомъ глядѣвшія на это бѣгство старухи Лефевръ, которую не щадили злые языки: «А! вотъ и разорили ихъ гнѣздо, кричали со всѣхъ сторонъ; вотъ, не слѣдуетъ мѣшаться въ чужія дѣла!»

Другіе размышляли въ слухъ, что Катерина уже слишкомъ долго пользовалась своимъ богатствомъ, и что всякій въ свою очередь долженъ испытать бѣдность. Но о трудахъ, благоразуміи, сердечной добротѣ и всѣхъ добродѣтеляхъ старой фермерши, о патриотизмѣ Жана-Клода, о храбрости Жерома и трехъ Матерновъ, о безкорыстіи доктора Лорвена, о преданности Марка Дивеса никто не сказалъ ни слова: всѣ эти люди были побѣждены!

XXII.

Дойдя до конца долины Березокъ и повернувши на лѣво отъ деревни Шармъ, маленькое общество стало медленно взбираться по тропинкѣ къ старому *бургу*. Вспомнилось Гуллену, что онъ шелъ по той же дорогѣ, когда ходилъ покупать порохъ у Марка Дивеса, и на него вдругъ напала глубокая тоска. Несмотря на свое путешествіе въ Пфальсбургъ, несмотря на раненыхъ которыхъ везли изъ Ганау и Лейпцига, несмотря на рассказъ стараго сержанта, онъ тогда еще надѣялся и не поддавался отчаянію; онъ еще былъ полонъ энергіи и не сомнѣвался въ успѣхѣ защиты. Теперь все пропало: враги вторглись въ Лотарингію, горцы обратились въ бѣгство. Маркъ Дивесъ ѣхалъ по глубокому снѣгу вдоль скалы, его долговазая лошадь, вѣроятно, приученная къ такимъ путешествіямъ,

ржала и по временамъ вскидывала голову. Контрабандистъ изрѣдка поворачивался назадъ и глядѣлъ на площадку фермы «Дубоваго лѣса». Вдругъ онъ закричалъ: «Э! вотъ и козаки показываются!»

Послѣ этого восклицанія все общество остановилось и стало смотрѣть вдаль. Въ это время они были уже высоко на горѣ, выше деревни и даже выше фермы «Дубоваго лѣса».

Сѣрое зимнее утро разгоняло ночной туманъ, и въ разныхъ мѣстахъ за скалами мелькали силуэты козаковъ, которые, поднявши носъ къ верху и держа пистолеть въ рукѣ, медленно подъѣзжали къ старой фермѣ. Они ѣхали какъ застрѣльщики, какъ будто опасались засады. Черезъ нѣсколько минутъ показались другіе, ѣхавшіе по долинѣ, за ними еще другіе; всѣ они стояли въ стременахъ и глядѣли вдаль, какъ люди, которые отправляются на поиски. Первые объѣхали ферму и, не замѣтивъ ничего опаснаго, замахали копытами и описали полу-кругъ. Всѣ другіе подскакали къ нимъ во весь опоръ, какъ вороны, которые во весь духъ подлетаютъ къ взвизывающемуся ворону, ожидая, что онъ завидѣлъ добычу. Черезъ нѣсколько секундъ ферму окружили, дверь отворили. Прошло минуты двѣ, и стекла зазвенѣли, изъ оконъ во всѣ стороны посыпались мебель, матрасы, бѣлье. Катерина спокойно смотрѣла на это опустошеніе. Она долго молчала; но когда она увидала вдругъ, какъ Игофъ, котораго она не замѣчала до той минуты, ударилъ Дюшена рукояткою своего копья и вытолкнулъ его изъ фермы, у нея невольно сорвался крикъ негодованія:

— О, негодяй! Вотъ подлость-то! Онъ бьетъ бѣднаго старика, который не въ силахъ защищаться!... О, разбойникъ!.. попадись ты мнѣ только въ руки!..

— Ну, Катерина, закричалъ Жанъ-Клодъ, довольно съ васъ! Къ чему вамъ смотрѣть на такое зрѣлище!

— Вы правы, сказала старая фермерша; пойдите дальше: я право была бы въ состояніи сойти внизъ и отмстить имъ.

Чѣмъ больше они поднимались въ гору, тѣмъ рѣзче и холоднѣе становился воздухъ. Во главѣ отряда шла Луиза, дочь *бездомныхъ бродягъ*; она несла на рукѣ маленькую корзинку съ провизіею. Спнее небо, долины Альзаса и Лотарингіи, а тамъ, на самомъ горизонтѣ, долины Шампаньи, все это безирелѣльное пространство, въ которомъ взоръ терялся, все это приводило Луизу въ самое восторженное состояніе. Чудилось ей, что у нея крылья, что она рѣлетъ въ лазурной высотѣ, какъ тѣ большія птицы, которыя скользятъ съ вершинъ деревьевъ въ бездонныя пропасти и поютъ свою вольную пѣсню. Всѣ житейскія бѣдствія, всѣ перенесенныя обиды

и страданія были забыты ею. Луизѣ казалось, что она видитъ себя маленькимъ ребенкомъ, сидящимъ на спинѣ своей матери, бѣдной бродяги-цыганки, и она говорила себѣ: «никогда я не была такъ счастлива, никогда я не была такъ беззаботна, никогда я такъ отъ души не смѣялась и не пѣла. А между тѣмъ мы часто сидѣли безъ хлѣба. А все таки хорошіе были тѣ дни! И вспоминались ей отрывки старыхъ пѣсень.

Поровнявшись съ красноватою скалою, въ которой тамъ и сямъ, словно вставленные въ нее, виднѣлись бѣлые и красные голыши, и которая наклонилась надъ пропастью, точно своды огромнаго собора, Луиза и Катерина остановились отъ удивленія. Небо надъ ними казалось еще бездоннѣе, тропинка, извинаясь въ скалѣ, казалась еще уже. Безконечныя долины, глухіе, дремучіе лѣса, отдаленныя пруды Лотарингіи, синяя лента Рейна, катившагося на право отъ нихъ, все это представляло величественную картину, которая тронула ихъ, и старая фермерша сказала съ глубокимъ благоговѣніемъ:

— Жанъ-Клодъ, тотъ, кто воздвигъ эту скалу, кто прорылъ эти долины, насадилъ эти лѣса и мхи — тотъ воздастъ намъ справедливость, которой мы заслуживаемъ.

Пока они смотрѣли на скалу, Маркъ отвелъ свою лошадь въ близлежащую пещеру; потомъ онъ ползъ на скалу впередъ ихъ и сказалъ, обращаясь къ нимъ:

— Берегитесь, здѣсь можно поскользнуться!

Между тѣмъ онъ указывалъ имъ направо, на синюю бездну и на соснякъ, возвышавшійся на днѣ. Всѣ молчали, пока дошли до террасы, гдѣ начинался сводъ. Тутъ всѣ вздохнули свободнѣе. Посреди прохода мелькали контрабандисты Бреннъ, Пфейферъ и Турбакъ, одѣтые въ сѣрые плащи и черныя, войлоковыя шапки, они сидѣли вокругъ огня, разведеннаго вдоль скалы. Маркъ Дивестъ сказалъ имъ:

— Вотъ и мы! Австрійцы завладѣли всѣмъ... Циммера убили нынче ночью... Гексъ-Безель здѣсь, на верху?

— Да, отвѣчалъ Бреннъ, она дѣлаетъ патроны.

— Они еще пригодятся, сказалъ Маркъ. Смотрите въ оба глаза, и если кто нибудь подойдетъ, стрѣляйте тотчасъ же.

Матерны остановились на краю скалы, и эти трое рослыхъ, рыхлыхъ ребятъ съ приподнятыми пуховыми шляпами, съ пороховницами черезъ плечо, съ ружьями въ рукахъ, съ сухими, жилистыми ногами, составляли странную группу, которая рѣзко обрисовывалась на синемъ фонѣ пропасти. Старикъ Матернъ протянулъ руку

и указалъ куда-то въ даль, на бѣлую, едва примѣтную точку, которая виднѣлась за соснякомъ.

— Узнаете вы это, дѣти мои, сказалъ онъ.

И всѣ трое прищурили глаза и устремились на эту точку.

— Это нашъ домъ, отвѣчалъ Касперъ.

Бѣдная Магрдель! промолвилъ старый охотникъ, помолчавъ съ минутку; воображаю, какъ она безпокоилась всю эту недѣлю! Сколько обѣтовъ она сдѣлала за насъ св. Одилин!

Въ эту минуту Маркъ Дивесъ, шедшій впереди, вскрикнулъ отъ удивленія.

— Тетушка Лефевръ, сказалъ онъ останавливаясь, козачи по-дожгли вашу ферму!

Катерина выслушала это извѣстie съ величайшимъ спокойствіемъ и подошла къ самому краю террасы. Луиза и Жанъ-Клодъ пошли за нею. На днѣ пропасти носилась большая бѣлая туча; съвозъ эту тучу по направленію къ «Дубовому лѣсу» виднѣлась искра—и только всего. Но, по временамъ, когда поднимался вѣтеръ, пожаръ вспыхивалъ: виднѣлись обгорѣлыя, черныя крыши, пылающій сѣноваль, маленькія конюшни, охваченныя пламенемъ; потомъ все снова заволакивалось дымомъ.

— Ужъ почти все кончено, сказалъ Гулленъ шопотомъ.

— Да, отвѣчала старая фермерша, 40 лѣтъ труда и заботъ разлетѣлись въ одинъ мигъ, какъ этотъ дымъ, но все равно; вѣдь они не могутъ сжечь мою тучную землю, большое эйхматское пастбище. Мы снова примемся за работу. Гаспаръ и Луиза все наверстаютъ. А мнѣ раскаяваться не въ чемъ.

Прошло съ четверть часа; вдругъ полетѣли искры, и все рухнуло. Уцѣлѣли только обгорѣлыя балки строеній. Тогда всѣ пошли впередъ по тропинкѣ. Когда они подходили къ верхней террасѣ, послышался пискливый голосъ Гексъ-Безель.

— Ты ли это, Катерина, кричала она. Вотъ ужъ я никогда не думала, что ты придешь ко мнѣ въ мою убогую трущобу!»

Безель и Катерина Лефевръ учились вмѣстѣ въ школѣ и говорили другъ другу «ты».

— Да, по правдѣ сказать, и я этого не ожидала, отвѣчала старая фермерша; ну, да все равно, Безель, въ несчастіи всякій радъ встрѣтить старую подругу дѣтства.

Безель, повидимому, была тронута.

— Распоряжайся всѣмъ, что здѣсь есть, Катерина, распоряжайся, какъ своимъ добромъ, вскричала она.

Она указала на свою бѣдную скамейку, на свою метлу, на пять

или шесть колѣнъ, валавшихся у очага. Катерина нѣсколько времени молча смотрѣла на эту обстановку и промолвила наконецъ:

— Оно не роскошно, да за то прочно; твоего дома не сожгутъ.

— Нѣтъ, не сожгутъ, засмѣялась Гексъ-Безель; имъ пришлось бы пожечь всѣ лѣса графства Дабо, чтобы только чуть-чуть протопить нашу берлогу. Хе-хе-хе!»

Утомленные и измученные ополченцы нуждались въ отдыхѣ; всѣй поспѣшилъ прислонить ружье къ стѣнѣ и улечься на землю. Маркъ-Дивесъ отвелъ имъ вторую пещеру, гдѣ они могли быть совершенно въ сторонѣ; потомъ онъ вышелъ съ Гуллономъ, чтобы посмотрѣть, что дѣлается вокругъ нихъ, въ окрестности.

XXIII.

На самой вершинѣ фалькенштейнской скалы возвышается круглая, полуразрушившаяся башня. Эта башня, обросшая рѣпейникомъ, бурьяномъ и ползучими травами, стара какъ самыя горы: ее не разрушили ни французы, ни нѣмцы, ни шведы. Камень и замазка такъ крѣпко держатся между собою, что невозможно отволотъ ни малѣйшаго кусочка. На видъ эта башня мрачна и таинственна, и глядя на нее вы невольно переносите мыслью къ такимъ отдаленнымъ временамъ, до которыхъ не можетъ добраться человѣческая память. Въ то время, когда перелетаютъ дикіе гуси, Маркъ-Дивесъ отправлялся въ засаду въ-эту башню, если ему нечего было дѣлать, и иногда, во время сумерекъ, когда стаи гусей летятъ по вечернему туману и садятся на ночлегъ, описывая предварительно широкіе круги, онъ убивалъ двухъ или трехъ птицъ; это приводило въ восторгъ Гексъ-Безель, которая сейчасъ-же насаживала ихъ на вертелъ. Часто, осенью, Маркъ разставлялъ въ кустарникахъ сѣти, въ которыхъ ловились дрозды; кромѣ того старая башня служила ему пріютомъ. Когда сѣверный вѣтеръ дулъ во всю ночь, когда шумъ, трескъ вѣтокъ и стонъ дремучихъ окрестныхъ лѣсовъ сливались въ продолжительный гулъ, напоминавшій бушующее море, тогда Гексъ-Безель часто подвергалась опасности быть снесенной на противоположную вершину Кильберн! Но Гексъ-Безель цѣплялась обѣими руками за вѣтви, и вѣтру удавалось только развѣять ея рыжія волосы. Дивесъ замѣтилъ, что снѣгъ и дождь мочили его дрова, которыя больше дымили, чѣмъ горѣли, и потому устроилъ надъ башнею досчатую крышу. По этому пово-

ду контрабандистъ разсказывалъ странную исторію: онъ говорилъ, будто, подставляя стропила, онъ нашелъ въ расщелинѣ скалы бѣлую, какъ снѣгъ, слѣпую и дряхлую сову, у которой было множество летучихъ мышей и полевыхъ крысъ. За это онъ прозвалъ ее *бабушкою всѣхъ птицъ*, полагая, что всѣ птицы прилетали къ ней и кормили ее по случаю ея преклонныхъ лѣтъ.

Когда стало смеркаться, ополченцы, стоявшіе на сторожѣ на разныхъ этажахъ скалы, точно жилицы обширнаго отеля, завидѣли въ окрестныхъ ущельяхъ бѣлые мундиры. Они подвигались со всѣхъ сторонъ сплошными массами, что ясно обнаруживало ихъ намѣреніе блокировать Фалькенштейнъ. Видя это, Маркъ-Дивесъ призадумался. «Если они насъ осадятъ, подумалъ онъ, намъ будетъ невозможно достать провізіи; придется сдаться или умереть съ голоду».

Можно было ясно разглядѣть непріятельскій главный штабъ, расположившійся на лошадахъ вокругъ шармскаго колодца. Рослый, пузатый начальникъ разглядывалъ скалу въ подзорную трубку: за нимъ стоялъ Иегофъ, къ которому онъ часто обращался съ вопросами. Нѣсколько поодаль толпились женщины и дѣти съ изумленными лицами и пять или шесть козаковъ, которые гарцовали на своихъ лошадахъ. Контрабандистъ не выдержалъ; онъ отвелъ Гуллена въ сторону.

— Взгляни, сказалъ онъ ему, на эту длинную вереницу киверовъ, которые скользятъ вдоль Сарры, а вотъ здѣсь другіе переходятъ черезъ долину, вытягивая ноги, словно зайцы: это австрійцы, не правда ли? Ну, какъ ты думаешь, что они противъ насъ замышляютъ?

— Они оцѣпляютъ гору.

— Это очень понятно. Какъ ты думаешь, сколько тамъ примѣрно можетъ быть народу?

— Три, четыре тысячи человѣкъ.

— Не считая тѣхъ, которые бродятъ по деревнѣ. Ну! Что-жъ Шюреттъ можетъ сдѣлать противъ этой толпы негодяевъ съ своими тремя стами человѣкъ? Скажи мнѣ откровенно, Гулленъ.

— Да ничего онъ не сдѣлаетъ, отвѣчалъ Гулленъ отрывисто. Нѣмцы знаютъ, что всѣ наши припасы въ Фалькенштейнѣ; послѣ своего вторженія въ Лотарингію, они боятся возстанія и хотятъ обезопасить себя стыла. Непріятельскій генералъ убѣдился, что силою насъ не одолѣешь: вотъ онъ и рѣшился побѣдить насъ голодомъ, все это положительно вѣрно, Маркъ; но мы мужчины, мы сдѣлаемъ свое дѣло: мы умремъ здѣсь!

Наступило минутное молчаніе; Маркъ-Дивесъ морщилъ брови и, повидимому, вовсе не былъ убѣжденъ въ истинности словъ Гуллена.

— Умремъ! промолвилъ онъ, почесывая затылокъ; я вовсе не понимаю изъ-за чего это намъ умирать; умирать—вовсе не въ моемъ вкусѣ: слишкомъ много людей стали бы радоваться этому.

— Чего жъ тебѣ хочется? спросилъ Гулленъ сухимъ тономъ; ты хочешь сдаться?

— Сдаться, закричалъ контрабандистъ; развѣ ты меня принимаешь за подлеца?

— Такъ объяснись же.

— Сегодня вечеромъ я отправлюсь въ Пфальсбургъ. Проходя черезъ ряды враговъ, я буду рисковать своею шкурой, но лучше же умереть такъ, чѣмъ сложить руки и дожидаться голодной смерти. Я какъ нибудь проберусь въ городъ. Комендантъ Менье знаетъ меня; вотъ уже 3 года, какъ я продаю ему табакъ. Онъ такъ же какъ и ты былъ въ Италіи и въ Египтѣ. Ну, я ему все расскажу. Я повидаюсь съ Гаспаромъ Лефеврѣмъ. Я буду приставать и, можетъ быть, выхлопочу для насъ роту солдатъ. Добиться намъ только мундировъ, Жанъ-Клодъ, и мы спасены: всѣ молодцы, которые остались въ живыхъ, пристанутъ къ Пиоретту, и во всякомъ случаѣ будетъ возможность выручить насъ. Вотъ моя мысль; что ты на это скажешь?

Онъ глядѣлъ на Гуллена; его мрачный, печальный взоръ безпокоилъ его.

— Говори же, развѣ это не хорошо придумано?

— Это хорошая мысль, сказалъ Жанъ-Клодъ. Я не противлюсь этому.

Потомъ онъ въ свою очередь пристально глянулъ въ глаза контрабандисту.

— Поклянешься ли ты мнѣ, что употребишь всѣ усилія, чтобы пробиться въ городъ?

— Не стану я тебѣ ни въ чемъ клясться, отвѣчалъ Маркъ, и его смуглыя щеки вдругъ вспыхнули яркимъ румянцемъ; я оставляю здѣсь все, что у меня есть: свое имущество, жену, товарищей, Катерину Лефеврѣ, и тебя, мой старый и лучший другъ!... Я буду измѣнникомъ, если не вернусь. Но, когда я вернусь, Жанъ-Клодъ, ты мнѣ объяснишь то, что ты у меня спросилъ сейчасъ: мыведемъ небольшой счетецъ между собою!

— Маркъ, сказалъ Гулленъ, прости меня! Я столько перестрадалъ за эти дни! я былъ неправъ; но несчастье дѣлаетъ недовѣр-

чивымъ... дай мнѣ руку... ступай, спасай насъ, спаси Катерину, спаси мое дитя! Я говорю тебѣ теперь: у насъ остается только одна надежда на тебя.

Голосъ Гуллена оборвался. Дивесъ умплотивился и спокойно прибавилъ:

— А все таки, Жанъ-Клодъ, ты не долженъ былъ бы говорить мнѣ это въ такую минуту; есть слова, которыя рѣжутъ хуже ножа! Я или сложу свою голову гдѣ нибудь по дорогѣ, или приду васъ выручать. Сегодня въ ночь я отправлюсь. Австрійцы уже окружаютъ гору. Но пускай ихъ, у меня лошадь славная, да къ тому же мнѣ всегда везло.

Въ шесть часовъ послѣднія вершины покрылись темнотою. Сотни огней засвѣтились по ущельямъ: нѣмцы готовили себѣ ужинъ. Маркъ Дивесъ ощупью спустился съ бреша. Гуллень еще нѣсколько секундъ прислушивался къ шагамъ своего товарища; потомъ онъ съ озабоченнымъ видомъ пошелъ къ старой башнѣ, которая была пѣбрана главною квартирою. Онъ отдернулъ толстое одѣяло, завѣшивавшее совиное гнѣздо, и увидалъ вокругъ огонька, который освѣщаль сѣрыя стѣны, Катерину, Луизу и другихъ. Обвинивши руками колѣна и устремивъ глаза на пламя, старая фермерша сидѣла на дубовомъ пнѣ; лицо ея было подернуто зеленоватою блѣдностью. Луиза была задумчива и сидѣла прислонившись къ стѣнѣ. Жеромъ стоялъ позади Катерины; руки его были сложены на палкѣ, а высокая мѣховая шапка доставала до гнилаго потолка. Всѣ были печальны и какъ-то упали духомъ. Только Гексъ-Безель, стряпавшая что-то въ кострюлѣ, да докторъ Лоркенъ, скоблившій стѣну концомъ своей сабли, были совершенно спокойны.

— Вотъ, сказалъ докторъ, мы и вернулись ко временамъ Трибоковъ. Этими стѣнамъ болѣе 2,000 лѣтъ. Съ вершинъ Фалькенштейна и Гросманна много утекло воды въ Рейнъ, черезъ Сарру, съ тѣхъ поръ, какъ въ этой башнѣ не зажигали огня.

— Да, отозвалась Катерина, будто очнувшись отъ сна, и много людей кромѣ насъ пострадали здѣсь отъ холода, голода и всякихъ бѣдствій. И кто знаетъ объ этихъ страданьяхъ? Никто. И черезъ сто, двѣсти, триста лѣтъ другіе, быть можетъ, будутъ искать убѣжища на этомъ же мѣстѣ. И имъ, какъ намъ, стѣна покажется холодна, земля сыра; они зажгутъ огонь. И будутъ они смотрѣть кругомъ, точно такъ же какъ мы, и будутъ говорить, какъ мы: «кто страдалъ здѣсь прежде насъ? Изъ-за чего они страдали? Стало быть ихъ выгнали, преслѣдовали, какъ и насъ, коли они

спрятались въ эту убогую пору». И задумаются они надъ былыми временами, и никто не будетъ въ состояніи отвѣчать имъ!

Жанъ-Клодъ подошелъ. Черезъ нѣсколько секундъ старая фермерша подняла голову и заговорила, глядя ему въ лицо:

— Ну, мы осаждены: насъ хотятъ уморить голодомъ!

— Это правда, Катерина, отвѣчалъ Гуленъ; я этого не ожидаю. Я рассчитывалъ на нападеніе съ вооруженною рукою; но австрійцы не на таковыхъ напали. Дивесь отправился въ Пфальсбургъ; онъ знакомъ съ комендантомъ города... и если къ намъ на помощь пришлютъ хоть нѣсколько сотъ человѣкъ...

— На это нечего рассчитывать, перебила старуха; Маргъ можетъ быть убитъ или захваченъ въ плѣнъ; и потомъ, предположимъ, что ему удастся пробраться сквозь ихъ ряды, какъ же онъ проберется въ Пфальсбургъ? Вы вѣдь знаете, что городъ осажденъ русскими!»

Послѣ этого всѣ замолчали.

Гексъ-Безель вскорѣ поставила на столъ супъ, и всѣ усѣлись во кругъ дымящейся чашки.

XXIV.

Около 7 часовъ утра Катерина вышла изъ старинной башни; Лунза и Гексъ-Безель спали, а между тѣмъ яркій лучезарный свѣтъ уже обливалъ горы. Вдали, на ясной лазури, обрисовывались лѣса, холмы, скалы, и все это виднѣлось, какъ видѣются водоросли и голыши сквозь голубоватый кристаллъ озера. Въ воздухѣ было тихо; глядя на эту величавую картину, Катерина почувствовала такое спокойствіе, такую силу, какой не чувствовала даже во снѣ. «И что за пустяки всѣ наши бѣдствія, наши страданія и тревоги, которыя продолжаются одинъ день, говорила она про себя; стоитъ ли тревожить небо нашими стенами? Стоитъ ли бояться будущаго? Вѣдь все это продолжается нѣсколько секундъ; всѣ наши жалобы совершенно то же самое, что крикъ стрекозы по осени: развѣ эти крики остановятъ зиму? Развѣ не необходимо, чтобы время шло, чтобы все умирало и снова оживало? Мы уже умирали и опять ожили; мы опять умремъ и снова оживемъ. А эти горы съ своими лѣсами, скалами и развалинами останутся навсегда здѣсь и будутъ говорить намъ: «Помни, помни! Ты видѣлъ меня, смотри и еще ты снова увидишь меня во вѣки вѣковъ!»

Такъ думалось старухѣ, и будущее не пугало ее; мысли были для нея не болѣе, какъ воспоминаніями.

Она стояла въ такомъ положеніи уже нѣсколько минутъ; вдругъ до ея слуха долетѣлъ какой-то говоръ; она обернулась и увидѣла Гуллена и трехъ кондрабандистовъ, которые важно разговаривали между собою, стоя на другой сторонѣ площадки. Они не замѣтили ее и, повидимому, были заняты серьезною бесѣдою.

Стоя на краю скалы съ трубкою въ зубахъ, старый Бреннъ съ лицомъ, сморщеннымъ, какъ вялый капустный листъ, съ вздернутымъ носомъ, съ сѣдыми усами и нависшими бровями, одѣтый въ широкій плащъ съ длинными, висѣвшими по обѣ стороны рукавами, осматривалъ разные пункты горы, на которые указывалъ ему Гуллень; два другіе контрабандиста, закутанные въ длинные, сѣрые плащи, ходили взадъ и впередъ, заслоняли глаза рукою и, повидимому, внимательно слѣдили за чѣмъ-то.

Катерина подошла къ нимъ и скоро услышала слѣдующія слова:

— Такъ вы думаете, что ни откуда невозможно спуститься внизъ?

— Нѣтъ, Жанъ-Клодъ, отвѣчалъ Бреннъ, совершенно невозможно; эти разбойники знаютъ весь край до тонкости: они разставили часовыхъ на всѣхъ тропинкахъ. Взгляни на Шеврельскій проходъ, который идетъ вдоль этой лужи: никогда никто и не обращалъ на него вниманія; ну, а они защищаютъ его; а вонъ тамъ еще и другой проходъ, настоящая козья тропинка, по которой никто не ходилъ уже лѣтъ десять... ну, а теперь за скалою блестятъ штыкъ, неправда ли? Вотъ тутъ еще тропинка, по которой я, лѣтъ 8 назадъ, шлялся съ своими мѣшками и не встрѣчалъ ни одного жандарма, они тоже ее охраняютъ: право, должно быть самъ чортъ показалъ имъ всѣ эти проходы и лазейки.

— Да, вскричалъ рослый Турбакъ, а если не чортъ сунулся въ это дѣло, то ужъ непременно Іегофъ.

— Но мнѣ кажется, снова заговорилъ Гуллень, что трое, четверо сильныхъ молодцовъ могли бы отбить одинъ изъ этихъ постовъ.

— Это невозможно; они имѣютъ сообщеніе между собою, и, при первомъ же ружейномъ выстрѣлѣ, налетитъ на тебя цѣлый полкъ, отвѣчалъ Бреннъ. Да въ тому же предположимъ даже, что удастся пробраться, — какъ же пройти назадъ съѣстными припасами? На мои глаза это просто совершенно невозможно!

Нѣсколько минутъ они всѣ молчали.

— Ну, да чтожь, сказалъ Турбакъ, попробуемъ, если Гуллень этого хочетъ.

— Чтожъ мы станемъ пробовать-то? спросилъ Бреннъ; дать отломать себѣ бока, чтобы убѣжать потомъ и оставить другихъ въ петлѣ, — это что-ли намъ пробовать? Впрочемъ, мнѣ все равно: если всѣ пойдутъ, такъ и я не отстану! Но если вы надѣетесь, что можно вернуться назадъ съ провизіею, — то я вамъ скажу, что это совершенно невозможно. Скажи-ка, Турбакъ, гдѣ ты проскользнешь и откуда вернешься назадъ? Тутъ дѣло не въ томъ, чтобы общать, а въ томъ, чтобы исполнить. Если ты знаешь проходъ, укажи мнѣ его. Я ужъ 20 лѣтъ словяюсь съ Маркомъ по этимъ горамъ и знаю всѣ дорожки, всѣ лазейки на десять миль въ окружности, — я знаю навѣрное, что пройти нигдѣ невозможно и остается только летѣть по воздуху.

Въ эту минуту Гуленъ повернулся и увидѣлъ тетушку Лефевръ, которая стояла въ нѣсколькихъ шагахъ отъ нихъ и внимательно прислушивалась къ ихъ разговору.

— Такъ вы были здѣсь, Катерина, сказалъ онъ; наши дѣла принимаютъ скверный оборотъ.

— Да, понимаю: нельзя достать новой провизіи.

— Провизіи! сказалъ Бреннъ съ странной улыбкой; а знаете ли вы, тетушка Лефевръ, на сколько времени у насъ хватитъ провизіи?

— Да недѣли на двѣ, отвѣчала старуха.

— На недѣлю всего, промолвилъ контрабандистъ, выколачивая золу изъ своей трубки.

— Да, это правда, подтвердилъ Гуленъ. Мы съ Маркомъ ожидали нападенія на Фалькенштейнъ, но никогда не могли представить себѣ, что имъ придетъ въ голову мысль осадить его, какъ крѣпость. Вотъ мы и ошиблись!....

— А что же мы станемъ дѣлать? спросила блѣдная, какъ смерть Катерина.

— Мы раздѣлимъ всякую порцію на двое. Если черезъ двѣ недѣли Маркъ не придетъ, тогда намъ придется положить зубы на полку.... тогда увидимъ, что будетъ!

И послѣ этихъ словъ Гуленъ, Катерина и контрабандисты пошли, понуря голову, назадъ въ пенсеру. Они уже спускались внизъ, какъ вдругъ, шагахъ въ 30 подъ собою, они увидали Матерна, который, запыхавшись отъ усилій, взбирался вверхъ по обломкамъ скалы и цѣплялся за кусты, чтобы поскорѣе дойти до мѣста.

— Ну, старина, крикнулъ ему Жанъ-Клодъ, что ты намъ скажешь новаго?

— А, ты здѣсь?... а я тебя искалъ. Непріятельскій офицеръ

подходить сюда по стѣнѣ стараго *бура*, у него въ рукахъ бѣлое знамя, и онъ, кажется, хочетъ переговорить съ нами.

Гулленъ тотчасъ же отправился къ откосу скалы и дѣйствительно увидалъ нѣмецкаго офицера, который стоялъ на стѣнѣ и, повидимому, выжидалъ только знака, чтобы подойти и заговорить. Онъ стоялъ на разстояніи двухъ ружейныхъ выстрѣловъ, нѣсколько дальше стояли пять или шесть вооруженныхъ солдатъ. Оглядѣвши эту группу, Жанъ-Клодъ обернулся и сказалъ:

— Это парламентаръ, и онъ конечно пришелъ увѣщевать насъ, чтобы мы сдались.

— Да пристрѣлите же его, вскричала Катерина, нечего намъ съ нимъ переговариваться!

Всѣ другіе, повидимому, раздѣляли ея мнѣніе, но Гулленъ, не говоря ни слова, спустился на террасу, на которой находились всѣ остальные партизаны.

— Ребята, сказалъ онъ, враги прислали къ намъ парламентаря. Мы не знаемъ, чего онъ отъ насъ хочетъ. Я полагаю, что онъ пришелъ требовать, чтобы мы сдались, но, впрочемъ, можетъ быть онъ и не того хочетъ. Пусть Францъ и Касперъ отправятся къ нему на встрѣчу, пусть завяжутъ ему глаза внизу, подъ скалою, и приведутъ его сюда.

Никто не возражалъ противъ этого, и сыновья Матерна, перекинувъ ружья черезъ плечо, отправились куда слѣдовало. Минуты черезъ двѣ оба рослые, рыжіе охотника подошли къ офицеру; они обмѣнялись нѣсколькими словами и потомъ стали втроемъ взбираться на Фалькенштейнъ. По мѣрѣ того, какъ они приближались, можно было разглядѣть мундиръ парламентаря и даже его лицо: это былъ худошавый мужчина съ свѣтло-русскими волосами, стройнымъ станомъ и рѣшительными движеніями. Подъ скалою Францъ и Касперъ завязали ему глаза и вскорѣ подъ сводомъ послышались ихъ шаги. Жанъ-Клодъ пошелъ къ нимъ на встрѣчу, самъ развязалъ платокъ и сказалъ:

— Вы желаете сообщить мнѣ что нибудь; я буду слушать васъ.

Партизаны стояли шагахъ въ 15 отъ этой группы. Катерина Лефевръ стояла ближе всѣхъ и морщила брови; ея худое лицо, ея длинный, крючковатый носъ, длинныя пряди сѣдыхъ волосъ, распавшихся въ безпорядкѣ по ея вискамъ и впалымъ щекамъ, ея сжатыя губы и пристальный взглядъ, повидимому, привлекли на нее вниманіе нѣмецкаго офицера; потомъ онъ внимательно оглядѣлъ и нѣжное, блѣдное личико Лунзы, стоявшей зади старухи, и Жерома съ его длинною рыжею бородою, закутаннаго въ суковный

плащъ; и старика Матерна, опиравагося на свое короткое ружье, и всѣхъ другихъ, и, наконецъ, высокій, красный сводъ, который висѣлъ своею колоссальною, гранитною массою надъ бездною и въ которомъ кое-гдѣ торчали засохшіе колючіе кусты. На лицѣ его, на минуту, отразилось удивленіе, когда онъ взглянулъ на Гексъ-Безель, которая стояла на самомъ краю скалы и высовывалась изъ за спины Матерна, вытянувши шею и держа въ рукѣ свою длинную метлу.

Онъ самъ былъ предметомъ всеобщаго вниманія. По его манерамъ, по продолговатому, нѣжному и смуглому лицу, по свѣтлосѣрымъ глазамъ, рѣдкимъ усамъ, нѣжнымъ членамъ, окрѣпшимъ отъ трудовъ военной жизни, по всему этому можно было узнать въ немъ аристократа: въ немъ была какая-то странная смѣсь мѣщанства и свѣтскости, въ немъ сказывались и служака и дипломатъ.

Эта взаимная ревизія была покончена въ одинъ мигъ и парламентаръ сказалъ на чистомъ французскомъ языкѣ:

— Я имѣю честь говорить съ комендантомъ Гулленомъ, не такъ ли?

— Да, отвѣчалъ Жанъ-Клодъ.

Офицеръ сталъ оглядываться кругомъ и, повидимому, колебался.

— Говорите смѣло при всѣхъ, вскричалъ Гулленъ; пусть всѣ васъ слышатъ! Когда дѣло идетъ о чести отечества, тогда во Франціи нѣтъ лишнихъ людей, и женщинъ это касается такъ же близко, какъ и насъ. Вы имѣете порученія ко мнѣ? Потрудитесь прежде всего сказать, кто васъ прислалъ?

— Генераль главнокомандующій. Вотъ въ чемъ заключается мое порученіе.

— Извольте говорить,—мы васъ слушаемъ.

Офицеръ возвысилъ голосъ и сказалъ твердымъ тономъ:

— Позвольте мнѣ сказать вамъ прежде всего, комендантъ, что вы превосходно исполнили свою обязанность: вы принудили своихъ враговъ уважать васъ.

— Въ этомъ случаѣ, сказалъ Гулленъ, нельзя сдѣлать ни больше, ни меньше, чѣмъ слѣдуетъ; мы сдѣлали все, что было возможно.

— Да, сухо прибавила Катерина, а такъ какъ наши враги уважаютъ насъ за это, такъ они будутъ еще больше уважать насъ дней черезъ восемь или недѣли черезъ двѣ; вѣдь война еще не кончилась; мы еще покажемъ имъ свои силы.

Офицеръ оглянулся назадъ и былъ изумленъ дикою энергіею, которая выразилась во взглядѣ старухи.

— Это благородныя чувства, продолжалъ онъ послѣ минутнаго

молчанія; но человѣчность имѣть свои права, и проливать кровь безъ всякой цѣли,—значить дѣлать зло ради зла».

— Въ такомъ случаѣ зачѣмъ же вы пришли въ нашу страну? закричала Катерина пронзительнымъ голосомъ. Убирайтесь вонъ, и мы тоже оставимъ васъ въ покоѣ.

Потомъ она прибавила.

— Вы ведете войну, какъ разбойники: вы воруете, грабите, жжете! Васъ всѣхъ стоило бы вздернуть на висѣльницу, или для примѣра другимъ, слѣдовало бы сбросить съ этой скалы!»

Офицеръ поблѣднѣлъ, потому что ему показалось, что старуха способна выполнить свою угрозу; впрочемъ онъ почти тотчасъ же успокоился и возразилъ твердымъ тономъ:

— Я знаю, что козаки подожгли ферму, которая видна съ этой скалы; это грабители, которыхъ бываетъ много во всякой арміи, и этотъ одиночный случай вовсе не доказываетъ, что въ нашихъ войскахъ нѣтъ дисциплины. Французскіе солдаты поступали еще хуже въ Германіи и особенно въ Тироли; грабить и поджигать деревни было имъ мало, они беспощадно разстрѣливали всѣхъ горцевъ, которыхъ подозрѣвали въ томъ, что они вооруженною рукою защищали свою родину.

Мы могли бы отплачивать тѣмъ же самымъ, мы имѣемъ на это право, — но мы не варвары; поэтому мы понимаемъ все величіе и благородство патріотизма, даже въ самыхъ печальныхъ его проявленіяхъ. Ктому же мы воюемъ не съ французскимъ народомъ, а съ императоромъ Наполеономъ. Поэтому, узнавши о поведеніи козаковъ, генераль публично осудилъ эти вандалскіе поступки и рѣшилъ, кромѣ того, что собственникамъ фермы будетъ выдано вознагражденіе....

— Ничего я не хочу отъ васъ, рѣзко перебила Катерина, я хочу остаться съ перенесенною несправедливостью.... и хочу мстить.

По тону старухи парламентаръ понялъ, что ей невозможно ничего втолковать и что возражать ей даже опасно. Поэтому онъ обратился къ Гулену и сказалъ ему:

— Комендантъ, мнѣ поручено предложить вамъ военный почетъ, если вы согласитесь сдать; у васъ нѣтъ съѣстныхъ припасовъ,— мы это знаемъ. Черезъ нѣсколько дней вамъ все равно придется сложить оружіе. Только одно уваженіе, которое чувствуетъ въ вамъ генераль, заставило его предложить вамъ такіа почетныя условія. Дальнѣйшее сопротивленіе не привело бы ни къ чему. Дононъ въ нашихъ рукахъ, отрядъ нашихъ войскъ вступилъ въ Лотарингію.

Исходъ кампаніи рѣшится не здѣсь, стало быть вамъ и нѣтъ даже никакой выгоды отстаивать бесполезный пунктъ. Мы хотимъ избавить васъ отъ ужасовъ голодной смерти, которая неминуемо грозитъ вамъ на этой скалѣ. И такъ, комендантъ, рѣшайте.

Гулленъ обратился къ партизанамъ и просто сказалъ имъ:

Вы слышали.... Я отказываюсь; но я подчинюсь, если всѣ примутъ предложенія враговъ.

— Мы всѣ отказываемся! сказалъ Жеромъ.

— Да, да, всѣ, подтвердили другіе.

Непреклонная Катерина Лефевръ взглянула въ эту минуту на Луизу и была глубоко тронута: она взяла ее за руку и сказала, обращаясь къ парламентарю:

— Съ нами здѣсь дѣвушка; неужели нѣтъ возможности отослать ее въ Севернъ, къ нашимъ родственникамъ?

Но какъ только Луиза услышала эти слова, она бросилась въ объятія Гуллена и съ какимъ то ужасомъ вскричала:

— Нѣтъ, нѣтъ, я хочу остаться съ вами, батюшка Жанъ-Клодъ, я хочу умереть съ вами!

— Хорошо, сударь, сказалъ поблѣднѣвшій Гулленъ; ступайте, расскажите вашему генералу все то, что вы видѣли; передайте ему, что Фалькенштейнъ останется въ нашихъ рукахъ до послѣдней капли нашей крови! — Касперъ, Францъ, проводите парламентаря.

Офицеръ какъ-будто колебался; но, какъ онъ собирался возражать, Катерина, позеленѣвшая отъ злости, вскричала:

— Ступайте, ступайте!... Намъ еще не такъ плохо, какъ вы думаете. Этотъ разбойникъ Игофъ сказалъ вамъ, что у насъ нѣтъ припасовъ; но у насъ хватитъ ихъ на два мѣсяца, а черезъ два мѣсяца наша армія истребитъ васъ. Измѣнникамъ не всегда будетъ житье: горе вамъ!

Она оживлялась все больше и больше, и потому парламентарь счелъ болѣе осторожнымъ удалиться. Онъ повернулся къ своимъ провожатымъ, которые надѣли на него повязку и довели его до подошвы Фалькенштейна.

Распоряженіе Гуллена касательно съѣстныхъ припасовъ было исполнено въ тотъ же день: каждый получилъ полъ-порціи на день. Къ пещерѣ, въ которой лежала провизія, былъ приставленъ часовой; дверь была заколочена и Жанъ-Клодъ рѣшилъ, что раздача будетъ происходить при всѣхъ, чтобы не было никакихъ несправедливостей, но всѣ эти предосторожностей не могли предохранить несчастныхъ отъ всѣхъ ужасовъ голода.

XXV.

Прошло три дня съ тѣхъ поръ, какъ припасы окончательно истощились на Фалькенштейнѣ, и объ Маркѣ Дивесѣ не было ни слуху, ни духу. Сколько разъ въ эти долгіе дни смертельныхъ мученій ополченцы обращали свои взоры къ Пфальсбургу! Сколько разъ они начинали прислушиваться, сколько разъ, когда вѣтеръ шумѣлъ въ кустахъ, чудилось имъ, что раздаются шаги контрабандиста!

Девятнадцатый день, прожитой партизанами на Фалькенштейнѣ, прошелъ въ мученіяхъ голода. Они уже перестали говорить: сидя на землѣ, исхудалые и истомленные, они были погружены въ какое-то мертвенное оцѣпенѣніе. Подчасъ они глядѣли другъ на друга сверкающими глазами, точно собирались растерзать другъ друга; потомъ они снова впадали въ болѣзненно-спокойное изнеможеніе.

Когда воронъ Игофа, перелетая съ вѣтки на вѣтку, подлеталъ къ этому убѣжищу отчаянія, старикъ Матеръ поднималъ ружье и цѣлился; но злобѣщая птица тотчасъ съ громкимъ карканьемъ быстро уносилась въ сторону и безсилая рука стараго охотника опускалась опять. Но несчастные страдали не отъ одного только голода и истощенія силъ! когда кто нибудь изъ нихъ начиналъ говорить, онъ принимался обвинять другихъ и угрожать имъ.

— Не трогайте меня, кричала Гексъ-Безель дикимъ, пискливымъ голосомъ на тѣхъ, кто смотрѣлъ на нее; не смотрите на меня, не то я начну кусаться!

Луиза бредила; вмѣсто дѣйствительныхъ предметовъ ея большія, голубыя глаза видѣли только какія-то тѣни, рѣвшія по площадкѣ, носившіяся среди кустовъ и опускавшіяся на старую башню.

Вотъ припасы, говорила она.

Тогда всѣ другіе злились на бѣдную дѣвушку; приходили въ бѣшенство и кричали, что она издѣвается надъ ними и что ей будетъ плохо!

Одинъ только Жеромъ былъ еще совершенно покоенъ; но благодаря огромному количеству снѣга, который онъ ниль, чтобы заглушить страшную боль въ кишкахъ, все его тѣло и исхудалое лицо были покрыты холоднымъ потомъ.

Докторъ Лоренъ обвязалъ себѣ платокъ вокругъ талии, стягивалъ его все туже и туже, увѣряя, что онъ такимъ образомъ успокоиваетъ свой желудокъ. Онъ сидѣлъ, закрывши глаза и прислонившись къ башнѣ, подчасъ онъ отрывалъ глаза и говорилъ:

— Вотъ это первый періодъ... теперь наступаетъ второй... теперь третій. Еще денегъ и все будетъ кончено!

Потомъ онъ принимался толковать о друидахъ, объ Одинѣ, Брамѣ, Пинэагорѣ, приводилъ греческія и латинскія цитаты и объявлялъ, что въ скоромъ времени Гербергцы превратятся въ волковъ, лисицъ, и всякихъ другихъ звѣрей.

— Я сдѣлаюсь львомъ, кричалъ онъ; я стану ѣсть по 15 фунтовъ говядины въ день!

Потомъ, спохватившись, онъ говорилъ:

— Нѣтъ, я хочу быть человѣкомъ; я стану проповѣдовать миръ, братство, справедливость! О! друзья мои, продолжалъ онъ, мы страдаемъ по своей же винѣ. Что мы дѣлали по ту сторону Рейна въ послѣдніе 10 лѣтъ? Съ какого права мы хотѣли распоряжаться этими народами? Зачѣмъ мы не обмѣнивались съ ними нашими идеями, чувствами, произведеніями нашихъ искусствъ, нашей промышленности? Зачѣмъ мы не были въ отношеніи къ нимъ братьями, а старались поработить ихъ? Насъ принимали хорошо! Какъ они должно быть страдали, эти несчастные, въ эти 10 лѣтъ насилій и грабежей! Теперь они мстятъ... и это справедливо!.. Да падетъ небесное проклятiе на тѣхъ злодѣевъ, которые поселяютъ между народами раздоръ, чтобы легче было поработать ихъ!

Послѣ этихъ восторженныхъ словъ онъ въ изнеможеніи опускался на землю у стѣны башни и шепталъ: «Хлѣба... о, только кусочекъ хлѣба!»

Сыновья Матерна сидѣли въ кустахъ и, держа ружья наготовѣ, словно ждали, что пролетитъ дичь, которой все не было да не было; только мысль о вѣчности поддерживала ихъ угасавшія силы.

Нѣкоторые скорчившись лежали на землѣ и дрожали всѣмъ тѣломъ: ихъ била лихорадка; они обвиняли Жана-Клода въ томъ, что онъ привелъ ихъ на Фалькенштейнъ.

Гулленъ обнаруживалъ не человѣческую силу характера и ходилъ взадъ и впередъ, молча слѣдя за всѣмъ, что происходило въ долинѣ.

Подчасъ онъ подходилъ къ краю скалы и, скрежеща зубами, съ сверкающими глазами глядѣлъ на Игофа, который сидѣлъ у большаго костра, на площадкѣ фермы «Дубоваго Лѣса», окруженный отрядомъ козаковъ. Съ тѣхъ поръ, какъ нѣмцы заняли Шармскую долину, юродивый не сходилъ съ этого поста: сидя тамъ, онъ будто наблюдалъ за медленною смертью своихъ жертвъ.

А надъ несчастными разстилась необъятная лазурь неба.

Умирать съ голоду взаперти, въ душевной тюрьмѣ, конечно, ужасно, но умирать такимъ образомъ подъ солнечнымъ свѣтомъ, яснымъ небомъ, въ богатой, населенной странѣ, среди окружающаго изобилія природы — это такая пытка, которую невозможно и выразить.

Въ пятомъ часу этого 19-го дня небо стало хмуриться; большія, сѣрыя тучи стали надвигаться изъ за снѣжныхъ вершинъ Гроссманна; солнце, красное какъ раскаленное ядро, бросало свои послѣдніе, блестящіе лучи на туманную даль. На скалѣ наступила глубокая тишина; Лунза словно замерла; Касперъ и Францъ лежали въ кустахъ, неподвижно какъ камни. Катерина Лефевръ сидѣла на землѣ, обхвативши свои костлявыя колѣна исхудалыми руками; ея строгія, рѣзкія черты, сѣдые волосы, рассыпавшіеся по ея зеленовато-блѣдному лицу, тревожный взглядъ и стиснутыя губы, — словомъ вся ея фигура сильно смахивала на вдохновенную сивиллу, сидящую среди дикаго лѣса. Она уже перестала говорить. Въ этотъ вечеръ Гулленъ, Жеромъ, докторъ Лоркенъ, старикъ Матернъ сошлись вокругъ старой фермерши, чтобы умереть вмѣстѣ съ нею. Всѣ они молчали и послѣдній свѣтъ сумерекъ падалъ на эту черную группу. На право, за выступомъ скалы, въ безднѣ свѣтились кое-гдѣ огни, зажженные нѣмцами. Всѣ молчали, но вдругъ старуха, очнувшись отъ своего глубокаго оцѣпенѣнія, промолвила шопотомъ нѣсколько словъ: — А, вонъ Дивесъ идетъ! продолжала она тихимъ голосомъ; я его вижу... онъ выходитъ изъ калитки, направо отъ арсенала... Гаспаръ идетъ за нимъ... и...

Она принялась медленно считать:

— 250 человекъ... промолвила она; національные гвардейцы и солдаты... Они переходятъ черезъ ровъ... проходятъ по окопамъ... Гаспаръ заговорилъ съ Маркомъ... что это онъ говоритъ ему?

Она стала прислушиваться:

— «Поспѣшимъ!»—Да, да, спѣшите!.. Время не терпитъ... Вотъ они вышли на дорогу!

Наступило долгое молчаніе; потомъ старуха вдругъ выпрямилась во весь ростъ, вытянула руки, и съ всклокоченными волосами, съ широко раскрытымъ ртомъ завопила страшнымъ голосомъ:

— Смѣлѣй, смѣлѣй! Бейте, рѣжьте ихъ! Ха, ха, ха!

Она тяжело грохнулась на землю.

Этотъ ужасный крикъ перебудилъ всѣхъ; отъ него проснулись бы и мертвецы. Осажденные какъ будто ожили. Что-то словно оживило ихъ: что это было—не то надежда, не то жизнь, не то смерть? Я право не знаю; но всѣ приползли на четверенькахъ, какъ

дикіе звѣри, сдерживая дыханіе, чтобы лучше слышать. Даже Луиза тихонько зашевелилась и подняла голову. Францъ и Касперъ ползли на колѣняхъ; и, странное дѣло, глядя въ темнотѣ по направленію къ Пфальсбургу, Гуллиену казалось, что тамъ идетъ перестрѣлка и происходитъ вылазка.

Катерина опять усѣлась на прежнее мѣсто; но ея лицо, за минуту неподвижное, какъ алебастровая маска, стало судорожно подергиваться; глаза ея снова приняли задумчивое выраженіе. Всѣ другіе стали прислушиваться: можно было подумать, что они ждутъ отъ нея жизни или смертнаго приговора. Прошло съ полчаса; потомъ старуха медленно заговорила:

— Они прошли сквозь непріятельскіе ряды... Они бѣгутъ къ Лютцельбургу... Я вижу ихъ... Гаспаръ и Дивесъ идутъ впереди съ Демаре, съ Ульрихомъ, Веберомъ и нашими городскими друзьями... Они идутъ!.. идутъ!..

Она опять смохла; долго еще всѣ прислушивались, но видѣніе исчезло. А секунды шли за секундами, тянулись, словно вѣка, и вдругъ Гексъ-Безель заговорила своимъ визгливымъ голосомъ:

— Она съума сошла! И ничего она не видала. Маркъ.... вѣдь ужъ я его знаю! Очень мы всѣ ему нужны! Какое ему дѣло до того, что мы тутъ издыхаемъ! Ему только была бы бутылка вина, да колбаса, да чтобы никто не мѣшалъ ему сидѣть передъ печкой да курить трубку—а остальное ему все хоть трава не расти. О! разбойникъ!

Тогда все снова смохло, и несчастные, оживленные на минутку надеждою на близкое избавленіе, впали опять въ прежнее отчаяніе,

— Это все сонъ, думали они; Гексъ-Безель права. Мы осуждены на голодную смерть!»

Наступила ночь; когда луна выглянула изъ за высокаго сосняка и освѣтила печальную группу осажденныхъ, Гуллиенъ одинъ только не спалъ: его томила лихорадка. Далеко, далеко, въ ущельяхъ, раздавался крикъ нѣмецкихъ часовыхъ: «Кто идетъ, кто идетъ!» Бивуачные патрули бродили по лѣсу; изъ пикетовъ доносилось пронзительное ржаніе лошадей, ихъ топотъ, крики сторожей. Но около полуночи и Гуллиенъ тоже заснулъ. Когда онъ проснулся, въ Шармѣ пробило 4 часа. При этихъ далекихъ дрожащихъ звукахъ онъ вышелъ изъ своего оцѣпенѣнія, открылъ глаза, безсознательно оглядѣлся кругомъ, стараясь собраться съ мыслями, и вдругъ его освѣтило мерцаніе факеловъ; онъ испугался и сказалъ про себя: «Неужели я съ ума сошелъ? Ночь совсѣмъ темная, а мнѣ мерещатся факелы!»

А между тѣмъ пламя снова блеснуло; онъ опять сталъ вглядываться, и на нѣсколько мгновений закрылъ руками свое исхудалое лицо. Наконецъ онъ снова рѣшился взглянуть туда же и ясно различилъ огонь на Жиромани, по ту сторону Бланру; огонь этотъ озарялъ небо своимъ краснымъ свѣтомъ и отъ него дрожали на снѣгу тѣни сосенъ. Гулень вспомнилъ, что этотъ сигналъ долженъ былъ подать Пиореттъ въ случаѣ нападенія; онъ весь задрожалъ, на лицѣ его выступилъ холодный потъ; онъ сталъ бродить впотьмахъ, ощупью, какъ слѣпой и, протянувъ руки, заговорилъ прерывающимся голосомъ:

— Катерина, Луиза, Жеромъ!

Но никто не откликнулся ему; несчастный еще потоптался на мѣстѣ, не сдѣлавъ ни шагу впередъ, пошарилъ вокругъ себя и наконецъ упалъ съ крикомъ:

— Ребята!... Катерина!... Идутъ!... Мы спасены!...

Тотчасъ послышался глухой говоръ; можно было подумать, что мертвецы встаютъ. Раздался чей-то рѣзкій смѣхъ: смѣялась Гевсъ-Безель, рехнувшаяся отъ страданій. Потомъ Катерина вскричала:

— Гулень, Гулень, кто говорилъ?...

Жанъ-Клодъ уже нѣсколько успокоился и заговорилъ болѣе твердымъ голосомъ:

— Жеромъ, Катерина, Матернъ, и вы всѣ, неужели вы всѣ померли? Неужели вы не видите этого огня, тамъ, около Бланру? Вѣдь это Пиореттъ идетъ къ намъ на выручку!»

И въ эту минуту глухой залпъ, словно шумъ бури, загрохоталъ въ ущельяхъ Джегерталя. Труба страшнаго суда не произвела бы на осажденныхъ такого впечатлѣнія; они вдругъ проснулись:

— Это Пиореттъ, это Маркъ, кричали глухія, разбитые голоса, голоса скелетовъ, къ намъ идутъ на помощь!

И несчастные старались приподняться; нѣкоторые рыдали, но слезъ у нихъ уже не было. При второмъ залпѣ всѣ они вскочили на ноги.

— Это перестрѣлка, вскричалъ Гулень, наши тоже стрѣляютъ, къ намъ идутъ линейные солдаты: — да здравствуетъ Франція!

— Да, отвѣчала Жеромъ, тегушка Катерина была права, Пфальсбургцы идутъ къ намъ на помощь: они спускаются съ Саррскаго холма; а вотъ теперъ Пиореттъ бросился на непріятелей изъ Бланру.

И дѣйствительно перестрѣлка завязалась за разъ съ двухъ сторонъ, возлѣ площадки «Дубоваго Лѣса» и на высотахъ Кильбери.

Тогда оба начальника обнялись; было совершенно темно и они

ощупью старались добраться до окраины скалы; но вдруг Матернъ крикнулъ имъ:

— Берегитесь, вы стоите надъ пропастью!

Они остановились и взглянули внизъ, но ничего нельзя было разсмотрѣть. Только струя холоднаго воздуха, поднимавшагося изъ бездны, предупреждала о грозившей опасности. Всѣ окрестныя вершины и ущелья были погружены въ глубокий мракъ. Огонь перестрѣлки, словно молнія, мелькалъ по противоположному косогору и освѣщала то старый дубъ, то темный обрывъ скалы, то часть лѣса, то группы людей, ходившихъ взадъ и впередъ, какъ на пожарѣ. Въ глубинѣ ущелья, на двѣ тысячи футовъ подъ ними, раздавался глухой гулъ, конскій топотъ, крики, и команда офицеровъ. Подчасъ до Фалькенштейна, словно вздохъ, доносился по всѣмъ вершинамъ протяжный крикъ: «Эй, эй, эй!».

— Это Маркъ, говорилъ Гулленъ; это голосъ Марка!

— Да, это Маркъ; онъ хочетъ ободрить насъ, отвѣчала Жеромъ.

Всѣ другіе, сидя возлѣ нихъ на землѣ, уцѣпившись за скалу руками и вытянувъ шею, глядѣли внизъ. Горячая перестрѣлка все продолжалась, слышно было, что кипитъ ожесточенная борьба, но разглядѣть невозможно было ровню ничего. Съ какимъ наслажденіемъ несчастные кинулись бы въ этотъ рѣшительный бой! Съ какою силою они стали бы драться! Боязнь, что ихъ опять оставятъ на произволъ судьбы, что на зорѣ ихъ защитники обратятся въ бѣгство, наводила на нихъ ужасъ. Всѣ молчали.

Начинало свѣтать; сѣроватый утренній свѣтъ начиналъ охватывать темныя вершины; наконецъ лучи стали скользить по мрачнымъ долинамъ; прошло полчаса и засеребрился туманъ, носившійся надъ бездною. Гулленъ взглянулъ внизъ и увидалъ наконецъ все, что происходило: нѣмцы были сбиты съ высотъ Вальтена и съ площадки «Дубоваго Лѣса». Они собрались въ кучу въ Шармскую долину, у подошвы Фалькенштейна, на полугорѣ, чтобы укрыться отъ выстрѣловъ своихъ противниковъ. Піореттъ, овладѣвшій Дубовымъ Лѣсомъ, прорубилъ деревья на селонѣ къ Шарму. Онъ ходилъ взадъ и впередъ съ трубкою въ зубахъ, сдвинувъ шапку набекрень и перекинувъ ружье черезъ плечо. Синіе топоры дровосѣковъ блестяли подъ лучами восходящаго солнца. На лѣво отъ деревни, на Вальтенскомъ холмѣ, между кустами можно было разглядѣть Марка; онъ сидѣлъ верхомъ на маленькой, вороной лошади съ длиннымъ хвостомъ, и, держа саблю въ рукѣ, указывалъ на развалины и на дорогу schlitte. Пѣхотный офицеръ и нѣсколько національныхъ гвардейцевъ въ синихъ мундирахъ слушали его. Гаспаръ Лефевръ

стоялъ одинъ впереди этой группы и глубоко задумался, опершись на свое ружье. Глядя на его фигуру, можно было угадать, съ какою отчаянною рѣшимостью онъ будетъ дѣйствовать въ минуту сраженія. Наконецъ около лѣса, на самой вершинѣ холма стояло въ стройныхъ рядахъ человѣкъ 200 или 300; всѣ они были съ оружіемъ въ рукахъ и тоже глядѣли на Фалькенштейнъ.

При видѣ незначительнаго числа своихъ защитниковъ у осажденныхъ болѣзненно скалось сердце: нѣмцевъ было въ семь или въ восемь разъ больше и они строились въ двѣ колонны, чтобы броситься на приступъ и отбить потерянные мѣста. Генераль ихъ разсылалъ во всѣ стороны гонцовъ съ приказаніями. Штыки заколыхались и двинулись впередъ.

— Ну, все пропало! сказалъ Гуленъ, обращаясь къ Жерому. Что же сдѣлаютъ 500 или 600 человѣкъ противъ 4000 регулярнаго войска? Пфальсбургцы уйдутъ домой и скажутъ: «Мы исполнили свой долгъ!» А Пиоретта просто задавятъ!

Точно также думали и всѣ другіе; но отчаяніе ихъ дошло до высшей степени, когда они увидали, что по Шармской долинѣ во весь опоръ несетя цѣлый отрядъ козаковъ, подъ предводительствомъ Игофа, скакавшаго во весь духъ: его борода, хвостъ его лошади, собачья шкура и рыжіе волосы—все развѣвалось по вѣтру. Глаза его были устремлены на скалу, и онъ махалъ копьемъ надъ головою. Прискакавъ въ долину, онъ помчался прямо къ неприятельскому главному штабу. Остановившись противъ генерала, онъ сталъ дѣлать какіе-то знаки и указывать на противоположную сторону площадки Дубоваго-Лѣса.

— Вотъ такъ разбойникъ! вскричалъ Гуленъ. Посмотрите, онъ говоритъ, что у Пиоретта съ той стороны нѣтъ просѣкъ, и что надо обойти кругомъ горы.

И дѣйствительно одна колонна тотчасъ же пошла въ ту сторону, а другая двинулась къ просѣкамъ, чтобы замаскировать движеніе первой.

— Матернъ, закричалъ Жанъ-Клодъ, нельзя ли пристрѣлить этого блаженнаго?

Старый охотникъ покачалъ головою.

— Нѣтъ, сказалъ онъ, никакъ невозможно; онъ стоитъ слишкомъ далеко.

Въ эту минуту Катерина закричала дикимъ голосомъ, словно ястребъ:

— Раздавимъ ихъ, раздавимъ ихъ, какъ на Блютфельдъ!....

И эта слабая старуха, изнемогавшая за минуту передъ этимъ,

бросилась на обломок скалы и схватила его обѣими руками, потомъ съ распущенными волосами, стиснутыми губами, искаженнымъ лицомъ и изогнутымъ туловищемъ она твердыми шагами подошла прямо въ пропасти и огромный осколокъ полетѣлъ по воздуху, описывая огромную дугу.

Внизу раздался страшный грохотъ, сосновыя вѣтви полѣтели во всѣ стороны, потомъ, пролетѣвши сто шаговъ, громадный камень отскочилъ съ новою силою, еще быстрѣе покатился подъ гору и наконецъ всею тяжестью своею рухнулъ на Тегофа, который упалъ къ ногамъ непріятельскаго генерала. Все это произошло въ нѣскольکو секундъ.

Стоя на краю пропасти, выпрямившись во весь ростъ, Катерина разразилась дикимъ, продолжительнымъ смѣхомъ.

И всѣ другіе, всѣ эти живыя тѣни бросились къ обломкамъ стараго бурга, точно кто нибудь вдохнулъ въ нихъ новую жизнь, и раздались крикъ: «Смерть врагамъ! задавимъ ихъ, какъ на Блютфельдѣ!»

Никто не запомнитъ такой страшной сцены. Эти исхудалые, иссохшіе, какъ скелеты, люди, стоявшіе одною ногою въ могилѣ, почувствовали въ себѣ вдругъ необыкновенную силу для борьбы. Они не спотыкались, они не шатались больше; каждый изъ нихъ бралъ камень и со всѣхъ силъ бросалъ его въ пропасть; потомъ летѣлъ туда же и другой камень и никто даже не глядѣлъ на то, что происходило внизу.

Представьте же себѣ теперь изумленіе австрійцевъ, когда на нихъ посыпался этотъ градъ обломковъ и камней. Заслышавъ стукотню камней, скакавшихъ по скалѣ другъ за другомъ, ломавшихъ по дорогѣ кусты и деревья, всѣ обернулись назадъ и съ минутою простояли точно ошеломленные; но когда они подняли глаза вверхъ и увидали, что камни постоянно катились и катились, что надъ ними живыя привидѣнія ходили и возвращались назадъ, поднимали руки, бросали огромные камни и снова уходили за ними, когда они увидали вокругъ себя убитыхъ товарищей, когда они увидали, что одинъ мѣткой ударъ сваливалъ съ ногъ ряды въ 20 и 15 человѣкъ, — тогда надъ Шармскою долиною вплоть до самаго Фалькенштейна пронесся страшный крикъ, и, несмотря на голосъ начальниковъ, не смотря на перестрѣлку, закипѣвшую справа и слѣва, всѣ нѣмцы смѣшались и побѣжали, чтобы уйти отъ этой ужасной смерти.

Однако, несмотря на все смятеніе бѣгства, непріятельскому генералу удалось собрать вокругъ себя батальонъ, онъ сталъ медленно спускаться къ деревнѣ; въ этомъ человѣкѣ, сохранявшемъ свое

спокойствіе, несмотря на несчастье, было что-то величественное и внушавшее уваженіе. Подчасъ онъ съ мрачнымъ выраженіемъ лица оглядывался назадъ и смотрѣлъ на валившіеся камни, которые оставляли за собою кровавый слѣдъ въ его колоннѣ.

Жанъ-Клодъ слѣдилъ за нимъ и несмотря на упоеніе торжества, несмотря на увѣренность, что они спасены отъ голодной смерти, старый солдатъ невольно поддался чувству удивленія.

— Смотри-ка, сказала онъ Жерому, онъ поступаетъ, какъ мы, когда мы возвращались съ Донона и Гроссмана: онъ остается послѣдній и отступаетъ только шагъ за шагомъ. А право во всякой странѣ есть хорошіе люди!

Маркъ Дивесъ и Пиореттъ, бывшіе свидѣтелями этого счастливаго оборота дѣла, спускались въ это время по сосняку и пытались отрѣзать непріятельскому генералу отступление, но это имъ не удалось. На половину уничтоженный, батальонъ выстроился въ каре позади деревни Шармъ и медленно отступалъ по Саррской долинѣ, останавливаясь подчасъ, какъ раненый кабанъ, который отражаетъ нападенія своры собакъ, когда люди Пиоретта или Пфальсбургцы наступали на него слишкомъ близко.

Такъ кончилась большая фалькенштейнская битва, извѣстная въ горахъ подъ именемъ «*Битвы Скаль*».

XXVI.

Часовъ въ восемь битва кончилась и тотчасъ же на Фалькенштейнѣ взобрались Маркъ Дивесъ, Гаспаръ и человекъ 30 горцевъ съ свѣжими припасами. Но что же они увидѣли наверху! Всѣ осажденные лежали на землѣ и будто замерли. Какъ ни расталкивали ихъ, какъ ни кричали имъ на ухо: «Жанъ-Клодъ! Катерина! Жеромъ!» они не отвѣчали. Когда Гаспаръ Лефевръ увидѣлъ, что его мать и Луиза лежали неподвижно съ стиснутыми зубами, онъ объявилъ Марку, что намѣренъ застрѣлиться, если онѣ не оживутъ. Маркъ отвѣчалъ, что онъ воленъ дѣлать, что хочетъ, но что онъ, Маркъ, не станетъ стрѣляться изъ-за Гексъ-Безель. Наконецъ, когда старикъ Колонъ поставилъ на камень корзинку съ провизіею, Касперъ Матернъ вдругъ засопѣлъ, открылъ глаза, и, види провизію, зашелкалъ зубами, какъ загнанная лисица.

Тогда поняли, въ чемъ было дѣло, и Маркъ Дивесъ, переходя отъ одного къ другому, подносилъ имъ къ носу свою фляжку съ виномъ—и этого было довольно, чтобы оживить ихъ. Они хотѣли

проглотить все за раз; но, несмотря на мучившій его голодь, докторъ Лорвенъ еще настолько помнилъ себя, что посовѣтовалъ Марку не слушать ихъ, и объявилъ ему, что малѣйшее разстройство желудка можетъ кончиться смертью. Поэтому всякому дали только по ломтю хлѣба, по яйцу и по рюмкѣ вина, что быстро подкрѣпило и оживило ихъ; потомъ Катерицу, Луизу и другихъ уложили на носилки и всѣ спустились внизъ, въ деревню.

Невозможно изобразить восторгъ и умиленіе, съ которымъ несчастные осажденные, худые, какъ вставшій изъ гроба Лазарь, были встрѣчены своими друзьями. На нихъ не могли наглядѣться, ихъ обнимали, цѣловали, и когда приходилъ кто-нибудь изъ Дагсбурга, Сенъ-Ивирина, Арбешвиллера, трогательныя сцены начинались снова.

Марку Дивесу пришлось разказать разъ 20 исторію своего путешествія въ Пфальсбургъ. Храброму контрабандисту не посчастливилось: избавившись какимъ-то чудомъ отъ австрійскихъ пуль, онъ наткнулся, въ Шнарциродской долинкѣ, на шайку козаковъ, которые дочиста обобрали его. Потомъ, впродолженіи двухъ недѣль, ему пришлось бродить воевругъ русскихъ постовъ, окружившихъ городъ, пришлось прятаться отъ выстрѣловъ ихъ часовыхъ, и 20 разъ подвергаться опасности, что его схватятъ, какъ шпиона; но наконецъ ему удалось пробраться въ городъ. Комендантъ Менье увѣрилъ, что его гарнизонъ слишкомъ малъ и сначала отказалъ наотрѣзъ во всякой помощи, и только благодаря настоятельнымъ просьбамъ горожанъ, онъ наконецъ согласился послать двѣ роты.

Слушая этотъ разказъ, горцы удивлялись храбрости Марка и, его неустрашимости въ опасностяхъ.

— Ну такъ что жъ! вессло отвѣчалъ широкоплечій контрабандистъ тѣмъ, которые расхваливали его, я только исполнилъ свою обязанность; развѣ я могъ оставить своихъ товарищей и дать имъ умереть. Я знаю, что не легко мнѣ это досталось; эти розбойники козаки, хитрѣ таможенныхъ приставовъ: они все пронюхаютъ за цѣлую милю, точно вороны; но все равно, и мы же ихъ тоже обошли.

Черезъ пять или шесть дней всѣ встали на ноги. Капитанъ Видалъ, изъ Пфальсбурга, оставилъ на Фалькенштейнкѣ 25 человекъ, чтобы стеречь порохъ; въ числѣ ихъ находился Гаспаръ Лефевръ, и молодой парень каждое утро отправлялся въ деревню. Союзники всѣ ушли въ Лотарингію: въ Альзасѣ они оставались только близъ укрѣпленныхъ пунктовъ. Вскорѣ разнесся слухъ о побѣдахъ при Champ-Aubert и Montmirail; но настала година великаго несчастія: несмотря на геройство нашей арміи и на геній императора, союзники вторглись въ Парижъ.

Это было страшнымъ ударомъ для Жана-Клода, Катерины и Жерома и всѣхъ горцевъ; но рассказъ объ этихъ событіяхъ не входилъ въ нашу исторію: эти вещи были рассказаны другими.

Весною, когда былъ заключенъ миръ, отстроили заново ферму «Дубоваго Лѣса», плотники, каменщики, пилющники, словомъ всѣ сосѣди-мастеровые потрудились надъ этою постройкой.

Около того же времени армію распустили, Гаспаръ сбрилъ свои усы и обвинчался съ Луизою.

Въ этотъ день собрались всѣ, сражавшіеся на Фалькенштейнѣ и на Дононѣ, и на фермѣ для нихъ были настежъ отворены двери и даже окна. Каждый принесъ молодымъ по подарку: Жеромъ подарилъ Луизѣ маленькіе башмачки, Матернъ и его сыновья принесли глухаря, самую влюбленную изъ птицъ; Дивесъ подарилъ Гаспару нѣсколько пачекъ контрабанднаго табаку, а докторъ Лоркенъ — цѣлое приданое для будущаго ребенка.

Столы были накрыты даже въ ригахъ и подъ навѣсами. Не умѣю сказать, сколько въ этотъ день было выпнто вина, съѣдено хлѣба, говядины, пироговъ и всякихъ другихъ кушаньевъ; знаю я только, что Жанъ-Клодъ, хмурившійся съ самаго вступленія союзниковъ въ Парижъ, оживился въ этотъ день и запѣлъ свою любимую старую пѣсенку такъ же весело, какъ пѣвалъ ее, когда отправлялся съ ружьемъ черезъ плечо, подъ Вальми, Жемаппъ и Флерусъ. На Фалькенштейнѣ эхо вторило этой патріотической пѣснѣ, которая неслась вдаль по горамъ: это была самая благородная, самая величественная изъ всѣхъ пѣсень, которыя человѣкъ когда либо пѣлъ потъ открытымъ небомъ. Катерина Лефевръ была тактъ по столу своимъ ножомъ, и если правда, какъ утверждаютъ многіе, что мертвецы приходятъ слушать, что про нихъ говорятъ, то наши вѣроятно остались довольны, а *Бубновый Король*, конечно, злился и щипалъ свою рыжую бороду.

Около полуночи Гулленъ всталъ и, обращаясь къ новобрачнымъ, сказалъ имъ:

— У васъ будутъ славныя дѣти; я ихъ буду носить на рукахъ, научу ихъ пѣть нашу старую пѣсню, а потомъ отправлюсь за стариками!

Сказавши это, онъ обнялъ Луизу и, рука объ руку съ Маркомъ Дивесомъ и Жеромомъ, отправился внизъ, въ свой домикъ, въ сопровожденіи всѣхъ гостей, которые пѣли хоромъ веселую пѣсню. Ночь была чудная, мириады звѣздъ горѣли на темной лазури яснаго неба; кусты внизу, подъ горою, тамъ гдѣ было похоронено столько честныхъ людей, тихонько трепетали. Всѣ были тронуты, всѣмъ

было отрадно на душѣ. Дойдя до порога домика, они пожали другъ другу руки и распрощались; и всѣ разошлись по своимъ деревнямъ: кто на право, кто на лѣво.

— Спокойной ночи, Матернъ, Жеромъ, Дивесъ, Пиореттъ, спокойной ночи! кричалъ Жанъ-Клодъ.

И его старые друзья поворачивались назадъ, махая пуховыми шляпами, и каждому думалось въ эту минуту:

— А вѣдь выдаются же такіе дни, когда хорошо живется на бѣломъ свѣтѣ! Еслибъ никогда не было ни болѣзней, ни войны, ни голода, еслибъ люди могли любить и понимать другъ друга, еслибъ они умѣли помогать другъ другу, еслибъ между ними не было гнуснаго недовѣрія—тогда земля была бы настоящимъ раемъ!

ТРИ СЕМЬИ.

ПОВѢСТЬ.

I.

ПОРТРЕТЫ.

Если читателю угодно будетъ отправиться со мною въ клубъ мирнаго города, то я постараюсь познакомить его заразъ почти со всѣми дѣйствующими лицами моей повѣсти. Я только предупреждаю читателя, что въ этихъ посредственныхъ герояхъ предлагаемой повѣсти не найдется ни особенно возвышенныхъ добродѣтелей, ни омерзительныхъ пороковъ, ни увлекательныхъ, по своей драматичности, дѣяній, да и сами-то герои окажутся болѣе или менѣе знакомыми людьми, чаще или рѣже встрѣчающимися каждому изъ насъ на тихой аренѣ нашей домашней и общественной дѣятельности. Вотъ, напримеръ, плотный, коротко остриженный, желтый и грубый чиновникъ, сидящій за картами,—это господинъ Лосевъ,—а эта госпожа, лѣтъ тридцати, маленькая, черноволосая, черноглазая, съ печальными глазами и симпатичнымъ лицомъ — это его жена. Ведутъ они жизнь такого рода: господинъ Лосевъ цѣлый день возится за дѣловыми бумагами и цѣлый вечеръ проводитъ въ клубѣ за картами, являясь домой только обѣдать и спать; а жена его, въ теченіе двѣнадцати-четырнадцати часовъ, занимается распоряженіями на счетъ обѣда и домашнихъ

гусей, разговоромъ съ прѣзжающими гостями, шитьемъ рубашекъ, вязаньемъ чулковъ и чтеніемъ немногихъ, любимыхъ и, правду сказать, не особенно хорошихъ романовъ... Не слышно въ ихъ мирномъ жилищѣ ни одного рѣзкаго слова, никогда не видно въ лицахъ супруговъ присутствія тревожной, упорной мысли, стремящейся къ достиженію какой нибудь человѣческой цѣли, пытающейся прослѣдить практическое развитіе каковаго нибудь дѣятельнаго плана; коротки и однообразны ихъ разговоры, стары и обыденны ихъ интересы... и живутъ они не потому, чтобы жить было имъ особенно пріятно, не потому, чтобы жизнь представляла имъ такія наслажденія, отъ которыхъ и отойти не хочется, — не потому, наконецъ, чтобы имѣлась у нихъ въ будущемъ какаѣ нибудь блестящая перспектива, а потому живутъ мои супруги, что пока еще не приходитъ смерть, вслѣдствіе чего они и поставляютъ себя въ какую-то канцелярскую обязанность жить, пока ихъ не выключатъ изъ списка живыхъ...

Такимъ-то образомъ они и живутъ въ настоящее время, и говоритъ объ нихъ мудрый общественный голосъ, что благодаръ господня почіетъ надъ этой четой.

И вотъ тебѣ вопросъ, читатель... Дѣйствительно ли достойна удивленія и зависти подобная жизнь, какъ со стороны общественнаго голоса, такъ и съ твоей стороны?.. Или потому только завидуютъ ей, что она покрыта толстымъ слоемъ бѣлилъ и румянъ, скрывающихъ жалкую дѣйствительность? Можно ли въ самомъ дѣлѣ не глупымъ людямъ удовлетворяться подобной жизнью, или же возвращаются въ ней неглупые люди потому только, что жизнь эта со всѣхъ сторонъ завѣшана какими нибудь размалеванными, таинственными покрывалами, которыя подымать запрещается?..

А вотъ и еще субъектъ. Обрати, читатель, свое вниманіе на этого молодого высокаго господина съ бойкимъ взглядомъ, фантастически-подвязаннымъ галстуконъ и довольно истасканнымъ костюмомъ, которымъ онъ, видимо, старается привлечь общее вниманіе. Если онъ вступитъ съ вами въ разговоръ, то непременно будетъ высказывать вамъ фразы, что *мы-де* плебен и куда-де *намъ* до тонкаго сукна, голландскихъ полотень, изящныхъ ботинокъ и всякихъ блестящихъ пуговиць, причемъ, упоминая о запонкахъ и ботинкахъ, онъ непременно

сообщить своему голосу выраженіе ѣдкой ироніи. Если же, сверхъ всякаго ожиданія, вамъ придется встрѣтить его когда нибудь въ тонкомъ сукнѣ и со всѣми упомянутыми украшениями, по поводу которыхъ онъ изливалъ нѣкогда свою жолчь, то могу васъ увѣрить, что вы непременно услышите отъ него нѣчто о пробиваніи дороги собственными силами и о приобрѣтеніи собственной головой хорошаго положенія въ обществѣ. По поводу этой личности, отличающейся отъ подобныхъ себѣ фамиліей Микулина, я могу сказать слѣдующее. Есть, читатель, въ странахъ, гдѣ водятся носороги, безобидная маленькая птичка, которая большею частью сидитъ на спинѣ этого гиганта и питается насѣкомыми, живущими на ней. Есть также, читатель, съ нѣкотораго времени въ нашемъ отечествѣ очень хорошіе люди, глубоко возмущающіеся окружающими ихъ людскими бѣдствіями, страданіями, глупостями и посвящающіе всѣ свои силы къ уничтоженію или ослабленію всѣхъ этихъ глупостей, и ихъ-то существованіе вызвало въ обществѣ мелкихъ безобидныхъ фразеровъ, которые пробавляются изреченіями и отрывками мыслей этихъ гигантовъ и тоже корчатъ изъ себя великихъ людей. На самомъ дѣлѣ въ обществѣ ихъ роль самая жалкая и люди они, сами по себѣ, очень ничтожны. Къ числу этихъ людей и принадлежалъ Микулинъ. Затѣмъ я обращаю ваше вниманіе, читатель, на прекрасную молодую дѣвицу, несущуюся въ вальсѣ и очаровывающую зрителей граціозностью своихъ движеній. На смугломъ лицѣ ея горитъ до того яркій румянецъ, что, повидимому, на щеки ея налѣплены два малиновые листа; прическа ея весьма изящна, и широкія розовыя ленты, развѣвающіяся вокругъ ея талии, очень эффектны. На этой красивой женщинѣ, смѣю увѣрить васъ, нѣтъ ни одного зернышка изъ тѣхъ румянъ, которыя вамъ можетъ быть случалось видѣть на вашей тетушкѣ или сестрѣ,—здѣсь сквозитъ сквозь тонкую взлелѣянную кожу настоящая молодая, горячая кровь: танцуетъ эта дѣвица божественно, костюмъ ея художественъ, походка у нея ангельская, такъ что недаромъ сухощавый, мѣшковатый и смѣшной капитанъ Харитоновъ смотритъ на нее восторженно глупыми глазами и увѣренъ, что для превращенія его казенной жизни въ рай земной, стоитъ только приобрѣсть эту чудную дѣвушку въ его скучную, одинокую квартиру, совершивъ предвари-

тельно брачную церемонію? Что она очень красива—это правда; что походка ея напоминаетъ какую-то богиню—это очевидно, но на какомъ основаніи этотъ бѣдный капитанъ Харитоновъ предполагаетъ, что она можетъ дать ему счастье, будетъ его добрымъ другомъ, примѣрною матерью мечтаемыхъ имъ дѣтей и его надежною помощницею? На какомъ основаніи онъ надѣется найти съ нею рай земной, надѣется оживить и осмыслить свою чорствую жизнь?..

По какой причинѣ, — обращаюсь я къ тебѣ, читатель, — эта красивая, молодая дѣвица, имѣющая понятіе и помышленія только о танцахъ и нарядахъ, можетъ возбуждать такія почтенныя мечтанія, усиленное біеніе сердца и томительное обожаніе? Если бы весь цвѣтъ уѣздной молодежи и старчества, слѣдящаго за дѣвицей Березовой такими масляными глазами, состоялъ изъ содержателей театровъ или балетныхъ труппъ, то ихъ обожаніе было бы весьма понятно, потому что дѣвица Березова хорошо танцуетъ и любитъ играть разныя роли на домашнихъ театрахъ; но люди эти вовсе не содержатели театровъ и даже не артисты. Капитанъ Харитоновъ, на примѣръ, просто грубый, честный служака, и желанія его, какъ и большинства прочихъ зрителей, заключаются въ томъ только, чтобы подлѣ него находилось доброе существо, съ которымъ всегда можно было бы подѣлиться своими небольшими огорченіями и радостями, — на которое можно было бы положиться, что оно не оставитъ его во время болѣзни, и своимъ участіемъ, заботами и ласками наполнитъ нѣкоторую пустоту, которая невольно ощущается имъ въ его безсодержательной жизни. Но оставимъ пока въ сторонѣ прочихъ обожателей Березовой и будемъ говорить объ одномъ только Харитоновѣ. Этотъ господинъ — сынъ стараго служаки и поэтому съ самой уже колыбели былъ предназначенъ своими родителями къ дѣятельности на военномъ поприщѣ, сообразно чему и велась вся дѣтская жизнь его. Трещалъ въ родительскомъ домѣ дѣтскій барабанъ, дребезжалъ бубенъ, по стѣнамъ скакали раскрашенные боевые кони съ генералами и пашами; на столахъ лежали раскрашенные изображенія международныхъ дракъ, раздавалась веселая басистая команда отца и пискливыя, но не менѣе веселыя и одушевленные, подражанія сына и т. п. Та же трескотня барабановъ, и завы-

ванья. рожковъ, тѣ же воинственные крики и команды продолжались и въ шлолѣ. Герой мой не отличался ни особенными умственными способностями, ни особенною впечатлительностью къ встрѣчающимся въ мирѣ впечатлѣніямъ неволевымъ и потому отъ толчка, даннаго ему въ шею родителемъ, бѣжалъ по одному направленію безъ оглядки, бѣжалъ, производя команды и эволюціи шпагой, до тѣхъ поръ, пока не очутился въ капитанскомъ чинѣ и не созналъ, что живетъ ему не то скучновато, не то глупо и во всякомъ случаѣ чего-то не достаетъ...

Обиталъ онъ въ трехъ душныхъ и скучныхъ комнатахъ стараго покосившагося дома; но жизнь его больше сосредоточивалась въ солдатскихъ казармахъ. Изучилъ онъ характеръ каждаго изъ своихъ подчиненныхъ, зналъ его имя и отечество, зналъ лѣта, проведенныя имъ на службѣ, мѣсто родины и семейныя отношенія; отвелъ, наконецъ каждому солдату свой особенный уголокъ въ казармѣ, свой кабинетъ, какъ онъ выражался; устроилъ взаимное обученіе грамотѣ и въ этомъ послѣднемъ подвигѣ дошелъ до конечнаго предѣла своей дѣятельности. Дальше онъ не видѣлъ дѣла и тяжело ему стало. Разрѣшалъ онъ ссоры, производилъ судъ надъ провинившимися, поздравлялъ ведромъ водки имянинниковъ, писалъ для своихъ дѣтокъ полныя восторженныхъ словъ письма къ родственникамъ; но среди всего этого что-то тяжело давило его честное сердце.

— Всѣмъ доволенъ? спрашивалъ онъ какого нибудь изъ своихъ великовозрастныхъ дѣтей, оканчивая ему письмо.

— Много доволенъ, ваше благородіе, отвѣчалъ ребенокъ, вытягиваясь и шевеля усами.

«Слава Богу и начальству. Житье—масляница; смерть не страшна, чего и вамъ желаю, почтенные родители,»—машинально доканчивалъ капитанъ письмо, бралъ фуражку и задумчиво отправлялся домой, а изъ дома грустно плелся въ степь на охоту...

Стрѣлялъ онъ на пустынныхъ озерахъ утокъ, шнырялъ по горамъ, колесилъ по степи,—но и среди пустыни нападала на него иногда безотвязная грусть. Ложился онъ на траву, или на скалы, смотрѣлъ на бѣгущія по небу облака, на блестящія волны рѣки или озера, на безконечно разстилающую-

ся равнину—и точно рвался онъ куда-то. Вечеромъ возвращаясь капитанъ домой, пилъ чай, снималъ со стѣны скрипку и долго, до поздней ночи, раздавалась въ старомъ домѣ жалобная, тоскливая музыка, отъ которой взвизгивали во снѣ усталыя собаки, а душа капитана просилась въ какую-то туманную даль. Куда, читатель, всегда стремится и рвется человѣкъ, о чемъ онъ бессознательно или сознательно тоскуетъ? Къ лучшей жизни стремится и о лучшей жизни тоскуетъ, читатель... Если человѣкъ бессознательно и безпредметно тоскуетъ, то онъ тоскуетъ о лучшей жизни и тоска эта потому безпредметна, что не знаетъ скучающій человѣкъ, въ чемъ заключается лучшая жизнь и гдѣ слѣдуетъ ее искать. Но съ какою же стати это желаніе лучшей жизни забралось въ неизобилующую фантазіями, неприхотливую и спокойную голову капитана Харитонова? Неужели безмятежная, текущая вкругъ него жизнь со скрипкой, собаками, распредѣленіемъ солдатскихъ кабинетовъ, усмиреніемъ пьяныхъ дравъ и сытыми обѣдами не можетъ удовлетворить даже грубую, неприхотливую натуру капитана? О, капитанъ Харитоновъ! Я имѣю основаніе думать, что придетъ нѣкогда время, когда ты или подобный же добродушный и честный капитанъ швырнетъ на полъ жалобно плачущую скрипку, пнетъ ногой собаку, плюнетъ на безпредметную тоску и скажетъ: «Ахъ, чортъ возьми, что же это такое! Жизнь, давай мнѣ работы, давай мнѣ горя и радостей, даже, чортъ тебя побери, хоть больше горя, чѣмъ радостей, но только такъ, чтобы отъ работы кровь кипѣла, каждая жилка трепетала и не было мѣста всякимъ томленіямъ!»

Но пока еще не пришло это время, и пилить, давить, скребеть капитана Харитонова безпредметная тоска, уныло пицить его скрипка, придавая еще болѣе жалкій смыслъ и безъ того скучнымъ комнатамъ, освѣщеннымъ мигающей свѣчкой. И хочется капитану Харитонову имѣть подлѣ себя въ этихъ унылыхъ аппаратахъ живое, любимое существо, при которомъ, конечно и аппараты не казались бы такими нежилыми сараями, и скрипка не пицала бы такъ безотрадно, и мысли не уносились бы въ такія далекія и туманныя области, въ которыхъ ничего, кромѣ дали и тумана, разобратить невозможно. И вотъ мало по малу рисуется ему об-

разъ такого существа. Рисуется приличная обстановка съ ярко освещенной залой клуба, рисуется бѣлое платье съ красной лентой на поясъ, смуглое лицо съ яркимъ румянцемъ—и получается въ концѣ концовъ вѣрный портретъ уже описанной мною дѣвицы Березовой... Повторяется это рисованіе портрета въ другой разъ, въ третій разъ, въ десятый—и вотъ капитанъ Харитоновъ является передъ нами въ томъ положеніи, въ какомъ я представилъ его при началѣ разсказа, то есть замирающимъ отъ созерцанія своего предмета и мысленно переносящимъ его со всѣми атрибутами супруги въ свои унылыя комнаты...

— Мг Микулинъ, играли вы когда нибудь на театрѣ? спрашиваетъ дѣвица Березова сопровождающаго ее по залѣ интереснаго Микулина.

— Какъ же, Ольга Ивановна, не разъ... Даже хотѣлъ было построить свою профессію исключительно на театральныхъ подмосткахъ,—отвѣчаетъ Микулинъ, усиливая свой звучный голосъ и выпрямляясь во весь высокій и стройный ростъ.

— Это великолѣпно, продолжаетъ дѣвица Березова, смотря на него съ нѣкоторымъ замираніемъ сердца,—великолѣпно. Какъ бы я была рада, если бы здѣсь устроилось что нибудь подобное. Какъ бы это хорошо было... Я всегда мечтала, что я создана быть великой актрисой.

Въ это время къ нимъ приближается капитанъ Харитоновъ, сіяющій новымъ мундиромъ, эполетами, испускающій отъ себя разныя благоуханія и поглаживающій свои усы...

— Муха-съ, говоритъ онъ немного дрожащимъ, но нѣжнымъ голосомъ и, пользуясь правомъ жениха, дотрогивается до обнаженнаго плеча очаровательной дѣвицы, какъ будто снимая съ него муху.

Великая актриса вспыхиваетъ, а капитанъ съ невообразимо добродушной улыбкой маршируетъ въ свой уголь.

— Это вашъ женихъ? угрюмо спрашиваетъ Микулинъ.

Ольга Ивановна опять вспыхиваетъ и опускаетъ глаза; наступаетъ неловкое молчаніе, и Микулинъ напрасно ожидаетъ какого-то оправданія въ чемъ-то.

— Можетъ быть, это устроивали безъ вашего согласія? мрачно спрашиваетъ онъ, ничего не дождавшись.

— Да, отвѣчаютъ ему чуть слышно.

Все-таки Мивулицъ глубоко вздыхаетъ.

— Воротитесь лучше въ нашему разговору, говоритъ онъ унылымъ тономъ. Такъ вы говорите, что мечтали быть великой актрисой.

— Да... Напрасныя были мечты, Александръ Ивановичъ.

— Отчего же напрасныя?

— Ахъ, не говорите мнѣ... Что это было такое? Блескъ, музыка, слава, что-то такое великое...

— Миръ былъ великій.

— Ну да, великій миръ... Думалось все о поэтическихъ роляхъ, о слезахъ публики, ну и что же? спросила Ольга Ивановна, разведя своими прекрасными руками.

Ну и что же, дитя мое? Училъ тебя прекрасный Микулицъ французскому языку и разнымъ историческимъ анекдотамъ, носилъ тебѣ увлекательные романы, толковалъ тебѣ возвышеннымъ слогомъ о чудесахъ и обаяніяхъ театра, о томъ, что сцена есть миръ великихъ людей, и запало въ тебя нечто мечтательное и неопредѣленное объ этомъ мирѣ. Нашло на тебя теперь немного грустное настроеніе, и невольно перенеслась ты въ этой единственной вещи, представлявшей для тебя что-то несказанно очаровательное. И слѣдуетъ изъ этого только то, что въ твою молодую голову могли бы запасть впечатлѣнія міра болѣе широкаго и прекраснаго, чѣмъ миръ мишурныхъ театральныхъ героевъ,—слѣдуетъ только то, если тебѣ не предоставлено до сихъ поръ болѣе хорошей дѣятельности, то ты и пойдешь по этой жалкой дорогѣ, а, можетъ быть, даже и счастлива будешь;—можетъ быть, и найдешь въ ней душевное спокойствіе.

II.

ЗИНОВЬИХА.

Горятъ фонари при входѣ въ клубъ, блестятъ его ярко освѣщенныя окна, въ которыхъ можно иногда уловить промелькнувшую тѣнь бѣднаго капитана Харитонова съ длинными усами и гладко припомаженной головой,—длинную тѣнь Микулина,—изящную тѣнь дѣвицы Березовой, фигуру Лосевой и

прочіе имъ подобныя образы; раздается въ этихъ освѣщенныхъ комнатахъ глухой говоръ и музыка, а надъ всѣмъ остальнымъ городомъ, за исключеніемъ тавихъ же клубовъ — кабаковъ и любовныхъ пристанищъ, стоитъ тишина и мракъ. Окна затворены ставнями, заперты болтами и рѣдко-рѣдко гдѣ пробивается въ щели этихъ затворовъ лучъ свѣта; да еслибъ даже всѣ эти окна и растворены были настезь, то и тогда врядъ ли открылась бы наблюдателю жизнь, достойная любопытства. Не открылось бы здѣсь ничего своеобразнаго, ничего намекающаго на присутствіе человѣческаго самобытнаго разума, вѣчно работающаго, вѣчно стремящагося пробить новую дорогу къ улучшенію своего положенія, или къ достиженію новыхъ, неиспытанныхъ радостей.

Здѣсь умираетъ ребенокъ и уже не дышитъ, а только прерывисто хрипитъ.

— Божья воля, говоритъ оступѣвшая мать.

Тамъ полусонный лекарь, не зная куда дѣваться со скуки, бредетъ въ любовное заведеніе. На встрѣчу идутъ мужики, снимаютъ шапки и сворачиваютъ по колѣна въ смѣхъ.

— Аптеку, баринъ, надо бы, да не знаемъ гдѣ, говорятъ они съ низкими поклономъ.

— Дальше, говоритъ лекарь, не останавливался.

Здѣсь рабочій людъ, сидящій безъ работы, толкуетъ на сонъ грядущій о переселеніи въ дальнія страны, потому что «здѣсь съ голоду десять разъ помрешь», а тамъ ожирѣвшій купецъ разсчитываетъ на досугъ, что отъ казны у него сундуки ломаются и соображаетъ, что можно вѣкъ свой прожить сытно, даже если сидѣть сложа руки, можно и въ монастырь не малую сумму пожертвовать; — здѣсь слышатся вопли женщины, претерпѣвающей побои отъ пьянаго мужа, а тамъ идетъ застольная бесѣда о продажѣ несовершеннолѣтней дѣвчонки скучающему по ней купцу.

Продаваемый ребенокъ спитъ, и снятся ему ребяческія игры, качели, горѣлки, — игры на вольномъ просторѣ, подъ теплымъ лѣтнимъ небомъ, въ свежемъ воздухѣ сада. Спи, дитя, и не просыпайся. Такъ называемая вѣковая мудрость, эта проглятая, заржавѣвшая мудрость, какъ въ тискахъ, мнетъ и выжимаетъ все, что живетъ, что хочетъ жить, и чѣмъ сильнѣе въ тебѣ жажда жизни, тѣмъ невыносимѣе будутъ твои мученія

въ этихъ тискахъ. Спи, дитя, и не просыпайся. Какое дѣло вѣковой мудрости до того, что ты, ребенокъ, хочешь пока играть въ горѣлки, бѣгать, пѣть, правда глупая, но нравящаяся тебѣ, пѣсни? Завтра надѣнуть на тебя бѣлое платье, сведутъ тебя въ церковь, споютъ надъ тобой прекрасные гимны и сдѣлаютъ супругой купца, едва знакомаго тебѣ? Какое дѣло этой мудрости до того, какъ ты почувствуешь себя въ такомъ неожиданномъ положеніи, какія чувства получишь ты къ новому хозяину твоей жизни?—что ей за дѣло до того, если въ этихъ тискахъ не совсѣмъ еще заглохнетъ твоя жажда жизни и прорвется наконецъ въ какомъ нибудь страшномъ, хотя и безсознательномъ мщеніи! Не разъ и не два видѣла эта варжавѣвшая мудрость такіе примѣры, но ее не проберешь никакими ужасающими драмами, потому что громадное большинство, поклоняющееся этой мудрости, лишилось всякихъ признаковъ жизни въ ея всеокрушающихъ тискахъ и находится, вслѣдствіе этого, въ томъ великомъ душевномъ спобойствіи, которое я прочилъ дѣвицѣ Березовой.

Не вездѣ однакожъ царить это болѣзненное спокойствіе, не вездѣ заглохла жажда жизни. Пойдемъ, напримѣръ, читатель, въ предмѣстье описываемаго мною города, въ маленькій деревянный домикъ, выходящій окнами въ степь. Здѣсь въ чистой комнатѣ, устланной старымъ ковромъ, на которомъ возится двухлѣтній ребенокъ, сидитъ у стола молодая, сильная, красивая женщина—мѣщанка Зиновиха—и починиваетъ она дѣтскую рубашонку. Въ печи горитъ огонь и бросаетъ яркій розовый свѣтъ на играющаго ребенка и на лежащую подлѣ него собаку; на кровати мурлычетъ кошка, на стѣнѣ стучать часы, а въ сосѣдней комнатѣ грустный, глухой голосъ напѣваетъ русскую плавучую пѣсню.

Долго остается эта картина въ одномъ положеніи и наконецъ прерывается веселымъ крикомъ ребенка.

Мать поднимаетъ голову отъ шитья.

— Чего не спишь? спать пора, говоритъ она не то спойно, не то сурово и облакачивается на руку, задумчиво прислушиваясь къ чему-то.

— Мама! кричитъ ребенокъ.

— Ложись спать, отвѣчаетъ мать, мелькомъ взглянувъ на него.

И опять молчаніе.

Долго прислушивается Зиновьиха къ звукамъ въ степи и все ничего не слышитъ. Ребенокъ началъ играть съ собакой, но посреди игры задумался, глазенки его потупились, и онъ тихо свалился на воверъ. Мать подняла его, положила на кровать и опять слушаетъ... Вотъ пробѣжала по снѣгу подь окномъ собака, прошелъ кто-то и наконецъ послышался скорый топотъ лошади... Быстро поднялась Зиновьиха, взглянула въ зеркальцо, отбросила назадъ густые русые волосы и подошла къ печи. Лошадь остановилась у воротъ, заскрипѣлъ на дворѣ снѣгъ и въ комнату вошелъ высокій загорѣлый молодецъ—вазакъ Стойко.

— Здорово Катерина!.. Хозяйка здѣсь, а хозяина дома нѣту: значить поворачивать обратно приходится, быстро сказалъ онъ, осмотрѣвшись кругомъ и опять надѣвая молодцовато шапку.

— Что такъ? Съ нами и говорить не хочешь?—усмѣхаясь спросила хозяйка... Садись, гость будешь...

— Такъ не пріѣзжалъ еще хозяинъ-то?

— Скоро больно... Сними шапку-то, образа есть.

— Ладно... Прощай, значить...

— Прощай... какже... заводи лошадь скорѣй, да иди,— озябъ вѣдь...

Стойко вышелъ заводить во дворъ лошадь, а хозяйка опять взглянула въ зеркало и поправила немного дрожащими руками. На этотъ разъ Стойко безъ всякихъ разговоровъ снялъ полшубокъ и усѣлся противъ печки, молча поигрывая съ собакой.

— Озябъ, сказалъ онъ коротко.

— Верхомъ ѣхалъ? спросила Зиновьиха.

— Верхомъ.

— Что давно не былъ?

— Скучно развѣ стало? переспросилъ Стойко, усмѣхаясь.

— Эка невидаль,—отвѣтила Зиновьиха, отвернувшись.

— Къ родственникамъ ѣздить за совѣтомъ; старики нашъ переселяться хотятъ въ теплыя страны — на Кубань.

— И ты, значить? быстро спросила Зиновьиха, взглянувъ ему прямо въ глаза.

— Можеть и я. Благодать, говорятъ, эти темныя страны. Слыкала объ нихъ?

— Слыкала.

Наступило молчаніе... Стойко съ притворною безпечностью поигрывалъ съ собакой, разминая ооченѣвшіе пальцы, а Зиновьиха, нахмуривъ брови и сжавъ губы, смотрѣла въ темный уголь.

— Андрей, тихонько кликнула она наконецъ.

— Чего? спросилъ Стойко, не оборачиваясь къ ней.

— Ты какъ же думаешь... на счетъ переселенія-то?...

— А что думаю... Чего я здѣсь, напримѣръ, не видалъ?

— А тамъ-то что?

— Благодать, говорятъ....

Зиновьиха пристально посмотрѣла на него. Стойко не оглядывался.

— Съ Богомъ, сказала Зиновьиха коротко, сбросила со скамьи вошву, сѣла и опять принялась за работу....

Нѣсколько минутъ продолжалось невозмутимое молчаніе. Наконецъ Стойко всталъ, подошелъ къ зеркалу и началъ расчесывать волосы. Зиновьиха и не взглянула на него, а Стойко, кончивъ чесаться, обернулся, посмотрѣлъ на нее, подсѣлъ къ ней поближе и долго-долго любовался на ея наклоненную голову, суровое, рѣшительное лицо и энергично работавшія, крѣпкія и красивыя руви.

— Катя, сказалъ онъ.

— Ну... Какая я тебѣ Катя?

— А сказать правду — не видывалъ я изъ вашей братьи красивѣе тебя....

— Красива, да не твоя....

— Мужнина, значить!..

— Значить....

— Дорогъ же онъ видно для тебя, да и ты-то ему тоже. Наглядѣться на тебя не можеть, какъ приласкать получше — не придумаетъ.

Зиновьиха усмѣхнулась.

— Эхъ, вскрикнулъ Стойко, вставая, съ сильнымъ волненіемъ въ голосѣ, — кабы да мнѣ такую жену, умирать бы тогда не надо, — развернулся бы....

Зиновьиха опять усмѣхнулась...

— Не судьба моя видно, замѣтилъ Стойко и посмотрѣлъ на хозяйку.

Та молчала.

— Ничего видно, Катя, не подѣлаешь? спросилъ Стойко.

— Что-жь тутъ подѣлаешь...

Стойко махнулъ рукой.

— Что-жь?.. опять заговорилъ онъ послѣ недолгаго молчанія. Прощай, значить, Катерина...

— Куда-жь ты? спросила Зиновьяха быстро.

— Домой... Куда больше-то...

— Ты бы хоть поужинадь. Пальмени сегодня стряпала.

— Не вкусны будутъ....

— Лошадь-то еще не поѣла...

— Довезетъ и такъ. Ничего...

— Да зачѣмъ торопиться-то?...

— Надо, любезная. Дѣло-то, на счетъ переселенья, я не ладно повелъ. Старикъ мой задумать-то его—задумалъ, а сдѣлать боится, потому старъ очень. Я его и попридержалъ маленько. Негодится, думаю, переселяться. Жить и здѣсь можно. Ну, а теперь чтожь? Поверну по новому, живо завершу дѣло... Такія имъ вещи представлю, что и во снѣ станутъ разговаривать о теплыхъ странахъ... Такъ счастливо оставаться....

Стойко надѣлъ полушубокъ.

— Эхъ, разбудилъ ребеночка-то, — тихо сказалъ онъ. Ну, прощай...

Онъ уже отворилъ двери и шагнулъ чрезъ порогъ, какъ блѣдная, дрожащая Зиновьяха схватила его за руку и зарыдала.

— Что? спросилъ Стойко, возвратившись въ комнату.

— Не ѣзди.

— Что? подсмѣиваясь, повторилъ Стойко и сталъ скидывать полушубокъ.

Зиновьяха плакала, а Стойко поглаживалъ своей широкой рукой ея плеча и руки, а лицо его разомъ повеселѣло.

— Вотъ и ладно, повторилъ онъ раза два.

— Что ладно? Грѣхъ вѣдь.

Стойко смолчалъ.

— Грѣхъ вѣдь, повторила Зиновьяха.

— Эхъ, Катя... Дядя вонъ у меня есть лихой боговѣдецъ.

Не согрѣшишь, говорить, такъ не поваешься. Ну и ладно выходитъ,—рѣшилъ Стойко, весело улыбаясь.

— Не побѣдешь теперѣ?

— Въ тѣшныя-то страны?

— Ну да.

— Кажись не за чѣмъ. Здѣсь потеплѣе будетъ.

Зиновьяха понемногу утирала слезы.

— Вышло, значить, что ты и не совсѣмъ мужнина, — поддразнилъ опять Стойко.

— Не говори ты. Столько я отъ него понатерпѣлась, столько понамучилась, что и не жить бы важись... Хуже работницы я у него была... И что я ему съ грѣхомъ что-ли кажимъ досталась? Или приданымъ обманули? Нѣтъ, не меня-бы ему надо, а такую, чтобы наплакался надъ женой, тогда бы и ей жизнь была другая... А я что? И за водой на рѣку сходи, и дровъ принеси, и то сдѣлай, и другое сдѣлай. Не къ тому меня дома приучали. Мать-то въ лавкѣ торговала... А я и говорю ему, что чѣмъ дома-то у окошка сидѣть, такъ начинать бы мнѣ торговать понемногу. Что, говорить, уже не погулять-ли захотѣлось? Смотри, говорить. Чуть услышу что нибудь, такъ сворочу картинку-то на сторону... И дома есть работа. — Дома-то, я говорю, и работница можетъ управиться. Знаю, говорить. У меня одна работница — ты, а другой нанимать не стану. Иной разъ хоть бы убѣжала куда, хоть бы въ воду бросилась, а то и его самого пожалуй убила бы...

Стойко такъ и повалился со смѣху.

— Ой-ли? Въ правду убила бы? Ай да молодець, баба.

— Что-то будетъ?.. прибавила Зиновьяха.

— А что будетъ?

— Какъ мужъ-то воротится!..

— А поглядимъ...

III.

ЧУДАКИ И ИХЪ ПЛАНЫ.

Я задумалъ представить читателю повѣствованіе о трехъ семействахъ. Въ первыхъ двухъ главахъ было разсказано, какъ

капитанъ Харитоновъ пришелъ въ мысли о необходимости обстроить жизнь на новый ладъ и на кого палъ выборъ этого знаменитаго человѣка; было также разсказано и о томъ, какъ началась таинственная исторія Стойко съ Зиновьихой, съ женой мѣщанина Зиновьева, находящагося въ отлучкѣ, по случаю сбора податей съ инородцевъ. Теперь мнѣ слѣдуетъ перейти къ повѣствованію о третьемъ семействѣ, и это я дѣлаю съ большимъ удовольствіемъ, потому что мнѣ представляется возможность показать читателю жизнь, противоположную той жизни, которую я вырвалъ изъ разныхъ угловъ «мирнаго города» и, въ болѣе или менѣе подробныхъ картинахъ, представилъ на усмотрѣніе читателя.

Въ довольно просторной и высокой комнатѣ, съ простыми деревянными стульями, съ вращеннымъ поломъ, сплошь устланымъ войлокомъ, топится печка. Предъ огнемъ сидитъ на кошикѣ (войлокѣ) лекарь Корчагинъ, недалеко отъ него на кровати лежатъ въ растяжку лицомъ къ лекарю нашъ старый знакомый Гребцовъ (*), а на веревкахъ, привѣшенныхъ съ гимнастической цѣлю къ потолку по срединѣ комнаты, покачивается ученикъ Гребцова Сила Игнатьичъ, у котораго въ настоящее время уже сильно пробивается борода.

— Дуракъ я просто на просто, — разсказываетъ только что пришедшій лекарь, отогрѣвая руки. — Уродъ-идеалистъ какой-то хоть и великій математикъ. Во всякомъ случаѣ не практичность проклятая заѣла меня... Слѣдовало бы мнѣ маленько повертѣть задомъ, посемѣнить ногами, на глаза побольше ма-сла напустить, ну и отлично бы вышло, важной особой живо бы сдѣлался... Небось не посадили бы вы меня тогда на кошму.

— А кресло бы нарочно купили.

— Да-съ... Вы слушайте, Сила Игнатьичъ, и никогда мнѣ не подражайте...

— Ну, конечно.

— Прекрасно сдѣлаете... Послушайте, напримѣръ, Сижу я сегодня у больнаго, вдругъ бѣгутъ, кричатъ; пожалуйста Егоръ Петровичъ, васъ его превосходительство кличетъ... Это значить, новопривъзжая особа изволить кликать. — Некогда, говорю

*) См. повѣсть „Житейская Школа“, въ июньской и июльской кн. Рус. Слова.

я. Ладно. Черезъ нѣсколько минутъ, смотрю, бѣгутъ опять: пожалуйста, Егоръ Петровичъ, непременно требуютъ сейчасъ же. Мнѣ, говорю, нѣтъ до этаго никакого дѣла. Отлично; оставилъ въ покое. Кончилъ я свое дѣло и пошелъ домой... На улицѣ—хватя!—новопріѣзжая особа шествуетъ со своей свитой ко мнѣ на встрѣчу.

Ленаръ закурилъ папиросу и повачалъ головой.

— Бѣда, сказалъ онъ тихо.

Гребцовъ и Сила Игнатьичъ улыгнулись.

— А! говорить особа,—господинъ Корчагинъ?

— Именно, говорю.—Я васъ звалъ, говорить. А мнѣ, я говорю, было некогда. Онъ смотритъ на меня, а я на него. Вотъ какъ! говорить особа, вамъ было некогда... Да знаете ли вы, кто такой я?—Дуракъ! отвѣтили я ему и пошелъ обѣдать.

Гребцовъ почесалъ голову.

— По нашему-то это отлично, сказалъ онъ. А по закону плохо.

— И по закону ничего. Меня могутъ попросить, но гнать отъ моего дѣла, не имѣютъ права.

— Такъ!

— Я слышалъ, что вунцы въ лавкахъ объ этомъ говорятъ, замѣтилъ Сила Игнатьичъ.

— Что же говорятъ? спросилъ Гребцовъ.

— Поди, говорятъ, толкуй съ нимъ.

— Именно толковать со мной плохо, смѣясь замѣтилъ ленаръ... А вы, Сила Игнатьичъ, послушайте еще одинъ анекдотъ.—Сижу я за своей математикой, пишу, мараю, однимъ словомъ работа въ самомъ разгарѣ... Вдругъ—стукъ, стукъ, въ дверь колотятъ.—Кто тамъ?—Здравствуйте, говорятъ, воллега.—Здравствуйте.—Отворите, гости пришли. Занятъ, говорю.—Да отворите же.—Убирайтесь, говорю, ко всѣмъ чертямъ. Ну тогда и ушли. А на другой день въ лазаретѣ Collega мнѣ руки жметъ.—Извините, говорятъ, что вчера обезпокоилъ васъ... Вотъ какъ!

— Ну, а какъ ваши работы? спросилъ Гребцовъ.

— Плохо-съ... Помните ту машину, отъ которой я приходилъ въ такой восторгъ?

— Вы вѣдь отъ каждой въ восторгъ приходите, замѣтилъ Сила Игнатьичъ.

— Вотъ тебѣ же! Ну, по поводу которой я мечты-то строишь...

— И мечты вы строите по поводу каждой, сказалъ Гребцовъ.

— Тьфу... Все равно... Послалъ я въ Питеръ модель этой машины. Оттуда мнѣ и пишутъ, что точно такая машина изобрѣтена американцемъ Весперомъ или Гесперомъ какимъ-то и уже съ полгода работаетъ.

— Этакая досада, вскрикнулъ Гребцовъ.

— Да-съ. А мечтанія были великія... Ну да не въ первый разъ... Я получилъ уже три такіе отвѣта, такъ что теперь не знаю, что дѣлать: остаться ли лекаремъ, говорилъ смѣясь Корчагинъ, или бросить леченье и ѣхать въ Питеръ—столицу русскаго ума и нищеты.

— Займите у меня денегъ и поѣзжайте, что вамъ здѣсь дѣлать, тихо и убѣдительно сказалъ Гребцовъ, влады свою руку на плечо лекаря.

— Погодите... Я большой чудакъ, хоть нужно сказать, что есть чудачи и лучше меня. Вы, напримѣръ; хозяинъ мой, напримѣръ. Приходитъ онъ сегодня ко мнѣ и говоритъ:—Что вы за человѣкъ такой, Егоръ Петровичъ? Сидите себѣ одни и знать никого не хотите. Давайте, говорить, я женю васъ, веселѣе будетъ... Зачѣмъ, я говорю, мнѣ жена, почтенный хозяинъ?.. Сижу себѣ за столомъ да работаю; а надоѣстъ, такъ отправлюсь въ слободу гулять... Эхъ! продолжалъ онъ, поднимаясь. Давайте-ка лучше бороться, Сила Игнатьичъ. Сегодня я гуляю.

— Гдѣ мнѣ съ вами бороться, отвѣтилъ Сила Игнатьичъ и убрался подальше.

— Да-съ, хоть вы и Сила, а во мнѣ силы побольше, говорилъ Корчагинъ, взбираясь на покинутыя веревки.

— Да о чемъ мы говорили-то? сказалъ Гребцовъ, стараясь повернуть разговоръ на отъѣздъ Корчагина въ Петербургъ.

— Ни о чемъ мы не говорили, почтенный хозяинъ, отвѣтилъ Корчагинъ, раскачиваясь на веревкахъ.

— Тьфу, сказалъ Гребцовъ вставая. Мы о томъ говорили, что вамъ нужно ѣхать въ Питеръ.

— Погодите, почтенный хозяинъ... Я вѣдь чудакъ, отвѣтилъ Корчагинъ, погружаясь въ гимнастическія упражненія.

И действительно ты был большой чудакъ, честный, прямой и независимый лекарь Корчагинъ! Глубоко люблю я тебя, въ какомъ бы положеніи ты ни находился. Сидишь ли ты въ глубокую ночь нахмуренный и взерошенный за полдюжиною листовъ, исписанныхъ цифрами, формулами и математическими знаками,—пробуешь ли ты въ слободѣ свою силу, сравнивая ее съ силой какогонибудь кузнеца или гуртовщика; любезничаешь ли ты тамъ же съ какойнибудь румяной вдовой-солдаткой, рассказывая ей всякія исторіи;—сидишь ли ты серьезный и блѣдный у постели умирающаго и говоришь ему, надающему духомъ, пламенные рѣчи о жизни и смерти, о мірѣ и человѣкѣ; мечтаешь ли ты за своимъ столомъ о замѣненіи изнурительнаго человѣческаго труда трудомъ машины; ругаешься ли ты съ какимънибудь изъ твоихъ согражданъ,—вездѣ и всегда я глубоко люблю твою чудаческую личность. Гдѣ ты теперь? Погибъ ли ты, какъ погибають всѣ подобныя тебѣ чудаки, порывающіеся раздавить ногами всякую встречающуюся имъ на пути гадость и препятствіе?.. Умеръ ли ты въ какойнибудь каморкѣ, на соломенной подстилкѣ, какъ умирають всѣ подобные тебѣ свѣтлые и чистые титаны, подавляемые окружающей пошлостью и пустотою? Или еще все работаешь ты и все еще падають отъ твоей свѣтлой личности свѣтлые лучи въ окружающую темь?..

Анна Михайловна Лосева, во время своей тяжелой болѣзни, имѣла случай заглянуть въ самую глубину личности этого лекаря и, не смотря на связывавшія ее брачныя узы, не могла не увлечься имъ и не почувствовать въ нему безпредѣльное уваженіе. Когда къ Гребцову переѣхала его мать, женщина, любившая его безгранично, т. е. готовая ради его идти на всякую глупость и на всякій сумасбродный поступокъ—то присутствіе этой старухи дало возможность Лосевой познакомиться съ Гребцовымъ и даже бывать въ его домѣ. Анна Михайловна имѣла свою маленькую политику, стремившуюся единственно въ тому, чтобы услышать чтонибудь о Корчагинѣ, о его житьѣ-бытьѣ, дѣйствіяхъ, намѣреніяхъ и походе-ніяхъ. Все это очень интересовало Лосеву, и для полученія подобныхъ свѣдѣній, она употребляла разныя хитрости. Она напримѣръ, показывала старухѣ Гребцовой, что сильно интересуется жизнью ея сына и вслѣдствіе этого желаетъ имѣть

нѣкоторое понятіе не только объ немъ, но даже и о друзьяхъ его, между которыми на первомъ планѣ стоялъ Корчагинъ,—и словоохотливая старуха разсказывала ей все, что знала.

Какъ-то вечеромъ, все это общество собралось въ одной комнатѣ вокругъ чайнаго стола. Вотъ виднѣется въ темномъ углу широкое лицо Силы Игнатьича съ маленькими живыми глазками, румяными щенами и длинными свѣтлыми волосами, надающими на красную рубаху, сверхъ которой накинута старенькій сюртукъ. Подлѣ него рельефно выдаются широкія плечи лекаря и его желтовато-блѣдное лицо съ завороченнымъ носомъ, энергично сжатыми губами и синими очками, прикрывающими глаза, онъ читаетъ газету. Дальше, подлѣ вяжущей чучокъ старухи, сидитъ Анна Михайловна съ наклоненной на руку головой, и глубокая задумчивость видна въ ея черныхъ глазахъ, окруженныхъ ранними морщинами. Гребцовъ, заложивъ руки за спину и повѣсивъ голову, ходитъ по комнатѣ и то скрывается въ темной половинѣ, то опять появляется въ освѣщенномъ кружкѣ, его сильная, стройная фигура съ румянымъ молодымъ лицомъ и свѣтлыми умными глазами.

— Сверхъно читать наши газеты, имѣя мой взглядъ на вещи, говорилъ лекарь, отталкивая на столъ газету.

— А какой вашъ взглядъ на вещи? спросилъ Гребцовъ.

— Да вотъ, напримѣръ, вездѣ и всегда я ставлю на первый планъ отдѣльную личность, заговорилъ лекарь, откидываясь на стулѣ. Вслѣдствіе этого не признаю никакихъ пожертвованій отдѣльными личностями ради будто бы общаго блага, такъ какъ, по моему мнѣнію, не личность существуетъ для благоденствія общества, а общество для благоденствія отдѣльной личности. Я, вы и прочіе чудаки живутъ не въ лѣсахъ и пустыняхъ, а соединились въ общество, потому что общими усилиями намъ будетъ легче устраивать наше благополучіе. Ну, а если для устройства этого благополучія насъ покорнѣе попросятъ принести въ жертву свою жизнь или свое счастье, то лучше ужъ въ лѣсу жить, и, слѣдовательно, настоящее общество плохо.

— И въ лѣсу есть звѣри, замѣтилъ Гребцовъ, смѣясь.

— Есть, нечтенный хояинъ... Но съ ними я ставу рисковать своей жизнію тогда только, когда это мнѣ необходимо...

— Вслѣдствіе такой свободы личности, продолжалъ хладнокровно лекарь,—каждый человѣкъ можетъ жить, какъ ему угодно, дѣлать все, что хочетъ... Либеральные ученые врутъ, когда говорятъ, что свобода есть право каждаго человѣка дѣлать то, что не вредно другимъ?.. Кому другимъ? То, что я дѣлаю, можетъ быть вредно равнымъ подлецамъ и дуракамъ,—такъ я и не имѣю права дѣлать этого? Нѣтъ, имѣю... Если общество, среди котораго я живу, недовольно моими дѣйствіями, то оно можетъ меня выгнать изъ своей среды, но не имѣетъ права посягать на мою личность, такъ какъ свободная жизнь есть право всякаго человѣка, и ни одинъ еще человѣкъ не былъ и не можетъ быть виноватъ въ своихъ ошибкахъ, потому что не самъ себя онъ воспитывалъ, а воспитывало его со всѣми его недостатками это же общество, среди котораго онъ провелъ свое дѣтство... Вотъ мой взглядъ на вещи, а что печатается въ этихъ тряпкахъ? заключилъ лекарь, указывая на газету—и прочиталъ нѣсколько параграфовъ.

На этихъ-то положеніяхъ основывалось все міросозерцаніе лекаря, полное глубокой вѣры въ свободную и неизуродованную человѣческую личность, вѣры въ ея силу и способность самостоятельно составить себѣ полное счастье, и въ этихъ-то горячихъ мысляхъ лекаря и заключалась обаятельная сила, притягивавшая къ нему это кроткое созданіе—Анну Михайловну Лосеву. Гребцовъ, не возражалъ ни слова на мнѣнія, высказанныя лекаремъ, продолжалъ по прежнему молча ходить по комнатѣ, видимо что-то обдумывая. Анна Михайловна обратилась къ лекарю съ какимъ-то маленькимъ замѣчаніемъ насчетъ того, что она была бы очень рада, если бы прекратились на землѣ эти вѣчныя рѣзни и побоища, что эти рѣзни, по ея убѣжденію «ужасны». Корчагинъ улыбнулся, подумалъ и началъ возражать.

— Ужасны, началъ онъ съ иронической улыбкой.—Такъ-то такъ, Анна Михайловна, только позвольте вамъ замѣтить, что если я ударю васъ палкой, то вы будете сердиться не на палку, которая тутъ ни въ чемъ не виновата, а на меня. Такъ же и относительно рѣзни. Не ее нужно проклинать, а тѣхъ субъектовъ, которые до того тѣснятъ своихъ ближнихъ,

что они наконецъ за ножъ хватаются... Пова существуютъ подобные субъекты—будеть существовать и рѣзня.

— Лучше, еслибъ ее не было, —невольно замѣтила Анна Михайловна, взглянувъ на разгорѣвшіеся глаза лекаря.

— Плохо было бы, еслибъ въ настоящее время ее не было, — протяжно возразилъ Корчагинъ. Это значило бы, что человекъ замеръ. Бей его, колоти его, терзай его, что хочешь съ нимъ дѣлай—а онъ все не поднимается. Плохо бы было.

Корчагинъ откинулся на спинку стула, опустилъ голову и тихо запѣлъ одну французскую пѣсню, лицо его поблѣднѣло, руки опустились и, какъ видно, далеко-далеко унеслись его мысли.

— Что, Анна Михайловна, спросилъ онъ потомъ, — такъ ли читаютъ газеты въ нашемъ клубѣ?

Анна Михайловна засмѣялась.

— Что, еслибъ они послушали! отвѣтила она.

-- О! сказалъ Корчагинъ, саркастически улыбувшись. — Смятеніе было бы большое... Эхъ, Степанъ Андреевичъ, Сила Игнатьичъ, заговорилъ онъ, отталкивая газету. Расскажите мнѣ чтонибудь неполитическое, а жизненное, хорошее, чтобы не хотѣлось мнѣ бѣжать въ лѣса и пустыни.

— А вотъ видите ли—что я вамъ скажу, отозвался Гребцовъ. Пришелъ мнѣ въ голову новый методъ самообразованія.

— Это что же? утопія? спросилъ лекарь.

— Нѣтъ. Я вотъ хочу порекомендовать этотъ методъ Силѣ Игнатьичу. Хочу представить на его разсмотрѣніе.

— Ого! сказалъ лекарь, ближе подвигаясь къ угрюмому Игнатьичу... Излагайте, а мы слушаемъ, съ большимъ интересомъ.

— Видишь ли, Сила Игнатьичъ, заговорилъ Гребцовъ, знаемъ мы съ тобой исторію и ботанику; знаемъ химію и математику; читали много книгъ по всѣмъ предметамъ: знаній, однимъ словомъ, у насъ достаточно. Вся штука заключается теперь, по моему мнѣнію, въ томъ, чтобы научиться прилагать эти знанія къ жизни.

— Прекрасно, замѣтилъ лекарь.

— Ну съ, продолжалъ бывший учитель,—такъ я хочу порекомендовать тебѣ, Сила Игнатьичъ, вотъ что: отправиться съ

наступленіемъ весны путешествовать по здѣшнему округу и и изучить его во всѣхъ отношеніяхъ, то есть, узнать всё его средства, — качество земли, климатическія условія, богатства рѣкъ и горъ, средства торговли, — однимъ словомъ донсаться, чѣмъ бы онъ при всѣхъ этихъ обстоятельствахъ могъ быть. Во вторыхъ, узнать его настоящее положеніе, средства, всю жизнь, и, въ третьихъ, рѣшить — почему онъ не достигъ еще того, чѣмъ онъ могъ бы быть, и какія средства нужны для достиженія этого.

— Bravo! вскричалъ лекаръ и вскочилъ съ мѣста.

Анна Михайловна поднялась было съ своего дивана и опять опустилась. Мелькнуло ли передъ ней въ эту минуту все богатство жизни, всё ея чистыя радости, все, что не ясно мечталось ей въ то время, когда она, подавляемая окружающимъ бездѣйствіемъ, сидѣла въ своемъ дѣвичествѣ въ закупоренной комнатѣ и рвалась своими смѣлыми молодыми мыслями въ какую-то свѣтлую даль, на какой-то широкой просторъ, гдѣ люди живутъ не въ полуснѣ, полною дѣятельною жизнью. Жаль ли ей стало своей молодости, прожитой въ четырехъ стѣнахъ, въ мертвящей бездѣятельности, не испытавшей ни единой свѣтлой радости? Завидно ли ей стало этому молодому существу, готовому попытать свои силы на такой широкой дѣятельности, которая не только не вошла въ ея прожитую жизнь, но и не ей снилась даже? Но ея задумчивость была хорошая, осмысленная задумчивость, разрѣшившая ей многіе вопросы и сомнѣнія...

Сила Игнатьичъ сильно покраснѣлъ отъ неожиданности предложенія такой тяжелой работы.

— Врядъ ли смогу, сказалъ онъ, заикаясь... Миѣ вѣдь всего еще восемнадцатый годокъ пошелъ.

Гребцовъ засмѣялся.

— Вы какъ же нолагаете? съ живѣйшимъ любопытствомъ обратился къ нему лекаръ. Можетъ онъ взяться за это?

— Непремѣнно можетъ, отвѣчалъ бывшій учитель, у котораго сіяло лицо, сіяли глаза и улыбка не сходила съ губъ... Для начала дѣла онъ имѣетъ всё нужныя знанія... И если даже онъ не сможетъ довести работу до конца, то во первыхъ онъ приобрететъ богатѣйшее знаніе людей и жизни, а во

вторыхъ, ясно увидить все, чего недостаетъ въ его знаніяхъ и чѣмъ еще нужно заняться... Этимъ онъ и займется, а черезъ нѣсколько лѣтъ можно будетъ повторить попытку...

— По моему мнѣнію, вамъ слѣдуетъ ѣхать, обратился лекарь къ Силѣ Игнатьичу, беря его за руку... Сядемте пожалуйста. Видите ли, задумчиво продолжалъ онъ, держа руку смущеннаго юноши. Намъ стариковъ воспитывали по старому, т. е. лѣтъ десять, пятнадцать держали, какъ въ влѣтѣ, въ четырехъ школьныхъ стѣнахъ. Потомъ выпускали насъ жить и добывать себѣ хлѣбъ. Что такое жизнь, какъ добывается хлѣбъ—этого мы слыхомъ не слышали, а жить и ѣсть надо было. Ну мы разумѣется и бросились на первую попавшуюся хлѣбную работу, больше на казенщину. Работали мы годъ другой, десять лѣтъ и наконецъ начинали понимать, что взялись или не за свое дѣло, или за такую вещь, которую и дѣломъ-то нельзя назвать... Я, напримѣръ, взялся за медицину, а на самоцѣ-то дѣлѣ я не дурной механикъ. Ну что приважете дѣлать? Года ушли, силы пропали, работа, какъ говорится, съ души рветъ и кончается дѣло тѣмъ, что человекъ или дѣлается пьяницей, или плюетъ на все: пропала, говорить, моя жизнь, и ничего не подблаетъ... Примите же во вниманіе такіе постоянные примѣры и взгляните на ваше положеніе. Вамъ представляется возможность изучить основательно всѣ средства и способы, которые ведутъ къ хорошей перестройкѣ дрянной жизни, окружающей васъ; представляется случай научиться прилагать къ дѣлу ваши знанія и затѣмъ вы можете вступить въ жизнь, какъ лучшій ея гражданинъ, сознательно идущій самъ и ведущій другихъ къ лучшему будущему... По моему мнѣнію, здѣсь не о чемъ спорить.

— Кажется, что не о чемъ,—замѣтилъ Гребцовъ.

У Силы Игнатьевича подергивались отъ волненія губы и глаза.

— Да ей богу... же совѣстно мнѣ,—сказалъ наконецъ глупово взволнованный будущій путешественникъ, которому не шутя хотѣлось распакаться отъ сильно заговорившаго въ немъ чувства.

— Эхъ, Сила Игнатьичъ, сказалъ лекарь, ударивъ его по плечу... Большой вы философъ, а не можете разъ навсегда

отбросить въ такихъ случаяхъ эту совѣстливость. Повѣрьте вы мнѣ, что если порядочный человѣкъ дѣлаетъ что нибудь хорошее, такъ навѣрное дѣлать это хорошее ему самому очень пріятно... Повѣрьте, что если всѣ надежды Степана Иваныча на васъ сбудутся, то онъ съ радости по крайней мѣрѣ умретъ. — Да-съ.

Общій смѣхъ, привѣтствовавшій это увѣреніе лекаря, помогъ Силѣ Игнатьичу справиться съ своими взволнованными чувствами.

— Какъ же они будутъ путешествовать? спросила Анна Михайловна.

— Я думаю, что лучше всего верхомъ, отвѣтилъ Гребцовъ.

— И прекрасно, отозвался лекарь: и здорово, и весело, и приобрѣтается искусство, которое можетъ всегда пригодиться. Однимъ словомъ, вашъ выходъ на самостоятельную дѣятельность обставляется такими обольстительными вещами, что даже мнѣ становится завидно, — прибавилъ онъ, сжимая руку Силы Игнатьича. Непремѣнно заѣзжайте въ горы, на заводы. До весны утечетъ еще много воды и мы съ вами успѣемъ заняться механикой, такъ что изъ посѣщенія заводовъ вы можете извлечь много дѣльнаго.

Въ это время у окна завизжалъ подъ полозьями снѣгъ и слышно было, какъ сани остановились у воротъ. Приѣхали за Анной Михайловной. Съ невольною тоскою простилась она съ своими хозяевами. И во время ѣзды по темнымъ улицамъ и по вступленіи въ свой домъ—чувствовала она себя почти также, какъ чувствуетъ человѣкъ, возвратившійся изъ театра, полного свѣта, обаяній и поэтическихъ сценъ, въ душную каморку, или какъ чувствуютъ себя дѣти, перейдя отъ фантастическихъ рождественскихъ сценъ и картинъ къ мизерной, прозябательной жизни благовоспитаннаго ребенка. Скучны и гадки казались Аннѣ Михайловнѣ ея мирныя компаньки; мизерна казалась ей усталая фигура мужа, только что воротившагося изъ клуба и рассказывавшаго о томъ, какъ онъ выигралъ было рублей десять, и затѣмъ опять проигралъ ихъ, такъ что въ барышѣ осталось всего десять копѣекъ.

IV.

ПИСЬМО СТРЕЛКОВАГО КАПИТАНА.

Начинается длинный зимній вечеръ. Капитанъ Харитоновъ сидитъ въ своихъ унылыхъ комнатахъ и думаетъ крѣпкую думу. На стѣнѣ стучать часы, на столѣ горитъ свѣча, подлѣ нея тлѣетъ недокуренная трубка; на продавленномъ стулѣ усѣлась собака и смотритъ на своего хозяина, а хозяинъ облокотился обѣими руками на столъ, полузакрывъ лицо ладонями, такъ что изъ подъ нихъ выглядываютъ только усы, глаза да кончикъ загорѣлаго, жесткаго носа—и думаетъ. Думаетъ онъ о томъ, что уже три года, какъ онъ любовно и дружно жилъ съ своей хозяйкой; вспоминаетъ онъ изъ этихъ трехъ лѣтъ много задушевныхъ, тихихъ сценъ любви и привязанности, и совѣстно дѣлается ему при мысли, что мѣсто этого стараго, испытаннаго друга скоро займетъ у него молодая жена, а старый, покинутый другъ будетъ изгнанъ, какъ изъ комнатъ, такъ и изъ сердца его, вѣроломнаго капитана. Носятся передъ глазами его разныя слезныя сцены разставанья, и жалость сокрушаетъ его любвеобильное сердце, несмотря на имѣющіяся въ виду картинки—семейное счастье съ молодой женой. Да, сверно тебѣ, честнѣйшій и чистѣйшій представитель мирнаго люда, довольствующагося микроскопическими крупницами чело-вѣческихъ радостей и несмѣющаго и неумѣющаго просить больше. Жалка мнѣ твоя участь, любезнѣйшій капитанъ. Богата была твоя натура неподкупной честностью, любовью къ чело-вѣку, состраданіемъ ко всякому горю; вѣроятно и умъ твой не былъ изуродованъ съ самаго дня твоего рожденія, вѣроятно и ты имѣлъ всевозможныя средства взять отъ жизни все, что только можетъ взять чело-вѣкъ, и что же вышло въ результатъ? Какими радостями пользовался ты въ своей жизни? На что пошли всѣ изчисленныя богатства твоей природы? Создалъ ли ты что нибудь хорошее, свѣтлое, указывая на что, могъ бы съ гордостью сказать, что вотъ моль слѣды моей жизни и дѣятельности! Ничего этого нѣтъ, любезнѣйшій капитанъ, и поэтому жизнь твою нельзя назвать жизнью и дѣятельность твою нельзя назвать дѣятельностью. Нелегко дается

хорошее дѣло. Плачетъ ли дрессируемый арапникомъ ребенокъ, стонетъ ли женщина отъ побоевъ мужа, падаетъ ли человекъ подъ тяжестью всякихъ сомнѣній, разочарованій, и каждагодневнаго горя: въ самомъ легкомъ и въ самомъ трудномъ случаѣ, вездѣ, любезнѣйшій капитанъ, нужна для облегченія этого горя сила: сила ли знанія, сила ли свѣтлаго ума, сила ли горячаго слова, — но во всякомъ случаѣ сила, въ которой тебѣ отказано. Въ этомъ то и заключается вся нищета твоя и беспомощность твоего существованія на бѣломъ свѣтѣ. Бродишь ты на немъ «какъ въ подземной тюрьмѣ безъ свѣчи», — и нѣтъ у тебя, да и не бывало никогда, какой бы то ни было страстно желаемой цѣли, которая служила бы для тебя путеводной нитью, заставляла бы тебя забывать случайные жизненные толчки, заставляла бы тебя напрягать и развивать свои силы и мало по малу возвышать свою собственную личность. Не ты одинъ проходишь свой жизненный путь такимъ образомъ; имя такимъ капитанамъ легионъ, но въ томъ то и бѣда, по моему мнѣнью, что общество нищихъ духомъ врядъ ли можетъ представлять очень завидное общество.

Въ эту минуту является въ комнату сама хозяйка, предметъ настоящихъ мученій добродушнаго капитана.

— Самоваръ-то надо подать? спрашиваетъ предметъ, не смотря на своего вѣроломнаго друга.

Вѣроломный другъ сильно путается.

— Самоваръ? — говоритъ онъ торопливо — а деньщикъ... Гдѣ же деньщикъ?...

Предметъ мрачно взглядываетъ на него.

— Вѣрно на меня и смотрѣть не ловко, — замѣчаетъ предметъ.

Капитанъ глубоко вздыхаетъ.

— Дарья Петровна! — говоритъ онъ уныло, немѣреваясь излить передъ старымъ другомъ накопившія въ его груди чувства и страданія...

— Что?... спрашиваютъ его коротко.

— Я все выскажу вамъ, Дарья Петровна... Сядьте, Дарья Петровна, — начинаетъ капитанъ.

Раздается насмѣшливое фырканье и дверь захлопывается за старымъ другомъ. Капитанъ опять вздыхаетъ, опускаетъ го-

лову, принимается рассказывать изъ угла въ уголок по комнатѣ и мало, по малу, въ немъ поднимается новое чувство.

— А! думаетъ онъ. Не выслушать человека, желающаго дружески излить свое сердце!... И не выслушавши его, такъ свазать, горькой и задушной исповѣди, осудить его!... Такъ хорошо же. Она не услышитъ больше отъ меня ничего и ничего!... Все кончено.

И обрадовавшись, что такъ легко можно покончить въ эти передраги, капитанъ начинаетъ обдумывать рѣшительное письмо къ своей невѣстѣ. Наконецъ планъ письма составленъ... «Милостивая Государыня!» пишетъ капитанъ и ватѣмъ останавливается, кладетъ перо, закуриваетъ трубку и опять начинаетъ обдумывать.

Въ это время неожиданно является унтеръ-офицеръ.

— Здравія желаю, ваше благородіе.

— Здорово. Что скажешь!..

— По дѣлу, ваше благородіе!..

— Ну, что надо?..

Вмѣсто отвѣта унтеръ-офицеръ открываетъ дверь и въ комнату входят еще четыре солдата, вытягиваются и въ одинъ голосъ привѣтствуютъ капитана.

— Здорово, что скажете? спрашиваетъ капитанъ, вставая.

— Такъ и такъ, ваше благородіе, Егоръ Зарубаевъ разбилъ кабакъ!..

Капитанъ молча вглядывается на преступника, опускаетъ голову и, заложивши руки за спину, начинаетъ рассказывать по комнатѣ.

— Что скажешь, Егоръ Зарубаевъ?... спрашиваетъ онъ наконецъ.

— Ваше благородіе!... не въ своемъ умѣ былъ, — восклицаетъ унылый голосъ.

— Въ пьяномъ видѣ?...

— Совсѣмъ себя не помня! восклицаетъ тотъ же голосъ.

— Это точно, ваше благородіе, — коротко подтверждаетъ унтеръ-офицеръ.

Капитанъ опять начинаетъ рассказывать!..

Нужно свазать, что далеко не сильный, но добросовѣстный умъ капитана, съ участіемъ изучившаго натуру ваядаго изъ своихъ усатыхъ дѣтей, положительно отвергалъ благодѣтельное

вліяніе палокъ на нравственность человѣка и поэтому постоянно измѣнялъ средства обойтись безъ ихъ помощи.

— Поставить завтра Егора Зарубаева къ кабаку и повѣсить ему на шею штофъ съ водкой. На цѣлый день,—рѣшаетъ онъ, выпуская изо рта клубъ дыма.

— Слушаю-съ... ваше благородіе!.. раздаются разомъ два голоса.

— Не въ первый разъ.—Съ Богомъ,—говоритъ капитанъ, махнувши рукой.

Разомъ повертываются дѣти на лѣво-кругомъ и идутъ къ двери.

— Стой,—вдругъ говоритъ капитанъ.

Уходящіе разомъ поворачиваются лицомъ къ нему.

— Кажется можно, — немного нетвердымъ голосомъ говоритъ капитанъ, — поздравить васъ, ребята, съ матушкой, а меня съ законной супругой...

— Счастія желаемъ! кричатъ восхищенные дѣти и громче всѣхъ раздается голосъ полупьянаго Егора Зарубаева.

— Спасибо, — говоритъ растроганный капитанъ. — Когда совсѣмъ порѣшимъ, тогда и повеселимся, а теперь съ Богомъ, ребята, заканчиваетъ онъ и отправляется къ начатому письму. И опять стоитъ въ его комнатѣ тишина, нарушаемая только тяжелымъ дыханіемъ спящей собаки и скрипомъ пера по бумагѣ.

«Милостивая государыня! (пишетъ капитанъ). Отецъ мой, генералъ Харитоновъ, умирая, завѣщалъ мнѣ, чтобы я женился только въ такомъ случаѣ, если избранная моя будетъ любима мной, умна и не бѣдна... Такъ какъ вы, милостивая государыня, удовлетворяете всѣмъ этимъ условіямъ, то надѣюсь, что не откажете въ моей пламенной просьбѣ — быть мнѣ женой, а моимъ стрѣлкамъ матушкой.

Стрѣлковый капитанъ Харитоновъ.»

Капитанъ владетъ перо, откидывается на спинку дивана, скрепчиваетъ руки на груди, и лицо его озаряется веселой улыбкой человѣка, отлично покончившаго важное дѣло.

Письмо капитана, какъ и слѣдовало ожидать, во всей ярости вызвало въ памяти дѣвицы Березовой его грубую фигуру и не только не произвело въ ней сладостныхъ мечтаній

и сердцебиений, обыкновенно сопровождающих получение посланий такого содержания, но даже несколько раздосадовало ее. Такъ и представился онъ ей съ своей прилизанной головой, щетинистыми усами, маслянистыми глазами, и именно въ ту минуту, когда онъ, угловато сгибаясь передъ ней, нѣжно произносилъ «муха-съ!..» Письмо не только не было перечитано сотню разъ, но послѣ перваго же раза полетѣло подъ столъ.

Впрочемъ, какъ ни мало подходилъ капитанъ Харитоновъ къ идеалу и мечтамъ дѣвицы Березовой, однакожъ бѣдная дѣвушка сообразила, что ей все-таки придется обречь себя на сожительство съ стрѣлковымъ капитаномъ. Грустно ей сдѣлалось, и невольно вспомнила она теперь всю прожитую жизнь и дѣвическія думы, съ которыми приходилось теперь прощаться. А въ прошломъ-то ничего не было, кромѣ сказокъ, нарядовъ, танцевъ, вечеровъ и мечтаній о разныхъ герояхъ, во вкусѣ французскихъ романовъ; никого не было въ этомъ прошломъ, кромѣ няньки, пьянаго родителя «съ грубымъ нравомъ, тяжелой рукой», — и матери, бесплодно высохшей подъ лучами божьяго солнца, когда-то красивой, даже очаровательной; никого, кромѣ танцующаго, раздушеннаго, глуповатаго чиновничества и неразгаданнаго ни людьми, ни природой Микулина съ его безалаберными рѣчами о мірѣ великихъ людей, т. е. о сценѣ. Но чтобы тамъ ни было, а во всякомъ случаѣ въ ея прошломъ всегда существовалъ огромный запасъ мечтательныхъ надеждъ на будущее, и всѣ-то эти надежды рушились теперь, дѣвическія мечтанія оказались не осуществимыми, и приходилось удовольствоваться скромной ролью супруги стрѣлковаго капитана и матушки его стрѣлковъ. И какъ же послѣ этого не заплакать?

— Григорьевна! говоритъ она, вытирая глаза.

— Чего вамъ барышня?.. отвѣчаетъ изъ другой комнаты голосъ.

— Ты что дѣлаешь?..

— Чулокъ вяжу.

— Иди сюда...

Является желтая и плутоватая женская фигура съ залѣзающимъ въ душу холоднымъ взглядомъ и медовыми рѣчами. Вся жизнь этой лимонной фигуры въ бѣломъ чепцѣ состояла въ

чаепитіи, въ стараніи вышить скромнымъ и незамѣтнымъ образомъ рюмку водки или приобрести въ подарокъ старое платье. Всѣ радости этой насоздавшей личности заключались въ рюмку даровой водки, въ перебираниіи своего сундука, наполненнаго всякимъ хламомъ и въ пересчитываніи накопленныхъ денежконокъ.

— Случно вамъ, голубушка, барышня?

— Случно Григорьевна.

— Что-жь это такъ? И о чемъ это вы, барышня, сокрушаетесь? Полденьная да румяненная были, а теперь и щочки похудѣли, и глазки помутнились.

— Слышала ты, Григорьевна, что меня хотятъ... замужъ...

— Слышать-то я слышала, да и слушать объ этомъ не хочется, и вѣрить-то этому не вѣрила бы... Что ужъ за дѣвичество ваше было? Ни разу не привелось отвести сердечушка молодого, да и замужъ безъ любви выдаютъ... Что ужъ за радость въ этомъ?

И долго идетъ на эту тему длинная и жалобная рѣчь, полная скандальныхъ эпизодовъ и амурныхъ описаній, представляющихъ карикатуру человеческой любви, полная безтолковыхъ біографій и разныхъ характеристикъ семейной жизни, представляющихъ какъ разъ худшія явленія изъ того, что можно ожидать отъ смысла человеческой семейной жизни. Тишина стоитъ въ маленькой спальнѣ, волнуется пламя свѣчи, и подъ влияніемъ этой тишины, картины, создаваемой желтой Григорьевной, рѣзко западаютъ въ воображеніе молодой дѣвушки, облекаются яркими красками, и привлекаютъ ее въ себѣ своимъ обаяніемъ таинственности. Горячо работаетъ воображеніе молодой дѣвушки и ярко блещутъ ея большіе глаза...

— Григорьевна, — шепчетъ она, наклонясь къ самому уху желтой фигуры.

— Что барышня?...

— Я хочу, Григорьевна... я непременно хочу повидаться съ Микулинымъ, — говоритъ она нехного дрожа, и глаза ея искрятся отъ тайной рѣшимости.

Желтая фигура смотритъ на нее съискоса.

— Погодите, барышня, — шепчетъ она, заранѣе предувствуя рааные подарки... дайте рождеству придти, — рождествомъ улажу...

— До рождества долго. Я теперь хочу...

Желтая фигура трусливо качает головой.

— Пожалуста... Григорьевна,—умоляет молодая дѣвушка.

— Бѣтъ, бѣтъ, барышня... нельзя,—шепчетъ, шевеля губами старуха и трусливо пятится къ двери, подальше отъ искушенія.

V.

СВЯТОЧНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Сіяетъ надъ «мирнымъ городомъ» звѣздное зимнее небо; блестятъ въ его домахъ веселые огни, визжитъ снѣгъ подъ полозьями разѣзжающихъ троекъ и гулъ пьяныхъ пѣсенъ стоитъ надъ городомъ. Празднуется рождество. Въ однихъ окнахъ видѣются блестящія огнями и позолотой елки, разряженные, румяныя, веселыя дѣти; въ другихъ можно увидѣть, какъ прыгаютъ веселыя, но неловкія пары танцующихъ; размахивая платками и весело ворочая глазами; передъ третьими окнами установились пьяныя группы плачущихъ и лобызającychся людей—и, какъ видитъ читатель, весь городъ, а также конечно и герой моей повѣсти, теперь въ такомъ настроеніи; что я могу писать о нихъ только святочные рассказы. Посмотримъ же, какъ они проводятъ святки.

Перенесемтесь пока, читатель, въ уютную квартиру госпожи Лосевой. Вотъ она, готовясь одѣваться въ клубъ, сидитъ передъ зеркаломъ, грустно смотритъ на свои исхудалыя, тонкія плечи, на впавшую бѣлую грудь, на морщины, лежащія по всему лицу, и невольно уносится съ своей мыслью изъ этой спальни,—но не въ освѣщенный, потрясаемый музыкой залы клуба, не въ толпотню и говоръ клубной публики... Видится ей человѣкъ, болѣе дорогой и желанный, чѣмъ всѣ эти знакомые танцующіе человѣки, и уносится она мысленно за нимъ и въ тихую комнату матери Гребцова, и въ его собственную мастерскую. То видится опъ ей проповѣдующимъ въ обычномъ кружкѣ Гребцова и Силы Игнатъча, то сидящимъ за своими выкладками или книгами, то гуляющимъ въ слободѣ—и кровью обливается ей сердце при этой ревнивой мысли. Болѣзненно грустно взглядываетъ она въ зеркало на свои исхудалыя плечи, на составшееся лицо и горько сѣтуетъ на безрадостно, бесплодно и

пусто прожитую жизнь свою, горько сътуетъ на то, что ей въ ея молодости, во время ея силы, здоровья и свѣжести не пришлось встрѣтить такихъ людей, какихъ она теперь увидѣла, не пришлось увидать той свѣтлой жизни, которая теперь раскрывалась передъ ней....

А вотъ и нашъ почтенный капитанъ Харитоновъ. У этого тоже горять передъ зеркаломъ двѣ свѣчи, бросая яркіе лучи на щетку, гребенку, помаду, стклянку съ духами и на самого капитана, расхаживающаго по комнатѣ въ новомъ мундирѣ, съ трубкой въ зубахъ и обдумывающаго свои отношенія въ клубѣ къ дѣвицѣ Березовой. Лоснится голова его, лоснятся усы, лоснится самое лицо, старательно вымытое и неопредѣленная улыбка бродитъ по его губамъ.

А вотъ неразгаданный ни людьми, ни природой Микулинъ. Съ одной стѣны смотритъ на него старый, потемнѣвшій портретъ вдохновеннаго, съ крещенными на груди руками, господина, котораго Микулинъ называетъ своимъ учителемъ; съ другой—глядятъ висящій на гвоздѣ пистолеть и подлѣ него висячая полка съ запыленными книжками разныхъ журналовъ, полкижкой «Ревизора», книжкой Шекспира и рукописными тетрадками театральныхъ пьесъ. Скрываясь за столомъ, исписаннымъ цифрами, относящимися до карточныхъ комбинацій, лежитъ на диванѣ и самъ хозяинъ, покуривая сигару и мечтаетъ. Не высокаго полета эти мечты и бродятъ онѣ въ кругѣ спокойной и мирной дѣйствительности, останавливаясь на такихъ только прелестяхъ, которыя могутъ быть достигнуты всякимъ и притомъ безъ особенныхъ усилій.

Требованія этого изящнаго господина не велики, мечты его не подавать никого громадностью, не изумять никого силою, точно также какъ и не увлекутъ ни одного человѣка, не исключая и его самого, ни на доброе, ни на великое дѣло. Мечтаетъ онъ объ удовольствіи выиграть въ карты или приобрести какимъ нибудь неожиданнымъ образомъ баснословное количество денегъ; мечтаетъ онъ объ устройствѣ съ помощью этого богатства веселой, приличной независимому джентльмену жизни. Мечтаетъ онъ о женщинѣ... Но и здѣсь у него идетъ дѣло не о человѣкѣ, не о другѣ, на котораго можно положиться, какъ на самого себя, не о любимомъ и любящемъ существѣ, которое можетъ своею любовью удесятить его силы,

можетъ своею любовью спасти его въ самомъ безотраднѣмъ паденіи, — а о женскихъ формахъ, красивомъ лицѣ и о томительныхъ сценахъ. Въ роли этой мечтаемой женщины приходитъ ему на мысль дѣвица Березова, приходитъ, блистая своею красотою, силою и свѣжестью. Молодъ Микулинъ, не засорились еще его жилы, не разрушается еще его организмъ, натура требуетъ своего, — но все-таки плохъ тотъ человѣкъ, у котораго любовь не идетъ дальше красивыхъ формъ и эротическихъ сценъ.

Но вотъ передъ воротами остановились сани. — Микулинъ быстро всталъ, накинулъ сюртукъ, прислушался и нетерпѣливо тряхнулъ головой...

Вошли двѣ замаскированные — цыганки.

— Милости просимъ, — весело привѣтствовала ихъ Микулинъ, зажигая другую свѣчу и придвигая гостямъ стулья.

Гости сѣли и наступило молчаніе.

— Барину хорошему нужно погадать на его бѣлой ручкѣ, — заговорила наконецъ одна гостя сладкимъ и вкрадчивымъ голосомъ.

Микулинъ улыбнулся. Гостя встала.

— Положи ты мнѣ на ручку, положи мнѣ денегъ вучку — всю правду скажу, — продолжала она, захлебываясь.

— Любить хорошій баринъ барышню красавицу, — говорила она, рассматривая его бѣлую руку.

— Будто? — засмѣялся Микулинъ...

— Любить, любить. Часто о ней думаетъ, во снѣ видитъ.

— А она?..

— А она-то тоскуетъ — бѣдная барышня! Хотятъ ее замужъ выдать, баринъ-голубчикъ, замужъ за немилаго, за противнаго... Ночей она не спитъ, о тебѣ думая, да поджидая тебя на выручку.

Другая цыганка быстро закрыла лицо руками, а Микулинъ взглянулъ на нее, прислушался, услышалъ прерывистыя всхлипыванія и бросился къ молодой, плачущей гостѣ.

— Ольга Ивановна! тихо вскрикнулъ онъ, стоя на козлѣняхъ и откидывая покрывало съ ея блѣднаго, подергивающагося судорожными конвульсіями лица.

Дѣвушка молча плакала.

Григорьевна тихо выскользнула изъ комнаты, и Микулинъ

припалъ лицомъ къ колѣннмъ вздрагивающей дѣвушки... Она еще сильнѣе зарыдала при его прикосновеніи...

— Услышать, — кевольно вырвалось у Микулина.

— Такъ что жь?.. пускай слышатъ.

Думается мнѣ, что съ перваго же раза и съ первыми же словъ. сказалась въ этой сценѣ несостоятельность надеждъ молодой дѣвушки на семейное счастье.. «Пускай слышатъ, пускай знаютъ, что мы любимъ другъ друга, пускай говорятъ по этому поводу, что хотять, какое намъ до этого дѣло?» думалось бѣдной дѣвицѣ Березовой, а Микулинъ въ это же время собиралъ, что несравненно лучше было бы, если бъ всѣ эти свиданія, сладкія слезы, лобзанія, томленія происходили совершенно незамѣтнымъ ни для него образомъ и поэтому самому не обязывали бы его ни къ борьбѣ съ тупоуміемъ общества, ни къ помертвованіямъ, ни къ какой вообще пережвѣнѣ обычнаго образа жизни.

— Такъ ты любишь меня, Оля?... спрашивалъ онъ.

— Голубчикъ мой... Развѣ я пришла бы сюда, еслибъ не любила тебя?—говорила бѣдная дѣвушка, вѣрно сжимая его руки. Развѣ я пришла бы къ тебѣ? Вѣдь я невѣста, вѣдь я ужъ помолвлена...

Наступило молчаніе...

— Сними, Оля, шубу, — заговорилъ наконецъ Микулинъ. Садись на диванъ, я сейчасъ принесу чаю.

— Принеси, голубчикъ,.. я озябла...

Влажными еще отъ слезъ глазами, молодая дѣвушка съ любопытствомъ осмотрѣла комнату своего возлюбленнаго.

— Хорошо здѣсь у тебя, — сказала она съ тихой улыбкой...

— Бѣдно, — коротко отвѣтилъ Микулинъ...

— Но мнѣ хорошо...

И дѣйствительно хорошо чувствовала себя. Оля въ эту минуту.. Она чувствовала, что въ ней кипѣла какая-то особенная сила и рѣшимость, чувствовала, что въ эти минуты она готова на все, лишь бы не возвращаться опять въ ту скучную среду, гдѣ приходилось ей жить. Была ли это прочная и сильная привязанность къ молодому человѣку, котораго она полюбила сознательно и отъ котораго въ самомъ дѣлѣ искала поддержки и опоры, — вспыхнула ли эта свѣжая сила на одну только минуту, чтобы затѣмъ также неожиданно пога-

снуть,—я не берусь рѣшать этого, но во всякомъ случаѣ смѣю замѣтить читателю, что не погибла еще та натура, въ которой бывають проявленія подобной свѣтлой энергіи, что нельзя не имѣть надежды на развитіе ея при помощи любимаго человѣка, болѣе сильнаго, чѣмъ Микулинъ или безпомощный капитанъ Харитоновъ.—

— Ахъ, препотѣшная фигура этотъ капитанъ,—разсказывалъ Микулинъ дѣвухѣ, прилегшей съ разгорѣвшимися глазами и раздурманившимся лицомъ на его плечо... Что это за бѣдная голова, я не понимаю... Играетъ, напримѣръ, съ нами въ карты... Проигрываетъ онъ, положимъ, пять рублей, отдаетъ бумажку, а мелочи не находитъ. Полторы копѣйки, надѣюсь, вы мнѣ повѣрите? спрашиваетъ онъ, совсѣмъ растерявшись. — О! разумѣется, разумѣется, — говорятъ ему... Нашъ капитанъ вскакиваетъ и съ чувствомъ жметъ руку.—Благодарю васъ, говоритъ, благодарю... Вы, милостивый государь, господинъ Микулинъ, благородный человѣкъ, истинно благородный человѣкъ.

— Онъ честный, говорятъ, — замѣтила бѣдная дѣвушка грустно...

— Глушь, Оля...

— Что же мнѣ дѣлать, голубчикъ мой?—невъразимо грустно спросила дѣвушка... Научи меня... Вѣдь не сегодня—завтра меня поведутъ въ церковь...

Микулинъ закрылъ лице руками и опустилъ голову, что вышло очень интересно...

— Ты скажи мнѣ одно только слово,—продолжала молодая дѣвушка, нѣжно глядя его волосы,—и я не буду ничьей женой, я твоей хочу быть; больше ничьей не буду,—повторила она съ твердой рѣшимостью. Микулинъ откинулся на спинку дивана, взглянулъ на дѣвуху и закусилъ губу...

— Я женатый—сказалъ онъ уныло...

Ольга Ивановна вздрогнула и широко раскрыла на него свои блестящіе глаза...

— Гдѣ жъ она?—спросила она съ сильно бьющимся сердцемъ... Микулинъ махнулъ рукой...

— Мы съ ней, по всей вѣроятности, пивогда не увидимся,—сказалъ онъ горько,—да отъ этого мнѣ не легче...

— Ты ее бросил?...

Микулинъ посмотрѣлъ на нее и улыбнулся...

— Ну да, я ее бросилъ,—сказалъ онъ рѣзко.— Бросилъ, потому, что я не люблю притворщицъ, ненавижу хитрецовъ, деспотовъ,—говорилъ онъ съ блестящими глазами и съ сильнымъ волненіемъ. Это волненіе будетъ понятно читателю, если я поясню ему, что жена его была женщина честная, твердая, а потому она въ одинъ прекрасный вечеръ, нисколько не задумавшись сказать своему супругу: «я васъ, любезный мой другъ, ни сколько не люблю и не уважаю, а люблю другаго, почему жить съ вами не считаю ни полезнымъ, ни честнымъ»... Мудрено ли, что послѣ такого пассажа мой Микулинъ не могъ говорить объ этой женщинѣ равнодушно!..

Но какъ бы тамъ ни было, а эта ненависть моего героя во всякимъ притворщицамъ, обманщицамъ и хитрецамъ, во главѣ которыхъ становилась его жена, успокоила нѣсколько молодую дѣвушку, по крайней мѣрѣ, хоть въ этомъ отношеніи. Но зато ея завѣтная мечта о семейномъ счастьи съ Микулиннымъ оборвалась сразу.

— Что же намъ дѣлать?—спрашивала бѣдная дѣвушка въ какомъ-то тяжеломъ раздумьи.

Микулинъ трагически махнулъ рукой.

— Нечего намъ дѣлать,—сказалъ онъ глухо. Ничего я не могу сдѣлать, чтобы спасти тебя отъ этого деревяннаго капитана.—И какъ мнѣ тяжело это... Такъ тяжело, что я готовъ разрядить этотъ пистолетъ въ мой лобъ, закончилъ мой герой, порывисто оттолкнувъ отъ себя лежавшую на столѣ колоду картъ. Карты посыпались на полъ и въ это же время молодая дѣвушка страстно обняла разогорченнаго героя, осыпавъ поцѣлуями его нахмуренное, интересно блѣдное чело.

— Хорошо понимая, что больше нечего теперь пересказывать читателю, я кладу перо и думаю, какія вышли бы послѣдствія, если бы Микулинъ, въ самомъ дѣлѣ, пустилъ пулю въ свой бѣдный лобъ. Я нахожу, что тогда все кончилось бы очень благополучно, что интересный лобъ разлетѣлся бы на вусочки; дѣвица Березова вышла бы замужъ за капитана Харитонова, стала бы рожать дѣтей, солить огурцы и настало бы для нея безмятежное, мертвое счастье...

VI.

Послѣдствія предыдущаго.

Черезъ нѣсколько дней послѣ этой любовной сцены, полной слезъ, томлений, трагическихъ выходовъ и поцѣлуевъ, произошла вечерняя сцена совершенно другого рода, въ которой главнымъ героемъ нужно считать все таки Микулина.

Только-что прїѣхавшій изъ деревни Гребцовъ, Сила Игнатьичъ и лекарь Корчагинъ сидѣли вмѣстѣ за чайнымъ столомъ. Гребцовъ читалъ пришедшія во время его отсутствія письма, Игнатьичъ и лекарь препирались по поводу какой-то математической задачи. Лекарь хохоталъ, а сила Игнатьичъ сурово отбивался, защищая свое выдуманное имъ самимъ рѣшеніе...

— Дѣло идетъ къ тому, вѣдется, что я попробую сдѣлаться супругомъ, неожиданно прервалъ ихъ споръ Гребцовъ, задумчиво отложившій въ сторону письмо...

Спорящіе широко раскрыли на него глаза...

— Да-съ,—подтвердилъ Гребцовъ, вставая... Супругомъ по-пробую сдѣлаться, повторилъ онъ, начиная ходить по комнатѣ...

— Хорошая женщина?.. спросилъ лекарь...

— Хорошая...

— Кто такая?

— Дочь Саввы...

— Деревенскаго учителя?..

— Да..

Лекарь облокотился на столъ, полузакрывъ пальцами глаза и на минуту задумался. Невольно представился ему въ яркихъ и своеобразныхъ краскахъ образъ этой дѣвушки, годъ назадъ просившей позволенія идти вмѣстѣ съ братьями въ казачьемъ полку на границы, единственно съ тою цѣлью, чтобы посмотреть на жизнь въ другихъ краяхъ,—дѣвушки, помогавшей отцу пахать землю, крѣпче всѣхъ въ округѣ скакавшей на лошади и самоучкой выучившейся читать и писать. Не-

вольно представился ему яркій образъ этой дѣвушки, сильной, умной и закаленной въ трудѣ, и свѣтлое явленіе представилось чудачу-лекарю въ будущемъ, когда эта женщина станетъ рядомъ съ учителемъ... Всталъ нашъ чудачъ съ какимъ-то страннымъ огнемъ въ глазахъ, вѣрно сжалъ въ своихъ рукахъ плечи Гребцова; но не сказалъ ни слова... Въ эту минуту вошелъ Микулинъ, торопливо пожалъ всѣмъ руки и бросилъ на окно фуражку...

— Я подлець, подлець, вскричалъ онъ быстро. — Ругайте меня—я подлець.

Лекаръ посмотрѣлъ на него и почесалъ затылокъ...

— Что такъ? спросилъ Гребцовъ совершенно серьезно.

— Подлець,—говорилъ Микулинъ, быстро бѣгая по комнатамъ и трепля свои волосы. Ругайте меня, ради Юга! Хорошенько ругайте...

— Не хотите ли чаю?—спросилъ лекарь...

— Пожалуй, налейте... Только, ради Христа, жидкаго, потому что я и безъ того чувствую себя странно раздраженнымъ, голова на себѣ не чувствую...

— Извольте-съ,—сказалъ лекарь... И что же вы намъ скажете?..

— Слышали вы что нибудь о моихъ отношеніяхъ къ Ольгѣ Ивановнѣ Березовой?..

— Приходилось. Мои больные частенько ими развлекаются,—отвѣтилъ лекарь...

— Такъ вотъ же... Что же вы скажете?..

— Да что же сказать?—Это, полагаю, сплетни, — сказалъ лекарь, переходя въ дѣйствительно серьезное состояніе и даже немного хмурия брови. Гребцовъ, ходившій до сихъ поръ по комнатамъ, также остановился передъ Микулинымъ и, ожидая отвѣта; смотрѣлъ ему прямо въ лицо.

— Нѣтъ, отвѣтилъ Микулинъ немного дрожащимъ голосомъ. Это... это не сплетни...

— Вонъ какъ! насмѣшливо сказалъ лекарь, отодвигаясь отъ стола.

Гребцовъ презрительно переглянулся съ лекаремъ, пожалъ плечами, повернулся и опять сталъ ходить по комнатамъ.

— Что же мнѣ дѣлать? Что мнѣ дѣлать? вскричалъ Микулинъ.

— Жениться, коротко отозвался Гребцовъ...

— Не могу, сказалъ тотъ уцудо.

— Что такъ? грубо заговорилъ лекарь. Вы ужь, не презирая ли эту дѣвушку амурились съ ней?

— Я ее люблю, трагически восселикнулъ Микулинъ.

— Ну-съ... И не можете?

— Не могу... Я женатъ...

Лекарь недовѣрчиво посмотрѣлъ на него и закусилъ губу.

— Вы разошлись съ женой? заговорилъ съ другой стороны Гребцовъ.

— Разошелся...

— Ктожъ вамъ мѣшаетъ уѣхать съ этой женщиной въ другой городъ, гдѣ ее не знаютъ и указывать на нее пальцами не будутъ?

— Вы знаете, что я не могу отсюда выѣхать, возразилъ Микулинъ.

— Слышалъ, да не вѣрилъ, грубо замѣтилъ лекарь. Полагалъ, что вы сами распустили этотъ слухъ ради пущаго интереса.

— Вы можете справиться, едва выговорилъ уничтожаемый этой атакой Микулинъ.

— Это чортъ знаетъ что такое! вскричалъ лекарь, столкнувшись по срединѣ комнаты съ Гребцовымъ.

— Учитель пожалъ плечами и, скрестивъ на груди руки, задумчиво смотрѣлъ на Корчагина.

— Да послушайте, послушайте, господинъ Микулинъ, заговорилъ опять лекарь. Вы не можете избавить ее отъ позора, отъ этого указыванія пальцами, такъ избавьте, по крайней мѣрѣ, отъ ругани отца, отъ попрековъ, отъ семейной каторги.

— Если она васъ любитъ, то можетъ быть счастлива и безъ отца, и безъ матери, и безъ всякаго общества, докончилъ Гребцовъ.

— Но вы знаете мои средства... Намъ придется голодать, говорилъ Микулинъ.

— Ну...

— Вѣдь это, Богъ знаетъ, что будетъ за жизнь такая...

Лекарь плюнулъ.

— Охъ, заговорилъ онъ мягко. Вы вотъ такъ изволите разсуждать. Вы изволите разсуждать, что любовныя радости должны дѣлиться пополамъ, а до житейскихъ обстоятельствъ

другъ друга вамъ нѣтъ никакого дѣла. Справляйся, значить, самъ. А по нашему выходить, что въ любви всѣ мои силы, средства, способности, и каждый кусокъ хлѣба принадлежить любимой женщинѣ, что всѣ ея силы, способности, принадлежать и мнѣ. Мы съ вами, значить, сильно расходимся. И чего вамъ отъ насъ угодно?

— Напрасно я продалъ вамъ, Степанъ Андреичъ, пистолеть, — сказалъ Микулинъ, впуская пальцы въ свои волосы. Кончилъ бы и этотъ вопросъ.

— Это и гвоздемъ можно сдѣлать, сухо отвѣтилъ Гребцовъ.

Наступило молчаніе. Микулинъ прилегъ лицомъ на столъ.

— Я пойду въ кабакъ, вдругъ сказалъ Микулинъ, вставая. Лекаръ махнулъ рукой.

Н. Ф. Бажинъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ЦИВИЛИЗАЦІЯ КИТАЯ.

(СТАТЬЯ ВТОРАЯ).

I.

Китай знаменитъ своими превосходными нравственными афоризмами и своей нелѣпѣйшей практикой, противорѣчащей выработанной имъ теоретической мудрости. Китай единственная страна въ мірѣ, въ которой можно найти такое разнорѣчіе между словомъ и дѣломъ, между государственной теоріей и народной жизнью, между нравственными принципами, которые старались положить въ основу всей общественной жизни, и между экономизмомъ, двигавшимъ всю народную жизнь, наперекоръ мудрымъ ученіямъ и нравственнымъ стремленіямъ Конфуція и добродѣтельныхъ императоровъ. Китайская практика постоянно смѣялась надъ китайской теоріей и эта горькая насмѣшка можетъ послужить для цивилизующихся народовъ поучительнымъ историческимъ урокомъ. Вся исторія Китая есть практическое противорѣчіе теоретическому ученію Лао-ци, который сказалъ, что если правительство страны не заставляетъ народъ чувствовать свои дѣйствія тиранническими, гнетущими мѣрами, то народъ живетъ въ довольствѣ и изобиліи; если же, напротивъ, правительство устремляетъ постоянно на народъ тиранническое, инквизиторское око, то народъ впадаетъ въ бѣдность и нищету. Въ этомъ противорѣчьи заключается вся разгадка того, почему превосходныя правила создали какъ разъ противное тому, къ чему они должны были бы привести въ дѣйствительности. Многоуправленіе погубило Китай, и родительская заботливость философовъ, ученыхъ и добродѣтельныхъ императоровъ создала какъ разъ то, чего менѣе всего желали эти добродѣтельные люди.

Европейскіе ученые, писавшіе о Китаѣ, удивляясь его внутреннему государственному механизму, видятъ въ немъ единственную причину болѣе четырехтысячелѣтняго существованія Китайской имперіи. Они ссылаются на разныя восточныя государства, отъ которыхъ не осталось и слѣда, хотя государства эти поражали силою и блескомъ, въ свое время производили много шума и оставили на страницахъ исторіи воспоминаніе о своихъ удивительныхъ военныхъ подвигахъ и кровавыхъ завоеваніяхъ. Исторія Китая не представляетъ почти ничего подобнаго. Время его побѣдъ вовсе не блистательно, завоеванія его напоминаютъ больше всего нашъ удѣльный періодъ и собираніе земли московскими князьями. Во всей воинственности Китая нѣтъ ни шума, ни грома; нѣтъ ничего напоминающаго Чингисъ-Хана, Аттилу или Наполеона I. Съ первыхъ страницъ достовѣрной китайской исторіи бросается въ глаза его ученая мудрость, стремленіе къ выработкѣ нравственной философіи и устройству внутренняго порядка и общественной жизни на ея началахъ. Съ самаго начала является уже та мягкость и гуманность, по крайней мѣрѣ, въ теоріи, которой не отличался никогда ни одинъ восточный народъ и которую христіанская Европа узнала только съ конца прошлаго столѣтія. Стремленіе къ внутренней организаціи на гуманныхъ началахъ, къ устройству порядка, къ созданію государственнаго механизма удалось китайцамъ дѣйствительно; но изъ того, что Китай существуетъ, какъ сформировавшееся цѣлое, болѣе 4500 лѣтъ, вовсе не слѣдуетъ, что механизмъ его хорошъ, что людямъ въ Китаѣ жить лучше, чѣмъ въ тѣхъ восточныхъ государствахъ, отъ которыхъ сохранились только названія, и что только механизмъ внутренняго управленія сохранилъ Китай до сихъ поръ. И древній Римъ сохранился бы до сихъ поръ, если бы не пришли варвары и не разрушили его. Сохранились бы и древнія восточныя государства, если бы у нихъ не было воинственныхъ сосѣдей. Китай сложился потому, что ему никто не мѣшалъ; подѣ него не было сосѣдей, которые могли бы его поглотить. Татары и монголы, когда они покорили Китай, были ниже его по цивилизаціи; у нихъ, полуварваровъ, не было ничего лучшаго, чтобы они могли предложить китайцамъ, тогда какъ у китайцевъ было лучшее, что они могли предложить варварамъ. Значитъ, завоеватели варвары усвоивали себѣ чужую цивилизацію и принимали готовыя формы обществитія и государственнаго механизма. Такимъ образомъ, китайскій порядокъ становился скорлупой, обнимавшей безразлично все, что въ него входило, и китайская народность, бравшая пере-

вѣсь надъ массою, обращала въ Китай всякую другую болѣе варварскую народность.

Такимъ образомъ 4500-лѣтнее существованіе Китая доказываетъ не то, чего хочется синологамъ, а только то, что при той изолированности, въ которой жилъ Китай, извѣстныя формы общежитія могутъ существовать безъ измѣненія огромный періодъ времени и что человѣку нужно перенести очень, очень многое, прежде чѣмъ онъ придумаетъ что нибудь новое и измѣнить худшее на лучшее. Впрочемъ, если бы синологи, дѣлающіе свое заключеніе на основаніи Китая теоретическаго, взглянули поглубже на его законы, постановленія, учрежденія и философію, то они бы увидѣли, что изъ всего этого могло выйти только то, что существуетъ въ Китаѣ, но ничего лучшаго, и что хотя колеса въ машинѣ и ходятъ, но машина все-таки дурна и строилъ ее плохой механикъ.

II.

Прототипомъ китайскихъ политическихъ учрежденій служитъ семья. Права и обязанности отца семейства перенесены на главу государства, который, по отношенію къ своимъ подданнымъ, отличается отъ отца семейства только размѣромъ, но не качествомъ власти. Но вмѣстѣ съ этой властью на немъ лежитъ и нравственная за нее отвѣтственность,—отвѣтственность до того большая, что не только народная бѣдность, но даже бѣдствія отъ соотвѣтственныхъ причинъ ставятся, по ученію китайскихъ философовъ, въ вину главѣ государства. Конфуцій формулировалъ такъ нравственныя качества, дающія право на управленіе народомъ: «Древніе государи, сказали онъ, желавшіе развить и сдѣлать очевидными въ ихъ государствѣ свѣтозарные принципы разума, спусходящіе къ намъ съ неба, старались прежде всего управлять хорошо своимъ государствомъ. Кто хочетъ управлять хорошо своимъ государствомъ, долженъ прежде всего постараться водворить порядокъ въ своемъ семействѣ. Кто хочетъ водворить порядокъ въ своемъ семействѣ, пусть прежде постарается исправить самого себя. Кто хочетъ исправить самого себя, пусть постарается дать правоту своей душѣ. Кто хочетъ дать своей душѣ правоту, пусть постарается сначала сдѣлать свои намѣренія чистыми и искренними. Кто хочетъ сдѣлать свои намѣренія чистыми и искренними, пусть сначала улучшить возможно больше свои моральныя знанія. А улучшеніе по

возможности своихъ моральныхъ знаній заключается въ глубокомъ изученіи рациональныхъ началъ всѣхъ нашихъ дѣйствій.» По этому ученію, служащему основнымъ знаніемъ каждаго правителя поднебесной имперіи, только тотъ можетъ управлять своей семьей, кто добродѣтеленъ въ частной жизни и кто владѣеть своими страстями; тѣ же самыя качества долженъ имѣть правитель народа. Наибольшая похвала, которую можно сдѣлать китайскому императору и которую дѣлаютъ китайскіе писатели, заключается въ томъ, чтобы назвать императора отцомъ и матерью народа. Наконецъ Мень-ци, ученіе котораго преподается въ школахъ, говоритъ, что «всякій разъ, когда царствующій императоръ теряетъ привязанность наибольшей части народа, дѣйствуя обратно тому, на что большинство смотритъ какъ на благо, государь этотъ отринутъ небомъ и можетъ быть лишенъ трона тѣмъ, кто святымъ, великодушнымъ исполненіемъ своихъ обязанностей привлекъ къ себѣ сердце націи.»

Подобныя мысли, а тѣмъ болѣе преподаваемые въ школахъ, могли бы быть весьма опасны, если бы не являлось противъ нихъ сильнѣйшимъ реактивомъ ученіе о сыновней любви и сыновнемъ повиновеніи, и объ авторитетѣ отцовской власти, который съ самой строгой послѣдовательностію проведенъ во всѣхъ учрежденіяхъ имперіи.

Верховная власть въ Китаѣ заключается въ лицѣ императора, именемъ котораго дѣйствуетъ власть исполнительная. Всѣ постановленія, составленныя совѣтомъ министерства и обнародованныя отъ имени императора, имѣютъ силу закона. Постановленія эти публикуются въ придворномъ монитерѣ, выходящемъ ежегодно въ Пекинѣ, и рассылаются немедленно ко всѣмъ главнымъ мандаринамъ имперіи, которые даютъ знать объ ихъ содержаніи народу посредствомъ афишъ. Съ этого момента постановленіе получаетъ обязательную силу.

Законодательная власть заключается тоже въ лицѣ императора, но не безусловно. Законы составляются специальными совѣтами, облеченными исполнительной властію, и подъ отвѣтственностію. Эти совѣты раздѣляютъ съ императоромъ инициативу закона, обсуживаютъ его и составляютъ проекты, но только императоръ имѣетъ право дать имъ обязательную силу. Не смотря на то, что законы составляются такимъ коллегіальнымъ порядкомъ, они обнародуются отъ имени императора, какъ выражающіе исключительно его волю.

Еще больше ограниченъ императоръ въ отношеніи государствен-

наго культа, хотя онъ и въ этомъ облеченъ тоже верховной властію. Императоръ обязанъ держаться вѣроченія Конфуція и соблюдать традицію и религіозныя установленія древности, за сохраненіемъ которыхъ наблюдаетъ совѣтъ религіозныхъ церемоній. Теперешняя династія, имѣющая татарское происхожденіе, можетъ исповѣдывать свою буддистскую религію только частнымъ образомъ.

Китайскій императоръ хотя по формѣ и облеченъ абсолютной властью, но въ дѣйствительности она не похожа на абсолютизмъ восточныхъ, азіатскихъ деспотовъ, и внутреннее управленіе организовано такъ, что личный произволъ можетъ проявляться очень рѣдко безнаказанно. Одно изъ сдерживающихъ вліяній изображаетъ собой сословіе ученыхъ, хотя оно и не облечено никакой политической властію. Сила этого сословія въ томъ, что оно является хранителемъ авторитета древнихъ книгъ, авторитета, котораго власть не смѣла никогда отвергать открыто, и въ томъ, что оно опирается на интересы народа. Не смотря на огромное число политическихъ сочиненій, не было въ Китаѣ примѣра, чтобы ученые и литераторы явились хоть когда нибудь защитниками и хвалителями угнетенія и тиранніи. Въ Китаѣ не было ни одного писателя, который бы имѣлъ смѣлость доказывать, что выгоды многихъ должны быть принесены въ жертву выгодамъ немногихъ, потому что, по основной мысли китайской философіи, власть дается небомъ или высшимъ разумомъ, слѣдовательно можетъ дѣйствовать только въ интересѣ всѣхъ и для блага всѣхъ, но никогда въ интересахъ одного лица или для блага немногаго числа лицъ. Если бы власть вздумала дѣйствовать иначе, то ей грозитъ весьма серьезная опасность, ибо, по словамъ комментатора Чу-хи, изучаемаго во всѣхъ китайскихъ школахъ и коллегіяхъ, въ этомъ случаѣ народъ освобождается отъ повиновенія и уваженія власти, которая можетъ быть свергнута немедленно, чтобы дать мѣсто другой законной власти, дѣйствующей исключительно въ интересахъ всѣхъ. Подобныя ученія, конечно, не оставались безъ вліянія, и въ этомъ причина постоянныхъ внутреннихъ безпокойствъ въ Китаѣ, народныхъ волненій и безпримѣрно частой перемѣны династій. Въ теченіе 4000 лѣтъ въ Китаѣ перемѣнилось 22 династій.

Послѣ императора, — перваго лица въ государствѣ, священной особы, — слѣдуютъ привилегированные классы. Первый классъ составляютъ члены императорской фамилии, чрезвычайно многочисленной, находящейся въ исключительной зависимости отъ особаго совѣта, называемаго министерствомъ императорскаго дома.

Кромѣ этихъ привилегированныхъ лицъ есть еще семь не на-

слѣдственныхъ привилегированныхъ классовъ, которыхъ законъ ставитъ внѣ общаго уровня гражданъ. Сюда принадлежатъ: привилегія продолжительной службы въ высокой общественной должности. Классъ этотъ образуется изъ старыхъ вѣрныхъ слугъ короны или императорской фамиліи, получившихъ за свои заслуги почетныя отличія. — Люди, отличившіеся великими дѣлами, почетными или полезными для страны, напримѣръ: кто совершилъ блистательное дѣло, отрубивъ голову непріятельскому генералу или отнявъ отъ него его знамя, или преслѣдуя его на значительное разстояніе; кто водворилъ въ странѣ спокойствіе, заставивъ народъ подчиниться существующему порядку. Всѣ такіе блистательные подвиги гравированы на мраморной доскѣ, чтобы сохранить память о нихъ для будущихъ поколѣній. — Люди, отличившіеся необыкновенной мудростію, оказавшею обществу пользу. Сюда принадлежатъ тѣ, кто владѣетъ большими добродѣтелями, оказавшими практическую пользу, или кто своимъ совѣтами или дѣйствіями внушалъ правительству лучшее направленіе. — Люди, выказавшіе большія способности въ военномъ или гражданскомъ управленіи, напримѣръ, главнокомандующіе арміями или государственные люди, сдѣлавшіеся министрами. — Люди, обнаружившіе необычайную, неутомимую дѣятельность въ исполненіи своихъ общественныхъ обязанностей. — Люди, имѣющіе высшіе чины; наконецъ дѣти отца, отличившагося высокой мудростію или оказавшаго отечеству важную услугу. Эти семь классовъ, въ соединеніи съ первымъ, образуютъ то, что китайцы называютъ па-и, т. е. восемь привилегій.

Привилегіи этихъ лицъ заключаются преимущественно въ томъ, что они за свои проступки или преступленія подвергаются наказаніямъ на иныхъ условіяхъ: они подлежатъ юрисдикціи обыкновенныхъ судовъ только по спеціальному повелѣнію императора!

Члены императорской фамиліи имѣютъ титулы, соотвѣтствующіе европейскимъ вице-королю, принцу, князю, графу, великому маршалу, маршалу, генералу. Титулы эти, раздаваемые императоромъ, не даютъ однако никакихъ привилегій, кромѣ тѣхъ, которыми пользуются лица, владѣющія ими по своимъ служебнымъ должностямъ. Сыновья императора получаютъ его титулъ только по достиженіи пятнадцати лѣтъ, т. е. тогда, когда они уже въ состояніи понимать и человѣческое достоинство, и свои обязанности.

Привилегія императорской крови существуетъ только до тѣхъ поръ, пока она оправдывается дѣйствительными заслугами, въ противномъ же случаѣ или въ случаѣ вины членъ императорской фамиліи можетъ не только лишиться своихъ титуловъ и привилегій,

но и снизить до положенія простолюдина, не имѣя въ этомъ случаѣ права носить даже знакъ мандаринскаго достоинства. Такой, разжалованный принцъ получаетъ на свое содержаніе три лянга въ мѣсяцъ (6 руб.) и рисъ въ количествѣ, достаточномъ только для существованія.

Послѣ министерства императорскаго дома, высшее учрежденіе, занимающееся дѣлами имперіи, есть совѣтъ министровъ, по китайски Ней-ю, или внутренний кабинетъ. Совѣтъ этотъ составляется изъ старыхъ, испытанныхъ служителей короны, принадлежащихъ большею частію къ одному изъ восьми татарскихъ знаменъ. Совѣтъ, состоящій изъ четырехъ великихъ канцлеровъ и ихъ помощниковъ разсуждаетъ о главныхъ общихъ вопросахъ по государственному управленію имперіею и по администраціи, обнародываетъ императорскія повелѣнія и наблюдаетъ, чтобы обязанности разныхъ властей соблюдались въ ихъ истинныхъ предѣлахъ и императоръ находилъ бы надлежащую помощь при управленіи дѣлами имперіи. Во всѣхъ случаяхъ, когда должна быть объявлена народу воля императора, совѣтъ опредѣляетъ, въ какой формѣ она должна быть объявлена и затѣмъ проектъ представляется императору. Совѣтъ наблюдаетъ за обрядами, которые должны быть соблюдаемы при публичныхъ жертвоприношеніяхъ. Всѣ официальные документы и министерскія представленія, прежде чѣмъ они будутъ доложены императору, разсматриваются кабинетомъ. Всѣ поступающія бумаги должны быть исполнены въ два дня: но если донесеніе касается важнаго или спѣшнаго дѣла, то оно должно быть отправлено и возвращено съ отвѣтомъ въ тотъ же день.

Частный совѣтъ, состоящій изъ высшихъ сановниковъ имперіи, наблюдаетъ, какъ сказано въ статутѣ, за правительственной машиной. Онъ наблюдаетъ за изготовленіемъ императорскихъ повелѣній и слѣдитъ за нуждами народа и арміи. Совѣтъ собирается всякій день въ оградѣ дворца, чтобы быть готовымъ для повелѣній императора. Онъ разсуждаетъ о важнѣйшихъ дѣлахъ управленія; во время войны разъясняетъ недоумѣнія и вопросы, возникающіе на мѣстѣ военныхъ операцій; распоряжается о снабженіи арміи оружіемъ, лошадьми, продовольствіемъ; представляетъ императору списки наиболѣе отличившихся военныхъ и гражданскихъ мандариновъ; раздаетъ ежегодно подарки политическимъ резидентамъ, присылаемымъ подвластными Китаю правительствами; наблюдаетъ за исполненіемъ императорскихъ повелѣній, и т. д.

За этими ближайшими къ императору управленіями слѣдуютъ министерства, числомъ шесть: министерство гражданскихъ дѣлъ, ми-

нистерство финансовъ, министерство духовныхъ церемоній, министерство военное, юстиціи и наконецъ министерство публичныхъ работъ.

Исполнительными органами какъ этого, такъ и всѣхъ остальныхъ министерствъ, служатъ мандарины или китайскіе чиновники. Мандарины дѣлятся на девять разрядовъ или чиновъ, и каждый разрядъ подраздѣляется на два класса, такъ что образуется собственно 18 разрядовъ.

Къ первому классу перваго разряда принадлежатъ высшіе сановники имперіи, именно: великій уставщикъ пѣнія, великій губернаторъ, великій канцлеръ, члены частнаго совѣта. Три первыя должности существуютъ въ чрезвычайныхъ, исключительныхъ обстоятельствахъ и когда лѣта императора, вступившаго на престолъ, требуютъ совѣта регентства. Ко второму классу перваго разряда принадлежатъ вице-канцлеры, президенты или государственные секретари (министры) шести министерствъ, императорскіе цензора. Затѣмъ по остальнымъ разрядамъ и классамъ распредѣляются всѣ остальные чины; и къ послѣднему разряду — младшіе переводчики управленія духовныхъ церемоній, архиваріусы національныхъ коллегій, тюремщики уголовного суда, астрономы императорской астрономіи, медицинскіе чиновники медицинской академіи, чиновники управленія жертвоприношеній, чиновники управленія публичныхъ работъ; хранители печатей губерній и уѣздовъ, инспекторы казначейства, сборщики городскихъ доходовъ, полицейскіе офицеры, смотрители общественныхъ хлѣбныхъ магазиновъ, начальники деревень. Чиновники, которые не входятъ въ составъ этихъ девяти разрядовъ, называются не вступившими еще въ классы официальныхъ отличій, и занимаютъ низшія служебныя должности.

Званіе мандарина или чиновника правительства въ Китаѣ, больше чѣмъ гдѣ нибудь, составляетъ предметъ честолюбивыхъ стремленій, потому что кромѣ денежнаго обезпеченія, дающагося почти безъ всякаго труда, является перспектива возможности удовлетворенія чувству тщеславія и гордости, неизбежному у людей легкомысленныхъ. Китайское правительство, зная эту слабость, пользуется ею какъ средствомъ для увеличенія своихъ доходовъ, продавая званіе мандарина за деньги. Мандаринство покупается обыкновенно богатыми негоціантами, оставившими свои дѣла, или другими частными лицами, не занимающими общественныхъ должностей. Правительство продаетъ имъ только право носить мандаринскій знакъ, т. е. шарикъ на шапкѣ; но этотъ шарикъ, покупаемый вообще очень дорого, не даетъ имъ ровно никакихъ служебныхъ

обязанностей и ни золотника чиновничьей власти. Въ теченіе 20 лѣтъ съ 1800 по 1821 годъ продажа мандаринскихъ шариковъ дала китайскому правительству 600,000 р. сер. Надобно однако замѣтить, что китайцы совсѣмъ не такъ глупы, чтобы уважать подобныхъ мандариновъ и, если надъ ними не смѣются прямо въ глаза, то тѣмъ не менѣе очень хорошо понимаютъ воронъ въ павлиньихъ перьяхъ.

Въ Китаѣ мандаринство и общественныя должности открыты для всѣхъ и нигдѣ въ Европѣ простой человѣкъ не можетъ такъ легко достигнуть высшихъ званій и отличій, какъ въ Китаѣ. Но чтобы исполнять общественную должность, необходимо, одно условіе :имѣть ученую степень, потому что по китайскимъ понятіямъ только довольно высокая степень умственного развитія и знаній можетъ давать право на общественную службу. Въ Китаѣ только ученныя степени доктора, бакалавра и кандидата — все это у китайцевъ называется, разумѣется, по своему и довольно курьезно; напримѣръ, бакалавръ, или по китайски кью-жинъ, значитъ человѣкъ рекомендуемый — даютъ человѣку право занимать государственныя должности, и какъ нигдѣ въ мірѣ нѣтъ такъ много ученыхъ людей, какъ въ Китаѣ, то понятно, что многіе изъ нихъ должны оставаться безъ мѣстъ. Такъ напримѣръ, въ 1821 году было въ Китаѣ 5,000 тзинчъ—се или докторовъ и 27,000 кью-жинъ или бакалавровъ безъ должностей.

Кромѣ гражданскихъ мандариновъ существуютъ въ Китаѣ еще мандарины военные, которыхъ тоже 9 степеней или 18 классовъ. Утвержденіе въ званіи мандарина дѣлается самимъ императоромъ только въ извѣстные сроки и при соблюденіи извѣстныхъ формальностей, на которыя китайцы особенно изобрѣтательны, въ чемъ они конечно и правы. Китайскимъ мудрецамъ хотѣлось водворить у себя высокую нравственность и райское счастье и для этого они дали китайцамъ въ назиданіе и для руководства превосходныя правила; но какъ, не смотря на превосходство этой теоретической мудрости, практика жизни общественной и государственной была совсѣмъ инаго сорта, то за немѣніемъ дѣйствительно хорошихъ гражданскихъ отношеній былъ введенъ одинъ пустой внѣшній формализмъ, выражающійся въ безчисленномъ множествѣ церемоній, на которыхъ китайскіе правители и мудрецы успокоились. Такимъ образомъ мудрые афоризмы осуществились только въ однихъ церемоніалахъ и обрядахъ, потому что философія Конфуція, на которой построено все зданіе китайской семейно-государственной жизни, при всей кажущейся практичности ея ав-

тора, заключаетъ въ себѣ самыя неосуществимыя стремленія, при той формѣ общественныхъ отношеній, какую онъ, да всѣ и вліятельныя китайцы считали единственно непогрѣшимой. Она требовала отъ людей высшей нравственности и высшаго разума и въ тоже время навязывала такія формы общежитія, при которыхъ могли развиваться только ложь и всякая общественная и частная неправда.

При выборѣ и назначеніи мандариновъ является та же двойственность. Въ правилахъ о порядкѣ представленія на званіе мандарина сказано: «человѣкъ полный добродѣтели и способностей, будетъ ли онъ вашимъ врагомъ, долженъ быть представленъ и избранъ; человѣкъ же порочный, пусть онъ будетъ даже вашимъ другомъ, долженъ быть устранивъ.» Это превосходное правило, какъ и многое превосходное, конечно не выполняется и въ Китаѣ, несправедливость очень часто беретъ перевѣсъ надъ справедливостью. Впрочемъ не смотря на это, какъ было уже сказано, въ Европѣ чрезвычайно рѣдки случаи возвышенія людей изъ народа до высшихъ государственныхъ должностей, тогда какъ въ Китаѣ эта вещь довольно обыкновенная.

Такъ какъ въ Китаѣ всѣ учрежденія развиты изъ одного основнаго начала семейныхъ отношеній и семейныхъ добродѣтелей, то тотъ же принципъ проведенъ строго и въ служебныхъ обязанностяхъ мандариновъ. Гуманность китайскихъ установленій можетъ служить въ этомъ отношеніи образцомъ для Европы, которая на своихъ служебныхъ лицъ смотритъ или какъ на бездушныя машины, или какъ на рабовъ. Въ Китаѣ въ мѣстностяхъ, гдѣ воздухъ нездоровъ, срокъ службы мандариновъ короче, чѣмъ въ мѣстностяхъ здоровыхъ. Тѣмъ изъ чиновниковъ, кому минуло шестьдесятъ лѣтъ, даютъ должность близъ его родины. Тѣмъ, кто долженъ былъ прервать службу по случаю болѣзни, траура, или кто отправился къ своимъ престарѣлымъ родителямъ, чтобы успокоить ихъ старость, даютъ при опредѣленіи на службу преимущество передъ другими чиновниками. Въ случаѣ смерти отца, матери, дѣда со стороны отца и со стороны матери долженъ быть соблюдаемъ въ строгости законъ о трехлѣтнемъ траурѣ. Скрыть смерть кого нибудь изъ родныхъ считается преступленіемъ. Если родителямъ минуло 70 лѣтъ, то мандаринъ можетъ оставить свою должность, чтобы отправиться служить родителямъ, и правительство не можетъ отказать ему въ этой просьбѣ. Отецъ, сынъ, братъ, дядя и внучъ не могутъ служить вмѣстѣ въ одномъ присутственномъ мѣстѣ. Въ провинціи это правило имѣетъ силу для четырехъ степеней родства. Кромѣ политической причины, играетъ здѣсь важную роль и

семейная любовь. Приличіе (ли) не позволяетъ, чтобы сынъ, племянникъ и т. д. противорѣчили отцу, дяди и проч., или сидѣли бы въ ихъ присутствіи, будь они даже въ однихъ съ ними чинахъ.

Для служебной аттестаціи мандариновъ учреждена въ Китаѣ особенная палата, которая ведетъ точные списки всѣхъ служебныхъ упущеній каждаго мандарина и всѣхъ ихъ служебныхъ заслугъ. Каждые три года дѣлается въ Пекинѣ и въ провинціяхъ строгая оцѣнка каждаго чиновника на основаніи этихъ данныхъ. Наказанія, налагаемыя на основаніи этой оцѣнки, дѣлятся на три главныя категоріи: взыскаііе денежное. Оно пропорціонально винѣ и заключается въ лишеніи жалованья за одинъ мѣсяць, за два, за три, за шесть, за годъ, за два и т. д. Конечно, это наказаніе ведетъ къ тому, что мандаринъ постарается вознаградить себя насчетъ своихъ кліентовъ. Вторая категорія наказанія—разжалованіе въ нижній чинъ; здѣсь существуетъ три степени наказанія для тѣхъ, кто сохраняетъ свое мандаринство и пять для тѣхъ, кто его не сохраняетъ. Третья категорія заключается въ совершенномъ лишеніи ранга, съ удаленіемъ или безъ удаленія отъ должности. Кто былъ пониженъ въ чинѣ, оставшись при должности, можетъ получить его черезъ три года, если только не сдѣлалъ новой вины. Кто же лишился мандаринства совсѣмъ, можетъ получить его черезъ четыре года при условіи безукоризненнаго поведенія.

Въ награжденіи мандариновъ за заслуги существуетъ тоже нѣсколько степеней: почетный отзывъ, повышеніе въ чинѣ—на одинъ, на два, на три—и соединеніе этихъ двухъ наградъ, имѣющее двѣнадцать различныхъ комбинацій.

Испытаніе въ столицѣ производитъ совѣтъ, состоящій изъ высшихъ сановниковъ государства. Съ одной стороны засѣданіе составляютъ президенты и вице-президенты министерства, императорскіе цензора и вице-цензора; съ другой губернаторъ и намѣстникъ губернатора, образующіе нѣчто въ родѣ ассизнаго суда. Членъ отъ министерства внутреннихъ дѣлъ излагаетъ обвиненіе, въ немъ онъ объясняетъ подробно, кромѣ вины, генеалогію и всю жизнь обвиняемаго. Когда дѣло изложено такимъ образомъ во всей своей подробности, ожидаютъ, когда императору угодно будетъ судить. Тогда обвиненный чиновникъ вводится въ засѣданіе совѣта, гдѣ и защищаетъ себя лично, словесно или письменно, и противъ чего обвиняющее министерство можетъ возражать. Подобный же порядокъ существуетъ и въ провинціи.

Кромѣ этой оцѣнки дѣятельности мандариновъ, имѣющей исключительной цѣлью заставить ихъ исполнять свой долгъ какъ слѣ-

дуетъ, существуетъ въ Китаѣ еще другое учрежденіе, которое хотя имѣетъ и болѣе широкое назначеніе, но въ числѣ своихъ обязанностей должно наблюдать также и за служебной нравственностію чиновниковъ. Это—судъ или палата цензоровъ, учрежденіе напоминающее цензоровъ древняго Рима. Китайскій трибуналь цензоровъ обязанъ провѣрять, наблюдать и исправлять нравы, и смотрѣть за поведеніемъ всѣхъ чиновъ имперіи, какъ бы ни было высоко ихъ положеніе. Если цензора замѣтили въ поведеніи чиновника недостатокъ честности и благородства, то, собравшись вмѣстѣ и обсудивъ поступки цензуруемаго лица, они произносятъ свое рѣшеніе и дѣлаютъ чиновнику напоминаніе, представляя ему его ошибки. По китайскимъ понятіямъ такое напоминаніе дѣлаетъ лѣнливыхъ прилежными, безчестныхъ честными, а правительство прочнымъ и уважаемымъ.

Цензора составляютъ чрезвычайно почетное учрежденіе, такъ что при торжественныхъ жертвоприношеніяхъ, при большихъ придворныхъ собраніяхъ и празднествахъ они сидятъ съ боку императора.

Цензорскій трибуналь устроенъ такъ, что онъ обнимаетъ всѣ вѣтви общественной службы; онъ подраздѣляется на столько отдѣленій, сколько существуетъ министерствъ, и каждое отдѣленіе должно наблюдать за всѣмъ персоналомъ одного изъ министерствъ. Кромѣ того въ Пекинѣ находится пять отдѣленій по числу пяти кварталовъ города.

Цензора находятся въ постоянномъ сношеніи съ частнымъ совѣтомъ и получаютъ отъ него документы, которые съ своею цензурой отсылаютъ въ надлежащую губернію. Въ концѣ года составляется цензорами общее извлеченіе съ указаніемъ результатовъ. Замѣчанія цензоровъ не подлежатъ возраженію; право цензуры есть право верховное, даже въ отношеніи императора; цензора только не могутъ назначать наказанія, потому что это право уже суда.

Цензурный трибуналь простираетъ свою дѣятельность на всю имперію, и когда является необходимость главные члены трибунала отправляются въ провинцію, наводя страхъ на публику и на чиновничество. И дѣйствительно подобное учрежденіе, не смотря на всю благодѣтельность его основной мысли, само по себѣ учрежденіе безнравственное, имѣющее таинственный, инквизиторскій характеръ, пріучающее народъ къ наушничеству и доносамъ. Въ Китаѣ, гдѣ нѣтъ гласности, гдѣ общественному мнѣнію нѣтъ возможности обнаружиться, учрежденіе цензоровъ было единственнымъ средствомъ, которое давало возможность узнавать о неправдѣ и злоупотребленіяхъ

властей и о безнравственности частныхъ лицъ. Кромѣ того учрежденіе это соотвѣтствовало вполнѣ основному принципу китайской общественной жизни—принципу семейственности, руководителству дѣтей отцами, младшихъ старшими. По этому принципу родительское око должно быть повсюду, вездѣ должно быть указаніе, а иначе неразумное дитя или 460,000,000 китайскаго населенія не сьумѣютъ управиться съ собою и надѣлаютъ глупостей. Такъ разсуждалъ мудрый, добродѣтельный и практическій Конфуцій, и китайцы послушали его. Но Лао-ци, истинный пророкъ мудрости, сказалъ другое, но его не послушали. Онъ сказалъ: «если правительство доводитъ духъ недовѣрчивости и наблюденія до крайности, то народъ будетъ жить въ бѣдности и въ вѣчной тревогѣ.»

Пекинская полиція находится въ зависимости отъ цензорскаго трибунала и обязана доносить ему о всѣхъ обстоятельствахъ и событіяхъ, оскорбляющихъ законъ и чистоту нравовъ. Для того чтобы народъ укрѣплялся болѣе въ добродѣтели, полицейскіе чиновники, расхаживая по всѣмъ улицамъ, вскрикиваютъ громкимъ голосомъ каждый день при наступленіи ночи, «повинуйтесь вашимъ отцамъ и матерямъ, уважайте старцевъ и вашихъ начальниковъ; живите въ мирѣ въ своихъ семействахъ, наставляйте своихъ дѣтей, не дѣлайте несправедливости.» Конечно такое напоминаніе имѣло бы нѣкоторый смыслъ, если бы его производили Конфуцій, Лао-ци или добродѣтельный Шунъ, Яо, но не пекинская полиція.

Всѣмъ этимъ не кончаются еще заботы китайскаго правительства о своихъ чиновникахъ. Китайскій законъ говоритъ: «всѣ должностныя лица и чиновники правительства должны изучить законы, чтобы пріобрѣсти въ нихъ совершенное знаніе, быть способными объяснить вполнѣ ихъ основаніе и дѣйствіе и наблюсти и обезпечить ихъ исполненіе. Въ концѣ каждаго года должностныя лица и чиновники правительства подвергаются своимъ начальствомъ экзамену въ законовѣденіи, и если начальство найдетъ, что они не въ состояніи обженить свойство и сущность закона и всѣхъ его примѣненій, то подвергаются денежному штрафу, равному мѣсячному содержанию, если занимаютъ высшія мѣста, или получаютъ согоезъ ударовъ бамбуковыми палками, если занимаютъ мѣста низшія.» Знать законы повелѣвается и всѣмъ рабочимъ, ремесленникамъ, мастерамъ, чтобы умѣть какъ поступать, чтобы не явиться ихъ нарушителями.—

Министерство финансовъ, состоитъ какъ остальные на половину изъ манджуровъ и китайцевъ; занимается оно всѣмъ, что касается установленія и сбора податей и налоговъ всѣхъ родовъ. Оно распоряжается уплатой жалованья и другаго содержанія чиновникамъ

опредѣляетъ размѣръ денежныхъ и хлѣбныхъ взносовъ, которые должны поступать въ казначейство и въ государственные магазины, распоряжается перевозкой и доставкой къ мѣсту назначенія всѣхъ государственныхъ доходныхъ поступленій и т. д. Рѣшенія и мнѣнія по всѣмъ этимъ вопросамъ постановляются въ совѣтѣ министерства, состоящимъ изъ семи главныхъ членовъ. Но если дѣло важное, то оно представляется на утверженіе императора.

Вѣдомости народонаселенія ведутся въ Китаѣ съ большой точностію и все населеніе дѣлится на тинги, т. е. людей сильныхъ, возмужалыхъ, способныхъ работать, а слѣдовательно и платить налоги и на кеоу или рты, т. е. тѣ, кто только потребляетъ; къ этому разряду принадлежать женщины и всѣ несовершеннолѣтніе или престарѣлые мужчины. Плательщики и рты каждого дома записываются на дощечки, которыя привѣшиваются у воротъ того же дома. Чтобы имѣть точный счетъ народонаселенію каждой провинціи, губернаторамъ доставляются изъ всѣхъ подвѣдомственныхъ имъ мѣстъ,—особо назначенными десятскими, обязанными вести перепись по десяткамъ домовъ, вѣдомости, составляемыя ими по деревяннымъ табличкамъ, вывѣшеннымъ у домовъ. Эти вѣдомости посылаются въ министерство въ одно время съ доставленными туда же податями; а министерство приводитъ всѣ эти документы въ порядокъ и составляетъ изъ нихъ общій списокъ, который съ отчетомъ о податяхъ представляетъ въ концѣ года императору.

Число плательщиковъ опредѣлено точной, постоянной цифрой, по переписи 1712 года нашей эры. Царствовавшій тогда императоръ повелѣлъ принять размѣръ существовавшихъ тогда прямыхъ налоговъ нормальнымъ; такимъ образомъ, не смотря на огромное приращеніе народонаселенія, прямые налоги остались въ Китаѣ неизмѣнными въ теченіи полутора вѣка. По переписи 1712 года въ Китаѣ считалось 29,042,492 плательщика.

Все народонаселеніе вписывается въ министерствѣ финансовъ въ особенный реестръ, въ которомъ оно подраздѣляется на четыре класса. Первый классъ называется спискомъ народа. Къ народу принадлежатъ лица всѣхъ мѣстностей (по китайски всѣхъ цвѣтовъ), если они не зависятъ отъ другихъ лицъ, не внесены въ списки военныхъ, купцовъ и народонаселенія, занимающагося добываніемъ соли. Второй классъ называется спискомъ военныхъ; третій—спискомъ купцовъ и четвертый—спискомъ горновъ, т. е. лицъ добывающихъ соль. Затѣмъ опредѣляется нисходящее и восходящее родство вписанныхъ плательщиковъ, ихъ происхожденіе и мѣсто жительства. Лица, не имѣющія дѣтей, должны сдѣлать пріемное род-

ство, чтобы устроить ту социальную связь, которая существует между родителями и детьми и не дать кончиться своему роду. Но для этого нужно, чтобы у приемных детей не было ни отца, ни матери, ни близких родственников.

Все вписанные лица раздѣляются на почтенных и низких или подлыхъ. Къ почтеннымъ принадлежатъ упомянутые четыре класса гражданъ, а къ подлымъ рабы, прислуга, нанимающаяся за жалованье, актеры и актрисы, т. е. все тѣ, кто принужденъ жить публичной службой.

Всеми обработаннымъ землямъ ведутся тоже весьма точные списки, въ которыхъ земли или поля распределены по ихъ назначенію, именно: земли народа, удѣльные, военныхъ колоній, людей, приписанныхъ къ пагодамъ, пожалованные императорами, учебныхъ заведеній, вспомошествованія бѣднымъ, земли, усаженные деревьями, посвященными памяти Конфуція, земли, посвященные публичному жертвоприношенію въ честь болѣе почетныхъ святыхъ и т. д.

Оба эти списка—нароdonаселенія и земель—служатъ основаніемъ для распределенія податей и налоговъ. Общая сумма денежнаго налога со всего государства составляетъ 61,700,000 р. сер. Кроме того натурой—хлѣбомъ разныхъ родовъ и фуражемъ, поступающимъ въ общественные хлѣбные магазины и на содержаніе войска—собирается до 25,000,000 четвертей, на сумму приблизительно 100,000,000 руб.

По сравненію съ европейскими государствами доходъ этотъ чрезвычайно малъ, потому что показаніе 160 милліоновъ рублей собирается съ 460 м. населенія, слѣдовательно на каждого жителя приходится среднимъ числомъ 35 копѣекъ, тогда какъ въ Англіи 14 р. 80 к., во Франціи 12 р. 60 к., въ Австріи 5 р., въ Россіи 4 р. 60 к.

Деньги, собираемые съ народа, поступаютъ частью въ губерскія провинціальныя казначейства на удовлетвореніе мѣстныхъ казенныхъ нуждъ, а частью отправляются въ Пекинъ, на общія государственныя надобности. Государственные расходы Китая дѣлятся на слѣдующія категоріи:

Издержки на жертвоприношенія и публичныя церемоніи. Каждый храмъ, посвященный жертвоприношеніямъ, получаетъ вспомошествованія отъ министерства духовныхъ церемоній, подобныя же субсидіи даются и для жертвоприношеній на гробницахъ императоровъ. Расходы на торжественныя сельскія празднества и на поддержаніе порядка въ сельскихъ мѣстностяхъ. Расходы на публичные экзамены бакалавровъ для полученія дипломовъ на граждан-

скіе и военные чины и званія. Расходы на содержаніе войска и военного управленія. Эти расходы и въ Китаѣ поглощаютъ наибольшую часть государственныхъ доходовъ. На содержаніе войска расходуется въ годъ до 42 м. р. Пособія бакалаврамъ, неимѣющимъ мѣсть и находящимся въ затруднительномъ денежномъ положеніи. вспомошествованіе бѣднымъ и расходы на общественныя благотворительныя учрежденія. Китайскій законъ говоритъ: «всѣ бѣдныя вдовы, всѣ сироты, всѣ тѣ, кто, не имѣя дѣтей, остается безъ помощи, *всѣ тѣ наконецъ, у кого нѣтъ необходимаго*, получаютъ достаточное содержаніе и пользуются спеціальнымъ покровительствомъ управленій въ мѣстѣ своего рожденія всякій разъ, когда они не имѣютъ ни родственниковъ, ни друзей, которые могли бы имъ помочь. Чиновники, которые откажутъ имъ въ содержаніи и поддержкѣ, наказываются 60-ю ударами бамбуковыхъ палокъ». Кромѣ того въ большихъ городахъ устроены приюты и воспитательныя дома для сиротъ. Расходы на вспомошествованіе не имѣютъ опредѣленной величины, и бывали года, когда они составляли около 500,000 р., а въ 1812 году дошли болѣе чѣмъ до 2,000,000 руб. Расходы на содержаніе мостовъ и дорогъ. Содержаніе императорскихъ мануфактуръ, произведенія которыхъ идутъ на потребности двора и на одежды придворныхъ мандариновъ. Жалованье военнымъ и гражданскимъ мандаринамъ и содержаніе заведеній для общественнаго образованія. Всего постоянныя опредѣленные расходы имперіи составляютъ 64 м. р.

По сравненію съ европейскими расходами, сумма эта совершенно ничтожная, особенно, если обратимъ вниманіе на огромное населеніе имперіи. Англія тратитъ въ семь разъ больше, хотя населеніе ея въ пятнадцать разъ меньше; Россія тратитъ въ пять разъ больше, имѣя населеніе почти въ восемь разъ меньше. Но зато у Китая нѣтъ ни копѣйки долга, тогда какъ Англія расходуетъ ежегодно на уплату долговъ 190 м. р. Франція 100 м., Россія 60 м. Значитъ Россія на уплату однихъ долговъ тратитъ почти столько, сколько Китай расходуетъ на всѣ свои внутреннія надобности. Англія тратитъ въ три раза больше и Франція въ $2\frac{1}{2}$ раза больше. Кромѣ того въ Европѣ тратились огромныя суммы на собраніе доходовъ и на управленіе казенными имуществами, напримѣръ, во Франціи болѣе 50 м. р. сер.: тогда какъ въ Китаѣ этихъ расходовъ нѣтъ, потому что всѣ косвенныя налоги вносятся самими плательщиками, а остальные подати и налоги собираются общими административными чиновниками.

Министерство духовныхъ церемоній или обрядовъ завѣдываетъ

всѣми вообще публичными церемоніями, а также обрядами, совершаемыми при раздачѣ ученыхъ степеней; оно предписываетъ и устанавливаетъ каноническія правила для поддержанія чистоты моральныхъ законовъ; оно распоряжается сборомъ дани съ инородцевъ и устройствомъ сношеній съ иностранцами. Это министерство составляетъ одно изъ важнѣйшихъ учрежденій Китая, потому что обязано управлять поведеніемъ людей во всѣхъ обстоятельствахъ ихъ частной и соціальной жизни. Такъ какъ нравственное совершенство есть тотъ конекъ, на которомъ выѣзжали всѣ китайскіе философы и государственные организаторы и такъ какъ принципъ родительской власти, возведенный въ государственное начало, требовалъ, чтобы папенька и маменька для нравственнаго воспитанія своего неразумнаго дитяти опредѣлили къ нему гувернера, то этимъ гувернеромъ и явилось министерство религіозныхъ церемоній и разныхъ обрядовъ, которыми, по мнѣнію китайцевъ, можно замѣнить вполне истинно-нравственныя дѣйствія и общественныя отношенія. Это несчастное учрежденіе и введеніе цензоровъ, наблюдающихъ за поведеніемъ всякаго, было одной изъ главнѣйшихъ причинъ китайскаго застоя. Мудрецы и ученые Китая, исходившіе изъ началъ нравственности и сдѣлавшіе изъ нихъ вѣчный, неизмѣнный законъ, не видѣли въ человѣкѣ другой двигающей силы и не допускали другого начала для всѣхъ соціальныхъ отношеній кромѣ неумолимаго моральнаго принципа. Высказавъ разъ свои начала еще тысячи за двѣ лѣты до Р. Х., они сдѣлали изъ нихъ кодексъ для всѣхъ общественныхъ и частныхъ отношеній и затѣмъ приняли мѣры, чтобы кодексъ этотъ не нарушался рѣшительно ни въ чемъ. Куда бы ни рвалась человѣческая мысль, противъ нея всегда возникало непреодолимое препятствіе, если только она уклонялась отъ пути, признаннаго самымъ мудрымъ изъ всего мудраго; а какъ въ нравственномъ кодексѣ, сочиненномъ Конфуціемъ, по самому существу морали нельзя было сдѣлать никакихъ измѣненій—что же можно было возразить противъ того, что слѣдуетъ любить ближняго и почитать родителей?—то разумѣется Конфуціево ученіе должно было стать неподвижно и вмѣстѣ съ тѣмъ связать и всю общественную и частную жизнь. Тепло ли народу или холодно, сытъ онъ или голоденъ—все это приписывалось людской добродѣтели или людской порочности, и никто не умѣлъ замѣтить того, что народной жизнью управляютъ не законы морали, а другіе законы—законы экономическихъ и соціальныхъ отношеній. Утвердившись на своемъ моральномъ принципѣ, китайскіе мудрецы рѣшили, что будетъ очень хорошо,—если людей будутъ наставлять въ его

неизмѣнныхъ вѣчныхъ правилахъ и если для наблюденія за исполненіемъ ихъ будутъ учреждены особыя власти. Такимъ образомъ сложилась цѣлая масса ученыхъ попугаевъ, повторяющихъ на память изрѣченія своихъ мудрецовъ, и организовались многосложныя учрежденія, обязанныя посредствомъ тѣхъ же попугаевъ держать всю массу населенія страны на одномъ уровнѣ понятій. Въ исторіи человѣчества нѣтъ другаго болѣе громаднаго и болѣе поучительнаго факта безсилія моральнаго принципа, когда исключительно на немъ хотятъ построить все зданіе соціальной и государственной жизни, какъ Китай.

Министерство церемоній завѣдуетъ и сношеніями съ европейскими государствами и европейцами, и для этого въ немъ существуетъ специальная дирекція иностранныхъ гостей и отъ этой дирекціи зависятъ всѣ европейцы, пріѣзжающіе въ Китай, по какимъ бы то ни было причинамъ и цѣлямъ.

Китайскіе порядки могутъ показаться странными совѣмъ не потому, чтобы въ нихъ не было логики, а только потому, что невѣрное основаніе доведено въ нихъ строгой послѣдовательностію до абсурда. Ихъ сбилъ съ толку основной принципъ патріархальныхъ отношеній и дѣленіе всего человѣчества на отцовъ и дѣтей. Только въ этомъ вся ошибка китайцевъ. Утвердившись разъ на воззрѣніи, что все человѣчество дѣлится на старшихъ и младшихъ и что отцы должны учить своихъ дѣтей, китайцы сочинили не только министерство церемоній, но и министерство музыки. Хотя это министерство и составляетъ самостоятельное управленіе, но въ сущности оно только подраздѣленіе министерства церемоній. Министерство музыки управляетъ и наблюдаетъ за всѣмъ тѣмъ, что касается числа и мѣры тоновъ и музыкальныхъ звуковъ; оно должно примѣнять музыкальныя правила ко всякому вновь сочиненному пѣнію, имѣющему общественное или церемоніальное значеніе; оно должно управлять музыкой на торжественныхъ праздникахъ, публичныхъ жертвоприношенійхъ и придворныхъ собранійхъ, чтобы сдѣлать понятнымъ темное и свѣтлое и соединить гармоніей высокое и низкое. Изъ этого опредѣленія министерства музыки видно, что оно имѣетъ у китайцевъ глубокое соціальное значеніе и что они приписываютъ музыкѣ огромное вліяніе на умъ и страсти. Такой взглядъ на значеніе музыки бывалъ у всѣхъ народовъ въ первые моменты ихъ цивилизаціи; но у китайцевъ онъ былъ замороженъ Конфуціемъ, который самъ былъ превосходный музыкантъ. Въ китайской музыкѣ существуетъ такая же гамма и октава, какъ и въ музыкѣ европейской, и комбинаціи различныхъ

тоновъ опредѣлены двѣнадцатью основными законами, называемыми лю. Не смотря однако на эти двѣнадцать основныхъ законовъ и на цѣлое министерство, управляющее комбинаціями музыкальныхъ тоновъ, Китай не создалъ ни одного Моцарта, Бетховена или Россини, и родительское вмѣшательство, противъ котораго такъ предостерегалъ своихъ соотечественниковъ Лао-ци, привело только къ тому, что китайцы поглупѣли какъ въ эстетическомъ, такъ и вообще въ умственномъ отношеніи.

Военное министерство дѣлится на четыре главныхъ отдѣленія. Первое отдѣленіе завѣдываетъ личнымъ составомъ, и такъ какъ китайцы вслѣдствіе своего патріархальнаго мировоззрѣнія любятъ вмѣшиваться не только въ общественную, но и въ частную жизнь, то этому отдѣленію разумѣется работы много. Военные мандарины, такъ же какъ и мандарины гражданскіе, дѣлятся на девять степеней, и каждая степень подраздѣляется на два класса, значитъ у китайцевъ всѣхъ военныхъ чиновъ восемнадцать. Военные чины соотвѣтствуютъ у китайцевъ вполнѣ чинамъ гражданскимъ, такъ что переходъ изъ службы гражданской въ военную и наоборотъ свершается тѣми же чинами. Второе отдѣленіе—военныхъ постовъ—завѣдываетъ всѣми крѣпостями и укрѣпленными мѣстами и какъ возможность успѣха войны обуславливается основательнымъ знаніемъ страны, то это же отдѣленіе имѣетъ въ своемъ вѣдѣніи составленіе военныхъ картъ и плановъ. «Третье отдѣленіе завѣдываетъ военными колесницами и кавалеріей. Ни въ одномъ государствѣ Европы нѣтъ такой большой кавалеріи, какъ въ Китаѣ, имѣющей 226,000 лошадей. Это же отдѣленіе завѣдываетъ и почтой. Въ Китаѣ нѣтъ почты, устроенной для народа; тамъ почта только императорская, служащая для доставленія правительственной корреспонденціи. Почтовую гоньбу исполняютъ особые кавалерійскіе отряды, между которыми распределены всѣ станціи. Доставка денегъ дѣлается съ изумительной быстротой. Такъ какъ почта существуетъ только для правительства, то подъ мандаринскими печатями идутъ не рѣдко и частныя письма. Послѣднее—четвертое отдѣленіе военнаго министерства завѣдуетъ продовольствіемъ войска и снабженіемъ его оружіемъ и вообще всѣми военными предметами.

Китайская армія раздѣлена на восемь знаменъ. Войска первыхъ трехъ знаменъ составляютъ императорскую гвардію, это большею частью татары-маньчжуры. Остальные знамена и одинъ корпусъ кавалеріи состоятъ изъ китайцевъ. Въ 1812 году вся армія Китая, считая пѣхоту и кавалерію, составляла 888,000 человекъ, а въ

1824 г., по словамъ одного европейскаго миссіонера, китайская военная сила состояла изъ 1,263,000 человекъ. По отношенію къ Европѣ эта цифра совершенно ничтожная, ибо для Китая она составляетъ только $\frac{1}{100}$ всего населенія, тогда какъ во Франціи войско составляетъ $\frac{1}{47}$ часть, въ Австріи $\frac{1}{50}$, въ Россіи $\frac{1}{65}$ часть (не считая населенія козаковъ).

Китайское войско рекрутируется изъ охотниковъ и дѣтymi старыхъ солдатъ, остающихся на службѣ до глубокой старости. При незначительности арміи, сравнительно съ общей цифрой населенія, и при воинственномъ духѣ татаръ и монголовъ, въ охотникахъ не можетъ быть недостатка; что же касается до природныхъ китайцевъ, то они предпочитаютъ ученую и гражданскую карьеру.

Китайцы и въ военномъ дѣлѣ ушли, въ теоретическомъ отношеніи, далеко еще въ очень отдаленныя времена; что же касается до военной практики и военныхъ изобрѣтеній, то прогрессъ ихъ очень слабъ. Порохъ изобрѣли китайцы; но тѣхъ блистательныхъ и всеистребительныхъ нарѣзныхъ орудій и ужасныхъ десятипудовыхъ бомбъ или мортиръ, приводимыхъ въ движеніе паровой силой, китайцамъ придумать не удалось, и они составляютъ самую темную славу новѣйшей цивилизованной Европы. Китайцы же до сихъ поръ употребляютъ фитильныя ружья, — впрочемъ маіоръ Джеббъ научилъ ихъ въ послѣднее время стрѣлять изъ винтовокъ, — стрѣлы, и на щитахъ рисуютъ разныхъ чудищъ, чтобы запугать непріятеля.

Въ первыя времена существованія Китая, особенно когда онъ слагался въ одну монархію, военное искусство пользовалось особеннымъ почетомъ, и въ седьмомъ вѣкѣ до Р. Х. въ Китаѣ было составлено классическое сочиненіе по военной части. Трактатъ этотъ называется «Законы или военныя правила Сюнь-тзю.» Въ этомъ сочиненіи говорится, «что войско составляетъ важнѣйшее дѣло государства; отъ него зависитъ жизнь и смерть подданныхъ, величіе или паденіе имперіи». Замѣчательно, что это правило, высказанное за 2500 лѣтъ до нашего времени, еще и до сихъ поръ служитъ основнымъ принципомъ Франціи, Австріи да и всей Европы. Остальныя мысли Сюнь-тзю написаны точно будто бы въ наше время. Какъ жаль, что военные писатели цивилизованной Европы не знали никогда по китайски; у Сюнь-тзю они нашли бы много такихъ указаній, до которыхъ они пожалуй еще и до сихъ поръ не додумались. Такъ, между прочимъ, онъ проводитъ слѣдующій общій взглядъ на войну: «Воевать, говоритъ онъ, само по себѣ вещь дурная. Только нужда должна заставлять предпринимать войну. Битвы, какаго бы рода онѣ ни были, имѣютъ въ себѣ всегда

что нибудь гибельное даже для побѣдителей; ихъ нужно давать только тогда, когда невозможно поступать иначе». Но и эти возвышенные принципы и дѣйствительно замѣчательная нравственная философія служатъ доказательствомъ только того, что въ жизни китайскаго народа былъ моментъ сильнаго настроенія народнаго духа, когда всѣ творческія силы націи были направлены на опредѣленіе законовъ общественной жизни и на организацію общественнаго порядка. Законы были поняты—или по крайней мѣрѣ китайцамъ показалось, что они ихъ поняли, общественный порядокъ сложился и затѣмъ представители китайскаго интеллекта—всѣ ихъ ученые попугаи,—подрѣзавъ сами свои собственные умственные силы, утвердились на той серединѣ, которая ихъ сдѣлала совершенно неспособными понимать жизнь своимъ умомъ и идти впередъ своими ногами. Отъ представительницы теперешней китайской интеллигенціи, и отъ ея философіи ждать уже больше нечего. Она уже истощилась и новаго ничего не скажетъ и не создастъ. Обновленія китайской жизни нужно ждать не отъ тѣхъ, кто до сихъ поръ стоялъ во главѣ умственной, ученой китайской спячки, а отъ той части общества, которая на своихъ плечахъ и практическимъ образомъ вынесла всѣ теоретическія ошибки китайскихъ мудрецовъ и организаторовъ. Китай умеръ только одной своей половиной, другая жива, и если говорить о китаизмѣ, застоѣ, общественныхъ ошибкахъ, то все это относится только до этой омертвѣлой половины, а не до той, которой суждено обновить Китай и создать для него новую жизнь. Ученый, церемониальный Китай, выдумавшій министерство музыки, есть представитель стараго, неподвижнаго начала; а старое должно кончиться, чтобы дать дорогу новому, какъ престарѣлые родители уступаютъ въ жизни мѣсто своимъ молодымъ дѣтямъ.

Министерство юстиціи имѣетъ свою обязанностью все то, что посредствомъ мѣръ кротости или строгости служитъ для дѣйствительнаго выполненія законовъ, существующихъ въ государствѣ. Оно опредѣляетъ прошеніе или налагаетъ наказаніе и назначаетъ размѣръ денежнаго взыскапія. Важныя дѣла, по обсужденіи ихъ въ министерствѣ, представляются въ кабинетъ, менѣе важныя рѣшаются самимъ министерствомъ.

Китайскія юридическія учрежденія обставлены такими гарантіями, обеспечивающими правдивый судъ, особенно въ дѣлахъ, которыя влекутъ за собой смертную казнь, что европейская публика очень ошибается, сравнивая Китай съ Турціей или Персіей. Во всѣхъ случаяхъ, влекущихъ смертный приговоръ, члены министер-

ства юстиціи вмѣстѣ съ членами двухъ другихъ уголовныхъ судовъ собираются въ одно общее засѣданіе и образуютъ высшій уголовный судъ. Эти два суда, составляющіе общее засѣданіе съ членами министерства юстиціи, есть судъ императорскихъ цензоровъ и судъ кассационный; въ соединеніи они образуютъ, какъ называютъ китайцы, судъ трехъ властей правосудія. Соединенный судъ изслѣдуетъ дѣло еще разъ въ присутствіи обвиняемаго и обвинителей и очень часто уничтожаетъ прежнее рѣшеніе. Еще болѣе: для главнаго осенняго засѣданія по уголовнымъ дѣламъ, когда провѣряются окончательно смертные приговоры провинціальныхъ судовъ, трибуналъ составляется изъ одного члена отъ министерства юстиціи и еще восьми членовъ, по одному отъ всѣхъ прочихъ министерствъ и отъ палаты или суда цензоровъ, суда кассационнаго и отъ палаты докладчиковъ частнаго совѣта. Всѣ эти члены обсуживаютъ рѣшеніе провинціальныхъ судовъ, сдѣланныя въ теченіе года и провѣряютъ правильность ихъ приговоровъ и соотвѣтственность назначенныхъ наказаній. Ни одинъ смертный приговоръ не можетъ быть исполненъ безъ провѣрки его этимъ верховнымъ судомъ. Можетъ быть, все это сложно и мучительно для обвиняемыхъ; но тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы китайскій уголовный судъ съ опрометчивостью полагалъ смертную казнь или хотѣлъ бы играть человѣческой жизнью. Европа, не смотря на всю выработку юридической теоріи, не дошла еще до того, чтобы съ такой осторожностью и съ строгой провѣркой подписывать свои смертные приговоры.

Китайскіе уголовные законы во всѣ времена отличались большой строгостію. Въ этомъ отношеніи прославилась династія Чинъ, та самая, которая сожгла всѣ китайскія книги. Разумѣется, ее понудило къ этому сопротивленіе, какое она встрѣчала въ народонаселеніи присоединенныхъ областей и жестокостію наказаній хотѣли сломать духъ неповиновенія. Исторія видѣла тысячи примѣровъ подобной ребра-сокрушающей логики. Династія Чинъ руководствовалась въ этомъ случаѣ теоріей индійскаго законодателя Ману, изложенной въ его книгѣ законовъ о значеніи государя и наказанія. «Государь, говоритъ Ману, есть огонь, вѣтеръ, солнце, геній, возсѣдающій на луцѣ, король правосудія, богъ богатствъ, водъ и владыка неба. Чтобы помочь государю въ исполненіи его обязанностей, всевышній повелитель всей твари создалъ *наказаніе*, покровителя всего существующаго, само правосудіе, родившееся отъ самого себя и слѣдовательно вмѣющаго божественную сущность. Только *боязнь наказанія* позволяетъ всѣмъ существамъ, движущимся и неподвижнымъ, поль-

зоваться тѣмъ, что имъ свойственно, и мѣшаетъ людямъ уклоняться отъ своихъ обязанностей. *Наказаніе* есть государь полный энергіи, это способный администраторъ, это мудрецъ, составитель закона. *Наказаніе* управляетъ человѣческимъ родомъ; *наказаніе* ему покровительствуетъ; *маказаніе* бодрствуетъ, когда все покоится; *наказаніе* есть правосудіе, говорятъ мудрецы. Сдѣланное съ осмотрительностію и встаетъ, оно дѣлаетъ народъ спокойнымъ и даетъ ему миръ; но дѣлаемое не соответвенно, оно его губить. Если государь не будетъ наказывать безъ замедленія тѣхъ, кто долженъ быть наказанъ, болѣе сильныя изжарятъ слабыхъ какъ рыбу на рѣшеткѣ. Ворона, клюетъ рисъ, собака локаетъ молоко, и не будетъ больше права собственности; человѣкъ положенія низкаго займетъ мѣсто человѣка, находящагося въ высокому положеніи. *Наказаніе* управляетъ всѣмъ человѣческимъ родомъ, потому что человѣкъ по природѣ правдивый и добродѣтельный встрѣчается съ трудомъ; только изъ боязни наказанія міръ наслаждается благомъ, которое ему дано. Всѣ классы развратятся, всѣ преграды будутъ ниспровергнуты, и міръ превратится въ хаосъ, если *наказаніе* перестанетъ выполнять свой долгъ. Но какъ *наказаніе* есть самая могущественная энергія, то его трудно поддержать тѣмъ, чья душа не укрѣплена глубокимъ изученіемъ законовъ; оно уничтожитъ со всѣмъ потомствомъ государя, который уклонится отъ своего долга!» Вотъ принципы, изъ которыхъ развилась вся юридическая теорія китайцевъ. Частныя смягченія наказаній, дѣлаемыя отдѣльными династіями; сняли съ китайскаго правосудія его прежній кровавый характеръ; но основной принципъ теоріи, высказанной Ману, остался неприкосновеннымъ, и наказаніе по мнѣнію китайцевъ, остается по прежнему силой, управляющей человѣческимъ родомъ.

Китайцы дѣлали много опытовъ въ перемѣнѣ рода наказаній и всѣ эти опыты не привели ровно ни къ чему, потому что наказаніями хотѣли измѣнить то, что зависитъ совсѣмъ отъ другихъ причинъ. Въ настоящее время существуетъ въ Китаѣ пять родовъ наказаній, установленныхъ еще династією Тангъ (581—905): наказаніе кнотомъ или маленькими бамбуковыми палочками, наказаніе палками; ссылка временная; ссылка вѣчная и наконецъ смертная казнь

Первое наказаніе дѣлается бамбуковымъ хлыстомъ или розгой и имѣетъ пять степеней 4, 5, 10, 15 и 20 ударовъ; второе наказаніе дѣлается толстыми бамбуковыми палками и имѣетъ пять степеней 20, 25, 30, 35 и 40 ударовъ; третье наказаніе есть ссылка изъ мѣста родины, не далѣе какъ за 200 верстъ; это наказаніе имѣетъ тоже пять степеней: на 1, 1½, 2, 2½ и на 3 года и со-

проводается всегда тѣмъ числомъ ударовъ бамбуковыми палками, какое установлено для соотвѣтственныхъ степеней предъидущаго наказанія. Четвертая степень 100 ударовъ бамбуковыми палками и ссылка на разстояніи отъ 800 до 1200 верстъ. Пятая степень или смертная казнь имѣеть два вида—задушеніе и обезглавленіе. Кромѣ того существуютъ еще тюремное заключеніе, канга и проч., налагаемая за малыя преступленія и проступки.

Уголовный законъ принимаетъ десять главныхъ преступленій, которыя онъ наказываетъ съ особенной строгостію: возмущеніе или вѣрнѣе, нарушеніе законовъ, гарантирующихъ общественную безопасность и произведенія земли. Разбой, состоящій въ покушеніи разрушать храмы, гробницы, дворцы императорскіе. Побѣгъ или, вѣрнѣе, оставленіе своей родной страны для земли иностранной. Отцеубійство. Убійство семейства или многихъ лицъ одного семейства. Святотатство. Отсутствие сыновней любви. Раздоръ въ семействѣ. Неповиновеніе, доходящее до убійства. Кровосмѣшеніе. Эти преступленія наказываются смертію. И какъ въ нихъ заключается прямое насиліе разорвать основныя связи китайскаго общественнаго порядка, то о нихъ говорится въ подробности въ вступительной части китайскихъ законовъ, чтобы предостеречь народъ и указать ему, чего онъ долженъ избѣгать. И въ уголовныхъ законахъ выступаетъ во всей своей послѣдовательности китайскій принципъ семейственности. «Если, говоритъ законъ, виноватый, приговоренный къ смертной казни, имѣеть немощныхъ родителей, старѣе семидесяти лѣтъ, и которые не имѣють ни дѣтей, ни внуковъ старше шестнадцати лѣтъ, кромѣ осужденнаго, то онъ можетъ получить разрѣшеніе остаться при нихъ для ухода «за ними».

Всѣ наказанія въ Китаѣ могутъ быть замѣнены денежнымъ взносомъ по слѣдующей таксѣ:

Смертная казнь:

для мандарина выше 4-го класса	24,000	руб. сер.
« мандарина « 4-го класса	10,000	—
« « « 5 или 6 класса	8,000	—
« « « 7 и ниже класса		
и для доктора « «	5,000	—
« бакалавра « «	4,000	—
« частнаго лица «	2,000	—

Вѣчная ссылка:

« мандарина выше 4-го класса	14,400	—
« « « 4-го класса	6,000	—
« « « 5 и 6 класса	4,800	—

« манд. 7 и ниже к. и докт.	3,000	—
« бакалавра « «	2,400	—
« частного лица « «	1,440	—

Изгнаніе временное или наказаніе бамбуковыми палками:

для мандарина выше 4-го класса	9,600 руб. сер.
« мандарина « 4-го класса	4,000 —
« « « 5 и 6 класса	3,200 —
« « « 7 клас. и ниже	2,000 —
« бакалавра « «	1,600 —
« частного лица « «	960 —

Кромѣ судовъ, о которыхъ было говорено, существуетъ еще 17 большихъ управленій провинціального правосудія, засѣдающихъ тоже въ Пекинѣ при министерствѣ юстиціи. Кромѣ того, отъ того же министерства зависятъ судъ большихъ осеннихъ ассизовъ, обязанности котораго ревизовать всѣ смертные приговоры, опредѣленные въ теченіе года провинціальными судами и утвердить которые можетъ только императоръ. — Палата храненія законовъ, обязанность которой собирать всѣ повелѣнія и другіе документы, исходящіе отъ императорской власти и соответственныхъ властей и публиковать эти собранія каждыя пять лѣтъ, а каждыя десять лѣтъ дѣлать новое полное изданіе всѣхъ законовъ, утвержденныхъ императоромъ. Общее управленіе тюремъ. Казначейство денежныхъ штрафовъ и выкуповъ наказаній. Наконецъ контора продовольствія и доходовъ, поступающихъ изъ провинцій на расходы министерства.

Несмотря на эту организацію, повидимому стройную и дѣтально-бывую, правосудіе китайское отличается въ порядочной степени турецкимъ характеромъ, и имѣетъ только одну несомнѣнную выгоду: такъ какъ въ Китаѣ пять адвокатовъ и стряпчихъ, и въ судахъ низшихъ инстанцій приговоръ дѣлается однимъ судьей, то правосудіе это довольно дешево, но въ тоже время щедро на палочные удары. Слѣдствіе дѣлается письменное и въ судахъ первой инстанціи засѣдаютъ въ качествѣ судьи зачастую мѣстные административные чиновники, изображающіе собой государственное правосудіе. Вообще Китай еще не додумался до раздѣленія властей судебной, законодательной и исполнительной, и административные чиновники чинятъ въ немъ судъ и расправу, какъ и вездѣ на востокѣ. Только смертные приговоры обставлены въ Китаѣ на столько хорошо, что гарантируютъ обвиненнаго противъ произвола, несправедливости и поспѣшности и поэтому казнь въ Китаѣ гораздо рѣже, чѣмъ въ Европѣ. Напримѣръ, въ 1817 году во всемъ Китаѣ было только 935 смертныхъ приговоровъ, въ 1826 только 591, въ

1828—789, въ 1829 г. 579, между тѣмъ во Франци за тоже время казнилось ежегодно 110 человѣкъ и по отношенію къ народонаселенію это число было вдвое больше, чѣмъ въ Китаѣ.

Примѣромъ высоты, до которой доходитъ китайское правосудіе не то правосудіе, которое изрѣкаетъ палочные удары устами административныхъ мелкихъ чиновниковъ, а правосудіе верховное, исходящее отъ сына неба, можетъ служить слѣдующій историческій фактъ, интересный кромѣ того еще и тѣмъ, что даетъ читателю возможность познакомиться съ одной изъ сторонъ частной китайской жизни.

Сынъ Кіа-кинга, царствовавшій въ первой четверти нынѣшняго столѣтія и при восшествіи на престолъ получившій названіе Тао-куангъ, или блескъ разума, отличался строгой справедливостію. У него законъ былъ одинаковъ для всѣхъ, онъ никогда не употреблялъ свое императорское право, чтобы послабленіемъ и милостію сильнымъ и приближеннымъ оскорбить принципы китайскихъ юридическихъ понятій и сдѣлать несправедливость слабому и угнетенному. Для Тао-куанга всѣ его подданные были равны и онъ не дѣлалъ никакихъ исключеній даже для своихъ лучшихъ любимцевъ и людей императорскаго происхожденія.

Извѣстно, что китайцы имѣютъ страсть къ золоту, хорошо впрочемъ знакомую и европейцамъ, особенно нынче, когда лихорадочная погоня за деньгами обхватила рѣшительно всѣ сословія и изъ важдаго человѣка дѣлаетъ буржуа. Кромѣ любви къ богатству, китайцы отличаются большимъ тщеславіемъ, любятъ похвалу и набрасываются на роскошь. Оттого въ Китаѣ очень обыкновенны случаи, что тщеславный мандаринъ, занимавшій значительное мѣсто и пользовавшійся большимъ состояніемъ, истративъ его на пустыя, и на удовлетвореніе суетному чувству, дѣлается наконецъ носильщикомъ. Какъ всѣ горячіе люди, китайцы любятъ игру и въ довершенію всего отличаются мстительностію. Если китаецъ проиграетъ процессъ, то лучшимъ средствомъ отомстить своему врагу онъ считаетъ повѣситься на дверяхъ дома своего противника или въ его саду или полѣ, чтобы вззвать на него проклятіе небесныхъ силъ и неудовольствіе согражданъ. Человѣкъ, бывшій причиной подобнаго самоубійства, въ теченіе долгихъ лѣтъ служитъ предметомъ народнаго презрѣнія и отвращенія и на него смотрятъ, какъ на преслѣдуемаго небомъ. При китайской горячности и страсти къ золоту, азартная игра въ Китаѣ очень распространена и ведетъ иногда къ кровавымъ ссорамъ и убійствамъ.

Въ 1827 году при дворѣ императора жилъ молодой князь, поль-

ловавшійся извѣстностію за благородство чувствъ, воввышненность ума и превосходное образованіе. Онъ былъ племянникомъ императора и пользовался его особеннымъ расположеніемъ. Только онъ одинъ имѣлъ право войти на священный путь, величайшая почесть, которой только можно достигнуть въ Китаѣ. Священный путь есть дорога, ведущая изъ Пекина въ домъ императора. Она вырыта въ землѣ и имѣетъ около 40 верстъ. Во всю ея длину положены золотыя рельсы, на которыхъ стоятъ колеса императорской кареты, запряженной въ одну лошадь.

Лппа, составляющія свиту императора, идутъ по обѣимъ сторонамъ дороги, но никто изъ нихъ не смѣетъ поставить ногу на священную дорогу. Нѣкогда за нарушеніе этого запрещенія казнили смертію. Если императоръ желаетъ почитать кого нибудь особеннымъ образомъ, онъ повелѣваетъ идти пѣшкомъ позади или впереди себя по самому священному пути. Только одинъ племянникъ императора, Шангъ-кангъ, пользовался изъ всего двора этимъ почетомъ.

При всѣхъ своихъ достоинствахъ Шангъ-Кангъ имѣлъ однако одинъ недостатокъ: онъ любилъ страстно игру. Только любовь нейтрализировала на время эту страсть. Шангъ-Кангъ полюбилъ Міа-мингъ и женился на ней. Онъ привязался къ ней всѣми силами, бросилъ игру и вызвалъ этимъ сарказмы своихъ прежнихъ игорныхъ товарищей и друзей дѣтства. Разъ онъ собралъ у себя въ загородномъ увеселительномъ домѣ своихъ друзей и послѣ роскошнаго обѣда всѣ сѣли за игру. Шангъ-Кангъ долго не соглашался принять участіе въ игрѣ, но наконецъ его уговорили. Въ началѣ онъ игралъ счастливо, но потомъ счастье повернулось къ нему спиной, и Шангъ-Кангъ началъ проигрывать. Онъ проигралъ все свое золото, всѣхъ лошадей, экипажи: потомъ сталъ играть на свои фамильныя земли, переходившія изъ рода въ родъ. Проигравши ихъ, онъ поставилъ на ставку свой домъ, въ которомъ собралъ гостей, проигралъ и его. Поджигаемый насмѣшками товарищей и особенно своего счастливаго соперника, мандарина Фо-канга, онъ ооуласился играть на свои послѣднія средства — драгоцѣнности и брильянты Міа-мингъ. Счастье и тутъ не повезло ему, и онъ проигралъ всѣ драгоцѣнности. Тогда Фо-кангъ сталъ требовать съ насмѣшкой, чтобы ему былъ отданъ этотъ проигрышъ тотчасъ же. «Хорошо, отвѣтилъ Шангъ-Кангъ, вставая и выхватывая изъ-за пояса кинжалъ, но ты не будешь играть долго». И въ то же время онъ ударилъ Фо-канга въ самое сердце, и убилъ его наповалъ. Всѣ присутствующіе въ страхѣ разбѣжались.

Императоръ, узнавъ объ этомъ происшествіи, велѣлъ уголовному суду исполнять свое дѣло. Шангъ-кангъ былъ арестованъ, связанъ, какъ послѣдній преступникъ и посаженъ въ городскую тюрьму. Процессъ его начался немедленно въ верховномъ уголовномъ судѣ. Судъ состоялъ изъ перваго президента министерства юстиціи, президента, двухъ вице-президентовъ и четырехъ совѣтниковъ. Уголовный судъ въ Китаѣ совершается особеннымъ образомъ. Каждый членъ суда отправляется въ тюрьму и въ ней допрашиваетъ обвиняемаго, производя такимъ образомъ изслѣдованіе лично. Эта первая формальность продолжается, обыкновенно, нѣсколько дней и когда она кончится, члены собираются, сообщаютъ другъ другу результаты своего изслѣдованія и за тѣмъ рѣшаютъ, слѣдуетъ или нѣтъ призвать обвиняемаго въ судъ. Если рѣшеніе отрицательное, то обвиняемый остается въ тюрьмѣ, въ противномъ же случаѣ отряжается стража, которая вмѣстѣ съ судебными служителями приводитъ преступника немедленно въ судъ. Приведенный помѣщается за занавѣской, такъ чтобы можно было его только слышать, но не видѣть. Предсѣдатель суда обращается затѣмъ къ обвиняемому, объясняетъ ему преступленіе, въ которомъ его обвиняютъ, отвѣтственность, которая лежитъ на немъ за него и приглашаетъ отвѣчать. Послѣ этого вводятся свидѣтели. Предъ каждымъ изъ нихъ поднимается занавѣсъ, скрывающій обвиняемаго, чтобы свидѣтель могъ убѣдиться, что это то самое лицо, противъ котораго онъ явился свидѣтельствовать и затѣмъ занавѣсъ падаетъ. По окончаніи вопроса свидѣтелей, обвиняемый подводится стражей къ самымъ судьямъ и каждый членъ трибунала спрашиваетъ его по очереди; отвѣты обвиняемаго составляютъ его защиту, потому что, за немѣніемъ адвокатовъ, обвиняемый является самъ своимъ собственнымъ защитникомъ. Впрочемъ онъ можетъ передать защиту одному изъ своихъ родственниковъ, который въ такомъ случаѣ помѣщается по его правую сторону.

Князь Шангъ-кангъ, явившись предъ судомъ, показалъ все какъ было. Онъ сказалъ, что въ пылу гнѣва онъ убилъ одного изъ близкихъ; что по закону онъ подлежитъ смертной казни и что если волей великаго императора, его дяди, ему суждено умереть, онъ подчинится своей участи безропотно, во искупленіе своей вины. Трибуналъ, исполнивъ всѣ формальности, объявилъ, что князь Шангъ-кангъ совершилъ смертоубійство мандарина Фо-канга и, согласно указу императора Цонгъ-цу, въ 7 годъ его царствованія долженъ быть распятъ публично на крестѣ.

По законамъ Китая императоръ однимъ своимъ лицомъ составляетъ верховный судъ, рѣшающій въ послѣдней степени преступленія, подлежащія наказанію смертію. Если преступникъ по своему чину не имѣетъ права быть при дворѣ, то императоръ судитъ по документамъ, въ противномъ же случаѣ обвиняемый является лично или изображается какой нибудь высокой особой. Императоръ приказалъ, чтобы князь Шангъ-кангъ явился лично, и, согласно установленію, онъ предсталъ предъ императора съ головой, покрытой краснымъ покрываломъ, какъ знакъ того, что онъ пролилъ кровь. По правую сторону князя находился одинъ изъ его двоюродныхъ братьевъ, молодой человекъ, вызвавшійся самъ быть его ассистентомъ, а по лѣвую начальникъ бюро, спеціально назначеннаго записывать минутой въ минуту всѣ слова и дѣйствія императора. Такъ какъ въ подобныхъ обстоятельствахъ императоръ изображаетъ собою правосудіе, то являющіяся лица не падаютъ ницъ. Защитникъ началъ говорить первый. Онъ говорилъ самымъ трогательнымъ образомъ, указалъ на всѣ прекрасныя качества обвиняемаго, его безукоризненное поведеніе, оскорбленіе, нанесенное ему, возбужденное состояніе, въ которомъ было сдѣлано преступленіе и кончилъ воззваніемъ къ милосердію императора. Во все продолженіе этой рѣчи императоръ плакалъ. По окончаніи засѣданія императоръ согласно установленію удалился на часъ, чтобы размыслить спокойно о дѣлѣ; наконецъ онъ объявилъ свое рѣшеніе, утверждавшее приговоръ 'суда, съ тѣмъ только измѣненіемъ, что въ уваженіе общественнаго положенія обвиненнаго и связей, которыя соединяютъ его съ императорскимъ семействомъ, распятіе на крестѣ должно быть замѣнено простымъ задушеніемъ на могилахъ его предковъ и что наказаніе это должно быть исполнено въ день общей казни. Въ Китаѣ смертная казнь исполняется по всей странѣ въ одинъ день, назначаемый особымъ повелѣніемъ императора. Въ этотъ день всѣ дѣла останавливаются и народъ стремится толпами въ города на казнь, какъ бы на празднество. Если императоръ желаетъ почтить мандарина или значительное лицо, обвиненное въ преступленіи, не доказывающемъ низость души, онъ приказываетъ, чтобы казнь происходила въ отдѣльный день; но для членовъ императорской фамиліи такія исключенія никогда не дѣлаются.

Въ первый день седьмой луны, или 1-го іюля 1827 г., князь Шангъ-Кангъ былъ отведенъ въ садъ, усаженный пахучими деревьями и кипарисами, среди которыхъ возвышались, въ разныхъ мѣстахъ, надгробные памятники. На одномъ изъ нихъ, лежавшемъ

на могилѣ его отца, уважаемаго Кангъ-цу, Шангъ-Кангъ всталъ на колѣни. Вокругъ него размѣстились мандарины двора и члены императорской фамилии, получившіе приказаніе присутствовать при этой печальной церемоніи. Впереди ихъ расположились бонзы, начавшіе пѣть молитвы, чтобы упросить духовъ не увлекать душу того, кто долженъ былъ умереть, на дно кровавой рѣки, которую переходятъ преступники, оставляющіе землю. По мнѣнію бонзъ, если душа достаетъ до дна этой рѣки, очень глубокой, то она остается тамъ навсегда; но если, напротивъ, ей удастся остаться на ея поверхности три года, то она получаетъ прощеніе.

Кончивъ свои молитвы, бонзы начали бить въ ладоши и кричать, что наступило время плакать за того, кто долженъ умереть.

Въ то же мгновеніе всѣ присутствующіе разразились рыданіями. Нѣсколько минутъ спустя, начальникъ бонзъ приблизился и объявилъ, что время, назначенное для плача прошло, и въ то же мгновеніе рыданія прекратились. Тогда предсѣдатель трибунала назначеній, выступивши, началъ читать приговоръ уголовного суда и сентенцію императора, утверждавшую приговоръ; потомъ онъ провозгласилъ, что наступила минута смерти. Осужденному подали длинную шелковую веревку и онъ обернулъ ее вокругъ шеи. Послѣ этого подошли палачи и взяли веревку за концы. На каждомъ концѣ стало по пяти человѣкъ, готовыхъ затянуть петлю по первому сигналу. Наконецъ раздался звукъ тамъ-тама и палачи потянули въ разныя стороны концы веревки, Шангъ-Кангъ вскрикнулъ и испустилъ послѣдній вздохъ.

Какъ говорятъ, смерть князя глубоко огорчила императора; въ знакъ траура онъ отпустилъ на шесть мѣсяцевъ волосы и бороду.

Въ маѣ 1845 года нѣсколько князей императорской фамилии были приговорены къ задушенію за то, что, послушавшись повелѣній императора, курили опиумъ. Въ то же время были приговорены къ той же казни, одинъ князь императорской крови за убійство своей жены, а другой за убійство своего портного. Множество обращеній было сдѣлано къ императору о помилованіи виновныхъ, и какъ различные суды, вслѣдствіе особенныхъ обстоятельствъ, ревизовали эти дѣла три раза, прежде чѣмъ они поступили на окончательный приговоръ императора, то онъ не призывалъ къ себѣ обвиняемыхъ, и когда ему были доложены процессы во всей ихъ подробности, положилъ такую резолюцію: «Пусть дѣйствуютъ согласно указамъ и постановленіямъ», и казнь была совершена.

Кромѣ этихъ учрежденій и министерства публичныхъ работъ,

на котормъ останавливаться нѣтъ особенной причины, такъ какъ оно не представляетъ никакихъ особенностей, въ Китаѣ существуютъ еще слѣдующія управления, имѣющія значеніе въ кругу общей государственной администраціи: управление иностранныхъ колоній, трибуналь цензоровъ, о котормъ уже говорилось, апелляціонный судъ, императорская академія, императорская бібліотека, бюро исторіографіи двора, бюро исторіографіи имперіи, управление для наблюденія придворныхъ дѣйствій; управление жертвоприношеніями; управление императорскими конюшными; управление, завѣдывающее провизіей для двора и для публичныхъ церемоній; муниципальное управление города Пекина; управление церемоніалами двора и публичныхъ собраній; императорская коллегія; императорская обсерваторія; кстати замѣчу, что если китайскіе астрономы лѣниво наблюдаютъ теченіе планетъ, то ихъ сѣкутъ бамбуковыми палками; медицинская академія; контора императорской гвардіи; контора для принятія прошеній, жалобъ и записокъ на имя императора или членовъ императорской фамиліи; управление придворными экипажами; главное управление восемью знаменами; наконецъ департаментъ императорскаго дворца.

III.

Все, что говорилось до сихъ поръ показываетъ, что Китайъ есть страна вполне цивилизованная, и если спросить любого китайскаго мандарина объ ихъ внутреннемъ государственномъ порядкѣ, то онъ съ гордостью перечислитъ разнообразныя части административной машины, устроенной для блага народа, и объяснитъ, какой цѣли и какой нуждѣ должно удовлетворять каждое колесо и каждый винтъ этого дѣйствительно хитро-придуманнаго механизма. Если посмотрѣть на обычай и условія общежитія образованнаго Китая, то убѣжденіе въ его цивилизаціи становится еще несомнѣннѣе; въ немъ сложился, въ дѣлѣ свѣтскихъ отношеній, такой же удивительный и вполне выработанный механизмъ, какъ и въ его внутреннихъ политическихъ отношеніяхъ. Условія свѣтскаго общежитія дѣлаютъ китайцевъ народомъ еще болѣе утонченнымъ, чѣмъ сливки французскаго, австрійскаго или англійскаго общества. Однимъ словомъ, цивилизація народа не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, и Китайъ, если послушать манда-

риновъ, страна вполнѣ законченная и устроенная превосходно во всѣхъ отношеніяхъ.

Привыкнувъ съ молоду видѣть все, что его окружаетъ, мандаринъ никогда не задумывался ни надъ миллиардами бамбуковыхъ ударовъ, щедро расточаемыхъ китайскими полицейскими чиновниками и судьями разнымъ бѣднякамъ, ни надъ миллионами людей, питающихся крысами и всякой гадостью, ни надъ цѣлыми сословіями нищихъ, образующихъ въ государствѣ свою особую организацію, уважаемую даже закономъ, ни надъ тѣмъ, что есть въ странѣ люди, продающіе свою жизнь и, за какойнибудь полтинникъ, идущіе добровольно на смертную казнь за другого. Если бы Китай не представлялъ другихъ фактовъ печальнаго свойства, то послѣднихъ двухъ совершенно достаточно, чтобы осудить весь китайскій порядокъ, создающій возможность подобныхъ явленій.

Нигдѣ въ мірѣ бѣдность не доходитъ до такого размѣра какъ въ Китаѣ и нигдѣ она не дѣлала того, что она дѣлаетъ тамъ; постоянныя внутреннія волненія, о которыхъ Европа узнала только въ послѣднее время, шайки разбойниковъ, какъ называютъ англичане китайскихъ инсургентовъ, наводящихъ до сихъ поръ страхъ на громадную страну, — это больше ничего какъ голодъ и слѣдствіе того удивительнаго внутренняго механизма, мудростію и прочностію котораго такъ восхищаются европейскіе синодологи.

Европейскіе дипломаты знаютъ только мандариновъ—сановниковъ и понимаютъ только ихъ; они вмѣшиваются въ китайскіе внутренніе раздорны, чтобы поддержать ветхую машину, отъ которой нельзя ждать ничего кромѣ скрипу; но они, подобно китайскимъ мандаринамъ, проходятъ равнодушно мимо бѣдняковъ, умирающихъ съ голоду и какъ будто бы не понимаютъ, что общую болѣзнь такого громаднаго тѣла, какъ Китай, нельзя лечить однимъ командированіемъ маіора Джебба и посылкой штуцеровъ.

Въ самомъ центрѣ Пекина, рядомъ съ дворцомъ богдыхана, валяются нищіе цѣлыми кучами, спятъ, ѣдятъ, играютъ и даже тутъ-же на улицѣ умираютъ съ голоду и отъ болѣзней. Китайскіе мандарины, и вся китайская буржуазія смотрятъ совершенно равнодушно на все это и ни одинъ изъ нихъ никогда не окажетъ помощи ни одному нищему. Нищія знаютъ это и ничего у нихъ не просятъ. Они добиваются средствъ существованія другимъ способомъ: наглостію, воровствомъ и грабежемъ. Они садятся у лавокъ

и до тѣхъ поръ шумятъ, кричатъ и трещать трещетками, пока купецъ, выведенный изъ терпѣнія, не дастъ чегонибудь. Они дѣлаютъ на улицахъ всякія безчинства и даже, принужденные голодомъ, дѣлаютъ нарочно преступленія, чтобы попасть въ тюрьму. Для китайскаго нищаго жизнь ничего не значитъ; онъ за деньги беретъ на себя не только чужія преступленія, но даже продаетъ свою голову. Если однако ничто не помогаетъ, средствъ для жизни нѣтъ и голодь доходитъ до послѣдней степени, то китайскій нищій превращается въ гарротера и среди бѣлаго дня грабитъ на улицахъ даже значительныхъ мандариновъ. И никто изъ проходящихъ и свидѣтелей грабежа не окажетъ ни малѣйшей помощи, точно они ничего не видятъ, потому что всякое вмѣшательство, на основаніи китайскаго закона о взаимной отвѣтственности, грозитъ опасностью. Поэтому каждый китаецъ думаетъ только о себѣ, и въ случаѣ даже убійства, которое совершилось на его глазахъ, не донесетъ о немъ власти. Китайскіе нищіе, образуя самостоятельный слой общества, дѣлятся на отряды, имѣющіе своихъ предводителей и надъ всѣми ими стоитъ такъ называемый король нищихъ, лицо отвѣтственное за своихъ подданныхъ. Рассказываютъ, что недавно одного предводителя нищихъ назначили мандариномъ. Это государство въ государствѣ подчиняется только общими уголовнымъ законамъ; но во всемъ остальномъ имѣетъ обычаи, законы и установленія свои собственные; у нихъ даже свой судъ, разрѣшающій разныя недоразумѣнія, возникающія между нищими и дающій право на поступленіе въ корпорацію. Императоръ знаетъ все это, его министры тоже. Чтобы помочь несчастнымъ, назначаются имъ денежныя пособія; но деньги эти, обыкновенно, не доходятъ до тѣхъ, кому онѣ назначены и очень часто у самаго дворца императора умираютъ нищіе цѣлыми десятками (это фактъ) отъ холоду и голоду. Въ то время, какъ благоденствующихъ мандариновъ окружаютъ такія вопіющія человѣческія страданія, они занимаются своими пустыми церемоніями, заучиваютъ на память гуманныя изрѣченія своихъ мудрецовъ и думаютъ, что такое заучиваніе и приобрѣтеніе служебныхъ отличій совершенно достаточны для того, чтобы не замѣчать и не знать, что происходитъ вокругъ. Не смотря на голодь и страданія народа, не смотря на вѣчныя внутреннія волненія, ученые мандарины по прежнему считаютъ моральныя принципы единственнымъ средствомъ, способнымъ устроить порядокъ, и не обращаютъ никакого вниманія на экономически-соціальную сущность жизни. Какъ я уже говорилъ въ первой статьѣ,

только эта односторонность и создала нынѣшній Китай; эту образцовую страну высокихъ гуманныхъ и нравственныхъ началъ въ теоріи и беспощадной суровости въ практикѣ; страну любви на словахъ и жестокости въ жизни: медоточивыхъ фразъ въ свѣтскихъ отношеніяхъ и грубости, лжи, обмана и плутовства въ дѣйствительности. Вся цивилизація Китая есть ложь; красивая драпировка, закрывающая гнойное тѣло; шелковое платье на человѣкѣ, умирающемъ съ голоду. Китаю до тѣхъ поръ не увидѣть своего спасенія и не успокоиться, пока онъ не пойметъ, что всѣ его церемоніи и нравственныя правила не стоятъ фунта хорошо испеченнаго хлѣба. Китай именно погибаетъ отъ бѣдности, и вотъ факты въ доказательство этого.

Экономическій бытъ народа зависитъ отъ его политическихъ учреждений, а эти учрежденія отъ степени умственнаго развитія населенія и его мировоззрѣнія. У китайцевъ въ основѣ всего лежатъ моральный принципъ и принципъ родительской власти и семейнаго начала. Отъ этого семья составляетъ основную единицу общественнаго быта, изолированную ячейку, живущую сама въ себѣ. Китайскій индивидуализмъ не простирается дальше сложнаго особняка, изображаемаго семьей; но въ этихъ предѣлахъ особнякъ этотъ абсолютенъ и безапелляционенъ. Но такъ какъ матеріальное существованіе народа зависитъ отъ произведеній земли, то очевидно, что народъ, построившій весь свой общественный бытъ на началѣ, замкнутой индивидуальности создаетъ и въ своихъ общенародныхъ хозяйственно-земельныхъ отношеніяхъ ту же систему личности, какая существуетъ и въ его гражданскихъ отношеніяхъ, т. е. ведетъ хозяйство посемейное, чуждое всякой общинности. Пока народонаселеніе мало, такая изолированность дѣйствій не опасна, потому что всѣмъ просторно; но когда населеніе, увеличившись до 460 милліоновъ, какъ въ Китаѣ, имѣло у себя всего 38,039,790 десятинъ культивированной и годной для земледѣлія почвы, то на человѣка придется наконецъ всего 0,082 десятины, а на семью, допустивъ даже невозможный по величинѣ составъ ея изъ десяти человѣкъ — 0,82 десятины. Ну чѣмъ же тутъ жить? Эта дробность земельной собственности поведетъ неизбѣжно къ весьма печальнымъ послѣдствіямъ. Народъ изолированный, какъ китайцы, окруженный вѣчущими или полуварварскими сосѣдями, и не имѣющій торговыхъ связей съ другими народами, долженъ будетъ жить исключительно произведеніями своей страны, какъ бы произведенія эти ни были скудны. Производить онъ только пять

предметовъ, и долженъ жить этими пятью предметами, произведеть десять—будеть жить десятию, потому что ни шестаго, ни одиннадцатаго взять негдѣ. Такой народъ, будетъ слѣдовательно, зависѣть исключительно отъ произведеній своей почвы, а произведенія его почвы опредѣляется возможностью приложенія тѣхъ или другихъ силъ. Это значить, что если у народа есть возможность заставить свою почву производить бананы, она произведеть бананы; но если онъ имѣеть средство не больше того, сколько нужно для произведенія картофеля, то и почва не дасть больше ничего, кромѣ картофеля. Въ этомъ положеніи земледѣльческаго минимума и находится Китай. При крайней дробности земли и при отсутствіи общиннаго владѣнія, Китаю пришлось бы измѣлчать совершенно и во всѣхъ приемахъ и способахъ своей земледѣльческой культуры. Семейство, существованіе котораго зависитъ отъ какихъ нибудь трехъ четвертей десятины земли, должно ухитриться, чтобы эти $\frac{3}{4}$ дали бы ему все то, что ему нужно для жизни. При трехъ четвертихъ десятины на десять человѣкъ нельзя употреблять широкихъ экономическихъ припасовъ, возможныхъ только при сочетаніи, ассоціаціи труда, и приходится обрабатывать землю чуть не зубами, чтобы каждая песчинка дала хлѣбное зернышко, иначе въ семьѣ не достанетъ кому нибудь хлѣба. Ближайшимъ слѣдствіемъ такого сепаратизма является то, что человѣкъ долженъ жить непосредственно произведеніями своей земли, ему нужно прокормить прежде всего самого себя; а вторымъ слѣдствіемъ будетъ то, что ему не на что будетъ содержать домашнихъ животныхъ и придется питаться исключительно растительной пищей. Такъ все и есть въ Китаѣ: тамъ почти вовсе нѣтъ выгоновъ и сѣнокосовъ и по отношенію къ народонаселенію скота въ десять разъ меньше, чѣмъ въ европейскихъ государствахъ, наиболѣе бѣдныхъ скотомъ. Отъ недостатка скота у китайцевъ мало удобренія, а отъ недостатка удобренія имъ необходимо вести особенную систему полеводства. Для удобренія своихъ микроскопическихъ полей китаецъ употребляютъ человѣческіе экскременты, остатки отъ своей пищи, напимѣръ, внутренности рыбъ, скорлупу крабовъ и другихъ ракообразныхъ животныхъ, остатки овощей и т. д. Вообще по этой части китаецъ весьма изобрѣтателенъ, потому что если не возвратитъ землѣ отнятой отъ нея силы, то придется остаться безъ хлѣба. Силы же въ землѣ очень мало, потому что она истощена многолѣтнею постановкою культуры. Китаецъ вовсе не даетъ отдыхать землѣ, и паръ при крайней дробности почвы у нихъ теперь не существуетъ

и не возможенъ, а плодосѣнное хозяйство имъ неизвѣстно. Потому что китайцамъ, по недостатку скота, нельзя имѣть сильнаго удобрения, а вслѣдствіе крайней дробности земли и по началамъ семейнаго эгоизма для нихъ невозможны ни паръ, ни общинное пользование земель, они по необходимости должны были избрать для культуры такое растеніе, которое, при этихъ скудныхъ хозяйственныхъ условіяхъ, приносило бы наибольшія выгоды. Такимъ растеніемъ оказался рисъ, хлѣбъ очень бѣдный азотомъ и потому ненуждающийся въ сильномъ животномъ удобреніи. Рисовыя поля удобряются рѣчнымъ иломъ съ самой незначительной примѣсью какого нибудь другого скуднаго удобрения.

Отъ тѣхъ же причинъ зависитъ еще и другая сторона китайскаго земледѣлія. Китайцамъ нельзя разводить растеній, требующихъ сильнаго навоза, а потому у нихъ почти не сѣется ленъ и канопля; но они замѣняются шелкомъ, хлопчатникомъ, корнями и, корой разныхъ растеній. Сборы шелка и хлопка хотя и очень велики, въ безусловныхъ величинахъ; но по отношенію къ размѣру населенія шелковая и бумажная производительность вовсе не велика и потребление тканей очень ограничено. Вообще Китай, не смотря на благопріятныя климатическія условія, производитъ продукты, не отличающіеся большимъ разнообразіемъ, потому что дробность земельного владѣнія не позволяетъ давать землѣ ту силу, какая для того необходима и принуждаетъ по преимуществу замѣнять недостатки навоза тщательностію обработки и утонченнымъ ручнымъ трудомъ, вотъ почему китайское земледѣліе и похоже скорѣе на садоводство.

Отъ тѣхъ же причинъ зависитъ, что китайцы разводятъ чай, требующій исключительно ручнаго ухода, а не виноградъ.

Такимъ образомъ Китай является страной, производящей предметы роскоши, какъ шелкъ, тонкія ткани изъ коры и корней, чай, фарфоръ и въ тоже время онъ не производитъ предметовъ наиболѣе необходимыхъ для жизни, какъ мясо, вино, пшеница, шерстяныя ткани. Понятно, что при такомъ состояніи народной производительности приходится по необходимости вмѣсто телятины, баранины и говядины ѣсть крысъ, мышей, півокъ и улитокъ и вмѣсто вина пить чай, достигая возбужденія опиумомъ, потому что чай замѣнить вина не можетъ. При ограниченности производительныхъ средствъ приходится по необходимости замѣнять продуктивность экономіей, и когда не помогаетъ и она умирать отъ голоду и холоду. Читатель конечно умилится предъ отеческой заботливостію

китайскаго правительства, берущаго съ каждаго изъ своихъ подданныхъ только по 35 в. въ годъ и возмущился жестокостію англійской королевы, требующей съ англичанъ по 15 р. съ каждаго. Но и умиленіе, и негодованіе были не основательны: если бы англичане были бы также бѣдны какъ китайцы, то и съ нихъ брали бы не болѣе 35 в.; а если бы китайцы были бы также богаты, какъ англичане, то сынъ неба, конечно не задумываясь, взялъ бы съ нихъ по 15 р. и точно, также, не задумавшись, нашель бы для нихъ свое употребленіе. Все дѣло въ томъ, что китайцы бѣдны, потому что производятъ мало; а производятъ они мало потому, что ложные принципы лишили китайцевъ свободы. У китайцевъ есть министерство музыки, а музыки нѣтъ; у нихъ есть министерство правды, а народъ развращенъ ложью и обманомъ всякихъ сортовъ; у нихъ императоръ самъ пашетъ землю, а хлѣба отъ этого ни у кого не прибавляется. Формализмъ и консерватизмъ связали всю страну и не оставили ни малѣйшей свободы для самодѣятельности народнаго духа; опека и руководство, вмѣсто того чтобы создать то благо, къ которому они стремились, произвели застой мысли, нищету и разныя экономическія бѣдствія, производящія въ теченіи многихъ вѣковъ постоянныя народныя волненія. По законченной организаціи внутренняго управленія и общественной жизни, Китай зовутъ страной цивилизованной; но истинной цивилизаціи въ немъ нѣтъ, потому что она возможна только тамъ, гдѣ есть свобода. Гдѣ нѣтъ свободы—тамъ Китай.—Изъ этихъ очерковъ читатель видитъ, что старая почтенная Европа вносить своимъ вмѣшательствомъ въ Китай только такіе элементы, отъ которыхъ онъ рискуетъ умереть съ голоду или затопить ее кровью своихъ ордъ, которыя рано или поздно бросятся за предѣлы своей истощенной страны.

Н. Шелгуновъ.

К Я Х Т А.

(ЗАПИСКИ МОЕГО ЗНАКОМАГО).

VII.

Выбранные «большинствомъ голосовъ», новые старшины начали свою общественную службу и продолжали ее, конечно, тѣмъ же, порядкомъ, какъ и предшественники ихъ, т. е. служили на пользу общества и государства и отслужили, какъ слѣдовало ожидать, съ честью. Приготовили и они отчетъ по приходу и расходу «добровольной складки» вмѣсто декабря къ апрѣлю.

— Да и куда съ нимъ торопиться? Какой чортъ читать-то становить, прости Господи! Вѣдь все равно лежать же ему въ конторѣ да гнить, утѣшали сами себя старшины.

— Ну понятное, господа, дѣло. Вотъ я припоминаю, когда-то Андрей Яковлевичъ служилъ, такъ онъ вмѣсто декабря едва къ июлю приготовилъ отчетъ, да еще и то надо сказать, тогда отъ складки остались деньги тысячъ до двадцати.

— Вотъ какъ! И такой грѣхъ случился, что отъ годовыхъ расходовъ еще и остатки оказались? спросилъ я, случившійся какъ-то при этомъ разговорѣ.

— Да, остались. Но это только разъ и было, потому видители, какой-то добрый человѣкъ надоумилъ открыть свой кяхтинскій банкъ, ну и стали было приберегать деньжонки-то; скопилось тысячъ двадцать, да то же ничего не сдѣлали... Андрей Яковлевичъ ими пользовался полгода и едва отъ него ихъ кой-какъ вытащили; въ Москву, говорить, услалъ промѣнять на серебро для общественной выгоды. Стыдить ужъ стали всѣмъ обществомъ — было тогда шуму-то на всю слободу!

— Гдѣ-же теперь эта сумма?

— Да гдѣ? Ушла на текущіе расходы, — мало-ли здѣсь ихъ. Вы только подумайте, на какую ногу поставлена наша Кяхта, каждый скажетъ, что радушнѣе и хлѣбосольнѣе вы по всей Россіи не найдете. То и дѣло прїѣзжіе изъ Иркутска, власти тамъ разныя—честь нужно сдѣлать—вотъ и обѣдъ. Празднованіе открытія торговли 14 апрѣля, опять—обѣдъ. Наступленіе весны 1 май—обѣдъ. Масляница—обѣдъ съ блинами. Для себя отъ скуки сдѣлать то же надо въ годъ три четыре обѣда, ну для поддержки клуба нужно въ годъ отложить нѣсколько тысячъ... а разные текущіе расходы?..

И идетъ себѣ кяхтинское дѣло своимъ тихимъ манеромъ. Получаютъ комиссіонеры за комиссіи отъ иногороднихъ купцовъ по 1 р. 60 к. съ ащика и сколачиваютъ копѣйку, а добровольная складка доставляетъ имъ титулъ радушныхъ и хлѣбосольныхъ; нѣкоторые купцы получили даже золотыя медали за свое истинно-русское хлѣбосольство. Проходитъ годъ за годомъ, десятки лѣтъ за десятками, публикаціи отчетовъ никто не требуетъ и — благо имъ! Иной изъ любопытства напшеть изъ Москвы, что, дескать, какъ бы, господа, мнѣ почитать, куда пошли мои деньги, взятые по 40 к. съ ащика?—На улучшение торговли молъ пошли, почтеннѣйшій довѣритель! На улучшение торговли идутъ ваши денежки, — отвѣчаютъ ему отсюда, — а встать, имѣемъ честь вамъ почтительнѣйше доложить, что промѣняли ваши товары и серебро на чай отличнѣйшей доброты, лучшаго качества и полного вѣса—только собирайте барыши.

— Ну и ладно, успокоивается довѣритель,—40 копѣекъ не велика втица, а барышъ зашибить—это мы можемъ.

Другой, болѣе любопытный, не удовлетворяется отвѣтомъ, а требуетъ полного отчета и увѣдомленія, на какое такое улучшение пошли деньги? А прїѣзжайте,—отвѣтять ему купцы, въ Кяхту и читайте въ конторѣ старинныя, а намъ некогда разсылать конші по всѣмъ довѣрителямъ—ихъ вѣдь не перечесть даже...

— А изъ за чего жъ въ самомъ дѣлѣ мнѣ больно-то приставать, сообразить любопытный, польза отъ чаю хорошая, нечего Бога гнѣвить, и успокоится.

А Кяхтинскіе купцы продолжаютъ жить въ свое удовольствіе, думая вообще мало и вовсе не думая о томъ, что кругобайкальская дорога остается такой, какъ Господь создалъ ее въ первый день сотворенія міра; не приходитъ имъ на мысль и то, что по Байкалу суда качаются на волнахъ съ товарами по недѣлѣ и по двѣ въ виду

посольской станціи, не имѣя никакой возможности попасть въ про-рву (*), ибо никто и никогда не позаботился объ устройствѣ пристани. Платять купцы за провозъ товаровъ, по три и четыре рубля съ пуда изъ Иркутска до Томска, за 1,500 верстъ, и никто изъ нихъ даже не задумался о томъ, чтобы устроить рѣчной путь по Ангарѣ и Енисею.

Подходятъ отъ довѣрителей изъ Москвы товары, подвозить каждый почтовый день на пяти и шести тройкахъ серебро и золото да тайная дорожка неустанно протоптывается верховымъ, пробирающимися съ грузомъ драгоценныхъ металловъ. Все это и явно и тайно переходитъ въ руки смѣтливыхъ китайцевъ, а отъ нихъ принимаются партіи чаю и отправляется въ Москву. Китайцы накормятъ купцовъ до отвала своими многочисленными, разнообразными яствами, угостятъ ихъ горячимъ и крѣпкимъ виномъ «майгулу» и сами при такомъ торжественномъ случаѣ хватятъ черезъ край.

— Ну наша поторгова дѣла, Хайдзюйла еси (пьянь сталь) пліатеръ! угощаютъ они купившаго чай купца, счастливые и довольные выгодной продажей чаю.

— Отчего вы такъ скверно по русски говорите? спросилъ я однажды китайца и болѣе никогда не рѣшался повторить своего вопроса.

Онъ съ упрекомъ отвѣтилъ мнѣ на мой вопросъ, что мы, китайцы, хотя плохо, да все-же говоримъ на вашемъ языкѣ, а вы, русскіе, имѣя нѣсколько десятковъ лѣтъ китайско-русское училище— не выучились до сей поры ни говорить, ни писать по нашему.

— Да, подумалъ я. Правъ ты китаецъ, и нечего мнѣ тебя спрашивать болѣе объ этомъ. Правъ ты, потому что какъ ни на есть а говоришь по русски, хотя, можетъ быть, и не имѣлъ никакого желанія изучать его, да заботливое твое правительство не пускало тебя иначе въ Кяхту, какъ заставивъ предварительно выдержать въ Калганѣ (800 вер. отъ Кяхты) курсъ изуродованнаго кяхтинскаго нарѣчія.

Отчего-же наши русскіе молодцы не искусились въ этой грамотѣ? спросить пожалуй читатель.

Вмѣсто отвѣта я попрошу васъ зайти въ классъ и послушать, какъ преподается въ немъ китайская грамота.

Входимъ. Залъ довольно обширный, все въ порядкѣ, полы чисто вымыты, на скамьяхъ сидятъ опратно одѣтые мальчики, за сто-

(*) Весьма удобное мѣсто для гавани, если-бы порасчистить въ него входъ.

ломъ посреди комнаты возсѣдаетъ сѣдой и дряхлый старецъ, украшенный разными знаками отличій; передъ нимъ лежитъ большая широкая книга, «Грамматика китайскаго языка, составленная монахомъ Іакинфомъ». Сидитъ старецъ на стулѣ, упершись локтями на столъ, и ведетъ такую рѣчь:

— Былъ въ то время, господа, едва слышится его голосъ,—въ то время, говорю я, былъ въ Иркутскѣ мой благодѣтель и начальникъ генераль Р... Пригласилъ онъ меня къ себѣ. Это было въ тотъ годъ, какъ я возвратился изъ моего перваго путешествія въ Поднебесную имперію. Этакая, понимаете, честь: генераль къ себѣ въ гости приглашаетъ. Ну, понимаете, я отправился. Вхожу ея превосходительство изволятъ сидѣть по правую сторону дивана, а его превосходительство изволятъ на лѣвой...

Мальчики слушаютъ, гдѣ и какъ изволили сидѣть ихъ превосходительства, а сами строятъ изъ картъ домики или работаютъ что нибудь перочинными ножичками. Лекція о генераль съ супругой кончается. Еле-передвигающій ноги старецъ къ концу класса, какъ будто вспомнивъ о своей обязанности, скажетъ слова два-три о китайскихъ знакахъ, имѣющихъ два хвостика, и о знакахъ, имѣющихъ три хвостика, затѣмъ и покончитъ.

— Завтра, господа ученики, если будемъ живы и здоровы, поговоримъ о слѣдующихъ знакахъ, добавляя онъ, поднимаясь съ своего педагогическаго кресла.

А на слѣдующій день опять онъ рассказываетъ о какомъ нибудь генеральѣ.

Такимъ образомъ учится мальчикъ китайскому языку и, чрезъ нѣсколько лѣтъ, оканчиваетъ курсъ, проэкзаменованный тѣмъ же ветхимъ старцемъ. Послѣ экзамена поступаетъ мальчикъ на службу въ купцу въ Торговой Слободѣ, и три года тянетъ ляжку, переходя поочередно всѣ ступени служебныхъ обязанностей, начиная отъ чистки сапоговъ для прикащиковъ, до чистки игорныхъ столовъ въ хозяйскихъ апартаментяхъ. Когда онъ выростетъ и сдѣлается *парнемъ*, его посылаютъ въ Майматчинъ съ прикащиками принимать чай. Пройдутъ наконецъ еще три года, роковые три года необходимые для того, чтобы получить почетное гражданство...

— Что? что? спроситъ пожалуй удивленный читатель: почетное гражданство! за-что? какъ?

— За то, что мальчикъ учился сначала въ китайскомъ училищѣ, за то, что три года былъ въ услуженіи у купца, а въ концѣ

концовъ за знаніе китайскаго языка и за пользу, принесенную этимъ знаніемъ торгующему на Кяхтѣ купечеству въ торюющихъ его сношеніяхъ съ китайцами. Вотъ за что, читатель! А вы думаете, это легко? Не говоря уже про трехлѣтнюю службу, что стоитъ ему, бѣдному, ходить по домамъ купцовъ и вымалывать, какъ милости, подписи на аттестатъ, что *былъ полезенъ для торговли знаніемъ языка.*

— А чортъ-те держи, думаетъ купецъ, у котораго парень выпрашиваетъ подпись; что я извергъ что-ли какой, счастье у человека буду отнимать,—вѣдь у меня рука не отвалится, если я подмахну у него на бумагѣ? На, братъ, держи, не жалуйся на меня Богу.

Въ восхищеніи бѣжитъ парень съ аттестатомъ въ контору старшинъ, и пошелъ аттестатъ, куда надлежитъ, съ всеподданнѣйшимъ прошеніемъ: освободить, по силѣ закона, такого-то отъ всякихъ повинностей и податей за пользу, принесенную имъ русскою торговлѣ съ Китаемъ.

Много такыхъ освобожденныхъ, по силѣ закона, почетныхъ гражданъ вышло на божій свѣтъ изъ китайскаго училища, и по всей вѣроятности, теперь бы эти выходы продолжались, если бы почтенный педагогъ не отправился къ предкамъ. А по смерти его не нашлось другого знатока китайскаго языка, такъ что училище упразднилось. Къ лучшему это или къ худшему — судите сами.

VIII.

— А что Бураковъ, ты читалъ повѣстку отъ старшинъ? спросилъ меня однажды Сынковъ, сидя по обыкновенію на столѣ и постукивая ногою объ ногу.

— Нѣтъ, не читалъ, а что такое?

— А то, что насъ хотятъ просвѣщать, совѣтуютъ Иркутскую библиотеку купить, говорятъ, что дешево болѣе продается, а поэтому градоначальникъ и предлагаетъ нашему купечеству купить ее.

— Ну такъ что-же?

— А то, что завтра всѣ гурьбой ѣдутъ къ его пре-ству изъяснить ему полную и всегдашнюю готовность жертвовать всѣмъ для блага общаго... Ты ѣдешь? спросилъ Сынковъ.

— Отчего не ѣхать—подписку принесутъ, такъ конечно поѣду.

— Ну значить вѣдѣть катимъ—на одной скотинѣ.

Утромъ въ десять часовъ все общество, известное подъ названіемъ «Торгующаго на Кяхтѣ купечества», собралось въ домѣ старшинъ и, закусивъ вполтную, двинулось гурьбой въ г. Троицкосавскъ.

Пріѣхали. Всѣ столпились на крыльцѣ, пообчистили платье, сапоги и, перешoitываясь, стали подниматься по широкой парадной лѣстницѣ дома, занимаемаго градоначальникомъ.

Побаввались мы его превосходительства порядкомъ, и пушилъ же онъ насъ порой такъ, что боже упаси... Чего, чего бывало не наговорить онъ намъ. Съ часъ бывало продолжается распекающія за какую нибудь медленность по исполненію его распоряженія, касающагося торговой слободы. Горячо бывало говорить его пре-ство, размахивая руками, а общество жметя и тѣснитя у дверей, не смѣя произнести ни одного слова.

Вотъ почему такъ и перешoitывалось общество на этотъ разъ у дверей, условливаясь не перечить его превосходительству, а, значить, сейчасъ-же съ готовностію изъявить согласіе, потому—де что дѣло идетъ о просвѣщеніи.

Вошли тихонько, на цыпочкахъ, въ прихожую, шубы сложили всѣ на крыльцѣ, чтобы въ комнатахъ лишняго шума не дѣлать.

Доложили его превосходительству, и вылетѣлъ онъ свѣтлъ и ясенъ, какъ майскій день, приглашая всѣхъ садиться.

Купечество, которое побогаче, стало подвигаться къ стульямъ, остальные робко переминались съ ноги на ногу

— Садитесь, господа! садитесь! я васъ прошу—садитесь!... Вы понимаете, я терпѣть не могу подчиненности: всѣ мы люди и слѣдовательно—всѣ мы равны. Садитесь, господа!

Всѣ тихо размѣстились по стульямъ, около стѣны обширной залы.

Его превосходительство, сядя около столика и улыбаясь, смотрѣлъ, какъ усаживались купцы на стулья. Вѣдобрысыи купчие даже перекрестились и прошептали: «Господи благослови»—и осторожно опустился на кончикъ стула.

— Господа! началъ грозно и отчетливо его превосходительство,—вамъ, конечно, нечего объяснять, что значить образованіе, какое важное значеніе имѣютъ въ этомъ случаѣ бібліотеки. Я вполнѣ увѣренъ, что то самое общество, которое такъ хорошо умѣло поставить себя, то общество, которое пользуется такимъ почетомъ, никогда не откажется отъ моего предложенія, которое я сдѣлалъ чрезъ господъ старшинъ.

— Точно такъ—ваше превосходительство! отвѣчали нѣкоторые,

вставая на ноги. Мы, какъ вамъ извѣстно, никогда не отъезжались...

— Благодарю, господа! благодарю! я всегда былъ увѣренъ, что то общество, которое помогло мнѣ осуществить идею женскаго училища въ Троицкосавскѣ, и которое способствовало возстановленію приюта,—всегда было и будетъ передовымъ и современнымъ... Благодарю, господа, еще разъ сказалъ градоначальникъ и милостиво пожалъ нѣкоторымъ руки.

Общество молча кланялось и увѣряло, что оно готово на всякія жертвы и т. д.

И вотъ купцы купили въ Иркутскѣ у Шестунова бібліотеку, закрытую по какому-то особенному случаю и перевезли ее въ г. Троицкосавскѣ. Мигомъ была приготовлена квартира, поставлены шкафы, повѣшаны лампы, нанята бібліотекаръ и открыта читальная комната. Прошло съ полгода, оказалось, что на одну подписную сумму, получаемую отъ читателей, бібліотека держаться не можетъ, ну опять акциденцію потребовали. Еще прошло нѣсколько лѣтъ: подписчики въ бібліотекѣ не прибываютъ, да и книгъ что-то мало берутъ, развѣ кто «трехъ мушкетеровъ» побаловаться спросятъ, или про «двухъ Діавъ» полюбопытствуетъ прочесть. Думали, думали купцы, да и рѣшили перевезти бібліотеку въ торговую слободу: на наши деньги заведена — значить, наша собственность, такъ пусть-же хоть у насъ въ слободѣ будетъ.

Прошло нѣсколько времени еще. Дѣятельный градоначальникъ поправилъ въ городѣ тротуары, песчанія площади засыпалъ навозомъ и утрамбовалъ щебнемъ, поставилъ по улицамъ фонари, и вообще привелъ г. Троицкосавскѣ въ болѣе приличный видъ. Проѣдетъ онъ бывало на ворономъ рысакѣ по главной улицѣ, да и самъ залюбуется: на всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ вывѣски, на квартирѣ врача—тоже, у акушерки—тоже. Что же бы еще такое сдѣлать?—задумался надъ этимъ его превосходительство и порѣшилъ, что надо издавать въ Кяхтѣ газету.

Оповѣстили опять чрезъ старшинъ все торгующее на Кяхтѣ купечество и всѣ поѣхали опять въ домъ градоначальника. Его превосходительство радушно всѣхъ усадилъ, обласкалъ, повелъ рѣчь о заслугахъ купечества, о его значеніи какъ лучшаго и передоваго общества во всей Восточной Сибири и договорился наконецъ до изданія въ Кяхтѣ газеты. Купцы начали было немного туда-сюда отвергиваться: какъ-же молъ это, ваше превосходительство? что-же это такое? зачѣмъ намъ въ Кяхтѣ газета?

— А вы сами увидите, что это дѣло хорошее,—убѣждалъ градоначальникъ; я отъ васъ ничего не прошу, кромѣ матеріальной поддержки.

— Мы, конечно, ваше превосходительство, всегда готовы къ услугамъ, только знаете... оно какъ-то дѣя насъ не подходяще, потому мы люди торговые...

— Да поймите же вы, что мнѣ отъ васъ рѣшительно ничего не нужно, кромѣ матеріальной поддержки.

— А сколько, примѣрно, ваше превосходительство, эта самая газета будетъ стоить?

— Самое пустое,—какихъ нибудь тысячи три...

— Ну ладно, куда ни шло, ваше превосходительство, мы съ великимъ нашимъ уваженіемъ...

— Благодарю васъ, господа! это будетъ громаднѣйшій шагъ въ интеллектуальномъ развитіи кяхтинскаго общества... Это будетъ служить доказательствомъ вашего высокаго, передоваго положенія, вы первые дадите инициативу журналистикѣ въ Забайкальской области, говорилъ въ утѣшеніе купцамъ его пр-ство.

Поѣхали купцы отъ градоначальника, дали слово издавать въ Кяхтѣ газету. Черезъ полгода явилась типографія, наборщики и самая газета, подъ заглавіемъ «Кяхтинскій Листокъ», вышла въ свѣтъ. Всю работу приняли на себя нѣсколько чиновниковъ, составлявшихъ штатъ градоначальника. Въ первыхъ же нумерахъ успѣли кой-кого продернуть, между прочимъ попался купецъ Забуддыгинъ. Прочиталъ онъ *эту самую газету* и съ горя записъ.

— Да я его расшибу! только-бы онъ ко мнѣ свой носъ показалъ... У! на мѣстѣ задушу!... бушевалъ онъ на весь домъ, изрѣкая проклятія редактору.

— Эй, парепь! музыкантовъ.

Полночь была на дворѣ. Поскакалъ парень сломя голову за музыкантами, кой-какъ собралъ человѣкъ пятокъ.

— Играй, зарѣвелъ Забуддыгинъ входящимъ музыкантамъ и склонилъ на столъ голову. Музыканты заиграли камаринскую.

— У! рразбойникъ! кричалъ онъ, вскакивая со стула и торопливо хлѣбая водку.

— Играй! чортъ васъ задави! бормоталъ онъ, едва шевеля языкомъ.

Начинало уже свѣтать, когда Забуддыгинъ заснулъ подъ чиликанье едва игравшихъ отъ усталости музыкантовъ.

Редакторъ газеты никогда, конечно, болѣе не заходилъ въ домъ Забудыгина.

— Вотъ, господа, завели мы на свою голову этотъ Кяхтинскій Листокъ; за наши-же деньги насъ-же въ немъ и пробираютъ... да не долго имъ потѣшаться-то: только-бъ градоначальникъ уѣхалъ отсюда, мы тогда посвойски это дѣло обдѣлаемъ... толковали купцы.

— За грѣхи видно насъ господь... вздыхая говорилъ бѣлобрысый купчикъ.

— Вотъ мы ихъ всѣхъ проберемъ, говорилъ редакторъ.

Но на счастье купцовъ этого не случилось, ибо въ одинъ прекрасный день редакторъ Кяхтинскаго Листка волей божіею помре, и газета покончила свое скоропреходящее существованіе.

— Ну, слава тебѣ Христу Богу! съ радостію говорили нѣкоторые купцы: теперь, господа, чтобъ типографія даромъ не стояла, мы будемъ печатать вѣдомости о количествѣ ввоза и вывоза товаровъ.

— Оно и приличнѣе, потому наше дѣло коммерческое, а эта газета для насъ, прости Господи, только одинъ грѣхъ.

— А библіотека что? спросить читатель.

Библіотеку тоже, какъ вещь при торговлѣ совершенно лишнюю, распорядились купцы свалить въ пакгаузъ и привѣсили на дверяхъ ея тяжелые замки.

IX.

Пріѣхалъ жить въ Кяхту изъ Тары одинъ молодой купчикъ. Познакомился онъ со мной и съ Сынковымъ. Сынковъ живо сошелся съ нимъ за панибрата и началъ величать его Куликомъ Иванычемъ. Купилъ этотъ Куликъ Иванычъ себѣ лошадь и однажды вечеромъ приходитъ къ Сынкову съ жалобой.

— Вотъ братъ, Егоръ Иванычъ, у меня лошадь странная какая, говорилъ онъ съ удивленіемъ: чортъ ее знаетъ, что съ ней, только какъ слышитъ, что кто нибудь сзади ѣдетъ — бросится какъ бѣшеная, удержать не могу!

— Въ хорошихъ, значить, рукахъ была, подмигивая, объяснялъ Сынковъ.

— Въ какихъ же это хорошихъ рукахъ?

— Понятно: у контрабандистовъ была, да вѣроятно чѣмъ нибудь проштрафилась; упала, можетъ быть, въ ровъ, перескакивая съ

двумя ящиками чаю чрезъ двухъ-саженную ширину — вотъ и повели ее на базаръ — благо ребра себѣ не переломала... да ты, Кулинь Иванычъ, шупаль ли у нея ребра-то; бываетъ, другъ любезный, и такъ, что она бѣдняга, какъ ухнеть со всего маху на бокъ въ оврагъ, такъ ей чайнымъ-то ящикомъ пять-шесть реберъ и переломить!.. Ты посмотри у своей-то лошади, шутилъ Сынковъ.

— Ребра,-то у ней цѣлы, да страшно, чортъ ее возьми, ѣздить, какъ бѣшеная бросается въ сторону, намедни Собачкинъ сзади нагонять сталъ — я едва усидѣлъ въ экипажѣ.

— А ты верхомъ привыкай. Можетъ быть, послѣ самъ будешь контрабанду возить, такъ пригодится...

— Скажи, Егоръ Иванычъ, ты вѣдь здѣсь знаешь вся сокровенная,—скажи, много купцовъ здѣсь контрабанду провозятъ.

— Какъ вамъ, ребята, сказать? Парни вы, кажись, добрые, говорилъ онъ, въ раздумьи почесывая затылокъ, а чортъ вѣдь къ вамъ въ души-то ваши влѣзеть!.. Ну да ужъ слушайте что-ли: занимаются контрабандой не наши кяхтинцы, это было бы очень для нихъ низко, черная, значить работа, — для этой работы въ г. Троицкосавскѣ много всякаго народу есть...

— Да вѣдь очень хитро, выходитъ, надо провозить контрабанду. У васъ тутъ кругомъ всей торговой слободы идетъ высокій двухъ-саженный заплоть, вездѣ стоитъ стража и по всей границѣ тоже стража, охраняющая отъ ввоза контрабанды.

— Ты, мой милѣйшій Куличекъ, немного ошибся и невѣрно выразился; вѣрнѣе будетъ, если ты скажешь: *стража, охраняющая контрабанду*, объяснилъ Сынковъ.

— Какъ же это такъ?

— Да что таится? Былъ со мной случай: какъ-то разъ въ моемъ собственномъ дворѣ поймалъ было меня, — хотѣлъ, грѣшнымъ дѣломъ, черезъ заплоть переправить пудшкковъ тридцать чаишку, тутъ эти Пилатовы вонны — трахъ! Отняли они мое наживное добро, еле увернулся. Дурь на себя накинулъ я, объявление въ полицію подать, что вотъ сего числа ночью напали на мой домъ воры-разбойники. Ну и ничего, сошло съ рукъ.

— Такъ это же не доказываетъ, что стража охраняетъ контрабанду.

— Конечно не доказываетъ, съ усмѣшкой произнесъ Сынковъ, — а ты не будь дуракъ — заранѣе съ ними повидайся, почтеніе свое засвидѣтельствуй и условіе заключи, конечно на словахъ, а не на бумагѣ, что такую-то пошлину имъ предоставишь... Ты думаешь,

что одинъ все дѣло и обдѣлаешь? Нѣтъ, батюшка Куликъ Иванычъ, тутъ при сдѣлкѣ-то многихъ подмазать надо, а то бывають грѣхи немалые. Купить, напримѣръ, кто нибудь изъ мелкотравчатыхъ у пограничныхъ казаковъ чай, заплатить имъ впередъ деньги и за чай, и за доставку, да еще и самъ при чаѣ пробирается вмѣстѣ съ козаками темной ночью около заплота; а казаки еще съ вечера отцу командиру своему на ушко шепнули: ваше благ—іе, моль, неугодно ли вамъ въ 12 часу ночи на такое-то мѣсто прибыть съ шестью козаками. Его благородіе, какъ разъ въ полночь, и летитъ имъ навстрѣчу; крикъ, шумъ, выстрѣлы холостыми зарядами... Козаки какъ будто струсятъ и побѣгутъ, купившій чай конечно вслѣдъ за ними, не подь судъ же ему идти, а его благородіе везетъ чай съ триумфомъ въ таможеню. По дорогѣ онъ къ себѣ на квартиру завезетъ $\frac{7}{8}$, а остальную $\frac{1}{8}$ часть предъявитъ торжественно директору и членамъ, съ докладомъ, что вотъ, дескать, поймали контрабанду, отбили ее послѣ ожесточенной схватки, но контрабандисты, пользуясь темной ночью и имѣя быстроногихъ коней, скрылись. Его благородіе раздѣлитъ съ козаками добычу и — слава Богу.

— Вотъ какъ! тутъ значить козачьимъ офицерамъ вальготно?

— А ты думаешь, такъ и есть, все по чести да по совѣсти, эхъ ты! откуда же у барона явилась пара сѣрыхъ съ ухорскимъ кучеромъ, а? Развѣ, получая въ годъ 300 р., можно такое блаженство себѣ предоставить? А К—кій? Да онъ отсюда увезъ столько денегъ, сколько у насъ съ тобой и у нашихъ дѣтей не будетъ, несмотря на то, что К—скій въ карты проигрывалъ по тысячамъ... Но все это еще не высшій слой контрабандистовъ. Въ высшемъ слоѣ контрабанднаго искусства такъ рисковать не будутъ — тамъ совсѣмъ иная механика. Для этого дѣла есть у нихъ такія тихія мѣста, *затончики*, по нашему. Есть они и въ Майматчинѣ, есть и въ «воровской паднѣ», и въ этихъ-то затончикахъ и обдѣлывается все сложное дѣло, тамъ и чай въ кожу зашьютъ, и пломбы собственнаго приготовления повѣсятъ на каждый ящикъ, и двинуть партію, какъ слѣдуетъ, приличную — ящиковъ въ 200 или 300.

— А попадутся?

— Попадаться ненужно, для этого держи ухо остро... только бы съ версту отъ Кяхты отойти транспорту, а ужъ тамъ если и таможеня нагрянетъ со всѣми своими членами, то ничего ровно не подѣлаешь, потому что все въ порядкѣ.

— А если по таможеннымъ книгамъ отероютъ, что такой партіи

и такой фамилии через таможеню не проходило и пошлина не оплачена,—что тогда? спросил удивленный Куликъ Иванычъ.

— Дудки! милый человекъ, дудки! Заруби ты себѣ на носу, что наканунѣ выхода контрабандной партіи вывозится через таможеню, той же фамилии и въ томъ же количествѣ ящичковъ, партія чаю и очищается эта партія пошлиной. Если начальство поймаетъ за городомъ контрабанду, то, сейчасъ и отвѣтъ готовъ: вотъ, молю, мать-таможня, это онъ-то самый и есть, а долго мы стоимъ тутъ потому, что телѣги у насъ поломались. Первая же партія съ чаемъ очищеннымъ пошлиною, спѣшитъ соединиться съ другими партіями и тогда никакая провѣрка невозможна; не задержать же для этого на дорогѣ тысячи три ящичковъ чаю: купцы убытокъ понесутъ отъ промедленія и пожалуй за такое усердіе иной чиновникъ и въ Сибирь можетъ спутешествовать...

— Да мы и то въ Сибири...

— Ну, назадъ въ Россію пѣшкомъ. Спла, братцы, солому ломить, какъ бы она ни топырилась. Иной начальникъ потрусилъ бы, хотя знаетъ, что контрабанда идетъ, да боится ее тронуть: Богъ дескать съ ней, пока мои бока еще цѣлы! Стрѣляютъ же контрабандисты очень ловко. Однажды мнѣ одинъ изъ нихъ рассказывалъ: Гнались, говоритъ, за нами человекъ шесть верховыхъ; ну, конечно, гдѣ имъ догнать насъ — мы за лошадей по три да по четыре сотни платимъ... Гнались они за нами и отстали далеко, только собака одна не отстаеетъ — гонится и лаеетъ; какъ, говоритъ, Пятериковъ обернулся да выстрѣлилъ, такъ ее на мѣстѣ и положилъ — не взвизгнула! Мы, говоритъ, пріѣхали съ чаемъ, куда слѣдовало, и Пятериковъ сталъ спорить, что пуля его въ самый лобъ собакѣ попала, — на сто рублей поспорили они и поѣхали утромъ смотрѣть, — дѣйствительно такъ между глазъ и всадилъ!

Я уже былъ отчасти знакомъ съ подобнаго рода исторіями и спокойно слушалъ повѣствованіе Сынкова, а Куликъ Иванычъ даже языкъ высунулъ и глаза вытаращилъ — диву дивовался!

— Расскажи еще что нибудь о контрабандѣ, приставаешь онъ.

— Что, занятно видно? спрашивалъ Сынковъ, помужички упирая руки въ боки.

— Ну расскажи, приставаешь опять Куликъ.

И начиналъ Сынковъ рассказывать, какъ контрабандой провозится въ Кяхту съ пріисковъ золото, *песочикъ*, по мѣстному выраженію; какъ нѣкоторые изъ большихъ тузовъ наживаютъ себѣ этимъ капиталы и жертвуютъ отъ своей благодѣтельности нѣкоторые

крохи на церковныя ограды, на колокольные часы, и проч. и проч. И дѣйствительно, все это выходило очень занято...

X.

Непріятно подѣйствовали на все кяхтинское общество слухи о перемѣнахъ, угрожавшихъ кяхтинской торговлѣ. Московскіе купцы писали въ Кяхту, что поголовно подаютъ Государю прошеніе и заключаютъ его словами: «Спаси, погибаемъ». Кяхтинское купечество призадумалось и тоже порѣшило послать прошеніе. Старшины назначили для этого чрезвычайное собраніе, въ которомъ долго трактовали о томъ, какъ писать прошеніе Государю. Вспотѣли бѣдные купцы, но придумать ничего не могли. Послали за управляющимъ общественной конторой.

— Акимъ Акимычъ! какъ бы эту бумагу перебѣлнить, да тамъ, значить, на счетъ этой самой граматки... Вотъ видите-ли какое время пришло; вѣдь на Высочайшее имя надо...

— Слушаю-съ, надо будетъ Егорова-съ. Онъ мастеръ на эти дѣла, хорошо пишетъ, можно-съ, почтительно докладывалъ управляющій.

— Что-же, господа, надо полагать, съ эстафетой просьбу-то?

— Конечно, дѣло спѣшное, оборони Богъ, не опоздать бы, значить... говорилъ Петръ Ѳедоровичъ, торопливо набивая носъ табакомъ.

— А по пути однако надо-съ и генераль губернатору дать знать, такъ и такъ, молъ...

— Да видно и тово... надо будетъ... Такъ и такъ, дескать, посылаемъ вотъ...

— Погодите, господа, пусть прочитаютъ намъ вслухъ—каково оно написано.

— Акимъ Акимычъ, дай-ко ся сюда бумагу-то... Андрей Ивановичъ ужь потрудитесь, какъ тамъ обчество, значить, порѣшило.

Андрей Ивановичъ началъ: «Ваше императорское величество! Вопросъ о кяхтинской торговлѣ...

— Пойдите, пойдите, закричалъ Андрей Яковлевичъ, искоса поглядывая на собравшихся,—это не тово... неловко, даже неприлично: какъ же можно,—сейчасъ ваше величество и сейчасъ: вопросъ! Нѣтъ, нѣтъ это, воля ваша, неприлично...

— Да, оно, точно какъ будто человекъ чего-то, поддерживаетъ другой.

— Господи помилуй! вздыхая шепчетъ бѣлобрысый купчикъ.

— Да вѣдь это все равно, что «честь имѣю» или: «имѣю честь» — слышится изъ угла голосъ купца Лукошкина.

— Нѣтъ ужь, Алексѣй Михайлычъ, вы всегда либеральничаете; вы ужь пожалуйста молчите... Тутъ, видите, какое важное дѣло.

— Позвольте, Андрей Ивановичъ, я полагаю лучше написать: «О бяхтинской торговлѣ вопросъ разсматриваемый»... Какъ, господа, вы находите? говорилъ, косясь на всѣхъ, Андрей Яковлевичъ.

— Ну-о-ся, Андрей Ивановичъ, дальше-то какъ?

Андрей Ивановичъ продолжалъ.

— Вотъ это ловко! это, значить, въ порядкѣ, за это спасибо, говорили купцы своему коноводу, Андрею Ивановичу.

— Акимъ Акимычъ, веди-ко, братъ, переписывать, думать тутъ — больше нечего, сегодня въ ночь и дернемъ эстафету.

— А объ чемъ генераль-губернатору-то писать?

Андрей Ивановичъ даетъ такую мысль: нужно написать, что торгующее на Бяхтѣ купечество, въ память покоренія Амурскаго края и посѣщенія Бяхты его высокопревосходительствомъ, въ общемъ своемъ собраніи положило: соорудить по дорогѣ на Усть-Керанъ памятникъ, который увѣковѣчитъ славу его высокопревосходительства — ну а потомъ, значить, вотъ молъ такъ и такъ: слухи молъ ходятъ нехорошіе; примите участіе и т. д. Въ этомъ родѣ и составить. Я сейчасъ набросаю.

— Ужь пожалуйста, Андрей Ивановичъ, просятъ купцы товарища.

— Акимъ Акимычъ! Скоро-ли тамъ у васъ?

— Сейчасъ, сейчасъ откликается Акимъ Акимовичъ изъ другой комнаты, гдѣ онъ зорко слѣдилъ за перепиской Егорова, который, скрючившись въ три погибели, старательно выводилъ разныя узорчатыя буквы.

— Теперь, на какую же сумму памятникъ соорудить? Да, и зачѣмъ этотъ памятникъ? слышался голосъ Макарьева: вѣдь это, значить, ребята, даромъ деньги бросать; кабы въ городѣ, ну оно ничего, какъ будто для красоты примѣрно а то дѣло-то выходитъ не совсѣмъ чисто.

— Ахъ, Степанъ Михайлычъ, вы точно Лукошкинъ возстаеетъ противъ общества, стыдно. Вѣдь вы не мальчикъ; вамъ поди скоро 60 лѣтъ стукнетъ, уговариваютъ Макарьева.

— Да вы чево ребята, я не противъ общества, отвѣчаетъ скон-

фуженный Макарьевъ: я только спросилъ, зачѣмъ за городомъ на дорогѣ памятникъ строить?

— Нельзя, политика того требуетъ: тамъ мы провожали генераль-губернатора на Амуръ, шампанское пили, въ память значить событія, объясняетъ Андрей Ивановичъ.

— Ну, какъ знаете, ребята, говоритъ Макарьевъ, отчаянно махая рукой.

— Боже милостивъ буди мнѣ грѣшному, слышится вздохъ бѣлобрысаго купчика.

— Эй, Акимъ Авимычъ, что-же это, какъ у васъ тамъ копаются; готово-ли?

— Сейчасъ, сейчасъ! Всего пять строкъ осталось... Егоровъ не торопись, не испакости бумаги, наставительно говорилъ Акимъ Акимычъ Егорову, усердно выводящему красивыя буквы.

— Ну-то прочитайте-ко еще разъ, посмѣваемъ еще маленько, заговорили купцы, когда Акимъ Акимычъ принесъ переписанную бумагу.

Акимъ Акимычъ прочиталъ.

— Теперича важно! Подписывайте-ко, Андрей Яковлевичъ, сначала вы...

— Нѣтъ, господа, Настоятелева сначала надо бы...

— Мѣсто ему оставьте... Онъ не откажется, потому бумага нужная, важная.

Начались подписи. Пришлось чередъ бѣлобрысому купчику.

— Послушайте, говорятъ ему, вы всегда пишете «второй купецъ», а гильдію пропускаете,—пишите—второй гильдіи, потому бумага важная.

Бѣлобрысый купчикъ перекрестился и началъ водить перомъ по бумагѣ; нѣсколько головъ внимательно слѣдило за нимъ.

— Теперь «гильдіи», пишете: глаголь, иже... ну, ну, ладно.

Бѣлобрысый купчикъ тяжело вздохнулъ и отеръ потъ.

— Макарьевъ! вы тоже всегда пишете, Богъ знаетъ, какъ, пожалуйста ужъ постарайтесь.

— А я вотъ, ребята, смѣкаю все, зачѣмъ это по эстафетѣ-то гнать эту бумагу? заговорилъ Макарьевъ:—еще можетъ статья сорока на хвостѣ принесла новость-то, а вы ужъ и испужались... Сколько годовъ жили мирно и ничего не было; зачѣмъ же теперь-то стануть перемѣнять? хорошо вѣдь и по старому...

— Ахъ, Степанъ Михайлычъ, толкуйте тутъ еще, только сер-

дите. Кто говоритъ, что по старому худо; въ томъ-то и штука, что про насъ говорятъ, а не мы ее выдумали,—перемѣну-то.

— А вы не всякого слушайте, мало-ли чево говорятъ—долбилъ себѣ Макарьевъ.

— Толкуй тутъ съ вами! Поймите,—торговлѣ угрожаетъ опасность, объясняли ему купцы.

— А все же, значить, съ почтой выйдѣе, чѣмъ съ эстафетой, потому сотенъ пятокъ сбережется, толковалъ Макарьевъ, преданный экономическимъ расчетамъ.

Никто не отвѣчалъ на экономическій выводъ Макарьева, и окончивъ подписи, купцы молча разошлись, на этотъ разъ даже безъ всякаго угощенія. Понурили они свои головы, и въ первый разъ запала въ нихъ мысль о будущности хорошаго кяхтинскаго дѣла.

— Вѣкъ жить—не поле перейдти, сказать одинъ изъ купцовъ, надѣвая шубу.

— Это точно, поддержалъ другой, спускаясь съ лѣстницы.

— А все-же-бы, по моему, съ почтой выйдѣе, бормоталъ Макарьевъ, усаживаясь въ экипажъ.

ХІ.

— Что ваши дѣла? спрашивали на другой день китайцы: что время худѣ что-ли?

— Очень худое время, говорилъ купецъ; англичане хотятъ помѣшать нашей торговлѣ, да и помѣшаютъ, пожалуй.

— Чорта, дѣла поговори! Чево напрасны. Занамосила побольшанъ. Сандаза (войско) пушка попали одина раза, санчи кругло буду (изъ пушки какъ выпалятъ, всѣхъ сразу убьютъ),—хвалился китаецъ.

— Тутъ братъ темное дѣло, неизвѣстно, кто кого перехитритъ, говорилъ русскій.

— Наша сила жестоки! горячился китаецъ и показывалъ большой палецъ правой руки въ доказательство своего превосходства надъ англичанами: не погнивайся; нама сама жестоки еси...

— Да ты чево кричишь-то по напрасну, уговаривалъ русскій.

— Я совсѣма, кричи нехичи, я только така покажи, кавой-ва нама манерь еси, говорить успоковнаясь китаецъ.

Эстафета ускакала въ Питерь. О чемъ же писали и чего просили купцы, спросить читатель. Просили поддержать торговлю, очень полезную для всего края, просили разрѣшить ввозъ серебра неограниченно, и не дозволить ввоза чаю черезъ Европу; но если ужъ такой милости не будетъ, то просили сбавить пошлину и таможенно перевести изъ Кяхты въ Иркутскъ, освободивъ Забайкалье отъ пошлины, или даже совсѣмъ уничтожить ее. «Такъ какъ дальность разстояній и дороговизна провозной платы,—писалось въ прошеніи, слишкомъ тяжело отзывается на торговлѣ». Андрей Ивановичъ пустился въ литературу съ своими доказательствами о необходимости поддержки кяхтинской торговлѣ.

— А что, Андрей Иванычъ, вѣдь намъ, надо полагать, пошлину уничтожать, потому мы цѣлый Сибирскій край кормимъ, спрашивали купцы у своего коновода.

— Надо бы полагать, потому всѣ мѣры приняты. Если ужъ не уничтожать, то все же сбавить, принимая во вниманіе дальность разстояній и многія другія причины.

— Ужъ вы, Андрей Иванычъ, пишите позабористѣе, упрасивали купцы.

— Это мы смекаемъ, самодовольно отвѣчалъ Андрей Иванычъ.

Сдѣлали, значить, свое дѣло. Написали прошеніе на высочайшее имя; послали просительныя письма къ властямъ предержавшимъ, наострили Андеря Ивановича, и стали спокойно ожидать послѣдствій. Кругобайкальскую дорогу нашло нужнымъ исправлять правительствомъ (она, между прочимъ сказать, до сихъ поръ еще не исправлена). Путь изъ Иркутска до Томска остался тотъ же, и о пути по рѣкамъ Ангара и Енисею перестали даже и думать.

Дѣло пошло своимъ старымъ порядкомъ. Прошло лѣто, осень и зима. Въ мартѣ получилась январская книжка «Современника», Андрей Ивановича шарахнули въ ней, говоря: что литераторъ-археологисте представляетъ собой образецъ крайняго, но злостнаго скудоумія, и будущее русское купечество будетъ краснѣть за подобные темные подвиги своихъ предковъ *).

Андрей Ивановичъ не отвѣчалъ. Ему было не до того, онъ отступился отъ общественныхъ дѣлъ, для исправленія своихъ собственныхъ. Купцы остались безъ защитника въ литературѣ и предлагали 500 руб. тому, кто бы написалъ въ защиту ихъ *позабористѣе*.

*) «Современникъ» 1862 г. Январь, Современное Обзореніе.

тѣ и отдѣлалъ бы «Современникъ.» Такого искусника однако не оказалось.

Прошло еще года два. Старшины по старому отслуживали свою годовую службу и смѣнялись новыми. Таможня, каждый годъ въ декабрѣ, повѣряла дѣла купцовъ и все оказывалось вѣрно. Выбирались опять старшины, принимали присягу на вѣрность и честность службы—задавались по этому случаю обѣды, и дѣло шло себѣ такъ же спокойно и привольно, какъ и прежде.

Въ февралѣ 1862 г. изъ Китая возвратился уполномоченный отъ русскаго правительства. Купцы слышали о дозволеніи свободной торговли внутри Китая, но не знали, что дѣлать съ этимъ дозволеніемъ и какъ понимать его. Градоначальникъ цѣлые дни ѣздилъ по домамъ купцовъ, упрасивалъ ихъ дѣлать общественныя собранія, являлся на нихъ самъ и уговаривалъ купцовъ открыть дѣло внутри Китая.

— Да какъ-же теперича сдѣлать это, ваше превосходительство? что же мы, значить, тамъ будемъ дѣлать? Здѣсь покрайности мѣсто у насъ обсиженное и теплое,—отвѣчали купцы, задумываясь и почесывая затылки.

Градоначальникъ горячо принимался доказывать имъ необходимость воспользоваться правомъ свободной торговли внутри Китая и, послѣ долгихъ трудовъ, уломалъ нѣсколькихъ купцовъ отправить туда караванъ. Заключили купцы съ монголами условіе, снарядили караванъ, и 16 марта 1862 года, послѣ молебствія, окропленный святой водой, онъ двинулся съ русскими товарами и серебромъ внутрь Китая, подъ предводительствомъ нѣсколькихъ молодыхъ купцовъ.

Одинъ изъ властей, замѣтивъ, что мѣстный градоначальникъ имѣлъ большое вліяніе на купцовъ, остался этимъ очень недоволенъ и много повредилъ самой торговлѣ. Ужъ чѣмъ она была предъ нимъ виновата—господь знаетъ!—Онъ послалъ въ Петербургъ донесеніе, что купцы отправили въ Китай гнилые товары. Слышно было, что изъ Петербурга послано было повелѣніе министру-резиденту въ Пекинъ освидѣтельствовать русскіе товары—на томъ основаніи, что китайцы глупы, чего добраго, пожалуй гнилое возьмутъ, но что изъ этого вышло—неизвѣстно.

Черезъ нѣсколько дней послѣ отправки каравана въ Китай у кяхтинскихъ купцовъ случился неслыханный кззусъ. Въ гостинном дворѣ изъ пакгауза, въ которомъ хранилось въ обезпеченіе пошлины золото и серебро, похищено того и другого на 28,000 р.

Часовые не выдали похитителей, замки на дверяхъ пакгауза были цѣлы и печати на сундукахъ тоже. Дѣло это было, кажется, очень темное, потому что само общество всѣми средствами старалось замять и потушить его...

Одинъ изъ молодыхъ купцовъ подалъ было объявленіе таможенѣ, требуя разслѣдованія дѣла, но купцы такъ на него взѣлись, что бѣдный не зналъ, куда и дѣваться. Даже самъ энергическій градоначальникъ и тотъ написалъ къ купцамъ официальную бумагу, въ которой, высказывая сожалѣніе о постигшемъ ихъ несчастіи, — называлъ молодого купца *образцомъ нравственной несостоятельности за то, что выдалъ своихъ*. Все это дѣло было замято и кончилось, такъ сказать, семейнымъ образомъ. Изъ акциденціи, помнитса, одолжили нѣкую сумму, да одинъ изъ старшинъ, по добротѣ, вѣроятно, заплатилъ остальные деньги изъ своего кошелька.

Хотя въ отзывѣ о нравственной несостоятельности градоначальникъ высказался въ ущербъ самому себѣ, но тѣмъ не менѣе, благодаря исключительно его энергіи, съ 1862 года русскіе водворились внутри Китая, хотя и въ незначительной степени. Изъ прошедшихъ трехъ лѣтъ свободной торговли въ Китаѣ еще пока не видно никакихъ осязательныхъ результатовъ. Гг. Ивановъ, Окуловъ и Токмаковъ открыли торговый домъ внутри Китая. На послѣдней московской выставкѣ были у г. Иванова чай, будто-бы съ своихъ арендуемыхъ плантацій. Все это выходитъ очень красиво и заманчиво, но, зная хорошо средства ихъ торговаго дома, — грѣшный человѣкъ, — смѣю усомниться въ нѣкоторыхъ извѣстіяхъ. Досто-вѣрно знаю только то, что преобладающее вліяніе внутри Китая находится въ рукахъ англичанъ, которые уже успѣли въ Хальбоу открыть до шестидесяти торговыхъ домовъ.

Что же случилось съ кяхтинской торговлей послѣ разрѣшенія свободной торговли, сбавки пошлины, перевода таможи въ Иркутскъ и ввоза чаю черезъ Европу?

Купцы на первый годъ потеряли на нижегородской ярмаркѣ большіе убытки, на второй годъ, вслѣдствіе дурного выбора чаевъ, привезенныхъ кругомъ свѣта, кяхтинскіе чай имѣли большое преимущество предъ привезенными морскимъ путемъ (именно только поэтому, а не по причинѣ будто-бы порчи чая отъ перевозки моремъ), торговля опять ожила до нижегородской ярмарки настоящаго года.

На устройство пути внутри Китая и для развитія тамъ торгов-

ли назначенъ особый сборъ съ каждаго ввозимаго изъ Китая ящика чаю.

Какъ распоряжаются теперь этой суммой, достигается-ли она своего прямаго, должнаго назначенія, или такъ же, какъ пресловутая «добровольная складка», безслѣдно и безконтрольно исчезаетъ изъ общественной кассы, доставляя кунцамъ только одно названіе радушныхъ и хлѣбосольныхъ? Да и собирается-ли теперь эта «добровольная»? Не опомнились-ли господа довѣрители и стали требовать публикаціи отчетовъ?

На всѣ эти вопросы пусть отвѣтятъ тѣ, которые поймутъ всю важность и необходимость подробнаго раскрытія торговыхъ дѣлъ предъ читающей публикой.

БАРИНЪ И НЕ-БАРИНЪ.

(изъ Фаллерзобсна)

Что обязанъ баринъ дѣлать для того,
Чтобы быть достойнымъ званья своего?
Съ дѣтства не учиться ровно ни чему,
Но кричать, что славно обученъ всему,
Ночи за игрою въ карты проводить,
Днежь долги лишь дѣлать съ тѣмъ, чтобъ не платить,
Знать какъ можно хуже свой языкъ родной,
Но французскимъ сыпать съ ловкой быстротой,
Щеголять костюмомъ, домомъ, лошадьми
И отнюдь не знаться съ бѣдными людьми...
Вотъ что долженъ баринъ дѣлать для того,
Чтобы быть достойнымъ званья своего.

Что не-баринъ долженъ дѣлать для того,
Чтобы быть достойнымъ званья своего?
Жить не такъ, чтобъ думать только о себѣ,
Съ честью подвизаться въ жизненной борьбѣ,
Честными трудами хлѣбъ свой добывать,
Трезвою наукой умъ обогащать,
Все клеймить, что гнусно, глупо и смѣшно,
Дѣйствовать и думать съ правдой за одно;
Лучше жить въ несчастьи и нуждѣ большой,
Чѣмъ хоть разъ рѣшиться покривить душой...
Вотъ какъ жить не-баринъ долженъ для того,
Чтобы быть достойнымъ званья своего!

И. Вейнбергъ.

ГОДЪ ЖИЗНИ.

XXXVII.

Раскатовъ вошелъ въ залъ. Дѣвушка за фортепiano. Онъ поклонился. Она продолжала играть. Легкая краска вспыхнула на ея щекахъ.

— Она, рѣшилъ Раскатовъ.

Въ первый разъ юноша видѣлъ дѣвушку, которая не была похожа на то, что встрѣчалось въ мастерской художниковъ. Будь въ ней капля кокетства, заиграй оно хоть въ одной ноткѣ, Раскатовъ опредѣлилъ бы, что это лицо знакомое ему давно; но этотъ легкій полуоборотъ, чѣмъ-то спугнутый полупоклонъ, застѣнчивость, замѣшательство—все говорило въ разъ, что это не то, что тамъ. Точно на картину Иванини, засмотрѣлся онъ на руки, по локоть обнаженныя, на щечку, вспыхнувшую отъ волненія, и на кушакъ, крѣпко обнявшій дѣвушку. И меланхолическая швея (которая ломалась передъ нимъ въ окно), и веселая цвѣточница (которая смѣялась съ нимъ въ саду)—все погасло въ лучахъ этого новаго свѣтила. А ужъ о томъ: куда новое свѣтило манило, — просто, махни рукой!

Сомовъ извинился передъ Раскатовымъ, что безпокоилъ его, двинулъ почетное кресло, предложилъ сигару, и, что всего неожиданнѣе—предложилъ давать уроки сыну; словомъ, приготовить въ гимназію брата той же институтки. Раскатовъ согласился; Сомовъ тоже согласился на условія учителя, прибавилъ даже, что постарается быть полезнымъ ему чрезъ свояка при университетѣ,—и тутъ же рѣшили начать уроки завтра.

— Софи, вотъ тотъ господинъ Раскатовъ, о которомъ ты мнѣ надоѣла съ распросами, началъ отецъ, проходя черезъ залъ. — Дѣло въ томъ, что у ней есть письмо отъ Миши, и она до сихъ поръ не могла вамъ передать его. Посылали къ Иванини, тамъ отвѣтили безтолково. Потрудитесь пождать — она принесетъ.

Сомовъ раскланялся и ушелъ. Дѣвушка убѣжала за письмомъ, а Раскатовъ остался въ залѣ.

Первое знакомство молодыхъ людей было какъ-то неловко. Раскатовъ предложилъ нѣсколько вопросовъ о братѣ.

— А вы часто бываете у папаши?

— Въ три года разъ.

— Будто? спросила она съ удивленіемъ.

— Теперъ впрочемъ буду часто. Завтра начну учить вашего брата.

— Пьерочку?

— Да, Пьерочку.

— Въ гимназію?

— Въ гимназію.

— А!

На этомъ неопредѣленномъ а! и остановился весь разговоръ. Читатель видитъ, что въ немъ не высказалось ровно ничего. Да такъ оно и бываетъ въ началѣ знакомства. Какъ дѣти въ лѣсу, они только пробовали, звучно ли отдается это милое эхо — голосъ человѣка, и видно остались довольны.

— А не дурна, рѣшилъ Раскатовъ.

— А не такой хорошенькій, какъ я думала, заключила институтка, и спѣла «Сѣреньяго возлика».

XXXVIII.

Не хорошенькій учитель началъ уроки. Ничего не предвидѣлось сначала. Занятый чтеніемъ какого нибудь «Космоса», «Судебъ Италіи», новой учительской профессіей, Раскатовъ былъ холоденъ, молчаливъ и коротокъ въ отвѣтахъ, а дѣвушка, присутствующая иногда при урокахъ, заводила такія разсужденія о географіяхъ, діалогахъ и дикціонерахъ, что учителю оставалось только сказать: «чистѣйшая институтка.» По

временамъ Раскатовъ, глядя на нее, думалъ: «а хорошо бы написать съ нея картину. Какъ все въ ней легко, мило, беззаботно... А иногда тоже сдвигаются бровки. Неужели и ей хочется заглянуть въ этотъ омутъ—жизнь? Зачѣмъ? Жила бы себѣ, какъ «вольная птичка...» А она, поглядывая на него, думала свое: умный, должно быть, этотъ Раскатовъ, — жаль, что учитель!.. Страхъ надоѣли мнѣ эти учителя еще въ институтѣ!» Такъ молодые люди и посматривали другъ на друга, какъ учитель и институтка.

Но что такое эта институтка? Здѣсь я считаю необходимымъ повороche познакомить читателя съ Софьей Николаевной.

Съ тѣхъ поръ, какъ для образованія завели у насъ въ институтахъ даже кухни, я не знаю, подъ какимъ соусомъ приготавливаютъ дочерей нашихъ. Но въ то время, какъ идетъ мой рассказъ, подъ словомъ *институтка* подразумѣвалась дѣвушка, у которой альбомъ вмѣсто сердца, вокабулы вмѣсто головы, невинно-плохенькіе стихи отъ подруги вмѣсто знаній, и невинно-плохенькія мечты о душѣ-милашкѣ учителѣ въ палевыхъ перчаткахъ и — только! Въ Сомовой это подрасилось кокетствомъ, полученнымъ по наслѣдству отъ маменьки, и на опытный взглядъ Столицкаго изъ нея въ самомъ дѣлѣ предвидѣлось что-то въ родѣ *звѣзды*. Но такъ-какъ кокетство, по выпускѣ изъ института, выказывалось крайне робко и застѣнчиво, то неудивительно, что Раскатову казалась она мила и проста. Да въ настоящую зиму ей и не удалось развиться, какъ слѣдуетъ: Сомовъ передалъ дочь подъ управленіе родной тетки, вліяніе которой было другого рода. Катерина Петровна Тенисова была вдова, ханжа, пустосвятка, словомъ что-то въ родѣ ревизора по женскимъ монастырямъ. Боялась она чертей, простуды, грѣха, насморку и черныхъ глазъ, которые сглазили ее до смерти. Въ домашнемъ быту страдала свуквой, резонерствомъ, охами, вздохами, истерикой и сосаніемъ подъ ложечкой, а въ обществѣ звалась она «женщиной богобоязненной». Къ племянницѣ она была въ такихъ же отношеніяхъ, какъ пастухъ къ овечкѣ, даже гуляли онѣ вмѣстѣ, чтобъ овечку не похитилъ волкъ. Въ общество Софью Николаевну возилъ самъ представительный отецъ, а на балы она являлась съ дочерью предсѣдателя Белиберды, которая воспи-

тывалась дома, и, по словам папаша, имѣла понятіе о свѣтѣ. Какое имѣютъ понятіе о свѣтѣ наши домашнія барышни, мы сейчасъ пояснимъ. Свѣтъ для нихъ залъ, гдѣ зажжены люстры. Для выѣзда въ этотъ свѣтъ маменьки готовятъ ихъ особеннымъ манеромъ; заставляютъ насильно знать музыку, невинно складывать ручки á l'enfant, изящно отвѣчать «oui» и «non» и наконецъ сидѣть, ходить и спать прямо, какъ палка. Тѣмъ и оканчивается все ихъ образованіе. Въ другихъ проявленіяхъ жизни онѣ не слишкомъ глубоки: интересны, когда молчатъ, несносны, когда резонируютъ, я милы только издали и притомъ челоуѣку незнакому. Такова была подруга Сонички, дочь предсѣдателя Билиберды, тоже Софи. Описывать ее долго: желтая, сухая и злая дѣвка, вѣчно неподступная и жеманная. Общаго между ними было только—имя да чинъ: обѣ Сонички, обѣ дочери статскихъ совѣтниковъ. Да развѣ еще въ то время, какъ статскіе совѣтники садились въ карты, двѣ Сонички вмѣстѣ танцовали и гуляли по залѣ. Въ домашнемъ быту Софья Николаевна была предоставлена на произволь самой себѣ.—«Ты теперь большая, Софи», говоритъ ей отецъ. «Ты, что хочешь, можешь дѣлать: — и писать, и рисовать, и пѣть, и играть, и даже романъ читать, — но только пожалуйста французскій».—Хотя папаша зналъ по французски только одно слово Sophie, однако не шутя всѣхъ увѣрялъ, что французскій языкъ—первый языкъ въ свѣтѣ и что на немъ можно чрезвычайно остро, легко и мило говорить. Только по субботамъ отъ французскаго тетка переходила къ славянскому и съ ужасомъ узнавала, что племянница не умѣетъ даже молитвенника читать. Съ величайшимъ негодованіемъ отзывалась она объ институтѣ Двухвосткиной и всѣмъ, даже вучеру Митрофану, жаловалась на пустоту настоящаго образованія дѣвушки, безъ молитвъ. Соничкѣ на сонъ грядущій читала она по цѣлымъ часамъ разную мораль.

Вотъ какова героиня моей повѣсти. — Будемъ продолжать рассказъ.

Дѣловой папенька на службѣ, или въ клубѣ, строгая тетка въ молельнѣ, или у обѣдни. Въ домѣ безлюдье, скука и тишина, Софья Николаевна одна дома.

Скука загоняетъ ее въ классную — тамъ говорятъ, — отчего не послушать? Временемъ она стала замѣчать, что учитель

приносить съ собой что-то живое и веселое, отъ чего оживаетъ этотъ мертвый домъ. И за работой, и за романомъ, и за фортепiano слышится ей, какъ Пьеръ заливается звонкимъ хохотомъ. Идетъ узнать: отчего весело въ классной? Оказывается, что учитель читаетъ какую нибудь басню и объясняетъ наглядно: какъ «мишенька, не говоря не слова, увѣсистый булыжникъ въ лапы сгрѣбъ, присѣлъ на корточки...» и т. д. «А у васъ тутъ весело», оправдываетъ Софья Николаевна свой приходъ. Учитель начинаетъ объяснять значеніе какого нибудь сѣмьчка, снѣжинки, цвѣточной пылинки и всему даетъ свой серьезный и дѣльный толкъ. А она незамѣтно просидитъ до конца.

Завтра опять тоже. Весело въ комнатѣ Пьера. Лицо его сіяетъ живымъ удовольствіемъ и жарко слушаетъ онъ, какъ учитель рассказываетъ ему про чудеса природы.

— Какъ онъ хорошъ въ эту минуту! думаетъ Софья Николаевна, засматриваясь на брата.—Какъ загорѣлись глазенки внимаемъ, и — не смигнетъ. Вѣрно онъ любитъ учителя? Да, хорошо онъ говорить. — И Софья Николаевна тихо уйдетъ.

— Спасибо, не мѣшаетъ, думаетъ учитель.

— Пьерочка, ты любишь учителя? спросила однажды сестра.

— Да, Соня. Какъ не любить, онъ хорошо говорить.

— Я приду васъ сегодня послушать.

А голосъ Раскатова такъ и звучитъ по всей комнатѣ. Ученикъ опять съ него глазъ не спускаетъ...

Въ сторонкѣ Софья Николаевна; и съ увлеченіемъ прислушивается дѣвушка къ чтенію учителя... А легкая думка бѣжить въ головѣ — что-то тоскливое просится въ душу!

— Поучите и меня вмѣстѣ съ братомъ, обратилась она вдругъ къ учителю.

— Хорошо, поучу, отвѣтилъ онъ вяло. — А между тѣмъ кончимъ, Пьеръ: — у меня еще урокъ.

И Раскатовъ убѣжалъ на урокъ.

XXXIX.

— Ахъ, какая страшная эта мадамъ Стюпидъ! Какіе ужаснѣйшіе переводы задавала она въ институтѣ! Вообразите, по

сту страницъ! говорить ему на другой день Софья Николаевна.

— Ну! думаетъ Раскатовъ и молчить.

А вотъ мадмуазель Мальярія, та совсѣмъ въ другомъ родѣ. Представьте, отвратительная кошачья мордочка, и вѣчно улыбается и ласкается, точно хочетъ, чтобъ ее погладили. Такъ всё и звали ее *кисынькой*.

Но видя, что эти рассказы не интересуютъ учителя, Соничка принялась хвалить брата Мишеньку и университетъ.

— Отчего я не студентъ? начинаеть она, увлекаясь. Весело быть студентомъ. У нихъ балы, они вѣчно танцуютъ. И я тамъ была разъ на балѣ. Вообразите, Миша подговорилъ студентовъ, и я цѣлый вечеръ танцевала, ничего не пропустила, и т. д. безъ конца.

Раскатовъ конечно сердится, что она хвалитъ болвана Мишеньку, но въ тоже время ему милъ ея простой лепетъ, особенно желаніе — переродиться студентомъ.

Въ другой разъ бесѣда идетъ немного иначе. Софья Николаевна жалуется на свужу и подругу Софи.

— Это какая-то вялая, не живая, точно боится всего и спровазничать даже не умѣетъ. А вотъ тамъ у меня была подруга-вузина, одного выпуска — та большая провазница. Вообразите, что мы разъ надѣлали, просто ужась! Позвали къ окну мороженщика и наѣлись. А это лѣтомъ въ институтѣ строго запрещено. Такъ и думали: вотъ-вотъ войдетъ мадамъ Стюпидъ и закричитъ: «Mesdames, que faites vous là?»

— Ну, да! страшный вопросъ, что и говорить, думаетъ Раскатовъ сердито. Вѣдь есть же такіе отцы-глупцы, которые отдаютъ дѣтей на мученіе въ такимъ животнымъ и еще хвалятся, что они тамъ *воспитывались*.

Но когда Софья Николаевна поближе познакомилась съ важностію папеньки, занятого картами, фразами и будущимъ генеральствомъ, да покороче узнала тетку-ханжу, которая принялась пилить ее съ утра до ночи — ей въ самомъ дѣлѣ стало скучно не на шутку.

— Она мнѣ надоѣдаетъ наконецъ! жалуется дѣвушка. Вы представьте себѣ: вѣчно мораль!

— Велика ли ваша вѣчность? Софья Николаевна — два мѣ-

сяца съ половиной, возражаетъ учитель. Меня пилили двадцать лѣтъ!

Но когда Раскатовъ сообразилъ, что институтъ для нея былъ острогъ, да и домъ родительскій почти тоже, то ему стало ясно, что Софья Николаевна въ самомъ дѣлѣ скверно жить. Надо чѣмъ нибудь помочь.

Вопросы: чѣмъ и какъ? занимали теперь его всего. Но такъ какъ онъ и самъ не зналъ, въ чемъ заключается истинная жизнь человѣка, то, очень естественно, его еще больше сбивалъ съ толку вопросъ: что посоветовать ей? Советовалъ онъ и въ общество выѣзжать и танцовать, но въ тоже время думалъ: весело ли въ самомъ дѣлѣ умной дѣвушкѣ въ этомъ омутѣ пустоты, газа, юбокъ, свѣта и фразъ безъ конца? Советовалъ онъ ей и читать — но что? опять вопросъ! Занятый серьезно, онъ предложилъ ей тоже серьезное. Но «Космоса» его она не только не поняла, а даже въ мѣсяцъ не прочла, и еще солгала, что читала весь!

— Что жъ ей дать? рѣшалъ головоломный учитель, да такъ и не рѣшилъ.

Дѣвушка впрочемъ сама рѣшила этотъ вопросъ, и гораздо естественнѣе и проще его.

Разъ Раскатовъ засталъ Софью Николаевну совершенно довольною своимъ чтеніемъ. Горѣли ея щеки, свергали глаза.

— Что вы читаете? спросилъ онъ, засматриваясь на ея личико.

— Пушкина.

— Пушкина? Его читать вамъ опасно...

— Почему опасно? спросила она съ удивленіемъ.

— Такъ. Не одну вскружилъ онъ голову.

— Чѣмъ же?

И дѣвушка вся превратилась въ слухъ, думая услышать отвѣтъ, который давнымъ давно занималъ ее всю. И отъ мадамъ Стюпидъ, и отъ мадмуазель Малярія, и отъ маменьки самой, она еще въ дѣтствѣ слыхала: что кто-то, кому-то, зачѣмъ-то голову кружить. Но кто, кому и зачѣмъ? этого ей никто не сказалъ. На вопросъ, размучивающій ея жгучее любопытство, мадмуазель Малярія только улыбалась, мадамъ Стюпидъ только огрызалась, а маменька говорила просто, но чрезвычайно темно: «выростешь большая, узнаешь сама». — Но вотъ она

выросла большая. Самъ папенька на дняхъ сказалъ: «ты теперь большая стала».

— А все я ничего не узнала? Какъ же это такъ? думаетъ Софья Николаевна, и чрезвычайно обрадовалась, что учитель прямо говоритъ: «Пуцвинъ голову вружить». Остается узнать: чѣмъ?

— Что же вы молчите? спросила она, настойчиво.

— А что вы читаете? перебилъ ее Раскатовъ.

— «Кавказскаго плѣнника».

— Дайте, я вамъ лучше прочту «Пророка».

Она подала книгу.

«Пророка» Раскатовъ читалъ наканунѣ своему ученику и читалъ, конечно, съ большимъ увлеченьемъ, такъ какъ самъ онъ былъ мечтатель и поэтъ съ головы до ногъ. Неудивительно, что и теперь онъ прочелъ «Пророка» съ такимъ жаромъ и съ такою страстью, что у молодой дѣвушки занялся духъ отъ волненья...

— Ахъ, какъ вы хорошо читаете! невольно проговорила она, когда Раскатовъ закрылъ книгу.

— А вамъ понравилось?...

Учитель взглянулъ ей прямо въ лицо, и точно электрическій токъ пронесся сквозь страстное и молодое тѣло — онъ вздрогнулъ весь.

— Прощайте. Урокъ... заговорилъ онъ точно въ смятеніи, и тутъ же побѣжалъ на урокъ.

XL.

Въ тотъ же вечеръ, за чайнымъ столомъ, Софья Николаевна говорила о томъ: какой славный учитель Раскатовъ, какъ хорошо все объясняетъ, какъ его любитъ Пьерочка и какъ наконецъ сама она находитъ, что такого умнаго учителя не было въ институтѣ.

— Какъ хорошо стихи читаетъ, папаша. Онъ мнѣ сегодня «Пророка» читалъ.

— Пророка? спросилъ родитель важно.

— Да, папаша.

— Это Лермонтова, кажется, «Пророкъ»?

— Нѣтъ, папаша, Пушкина.

— А, да, Пушкина.

Послѣдовало важное молчаніе.

— Все пустяки, душа моя, началъ еще важнѣе родитель.

И Пушкинъ, и «Пророкъ» — все пустяки. Опять-таки повторяю: читай больше по-французски.

— А Пушкинъ развѣ не хорошъ?

— Конечно нехорошъ передъ какимъ-нибудь Шатобрианомъ, Ламартиномъ и тамъ еще... (Папашѣ хотѣлось еще выдвинуть французскую знаменитость, но знаменитость такъ и не выдвинулась изъ его головы)!

— А знаешь, кто этотъ Раскатовъ?

— Кто?

— Шорникъ, душа моя, брякнулъ родитель.

— Что такое шорникъ, папаша? спросила дочка съ любопытствомъ и недоумѣніемъ.

Папаша разразился хохотомъ, всталъ и поцѣловалъ ее въ лобъ.

— Мило, душа моя, мило! Ты даже не знаешь: что такое шорникъ?

— Нѣтъ, папаша! — институтка покраснѣла, предполагая что-то стыдливое.

— Шорникъ — ничто. Это все равно, что твой вучерь Митрофанъ.

Что-то родовое, гордое и презирающее заговорило въ Софьѣ Николаевнѣ, но она переломила себя и высказалась чуть слышно:

— Онъ такой умный, папаша.

— Вотъ забавно! Какъ будто у насъ нѣтъ умныхъ мужиковъ?

Папаша всталъ и вышелъ.

Но этотъ безумный родитель самъ не звалъ, какую вутерьму посѣялъ онъ въ простой и мечтательной головкѣ безтолковой институтки. Софья Николаевна изъ этого разговора съ отцомъ не выяснила себѣ ничего. «Что это такое? думаетъ она. Отчего Пушкинъ не хорошъ, когда такъ мило напиеть? Отчего Раскатовъ мужикъ, когда такъ умно говоритъ? Ничего я тутъ не понимаю!»

— А спрошу я его? мелькнуло вдругъ въ головѣ ея. — Но какъ заставить его говорить? онъ вѣчно молчитъ.

И Софья Николаевна задумалась надъ тѣмъ, какъ заставить учителя говорить?

«Чудакъ», думаетъ молодой читатель. Дѣвушка такая свѣженькая, миленькая, мечтательная, сама заговариваетъ, сама интересуется, а онъ не интересуется ею нисколько.

Были причины. Чудаковатость Раскатова выработалась въ немъ жизнію, бѣдностію и обстоятельствами, и глубоко залегла въ основу его души. Это тотъ тяжелый характеръ, съ которымъ человѣку справиться не легко. Вотъ что писалъ онъ къ Ивану въ послѣдній разъ:

«Другъ! я такъ много пережилъ за этотъ годъ, что у меня занимается духъ отъ вопроса: что будетъ дальше? Признаюсь, если такая ломка продолжится еще—не выстоитъ ни сердце, ни голова! Чепуха всѣ наши убѣжденія передъ дѣйствительною жизнію на-яву. Въ гимназіи, какъ сказкой, забавляли насъ законами чести и совѣсти, а заглянувъ въ омутъ житейскій, я столкнулся съ такими Волчихами и Лихошерстами, что у меня сразу отпала охота вѣрить въ честь и совѣсть людей. Я приобрѣлъ горячку; опытъ научилъ, что это люди-дрянь, отъ которыхъ можно отвернуться, плюнуть и бѣжать. Но вотъ вопросъ: куда? Гдѣ наши *новые*, свѣжіе люди? Глядя на жизнь окомъ художника и поэта, я забрелъ въ ту же грязь, отъ которой съ ужасомъ отвернулся и бѣжалъ. Теперь меня занимаютъ иные люди. Это наше такъ называемое *благородное* сословіе. Камеро и Столицкій это уже не то, что Волчиха и Лихошерсть. Сколько ни утѣшаю себя мыслію, какъ философъ: «что жизнь есть трудъ, что трудъ дѣло святое; но когда я увидѣлъ, какъ они живутъ, пляшутъ и поютъ, то у меня родился простой, логическій вопросъ: почему же для нихъ жизнь—свѣтъ и наслажденіе, а для меня—только подвалъ да тьма, болѣзнь да трудъ и вѣчный трудъ безъ конца! Горекъ вопросъ, но еще горше, другъ, его безотрадное рѣшеніе. Я проклялъ нашу барскую жизнь и по прежнему работаю день и ночь. Во снѣ мнѣ снится университетъ—это убѣжище отъ презрѣнія и нищеты. Завидую тебѣ, философъ, ты понялъ истину, умѣешь жить, а я?... Богъ знаетъ, что такое я въ настоящую минуту? Въ гимназіи умъ мой бродилъ, какъ израиль въ пустынѣ, и ни одинъ Моисей не указалъ ему истиннаго пути, да и теперь стоитъ онъ точно

въ степи безъ дорогъ! Все во мнѣ страшно деморализовано и извращено. Точно не разнообразіе, а безобразіе русской жизни изпробовалъ я! Тутъ слава и успѣхи мошенника Столицкаго, тамъ бѣгство благороднаго кавалера Камеро, тутъ гнетъ, рабство и моя нищета, а тамъ прикрытіе буквой закона какого-нибудь канальи Лихошерстова — все это до такой степени не мирится во мнѣ, что я рѣшительно теряю *здравый смыслъ*.

«Вотъ тебѣ состояніе моей головы. О сердцѣ и говорить нечего. Оно съ дѣтства привыкло ненавидѣть людей, начиная съ матери и отца. Часто, можетъ быть, и мнѣ хотѣлось броситься на грудь моей Катеринѣ Михайловнѣ, но тогда она меня оттолкнула, а теперь, другъ, въ могилѣ лежитъ — такъ и схоронилась съ нею моя дѣтская любовь! Не помани ее лихою. — Вы, друзья и товарищи, замѣнили мнѣ семью, мать и отца; о васъ я вспоминаю часто: что будетъ съ нами черезъ десять-пятнадцать лѣтъ? Кто встрѣтитъ кого? Кто откликнется кому? Кто встанетъ изъ насъ, какъ волосъ, кто подкосится, какъ былинка, и что насъ ждетъ впереди?... Оторванный отъ васъ, я оторванъ отъ моей родной почвы. Я застываю, ледею, — здѣсь мнѣ некого любить! *Одного* только любилъ я чело-вѣкъ, какъ друга, но онъ оттолкнулъ меня предъ отъѣздомъ и теперь заперлась моя душа. Отогрѣеть-ли ее кто животворнымъ лучомъ? не знаю.

«Вотъ тебѣ моя исповѣдь: я помню свое прошлое, швольное, но въ немъ нѣтъ ничего похожаго на любовь. Къ женщинѣ-идеалу я питалъ одно благоговѣніе, и ближе никогда не подходилъ. Въ душѣ моей, точно въ туманѣ давнопрошедшаго, носится образъ Сонички, дочери Ивановны. Это одно отрадное впечатлѣніе моего безотраднaго дѣтства. Но Соничка умерла, значитъ и воспоминаніе о ней тоже умереть! Теперь, пожалуй, есть и другая Соничка — живая... Смотри на нее, я могу воскресить образъ прошлаго. Меня даже волнуетъ что-то настоящее, но что? — я и самъ не знаю, что! — «Пора любви», говорятъ поэты, но что такое эта «пора любви»? я и самъ не знаю.. я даже боюсь моей «пору любви». Любовь для меня все: это моя горячка, въ ней жизнь или смерть, и нѣтъ тутъ середины! Ты видишь по письму, я трушъ-человѣкъ. Но достаточно одной ласки хорошей жен-

щими, чтобы воскресить въ этомъ трупѣ жизнь. Вотъ какъ понимаю я женщину. Вотъ какъ хотѣлъ бы я любить!—Но кого?..

— Что вы такъ задумались? спросила Софья Николаевна, удивленная выраженіемъ его лица.

— Я? спросилъ Раскатовъ, точно просыпаясь.

— Не знаю-съ. Кончимъ, Пьеръ.

И учитель опять убѣждалъ.

XLI.

— Вотъ вамъ билетъ въ концертъ, говоритъ Неплюевъ. Благодарю за Пьерочку. Извините, я его экзаменовалъ.

— Очень радъ.

— А вы тамъ, батюшка, дѣлаете успѣхи. Вчера Софья Николаевна такъ васъ расхваливала, что я чуть-чуть не сказалъ: «Эй, дѣвка, выдь за него за мужъ, скажешь спасибо старину».

Раскатовъ промолчалъ.

— А милая дѣвушка, эта Соничка. Вотъ поучитесь и женитесь.

Раскатовъ махнулъ рукой.

— Что? Славная невѣста,—съ состоянцемъ.

— Не для насъ.

— Это почему?

— Не отдадутъ, конечно, за нашего брата.

— Генеральство помѣшаетъ?.. это вздоръ въ наше время.

Сами будете генераломъ.

— Ну!—Раскатовъ отчаянно махнулъ рукой.

— Нечего—«ну». Пророчу: будете. А меня сватомъ выбирайте,—лихо обработаю это дѣльцо. И фракъ купимъ новый, и перчатки отличныя, еще и мазурку отхватимъ! Старикъ подпрыгнулъ на пружинахъ.

— Съ креслами? спросилъ молчно Раскатовъ.

— Смѣйтесь! А вамъ пора...

Зала благороднаго собранія была заставлена стульями и франтами. Все ожидало выхода какого-то Пучини, знаменитость, прибывшую изъ Полангена и давшую въ Стерлитамагѣ концертъ. На эстрадѣ, обитой сукномъ, стоялъ рояль Камеро.

Изъ боковыхъ дверей выглядываютъ офиціанты. Два-три господина отыскиваютъ съ вѣмъ-бы поболтать. Сквозь оркестръ прорываются крикливые голоса:

— Нѣтъ, ma tante, я съ вами не согласна. Одна безтолковая бѣглость.

— Ахъ, ma chère, какъ кричишь! Ну услышать, передадутъ?

— Но жаль, что такъ ломается за фортепiano—отвратительно смотрѣть, рѣшилъ помѣщикъ, запуская руки въ карманъ.

— А съ чувствомъ ломается, согласитесь? добавилъ Столицкій.

— Ну, Владиміръ Петровичъ, вы видѣли игру моей жены—она такъ не корчится?

— Храни богъ, зачѣмъ же съ?—Столицкій прикусилъ нижнюю губу.

Сосѣдки захихикали надъ острою.

Въ углу партія дѣвицъ. Во главѣ ихъ жолтая Софи Белиберда, а передъ ней учитель пѣнія, французъ Матьеръ, съ рыжей испаньелкой, несетъ музыкальную ченуху.

Въ отдаленіи отъ всѣхъ—женщина среднихъ лѣтъ; когда-то недурная собой, но выстрадавшая свою молодость и праесету въ порывахъ благородной страсти. Лицо ея измучено, и въ музыку она вслушивается страстно и глубоко.

— Ну, матушка дочка, привезла ты меня въ черту на кулички, ораль Севрюгинъ Дунюшкѣ. Ай-ай, подумаешь, глупъ нашъ братъ сивобородникъ. Какой-нибудь мусье поджарый побранчить тѣ на форто-плясы, а ты вываливай ему два цѣлковыхъ! Дурачье мы, бить не кому, отцовъ нѣтъ!

— Глядятъ, титенька, на насъ.

— Мнѣ что, пожалуй гляди. Я, чай, тоже деньги далъ. Пушай глядятъ, а я все буду говорить: «дурачье». Не будь онъ мусье и денегъ бы не давали, а вышелъ мусье, ну и отдашь; шабашъ,—не разговаривай.

— Полноте, тятимъва.

— Что «полноте» — дѣло говорю. Вонъ онъ, впшь, сюда идетъ. — Эй, святая душа на постылахъ, Саша! валяй къ намъ цо близости.

Расватовъ, чтобъ не быть предметомъ вниманія, сѣлъ по близости.

— Ты тоже за деньги?

— Конечно.

— Вишь ты! И мы, братъ, за деньги, да жаль. — А что не знаешь: фигляръ-отъ скоро выйдетъ?. А то пойдёмъ-воли въ буфетъ, пропустимъ...

Передніе ряды обернулись къ говорящимъ; Раскатуво стало совѣстно — на него взглянулъ Столицкій.

— Вотъ, скотъ-то, ругнулъ Раскатуво, прихватывая шляпу.

— Годи маленько! Куда, лѣшій! уговаривалъ Севрюгинъ, вырывая шляпу.

Въ эту минуту вошелъ Сомовъ съ дочерью, и Раскатуво едва узналъ Соничку. Здѣсь она была вовсе не то, что дома: будто выше, стройнѣе и граціознѣе — настоящая красавица.

— Сомова, Сомова! пронесся попотъ по залѣ.

— Фу, чортъ, какъ хороша она сегодня!

Столицкій всталъ посреди залы и великолѣпно раскланялся. Сомовъ пригласилъ его по-ближе.

Концертъ былъ недуренъ. Но Соничка и Столицкій не слушали ничего. Облокотясь на кресло своей дамы, онъ вралъ какую-то чепуху, а она поватывалась со смѣху. Левъ пожиралъ глазами ея обнаженныя плечи, а Раскатуво пожиралъ издали обоихъ. Наконецъ онъ не выдержалъ, протѣснился въ дверямъ и тоже, въ подражаніе Столицкому, бойко расшаркался предъ Софьей Николаевной, но Сомовъ такъ оглянулъ его съ ногъ до головы, что учитель сгорѣлъ со стыда и поспѣшилъ удалиться....

XLII.

— Много было, Софи? спросила тетка на другой день за чаемъ.

— Еще бы немного, даже самъ господинъ Раскатуво! съзвалъ родитель.

— И этотъ туда же, Господи!

— Нельзя-съ. Такъ расшаркался передъ Софьей, я думалъ, чортъ знаетъ, кто.

Катерина Петровна возвела очи къ небесамъ.

— А онъ мило держать себя въ обществѣ, заступилась Соничка.

— Ты только не мила, душа моя: охота тебѣ улыбаться публично всякой дряни. Это компрометируетъ тебя.

— Чѣмъ же? спросила удивленная дочь.

— Очень понятно, «чѣмъ». Развѣ приятно, положимъ, Софѣ Кириловнѣ встрѣчаться въ обществѣ съ шорникомъ.

— Да онъ самъ, папаша, поклонился впередъ. Какъ же не отвѣтить?

— Не «неотвѣтить», а просто не замѣтить. Это не такъ важно. Для общества гораздо важнѣе, если ты замѣчаешь всякую сволочь.

Соничка замолчала. Простая и добрая дѣвушка никакъ не могла понять, какое важное преступленіе она совершила и за что заслужила выговоръ отца? И стыдно ей, что сдѣлала публично какую-то глупость, и досадно на отца, что объяснилъ ей неловкое положеніе.

— А непременно спрошу, кто его отецъ! рѣшила она.

А Раскатовъ выходитъ изъ себя. Въ классъ пришелъ недовольный, молчаливый, сердитый. Всю дорогу думалъ о Сомовѣ.

— Это, чертъ знаетъ, что такое! Ты тутъ изъ себя выходишь: бажета душу готовъ передать ребенку, не только голову, а они, скоты, поклониться тебѣ не хотятъ. — «Мы-ста деньги платимъ, за деньги у насъ будутъ учителя». Животное! Понимаешь-ли ты, что такое учитель? что значить онъ для твоего сына? Онъ, скотина, важнѣе тебя! Ты его родилъ, а я воспитаю; ты ему далъ жизнь животнаго, а я развиваю въ немъ жизнь человѣка! и т. д.

Конечно, Сомову можно бы простить его невѣжество. Наканунѣ только губернаторъ поздравилъ его генераломъ, и вотъ онъ, до официального утвержденія, держать себя такъ важно, какъ будто носить на головѣ полный стаканъ воды. Какъ-же влаться? Но Раскатовъ знать ничего не хочетъ, онъ знаетъ только одно, что его оскорбилъ невѣжа Сомовъ.

Но больше всего разсердила его Софья Николаевна. Сегодня она важно вошла и не замѣтила поклона учителя.

— А! изъ тебя тоже готовятъ Анну Петровну. Ты также будешь заѣзжать за калмыкомъ въ каретѣ, чтобъ онъ игралъ тебѣ даромъ, а завтра отвернешься, если человѣкъ не ну-

жель. Мы таких не любимъ!—И Раскатовъ такъ презрительно взглянулъ на Соничку, что она не знала, что подумать.

— Въ послѣднемъ письмѣ вамъ кланяется братъ.

— Кланяйтесь и ему. Впрочемъ мы четыре года кланяемся.

— Какъ это, я васъ не понимаю.

— Просто: у насъ шапочное знакомство.

— Какое?

— Шапочное.

— А!—Софья Николаевна ничего не поняла и тутъ же ушла.

Здѣсь я долженъ открыть едва замѣтную, но сильную черту въ характерѣ Раскатова. Онъ отъ природы былъ молчаливъ, и если говорилъ, то какими-то приступами — точно на него что находило. Сильно нужно было подстрекнуть умъ и чувство, равсщекотать самолюбіе и возбудить споръ, чтобъ онъ заговорилъ. Зато въ такія минуты выказывалась въ немъ такая страстная сила, что въ его кругу мало было людей, которые одерживали-бы надъ нимъ побѣду.

Такой паразитизмъ былъ въ настоящій день. Софья Николаевна жаловалась на тетку и отца.

— Полноте, Софья Николаевна, вы еще страждете! такъ-ли страждутъ люди? Вашъ отецъ что? вотъ у меня былъ отецъ, такъ отецъ!

— А кто вашъ папаша?

— Мой папаша?—мужикъ, пьяница, безобразникъ и сѣтина.

Дѣвушка вспыхнула и поблѣднѣла. Страшно ей стало съ непривычки, что Раскатовъ такъ безчеловѣчно отхваталъ покойника-отца.—«Не сумасшедшій-ли?» мелкнуло въ ея головѣ.

— Было время, я стыдился это говорить. Но маска мнѣ не въ лицу!.. — И затѣмъ проникнувшись какимъ то озлобленіемъ, съ страшной силой, точно разрывая себя, весь блѣдный, спокойно и холодно заговорилъ онъ: — Мой отецъ былъ шорникъ. Вы, конечно, не знаете, что такое шорникъ, я вамъ поясню...

И пояснилъ. Благородно и открыто высказалъ онъ все, что помнилъ изъ своего дѣтства. Грязныя и ужасныя сцены рисовалъ онъ о своемъ житьѣ-бытьѣ, о родной матери, объ от-

цѣ, о жизни въ подвалахъ и на чердакахъ. Коснулся воспитанія и Парамона, прятавшаго его въ подпечекъ отъ родительскаго благословенія; коснулся образованія и проклятой гимназіи, гдѣ умъ его блуждалъ. Говорилъ и о жизни въ домѣ ея отца, и о покровительствѣ ея матери, и все такъ безпощадно и безотраднo, что Софья Николаевна заговорила наконецъ: «Боже, сколько вынесли вы!»

— У васъ отецъ, у васъ есть мать, ваши страданія что!.. а я росъ безъ ласки матери родной!.. Пустыня вокругъ меня и я замкнулся самъ въ себѣ! Вотъ это страданіе!

Раскатовъ зарыдалъ. Софья Николаевна вздохнула.

— Конечно, чуждаясь людей, я не умру безъ общества. Въ листкѣ, цвѣткѣ и книгѣ—во всемъ могу найти я друга, совѣтника и утѣшителя. Но... Софья Николаевна, мертва природа безъ оживляющаго ее чловѣка, и мертва чловѣкъ безъ оживляющей его отвѣтной души. Страшно сказать, двадцать лѣтъ, какъ я въ пустынѣ, въ этой безднѣ жизни; я одинъ, не съ кѣмъ слова сказать отъ души!

Двѣ крупныя слезы были ему отвѣтомъ на эти слова...

Раскатовъ взглянулъ ей въ глаза, и тамъ напелъ такое теплое сочувствіе, передъ которымъ юноша потерялся весь. Точно электрическій токъ пронесся сквозь его пустыню-душу и озарилъ ее всю свѣтлымъ и новымъ бытіемъ.

Страшная сила, другъ читатель, въ словѣ чловѣка, но еще страшнѣе она въ его безукоризненныхъ и свѣтлыхъ глазахъ. Недаромъ ихъ зоветъ пословица «зеркаломъ души.» По-нятно, что увидалъ Раскатовъ въ этомъ зеркалѣ, когда взглянула на него она, полная сочувствія. Онъ не выдержалъ этого взгляда, и невольно опустилъ свои глаза. Точно укоръ совѣсти, пришли ему на память слова Владиміра Николаевича: «ребенокъ она»...

— Прощайте, я вамъ вздору наговорилъ, спохватившись, сказалъ ей Раскатовъ и быстро ушелъ.

— Что же это такое? зачѣмъ онъ ушелъ? думала Софья Николаевна.

XLIII.

— «Полно тебѣ пороть горячку!» пишетъ сердитый Иванъ:

«Отъ какаго лихого взгляду ты тамъ еще вздрогнулъ? Смори, братъ, чтобъ совсѣмъ тебя не сглазила Софья Николаевна! Я позволяю тебѣ Столицкому въ волокитствѣ подражать, но только, чуръ, дѣла не забывать. Это еще не важно, что ты видишь тамъ университетъ во снѣ; нѣтъ, ты увидь его наяву—вотъ тогда я тебѣ скажу спасибо. Скверно будетъ, если ты по теоріи Столицкаго изволочишься весь и вриѣдешь сюда съ пустой головой. Пророчу тебѣ: Зерцаловъ закатитъ поле, и ты такъ вздрогнешь отъ его взгляду, какъ никогда не удасться вздрогнуть отъ глазъ Сонички твоей. Его, братъ, взглядъ построже, нежели масляные глазки институтки. Ты просто приberi ee къ рукамъ» и т. д.

Раскатовъ швырнулъ циническое и грозное письмо. Холодомъ обдало его. Онъ сжалъ вулакъ.

— А все-таки правъ, скотина! Зачѣмъ я увлекаю дѣвушку. Что изъ этого? Мнѣ четыре года учиться, а ей?.. Да она въ это время сто разъ выйдетъ замужъ! Вздоръ, не хочу!

Но не такъ легко было справиться съ этимъ чувствомъ, какъ думалъ Раскатовъ.

Надобно было случиться бѣдѣ, чтобъ Раскатовъ, полный силъ, скопившій такую бездну чувства, вѣчно мечтательный и нервный, встрѣтилъ дѣвушку, которая затронула его. Можно вообразить, какую кутерьму произвела въ немъ провазница-любовь. И пищу, и сонъ, и покой, и сознательную мысль — все отняла она! Точно что оглушило, одурачило Раскатова. Не мирится онъ теперь съ своей скромной долей; не читается, не мыслится ему ничто: одна тоска и мысль—видѣть ee. Да и какъ не видѣть ee? Молода, хороша, страстна, невинна, робка, стыдлива,—словомъ, прелесть! А съ другой стороны: что скажетъ свѣтъ объ его отношеніяхъ къ дочери генерала, что скажетъ генераль, если замѣтитъ нѣчто, и какъ разразится онъ наконецъ, если узнаетъ все?.. Эта мысль давить ему мозгъ и вмѣсто счастья дарить цѣлый адъ сомнѣній и мукъ! А тутъ, какъ разъ, насталъ великій постъ: скука и тоска проникла во всѣ семьи, и Раскатовъ окончательно не знаетъ, куда ему дѣваться отъ скуки, гдѣ и чѣмъ разсѣяться?.. Идетъ онъ къ художникамъ. Алексисъ чуть живъ. Мишель мрачно смотритъ на друга и пипеть какаго-то святого. Иванни задалъ себѣ задачу: прочитать во время поста всю биб-

лію и теперь наслаждается ею. Все мрачно, мертво и скучно. Раскатовъ посидитъ и уйдетъ.

Идетъ отъ скуки къ Неплюеву, и тамъ тоже. Старикъ изговѣлся весь: на первой приобщался, на четвертой готовится, а на седьмой, если Господь сподобитъ, еще. Ни слова о Софѣ, ни шутки, ни намека. Спросилъ только: когда говѣли? И оттуда несетъ Раскатовъ одну мысль о грѣхѣ.

Хватаетъ онъ съ полки «Мечты Торквато», пробуетъ прочитать полстраницы и пробѣгаетъ всю. Вотъ чего искало страстное и распаленное воображеніе юноши. «Охъ, какъ этотъ великій сумасбродъ любить свою божественную Элеонору! Какъ онъ силенъ даже въ тюрьмѣ!» А въ головѣ хаосъ, нервы дрожатъ; въ воображеніи рисуется герцогиня феррарская, изъ угла смотрятъ глаза Софьи Николаевны, а изъ другаго Иванъ. Словомъ—въ головѣ такая дичь, что хоть брось! Фу, ты гадость! плюетъ Раскатовъ, посматривая на столъ. А тамъ неправильные латинскіе глаголы, недорѣшонная теорема, клокъ какого-то уравненія и чертъ знаетъ что!

— Чистѣйшая лихорадка! Вотъ весной-то удружить! И бѣжитъ юноша вдоль улицъ городскихъ согрѣться.

Завелъ Раскатовъ отъ скуки новое знакомство, какихъ-то чиновниковъ казенной палаты. Точно кассовая книга, итогъ или цифра, эти чиновники и въ домашнемъ быту. Сойдутся, надыются, раздерутся; а денегъ нѣтъ—скучно бряцать на гитарѣ или жалуются на предсѣдателя Беллберду, да на его попенія, и притѣсненія, и жизнь.

— И домой не пойду — со скуки умрешь! Раскатовъ бредетъ, богъ-знаетъ, куда.

А надъ нимъ блѣдно-голубыя небеса. Чуть видны далекія звѣзды. Тонкимъ туманомъ покрыта луна. Ночной легкой морозъ бодритъ, веселитъ. Скоро и бойко Раскатовъ идетъ. Вотъ и городъ къ концу. Потянудъ вѣтерокъ. Лачуга. Чуть капаетъ съ кровли и виситъ ледяной бородою вода. Передъ нимъ снѣговья поля, покрытыя тонкой хрустальной корой. Не играютъ снѣжинки алмазною гранью, но зато подъ лучомъ, какъ зеркало, сверкаютъ бѣлыя пятна воды. Дорога черная, какъ исполинскій змѣй, причудливо вьется по бѣлой пустыни и уходитъ въ далекія горы, богъ-знаетъ, куда.

Раскатовъ все дальше и дальше. Весело, звонко хруститъ

подъ ногами ледокъ. И вотъ онъ стоитъ на вершинѣ горы. Протаяло ея темя. Направо, налѣво торчатъ изъ сугробовъ камни-исполины, а дальше видѣвъ черный лѣсъ. Кругомъ все пустынно, мертво, но чутко и звонко; точно слушаетъ, что скажетъ живой человекъ.

— Вздоръ, не хочу! крикнулъ Раскатовъ, и страшно стало ему за самого себя.

XLIV.

Весна—пора любви. Охъ, эта весна! Охъ, этотъ май, соловей, роца и тѣнь, и пахучая сирень подъ окномъ, и блѣдный ликъ луны, задумчиво взирающій... и пр. Лучше ужъ не описывать всей этой чепухи. Расскажемъ попроще остальное.

Генераль замѣтилъ дочери, чтобъ она не мѣшала Петру.— «Теперь время важное; предъ экзаменомъ, надо дать учителю заняться посильнѣй.» А учителю прѣсто приказалъ: «чтобъ никто не мѣшалъ, запирайте класную на крючокъ.»

И крючокъ не помогъ. По прежнему Раскатовъ и Софья продолжаютъ восторгаться патетическими мѣстами Пушкина, которыя были тогда въ сильномъ ходу. Читали они и фрегатъ Надежду, будто куда-то плавали, читали они и Исторію двухъ валошь, особенно письмо Генриеты къ Шульцу, читали они и Ночи Юнга, и Мечты Торквато, и драмы Кукольника, и всякую дичь.

Драмы Кукольника Раскатовъ переплетаетъ чуть не въ золото. Софья Николаевна ставитъ въ нихъ бездну вопросительныхъ и восклицательныхъ знаковъ, и Раскатовъ, перечитывая ихъ по ночамъ, находитъ, что она необыкновенно высока умомъ, глубока чувствомъ и еще что-то такое.

— Что ты читаешь? спросилъ однажды генераль, засмотрѣвшись на дочь.

— Торквато, папаша.

— По французски?

— Нѣтъ, по русски, папаша.

— Опять по русски! И вчера какого-то Кукольника по русски, и сегодня по русски. А чей это романъ?

— Это не романъ, новая драма.

— Чья?

— Кубольника.

— Опять Кубольника! чтожь это такое? отозвался съ до-
садой генералъ. Откуда ты берешь эту гниль?

— Учитель принесъ.

Ничего не сказалъ папаша. Важно ушелъ.

— Сдѣлайте милость, Владиміръ Петровичъ, говорилъ онъ
въ тотъ же день Столицкому, — займитесь пожалуста моей ду-
рочкой Софьей. Отберите тамъ, въ клубъ, чего нибудь фран-
цузскаго и привезите ей читать. Время свободное. Тетка на-
дождаетъ своими четь-минейми, а ей хочется что-нибудь про-
честъ этакое... Читаетъ какую-то дичь — вонъ носить учитель.
Все это какъ-то... знаете...

— Извольте, извольте.

И Столицкій не замедилъ явиться къ Сомову съ тюкомъ
французскихъ книгъ изъ клубской библиотеки. Отрекомендо-
валъ онъ что лучше, и даже самъ вызвался чаще ѣздить и
читать въ слухъ. Словомъ началось новое преобразование Софы
Николаевны на манеръ французскій.

О борьбѣ здѣсь говорить нечего, борьбы никакой не про-
изошло. Софья Николаевна была такъ молода и пуста, что бесѣда
Столицкаго занимала ее также, какъ и бесѣда Раскато-
ва. Вѣчно шутливый, легкій, веселый и насмѣшливый Столиц-
кій нравился ей, даже больше чѣмъ Раскатовъ. Дѣйствитель-
но, какъ новизну, она съ увлеченіемъ слушала страстнаго меч-
тателя учителя, но онъ былъ для нея слишкомъ серьезенъ и
потому утомлялъ ее. А Столицкій прелесть: этотъ мелеть съ
утра до ночи и вѣчно милъ и забавенъ, его слушать весело. —
Что изъ этаго вышло, мы узнаемъ въ концѣ, а теперь пока
скажемъ, что на Раскатова это дѣйствовало невыносимо тя-
жело. Какъ только замѣтилъ онъ что-то между ей и Столиц-
кимъ, съ такой страшной силой повлекъ ее за собой, что
дѣвушка бросила и гостинную, и Столицкаго и очутилась опять
около него.

— Смотрите вы, пожалуста, за нашей дурой Софьей, гово-
рилъ между тѣмъ Сомовъ Катеринѣ Петровнѣ. Она торчитъ
вѣчно въ классѣ и мѣшаетъ Петру. Теперь же началъ наѣз-
жать Столицкій. Конечно, боже сохрани, подумать что-ни-
будь... Между ними, очень естественно, нѣтъ ничего. — Софья

конечно очень хорошо понимаетъ, что Раскатовъ мужикъ, больше ничего. Но, согласитесь, вдругъ тотъ взойдетъ и увидитъ ихъ вмѣстѣ? А вы понимаете, чѣмъ попахиваетъ Столицкій?—У Столицкаго дядя губернаторъ, связи въ Петербургѣ, съ состояніемъ человѣкъ. Столицкій можетъ быть и...

— Конечно! отозвалась барыня.

— То-то конечно, займитесь этимъ.

И Катерина Петровна того же дня принялась шпиговать и Софью, и учителя.

— А ты, батюшка, не разсаживайся тутъ въ гостинной съ твоими уроками, не мѣсто тебѣ; кто нибудь прїѣдетъ, помѣшаетъ. Иди, Пьеруша, въ твою комнату и учителя возьми съ собой.

— А ты, Сонюшка, что ему не запретишь? видишь безпорядки и молчишь. Это твое дѣло, матушка, ты хозяйка здѣсь...

— Какіе же безпорядки, тетенька?

— Какъ какіе безпорядки, матушка,—сидѣтъ въ одной комнатѣ съ молодымъ учителемъ? Ты точно не понимаешь, что я хочу тебѣ сказать! увидютъ, осудютъ.—Поди-ко лучше почитай мнѣ путешествіе Норова—славныя книжки. Печать только мелка, не могу сама-то...

И всѣ разойдутся по своимъ мѣстамъ.

— Одна тетя васъ не любитъ, утѣшаетъ Пьерочка, смотря на скучнаго учителя. А папаша любитъ, онъ на пасху хвалилъ васъ Николаю Федоровичу, и сестра любитъ... Она очень хорошо написала объ васъ Мишѣ въ Казань. Принести вамъ прочитать?

— Это зачѣмъ? развѣ она тебѣ велѣла?

— Нѣтъ не велѣла.

— Такъ какъ же принести чужое письмо? развѣ это можно?

— Я для васъ только...

— Какъ для меня *только*? развѣ это не все равно? Чужое письмо нельзя читать!

А Пьерочка точно хочетъ сказать: «Какъ чужое? развѣ она тебѣ чужая, когда ты ей руки цѣловала, я это сквозь дверь видѣла?—Учитель краснѣетъ и думаетъ: вотъ до чего довелъ я ребенка! Какъ это все гадко!» А зоркій глазъ Пьерочки видитъ все: и смущеніе, и досаду, и краску учителя.—Молча

займутся, разойдутся, и не такъ имъ весело теперь, какъ бывало тогда.

— Поди-ко, Пьерушка-душа, во мнѣ въ молельню, забываешь его тетя. Скажи, что дѣлаетъ Соня въ твоей комнатѣ?

— Ничего, тетя, отвѣчаетъ удивленный и испуганный мальчуганъ.

— Какъ ничего? Ты у меня смотри, не лги передъ теткой, слышишь! Вонъ Богъ-отъ, какъ смотритъ на тебя строго...

— Ей-богу, ничего, тетя,—сидитъ.

— А что она говоритъ?

— Ничего не говоритъ.

— Какъ ничего? Лжешь опять. Объ чемъ-нибудь говорить съ учителемъ?

— Обо всемъ говорятъ, тетя.

— Какой ты безтолковый!

А безтолковый Пьерочка еще пуще открываетъ уши и глаза, чтобы выслушать, понять и передать, что говорить учитель и сестра.

XLV.

— Что-жъ это однако наконецъ! крикнулъ нетерпѣливо генералъ. Я покорно просилъ васъ посмотрѣть за Софьей. Оставьте ради-Бога вздыхать надъ вашими святцами, хоть на этотъ мѣсяцъ! Вы точно не знаете, какой огонь дѣвушка до замужества. Глядите ради-бога за ней! И то Столицкій распустилъ слухъ, что она доучивается у учителя. Конечно это было сказано за обѣдомъ, въ шутку, но вы не знаете, что такое наши клубскія шутки? Тамъ все шутки—отца роднаго зарѣжутъ въ шутку, не только меня! — Я конечно могъ-бы распорядиться и короче: — выгнать эту сволочь и взять другаго... Да какого-же другаго?—опять вѣдь такого; опять будетъ тоже. Ну, а вы человекъ близкій; просто распорядитесь, чтобъ они не видались—вотъ и все!

— Хорошо, распоряжусь.

— Софья конечно объ этомъ ни слова. Софья самолюбива, она вся въ мать. На зло еще выкинетъ какую нибудь штуку. А съ тѣмъ церемониться нечего—просто можно пугнуть.

— Хорошо, отвѣтила тетка, и тутъ же рѣшила не церемониться больше съ учителемъ и пугнуть его.

— А я тебѣ, батюшка, говорила, чтобъ ты не шлялся больше черезъ гостинную. Тамъ корридоръ есть на это, тамъ и проходи.

— Помилуйте, Катерина Петровна, тамъ не пройдешь, наконецъ—тамъ грязно и темно.

— Вотъ новости какія—«грязно и темно». Да у насъ, поди, дома нѣтъ въ городѣ, гдѣ не было бы грязно и темно? Я сама тамъ иногда прохожу.

— Вы привыкли, а я нѣтъ.

— Какъ скоро отвыкъ ты, батюшка, отъ грязи, это удивительно однако-жь?..

Раскатовъ стиснулъ зубы и ушелъ.

— «Терпи насмѣшку и презрѣнье, и жизнь, и смерть на жертву ей!» декламировалъ бѣдный учитель, ощупью пробираясь сквозь темный и вонючій корридоръ.

— А тетка вчера бранила васъ, сплетничаетъ усердный Пьеръ.

Раскатовъ сердито молчитъ.

— Злая, презлая была. Соня все плакала.

Послѣднее слово надрѣзало сердце учителя—не выдержалъ:

— О чемъ?

— Все бранить ее.

— За что?

— За васъ.

— Какъ за меня?

— Да; не велѣла ходить сюда.

— Такъ вотъ отдай ей книгу.

— Хорошо.

— Да безъ тетки, добавилъ учитель, гадко краснѣя.

— Знаю-съ! отвѣтилъ смѣтливый мальчишка, и тутъ же засунулъ Шиллера подъ сидѣнье.

— Нѣтъ, надо дѣйствовать рѣшительно. Скачу въ университетъ; иду отлично; Сомовъ слышитъ, какъ я получилъ золотую медаль; приѣзжаю молодымъ докторомъ, лечу Софью Николаевну, дѣлаю предложеніе, генералъ свирѣпствуетъ... Я конечно увезу ее. Ночь, тройка, колокольчикъ, луна, сугробы. Она робѣетъ, прижимается ко мнѣ... Прелесть!

А вотъ и новость роковая. Сомовы ѣдутъ въ деревню. Пьерочка набралъ со всего дому сахарныхъ бичевогъ и мечтаетъ только о томъ, какъ закрутить онъ книги въ дорогу. Раскатову онъ объявилъ, что папаша нанялъ ему въ деревню другого учителя, кривого, который такъ говорить, что ничего не разберешь.

— Ахъ, какъ будетъ весело! восторгается шалунъ. А Раскатовъ и Софья Николаевна еще тяжелѣе вздохнуть послѣ такого восклицанія.

Вначалѣ сборы въ деревню были чѣмъ-то шуточнымъ и не было имъ конца. Софья Николаевна спроситъ тетку: «когда?» Та отвѣчаетъ: «да не знаю, когда, вотъ что скажетъ папаша». Спроситъ папашу, — «да я и самъ не знаю когда, уѣдемъ какъ нибудь, вотъ подумаю». Секретъ заключался въ томъ, что папашѣ хотѣлось поторопить Столицкаго — высказать что нибудь рѣшительное. Но дѣло кончилось ничѣмъ! Столицкій ѣздилъ мѣсяца полтора, коротко познакомился съ Софьей, прочиталъ ей всего Поль-де-Кога, являлся съ ней на всѣхъ гуляньяхъ, пикникахъ, въ садахъ, а рѣшительнаго не высказалъ ничего. Генераль осерчалъ и тутъ же объявилъ, чтобъ уѣзжали сейчасъ. Сборы пошли торопливые... Раскатовъ окончательно упалъ духомъ.

Софья Николаевна понимала страдательное положеніе учителя, рвалась къ нему, но, не находя случая видѣться и проститься, рѣшилась написать ему письмо. Охъ, эти письма влюбленныхъ! Никому, кажется, въ свѣтѣ не вредило такъ искусство писанія, какъ влюбленнымъ. Вотъ, на примѣръ, что случилось съ первымъ письмомъ влюбленной барышни: Пьерочка, которому она поручила передать письмо, потерялъ, а родитель подобралъ, прочиталъ да и молчитъ. Софья Николаевна ночи не спитъ, выходитъ изъ себя, и думаетъ: гдѣ письмо?..

— Прочитайте мнѣ что нибудь въ послѣдній разъ. Мы на дняхъ уѣзжаемъ...

— Хорошо, извольте, отвѣтилъ учитель, открылъ какую-то поэтическую страницу и началъ. — Рѣчь шла, кажется, о Везувіи, и Раскатовъ, воодушевившись, началъ читать такъ громко, что на порогѣ появился генераль, блѣдный и сердитый.

— Скажите, наконецъ: кому вы даете уроки, Петру, или ей?

— Петру, отвѣтилъ осовѣвшій учитель.

— А ты здѣсь зачѣмъ? Что я тебѣ на дняхъ говорилъ?

— Мнѣ случно тамъ, папаша.

— А! ты ходишь сюда развлекаться? Вонъ!

Софья вспыхнула и убѣжала.

— Я васъ просилъ запереться и никого не пускать!

— Очень хорошо, извольте, сказалъ сбитый съ толку учитель и, выпроводивъ генерала, заперъ дверь на крючокъ.

Классъ кончился.

— Баринъ васъ просить въ кабинетъ.

— Одинъ онъ?

— Одинъ-съ.

Раскатовъ почувалъ что-то не доброе, врывнуль и пригтовидся.

— Послушай ты, дрянь, началъ Сомовъ, притворяя дверь за учителемъ. Это къ кому писано?

Раскатовъ узналъ ея почеркъ. Руки его дрожали, онъ прочиталъ:

— «Я въ ужасномъ состоянїи, Александръ! Не видѣть тебя нѣтъ силъ. Вчера на гуляньи я замѣтила твое грустное лицо и не спала всю ночь. Останься сегодня послѣ класса, я хочу проститься съ тобой. На дняхъ мы ѣдемъ непременно, и я хочу еще разъ обнять тебя передъ отъѣздомъ. Вся твоя.» —

Раскатовъ положилъ письмо на столъ.

— Что? спросилъ свирѣпо генераль.

— Ничего.

— Какъ ничего? Знаешь, какъ зовутъ тѣхъ людей, кто ходъ видомъ учителей и прочей сволочи приходитъ въ домъ соблазнять дѣвушку? Она дочь генерала, а ты?

— А я кто, по вашему?

— Мужикъ!

— Не забываетесь, пожалуйста. Я не Эстюржонъ...

— Вонъ!

Раскатовъ, совершенно уничтоженный, едва доплелся домой. Съ отчаянїя бросился онъ за столъ и просидѣлъ всю ночь, раздумывая вопросъ: куда дваться отъ стыда.

XLVI.

А тутъ очень встаетъ умеръ прїятель Раскатова, художникъ

Алексисъ, и встати отказалъ ему, въ видѣ наслѣдства, свой пистолетъ. Бывшій учитель невольно задумался надъ этимъ наслѣдствомъ, и видѣлъ въ немъ отвѣтъ на мучившіе его вопросы: какъ жить, и куда дѣваться?

Его состояніе было такъ тяжело, что онъ готовъ былъ на все.

— «Легче смерть, чѣмъ жизнь!» пишетъ онъ судорожно Ивану. «Я знаю, ты первый скажешь: «дуракъ!» Не вини, другъ, не вини! Все дѣлалъ я, чтобъ жить, и все отвѣтило одно: жизни нѣтъ! Есть у насъ глупость, кошлѣсть, грязь, подлость, насилие и раболѣпіе, а жизни нѣтъ! Есть у насъ Волчихи и Лихошерсты, живущіе чтобъ гадить; есть Севрюгины и Пѣтушковы, затѣмъ чтобъ обирать и воровать; есть кавалеры Столицкіе, нагло живущіе на чужой счетъ; есть всего у насъ вдоволь, а жизни нѣтъ! Ты скажешь: на то мы молодцы, чтобъ жить и работать. Нѣтъ, другъ, нѣтъ! одинъ въ полѣ не воинъ. Какъ соломинку сломить насъ страшная сила: ихъ милліоны, а мы — горсть! Не теперь, такъ потомъ, мы должны превратиться въ нихъ и опротивѣть самимъ себѣ! Легче все въ разъ, чѣмъ цѣлые десятии дѣтъ томительной и бесполезной борьбы! Прощай.»

Но, странное дѣло, какіе иногда пустяки спасаютъ человѣка отъ сумасбродства? Быршему гимназисту вздумалось просто поставить знаки препинанія, чтобъ не осудили покойника за безграмотность. Еще разъ прочиталъ онъ письмо и... захохоталъ.

— Вздоръ! Бей меня жизнь, а самъ я не хочу себя бить. Врешь, гнетущая сила, съ тобой еще поборюсь! — И Раскатовъ такъ погрозилъ кому-то, что волосы на немъ встали дыбомъ.

А кругомъ все тихо и покойно. Мѣрно и печально благовѣстять ко всемогущей. На душѣ что-то страшно-тяжелое, хочется плакать, и нѣтъ ни слезы...

— Дома? раздался въ окно голосъ калмычка.

— Вѣдите.

— Отъ Столицкаго, батенька. Лихо настроилъ оба инструмента.

— Чортъ съ тобой и съ нимъ, — меня теперь не настроишь, думаетъ мрачно Раскатовъ.

— Что? Али не здоровится?

Молчаніе.

— А слышали новость?

Опять молчаніе.

— Чуть не зарѣзаль его генераль-то.

Раскатовъ и этого не слыхаль.

— А трусь! даромъ, что людей погонъ домъ, а поблѣднѣль...

— Кто?

— Да Столицкой-то.

— Кого ему трусить?...

— Какъ «кого?» Говорять вамъ, Сомовъ приходилъ. Зарѣзать хотѣль!

— За что?

— Э, батюшка, да вы точно за тридевять земель живете отъ насъ. Нешто не слыхали? — бѣжала красотка-то!...

— Софья!

— Николавна-свѣтъ. Она.

Раскатовъ вскочилъ; у него въ глазахъ помутилось и кругомъ пошла голова.

— Рыщутъ теперь за ней по закоулочкамъ. А у *нею* найдется, какъ есть.

— У кого? — Раскатовъ поблѣднѣль.

— У Столицкаго.

— Врешь?

— Ей-богу! Видѣль глазкомъ...

Раскатовъ мгновенно выхватилъ пистолеть.

— Что вы, батенька?

— Прочь, убью!

— Куда вы, родной? Господи! — И калмыкъ не успѣль схватить фуражку, какъ Раскатовъ былъ уже въ квартирѣ Столицкаго.

— Дома?

— Нивакъ нѣтъ-съ.

Раздался выстрѣль. Раскатовъ упаль.

— Это что такое? — Столицкій выбѣжалъ со свѣчкой.

— Человѣкъ-съ.

— Какъ человѣкъ? Что за человѣкъ?

— Раскатовъ, важеться-съ.

— А!...

Столицкій осмотрѣль плавающій въ крови трупъ. Изъ тем-

ной комнаты выглянула Софья Николаевна. Онъ загасилъ свѣчу и приказалъ глухо:

— Пошолъ объяви!...

XLVII.

— О-го-го, какъ брякнулъ; и лица не осталось! говорилъ глухо явившійся Лихошерстовъ. — А должно быть онъ-съ?.. Посвѣти-ко сюда Костоломовъ, — тутъ у него родимчикъ былъ... Да за докторомъ валяй, слѣдственного скорѣй.

— А скоро вы кончите? спросилъ Столицкій отрывисто.

— Живо-съ обрабатываемъ, Владиміръ Петровичъ. Вы не безповойтесь — это ничего. Актъ только, а тамъ можно его въ часть.

— Пожалуста, не мучьте меня. Это, чортъ знаетъ, что такое? Дурр-акъ! мѣста не нашель другого! — Столицкій съ омерзѣніемъ посмотрѣлъ на трупъ. — Говорилъ этимъ осламъ «запирать дверь». Вчера такой-же сумасшедшій прибѣжалъ ночью.. Я хотѣлъ ужъ за вами послать. Лѣзеть во мнѣ: «стрѣляйся съ нимъ!» — а дѣло плевка не стоитъ.

И все это смутно слушаетъ Софья Николаевна — рѣчь идетъ о родномъ ея отцѣ. Страшно ей въ темной комнатѣ: палить огнемъ лицо, а по кожѣ морозъ.

— Ну, молитесь Бога, Владиміръ Петровичъ, — время ночное: отлично обрабатываемъ-съ. Вотъ и докторъ идетъ.. — Прикажете-ка на случай ставеньки припереть и двери на крючокъ.

Прибѣжалъ передуганный частный, явились понятые и слѣдственный. Составили актъ. Тѣло увезли въ полицію. Лихошерстовъ взялъ сопривосновенный къ дѣлу коверъ.

— Что у васъ было съ этимъ сумасшедшимъ? спросилъ Столицкій.

Софья Николаевна завернулась въ большой платокъ, и молчитъ.

— Я васъ спрашиваю?

— Ничего, отвѣтила она чуть слышно. Слезы катились градомъ по ея лицу.

— Какъ ничего? Корридорная любовь; объясненіе на манеръ горничной дѣвки? Иначе зачѣмъ чортъ несъ его сюда?

— Владиміръ! молила Софя.

— Я давно Владиміръ, съ тѣхъ поръ, какъ мать родила. А вы послѣ этой исторіи хорошо сдѣлаете, если сегодня же уйдете къ отцу.

— Нигуда я не пойду!

— Это вздоръ! Здѣсь вамъ оставаться больше нельзя. По дѣлу можетъ быть подозрѣніе и обыскъ. Я изъ за этихъ пу-
стыговъ подвергаюсь уголовному, а вы — опозорѣны на вѣкъ.

— Убей меня лучше, а въ нему не пойду! Онъ унижаетъ меня, онъ бьетъ меня! — говорила она, съ отчаяньемъ, падая передъ любовникомъ на колѣни.

— Я предупреждаю васъ, иначе можетъ быть хуже.

— За что я такъ несчастна!.. она сильно зарыдала.

— Фи, какъ это гадко!

Столицкій ушелъ въ клубъ.

— Послушай, говоритъ ему дядя губернаторъ, когда же кончатся всѣ эти исторіи?

— Какія, дядя, исторіи?

— Фу, какая наглость, Владиміръ! Ты просто безсовѣстный человѣкъ.

— Да объясни, что такое? — Столицкій улыбается.

— Чего объяснять! Того и гляди опять донесутъ, и меня ва тебя... Понимаешь?

— Ровно ничего не понимаю.

— Тьфу! я не хочу съ тобой говорить. — Старикъ отвернулся и пошелъ.

— Это-то и скверно, что ты слушаешь сплетни, а со мной не хочешь говорить. Виновать — доважи; а нѣтъ — зачѣмъ клеветать на человѣка. Это обидно да и неблагородно, наконецъ!

— Ну, я тебѣ говорю рѣшительно: или ты измѣни образъ жизни, или убирайся вонъ.

— Измѣнить образъ жизни я не нахожу достаточныхъ причинъ, а удалить изъ городу, — на это нужны улики?

— Развѣ этого мало, что тебя всѣ ненавидятъ?

— Кто же именно? Укажи хоть на одного.

— Дворяне, напримѣръ.

— За что, позволъ спросить?

— Во первыхъ за Камеро. Ты обобралъ его самымъ безчестнымъ образомъ?

— И не думалъ. Просто ему нужны были деньги, онъ заложилъ мнѣ бани и заводъ, а послѣ отдалъ ихъ въ учетъ. Вотъ и только!

— У тебя, братъ, все «только». А твои поставки на ополченіе?... Вѣдь самъ Господь избавилъ насъ отъ уголовной. Не случись мира, ты знаешь, чѣмъ бы это пахло?

— Такъ зачѣмъ же ты утверждалъ за мною эти поставки, если я не надеженъ? Вѣдь ты начальникъ губерціи.

— Чтожь это такое, наконецъ? — И дядя, пораженный наглостію молодца, развелъ руками.

Оба стоятъ молча.

— А объ этомъ что скажешь: Сомовъ былъ вчера... Гдѣ его дочь?

— У меня. Да объ этомъ нечего и говорить. Неужели за это еще судить меня? помилуй, дядя! Точно ты не помнишь твою совѣтницу въ Вологдѣ? Я человекъ холостой.

— А послѣдняя исторія этаго... жалкаго... Какъ его?

— Раскатовъ.

— Ну, да! На что это похоже? Любовникъ вдругъ застрѣлился въ домѣ губернаторскаго племянника! Вѣдь это выговорить, срамъ, наконецъ!

— Помилуй, дядя! да чѣмъ я тутъ виноватъ! И ко мнѣ, и къ тебѣ, и ко всякому можетъ придти сумасшедшій и застрѣлиться.

— Да кто докажетъ, что онъ сумасшедшій? крикнулъ наконецъ губернаторъ. Ты знаешь, что по слѣдствію оказалось? мозгу не нашли!

— А мозгу не нашли, значитъ безмозглый былъ. Въ этомъ я тоже не виноватъ.

— Ты во всемъ правъ. Только я прошу тебя, креста ради, убирайся вонъ изъ моей губерціи, или я назначу строжайшее слѣдствіе и дѣвчонку отъ тебя отберу, слышишь? Шинь я тебѣ покажу! Ступай!

— Прощай! — Столицкій подалъ руку.

Слѣдствіе между тѣмъ началось. Больше всего теребили хозяйку, у которой Раскатовъ жилъ. Никакъ не могли добиться отъ нее, откуда взялся пистолеть? Показываетъ свое, что она

по субботамъ полы у постояльца мыла и постелю перебывала, а пистолета не видала. Калмычка тоже потянули въ полицію, и, хотя онъ влялся утробушкой, что пистолета не видалъ, однако Лихошерстовъ первый сказалъ ему: «врешь, калмыцкая образина, ты принеси!» Докторъ объявлялъ свое, что въ покойникѣ найденъ чай, а Лихошерстовъ доносилъ свое, что денегъ на квартирѣ покойнаго оказалось только 27 копѣекъ. Такъ и рѣшено было: самоубійцу схоронить на казенный, тѣло предать землѣ, а дѣло — волѣ божіей.

По городу разнесся слухъ, что Столицей убилъ какого-то гимназиста, но вскорѣ все опять замолчало. Столицей, послѣ этой исторіи, уѣхалъ, неизвѣстно куда. А найденную въ квартирѣ его Софью Николаевну, въ горячкѣ, ночью перевели въ отду и отправили въ деревню на излеченіе.

XLVIII.

Ночь. Тихо кругомъ. Городъ спитъ. Вверху мѣсяцъ, свѣтло, внизу торная дорога. Два челоуѣка вышли за городъ. Здорово имъ дышется и весело говорится. Студентъ второго курса Зороастровъ и товарищъ его Плюевъ, въ жаркомъ спорѣ, дошли до глубокаго оврага.

— Вотъ и Голодай. Здѣсь гдѣ-то свалили Сашку моего, какъ падалъ. Не перешагнулъ, несчастный, черезъ нашу грязь!

Отвѣта не было. Оба заглянули въ темную пропасть.

— Впрочемъ хорошо сдѣлалъ!

— Какъ?

— Смерть благо для такихъ людей. Славная голова, но сердце дрянъ—бабье сердце: гдѣ нужно было душить, тамъ онъ только страдалъ да плакалъ.

— Какъ же вы сошлись?

— Какъ сходятся крайности.

— Но крайности родятъ борьбу?

— Это только при неумѣннн сойдтисъ.

— Да какое же умѣнье, когда все противоположно?

— Въ томъ-то и сила-сь. Это *жизнь* новаго времени. Еслибъ

мы могли только встать всему напротивъ, изъ этаго непремѣнно выработался-бы *новый* человѣкъ!

— Темно.

— Оттого, что мы проржавѣли въ нашей старой гнили. Въ насъ смыслу нѣтъ взглянуть просто и ясно на жизнь. Мы, наприимѣръ, не можемъ обойтись безъ нашихъ звучныхъ, барскихъ словъ: благородство, честь, совѣсть, милосердіе, состраданіе и проч., а на дѣлѣ выходитъ вотъ что!—Онъ указалъ въ оврагъ и голосъ его надорвался.

— Однако онъ настрадался-таки довольно...

— Э, врешь! Это не страданіе—это прихотіи отъ бездѣлья, да барство наше... Что это такое въ самомъ дѣлѣ? Чуть споткнулся на дорогѣ—жить не хочу—бацъ и пулю въ лобъ! И вышелъ дуракъ!—Развѣ это люди?

— Ну объ этомъ такъ судить нельзя. Великое дѣло оскорбленіе и униженіе личности.

— Это дурацкое дѣло, а не великое. Великое дѣло въ насъ одно: естественный законъ. Вотъ еслибъ мы были люди, какъ люди, и не брали въ основу жизни какихъ-нибудь дикихъ понятій о чести, у насъ не было бы такихъ великихъ дурачествъ. Не изъ чести, не изъ безчестья, не изъ славы, не изъ безславія, не изъ чего я не дамъ убить себя, какъ скотину,—это дичь! Зови меня подлецомъ, зови хоть животнымъ, а отъ пули я отыграюсь. Искалѣчило меня общество по глупости—я буду жить уродомъ: любуйся мной, какъ своей собственной карриатурой. Выдѣлало оно изъ меня изверга озлобленіемъ—терпи, я его собственное художественное произведеніе. Дованало оно меня до идиотства рабствомъ и подлостію—я буду висѣть на его шеѣ: пой, корми меня, какъ родного сына! А этотъ изъ за дѣвчонки—пулю въ лобъ!.. Чисто дуракъ! — Зароастровъ плюнулъ въ оврагъ.

— Страсть, другъ, страсть! Любовь...

Зароастровъ захохоталъ.

— Воображаю я эту несчастную Соничку. Вотъ я думаю наслушалась чепухи, когда онъ заболѣлъ этой высокочеловѣческой или превосходительной гнью! Страсть! Я пишу ему: приברי дѣвку къ рукамъ, а онъ отвѣчаетъ: какъ она непорочна и чиста. Я доказываю ему просто, что отъ непорочности нашей перемретъ весь родъ человѣческій, а онъ отвѣ-

часть умилительно, что это подло и скверно. Само собою разумѣется, пока онъ возился съ своими поэтическими причудами, дѣвка показала ему хвостъ и перебѣжала къ Столицькому. Нашель, дуракъ, не тѣмъ будь помянуть, взящное въ какой нибудь Соничкѣ!

Сосѣдъ ничего не сказалъ.

— А въ такую ночь, какъ теперь, я думаю, снилась ему такая чертовщина, что просто... Пойдемъ лучше домой, и меня забираетъ мечта—ѣсть хочу.

И друзья молча пошли по дорогѣ въ городъ.

А ясный мѣсяцъ все также кротко свѣтитъ на дорогу. Звѣзды точно выдвинулись смотрѣть и слушать нашихъ студентовъ. Въ сторонѣ беспредѣльная равнина рѣки сіяетъ, какъ огромное зеркало. Стоять холмистые берега, глядясь въ него. Окрестность тиха и торжественна. Передъ ними видѣнъ спящій городъ. Глубокая полночь. И наконецъ все это, живое: люди, говоръ ихъ о покойникѣ и лай собачонки изъ подворотни разносилось здѣсь какимъ-то диссонансомъ, было чѣмъ-то лишнимъ, ненужнымъ среди этой торжественно-царствующей тишины.

— Эхъ ты, падаль-человѣкъ! крикнулъ Зароастровъ, озлившись на свою собственную тоску.

И затѣмъ все погрузилось въ мертвый сонъ.

XLIX.

Лѣтъ черезъ десять послѣ смерти Раскатова, на завалинкѣ постоялаго двора, принадлежащаго когда-то зажиточному содержателю дядюшкѣ Егору, сидѣлъ оборванный и босой старичишка. Пьянога ругался на всю базарную площадь.

— И завсегда-таки скажу: собакѣ собачья смерть, хоша бы Шашкѣ-подлецу! Одначе женилъ меня ловко. У, какъ женилъ, собака! Таперича кто бы выгналъ дядю Егора изъ дому? Ни, немоги никто! А вотъ какъ онъ женилъ меня теперича—ну и шабашъ! Вотъ и сталъ я человѣкъ, и спасибо ему, значить! Такъ и надо учить насъ старыхъ дурановъ. Прсыбга съ Коворемъ на печкѣ таперича лежать, а хозяинъ, значить,

пьянъ — на улицѣ, босикомъ! Вотъ она штука-то какова! Вотъ оно что значить *женить!*

— Полно тебѣ безобразить, дядя Егоръ! Поди, я запроу тебя въ амбаръ. Что ты страмишь человѣка на весь базаръ? Покойникъ, чай, не хорошо! — Парамонъ-кузнецъ черезъ десять лѣтъ всплакнулъ, вспоминая Шашу.

— Онъ-та? А что онъ за покойникъ?..

— А что жь по твоему?

— Нѣтъ, ты скажи: что онъ за покойникъ? Покойники, чай, у Лазаря лежать, отпѣтые, какъ есть. А этому: вспорили вонъ брюхо въ полиціи, да и свалили на Голодай—ѣшь собаки!

— Ну, братъ, и ты дождешься того же, коли будешь такъ пьянствовать.

— Я-то? Ну, нѣтъ, дудки! На-ко вотъ выкуси, видалъ ты эту штуку?—Егоръ показалъ Парамону какую-то штуку. — Я христіанинъ, на мнѣ вонъ что висить, — видншь ты эту штуку?—Егоръ раздвинулъ ворота, и показалъ другую штуку.

— Ну, хвались! Чортъ-отъ силенъ: — онъ и съ этимъ стащить тебя въ адъ.

— Упремся,—шалишь, тпрр!.. А Шашку твоего стащили ужъ, шабашъ!..

— Дуравъ ты, старый чортъ! — И огорченный Парамонъ ушелъ.

Такъ поминали Раскатова черезъ десять лѣтъ.

Можетъ быть любопытно читателю узнать, что случилось съ остальными въ эти десять лѣтъ?—Ровно ничего. Не у всякаго *годъ жизни* таковъ, какъ у Раскатова; другой и десять прожить — все ничего не наживетъ. Софья Николаевна впрочемъ пажила себѣ человѣкъ семь дѣтей-погодковъ и въ нынѣшнемъ году ѣздила съ мужемъ въ Воронежъ молиться угоднику божію Митрофанію. Маменька ея утонула въ самой великолѣпной грязи, въ Парижѣ; папенька въ отставкѣ, устраиваетъ себѣ имѣніе, раскладываетъ пассіансъ и собирается строить церковь.

Благороднѣйшій кавалеръ-Камеро прїѣзжалъ заложить имѣніе въ опекунскій и теперь окончательно расположился на какой-то Юнг-Фрау пожить. Мошенникъ Столицвій живетъ въ Петербургѣ и ругаетъ провинціальную подлость и грязь. А Плюевъ, вмѣсто Раскатова, бесѣдуетъ теперь съ воспитанникомъ своимъ, молодымъ докторомъ Плюевымъ. Хозяйка Раскатова до сихъ поръ вспоминаетъ, какъ таскалъ ее «по полиціямъ» Лихошерстовъ; она тогда же дала себѣ зарокъ и клятву «ни во-вѣки вѣковъ не пушать въ себѣ на квартиру ни гимназистовъ, ни студентовъ, потому что *мониче* ученые народъ бѣдовый: или зарѣжется, или пакость сотворить». Болѣе же всѣхъ, мнѣ кажется, помнитъ Раскатова Анисья Алексѣевна Волчиха. Она и до сихъ поръ хвалится всѣмъ: какъ много жила и какъ много видѣла на своемъ вѣку. — «Вотъ, отцы мои, начнетъ она о Раскатовѣ: жидъ у меня *«малодой* человекъ». Такъ посмотришь на него, кажись человекъ хорошій; и умный былъ, и пѣлъ хорошо, и въ церковь божію ходилъ съ мовмъ Митрофаномъ; а съ другой стороны взглянешь—ничего въ немъ не было хорошаго, и счастья Богъ ему не далъ: — самъ себя и застрѣлилъ». Мишель, басъ тоже застрѣлился послѣ Раскатова въ пьяномъ видѣ. А добрый старикъ Иванини, потрясенный смертію молодыхъ людей, умеръ въ тотъ же годъ. Въ духовномъ его завѣщаніи нашли неумноженную статью: «а вѣстному моему сыну, Александру Васильевичу Раскатову, завѣщаю остальные мои деньги двѣ тысячи пятьсотъ рублей, на обученіе въ университетѣ.» Дѣло о томъ: какъ передать деньги покойника покойнику тянулось десять лѣтъ, и какъ дѣло *интересное*, протянулось бы еще двадцать, если бъ его не рѣшилъ новый прокуроръ, которому метнулася въ глаза знаковая фамилія — *Раскатовъ*. Кто этотъ прокуроръ — угадывайте сами? Впрочемъ не Зороастровъ.

— А гдѣ же Зороастровъ? спроситъ читатель.

— А кто его знаетъ, гдѣ. Въ Сибири, говорятъ...

Г. Потапкинъ.

ИЗЪ ЧИНОВНИЧЬЯГО БЫТА.

(эскизъ пятый *).

I.

... Въ Гороховомъ переулкѣ свадьба... А слѣдовательно и толпа, и разговоры.

Четырехъоконный домикъ чиновника Младенцева до такой степени былъ переполненъ всякаго рода удовольствіемъ и радостію, что ветхая фигура его теперь напоминала выбрившагося старика-чиновника, приготовившагося къ парадному визиту по начальству. Старческая фигура ветхаго дома старалась казаться веселою, или даже торжественною; въ окна, выпускавшія на темную улицу широкіе лучи свѣта, были видны чинныя фигуры гостей, съ лысыми, лоснившимися какъ стекло, головами, съ высокими бѣлыми галстуками и отвислыми красноватыми подбородками. Между гостями въ залѣ сидѣлъ протопопъ въ камлавкѣ, на ухо которому что-то шепталъ маленькій чиновникъ, рассказывая, по всей вѣроятности, какую нибудь ужасную неправду, которую ему учинили; протопопъ кивалъ головою и дѣлалъ съ своей стороны все, чтобы показать чиновнику свое сочувствіе. Вообще свадебный вечеръ находился еще въ первой своей половинѣ, то-есть, въ трезвости, солидности и благонравіи; все еще было чинно и только изрѣдка проносились между гостями какіе-то зловѣщія слухи:—то хозяйну шопотомъ докладывала какая-ни-

* „Рус. Слово“ Декабрь 1884 г.

будь дальняя родственница, что официантъ засунул себѣ за голенище чайную ложку и опрокинулъ въ собственную свою утробу цѣлый полштофъ желудочной воды: то вдругъ оказывалось, что между гостями сидитъ какой-то микроскопической величины чиновникъ съ физиономіей, безжалостно изрытой оспой, человекъ, попавшій [сюда неизвѣстно какими путями, потому что ни сторона жениха, ни сторона [невѣсты не соглашалась признать его въ числѣ своихъ родственниковъ. человекъ, этотъ весьма молчаливый и застѣнчивый, вдругъ обнаружилъ признаки такого жестокаго хмѣля, что всѣ приходили въ ужасъ. Микроскопическій чиновникъ, къ довершенію несчастія, начиналъ икать и бормотать все громче [и громче.

— Засужу!!.. Засс-жу!.. въ Сиббирь... А потому, по 12,568 ст. пункты, пункты, пункты... немедленно съ сыльно-ватторр... (икаетъ). И превосходно! и т. д.

Сердце хозяина всякій разъ сжималось при видѣ фигуры?

— Утомились? сочувственно говорилъ онъ ему. Отдохнуть бы вамъ... Въ самомъ дѣлѣ, не угодно-ли?.. дымно, навурено... головокруженіе. Право.

Но чиновникъ начиналъ что-то бормотать, въ родѣ: «Много доволенъ... Будьте покойны, — тоже чему нибудь учился: альфа, вита, гамма, дельта...»

— Да, да, да, твердилъ хозяинъ.

— Ну, и сдѣлайте милость... Я смирно и вы смирно... развѣ я не понимаю...

— О, помилуйте! говорилъ хозяинъ, опасаясь буйства.

Чиновникъ прилипалъ къ хозяину своими большими слюнявыми губами.

— И кончено! заключалъ онъ.

Дѣло съ микроскопическимъ чиновникомъ разыгралось все-таки тѣмъ, что его вывели вонъ.

Послѣ этого все приняло прежній, надлежащій видъ и даже официантъ не обнаруживалъ признаковъ хмѣля, продолжая искусно лавировать между гостями съ наполненнымъ фруктами подносомъ: онъ съ серьезной физиономіей знатока и человекъ, достаточно опытнаго въ дѣлахъ свѣта, и особенно въ такихъ торжественныхъ случаяхъ, когда присутствуютъ только «персоны», зорко слѣдилъ за порядкомъ угощенія, руководствуясь при этомъ строгимъ чиновочтаниемъ. Иногда какой

нибудь гость, наблюдая, какъ его сосѣдъ загребааетъ цѣлыя пригоршни всякихъ лакомствъ, прибавляя при этомъ «женѣ», «ребятишкамъ, пушай ихъ», Аннѣ Семеновнѣ, — старушка, богъ съ ней, тоже рада» и проч., и только что этотъ гость собирался сдѣлать тоже самое, присовокупивъ сверхъ жены, ребятъ и тетки еще довольно объемистую долю неизвѣстно кому, — и протягивалъ было алкавшую похищенія и грабительства руку, какъ официантъ вдругъ вздымалъ поднось выше головы, говорилъ «повремените-съ» и, описавъ подносомъ полубругъ по воздуху, тихо, словно птица, опускался съ нимъ на другомъ концѣ маленькой комнаты, передъ персоной, которой слѣдовало угощеніе по ранжиру.

Словомъ, все шло чинно, степенно. Царствовала полная солидность и въ поступкахъ гостей, и въ ихъ разговорахъ, и осанкахъ. Всю эту картину напыщенности какъ нельзя лучше дотушовывалъ дубовый звукъ контрабаса, по толстымъ струнамъ котораго, не спѣша, двигался смычекъ; взвизги флейтъ, кларнетовъ и скрипокъ, — словомъ, музыка, которая, конечно, была слышна и на улицѣ и приковывала къ окнамъ толпу зрителей. Въ первыхъ рядахъ этихъ зрителей виднѣлись фигуры мастеровыхъ, горничныхъ, кухарокъ; а благородные зрители старались пробираться въ тѣни у забора, но все-таки противъ оконъ Младенцевыхъ, желая такимъ образомъ быть незамѣченными и вмѣстѣ съ тѣмъ все видѣть. Сужденія же ихъ, т. е. благородныхъ людей, и сужденія толпы были почти одинаковы:

— Фи, какой носъ! говорили дамы, когда появлялась фигура жениха. — Хо, хо, хо, грохотали въ свою очередь фабричные. Кто тебѣ носъ-то оттянулъ?.. Хо-о-о! Настояще, какъ журафъ...

Какая-то фигура въ драповомъ пальто, заложивъ руки въ карманы, подошла и, почтительно снявъ шапку, обратилась съ самымъ вѣжливымъ вопросомъ къ одному изъ мастеровыхъ.

— Позвольте, будьте столько добры, узнать: здѣсь слѣдовательно свадьба?

— Здѣсь, братецъ ты мой, улица.

— Но когда явственно вижу—свадьбу... Что-же за отвѣтъ съ вашей стороны?

— Да я тебѣ еще не такъ отвѣчу.

— Хо, хѣ, хо, хо... залилась толпа.

— Довольно того, говорила фигура, когда желаешь съ вѣжливостью, съ аккуратностію, а въ замѣнъ того слышишь мужицкое безобразіе.

— Да я тебѣ, захочу, бока сейчасъ поломаю!..

Опять заготовала толпа. Неизвѣстная фигура постояла, надѣла шапку и съ грустью сказала:

— Ну богъ съ вами... О боже мой! То есть какое одеревѣніе!..

Нѣкоторые изъ зрителей, преимущественно женскій полъ, не довольствуясь созерцаніемъ зала, потихоничку пробрались во дворъ, и прилипли къ освѣщеннымъ окнамъ гостиной, гдѣ ихъ взорамъ представлялась юная чета: невѣста вся въ бѣломъ, съ полнымъ лицомъ и какою-то болѣзненною желтизною около апатичныхъ глазъ; съ улыбкою нѣсколько насильственной, не вслѣдствіе впрочемъ какой нибудь думы, а вслѣдствіе той-же апатичности, съ которою она смотрѣла на всѣхъ гостей и съ которою она подставляла свою фizioномію для поцалухъ жениха. Женихъ, какъ казалось, крайне затруднялся исполненіемъ желанія гостей, ежеминутно кричавшихъ съ разныхъ концовъ «горько»; слышавъ такой крикъ, онъ какъ-то пугливо улыбался, потомъ тотчасъ-же блѣднѣлъ, вытягивалъ преждевременно губы и какъ-тосудорожно пихалъ ими въ губы жены. Женихъ былъ небольшого роста чиновничекъ, фizioномію котораго можно назвать только аккуратною: не было въ ней ни малѣйшихъ признаковъ красоты, точно также какъ не было и отъявленнаго безобразія,—было что-то ровное, благообразное чинное, выбритое и причесанное. Аккуратность, и благочинность, отпечатывавшіяся въ каждой чертѣ его лица, стлаживали незамѣтно и недостатки его, примѣтные при малѣйшемъ вниманіи. Такъ, напр. огромной величины носъ, сплюснутый до гнусавости съ боковъ, и постоянно страдавшій насморкомъ, терялъ совершенно свое безобразіе въ ряду окружавшихъ его аккуратныхъ чертъ. Жениху было на видъ лѣтъ 35, но регулярная, богобоязливая жизнь, и въ особенности настоящій моментъ, молодили его и дѣлали бодрѣе. Наблюдавшіе зрители находили, что невѣста, какъ невѣста, и женихъ, какъ вообще бываютъ женихи,—стало быть все благовидно и благополучно. А когда зрителямъ сообщилъ кто-то, что невѣста рада заму-

жеству точно также, какъ радъ женихъ женитьбѣ, то многіе присовокупили:

— Ну, и слава Богу! И дай имъ Богъ.

Радъ, дѣйствительно, былъ женихъ; довольна и почти счастлива была невѣста....

Поздно расходился народъ; еще позднее выползали, перевортываясь головой въ низъ, гости. Судьба и водка, по обыкновенію, жестоко подтрунивали надъ ними: всѣмъ почему-то хотѣлось высказать другъ другу очень много разныхъ разностей, — но языки были мертвы какъ трупы и тяжелы какъ стопудовыя гири.

Если же ктонибудь и могъ кое-какъ владѣть языкомъ, то языкъ, какъ нарочно, говорилъ совсѣмъ не то, что слѣдовало; хотѣлось, напримѣръ, сказать: а гдѣ это я вартусь дѣл? и выходило: — я тебѣ рожу разобью... и т. п.

— Подлецъ! кричалъ кто-то...

— Ф...вюмъ смыслѣ?..

— Въ самомъ лучшемъ...

И т. д.

Разговаривая такимъ образомъ, шли по домамъ и зрители, и гости. Слышались смѣхъ, ругательства и вздохи... то тихомолкомъ вздыхали молодыя дѣвушки-невѣсты, которыхъ очень много въ нашемъ гороховомъ переулкѣ.

— Вотъ и Маша высвѣчила! говорили грустно онѣ.

— Да...

— Экая, право, счастливая!..

И вздохъ.

Здѣсь и прекращаются описанія свадебнаго пира, ибо то, что будетъ слѣдовать далѣе, принадлежитъ совершенно къ другой области, нежели та, которая выпала на долю моего эскиза. Для полноты и для послѣдовательности этого эскиза я долженъ еще разъ повторить, что невѣста была дѣйствительно счастлива, или вѣрнѣе, рада; что вздыхавшія дѣвушки дѣйствительно завидовали ей, потому что дѣйствительно были несчастливы. Долго онѣ не могли заснуть въ своихъ постеляхъ, потому, что счастье Маши особенно упорно налегало на ихъ бѣднѣе сердце. Но если-бы каждая изъ нихъ, захотѣла отчетливо, въ постепенности высказать, чѣмъ именно она недовольна, то, въ несчастію, сдѣлать бы этого немогла... Ныло

только сердце, чувствовалась потребность других стѣнъ, другихъ голосовъ, другихъ лицъ. Чувствовалась только негодность окружающаго, но въ чемъ именно эта негодность,—не сознавалось: что-то вообще запутанное, гадкое, спѣртое...

Маша избавилась пока отъ этого состоянія, но и счастлива она только новыми стѣнами, возможностью смотрѣть на другой заборъ, ходить къ всеночной и къ обѣдни въ другой приходъ,—только. Она очень хорошо знаетъ, что будущность ея сложится изъ нянчанья ребятъ, снованья въ кухню и на погребницу и ухаживанья за супругомъ (которому она будетъ пришивать пуговицы къ панталонамъ и рубашкамъ); навѣрно знаетъ она и то, что черезъ недѣлю, много черезъ двѣ, станетъ для нея таже самая жизнь, отъ которой она только что была, будто-бы, избавлена женихомъ, которому, ради его великаго подвига, было прощено и уродство, и отвратительная патура казаться любящимъ человѣкомъ, и многое, что въ другое время жизни вызвало-бы звонкій смѣхъ или даже отращеніе. Все это Маша знаетъ въ подробности, всему этому она видѣла множество примѣровъ, и все таки говорить: «Слава Богу!»

Пока желается только другихъ стѣнъ... Это соломенка, за которую хватается погибающій, покупая минутный обманъ, вмѣсто счастья, цѣною вѣчной бабалы...

Увѣчья до такой степени велики, что нѣтъ даже возможности нарисовать себѣ какую-нибудь иную лучшую жизнь, непохожую на жизнь тятеньки съ маменькой.

II.

Воспитаніе Маши шло такъ же, какъ воспитаніе большинства нашихъ провинціальныхъ барышень.

На концѣ улицы стоялъ небольшой домикъ, на воротахъ котораго даже не значилось вовсе, кому онъ принадлежитъ. Жила въ немъ старушка съ мужемъ, пьяницей-чиновникомъ, который впрочемъ только въ трезвыя минуты могъ показывать свою рожу въ комнату. И такъ какъ это было рѣдко, то постоянное мѣстопробываніе мужа старушки была кухня, а въ лѣтнее время сарай или курятникъ. Буйный и безобраз-

ный мужъ не давалъ ей возможности устроить тихой и уютной старческой жизни; больной сынъ ея и покорная жена этого сына, не осмѣливавшіеся никогда произнести своего слова, лишили ее возможности быть наставницей, внушительницей и вообще владыкой семьи. Не требовалось ровно никакого владычества, все совершалось примѣрно-однообразно, ни на шагъ не отступая отъ начертаннаго однажды плана. Тишина, поэтому, въ домѣ старушки была самая поразительная: невѣстка днемъ обыкновенно шила молча, точно чего-то боясь, сынъ былъ въ должности, мужъ пьянъ, — слышно постукиваніе маятника—и только. Времени такимъ образомъ у старушки было видимо-невидимо. Куда его дѣвать? Ругаться съ сосѣдами она не могла, — не такой была комплекціи, да и сосѣди почему-то не воровали у нея куръ, и даже видимо старались избѣгать ссоры съ нею, считая ее женщиною степенною и умною.

Долго думала старушка, чѣмъ бы ей заняться, и наконецъ нашла занятіе, которое соотвѣтствовало ея стремленію властвовать, и быть умѣе всѣхъ. Стала она учить грамотѣ чиновничьихъ дѣтей-дѣвочекъ.

Обыкновенно, часовъ въ восемь утра, въ ворота ея дома вползали штукъ десять маленькихъ дѣвочекъ съ книжками; зимой шли онѣ въ салопикахъ и капорахъ, лѣтомъ—въ платьяхъ съ лифами и т. д. Старушка ласково встрѣчала ихъ, — т. е. не цаловалась и не гладила по головкѣ, а только не кричала. Вообще съ этой стороны ее очень любили дѣти: ученіе ея было такого рода, что не нужно было особенно напрягать голову, потому что, все преподаваемое было очень доступно дѣтямъ не надъ чѣмъ было раздумывать, и въ случаѣ непониманія плакать и волноваться. «Выростешь, узнаешь,» говорила старушка, и углубившись въ вязаніе чулка, слушала, какъ дѣти сразу десятью голосами выкрикивали славянскія слова псалтыря. Псалтырь, часословъ да молитвенникъ — вотъ всѣ высшіе предметы курса старушки. Подъ руководствомъ ея выходили хоть и неразвитыя, но здоровыя дѣти, хорошо знавшія молитвы: отче нашъ, вѣрую, и т. д. Родители были очень довольны этими познаніями своихъ дѣтей и умилялись сердцемъ слушая, какъ какая нибудь десятилѣтняя дѣвочка рассказываетъ во всѣхъ подробностяхъ житіе Варвары мученицы, какъ она негодуетъ на царя Діоскора, таскавшаго св. Варвару за

волоса, или повѣстуетъ объ угодникѣ божіемъ, выпросивъ себя у Господа лошадиную голову, чтобы избѣжать преслѣдованій женскаго пола, и т. п. Вучивались у старушки Анны Филиповны, такимъ образомъ, дѣляя поколѣнія самыхъ плодущихъ чиновничьихъ женъ, и ежели этимъ женамъ попадались непьющіе мужья, то были онѣ очень довольны судьбой...

Шло такимъ образомъ ученіе въ Гороховомъ переулкѣ, и не замѣчалъ этотъ переулокъ какъ другая пора пробралась уже и сюда. Въ одинъ день большой пустовавшій домъ купчихи Часовиковой былъ подновленъ, и нижнія стекла огромныхъ рамъ были замазаны мѣломъ, а вслѣдъ за этимъ вскорѣ явилось и слѣдующее объявленіе, навѣщенное на фонарныхъ столбахъ:

ОБЪЯВЛЕНІЕ

Овъ открытіи въ г. N частнаго пансіона благородныхъ дѣвицъ г-жи Карачевой *).

Въ настоящее время, когда въ ряду постоянныхъ улучшеній гражданскаго и общественнаго быта нашего обширнаго отечества, стремленія къ образованію полнѣйшему и многостороннему составляетъ насущную потребность всѣхъ классовъ общества г. N. Необходимымъ оказалось расширить кругъ образованія дѣвицъ, сообразный съ современными требованіями онаго.

Пользуясь довѣріемъ родителей во многихъ городахъ нашего отечества, въ продолженіе многихъ лѣтъ, содержательница пансіона открываетъ его на совершенно новыхъ началахъ, имѣя въ основѣ расширенную и многообъемлющую программу знаній, необходимыхъ во второй половинѣ XIX столѣтія. А именно:

- 1) Деньги впередъ.
- 2) Воспитанницы раздѣляются на полу-пансіонерокъ и пансіонерокъ.
- 3) За полную пансіонерку 150 р.
- 4) Деньги вносятся впередъ, по полугодіямъ.

(*) Привожу это объявленіе съ буквальною точностью.

- 5) Карандаши, бумага, перья—родителей.
- 6) За полу-пансіонеру 100 р. сер. въ годъ.
- 7) Деньги точно также по полугодьямъ, впередъ.
- 8) Если пансіонерка прежде срока почему либо оставитъ заведеніе, деньги не возвращаются.
- 9) Всѣ пансіонерки поступающія должны имѣть серебряную ложку (84 проб.) столовую, 2 чайныхъ (серебряныхъ же), 6 салфетовъ и 2 скатерти.
- 10) Всѣ эти вещи по выбитіи остаются введеніи пансіона.
- 11) Нужно представить медицинское свидѣтельство. Свидѣтельство о рожденіи и крещеніи и званіи. Документы эти представляются вмѣстѣ съ деньгами за первое полугодіе.
- 12) Науки, (тутъ исчислены всѣ науки, какія только существуютъ на бѣломъ свѣтѣ, даже итальянской и англійской языки, скульптура, живопись и т. д.).
- 13) Желашіе выучить своихъ дѣтей моднымъ танцамъ, по всѣмъ правиламъ искусства, вносятъ деньги впередъ, полагая по 15 р. сер. за танецъ и т. д.

Содержательница льститъ себя надеждою и проч. и проч.

М. КАРАЧАЕВА.

Юня, 25 дня 1859 года.

Много было нужно времени на то, чтобы побѣдить какую-то упорную, бессознательную робость, родившуюся въ чиновникахъ-отцахъ при видѣ этого объявленія. Долго и упорно старалась М-ше Карачаева внушить господамъ-родителямъ, что она не Богъ знаетъ что такое, что она вовсе не гнушается ихъ чумазными ребятами. М-ше Карачаева употребляла всѣ средства для того, чтобы хоть какъ нибудь сблизиться съ чиновническимъ обществомъ. Дама, на этотъ счетъ, была она процырливая и обсудительная, и по этому случаю понемногу начала-таки добиваться своего. Скоро тѣ, кто посмѣлѣе, отдали своихъ дочерей въ новую науку, и немедленно замѣтили блистательные плоды этой науки. Въ первую же субботу воротились дѣвочки изъ пансіона совсѣмъ другія, говорили они о вѣхъ мѣ не по нашему: *табль, лянкръ, пермете муа, сортиръ* и

т. д. и, вслѣдствіе такого разговора, дѣвочки очень драли носъ. Дѣвицы, непоступившія къ м. Карачаевой, почувствовали зависть къ своимъ подругамъ, начали почему-то стыдиться передъ ними за свое невѣжество, а папеньки ихъ призадумались не на шутку.

— Да что же въ самомъ дѣлѣ, заговорили они вдругъ. Что наши-то ребята—подкидыши, что ли, какія въ самомъ дѣлѣ? Слава Богу, не хуже другихъ... Чтобы какая нибудь Андреевская Настька лучше моей была воспитана,—да я всѣ кишки-то ей выпорю вилокъ... Никогда!..

Ради такого соревнованія повели родители учить своихъ дѣтей въ новую школу, прищоптывая въ это время содержательницъ на ушко что нибудь, въ родѣ слѣдующаго:

— Ужь пожалуйста, чтобы моя Надинька лучше всѣхъ.

— О, да, непременно.

— Чтобы по всѣмъ наукамъ... Ежели что потребуется деньгами, я доплачу.

— Да, немножко, можетъ быть, нужно будетъ.

— Сдѣлайте милость. Только чтобы ужъ она была самая первая... Чтобы по всему могла... Какая ежели случится новая наука, будьте такъ добры, пришлите кухарку сказать мнѣ первому; я деньги заплачу... Чтобы всѣ языки...

— Всѣ, всѣ.

— Нѣтъ-ли еще какого нибудь языка-то?

— Нѣтъ, нѣту...

— Гм... Ну, до пріятнаго свиданія; только ужъ сдѣлайте милость, похлопочите... Чтобы, то есть, ежели можно, выше всѣхъ ее поставить.. Христа ради! Прощайте.

Такимъ образомъ, только тѣ изъ обывателей Гороховаго переулка оставили своихъ дѣтей у г-жи Глаголевой (старушки), кто уже слишкомъ вѣрно и доподлинно зналъ, что, отдавая дочь во французскую выучку, прогнѣвить Бога непременно. Неуклюжія фигурки дѣтей, таскавшихся прежде въ науку къ старушкѣ, приобрѣли теперь своего рода лоскъ, своего рода гордость, по мѣрѣ того, какъ, вмѣсто ситцевыхъ платицъ, нарядили ихъ въ форменныя, люстриновыя, и начали называть пансіонерками.

Собразивъ, что своя баня есть, что есть даже своя лошадь и двѣ коровы, и что въ строительную комиссію будетъ чѣмъ

платить, Младенцевы, — супругъ и супруга, — рѣшили, что можно и даже должно отдать Машу во французскую выучку. И отдали. При этомъ они руководились собственными тайными соображеніями такого рода: «что ежели вдругъ случится при женихѣ, и начнетъ она на этихъ самыхъ языкахъ говорить, — чтожь это будетъ такое? обыкновенно женихъ ротъ разинетъ... А ежели онъ разинетъ ротъ, то стало быть женится, потому что, разѣвая ротъ на такія невѣдомыя ему познанія своей будущей жены, онъ, т. е. женихъ, будетъ разсуждать про себя такъ: «ежели случится да при гостяхъ: напимѣръ, Прохоровъ съ женой, Ивановъ съ женой придуть, — ежели при этихъ-то гостяхъ выйдетъ его жена да начнетъ на этихъ языкахъ-то тррр... гrr... ллл... Рты, анафемы, разинуть... Вотъ какая жена-то! Никто ничего сообразить по ея высокой наукѣ не можетъ, а она можетъ... А за фортепяно ежели сядетъ — только и всего, что пальчиками шевелить, а глядишь — французская кадрили выходитъ, или-бы польской, — что угодно. Вотъ такъ жена! Вотъ это, по моимъ разсчетамъ называется, — супруга». Такимъ тайнымъ желаніямъ отцовъ М-ше Карачаева удовлетворяла вполне.

Родители рѣшительно не знали, да признаться сказать и боялись мѣшаться въ чужія дѣла, гдѣ имъ, по ихъ невѣжеству, вмѣсто всякаго разговора, могутъ просто шею наkostenять. По этому случаю, они съ какимъ-то страхомъ исполняли всѣ требованія, исходившія оттуда относительно покупки книгъ, относительно подарковъ къ именинамъ той или другой гувернантки, и т. д. Къ святой они тащили содержательницѣ пансіона гусей, куличи, пасхи и т. п.

— Напрасно вы беспокоитесь... право... говорила имъ мадамъ Карачаева, принимая подарки.

— О, помилуйте, отвѣтствовали ей обрадованные ея незлобіемъ отцы и матери и продолжали радѣть ей въ томъ же родѣ. По соображеніямъ ихъ, изъ ихъ дочерей выходили настоящіе барышни, то есть такія именно барышни, какія были для нихъ идеаломъ образованности и благовоспитанности.

— Ну-ко, Анюта, иногда спрашивалъ у дочери отецъ-чиновникъ, напившись чаю и посяживая отъ нечего дѣлать съ женой у окна. Ну-ко, скажи: какъ васъ тамъ, какимъ словамъ учать?

— Обывновенно всякимъ, добавляла жена; деньги берутъ не маленькія, стало быть надоть выучить до самаго послѣдняго слова...

— Нѣтъ, это я такъ, улыбаясь говорилъ отецъ. Это я чуть-чуть хочу; Богъ ее знаетъ, какъ въ разныхъ земляхъ-то... Что, напримѣръ, *плевать*, есть-ли по французскому-то?..

— Есть...

— Цсс... Что-же, стало быть, и у нихъ это самое: «тьфу»?..

— И у нихъ.

При этомъ отвѣтѣ, даже мать дѣвочки, сохраняющая вообще болѣе мужа собственное достоинство, отрывается отъ чулка и съ улыбкой взглянувъ на мужа говорить:

— Ну, а ежели случится сказать, примѣрно, когда придется, Аксинью изругать,—дура ты, моль, этакая... шкура... Есть?

— Я не учила.

— Еще не знаетъ... Видишь-ты, ей-богу! Все какъ есть, одно къ одному... ай-ай-ай...

Дочь, умѣвшая уже понимать необразованность своихъ родителей, не пропускаетъ при этомъ случаѣ озадачить ихъ еще болѣе. Она начинаетъ скороговоркой, не останавливаясь, сыпать напр. такія непостижимыя слова:

— Шампань, Лотарингія, Ельзась, Франшконте.

— О-о-о...

— Провансъ, Лангедокъ, Гиень, Гасконь.

— Ффы ты боже мой... Будеть, будетъ! Довольно! Въ ухахъ родителей послѣ этого монолога идетъ какая-то ужасная вьюга чужихъ непостижимыхъ звуковъ.

Опомнившись нѣсколько, отецъ говорилъ:

— Н-да! Мудрено... Это ежели и нашему брату, и то, ей-богу, ошалѣешь...

А М-ше Карачаева, между тѣмъ, вела дѣло образованія по всѣмъ правиламъ своей расширенной программы.

Чтобы читатель могъ видѣть, и хоть слегка познакомиться съ тѣмъ, какимъ образомъ приводилось въ дѣло желаніе расширить кругъ знаній, и какого рода были эти знанія,—привожу отрывокъ изъ дневника одной пансіонерки.

«...Въ концѣ мая М-ше приказала готовиться къ акту.

— На первый разъ нужно какъ можно лучше показаться

публикѣ. Народу будетъ много, потому что выборы, сказала она.

Всѣмъ было приказано шить бѣлыя кисейныя платья, съ открытымъ воротомъ, и застаться широкими красными и синими лентами для поясовъ. Началась суматоха. Прежде всего мадамъ начала насъ учить характернымъ танцамъ:—это необходимо для публики, говорила она. Всѣ гувернантки говорили тоже. Федоровъ (учитель) говорилъ, что это вздоръ, что это только на одинъ разъ, что онѣ не ученыя собачонки, и имъ не съ шарманкой ходить по улицамъ, но на него и вниманья не обращали.

— Для публики, понимаете ли, для публики, говорила ему М-ме Карачаева,—я пять лѣтъ держу пансіонъ и знаю, какъ и что нужно родителямъ. Федоровъ только пожалъ плечами.

На другой день послѣ этого разговора, въ двѣнадцать часовъ, къ намъ явился актеръ Славинъ. Его пригласили учить насъ. Онъ завился въ мелкіе локоны, выбрился, надушился и раз-франтился въ пухъ и прахъ. Многіе сейчасъ же и влюбились въ него по уши. Славинъ прищуривался, улыбался, вертѣлъ лорнетомъ. Просто противная рожа. Скоро начались танцы. Учитель показывалъ, какъ нужно поднимать ноги и, размахивая при этомъ то той, то другой ногой, говорилъ: «вотъ такъ, разъ-два-три, разъ-два-три».. Иногда онъ присѣдалъ на полъ и руками поправлялъ чью нибудь ногу. Ужась, что такое...

— То есть, совершенныя обезьяны ученыя, говорилъ Федоровъ.

— Я знаю, я пять лѣтъ учу, я здѣсь хозяйка, сердилась М-ме.

— Конечно, дѣло ваше, сказалъ Федоровъ и ушелъ.

Послѣ танцевъ насъ засадили за сочиненія. Федоровъ говорилъ:

— Какія же вамъ сочиненія? Я, право, не знаю... Ну, напишите что нибудь,—осень, зима.

— Что вы? Что вы? закричала мадамъ... Что онѣ, десяти-лѣтнія дѣвчонки, что ли? Слава богу, посмотрите на нихъ,— онѣ невѣсты. И съ баснями выльзутъ?... Развѣ это возможно?

— Право, я не знаю. Какія же сочиненія? Знаютъ онѣ очень мало.

— А вы что съ ними дѣлали цѣлый годъ? Онѣ должны

все знать! Я сама напишу темы. Подъ вашимъ руководствомъ они должны написать... Вы должны указать имъ, помочь!

— Это какъ хотите!

Маша задала три сочиненія: о Байронѣ, о провидѣнн и о прервренности судьбы.

— О Байронѣ, такъ о Байронѣ, сказала Федоровъ... Стадо быть и толковать тутъ нечего...

Федоровъ уперся книгой въ парту и, смотря въ потолокъ, говорилъ:

— Ну! хромой... Снажите, молю, хромъ былъ... Н-ну? Лордъ... стихи писалъ... погибъ отъ страстей... Что-жъ вамъ еще-то? Ну, да тамъ вообще по запискамъ; у васъ видъ есть въ запискахъ?

— Мы не умѣемъ, отвѣчали мы.

— Что же я съ вами буду дѣлать?.. Нужно... Скажите: погибъ, молю, преждевременно въ водоворотъ страстей отъ пресыщенія!.. Право, я не знаю!.. Хлопочите какънибудь... Я не справлю.

Мы рѣшительно не знали: какой это водоворотъ? какая прервренность? Мучились, мучились!.. Я написала Колъ (онъ) записку, не можетъ-ли онъ мнѣ сочинить. Онъ сочинилъ; и тамъ тоже водоворотъ.

— И у васъ? спросила я его въ воскресенье.

— Это вездѣ... Иначе и быть не можетъ... Байронъ былъ хромъ, былъ лордъ, погибъ въ водоворотъ страстей. Изъ сочиненій его особенно замѣчательны...

— Это не нужно...

Нѣкоторые изъ подругъ начали просить написать это сочиненіе своихъ братьевъ, отцовъ, ташапа... Маша К** попросила отца; онъ былъ очень сердитый человекъ, потому что служилъ всегда на войнѣ и рѣзалъ тамъ людей ножомъ. Отецъ Маши взялъ перо, бумага, думалъ-думалъ, ходилъ-ходилъ, наконецъ выпилъ изъ графина очень много, сдѣлался пьянъ и золь больше прежняго. Тогда онъ схватилъ стулъ и началъ все бить: зеркало, окно, дѣтей и приговаривать: «вотъ тебѣ пресыщеніе!» потомъ разбилъ стулъ объ полъ и закричалъ:— «сытъ теперъ, напился анафема!..»

Маша, ея мать, всѣ дѣти—плакали цѣлую ночь. На утро Машу вставила у отца просить прощенія...

— Что же вы, mesdames, спрашивалъ черезъ недѣлю Федоровъ. Все еще не сочинили?

— Мы не умѣемъ.

— Неужели? Да вѣдь это такъ просто... Байронъ! Ну чтожь такое, велика важность... Что на него смотрѣть-то... Хромой да и баста... Ха-ха-ха... Въ самомъ дѣлѣ шутка...

Мы молчали.

— И такъ, все-таки, не можете?...

— Нѣтъ...

— Что съ вами дѣлать; давайте, ужъ какъ нибудь я... Дѣлать нечего... Погибать ужъ за одно... Вмѣстѣ, покрайней мѣрѣ, не такъ страшно.

Скоро были готовы и сочиненія. Только мудрено: нужно было непременно выучить наизусть... Въ низшихъ классахъ въ это время воспитанницы учили стихи, басни: осель, возель, попрыгунья стрекоза и т. д...»

Такимъ образомъ подготавлилась та невыразимо-пріятная для публики и въ особенности для родителей—живая картина, которую представлялъ торжественный актъ. Въ самомъ дѣлѣ, чтожь можетъ быть умилительнѣе этого зрѣлища: выходитъ дѣвочка девяти или десяти лѣтъ и тоненькимъ голоскомъ начинаеть выпискивать, какимъ образомъ мартышка въ старости слаба глазами стала. Дивція, повышение и пониженіе голоса, подражаніе тону разговора большихъ выработаны на столько, что посторонніе зрители, созерцая это, не могутъ удержаться отъ самой добродушной улыбки, очень похожей на ту, которая является, напримѣръ, при созерцаніи собачонки, играющей въ карты. Затѣмъ выступаютъ дѣвицы взрослые и начинаютъ мудрствовать, придавая голосу самый сантиментальный отгѣнокъ: толкуютъ онѣ о разлукѣ съ пансіономъ, упоминая при этомъ о благодѣяніяхъ «нашей несравненной начальницы». Мудрствуютъ онѣ и о превратности судьбы, доказывая, что въ семь тлѣнномъ мірѣ все бренно и скоропреходяще; мудрствуютъ и о провидѣніи, утверждая при этомъ, что чловѣкъ ничего не можетъ самъ... Все Богъ.

Мадамъ Карачаева въ хлопотахъ и умиленіи; она старается всѣмъ понравиться, всѣмъ угодить, бѣгаетъ, слѣдитъ за губернаторомъ, и не отстаеть отъ него ни на минуту. Потомъ начинаются танцы и тутъ я уже отказываюсь изобразить тотъ

восторгъ, который выказывает публика. Визгъ смычковъ, пещущійся въ отворенныя окна дворянскаго собранія, пробираетъ даже кучеровъ, дожидających своихъ господъ, и они подъ мотивъ — *возьмъ рѣчки* начинаютъ полегоньку вывертывать погами...

Раздаются похвальные листы, аттестаты, музыка гремитъ «Боже царя храни» и оканчивается, такимъ образомъ, живая картина изображавшая, какъ и въ теченіи трехъ лѣтъ учатся и преуспѣваютъ наши благовоспитанныя дѣвушки.

Дождались наконецъ и Младенцевы своей Маши. Былъ по этому случаю устроенъ торжественный вечеръ, на который были приглашены всѣ уважаемые знакомые и нѣкоторые изъ молодыхъ чиновниковъ. Огромный аттестатъ Маши показывался каждому гостю: отецъ постоянно развертывалъ его на ломберномъ столѣ и самодовольно произносилъ:

— Вотъ-съ, не угодно-ли?..

Гости толпой обступали столъ, и, держа руки назадъ, наклонялись надъ аттестатомъ и произносили:

— А-а-а!... Сважите пожалуста...

— Двадцать двѣ науки! говорилъ отецъ...

Гости захлебывались отъ ужаса.

Родители были въ полномъ восторгѣ, потому что дочь ихъ была дѣйствительно такая заколдованная вещь, которую никто постигнуть не могъ. Двадцать двѣ науки, восткомъ, ужимки, хватки и пр. и пр. и пр. Все это пріятно щекотало родителей. Да и сама дочь, сама барышня была видимо довольна собой, чему прежде всего способствовало устроенное для нея торжество.

Но торжество это прошло. Аттестатъ былъ свернуть въ трубку и спрятанъ куда-то въ сохранное мѣсто. Барышнѣ пришлось жить самой; ей предстояла необходимость для собственнаго счастья передѣлать окружавшія ее будни. Но даже мысли объ этомъ, даже сознанія, что именно скверно и что именно не нужно—не могло явиться въ ея головѣ. Вся многосторонняя наука трехъ лѣтъ оставила въ головѣ ея только какія-то общія фразы и кусочки формъ того или другаго предмета. Если бы ей пришлось что нибудь вспомнить изъ того, что ей вбили въ голову, или передать эти познанія другому, то она, при самомъ сильномъ напряженіи головы,

могла бы вспомнить что нибудь въ родѣ: отъ правой руки къ лѣвой, отдѣляя по три цифры... и т. п.

Словомъ, дамская наука изъ несчастнаго субъекта образовала какую-то непригодную неопредѣленную массу, безъ цѣлей, безъ смысла и даже безъ возможности развиваться далѣе. А слѣдствіемъ такой науки явилось сознание пустоты, ожидание жениха-избавителя—и самая отчаянная скука.

III.

Обходя подробности, въ которыхъ выражается искажающее вліяніе семейной жизни, я прямо перехожу къ другому, неменѣе важному предмету, который тоже не мало участвуетъ въ этомъ великомъ дѣлѣ обезображиванія. Я говорю о мужчинахъ.

Въ тѣхъ болѣе широкихъ кружкахъ чиновнаго міра, гдѣ есть возможность какими нибудь путями пользоваться книжнымъ опытомъ и понимать его, т. е. гдѣ есть уже возможность, чрезъ сравненія, убѣдиться въ удобствахъ и неудобствахъ своей жизни,—часто слышится жалоба на нашихъ господъ кавалеровъ, жалоба на ихъ слишкомъ большую безтребовательность относительно подругъ жизни, и, особенно, на ихъ специальное желаніе быть только *кавалерами*.

Въ самомъ дѣлѣ, кого бы мы ни взяли изъ мужской молодежи, возвращающейся въ томъ маленькомъ кружкѣ, который выпалъ на долю нашего эскиза,—мы неизмѣнно съ перваго же взгляда убѣдимся въ справедливости этихъ словъ. Столичный-ли это кавалеръ, мѣстный-ли бухгалтеръ, съ какою нибудь духовной фамиліей; провинціальный-ли ингилисть, — человекъ, отрицающій науку въ видѣ извѣстной ему краткой исторіи Устрялова, — всѣ они въ своихъ отношеніяхъ къ женщинамъ стараются быть прежде всего кавалерами, и въ этомъ состоитъ ихъ вина. Отцы собираютъ послѣднія крохи, вымазываютъ, гдѣ возможно и гдѣ невозможно, полтинники и цѣлковые только для того, чтобы сшить дочерямъ новую шляпку, сшить платье со шлейфомъ и т. п., потому что этимъ

они могутъ угодить вкусамъ и требованіямъ жениховъ-кавалеровъ. Относительно этого предмета, требованія господъ кавалеровъ не отстаютъ отъ вѣка ни на шагъ, такъ-что самый злой сатирикъ моднаго журнала никакимъ образомъ не можетъ подтрунить ни надъ однимъ бантомъ, ни надъ одной лентой, которые-бы запоздали на мѣсяць, противъ появленія своего въ столицѣ,—ибо этого и быть не можетъ, ибо повторяю, это нужно для того, чтобъ обратить вниманіе жениховъ. И все это дѣлается съ удивительной поспѣшностію, ради этого приносятся всевозможныя жертвы. Стало быть, кавалеры, въ нѣкоторомъ родѣ—сила. Потребуй они чего нибудь другого, болѣе серьезнаго и дѣльнаго, родители волей-неволей отказались-бы отъ многихъ безпутныхъ мнѣній относительно той или другой (будтобы) необходимости въ жизни и воспитаніи дѣвушки. Вышло бы сначала очень много смѣшного, еще болѣе глупаго, но потомъ, мало по малу, навѣрное сказалось бы настоящее дѣло, настоящее слово.

Посмотрите, въ самомъ дѣлѣ, на рожицы господъ кавалеровъ, которые вращаются въ этомъ маленькомъ чиновномъ міру. Эти рожицы уже потому плохи, что они вращаются здѣсь, потому что они не дошли до сознанія, что здѣсь жить нельзя, и не ушли отсюда куда глаза глядятъ, если не могли устроить своей жизни на другой, болѣе хорошей манерѣ. Плохи и пошли они, не смотря на то, что иной вынянченъ столицей,—иной вынянченъ слухами о какомъ-то новомъ времени и т. д. Возьмите на пробу, кого хотите. Сначала хоть столичнаго юношу.

Столичный юноша, по большей части, происходитъ отъ какой-нибудь благочестивой семьи, принадлежащей въ этому же маленькому міру провинціальныхъ чиновниковъ. Благочестивая семья, за свою безпорочную службу отечеству, счумѣла какъ-то сунуть его въ Петербургъ, въ какое-то заведеніе, образующее людей съ каррьерой на вѣрняка; дала ему прежде этого образованіе до четвертаго класса гимназіи, родительское благословеніе на дорогу и отпустила на волю мудраго начальства. Благочестивая семья въ это время долго плакала, и ставила свѣчи Иоанну воину и Николаю угоднику, а пока она дѣлала это, юноша преобразовывался не по днямъ, а по часамъ. Наука, просвѣщавшая юношу, была впрочемъ та-

того рода, что не могла одолѣть нѣкоторыхъ воинскихъ наклонностей, появившихся въ юности, и которыя въ высшей мѣрѣ развили въ немъ Невскій проспектъ, пассажъ и др. п. др. Впрочемъ это и не мѣшало дѣлу. Нужно было только быть почтительнымъ, являться въ воскресенье ровно въ семь часовъ, и не грубить. Пять цѣловыхъ, которые послышались юношѣ изъ родины каждый годъ, и составляли въ столицѣ нѣкотораго рода пропію надъ словомъ «деньги», заставляли юношу отыскивать средства къ жизни, вслѣдствіе чего въ эту пору на его языкѣ стали встрѣчаться фразы: «огрѣлъ», «сорвалъ», «поддѣлъ» и т. д. Духлая, отвормленная «маіономія» юноши, которою онъ щеголялъ въ провинціи, теперь значительно измѣнилась: она покрылась какими-то, только въ корпусахъ существующими, уграми и прыщами, огрубѣла и оцонилась, благодаря преимущественно тому обстоятельству, что тетинька, въ которой юноша ходитъ въ отпускъ, часто оставляла его ночевать, — ибо далеко. Юношѣ къ тому принималъ большое участіе въ образованіи этого молодого человѣка.

Соберите всѣ эти лоскуты, которые обліпили юношу въ столицѣ, — и передъ вами представится вовсе неблагоприятная масса. Но прибавьте къ этому умѣнне покоряться и ступоваться въ извѣстныхъ случаяхъ, и одно уже это сгладитъ и прикроетъ многое, или по крайней мѣрѣ не дастъ вамъ видѣть этого дурного. Изъ юноши вышло то дешевое блюдо, которое въ грошовыхъ кухмистерскихъ столицы слыветъ подъ громкимъ названіемъ «спащеть». Дѣйствительно, форма его страшно соблазнительна, но поднимите вы верхній слой, загляните въ серединку этого кушанья и соберите всю силу духа, чтобы не ужаснуться; чего тамъ нѣтъ? вуски, труповыя вахикъ-то животныхъ, волосы, тряпки и, даже, что-то шевелящееся, живое. Въ ужасѣ вы захлопываете верхней слойкой эту безобразную, возмутительную пиццу, и, если желудокъ вашъ кричитъ слишкомъ громко, начинаете отчаянно работать ножомъ и вилкой и, зазмуривъ глаза, отираете куски въ ротъ. Точно такія же дохмоты и тряпки, точно такая же неприятная и безвредная смѣсь составляетъ столичнаго юношу. Позаботясь же, между прочимъ, и о томъ, чтобы не ужасался посторонній членъ въкъ, столица прилѣпила ему какіе-то жидельіе погоничи.

выдала сумму на приличную обмундировку и въ самомъ дѣлѣ сдѣлала такое кушанье, которое имѣеть видъ приличный, — и въ такомъ видѣ послала его снова въ провинцію, на старое пепелище.

Съ такими данными столичный кавалеръ явился въ глуши, въ маленькомъ чиновномъ міру. Что-же новенькаго привезъ онъ сюда? какъ онъ будетъ вести себя здѣсь? этаго вы даже и представить себѣ не можете. Наука Невскаго и тетушки, въ этомъ мирномъ быту, невозможна. Юноша, изъ желанія понравиться *естямъ*, припоминаетъ, какъ-бы блестянуть здѣсь, не показываться вертопрахомъ и шематономъ. Вспомнивъ, что въ молодыхъ людяхъ здѣсь желали бы видѣть не сорванцовъ и не раснутниковъ, онъ явился просто младенцемъ, стыдливо опускающимъ глаза въ землю, поазываетъ какой нибудь фокусъ на картахъ и выучиваетъ кошку скакать черезъ руку. Кромѣ этихъ способовъ времяпрепровожденія, онъ сообщаетъ, что Исакиевскій соборъ достигаетъ вершиной едва-ли не до неба, на что чиновники разинуть ротъ, и еще разъ убѣдятся, что Россія первое государство; сообщаетъ, что существуетъ ясновидящая Берта, двухъ-головый теленокъ, и проч. и проч. Изрѣдка прорывается онъ, сообщая вдругъ о пощечинѣ въ какомъ-то публичномъ мѣстѣ, нанесенной однимъ графомъ другому графу, или какъ-кто-то поддѣлъ кого-то въ одну секунду на 22,000 рублей и т. д. Въ такихъ случаяхъ, чиновники разѣваютъ рты и опять убѣждаются, что Россія первое государство на свѣтѣ, а потомъ уже идетъ французъ и дванадцать языкъ. Съ барышней юноша рѣшительно не могъ сообразить ничего. Отношенія къ женщинамъ у него начались на Невскомъ, отношенія смѣлыя, исключительныя. По этому предмету онъ даже и вспомнить не могъ чего нибудь невиннаго, — и могъ только одолѣть фразу.

— Какъ вамъ нравится погода?...

Но едва онъ дѣлалъ одинъ шагъ за-ворота, онъ уже думалъ совсѣмъ иначе, застѣнчивости не было и слѣда; особенно насчетъ барышни онъ-бы теперь распорядился по своему, крайне энергически... Зачѣмъ же однако это существо появилось здѣсь? жениться юноша не можетъ: онъ ищетъ богачку, преимущественно купчиху, съ громадными деньгами; стало быть, дѣла-то ему здѣсь нѣтъ. Есть, впрочемъ, небольшое.

Замѣтивъ расположеніе къ себѣ нѣкоторыхъ престарѣлыхъ родителей, у которыхъ были молодыя дочери, юноша однажды кашлянулъ робко и еще тише произнесъ:

— Я у васъ, Иванъ Федоровичъ, хотѣлъ попросить десять рублей до завтрашняго дня... Я вамъ завтрашній день доставлю въ шесть часовъ утра...

— Зачѣмъ такую рань... Какъ нибудь придете вечеромъ, отдадите...

— Благодарю васъ! говоритъ юноша самымъ искреннимъ, самымъ благодарнымъ тономъ...

— Вотъ такъ поддѣлъ! произноситъ онъ на улицѣ, помирая со смѣху.

— Что это Алексѣй Петровичъ давно не былъ? спрашиваетъ соскучившись вечеромъ старикъ—этакъ чрезъ недѣлю.

— Не боленъ-ли ужъ онъ? спрашиваетъ родитель черезъ двѣ недѣли.

— Однако десять цѣлковыхъ-то не несетъ! нѣсколько уныло рѣшается промолвить онъ черезъ три.

Пошли какъ-то гулять—вся семья; смотреть,—Алексѣй Петровичъ гуляетъ серьезно и благоприлично, главное солидно; но лишь только замѣтилъ онъ знакомую фигуру чиновника—исчезъ внезапно... Да, исчезъ такимъ образомъ, что рѣшительно нельзя было опредѣлить—куда: за уголъ-ли, въ цирюльню ли, или въ кондитерскую, ибо ни за угломъ, ни на улицѣ его не было. Такъ умѣютъ, исчезать только столичные пройдохи,—провинціальныя не умѣютъ.

Вообще—прокъ не великъ отъ столичнаго кавалера.

Мѣстный кавалеръ остановится едва ли не на тѣхъ же отношеніяхъ. Сынъ сельскаго дьякона, чиновникъ Богодуховъ, кончилъ кое какъ семинарію, и сообразивъ, что въ его званіи нѣкоторые соотечественники достигали въ послѣдствіи званія «царедворцевъ» и вращали, такъ сказать, судьбами народовъ,—поступилъ въ чиновники. Быть когда нибудь царедворцемъ и вращать судьбами,—дѣло не маленькое, сами посудите; и, по чистой совѣсти сказать не дурно, главное—доходы. Но поступилъ онъ, конечно, не на должность царедворца, а на вакансію писца. Долго тянулася самая скучная, самая холодная жизнь. Жалованье было маленькое, а человѣческія потребности существовали; нужно было жить. Въ общихъ чертахъ жела-

нѣ жизни распадалось на желанье женщины, любви, не свинцоваго сна и не тупаго отвращенія, которымъ вѣяли неуютныя стѣны холостой квартиры. Но достигнуть чего нибудь при этихъ средствахъ было рѣшительно невозможно. Нужно было какъ нибудь жить, какъ нибудь изловчатся, и вотъ ради этого отъ скромнаго жалованья, урѣзаннаго всеми множествами рукъ, черезъ которыя проходило оно, — еще съ большимъ тщаніемъ урѣзывались какіе-то четвертаки, какіе-то двугривенные и на нихъ-то покупалась жизнь, хоть бы въ формѣ водки, хоть бы въ формѣ женщины. По деньгамъ и товаръ; въ этомъ случаѣ, слѣдовательно, товаръ былъ дрянной, грязь была на первомъ планѣ, и вываливалась наружу безъ церемоній и разговоровъ. Жизнь текла самымъ пошлымъ образомъ: одинъ Ивановъ заходилъ въ другому Иванову, зѣвалъ и говорилъ:

— Не послать-ли?

— Чтожь, пошли...

— Право. Я такъ соображаю — полштофъ на первое время достаточно.

— Посылай. Я — потомъ... еще понадобится.

— Само собой, — заключилъ лѣциво Ивановъ, доставая изъ гармана жилета мѣдяки.

Полштофъ подогрѣвалъ пріятелей и они уже не могли усидѣть на одномъ мѣстѣ: нужно было пока свѣжаго воздуха... Пріятели вываливались на улицу и здѣсь сталкивались съ другой кучей сослуживцевъ, которые, шлепая волошами по грязи, тоже бѣжали изъ домашней тюрьмы.

— Куда?

— Да такъ... нигуда...

— Пойдемте вмѣстѣ...

Слѣдовала новая выпивка, снова тасканіе по грязной улицѣ и наконецъ, коздно ночью, пьяныя ноги волокли своихъ хозяевъ по далекимъ и скраднымъ провинціальнымъ закоулкамъ, въ которыхъ случается слишкомъ много дракъ, выливается слишкомъ много водки, въ которыхъ много пьяныхъ пѣсней и еще больше пьяныхъ слезъ.

Дѣло оканчивалось обыкновенно трескотней въ голову; или, шрамомъ, или увѣчьемъ и, главнѣе всего, ощущеніемъ тѣлостной внутренней пустоты. Случайная жизнь, и служба этой жизни неабѣдна, ибо Богодуховъ, состоя на вакансіи числа,

по положенію и по состоянію не могъ быть интересенъ въ обществѣ, живущемъ если не умною жизнію, то хоть не грязною по наружности. Съ женщинами этого кружка онъ и подумать не могъ сходитьса: былъ онъ оборванецъ, писець, — стало быть вовсе не женихъ, и даже такой человѣкъ, котораго пустить къ себѣ нельзя, — пачопчетъ и наслѣдитъ въ гостинной.

Но вотъ черезъ нѣсколько времени, благодаря терпѣнію, которое преодолеваетъ все, онъ выбрался попомногу на дорогу, если не благосостоянія, то нѣкотораго довольства. Онъ уже ходитъ въ приличномъ платьѣ, запасся огромнымъ ярко-краснаго цвѣта шарфомъ, который было видно за пятьсотъ шаговъ, — живетъ не въ конурѣ и мѣсто занимаетъ порядочное, многіе завидуютъ. Теперь уже невозможно жить по прежнему, теперь ужь кухарка Арина, которой Богодуховъ оказывалъ когда-то значительныя услуги, отправляя ея ребятъ въ Москву, въ воспитательный домъ, — уже ему не пара для разговоровъ и разсужденій. Вотъ въ эту-то пору пробуждается у него желаніе сойтись съ благовоспитанной барышней, для того чтобы прогуляться съ ней по бульвару, при всѣхъ, съ такой-то или этакой-то разфуфыренной особой. Болѣе-то и радости онъ не находитъ въ столкновеніяхъ съ женщиной. Одно уже то ничтожество средствъ, которыя могутъ помочь этому дѣлу, и которыми запасаются кавалеры, собираясь на охоту за женскими сердцами, т. е. новые сапоги, новый сюртукъ и проч., говорить не объ обширности требованій этихъ кавалеровъ. Кромѣ костюма, онъ желаетъ еще выучиться услуживать барышнямъ. Это выражается у него тѣмъ, напримѣръ, что, провожая барышню изъ церкви домой, онъ, какъ кавалеръ, охраняющій даму, опарашиваетъ съ особенною энергіею собаку своей здоровенной палкой, опарашиваетъ даже въ такихъ случаяхъ, когда собака и не думала нападать ни на кавалера, ни на даму, а тихонько спада; свернувшись въ клубокъ на солнечномъ припекѣ. Выучивается онъ подхватывать платки, подставлять стулья, — и знаетъ, что если ему сважутъ «мерси», то нужно отвѣчать — «спесонить». Но главная забота его — это разговоръ. Объ чемъ онъ будетъ разговаривать съ барышней? Какъ? про что? Это главное всего. Сколько онъ ни ломаетъ голову надъ этимъ предметомъ, ему никакъ не

удается поймать ни одной фразы, приличной для разговора. Упорно вертится только одна.

— Какъ ваше здорovie?

Но посудите, ради Бога, сами,—чтожь это за фраза. Куда она годится?

Что-жь дальше то?... Мало; никуда не годится.

Это мучение свое онъ повѣряетъ своему пріятелю, чело-вѣку бывалому; тотъ мигомъ рѣшаетъ дѣло:

— Эва важность, говоритъ пріятель, — разговоръ! Съ барышней какъ разговаривать? Она тебѣ, напримѣръ, — разъ, разъ, разъ.—А ты ей напротивъ, а ты ей напротивъ,—вотъ и вся исторія...

И оказывается, что пріятель дѣйствительно правъ. Въ самомъ дѣлѣ, стоитъ прислушаться къ разговору провинціаль-ныхъ кавалеровъ средней руки, и вы услышите именно такой разговоръ, или самую изящную или аляповатую перифразировку его:

— Вы гуляли? спрашиваетъ дѣвица.

— Совершенно напротивъ,—чай съ пріателемъ пилъ.

— Гдѣ же вы были?

— Даже совершенно напротивъ,—возвращаюсь обратно...

И т. д.

Дѣйствительно молодымъ людямъ, изнывающимъ въ этихъ дебряхъ, приходится выучиваться разговору. И кавалеръ, и барышня слѣдуютъ въ этомъ случаѣ методу взаимнаго противорѣчія, потому что ни при какихъ другихъ условіяхъ даже подобныя паутиныя отношенія молодыхъ людей были бы совершенно невозможны. Имъ невозможно подѣлиться даже своими впечатлѣніями жизни, чтобы не сконфузить себя. Молодому чело-вѣку въ такихъ случаяхъ невозможно не испестрить своего разсказа безчисленнымъ повтореніемъ словъ «полштофъ», «разбитый глазъ» и т. д. Барышня тоже при этомъ должна сообщить, сколько графиновъ квасу выпили они отъ скуки, сколько разъ валялась на кровати, какъ по вечерамъ всегда папенька подъ хмѣлькомъ, и поэтому маменька и всѣ дѣти, въ томъ числѣ и барышня—умоляютъ его со слезами лечь спать. А этого нельзя. Они отъ такой откровенности много теряютъ въ глазахъ другъ друга. Оба они до такой степени исказили свой чело-вѣческой образъ, свои отношенія, что показать

этотъ искаженный образъ на чистоту рѣшительно невозможно. Нужно *выдумать* такіе приемы, которые бы давали возможность прятаться другъ отъ друга, казаться чѣмъ-то другимъ... И дѣйствительно, ни тотъ, ни другой изъ этихъ субъектовъ, совершенно непостижимы другъ для друга, составляя какую-то сплошную непроходимую дебрь.

Я долженъ указать еще одну общую черту у нашихъ кавалеровъ, — и у столичнаго и у провинціального, которая еще болѣе роднитъ ихъ другъ съ другомъ, — это отлыниваніе отъ законнаго брака... Дѣло, какъ видите, непохвальное, грѣховное... Въ этихъ случаяхъ, то есть въ критическую минуту, кавалеръ дастъ стрелка самымъ поспѣшнымъ образомъ...

Ходить, напримѣръ, такой кавалеръ въ какойнибудь семейный домъ, оказываетъ всѣ признаки исполненія тайной надежды родителей, потому что забавляется по преимуществу съ барышней. Ходитъ годъ... Всѣ смотрятъ на него недоумѣвающими глазами и ждутъ, — скоро ли онъ попроситъ позволенія вступить...

Кавалеръ не проситъ и продолжаетъ по прежнему:

— Какъ вамъ нравится погода?

— Погода ничего, отвѣчаютъ ему и ждутъ еще полгода... Наконецъ родитель, утомленный неизвѣстностію, мнется цѣлый вечеръ, желая что то сказать, краснѣетъ... Кавалеръ замѣчаетъ и думаетъ.

— Гдѣ это моя шапка?

Онъ потихоньку отыскиваетъ свою шапку, и черезъ минуту уже пятится къ двери...

— Куда же вы? изумленно спрашиваетъ его отецъ.

— У меня голова болитъ...

— А я было, Константинъ Петровичъ, хотѣлъ съ вами поговорить...

— У меня, право, голова болитъ...

— Вамъ, конечно, небезызвѣстно, что всякій отецъ, имѣя дочь...

— Я ей-богу... У меня голова...

Кавалеръ пятится къ двери...

— Я бы хотѣлъ знать, — какъ ваши намѣренія...

— Я завтра... Въ другое время... до пріятнаго свиданія...

И кавалеръ, какъ угорѣлый, улепетываетъ во свояси, дѣлая огромные шаги и бормоча:

— Нѣ-ть.... Ш-а-а-л-л-и-шь.... Н-э-э-ть.

Черезъ два мѣсяца, не дождавшись прихода кавалера, родственники произносятъ со слезами.

— Да будь ты проклять, анафема!..

А кавалеръ сидитъ въ сосѣднемъ домѣ съ дѣвицей подъ окошникомъ и говоритъ:

— Какъ вамъ нравится погода?

— Совершенно напротивъ! отвѣчаютъ ему

И т. д.

Покинутая и ошалѣвшая отъ тоски барышня рѣшительно не знаетъ, какъ ей быть?.. Она ужъ и не думаетъ о весенней любви; она ужъ теперь вовсе и разобрать не можетъ, кто изъ сонмища этихъ кавалеровъ ей суженый. Ей помогаютъ разобрать это дѣло, давая такой совѣтъ:

— Ежели придетъ мужчина, и тебя морозъ по кожѣ подеретъ—это и есть мужъ.

И вотъ въ одинъ прекрасный день является какая то рожа... Морозъ дѣйствительно подралъ барышню. Рожа эта, лицо чиповное, сухое, носъ громадный и сплюснутый, и глаза какъ двѣ мухи,—такіе маленькіе. Фигура эта начинаетъ посѣщать ихъ чаще и чаще. Съ барышней она и въ разговоры не вступаетъ, опасается, а толкуетъ больше съ родителемъ о сокращеніи переписокъ, объ очередныхъ спискахъ, объ ребрутскомъ уставѣ... Даже про погоду ни слова... Корма дорогіе, овсы, хлѣба и т. д. Объ этомъ только и разговоръ. И какимъ то страннымъ образомъ отцы понимаютъ другъ друга, что скоро и объясняется трактованіемъ ихъ обоихъ при запертыхъ въ гостинную дверяхъ.

— Чтожь, думаетъ барышня,—разливая въ сосѣдней комнатѣ чай и понимая въ чемъ дѣло,—хоть и за этаго, дѣлать нечего.

— Маша! произноситъ отецъ, отворяя дверь.

— Я согласна!..

— Погоди! Я не про то,—налей-ко ты намъ теперь съ ромомъ...

— Господи! неужели еще и не этотъ! въ ужасѣ восклицаетъ шопотомъ Маша, откупоривая бутылку.

Къ утѣшенію барышни оказывается, что дѣйствительно этотъ-

Морозъ подираетъ ее по кожѣ все страшнѣе и страшнѣе. Но это кажется ей уже несобразностію, потому, что это—счастье.

Совершается свадьба...

И настаетъ семейная жизнь.

Право, и мнѣ, вмѣстѣ съ моими бѣдными кавалерами, приходится горевать о томъ, что до сихъ поръ имъ не даютъ прибавки. Серьезно, это безжалостно...

IV.

Изображать все счастье, всю полноту семейной жизни, я—не берусь. Это такая скучная вещь, такая каторга.. Я, въ заключеніе, скажу объ этомъ только слегка, и въ этомъ мнѣ поможетъ одно совершенно постороннее лицо.

Помните, въ началѣ этого очерка однажды появился онъ? Онъ написалъ барышнѣ сочиненіе, онъ получилъ изъ за любви къ ней до милліона единицъ и нулей, и разстался съ ней, не имѣя возможности, по причинѣ своей глупости, получить даже поцалуй. Съ тѣхъ поръ, онъ очень измѣнился, онъ видѣлъ столицу, хорошую сторону столичныхъ правовъ и подавалъ надежды сдѣлаться героемъ хоть для романа.

Въ одинъ день этотъ будущій герой, былъ снова въ своей знакомой родной улицѣ, и въ качествѣ человѣка, думающаго отдохнуть, хотѣлъ припомнить хоть и невеселое когда-то, по теперъ очень занимательное прошлое. Вспомнилъ онъ и предметъ своей страсти.

— Гдѣ Маша? спрашивалъ онъ

— Замужемъ.—

— Гдѣ она живетъ?..

Ему рассказали гдѣ.

Герой стоялъ у воротъ возлюбленной и громыхалъ задвижкой. Кривая дѣвка съ трясущейся головой отворила ему.

— Вамъ кого?

— Марью Петровну...

— Да вы кто такой?

— Можно мнѣ видѣть Марью Петровну?

— Они въ банѣ-съ...

— А супругъ?...

— Тоже въ банѣ-съ.

— Когда же ихъ можно застать? Давно-ли они?

— Часа два...

— Гм...

Черезъ часъ онъ снова громыхалъ задвижкой.

— Вамъ кого? спрашивала горничная.

— Можно видѣть Марью Петровну.

— Они въ банѣ-съ...

— А супругъ?

— Тоже-съ...

Подъ вечеръ, герой въ третій разъ стоялъ у калитки и спрашивалъ горничную:

— Барыня дома?

— Въ банѣ-съ...

— Тьфу!...

Такъ онъ барыни и не видалъ.

Глѣбъ Успенскій.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

НОВЫЙ ТИПЪ.)

I.

Въ нашей умственной жизни рѣзко выдѣляется отъ остальной массы то направленіе, въ которомъ заключается наша дѣйствительная сила и на которое со всѣхъ сторонъ сыпятся самыя жестокиныя и самыя смѣшныя нападенія. Это направленіе поддерживается очень малочисленною группою людей, на которую, однако, не смотря на ея малочисленность, все молодое смотритъ съ полнымъ сочувствіемъ, а все дряхлѣющее съ самымъ комическимъ предовѣріемъ. Эта группа понемногу расширяется, обогащаясь молодыми дѣятелями; вліяніе этой группы на свѣжую часть общества уже теперь перевѣшиваетъ собою всѣ усилія публицистовъ, ученыхъ и другихъ литераторовъ, подверженныхъ въ большей или меньшей степени острымъ или хроническимъ страданіямъ свѣтобоязни; въ очень близкомъ будущемъ общественное мнѣніе будетъ совершенно на сторонѣ этихъ людей, которыхъ остальные двигатели русскаго прогресса постоянно стараются очернить разными обвиненіями и заклеить разными ругательными именами. Ихъ обвиняли въ невѣжество, въ деспотизмъ мысли, въ глумленіи надъ наукою, въ желаніи взорвать на воздухъ все русское общество вмѣстѣ съ русскою почвою; ихъ называли свистунами, нигилистами, мальчишками; для нихъ придумано слово «свистопяска»; они причислены къ «литературному казачеству», и имъ же приписаны сооруженіе «бомбы отрицанія» и «камышкіе набѣги на науку». Объ нихъ постоянно болѣютъ душою всѣ методо-

чивые дѣатели петербургской и московской прессы; ихъ то распекаютъ, то упрасиваютъ, то подымаютъ на смѣхъ, то отрекаются отъ нихъ, то увѣщаютъ; но ко всѣмъ этимъ изъявленіямъ участія они остаются глубоко равнодушны. Худы ли, хороши ли ихъ убѣжденія, но они у нихъ есть, и они ими дорожатъ; когда можно, они проводятъ ихъ въ общество; когда нельзя — они молчатъ; но лавировать и мѣнять флаги они не хотятъ, да и не умѣютъ. Доля ихъ кажется большинству незавидной, но они не могли бы по натурѣ своей переимѣнить ее. Изъ нихъ вышли люди, которымъ досталась слава геройскихъ страданій, гоненій неутомимой, ненасытной ненависти. Другимъ встрѣчались лишь тысячи мелкихъ враговъ, и въ борьбѣ съ препятствіями недостойными, презираемыми проходила ихъ дѣятельность, которая видѣла вдали для себя болѣе широкое поприще и была достойна его. Это тяжело, но имъ много помогаетъ переносить всё невзгоды то обстоятельство, что они увѣрены въ себя и любятъ живую, сознательною любовью свои идеалы. Ихъ не удивляютъ и тѣмъ болѣе не раздражаютъ комедіи съ переодѣваніями, разыгрываемыя нашими публицистами; въ глубину отечественной учености они не вѣрятъ; красотою отечественной беллетристики не восхищаются; къ однимъ проявленіямъ нашей умственной жизни они равнодушны; къ другимъ относятся съ самымъ спокойнымъ, глубоко сознательнымъ и совершенно безпощаднымъ презрѣніемъ. Да и можетъ ли быть иначе, когда въ литературѣ, какъ и въ обществѣ, цѣлая пропасть отдѣляетъ ихъ отъ оффиціозныхъ и патентованныхъ наставниковъ массы? Въ литературѣ они стоятъ совершенно всторонѣ отъ остальной толпы и не чувствуютъ ни надобности, ни желанія приблизиться къ ней или сойтись съ ея искусственными представителями на чемъ бы то ни было. Въ обществѣ они не боятся своего нынѣшняго одиночества. Они знаютъ, что истина съ ними, они знаютъ, что имъ слѣдуетъ покойною и твердою поступью идти впередъ по избранному пути и что рано или поздно за ними пойдутъ всѣ. Эти люди фанатики, но ихъ фанатизму трезвая мысль, и ихъ увлекаетъ въ неизвѣстную даль будущаго очень опредѣленное и земное стремленіе доставить всѣмъ людямъ вообще возможно большую долю простаго житейскаго счастья.

По нишнію Молчалиныхъ и Полоніевъ журналистики и общества, это очень глупые и дурные люди, и къ наиболѣе глупымъ и дурнымъ изъ этихъ отверженныхъ людей давно уже единогласно при-

численъ ими авторъ романа «Что дѣлать?». Но изъ всего, написаннаго имъ, всего хуже и всего глупѣе объявленъ именно этотъ романъ.

Дружный ропотъ негодованія пронесся во всей нашей журналистикѣ, когда романъ этотъ увидѣлъ свѣтъ. Заговорило все, что могло говорить, а на противоположной сторонѣ господствовало полное и глубокое молчаніе. Когда наконецъ черезъ годъ молчаніе это нарушилось, «вольные» критики и публицисты могли сказать, что полку ихъ прибыло. Цѣлый годъ истощалось ихъ остроуміе по поводу алюминіевыхъ колоннъ, нейтральной комнаты, вѣчныхъ пѣсенъ Бѣлой Арапіи и проч. Наконецъ, истощившись въ послѣднемъ усилии главы россійскихъ казеннокоштныхъ сатириковъ, оно смогло окончательно, какъ будто романъ погребенъ на вѣки соединенными усиліями вольныхъ писателей.

И дѣйствительно, немудрено, что таковъ былъ общій голосъ всѣхъ критиковъ, отъ «Развлеченія» до «Современника». Никогда еще то направленіе, о которомъ я упомянулъ вначалѣ, не заявляло себя на русской почвѣ такъ рѣшительно и прямо, никогда еще не представлялось оно взорамъ всѣхъ ненавидящихъ и клянущихъ его такъ рельефно, такъ наглядно и ясно. Поэтому всѣхъ, кого кормить и грѣбеть рутина, романъ г. Чернышевскаго приводитъ въ неописанную ярость. Они видятъ въ немъ и глумленіе надъ искусствомъ, и неуваженіе къ публикѣ, и безнравственность, и цинизмъ, и, пожалуй даже, зародыши всякихъ преступленій. И, конечно, они правы: романъ глумится надъ ихъ эстетикой, разрушаетъ ихъ нравственность, показываетъ дживость ихъ цѣломудрія, не скрываетъ своего презрѣнія къ своимъ судьямъ. Но все это не составляетъ и сотой доли прегрѣшеній романа; главное въ томъ, что онъ могъ сдѣлаться знаменемъ ненавистнаго имъ направленія, указать ему ближайшія цѣли и вокругъ нихъ и для нихъ собрать все живое и молодое.

Съ своей точки зрѣнія наставники наши были правы; но я слишкомъ уважаю своихъ читателей и слишкомъ уважаю самого себя, чтобы доказывать имъ, какъ безконечно позорно для нихъ это обстоятельство и какъ глубоко уронилъ ихъ романъ «Что дѣлать?» тою ненавистью и яростью, которыя поднялись противъ него. Читатели мои, разумѣется, очень хорошо понимаютъ, что въ романѣ этомъ нѣтъ ничего ужаснаго. Въ немъ, напротивъ того, чувствуется вездѣ присутствіе самой горячей любви къ человѣку; въ немъ

собранны и подвергнуты анализу пробивающіеся проблески новых и лучших стремленій; въ немъ авторъ смотритъ въ даль съ тою сознательною полнотою страстной надежды, которой нѣтъ у нашихъ публицистовъ, романистовъ и всѣхъ прочихъ, какъ они еще тамъ называются, наставниковъ общества. Оставаясь вѣрнымъ всѣмъ особенностямъ своего критическаго таланта и проводя въ свой романъ всѣ свои теоретическія убѣжденія, г. Чернышевскій создалъ произведеніе въ высшей степени оригинальное и чрезвычайно замѣчательное. Достоинства и недостатки этого романа принадлежать ему одному; на остальные русскіе романы онъ похожъ только внѣшней своею формою: онъ похожъ на нихъ тѣмъ, что сюжетъ его очень простъ и что въ немъ мало дѣйствующихъ лицъ. На этомъ и оканчивается всякое сходство. Романъ «Что дѣлать?» не принадлежитъ къ числу сырыхъ продуктовъ нашей умственной жизни. Онъ созданъ работою сильнаго ума; на немъ лежитъ печать глубокой мысли. Умѣя вглядываться въ явленія жизни, авторъ умѣетъ обобщать и осмысливать ихъ. Его неотразимая логика прямымъ путемъ ведетъ его отъ отдѣльныхъ явленій къ высшимъ теоретическимъ комбинаціямъ, которыя приводятъ въ отчаяніе жалкихъ рутинеровъ, неимѣющихъ другого возраженія, кромѣ бессмысленнаго слова: «утопія».

Всѣ симпатіи автора лежатъ безусловно на сторонѣ будущаго; симпатіи эти отдаются безраздѣльно тѣмъ задаткамъ будущаго, которые замѣчаются уже въ настоящемъ. Эти задатки зарыты до сихъ поръ подъ грудой общественныхъ обломковъ прошедшаго, а къ прошедшему авторъ конечно относится совершенно отрицательно. Какъ мыслитель, онъ понимаетъ и, слѣдовательно, прощаетъ всѣ его уклоненія отъ разумности; но какъ дѣятель, какъ защитникъ идеи, стремящейся войти въ жизнь, онъ борется со всякимъ безобразіемъ и преслѣдуетъ ироніею и сарказмомъ все, что бременитъ землю и коптитъ небо.

II.

Въ началѣ пятидесятихъ годовъ живетъ въ Петербургѣ мелкій чиновникъ Розальскій. Жена этого чиновника, Марья Алексѣевна, хочетъ выдать свою дочь, Вѣру Павловну, за богатаго и глупаго жениха, а Вѣра Павловна, напротивъ того, тайкомъ отъ родителей вы-

ходитъ занужь за медицинскаго студента Лопухова, который, чтобы жениться, оставляетъ академію за нѣсколько недѣль до окончанія курса. Живутъ Лопуховы четыре года мирно и счастливо, но Вѣра Павловна влюбляется въ друга своего мужа, медикъ Кирсанова, который также чувствуетъ въ ней сильную любовь. Чтобы не мѣшать ихъ счастью, Лопуховъ офціально застрѣливается, а на самомъ дѣлѣ уѣзжаетъ изъ Россіи и проводитъ нѣсколько лѣтъ въ Америкѣ. Потомъ онъ возвращается въ Петербургъ подъ именемъ американскаго гражданина Чарльза Бьюмонта, женится на очень хорошей молодой дѣвушкѣ и сходится самымъ дружескимъ образомъ съ Кирсановымъ и его женою, Вѣрою Павловною, которые конечно давно знали настоящее значеніе его самоубійства. Вотъ весь сюжетъ романа «Что дѣлать?», и ничего не было бы въ немъ особеннаго, если бы не дѣйствовали въ немъ новые люди, тѣ самые люди, которые кажутся проницательному читателю очень страшными, и очень гнусными, и очень безнравственными. «Проницательный читатель», надъ которымъ очень часто и очень сурово потѣшается г. Чернышевскій, не имѣетъ ничего общаго съ тѣмъ простымъ и безхитростнымъ читателемъ, котораго любить и уважаетъ каждый пишущій человекъ. Простой читатель беретъ книгу въ руки для того, чтобы пріятно провести время или для того, чтобы чему нибудь научиться; а проницательный—для того, чтобы покуражиться надъ авторомъ и произвести его идеямъ инспекторскій смотръ. Простой читатель, встрѣтившій новую мысль, можетъ не согласиться съ нею, но можетъ и согласиться. Проницательный читатель всякую новую идею считаетъ за дерзость, потому что эта идея не принадлежитъ ему и не входитъ въ тотъ замкнутый кругъ возрѣній, который, по его мнѣнію, составляетъ единственное вмѣстелище всякой истины. У простаго читателя есть предрасудки самого скромнаго свойства, въ родѣ того напримѣръ, что понедѣльникъ — тяжелый день или что не слѣдуетъ тринадцати человѣкамъ садиться за столъ. Эти предрасудки происходятъ отъ умственнаго неряшества; они не могутъ считаться неизлечимыми, и большею частью не мѣшаютъ простому читателю выслушивать безъ злобнаго мнѣнія умныхъ и развитыхъ людей. Предрасудки проницательнаго читателя отличаются, напротивъ того, книжнымъ характеромъ и теоретическимъ направлениемъ. Онъ все знаетъ, все предъугадываетъ, обо всемъ судить готовыми афоризмами и всѣхъ остальныхъ людей считаетъ

глупѣ себя. Мысль его протоптала себѣ извѣстныя дорожки, и только по этимъ дорожкамъ и двигается. Панышинъ (въ «Дворянскомъ гнѣздѣ») и Курнатовскій (въ «Наманунѣ») могутъ считаться превосходными представителями этого типа. Въ жизни дѣйствительной прощательные читатели всего чаще попадаютъ между тѣми людьми, для которыхъ умственный трудъ составляетъ профессію. Всякая посредственность, пошедшая по этому пути, неминуемо превращается въ прощательнаго читателя. Весь запасъ мыслей, сидѣвшихъ въ головѣ посредственности, очень быстро вытряхивается наружу, и тогда приходится повторяться, фразерствовать, переливать изъ пустого въ порожнее, глупѣть отъ этого пріятнаго занятія, и вслѣдствіе всего этого проникаться глубочайшею ненавистью ко всему, что размышляетъ самостоятельно. Большинство профессоровъ и журналистовъ всѣхъ націй принадлежать къ скучнѣйшему разряду прощательныхъ читателей. Всѣ эти господа могли бы быть очень милыми, простыми и неглупыми людьми, но ихъ изуродовало ремесло, точно также какъ ремесло уродуетъ портныхъ, сапожниковъ, грабильщиковъ. Они натерли себѣ на мозгу мозоли, и мозоли эти даютъ себя знать во всѣхъ сужденіяхъ и поступкахъ прощательныхъ читателей. Прощательный читатель скрежететь зубами, когда говорить о новыхъ людяхъ, а простому читателю скрежетать по этому случаю нѣтъ никакой надобности. Простой читатель улыбается добродушною улыбкою и говорить преспокойно: «ну, посмотримъ, посмотримъ, какіе это новые люди?» — А вотъ и посмотримъ.

Надъ существованіемъ новыхъ людей прежде всѣхъ задумался въ нашей беллетристикѣ Тургеневъ. Инсаровъ былъ неудачною попыткою въ этомъ направленіи; Базаровъ явился очень яркимъ представителемъ новаго типа; но у Тургенева очевидно не хватило матеріаловъ для того, чтобы полнѣе обрисовать своего героя съ разныхъ сторонъ. Кромѣ того, Тургеневъ, по своимъ лѣтамъ и по нѣкоторымъ свойствамъ своего личнаго характера, не могъ вполне сочувствовать новому типу; въ его послѣдній романъ вкрались фальшивыя ноты, которыя вызвали со стороны «Современника» строгую и несправедливую рецензію г. Антоновича. Эта рецензія была ошибкою, и лучшимъ ея опроверженіемъ является романъ г. Чернышевскаго, въ которомъ всѣ новые люди принадлежать къ базаровскому телу, хотя всѣ они обрисованы гораздо отчетливѣе и объяснены гораздо подробнѣе, чѣмъ обрисованъ и объясненъ герой послѣдняго

тургеневскаго романа. Тургеневъ—чужой въ отношеніи къ людямъ новаго типа; онъ могъ наблюдать ихъ только издали, и отмѣчать только тѣ стороны, которыя обнаруживаютъ эти люди, приходя въ столкновеніе съ людьми совершенно другого закала. Базаровъ является одинъ въ такомъ кругу, который вовсе не соотвѣтствуетъ его умственнымъ потребностямъ; Базарову не кого любить и уважать, и потому всякому читателю, а «проницательному» въ особенности, можетъ показаться, что Базаровъ неспособенъ любить и уважать. Это послѣднее мнѣніе составляетъ совершенную нелѣпность; нѣтъ того человѣка, у котораго не было бы способности и потребности любить и уважать подобныхъ себѣ людей; ничто не даетъ намъ права думать, чтобы Тургеневъ захотѣлъ извести на своего героя такую пустую небывлицу; онъ просто не зналъ, какъ держать себя Базаровъ съ другими Базаровыми; не зналъ, какъ проявляются у такихъ людей чувства серьезной любви и сознательнаго уваженія; онъ чувствуетъ небывалость этого типа, и недоумѣваетъ передъ нимъ, да такъ и останавливается на этомъ недоумѣніи, все-таки потому, что не хватаетъ матеріаловъ. Если бы г. Чернышевскому пришлось изображать новыхъ людей, поставленныхъ въ положеніе Базарова, т. е. окруженныхъ всякимъ старьемъ и тряпьемъ, то его Лопуховъ, Кирсановъ, Рахметовъ стали бы держать себя почти совершенно такъ, какъ держитъ себя Базаровъ. Но г. Чернышевскому нѣтъ никакой надобности поступать такимъ образомъ. Онъ знаетъ не только то, какъ думаютъ и разсуждаютъ новые люди (это знаетъ и Тургеневъ, по журнальнымъ статьямъ, писаннымъ новыми людьми), но и то, какъ они чувствуютъ, какъ любятъ и уважаютъ другъ друга, какъ устрояютъ свою семейную и всѣдневную жизнь и какъ горячо стремятся къ тому времени и къ тому порядку вещей, при которыхъ можно было бы любить всѣхъ людей и довѣрчиво протягивать руку каждому. Послѣ этого не трудно понять, почему Тургеневъ принужденъ былъ въ своемъ Базаровѣ остановиться на одной суровой сторонѣ отрицанія и почему, напротивъ того, подъ рукою г. Чернышевскаго новый типъ выросъ и выяснился до той опредѣленности и красоты, до которой онъ возвышается въ великолѣпныхъ фигурахъ Лопухова, Кирсанова и Рахметова.

Новые люди считаютъ трудъ абсолютно необходимымъ условіемъ человѣческой жизни, и этотъ взглядъ на трудъ составляетъ чуть ли не самое существенное различіе между старыми и новыми людьми.

Повидимому, тутъ нѣтъ ничего особеннаго. Кто же отказываетъ труду въ уваженіи? Кто же не признаетъ его важности и необходимости? Лордъ-канцлеръ Великобританіи, сидящій на шерстяномъ мѣшкѣ и получающій за это сидѣніе по нѣскольку десятковъ тысячъ фунтовъ стерлинговъ въ годъ, твердо убѣжденъ въ томъ, что онъ беретъ плату за трудъ и что онъ съ полнымъ основаніемъ можетъ сказать фабричному работнику: *My dear*, мы съ тобой трудимся на пользу общества, а трудъ святое дѣло. И лордъ-канцлеръ это скажетъ, и графъ Дерби это скажетъ, потому что онъ тоже доставляетъ себѣ трудъ власть въ карманѣ поземельную ренту, а между тѣмъ какіе жъ они новые люди? Они джентльмены очень старые и очень почтенные. Новые люди отдають полную справедливость тому и другому ихъ качеству, но сами никогда не согласятся уважать трудъ такъ, какъ уважають его лордъ-канцлеръ и графъ Дерби; сами они никогда не согласятся зарабатывать такъ много, сидя на шерстяномъ мѣшкѣ или на бархатной скамейкѣ палаты перовъ. Сами они не хотятъ пытать издали платоническую нѣжность къ труду. Для нихъ трудъ дѣйствительно необходимъ, болѣе необходимъ, чѣмъ наслажденіе; для нихъ трудъ и наслажденіе сливаются въ одно общее понятіе, называющееся удовлетвореніемъ потребностей организма. Имъ необходима пища для утоленія голода, имъ необходимъ сонъ для восстановленія силъ, и имъ точно также необходимъ трудъ для сохраненія, подирѣпленія и развиванія этихъ силъ, заключающихся въ мускулахъ и въ нервахъ. Безъ наслажденія они могутъ обходиться очень долго; безъ труда для нихъ немислима жизнь. Отказаться отъ труда они могутъ только въ томъ случаѣ, когда ихъ разобьетъ параличъ, или когда ихъ посадятъ въ кѣтку, или вообще когда они тѣмъ или другимъ путемъ потеряють возможность распоряжаться своими силами. Размышляя часто и серьезно о томъ, что дѣлается кругомъ, новые люди съ разныхъ сторонъ и разными путями приходятъ къ тому капитальному заключенію, что все зло, существующее въ человѣческихъ обществахъ, происходитъ отъ двухъ причинъ: отъ бѣдности и отъ праздности; а эти двѣ причины берутъ свое начало изъ одного общаго источника, который можетъ быть названъ хаотическимъ состояніемъ труда. Трудъ и вознагражденіе находятъ теперь между собою въ обратномъ отношеніи: чѣмъ больше труда, тѣмъ меньше вознагражденія; чѣмъ меньше труда, тѣмъ больше вознагражденія. Отъ этого на одномъ концѣ

лѣстницы сидятъ праздность, а на другомъ бѣдность. И та, и другая порождаетъ свой рядъ общественныхъ золъ. Отъ праздности происходитъ умственная и физическая дряблость, стремленіе создавать себѣ искусственные интересы и увлекаться ими, потребность сильныхъ ощущений, преувеличенная раздражительность воображенія, развратъ отъ нечего дѣлать, поползновенія помыкать другими людьми, мелкія и крупныя столкновения въ семейной и общественной жизни, безконечныя раздоры равныхъ съ равными, старшихъ съ младшими, младшихъ съ младшими, словомъ—весь безконечный рой огорченій и страданій, которыми люди угощаютъ другъ друга безъ малѣйшей надобности, и которыхъ существованіе можетъ быть объяснено только выразительною поговоркою: «съ жиру собаки бѣясся». Отъ бѣдности идутъ страданія матеріальныя, и умственныя, и нравственныя, и какія угодно: тутъ и голодъ, и холодъ, и невѣжество, изъ котораго хочется вырваться, и вынужденный развратъ, противъ котораго возмущается природа самыхъ загрубѣлыхъ созданій, и горькое пьянство, котораго стыдится самъ пьяница, и вся ватага уголовныхъ преступленій, которыхъ нельзя было не совершать преступнику. На серединѣ лѣстницы произведенія бѣдности встрѣчаются съ произведеніями праздности; тутъ меньше дикости, чѣмъ внизу, и меньше дряблости, чѣмъ вверху, но больше грязи, чѣмъ гдѣ бы то ни было; тутъ приходится ежиться, потому что хочется барствовать; приходится жить пятачокъ у кухарки или дворника, потому что надо ѣхать на гулянье; держать дѣтей въ холодной дѣтской, потому что надо меблировать гостиную; ѣсть испорченную говядину, потому что надо сшить шелковую мантилью. По всей лѣстницѣ сверху до низу господствуютъ ненависть къ труду и вѣчный антагонизмъ частныхъ интересовъ. Немудрено, что трудъ производить при такихъ условіяхъ мало продуктовъ; немудрено и то, что любовь къ ближнему встрѣчается только въ назидательныхъ книгахъ. Каждый разсуждаетъ такъ или почти такъ: если говорить, я прямо потяну съ своего ближняго шубу, то меня за это не похвалятъ и посадятъ въ полицію; но если я подведу подъ шубу вляузы и оттягаю ее тихимъ манеромъ, то миѣ будетъ двойная выгода: во первыхъ, не надо будетъ выработывать себѣ шубу, во вторыхъ, всякій будетъ считать меня за умнаго и обходительнаго человѣка. Не всѣмъ однако такое положеніе дѣлъ нравится; находятъ отдѣльныя личности, которыя говорятъ празднымъ людямъ:

«вамъ скучно, потому что вы ничего не дѣлаете, а есть другіе люди, которые страдаютъ потому, что бѣдны. Подите разыскивайте этихъ людей, помогайте имъ, облегчайте ихъ страданія, входите въ ихъ нужды, и вамъ будетъ не такъ скучно, и имъ не такъ тяжело жить на свѣтѣ». Это говорятъ хорошіе люди, но новые люди этимъ не удовлетворяются. «Филантропія, говорятъ новые люди, такая же прекрасная вещь, какъ тюрьма и всякія уголовныя и исправительныя наказанія. Въ настоящее время мудрено обойтись безъ того и другого, но настоящее время, подобно всѣмъ прошедшимъ временамъ, занимается только вѣчнымъ замѣтаніемъ и подчищаніемъ тѣхъ гадостей, которыя оно само вѣчно производитъ на свѣтѣ. Когда гадость произведена, ее конечно слѣдуетъ замести и подчистить, но не мѣшаетъ подумать и о томъ, какъ бы на будущее время прекратить такое невыгодное производство гадостей. Филантропія сама по себѣ оскорбительна для человѣческаго достоинства и заключаетъ въ себѣ глубокую несправедливость; она принуждаетъ одного человѣка зависѣть въ своемъ существованіи и благосостояніи отъ произвольнаго добродушія другого такого же человѣка; она создаетъ нищаго и благотворителя, и развращаетъ и того, и другого. Она не уничтожаетъ ни бѣдности, ни празности; она не увеличиваетъ ни на одну копѣйку продукты производительнаго труда. Въ древнемъ Римѣ, подъ видомъ раздачъ дарового хлѣба, а въ новѣйшихъ католическихъ государствахъ южной Европы подъ видомъ раздачъ даровыхъ порцій супа у монастырскихъ воротъ, эта милая филантропія развратила въ конецъ массы здоровой черни. Не богадѣльна, а мастерская можетъ и должна обновить человѣчество. Здоровый человѣкъ, посаженный на необитаемый островъ, можетъ прокормить самого себя; силы человѣка увеличиваются въ сотни и тысячи разъ, когда онъ вступаетъ въ промышленную ассоціацію съ другими людьми. Поэтому здоровый человѣкъ, живущій въ цивилизованномъ обществѣ, можетъ и долженъ собственнымъ трудомъ прокормиться и одѣться, приобрести себѣ образованіе и воспитать своихъ дѣтей. Тутъ собственный трудъ не можетъ быть замѣненъ никакимъ другимъ ингредиентомъ. Труду нѣтъ простора, трудъ плохо оплачивается, трудъ порабощается, и отъ этихъ причинъ происходитъ все существующее зло. Кто хочетъ бороться противъ зла, не для препровожденія времени, а для того, чтобы когда нибудь дѣйствительно побѣдить и искоренить его, тотъ долженъ работать надъ рѣ-

шеніемъ вопроса: какъ сдѣлать трудъ производительнымъ для работника, и какъ уничтожить всѣ непріятныя и тяжелыя стороны современнаго труда? Трудъ есть единственный источникъ богатства; богатство, добываемое трудомъ, есть единственное лѣкарство противъ страданій бѣдности и противъ пороковъ праздности. Стало быть, дѣлсообразная организація труда можетъ и должна привести за собою счастье человѣчества. Говорить, что такая организація невозможна, значитъ подражать тѣмъ дряблымъ старикамъ, которые считаютъ невозможнымъ все, до чего не додумались ихъ предшественники и современники. Складывать руки и вздыхать о несовершенствахъ всего земного, когда люди страдаютъ отъ собственныхъ глупостей, значитъ возводить эти глупости въ законы природы и обнаруживать лѣность и робость мысли, недостойныя человѣка свѣжаго, честнаго и одареннаго живымъ умомъ.

Такъ или почти такъ разсуждаютъ о высокихъ матеріяхъ новые люди; взглянувъ въ эти разсужденія, каждый читатель, кромѣ «проницательнаго», увидитъ, что въ нихъ нѣтъ ничего ужаснаго, и что въ нихъ, напротивъ того, много дѣльнаго. Искать обновленія въ трудѣ во всякомъ случаѣ гораздо рациональнѣе, чѣмъ видѣть альфу и омегу человѣческаго благополучія въ учрежденіи палаты депутатовъ или палаты перовъ. Самая лучшая палата можетъ только сберечь доходы страны, а хорошія мастерскія могутъ удесятерить этотъ доходъ, удесятерая, кромѣ того, сумму физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ силъ работниковъ и приготавлиая, такимъ образомъ, съ каждымъ годомъ большее увеличеніе богатства, образованности и всеобщаго благоденствія. Не глупо разсуждаютъ новые люди, а всего лучше то, что не въ разсужденіяхъ о высокихъ матеріяхъ проводятъ ихъ время. Постоянно имѣя въ виду общую задачу всего человѣчества, они между тѣмъ уже разрѣшили ее въ приложеніи къ своей частной жизни. Имъ трудъ пріятенъ, и для нихъ онъ производительенъ; нѣтъ ни одного новаго человѣка, у котораго не было бы его любимаго труда, и этотъ трудъ для него не забава, а дѣйствительно цѣль и смыслъ всей жизни. Новый человѣкъ безъ своего любимаго труда такъ же не мыслимъ, какъ не мыслимъ трудъ безъ него. Преніе люди заботились о своемъ положеніи въ обществѣ и прежде всего старались составить себѣ карьеру и состояніе, хотя бы пути, ведущіе къ тому и другому, внушали имъ глубочайшее отвращеніе. Для новаго человѣка необходимо прежде

всего, чтобы трудъ былъ ему по душѣ и по силамъ. До тѣхъ поръ, пока онъ не найдетъ такого труда, онъ ищетъ его; нашелъ — и кончено дѣло: тогда онъ влюбляется въ него, работаетъ съ увлеченіемъ страсти, наслаждается всѣми радостями творчества и чувствуетъ, что онъ на бѣломъ свѣтѣ не лишний. И нѣтъ такого неваго человѣка, который не нашелъ бы себѣ любимого дѣла, потому что вообще нѣтъ того здороваго человѣка, который не былъ бы на что нибудь способенъ. И когда всѣ работники на земномъ шарѣ будутъ любить свое дѣло, тогда всѣ будутъ новыми людьми, тогда не будетъ ни бѣдныхъ, ни праздныхъ, ни филантроповъ, тогда дѣйствительно потекутъ тѣ «молочныя рѣки въ кисельныхъ берегахъ», которыми «проницательные читатели» такъ побѣдоносно поражаютъ негодныхъ мальчишекъ. — Это невозможно, рычать одинъ изъ проницательныхъ. — Конечно невозможно, но было время, когда и паровыя машины были совершенно невозможны. Что было, то прошло, а чему быть, тому не миновать.

III.

Опираясь на свой любимый трудъ, выгодный для нихъ самихъ и полезный для другихъ, новые люди устрояютъ свою жизнь такъ, что ихъ личные интересы ни въ чемъ не противорѣчаютъ дѣйствительнымъ интересамъ общества. Это вовсе не трудно устроить. Стоитъ только полюбить полезный трудъ, и тогда все, что отвлекаетъ отъ этого труда, будетъ казаться неприятною помѣхою; чѣмъ больше вы будете предаваться вашему любимому полезному труду, тѣмъ лучше это будетъ для васъ, и тѣмъ лучше это будетъ для другихъ. Если вашъ трудъ обеспечиваетъ васъ и доставляетъ вамъ высокія наслажденія, то вамъ нѣтъ надобности обирать другихъ людей ни прямо, ни косвенно, ни посредствомъ воровства-мошенничества, ни посредствомъ такой эксплуатаціи, которая не признана уголовнымъ преступленіемъ. Когда вы трудитесь, то ваши интересы совпадаютъ съ интересами всѣхъ остальныхъ трудящихся людей; вы сами—работникъ, и всѣ работники—ваши естественные друзья, а всѣ эксплуататоры — ваши естественные враги, потому что они въ то же время враги всему человѣчеству, въ томъ числѣ и себѣ самимъ. Если бы всѣ люди трудились, то всѣ были бы богаты и

счастливы; но если бы всё люди эксплуатировали своихъ ближнихъ, не трудясь совсѣмъ, тогда эксплуататоры поѣли бы другъ друга въ одну педѣлю, и родъ человѣческій исчезъ бы съ лица земли. Поэтому кто любить трудъ, тотъ, дѣйствуя въ свою пользу, дѣйствуетъ въ пользу всего человѣчества; кто любитъ трудъ, тотъ сознательно любитъ самого себя, тотъ въ самомъ себѣ любилъ бы всѣхъ остальныхъ людей, если бы только не было на свѣтѣ такихъ господъ, которые невольно или умышенно мѣшаютъ всякому полезному труду. Новые люди трудятся и желаютъ своему труду простора и развитія; въ этомъ желаніи, составляющемъ глубочайшую потребность ихъ организма, новые люди сходятся со всѣми милліонами всѣхъ трудящихся людей земного шара, всѣхъ, кто сознательно или бессознательно молить Бога и просить ближняго, чтобы не мѣшали ему трудиться и пользоваться плодами труда. Единство интересовъ порождаетъ сочувствіе, и новые люди горячо и сознательно сочувствуютъ всѣмъ дѣйствительнымъ потребностямъ всѣхъ людей. Каждая человѣческая страсть есть признакъ силы, ищущей себѣ приложенія; смотря потому, какъ эта сила будетъ приложена къ дѣлу, данная страсть будетъ называться добродѣтелью или порокомъ и будетъ приносить людямъ пользу или вредъ, выгоду или убытокъ. Силы и страсти, приложенныя къ эксплуатаціи ближняго, должны умѣряться какими нибудь нравственными мотивами, потому что иначе онѣ подведутъ человѣка путемъ порока подъ уголовный судъ; но силы и страсти, направленныя на производительный трудъ, могутъ безвредно расти и развиваться до какихъ угодно размѣровъ. Люди, живущіе эксплуатаціею, должны остерегаться исключительнаго эгоизма, потому что такой эгоизмъ лишаетъ ихъ всякаго человѣческаго образа и превращаетъ ихъ въ цивилизованныхъ людоедовъ, которые гораздо отвратительнѣе людоедовъ-дикарей. Но люди новые, живущіе трудомъ и чувствующіе физиологическое отвращеніе къ самой гуманной и добродушной эксплуатаціи, могутъ безъ малѣйшей опасности быть эгоистами до послѣдней степени. Эгоизмъ эксплуататора идетъ въ разрѣзъ съ интересами всѣхъ остальныхъ людей; обогащать себя—для эксплуататора значить отнять у другого; эксплуататоръ принужденъ любить себя въ ущербъ всему остальному міру; поэтому если онъ добродушенъ и богобоязливъ, онъ старается любить себя умѣренно, такъ, чтобы и себѣ было необходимо, и другимъ не слишкомъ больно; но такую умѣренность выдержать очень

трудно, и потому эксплуататоръ всегда пускаетъ или слишкомъ много эгоизма, такъ что начинаетъ пожирать другихъ, или слишкомъ мало, такъ что самъ становится жертвою чужого эгоистическаго аппетита. Такъ какъ на нашей прекрасной планетѣ господствуетъ повальная эксплуатация и въ семействѣ, и въ обществѣ, и въ международныхъ отношеніяхъ, то у насъ принято испускать вопли противъ эгоизма, называть эгоистами отъявленныхъ негодяевъ, и, наоборотъ, обвинять въ безнравственности такихъ людей, которые находятся только не на своемъ мѣстѣ. Новые люди держатся вдали отъ всякой эксплуатаціи, безъ малѣйшаго трепета и безъ всякаго вреда для себя и для другихъ погружаются въ глубочайшую пучину эгоизма, и не принимаютъ на себя ни одного пятна несправедливости, исключительно потому, что умѣютъ найти свое мѣсто и пристраститься къ своему дѣлу. Если человѣкъ стараго закала занимается медицинскою практикою, то его эгоизмъ выражается въ томъ, что онъ старается сдѣлать въ день какъ можно больше визитовъ и пріобрѣсти какъ можно больше зелененькихъ и сиенькихъ бумажекъ; онъ эксплуатируетъ своихъ пациентовъ, выслушиваетъ ихъ невнимательно, прописываетъ рецепты на удачу, бываетъ у такихъ больныхъ, которые вовсе не больны и дѣлаетъ все это исключительно по привязанности своей къ сиенькимъ и зелененькимъ. Такой человѣкъ, конечно, долженъ иногда укрощать свой эгоизмъ и отъ времени до времени читать самому себѣ довольно убѣдительныя нравоученія. Новый человѣкъ занимается медициною не иначе, какъ по страстному влеченію; для него дорогъ каждый часъ, потому что каждый часъ посвящается любимому изученію; для него деньги составляютъ только средство, которымъ онъ поддерживаетъ свою жизнь, чтобы имѣть возможность отдавать эту жизнь труду. Передъ постелью больного онъ является мыслителемъ, разрѣшающимъ научный вопросъ. Ему хочется не обобрать пациента, а вылечить его, потому что вылечить—значитъ разрѣшить задачу; пациенту также хочется, чтобы его не обобрали, а вылечили; такимъ образомъ интересы медика и интересы больного сливаются между собою, и эксплуатаціи не существуетъ; докторъ новаго закала можетъ самымъ безсовѣстнымъ образомъ предаваться своему эгоистическому влеченію, и ему за это скажутъ спасибо и пациенты, и ихъ родственники, и общественное мнѣніе всѣхъ согражданъ. И этому доктору не зачѣмъ пугать себя идеею долга, потому что между долгомъ

и свободнымъ влеченіемъ для него не существуетъ различія. А все отчего? Все оттого, что найденъ любимый трудъ, оттого, что человѣкъ попалъ на свое мѣсто. Это условіе необходимо. Безъ него очень трудно, а, можетъ быть, и совсѣмъ невозможно быть честнымъ человѣкомъ вообще. Мы видимъ такимъ образомъ, что въ жизни новыхъ людей не существуетъ разногласія между влеченіемъ и нравственнымъ долгомъ, между эгоизмомъ и человеколюбіемъ; это очень важная особенность; это такая черта, которая позволяетъ имъ быть человеколюбивыми и честными по тому непосредственно сильному влеченію природы, которое заставляетъ каждаго человѣка заботиться о своемъ самосохраненіи и объ удовлетвореніи физическихъ потребностей своего организма. Въ ихъ человеколюбіи нѣтъ вынужденной искусственности; въ ихъ честности нѣтъ щепетильной мелочности; ихъ хорошія влеченія просты и здоровы, сильны и прекрасны, какъ непосредственныя произведенія богатой природы; да и сами они, эти новые люди, ничто иное, какъ первыя проявленія богатой человѣческой природы, отмывшей отъ себя часть той грязи, которая накопилась на ней во время вѣковыхъ историческихъ страданій. Если общественное мнѣніе не признаетъ въ этихъ людяхъ простыхъ, но честныхъ представителей своей породы, если оно видитъ въ нихъ что-то особенное, что-то страшное и злобѣщее, то это значитъ только, что это такъ называемое общественное мнѣніе потеряло всякое понятіе о человѣческомъ образѣ, забыло всѣ его примѣты, пугается при встрѣчѣ съ нимъ, какъ съ чѣмъ-то незнакомымъ, и принимаетъ за настоящихъ людей ту странную породу двуногихъ, которую Джонатанъ Свифтъ выводитъ въ путешествіи Гулливера подъ именемъ Iagu (yahou), и которой глупость и злость такъ рельефно противопоставляются уму и великодушію мыслящихъ и говорящихъ лошадей. Трудясь для самихъ себя, увлекаясь и наслаждаясь процессомъ труда, новые люди трудятся на пользу человечества, потому что каждый производительный трудъ полезенъ для людей. Сначала новые люди приносятъ пользу и дѣлаютъ добро безсознательно, но потомъ самый процессъ приношенія пользы и дѣланія добра владеть начало нравственной связи между тѣмъ, кто приноситъ и дѣлаетъ, и тѣми, кому приносится и для кого дѣлается. Эта связь вѣрнѣе по мѣрѣ того, какъ работникъ новаго закала приноситъ больше пользы и дѣлаетъ больше добра. Это уже старая истина, что намъ свойственно любить тѣхъ, кому мы сдѣлали или дѣлаемъ добро, и эта

старая истина на каждомъ шагѣ находить себѣ подтвержденіе. Гарибальди любить Италію сильнѣе, чѣмъ какой-нибудь другой итальянецъ, и навѣрное теперь старикъ Гарибальди, изжившій свою жизнь въ трудахъ и въ изгнаніи, раненный при Аспромонте итальянскою пулею, любитъ свою Италію еще сильнѣе, чѣмъ могъ любить ее лѣтъ тридцать тому назадъ пламенный юноша Гарибальди; тогда онъ любилъ въ ней только родину; теперь онъ, кромѣ родины, любитъ въ ней всѣ свои подвиги, всѣ свои страданія, всю блестящую вереницу своихъ чистыхъ воспоминаній. Робертъ Оуэнъ, «святой старикъ», какъ называетъ его Доуховъ у г. Чернышевскаго, всю свою жизнь трудился для людей, и конечно подъ старость любовь его къ людямъ была еще шире, еще теплѣе и во всякомъ случаѣ, гораздо болѣе обильна сознательнымъ прощеньемъ, чѣмъ была та же любовь въ первые дни его молодости. Для такихъ людей, какъ Оуэнъ и Гарибальди, не существуетъ старческой дряхлости; такіе люди будутъ новыми людьми для всѣхъ вѣковъ и народовъ. Но явленіе, которое мы замѣчаемъ въ ихъ жизни, составляетъ общую принадлежность всѣхъ дѣятелей или мыслителей, отдавшихъ свои силы любимому и полезному труду. Въ этихъ дѣятеляхъ и мыслителяхъ растетъ и крѣпнетъ любовь къ людямъ по мѣрѣ того, какъ они втягиваются въ свой трудъ и проникаются сознаниемъ его полезности; они становятся постоянно лучше и чище; они постоянно молодѣютъ, вмѣсто того чтобы дряхлѣть и пошлѣть; они процессомъ своего живого и разумнаго труда смываютъ съ себя ту грязь, которою облѣпили ихъ родители, которою обрызгала ихъ школа и которую постоянно брызжетъ на нихъ «тьма вромѣшная» окружающей жизни. Люди прежняго времени были красивы и свѣжи въ умственномъ отношеніи только тогда, когда были молоды; проходило лѣтъ десять, и вся эта красота и свѣжесть пропадала вмѣстѣ съ румянцемъ щекъ; являлась кропотливость и мелочность, копѣечная разсчетливость и куриная трусливость; пѣтушокъ превращался въ каплуна, блестящій студентъ дѣлался отъявленнымъ филистеромъ и «проициательнѣйшимъ» читателемъ; все это было совершенно естественно, потому что прежніе молодые люди только ярились и горячились, только краснорѣчиво болтали и красиво разнѣживались; забава молодости должна была пройти вмѣстѣ съ молодостью, потому что она была забавою. Кто въ молодости не связалъ себя прочными связями съ великимъ и прекраснымъ дѣломъ или пограй-

ней мѣрѣ съ простымъ, по честнымъ и полезнымъ трудомъ, тотъ можетъ считать свою молодость безслѣдно потерянною, какъ бы весело она ни прошла и сколько бы пріятныхъ воспоминаній она ни оставила. Забирайте съ собою чувства молодости, послѣ не подымете, говорить Гоголь, и правду онъ говорить. А какъ ихъ забережь съ собою, если не вложишь ихъ цѣликомъ въ такое дѣло, на которое до послѣдней минуты твоей жизни будетъ отъликатся каждая нитка твоего существа. Кому удалось это сдѣлать, о томъ нечего жалѣть, если даже молодость его прошла въ суровомъ трудѣ, вдали отъ дорогихъ и близкихъ людей, безъ наслажденій, безъ объятій любимой женщины. И дорогіе люди, и наслажденіе, и любимая женщина—все это, несомнѣнно, очень хорошія вещи, но самъ человекъ для самого себя дороже всего на свѣтѣ. Если цѣною труда и лишеній, цѣною потраченной молодости, цѣною потерянной любви онъ купилъ себѣ право глубоко и сознательно уважать самого себя, право унести съ собою на край свѣта и удержать за собою во всѣхъ испытаніяхъ неизмѣнную молодость и свѣжесть ума и чувства, то нельзя сказать, что онъ заплатилъ слишкомъ дорого. Онъ отдалъ кусокъ жизни, чтобы почеловѣчески прожить всю свою жизнь; онъ лишился двухъ-трехъ радостей, но въ замѣнъ ихъ получилъ высшее наслажденіе, которое служитъ украшеніемъ для жизни и поддержкою въ минуту агоніи; онъ получилъ право знать себѣ настоящую цѣну и видѣть, что цѣна эта не мала. Вотъ эгоизмъ новыхъ людей, и этому эгоизму нѣтъ границъ; ему они дѣйствительно приносятъ въ жертву всѣхъ и все. Любятъ они себя до страсти, уважаютъ до благоговѣнія; но такъ какъ они даже въ отношеніи къ самимъ себѣ не могутъ быть слѣпными и снисходительными, то имъ приходится держать ухо востро, чтобы удерживать за собою во всякую данную минуту свою любовь и свое уваженіе. Еще больше, чѣмъ своею любовью и своимъ уваженіемъ, они дорожатъ прямыми и откровенными отношеніями своего анализирующаго и контролирующаго я къ тому я, которое дѣйствуетъ и распоряжается вышшими условіями жизни. Если бы одно я не могло смотрѣть смѣло и рѣшительно въ глаза другому я, если бы одно я вздумало отвѣчать увертками и софизмами на запросы другого я, а другое я въ это время осмѣлилось бы смотрѣть сквозь пальцы и удовлетворяться пустыми отговорками перваго, то вслѣдъ за этимъ позорнымъ сумбуромъ въ душѣ новаго человека забушевало бы такое отчаяніе и

родилось бы такое конвульсивное отвращеніе къ своей опоганенной особишгѣ, что онъ, навѣрное, наплевалъ бы себѣ въ глаза, и потомъ, исказивши себя такимъ образомъ, кинулся бы головою впередъ въ самый глубокой омутъ. Новый человѣкъ знаетъ очень хорошо, какъ онъ неутомимъ и безжалостенъ къ самому себѣ; новый человѣкъ боится самого себя, больше чѣмъ кого бы то ни было; онъ сила, — и горе ему, если когда нибудь его сила обратится противъ него самого. Если онъ сдѣлаетъ такую гадость, которая произведетъ въ немъ внутренній разладъ, то онъ знаетъ, что отъ этого разлада не будетъ другого лекарства, кромѣ самоубійства или сьумасшествія. Мнѣ кажется, что такая потребность самоуваженія и такая болѣзнь собственнаго суда будутъ покрѣпче тѣхъ нравственныхъ перилъ, которыя отдѣляютъ людей стараго закала отъ разныхъ мерзостей, тѣхъ перилъ, черезъ которыя разныя недѣлимыя обоего пола такъ свободно и изящно порхаютъ туда и обратно, тѣхъ перилъ, за ничѣмъ которыхъ новымъ людямъ приходится выслушивать такія утомительныя наставленія со стороны проницательныхъ читателей, властвующихъ перомъ или одержимыхъ слабостью къ назидательному краснорѣчію. Новые люди всѣми преимуществами своего типа обязаны живительному вліянію любимаго труда. Благодаря ему, они могутъ быть полнѣйшими эгоистами; чѣмъ глубже становится ихъ эгоизмъ, тѣмъ сильнѣе дѣлается ихъ любовь къ человѣчеству, тѣмъ неизмѣннѣе и прочнѣе держится въ новыхъ людяхъ ихъ молодость и свѣжесть, тѣмъ шире раскрываются умъ и чувство, тѣмъ болѣе они дорожатъ своимъ собственнымъ уваженіемъ, тѣмъ строже становится ихъ вѣрность самимъ себѣ, и, вслѣдствіе всего этого, тѣмъ ближе подходятъ они къ всестороннему развитію своихъ силъ и къ безбрежной полнотѣ своего счастья.

IV.

Люди, живущіе эксплуатаціе ближнихъ или присвоеніемъ чужого труда, находятся въ постоянной наступательной войнѣ со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ. Для войны необходимо оружіе, и такимъ оружіемъ оказываются умственные способности. Умъ эксплуататоровъ почти исключительно прилагается къ тому, чтобы перехитрить со-

сѣда или распутать его интриги. Нанести поражение ближнему, или отпарировать его ловкій ударъ — значить обнаружить силу своего оружія и свое умѣніе распорядиться имъ, или, говоря языкомъ менѣе воинственнымъ и болѣе употребительнымъ, значить выказать тонкій умъ и обширную житейскую опытность. Умъ заостряется и закаляется для борьбы, но всѣмъ извѣстно по опыту, что чѣмъ лучше оружіе приспособлено къ военному дѣлу, тѣмъ менѣе оно пригодно для мирныхъ занятій. Студенты, при всемъ своемъ остроуміи, могли приурочить свои шпаги только къ мѣшанію въ печкѣ, да еще къ варенію жженки, но и эти двѣ должности оружіе войны и символъ чести исполняетъ довольно плохо. Тоже самое можно сказать и объ умѣ, воспитанномъ для междуусобныхъ распрей. Въ немъ развиваются очень сильно нѣкоторыя качества, совершенно ненужныя и даже положительно вредныя для успѣшнаго хода мирнаго мышленія. Мелкая проницательность, мелкая подозрительность, умѣніе и охота всматриваться очень внимательно въ такіе крошечные случаи всендневной жизни, которые вовсе не заслуживаютъ изученія, умѣніе и охота мочить себя и другихъ софизмами, сплитыми на живую нитку — вотъ тѣ свойства, которыми обыкновенно отличается умъ практическаго человѣка нашего времени. Умъ этотъ непременно дѣлается близорукимъ, потому что практическій человѣкъ постоянно смотритъ себѣ подъ ноги, чтобы не попасть въ какую нибудь западню. Мелкихъ неудачъ онъ остерегается очень тщательно, и ему дѣйствительно часто случается избавляться отъ нихъ, благодаря своей мелочной осмотрительности, но зато надъ общимъ направленіемъ своей жизни практическій человѣкъ теряетъ всякій контроль; онъ бредетъ потихоньку и все смотритъ себѣ подъ ноги, а потомъ вдругъ оглядывается кругомъ, и самъ не знаетъ, куда это его занесло. Обобщать факты онъ, благодаря типическимъ свойствамъ своего ума, рѣшительно не умѣетъ; отдавать себѣ отчетъ въ общемъ положеніи вещей и придавать своимъ поступкамъ какой нибудь общій смыслъ онъ также не въ состояніи; событія уносить его съ собою, и величайшая мудрость его состоитъ въ томъ, чтобы не противиться ихъ теченію, котораго онъ все-таки не понимаетъ. Величайшими представителями этого типа практическихъ людей и эксплуататоровъ можно назвать Меттерниха и Талейрана: никто не скажетъ, чтобы у этихъ господъ не было природнаго ума, но всякій пойметъ также, что этотъ умъ долговременною дрессировкою, начавшеюся съ колы-

бели, былъ заостренъ и закаленъ для самого односторонняго употребленія, именно для того, чтобы морочить людей софизмами, не поддаваясь софизмамъ противоположнаго лагеря. Вся тайна призрачнаго могущества Меттерниха и Талейрана заключается въ ихъ гибкости и безцвѣтности, въ ихъ полномъ равнодушіи къ своимъ собственнымъ софизмамъ и въ ихъ всегдашней готовности переходить отъ одного софизма къ другому, совершенно противоположному. Они не шли надъ событіями никакой власти и не оказывали на нихъ ни малѣйшаго вліянія, точно также какъ флюгеръ только указываетъ на перемѣну вѣтра, а не производитъ ея. Никакая буря не могла разбить Талейрана, потому что въ немъ нечего было разбивать — не было никакого твердаго содержанія. Если же Меттерниха разбила революція 1848 года, то это обстоятельство слѣдуетъ приписать исключительно наивности добрыхъ нѣмцевъ; они приняли вывѣску принципа за самый принципъ; вывѣску сняли, они прокричали — вивать! и конечно остались въ дуракахъ. Умъ Меттерниха, Талейрана и всякихъ другихъ эксплуататоровъ, мелкихъ и крупныхъ, отличается крайнею односторонностью; онъ только на то и годится, чтобы поражать другихъ людей въ сраженіи, т. е. чтобы водить ихъ за носъ. Когда такіе господа руководствуются расчетами своего ума, то можно сказать заранее, что эти расчеты заставятъ ихъ сдѣлать какую нибудь гадость, потому что эти расчеты близоруки, а внушеніе узкаго и близорукаго эгоизма всегда подаютъ поводъ къ самымъ возмутительнымъ несправедливостямъ. Люди стараго закала знаютъ это очень хорошо, и потому они говорятъ, что умъ долженъ управлять нашими поступками, когда мы сталкиваемся съ посторонними людьми; когда же мы входимъ въ свое семейство или вступаемъ въ сношеніе съ своими друзьями, то должны власть свое боевое оружіе въ ножны и дѣйствовать по внушенію чувства, чтобы не изранить и не пасть по неосторожности людей, которыхъ мы дѣйствительно и безкорыстно любимъ. У людей стараго закала голосъ чувства и голосъ разсудка находятся въ постоянномъ разладѣ, и потому они, во избѣжаніе дисгармоніи, всегда заставляютъ молчать одинъ изъ этихъ голосовъ, когда говорить другой. А изъ этого выходитъ естественное слѣдствіе, что въ своихъ дѣловыхъ сношеніяхъ они почти всегда бывають жестоки и несправедливы, а въ своей домашней жизни — нелѣпы и безголовы. Здоровые люди не должны раздаввать своего существа;

каждый предметъ, обращающій на себя ихъ вниманіе, долженъ разсматриваться съ разныхъ сторонъ; впечатлѣніе, которое этотъ предметъ производитъ на непосредственное чувство, также важно, какъ то офіціальное впечатлѣніе, которое онъ оставляетъ по себѣ въ нашемъ анализирующемъ умѣ. Если существуетъ равногласица между требованіями нашего чувства и сужденіемъ нашего ума, то эту равногласицу надобно устранить: умъ и чувство надо примирить; но примираются они не тѣмъ, что мы скажемъ тому или другому— «молчать!» а тѣмъ, что мы тщательно и спокойно сличимъ требованія чувства съ сужденіемъ ума, дойдемъ скрытыхъ причинъ того и другого, и наконецъ, путемъ безпристрастнаго размышленія, дойдемъ до такого рѣшенія, которымъ одинаково удовлетворятся и умъ, и чувство. У людей, живущихъ присвоеніемъ, соглашеніе между умомъ и чувствомъ невозможно; ихъ чувство проявляется безпорядочными вспышками, которыя имѣютъ чисто физиологическое основаніе, а умъ ихъ не признаетъ самыхъ элементарныхъ началъ справедливости, потому что справедливость, т. е. общая польза, находится въ вѣчномъ разладѣ съ мелкою, житейскою, личною выгодой. Спрашивается: есть-ли какая нибудь возможность помирить чувство, вытекающее изъ слабонервности и превращающееся отъ приѣма лавровишневыхъ капель, съ расчетомъ, основаннымъ на рубляхъ и копѣйкахъ и неспособнымъ видѣть, за рублями и копѣйками, ни законъ природы, ни страданій живого человѣка? — Конечно, на это нѣтъ никакой возможности и ни малѣйшей необходимости. По настоящему, надо было бы уничтожить и то, и другое, т. е. и безтолковую чувствительность, и безтолковую скаредность; надо было бы возвратитъ изуродованному уму его первобытную способность къ широкому мышленію, обобщающему разрозненные факты и постигающему связь между причинами и слѣдствіями: надо было бы превратить людей стараго закала въ людей новыхъ; но такъ какъ подобное превращеніе совершенно невозможно, то надо махнуть на нихъ рукою: пускай ихъ переходятъ отъ конторскихъ книгъ къ лавровишневымъ каплямъ, отъ страстныхъ объятій къ биржевой игрѣ и отъ благонамѣреннаго надувательства къ добродѣтельному умиленію передъ закатомъ солнца. Если я такъ долго останавливался на ихъ умѣ и чувствѣ, то это даетъ мнѣ возможность очень коротко охарактеризовать соответствующія особенности ума и чувства новыхъ людей: у нихъ умъ и чувство находятся въ постоян-

ной гармоніи, потому что ихъ умъ не превращенъ въ орудіе наступательной борьбы; ихъ умъ не употребляется на то, чтобы надуть другихъ людей, и поэтому они сами могутъ всегда и во всемъ довѣряться его приговорахъ; не привыкли мошенничать съ сосѣдями, ихъ умъ не мошенничаетъ и съ самимъ хозяиномъ. Зато новые люди дѣйствительно питаютъ къ уму своему самое безграничное довѣріе. Это надо понимать не въ томъ смыслѣ, будто каждый изъ нихъ считаетъ себя умнѣйшимъ человѣкомъ на свѣтѣ. Совсѣмъ нѣтъ. Каждый изъ нихъ думаетъ только, что каждый взрослый человѣкъ, одаренный самыми обыкновенными умственными способностями, можетъ обсудить свое положеніе и свои поступки гораздо лучше и отчетливѣе, чѣмъ обсудилъ бы ихъ за него, со стороны, величайшій изъ гениальныхъ мыслителей. Какъ бы ни было красиво и утѣшительно какое нибудь міросозерцаніе, сколько бы вѣковъ и народовъ ни считали его за непреложную истину, какіе бы міровые гени ни преклонялись передъ его убѣдительностью—самый скромный изъ новыхъ людей приметъ его только въ томъ случаѣ, когда оно соотвѣтствуетъ потребностямъ и складу его личнаго ума. У каждаго новаго человѣка есть свой внутренній міръ, въ которомъ личный умъ господствуетъ съ неограниченнымъ самовластіемъ; въ этотъ міръ проникаетъ только то, что пропускаетъ личный умъ, и только то, что по самой природѣ своей можетъ признать надъ собою полное господство личнаго ума. Что не покоряется личному уму, о томъ новый человѣкъ говоритъ очень скромно: «этого я не понимаю», а что остается непонятнымъ, того новый человѣкъ не пускаетъ во внутренній міръ онъ и тому свидѣтельствуется издали свое глубочайшее почтеніе, если того требуютъ внѣшнія обстоятельства. Когда ветхому человѣку приходится вести съ собственнымъ умомъ откровенныя бесѣды, то при этомъ высказываются довольно щекотливыя истины: «Вѣдь я тебя, пріятель, знаю, говорить ветхій человѣкъ своему уму: — вѣдь ты подлець, какихъ мало. Вѣдь если дать тебѣ волю, ты придумаешь такую кучу гадостей, что миѣ самому противно сдѣлается, хоть я человѣкъ не брезгливый. Постой же, голубчикъ, я тебя вышколою». И затѣмъ начинается усовѣщиваніе ума и запугиваніе его посредствомъ разныхъ крайне почтенныхъ понятій, которыми должны сдерживаться слишкомъ художественныя его стремленія. Для новаго человѣка такъ же невозможно производить надъ своимъ умомъ такіа

продѣлки, какъ невозможно для всякаго человѣка вообще укусить свой собственный локоть. Во первыхъ, чѣмъ ты его запугаешь? А во вторыхъ, зачѣмъ запугивать? За чѣмъ и не зачѣмъ. Новый человѣкъ вѣритъ своему уму, и вѣритъ только ему одному; онъ вводитъ свой умъ во всѣ обстоятельства своей жизни, во всѣ завѣтные уголки своего чувства, потому что нѣтъ той вещи и нѣтъ того чувства, которое его умъ могъ бы замарать или опошлить своимъ приспособленіемъ. Когда ветхіе люди влюбляются, они выдаютъ своему уму безсрочный отпускъ и, благодаря его отсутствію, дѣлаютъ разныя глупости, которыя очень часто превращаются въ гадости вовсе нешуточнаго размѣра. Дѣвушку или женщину заставляютъ сдѣлать рѣшительный шагъ, а къ этому времени возвращается изъ своей отлучки рассудокъ—и ветхій человѣкъ, испугавшись послѣдствій своей невинной шутки, обращается въ расчетливое бѣгство и потомъ оправдывается тѣмъ, что онъ самъ себя не помнилъ, что былъ, какъ сумасшедшій. Ветхіе люди только и дѣлаютъ, что грѣшатъ и каются, и неизвѣстно, когда они бывають подлѣе: когда грѣшатъ или когда каются. Новые люди не грѣшатъ и не каются; они всегда размышляютъ, и потому дѣлаютъ только ошибки въ расчетѣ, а потомъ исправляютъ эти ошибки и избѣгаютъ ихъ въ послѣдующихъ выкладкахъ. У новыхъ людей добро и истина, честность и знаніе, характеръ и умъ оказываются тождественными понятіями; чѣмъ умнѣе новый человѣкъ, тѣмъ онъ честнѣе, потому что тѣмъ меньше ошибокъ вкрадывается въ расчеты. У новаго человѣка нѣтъ причинъ для разлада между умомъ и чувствомъ, потому что умъ, направленный на любимый и полезный трудъ, всегда совѣтуетъ только то, что согласно съ личною выгодною, совпадающею съ истинными интересами человѣчества и, слѣдовательно, съ требованіями самой строгой справедливости и самого щекотливаго нравственнаго чувства. Основныя особенности новаго типа, о которыхъ я говорилъ до сихъ поръ, могутъ быть сформулированы въ трехъ главныхъ положеніяхъ, находящихся въ самой тѣсной связи между собою.

I. Новые люди пристрастились къ общепользному труду.

II. Личная польза новыхъ людей совпадаетъ съ общою пользою, и эгоизмъ ихъ вмѣщаетъ въ себя самую широкую любовь къ человѣчеству.

III. Умъ новыхъ людей находится въ самой полной гармоніи съ

ихъ чувствомъ, потому что ни умъ, ни чувство ихъ не искажены хроническою враждою противъ остальныхъ людей.

А все это вмѣстѣ можетъ быть выражено еще короче: новыми людьми называются мыслящіе работники, любящіе свою работу. Значить, и злиться на нихъ не зачѣмъ.

V.

Обозначенныя мною особенности новаго типа представляютъ только самыя общіе контуры, внутри которыхъ открывается самый широкій просторъ всему безконечному разнообразію индивидуальныхъ стремленій, силъ и темпераментовъ человеческой природы. Эти контуры тѣмъ и хороши, что они не урѣзываютъ ни одной оригинальной черты и не навязываютъ человѣку ни одного обязательнаго свойства. Въ этихъ контурахъ уживется и насладится полнымъ счастіемъ каждый человѣкъ, если только онъ не испорченъ до мозга костей произвольно придуманными аномаліями нашей неестественной жизни. Но такъ какъ эти контуры не могутъ дать читателю полного понятія о живыхъ человѣческихъ личностяхъ, принадлежащихъ къ новому типу, то я обращаюсь теперь къ роману г. Чернышевскаго и возьму изъ него тотъ эпизодъ, въ которомъ сосредоточивается главный его интересъ. Я постараюсь прослѣдить, какъ развивается въ Вѣрѣ Павловнѣ любовь къ другу ея мужа, Кирсанову, и какъ ведутъ себя въ этомъ случаѣ Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна.

Когда Вѣра Павловна, тайкомъ отъ родителей, вышла замужъ за Лопухова, то и мужъ, и жена силою обстоятельствъ были принуждены работать пристально и усердно. Надо было спастись отъ нужды; онъ занимался переводами и уроками; она также давала уроки; оба трудились добросовѣстно и мало по малу ввели въ свою жизнь комфортъ и пзящество. Когда имъ перестала угрожать нужда, Вѣра Павловна задумалась надъ устройствомъ такой швейной мастерской, въ которой былъ бы совершенно устраненъ элементъ эксплуатированія работницъ. Задумалась и устроила. Много времени потребовалось на то, чтобы ознакомить работницъ съ новымъ порядкомъ, много пужно было осторожности и искусства, чтобы не озадачить ихъ новизною устройства и не оттолкнуть ихъ отъ небы-

валаго предпріятія; однако Вѣръ Павловнѣ удалось побѣдить всѣ эти трудности, и года черезъ два послѣ своего основанія мастерская доставляла всѣмъ швеямъ возможность имѣть просторную и здоровую общую квартиру, сытный и вкусный столъ, нѣкоторыя развлеченія и частицу свободнаго времени для умственныхъ занятій. Развитіе и окончательное усовершенствованіе мастерской описаны г. Чернышевскимъ очень ясно, подробно и съ тою сознательною любовью, которую подобныя учрежденія естественнымъ образомъ внушаютъ ему, какъ специалисту по части социальной науки.

Въ практическомъ отношеніи это описаніе мастерской, дѣйствительно существующей или идеальной — все равно, составляетъ, можетъ быть, самое замѣчательное мѣсто во всемъ романѣ. Тутъ уже самыя лютыя ретрограды не съ умѣютъ найти ничего мечтательнаго и утопическаго, а между тѣмъ этой стороною своей романъ «Что дѣлать?» можетъ произвести столько дѣятельнаго добра, сколько не произвели до сихъ поръ всѣ усилія нашихъ художниковъ и обличителей. Ввести пріодотворную идею въ романъ и примѣнить ее именно къ такому дѣлу, которое доступно сдѣламъ женщины — мысль, какъ нельзя болѣе счастливая. Если бы эта мысль заглохла безъ слѣда, то пришлось бы изумиться умственной вялости нашего общества съ одной стороны, и силѣ обстоятельствъ, задерживающихъ его развитіе — съ другой. Но отдавая должную справедливость этимъ свойствамъ нашей жизни, нельзя не сказать однако, что совершенно безслѣдно мысль эта могла пройти только развѣ между крестинами. Поэтому не одно честное сердце отозвалось на нее, не одинъ свѣжій голосъ откликнулся на этотъ призывъ къ дѣятельности, обращенный къ нашимъ женщинамъ. Въ этомъ отношеніи г. Чернышевскій, разрушитель эстетики, оказался единственнымъ нашимъ беллетристомъ, художественное произведеніе котораго имѣло непосредственное вліяніе на наше общество, правда, на небольшую часть его, но зато на лучшую.

Главнѣйшія основанія въ устройствѣ мастерской Вѣры Павловны заключались въ томъ, что прибыль дѣлилась поровну между всѣми работницами и потому расходовалась самымъ экономическимъ и расчетливымъ образомъ: вмѣсто нѣсколькихъ маленькихъ квартиръ принималась одна большая; вмѣсто того, чтобы покупать съѣстные припасы по мелочамъ, ихъ покупали оптомъ. Для личной жизни Вѣры Павловны устройство мастерской и прежніе труды по урокамъ важ-

ны въ томъ отношеніи, что они ограждаютъ ее въ глазахъ читателя отъ недоуверія въ умственной пустотѣ. Вѣра Павловна — женщина новаго типа; время ея наполнено полезнымъ и увлекательнымъ трудомъ; стало быть, если въ ней родится новое чувство, вытѣсняющее ея привязанность къ мужу, то это чувство выражаетъ собою дѣйствительную потребность ея природы, а не случайную прихоть 'правднаго ума и блуждающаго воображенія. Возможность этого новаго чувства обуславливается очень тонкимъ различіемъ, существующимъ между характерами Лопухова и его жены. Это различіе, разумѣется, не производитъ между ними взаимнаго неудовольствія, но мѣшаетъ имъ доставить другъ другу полное семейное счастье, котораго оба они имѣютъ право требовать отъ жизни. Гейне въ своей книгѣ о Берне различаетъ два главные типа людей: одни, страстно и упорно сосредоточивающіе свои силы на одной обожанной идеѣ, причисляются къ іудейскому типу; другіе, раскидывающіе свои силы во всѣ стороны и вездѣ отыскивающіе себѣ наслажденія, составляютъ типъ эллинскій. Гейне замѣчаетъ, что эти типы находятъ себѣ блестящее воплощеніе въ тѣхъ двухъ народахъ, которымъ они обязаны своими наваніями, но что, не смотря на то, они часто перекрещиваются между собою, такъ что коренной іудей называется эллиномъ по характеру, а чистѣйшій эллинъ — іудеемъ. Гейне самого себя причисляетъ къ эллинскому типу, а своего строгаго критика Берне считаетъ чистымъ представителемъ типа іудейскаго. Оба типа встрѣчаются всего чаще въ смягченномъ и ослабленномъ видѣ, и очень рѣдко доходятъ до своего полнаго развитія. Разбирая характеры Лопухова и его жены, я могу сказать, что *онъ* былъ преимущественно іудей, а *она* сложилась къ эллинскому типу. Она любитъ цвѣты и картины, любитъ покушать сливковъ, поинѣжиться въ теплой и мягкой постели, развлекаться оперною музыкою; у него въ кабинетѣ нѣтъ ни цвѣтовъ, ни картинъ; на стѣнѣ висятъ только ея портретъ и портретъ «святого старика», Роберта Оуэна; онъ много работаетъ, а веселится рѣдко, и воодушевляется только тогда, когда заходитъ рѣчь о его обожанной идеѣ, о той идеѣ; съ которою связаны имена Оуэна, Фурье и немногихъ другихъ истинныхъ друзей человечества. Эти внѣшнія различія служатъ признаками болѣе глубокихъ внутреннихъ различій. Ей необходимо постоянное присутствіе любимаго человека, постоянно согревающее вліяніе его ласки и нѣжности, постоянные

участіе его въ ея работахъ и въ ея забавахъ, въ ея серьезныхъ размышленіяхъ и въ ея полуребяческихъ шалостяхъ. Въ немъ, напротивъ того, нѣтъ потребности въ каждую данную минуту жить съ нею одною жизнью, участвовать въ каждой ея радости, дѣлить поровну каждое впечатлѣніе. Онъ всегда поможетъ ей въ минуту раздумья или огорченія; онъ подойдетъ къ ней, если она позоветъ его, въ минуту веселья, но подойдетъ или по ея призыву, или потому, что безъ ея словъ угадаетъ ея желаніе; въ немъ самомъ нѣтъ внутренняго влеченія къ тѣмъ удовольствіямъ, которыя любитъ она. Ему необходимо иногда уединяться и сосредоточиваться; онъ самъ говоритъ о себѣ, что отдыхаетъ только тогда, когда остается совершенно одинъ. Стало быть, въ семейной жизни Лопуховыхъ непремѣнно одинъ изъ супруговъ долженъ былъ въ угоду другому подавлять личную особенность своего характера. При такихъ условіяхъ полное счастье любви совершенно невозможно, тѣмъ болѣе, что такіе люди, какъ Лопуховы, превосходно понимаютъ условія настоящаго счастья и по высотѣ своей умственной организаціи и своего развитія неизбѣжно оказываются очень требовательными въ отношеніи всѣхъ процессовъ психической жизни. Когда къ аккорду любви примѣшивается малѣйшій фальшивый звукъ, соответствующій едва замѣтному стѣсненію одной изъ любящихся личностей, тогда весь аккордъ оказывается диссонансомъ, и диссонансъ этотъ дѣлается тѣмъ томительнѣе и тяжелѣе, чѣмъ выше и тоньше организація заинтересованныхъ лицъ. Когда умный и честный мужчина и умная и честная женщина стараются осчастливить другъ друга и не могутъ достигнуть этого, и видятъ бесплодность своихъ усилій, то оба становятся мучениками; чтобы выйти изъ этого странно-драматическаго положенія, имъ необходимо разстаться, какъ бы ни было велико ихъ взаимное уваженіе, и какъ бы ни была сильна связывающая ихъ дружба. Только на четвертый годъ своего замужества Вѣра Павловна начинаетъ чувствовать, что какія-то потребности ея душевной жизни остаются неудовлетворенными; это смутное чувство неудовлетворенія долго остается несознаннымъ, потому что жизнь Вѣры Павловны въ родительскомъ домѣ была очень тяжела; вырвавшись, какъ она говоритъ, «изъ подвала», она рада была воздуху свободы, она была полна признательностію къ своему освободителю, не смотря на то, что и она, и освободитель ея совершенно справедливо считаютъ признательность

унизительнымъ чувствомъ, которое порабощаетъ одного человѣка и оскорбляетъ другого. Четыре года разумной и свободной жизни развернули богатыя способности Вѣры Павловны, изгладили тяжелыя воспоминанія о подвалѣ и дали нашей героинѣ возможность относиться совершенно непринужденно, безъ всякой примѣси признательности къ личности освободителя, который конечно самъ былъ особенно радъ тому, что пропала низкая признательность и явилось совершенно свободное уваженіе. Но уваженіе и привязанность Вѣры Павловны къ своему доброму и умному мужу такъ сильны, что она приходитъ въ совершенный ужасъ, когда въ голову ея закрадывается сомнѣніе въ томъ: дѣйствительно-ли она его любитъ, и дѣйствительно-ли она съ нимъ счастлива.

«Вѣра Павловна просыпается съ этимъ восклицаніемъ, и быстрѣе, чѣмъ сознала она, что видѣла только сонъ, и что она проснулась, она уже вскочила, она бѣжитъ.

— Мой милый, обними меня, защити меня! Миѣ снился страшный сонъ! Она жмется къ мужу. — Мой милый, ласкай меня, будь нѣженъ со мною, защити меня!

— Вѣрочка, что съ тобой? Мужъ обнимаетъ ее. — Ты вся дрожишь. Мужъ цѣлуетъ ее. — У тебя на щекахъ слезы, у тебя холодный потъ на лбу. Ты босая бѣжала по холодному полу, моя милая; я цѣлую твои ножки, чтобы согрѣть ихъ.

— Да, ласкай меня, спаси меня! Миѣ снился гадкій сонъ, миѣ снилось, что я не люблю тебя.

— Милая моя, кого же ты любишь, какъ не меня? Нѣтъ, это пустой, смѣшной сонъ!

— Да, я люблю тебя, только ласкай меня, цѣлуй меня, — я тебя люблю, я тебя хочу любить.

Она крѣпко обнимаетъ мужа, вся жмется къ нему и, усюкоенная его ласками, тихо засыпаетъ, цѣлуя его.

Въ это утро, Дмитрій Сергѣичъ (Лопуховъ) не идетъ звать жену пить чай: она здѣсь, прижавшись къ нему; она еще спитъ; онъ смотритъ на нее и думаетъ: «что это такое съ ней, чѣмъ она была испугана, откуда этотъ сонъ?»

Новые люди никогда ничего не требуютъ отъ другихъ; имъ самимъ необходима полная свобода чувствъ, мыслей и поступковъ, и потому они глубоко уважаютъ эту свободу въ другихъ. Они принимаютъ другъ отъ друга только то, что дается, — не говорю, добро-

вольно, — этого мало, но съ радостью, съ полнымъ и живымъ наслажденіемъ. Понятіе жертвы и стѣненія совершенно не имѣетъ себѣ мѣста въ ихъ міросозерцаніи. Они знаютъ, что человекъ счастливъ только тогда, когда его природа развивается въ полной своей оригинальности и неприкосновенности; поэтому они никогда не позволяютъ себѣ вторгаться въ чужую жизнь съ личными требованіями или съ навязчивымъ участіемъ. Вѣра Павловна въ приведенной сценѣ требуетъ отъ мужа ласки и нѣжности, и онъ, разумѣется, съ радостію исполняетъ ея желанія; но *требуетъ* или проситъ она только потому, что не помнитъ себя отъ испуга; въ нормальномъ положеніи она ничего не станетъ требовать; ей будетъ казаться, что мужъ ласкаетъ ее не по собственному влеченію, не для себя, а для нея, и когда появится эта мысль, тогда ей будетъ тяжело и, наконецъ невозможно принимать тѣ самыя ласки, которыя составляютъ однако потребность ея любящей природы. Лопуховъ понимаетъ это и потому задумывается надъ ея сномъ и надъ происшедшею между ними сценою.

Черезъ мѣсяць послѣ страшнаго сна происходитъ слѣдующая сцена, находящаяся въ прямой связи съ предъидущею.

— «Вѣрочка, милая моя, что ты задумчива?»

Вѣра Павловна плачетъ и молчитъ. — Нѣтъ, — она утерла слезы, — нѣтъ, не ласкай, мой милый! Довольно. Благодарю тебя! — и она такъ вротко и искренно смотритъ на него: — благодарю тебя, ты такъ добръ ко мнѣ.

— Добръ, Вѣрочка? Что это, какъ это?

— Добръ, мой милый; ты добрый».

Теперь уже никакія силы, никакія старанія не могутъ возстановить нарушенной гармоніи любви. Когда женщина думаетъ, что мужчина ласкаетъ ее по своей добротѣ, вся ея законная гордость возмущается противъ этой обидной доброты, вся ея деликатность стремится оттолкнуть прочь эту жертву. Кто любитъ, тотъ непременно хочетъ, чтобы любовь доставляла равныя наслажденія ему и другому. Гдѣ это условіе не соблюдено, тамъ мужчина и женщина могутъ быть друзьями, могутъ уважать другъ друга, но любви между ними не можетъ и не должно существовать, потому что любовь была бы порабощеніемъ для одного изъ нихъ и несчастіемъ для обоихъ. Черезъ два дня натянутость положенія становится еще замѣтнѣе.

«Мужъ сидитъ подлѣ нея, обнялъ ее...

«Да, это не то. Во мнѣ нѣтъ того», думаетъ Лопуховъ.

«Какой онъ добрый, какая я благодарная!» думаетъ Вѣра Павловна.

Вотъ что они думаютъ.

Она говоритъ: — мой милый, иди къ себѣ, занимайся или отдохни, — и хочеть сказать, и умѣеть сказать эти слова простымъ, ненужнымъ тономъ.

— Зачѣмъ же, Вѣрочка, ты гонишь меня? мнѣ и здѣсь хорошо, — и хочеть, и умѣеть сказать эти слова простымъ, веселымъ тономъ.

— Нѣтъ, иди, мой милый. Ты довольно дѣлаешь для меня. Иди, отдохни.

Онъ цѣлуетъ ее, и она забываетъ свои мысли, и ей опять такъ сладко и легко дышать.

— Благодарю тебя, мой милый, говоритъ она.»

То, что происходитъ между Лопуховымъ и его женою, не бросаетъ ни малѣйшей тѣни ни на него, ни на нее. Съ ихъ стороны не было даже ошибки въ выборѣ, потому что обстоятельства добраго стараго времени, окружавшія Вѣру Павловну въ родительскомъ домѣ, дѣлали всякій свободный выборъ, всякое колебаніе и даже всякое промедленіе совершенно невозможными. Ей надо было прежде всего вырваться изъ подвала; ему, какъ честному человѣку, надо было прежде всего высвободить ее изъ невыносимаго положенія. Если бы при такихъ условіяхъ они стали внимательно изучать другъ друга, да изслѣдовать тончайшія особенности характеровъ, то ихъ надо было бы назвать старыми тряпками, въ родѣ Рудина, а никакъ не свѣжими людьми новаго типа. Они видѣли другъ въ другѣ честныхъ и умныхъ людей, братьевъ по взгляду на жизнь; этого было совершенно достаточно для того, чтобы онъ смѣло протянулъ ей руку, и для того, чтобы она, не задумываясь, приняла предлагаемую опору. Этотъ образъ дѣйствій былъ совершенно согласенъ съ ихъ характерами, и онъ самъ по себѣ былъ безусловно хорошъ. Теперь изъ этого образа дѣйствій развиваются послѣдствія, одинаково тягостныя для Лопухова и для его жены. Вѣтхіе люди не сумѣли бы справиться съ этими послѣдствіями; они стали бы обвинять и мучить другъ друга, когда ни тотъ, ни другой ни въ чемъ не виноваты; они стали бы дѣйствовать наперекоръ собственной своей природѣ, и, разумѣется, изъ этихъ неестественныхъ и нера-

зумныхъ усилій не вышло бы ничего, кромѣ бесплоднаго страданія; они съ тупою покорностью склонили бы голову передъ такъ называемымъ рѣшеніемъ судьбы, между тѣмъ какъ въ ихъ собственныхъ рукахъ находились бы всѣ средства завоевать себѣ полное и прочное счастье. Новые люди въ подобныхъ случаяхъ поступаютъ совершенно иначе; они спокойно и внимательно осматриваютъ свое положеніе, убѣждаются, что оно дѣйствительно тяжело, стараются передѣлать не природу, а обстоятельства, и, благодаря своимъ разумнымъ усиліямъ, всегда находятъ себѣ счастливый выходъ изъ самыхъ серьезныхъ затрудненій. Цѣльность природы, гармонія между умомъ и чувствомъ и постоянное приευствіе духа должны непремѣнно преодолѣвать такія препятствія, передъ которыми веткіе люди останавливаются въ недоумѣніи и приходятъ въ безвыходное отчаяніе.

VI.

Вѣра Павловна надѣется снова найти себѣ счастье и спокойствіе въ серьезной и заботливой любви своего мужа, но Лопуховъ, какъ человѣкъ болѣе опытный, понимаетъ, что надѣяться поздно. Ему тяжело отказываться отъ того, что онъ считалъ своимъ счастьемъ, но онъ не ребенокъ и не старается поймать дуну руками. Онъ видитъ, что причины разлада лежатъ очень глубоко, въ самыхъ основахъ обоихъ характеровъ, и потому онъ старается не о томъ, чтобы все какъ заглушить разладъ, а, напротивъ, о томъ, чтобы радикально исправить бѣду, хотя бы ему пришлось совершенно отказаться отъ своихъ отношеній къ любимой женщинѣ. Тутъ нѣтъ никакого сверхъестественнаго героизма; тутъ только ясный и вѣрный расчетъ. Когда благоразумный человѣкъ раненъ и когда пуля засѣла въ его ранѣ, онъ не говоритъ доктору: «залечите мнѣ рану», а говоритъ напротивъ того: «углубите и расширьте рану, чтобы можно было вынуть пулю». Когда рану изслѣдуютъ зондомъ, пациенту очень больно, но ему гораздо выгоднѣе перенести эту сильную боль, чѣмъ оставить въ своемъ тѣлѣ пулю и имѣть въ перспективѣ антоновъ огонь или что нибудь въ этомъ родѣ. Лопуховъ ясно понимаетъ свое положеніе и потому постоянно дѣйствуетъ

твѣ, какъ люди, не умѣюще мыслить, дѣйствуютъ только во время рѣдкихъ и случайныхъ припадковъ слѣпотоу героизма. Ему очень тяжело, но даже въ это тяжелое время ему приходится испытать минуты такого глубокаго наслажденія, о какомъ иной «проницательный читатель» во всю свою жизнь не составитъ себѣ даже приближительнаго понятія.

— Позволишь-ли ты мнѣ (говорить онъ Вѣрѣ Павловнѣ) просить тебя, чтобы ты побольше рассказала мнѣ объ этомъ снѣ, который такъ напугалъ тебя?

— Мой милый, теперь я не думала о немъ. И мнѣ такъ тяжело вспоминать его.

— Но, Вѣрочка, быть можетъ, мнѣ полезно будетъ знать его.

— Изволь, мой милый. Мнѣ снилось, что я спускаю отъ того, что не поѣхала въ оперу, что я думаю о ней, о Бозіо; ко мнѣ пришла какая-то женщина, которую я сначала приняла за Бозіо, и которая все пряталась отъ меня; она заставила меня читать мой дневникъ; тамъ было написано все только о томъ, какъ мы съ тобою любимъ другъ друга, а когда она дотрогивалась рукою до страницъ, на нихъ показывались новыя слова, говорившія, что я не люблю тебя.

— Прости меня, мой другъ, что я еще спрошу тебя: ты только видѣла во снѣ?

— Милый мой, если бы не только, развѣ я не сказала бы тебѣ? Вѣдь я это тогда же тебѣ сказала.

Это было сказано такъ пѣжно, такъ искренно, такъ просто, что Лопуховъ почувствовалъ въ груди волненіе теплоты и сладости, котораго всю жизнь не забудетъ тотъ, кому счастье дало испытать его. О, какъ жаль, что немногіе, очень немногіе мужья могутъ знать это чувство! Всѣ радости счастливой любви ничто передъ нимъ; оно навсегда наполняетъ чистѣйшимъ довольствомъ, самою святою гордостью сердце человѣка.

Въ словахъ Вѣры Павловны, сказанныхъ съ нѣкоторой грустью, слышался упрекъ; но вѣдь смыслъ этого упрека былъ: «другъ мой, неужели ты не знаешь, что ты заслужилъ полное мое довѣріе? Жена должна скрывать отъ мужа тайныя движенія своего сердца: таковы уже тѣ отношенія, въ которыхъ они стоятъ другъ къ другу. Но ты, мой милый, держалъ себя такъ, что отъ тебя не нужно утаивать ничего, что мое сердце открыто передъ тобою, какъ передо

мною самой». Это великая заслуга въ мужѣ; эта великая награда покупается только высокимъ нравственнымъ достоинствомъ; и кто заслужилъ ее, тотъ въ правѣ считать себя человѣкомъ безукоры-
 неннаго благородства, тотъ смѣло можетъ надѣяться, что совѣсть его чиста и всегда будетъ чиста, что мужество никогда ни въ чемъ не измѣнитъ ему, что во всѣхъ испытаніяхъ, всякихъ, какихъ бы то ни было, онъ останется спокоенъ и твердъ, что судьба почти не-
 властна надъ міромъ его души, что съ той поры, какъ онъ заслу-
 жилъ эту великую честь, до послѣдней минуты жизни, какими бы ударами ни подвергался онъ, онъ будетъ счастливъ сознаніемъ своего
 человѣческаго достоинства. Мы теперь довольно знаемъ Лопухова, чтобы видѣть, что онъ былъ человѣкъ несантиментальный; но онъ былъ такъ тронутъ этими словами жены, что лицо его вспыхнуло.

— Вѣрочка, другъ мой, ты упрекнула меня, — его голосъ дрожалъ во второй разъ въ жизни и въ послѣдній разъ; въ первый разъ голосъ его дрожалъ отъ сомнѣнія въ своемъ предположеніи, что онъ отгадалъ; теперь дрожалъ отъ радости: — ты упрекнула меня, но этотъ упрекъ мнѣ дороже всѣхъ словъ любви. Я оскорбилъ тебя своимъ вопросомъ; но какъ я счастливъ, что мой дурной вопросъ далъ мнѣ такой упрекъ. Посмотри, слезы на моихъ глазахъ, съ дѣтства первыя слезы въ моей жизни!

Онъ цѣлый вечеръ не сводилъ съ нея глазъ, и ей ни разу не подумалось въ этотъ вечеръ, что онъ дѣлаетъ надъ собою усиліе, чтобы быть нѣжнымъ, и этотъ вечеръ былъ однимъ изъ самыхъ радостныхъ въ ея жизни, по крайней мѣрѣ до сихъ поръ».

Да, надо быть недожиннымъ человѣкомъ, чтобы приобрести полную довѣренность другого человѣка, и надо быть еще болѣе недожиннымъ человѣкомъ, чтобы, убѣдившись въ существованіи этой довѣренности, такъ глубоко прочувствовать ту святую радость, которую испыталъ Лопуховъ. Въ этой радости нѣтъ ничего своекорыстнаго; на ней Лопуховъ не основываетъ никакой практической надежды; послѣ разговора съ женою онъ серьезнѣе прежняго задумывается надъ ихъ общимъ положеніемъ и задаетъ себѣ не тотъ вопросъ: «любить ли она его или нѣтъ?» а тотъ: «изъ какого отношенія явилось въ ней предчувствіе, что она не любитъ его?» Психологическая задача, требующая отъ него разрѣшенія, нисколько не измѣняется въ его глазахъ вслѣдствіе того упрека Вѣры Павловны, который возбудилъ въ немъ чувство гордой и мужественной радости;

стало быть, радость его основана исключительно на томъ обстоятельстве, что ему всего дороже достоинство собственной личности; а кому это достоинство такъ дорого, кто способенъ такъ сильно радоваться, когда это достоинство встрѣчаетъ себѣ справедливую оцѣнку со стороны любимыхъ и уважаемыхъ личностей, тотъ, разумѣется, пройдетъ спокойно и твердо черезъ всякія испытанія, потому что никакія испытанія не могутъ отнять или испортить у него то, чѣмъ онъ дѣйствительно дорожитъ больше всего на свѣтѣ. Когда пустой и слабый человѣкъ слышитъ лестный отзывъ насчетъ своихъ сомнительныхъ достоинствъ, онъ упивается своимъ тщеславіемъ, зазнается и совсѣмъ теряетъ свою крошечную способность относиться критически къ своимъ поступкамъ и къ своей особѣ. Напротивъ того, человѣкъ съ сильнымъ умомъ и съ твердою волею, получая себѣ заслуженную дань уваженія, испытываетъ глубокую и вѣстѣ спокойную радость, которая удваиваетъ его бдительность надъ собою, его внимательность къ чистотѣ своей личности и его непоколебимую рѣшимость идти впередъ по тому же неизмѣнному пути правильного расчета. Въ психологическомъ отношеніи чрезвычайно вѣрно то обстоятельство, что Лопуховъ послѣ разговора съ Вѣрою Павловною еще разъ вдумывается въ ея положеніе и наконецъ отыскиваетъ изъ него выходъ. Радость освѣжила весь его организмъ и усилила дѣятельность его мысли; испытавъ эту радость, онъ и себя, и жену, и весь міръ любить сильнѣе, чѣмъ за минуту передъ тѣмъ; а когда вся душа человѣка потрясена приливомъ всеобъемлющей любви и переполнена чистѣйшимъ счастьемъ самоуваженія, въ его мысляхъ нѣтъ мѣста узкому своекорыстію; онъ разрѣшаетъ затрудненія быстро и безстрашно, потому что въ такія минуты онъ готовъ идти на встрѣчу всякимъ страданіямъ, лишь бы только эти страданія навсегда упрочили за нимъ право считать себя честнымъ человѣкомъ. Продумавъ часовъ до трехъ ночи, Лопуховъ убѣждается, что у жены его возникаетъ любовь къ Кирсанову; анализируя характеръ Кирсанова, Лопуховъ замѣчаетъ, что въ этомъ характерѣ есть свойства, которыя необходимы для Вѣры Павловны и которыхъ нѣтъ у него, Лопухова. Всмотриваясь въ поведеніе Кирсанова, Лопуховъ находитъ въ немъ такіе факты, которые заставляютъ его думать, что Кирсановъ давно уже любитъ Вѣру Павловну. Года три тому назадъ Кирсановъ, постоянно бывавшій въ домѣ Лопуховыхъ, вдругъ отдался отъ нихъ, прикрывая

свое отступление какими-то несостоятельными предложениями. Приглашенный недавно къ Лопухову, по случаю болѣзни послѣдняго, онъ снова сблизился съ ними и съ его женою, но потомъ опять отшатнулся отъ ихъ дома. Сближая всё эти обстоятельства, Лопуховъ рѣшаетъ, что Кирсановъ любитъ его жену и держится вдали отъ нея, чтобы какою-нибудь неосторожнымъ словомъ или взглядомъ не нарушить спокойствіе женщины, пользующейся, по его мнѣнію, полнымъ семейнымъ счастьемъ. Передъ Лопуховымъ лежатъ теперь двѣ дороги: во-первыхъ, онъ можетъ оставаться въ положеніи строго нейтралитета. Кирсановъ не будетъ ихъ посѣщать; зарождающееся чувство Вѣры Павловны заглохнетъ во время его отсутствія, и семейная жизнь Лопуховыхъ пойдетъ своимъ обычнымъ порядкомъ. Во вторыхъ, онъ можетъ своимъ вмѣшательствомъ измѣнить ходъ событій. Онъ скажетъ Кирсанову, чтобы тотъ бывалъ у нихъ попрежнему, чувство Вѣры Павловны разовьется, и жизнь ея наполнится радостями взаимной любви. Проницательный читатель скажетъ, что пойти по второй дорогѣ можетъ только сумасбродъ, что это и глупо, и безнравственно, и чортъ знаетъ на что похоже. Посудите сами, мужъ приглашаетъ къ себѣ въ домъ человѣка, котораго прочтѣ въ любовники къ своей женѣ. Хорошъ мужъ, и хороша жена, и хорошо третье лицо!—Ну, когда ветхий человѣкъ или проницательный читатель облегчить свою переполненную грудь громкими возгласами и наговорить намъ значительное количество жалкихъ словъ, я возьму на себя смѣлость замѣтить, что прямая обязанность Лопухова состояла въ томъ, чтобы пойти по этой второй дорогѣ и что кромѣ того на ту же самую дорогу указывалъ ему прямой и ясный расчетъ. По расчету выходитъ такъ: Лопуховъ знаетъ, что самъ не можетъ составить счастья своей жены, стало быть ихъ семейная жизнь будетъ тягостна для обоихъ, и кромѣ того, рано или поздно можетъ случиться, что Вѣра Павловна съ гора влюбится въ такого человѣка, который будетъ во всѣхъ отношеніяхъ хуже Кирсанова. Если же она полюбитъ Кирсанова, то тягостное положеніе будетъ разрушено къ обоюдной выгодѣ Лопуховыхъ, которые оба должны желать его прекращенія. Конечно было бы лучше, если бы Вѣра Павловна могла вполне удовлетвориться любовью своего мужа; но такъ какъ это, судя по даннымъ характеристамъ, невозможно, то объ этомъ нечего и толковать. Требования честности въ этомъ случаѣ формулируются такъ: человѣкъ не имѣетъ права отнимать счастье

у другого человѣка ни своими поступками, ни словами, ни даже молчаніемъ. Если отъ нѣсколькихъ словъ одного зависить счастье другого, и если первый не произносить этихъ словъ, то онъ крадетъ чужое счастье и этимъ поступкомъ мараетъ свою личность. Если онъ станетъ говорить въ свое оправданіе, что онъ ничего не дѣлалъ, что онъ умывалъ руки и оставался нейтральнымъ, то замараетъ себя еще сильнѣе, потому что такіе жалкіе софизмы каждому честному человѣку покажутся достойными презрѣнія. Лопуховъ могъ бы пойти по первой дорогѣ только въ томъ случаѣ, если бы надѣялся удержать за собою всю нѣжность своей жены; есть дѣйствительно такіе люди, которые надѣются до послѣдней минуты и поддерживаютъ въ себѣ надежду всякими правдами и неправдами, потому что у нихъ не достаетъ мужества взглянуть въ лицо непріятной дѣйствительности; вслѣдствіе этого, дѣйствительность всегда захватываетъ ихъ врасплохъ, и событія играютъ ими, какъ пѣшкани; если Лопуховъ не принадлежалъ къ породѣ этихъ слабодушныхъ оптимистовъ то, мнѣ кажется, это дѣлаетъ честь тонкости его ума и силѣ его характера. А если онъ не былъ оптимистомъ, то ему оставалось только ѣхать къ Кирсанову. Онъ ѣдетъ къ нему на другой день послѣ приведенной мною послѣдней сцены съ женою. Чтобы одѣлать такой рѣшительный шагъ, даже очень крѣпкому человѣку необходимо собрать всю свою энергію; энергія Лопухова была возбуждена до крайнихъ предѣловъ тою радостью, которую причинилъ ему ласковый упрекъ Вѣры Павловны; процессъ мысли былъ у него таковъ: когда мнѣ такъ безусловно доверяють, надо же дѣйствительно исполнѣ оправдывать это довѣріе, и вотъ, находясь подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ обаятельнаго упрека, Лопуховъ начинаетъ дѣйствовать. Кирсановъ при первыхъ, совершенно невинныхъ, словахъ своего друга вспыхиваетъ и обнаруживаетъ самое лютое нетоварищеское; но Лопуховъ не только не унижается, а напротивъ того укрощаетъ яростнаго Кирсанова и заставляетъ его поступать такъ, какъ онъ, Лопуховъ, того хочетъ. Эта цѣль достигается, конечно, не посредствомъ аргументація, а посредствомъ слѣдующаго простаго и невиннаго предположенія; положимъ, говоритъ Лопуховъ, что существуютъ три человѣка,—предположеніе, незначающее въ себѣ ничего невозможнаго; — предположимъ, что у одного изъ нихъ есть тайна; второму онъ желалъ бы скрыть и отъ втораго, а въ особенности отъ третьаго; предположимъ, что второй угадываетъ эту

тайну перваго и говорить ему: «дѣлай то, о чемъ я прошу тебя, или я открою твою тайну третьему. Какъ ты думаешь объ этомъ случаѣ?» На аргументы Кирсановъ не сдавался, но при этомъ предположеніи онъ владеть оружіе. «Ты дурно поступаешь со мною, Дмитрій, говорить онъ. Я не могу не исполнить твоей просьбы. Но въ свою очередь я налагаю на тебя одно условіе. Я буду бывать у васъ; но если я отправлюсь изъ твоего дома не одинъ, то ты обязанъ сопровождать меня повсюду; и чтобы я не имѣлъ надобности звать тебя, слышишь? самъ ты, безъ моего зова. Безъ тебя я никуда ни шагу, ни къ оперу, ни къ кому изъ знакомыхъ, никуда.» Дюпуховъ понимаетъ, что Кирсановъ хочетъ непременно сблизить его съ женою, и свиданіе невольныхъ соперниковъ по любви кончается тѣмъ, что они въ первый разъ въ жизни обнимаются и цѣлуются.

VII.

Длинна моя статья, и много въ ней цитатъ, и совѣстно мнѣ утомлять читателя, а все-таки я не рѣшаюсь разсказать конецъ вѣстнаго мною эпизода въ короткихъ словахъ, и не могу отдавать себѣ въ удовольствіи привести еще нѣсколько выписокъ. Такой романъ, какъ «Что дѣлать?» составляетъ небывалое явленіе въ нашей литературѣ; по неволѣ приходится писать объ немъ и критическую статью небывалыхъ размѣровъ. Какъ, напримѣръ, пересказать читателю ту сцену, въ которой Вѣра Павловна объявляетъ Дюпухову, что любить Кирсанова? Какъ передать ту удивительную теплоту и нѣжность чувства, которую обнаруживаетъ при этомъ случаѣ суровый человекъ новаго типа, человѣкъ, закиданный со всѣхъ сторонъ бессмысленными обвиненіями въ черствости сердца и въ узкой разсудочности? Тутъ дѣло идетъ не о романѣ, даже не о г. Чернышевскомъ; тутъ надо отстоять отъ тупой или злонамѣренной клеветы тотъ типъ людей, который одинъ можетъ освѣжить жалкую рутину нашей бессмысленной жизни.

... » проговорила: «Милый мой, я люблю его», и зарыдала.

— Чтожь такое, моя милая? Чѣмъ же тутъ огорчаться тебѣ?

— Я не хочу обижать тебя, мой милый, я хочу любить тебя.

— Постарайся, посмотри. Если сможешь, прекрасно. Успокойся, дай идти времени, и увидишь, что сможешь и чего не можешь. Вѣдь ты ко мнѣ очень сильно расположена, какъ же ты можешь обидѣть меня?—Онъ гладилъ ея волосы, цѣловалъ ея голову, пожималъ ея руку. Она долго не могла остановиться отъ судорожныхъ рыданій, но постепенно успокоилась. А онъ уже давно былъ приготовленъ къ этому признанію, потому и принялъ его хладнокровно, а впрочемъ вѣдь ей не видно было его лица.

— Я не хочу съ нимъ видѣться, а скажу ему, чтобы онъ пересталъ бывать у насъ, говорила Вѣра Павловна.

— Какъ сама рассудишь, мой другъ, какъ лучше для себя, такъ и сдѣлаешь. А когда ты успокоишься, мы посоветуемся. Вѣдь мы съ тобою, чтобы ни случилось, все-таки не быть друзьями? Дай руку, пожми мою, видишь, какъ хорошо жмешь.—Каждое изъ этихъ словъ говорилось послѣ долгаго промежутка, а промежутки были наполнены тѣмъ, что онъ гладилъ ея волосы, ласкалъ ее, какъ братъ огорченную сестру. — Помнишь, мой другъ, что ты мнѣ сказала, когда мы стали женихъ и невѣста? «Ты выпускаешь меня на волю». — Опять молчаніе и ласка.—Помнишь, какъ мы съ тобою говорили въ первый разъ, что значить любить человѣка? Это значить радоваться тому, что хорошо для него, имѣть удовольствіе въ томъ, чтобы дѣлать все, что нужно, чтобы ему было лучше, такъ!—Опять молчаніе и ласки.—Что тебѣ лучше, то и меня радуетъ. Но ты посмотришь, какъ тебѣ лучше. Зачѣмъ же огорчаться? Если съ тобою нѣтъ бѣды, какая бѣда можетъ быть со мною?»

Я не хочу оскорблять читателя; я не хочу доназывать ему, что выписанная мною сцена дышетъ жизнью и правдою, и что каждый умный и честный человѣкъ, поставленный въ положеніе Лопухова, будетъ держать себя точно такимъ же образомъ; я не хочу доказывать ему, что въ этой сценѣ нѣтъ ни капли идеализаціи, и что нѣжность и мягкость чувства составляютъ естественную принадлежность неискорченной человѣческой природы. Все это читатель самъ долженъ передумать и пережить при чтеніи превосходныхъ строкъ романа. А кто до этого не додумается и не почувствуетъ, тому я объяснять не намѣренъ. Съ такимъ читателемъ разсуждать серьезно не слѣдуетъ. На той дорогѣ, по которой идетъ Лопуховъ, нѣтъ возможности остановиться или повернуть назадъ. Когда, при его содѣйствіи, развилось и созрѣло чувство Вѣры Пав-

ловны въ Кирсанову, ему, конечно, оставалось только содѣйствовать этому чувству до конца и устранять всѣ встрѣчающіяся препятствія. Этого требовала отъ него самая простая логика, выразившаяся въ извѣстной пословицѣ: «взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ.» Пока онъ не брался за гужъ, пока онъ не вмѣшивался въ поступки Кирсанова, до тѣхъ поръ онъ могъ выбирать тотъ или другой образъ дѣйствій, и если бы онъ рѣшился оставаться нейтральнымъ вмѣсто того, чтобы поступать активно, то мы могли бы только порицать его за ошибочность расчета, но не имѣли бы права относиться съ презрѣніемъ къ его личности. Мы перемѣнили бы къ худшему наше мнѣніе объ умѣ Лопухова, но всѣ нравственныя достоинства, способныя ужиться съ дюжиннымъ умомъ, остались бы при немъ въ полной неприкосновенности. Послѣ разговора своего съ Кирсановымъ, Лопуховъ перешелъ черезъ Рубиконъ; онъ взялъ въ свои руки счастье двухъ людей, и если бы, послѣ этого, онъ оплошалъ въ какомъ нибудь отношеніи, то эта оплошность была бы грязною измѣною, позорнымъ банкротствомъ въ нравственномъ отношеніи. Можетъ быть, это банкротство было бы не злостное, а только неосторожное, но это не оправдывало бы Лопухова. Кто позволяетъ себѣ быть неосторожнымъ на чужой счетъ, тотъ не можетъ считать себя честнымъ человѣкомъ. Кто не испыталъ своихъ силъ, кто не можетъ на себя положиться, тотъ не имѣетъ никакого права вмѣшиваться въ судьбу другого лица. Все это я говорю, чтобы доказать читателю, что въ образѣ дѣйствій Лопухова не было такихъ проявленій героизма, которыя возвышались бы надъ уровнемъ простой честности, обязательной для каждого порядочнаго человѣка. Лопуховъ только развилъ въ своихъ поступкахъ тотъ рядъ послѣдствій, который совершенно логично и неизбежно вытекаетъ изъ его перваго рѣшенія, а логичность и послѣдовательность поступковъ составляетъ, конечно, прямую и неотразимую обязанность каждого человѣка, способнаго распоряжаться своимъ головнымъ мозгомъ. Я очень хорошо знаю, что большинство современныхъ людей, считающихъ себя вполне порядочными, противорѣчатъ себѣ на каждомъ шагѣ въ словахъ и въ поступкахъ. Человѣкъ, набѣгающій слишкомъ явныхъ противорѣчій самому себѣ, провозглашается въ настоящее время чуть-чуть не гениемъ по уму, и ужъ во всякомъ случаѣ героемъ по характеру. Но это доказываетъ только, что у современныхъ людей способность размышлять нахо-

дитя почти въ совершенномъ бездѣйствіи. Головной мозгъ считается бесполезнѣйшею частью человѣческаго тѣла. Онъ растетъ и развивается по неизмѣннымъ законамъ природы точно такъ, какъ растетъ и развивается на мѣжѣ полей и чернобыльникъ; на него льютъ и кидаютъ всякія нечистоты; никто не обращаетъ вниманія на то, что ему вредно или полезно, и потому, конечно, онъ чахнетъ и искажается, такъ что здоровый и сильный мозгъ считается рѣдкимъ исключеніемъ и внушаетъ къ себѣ глубочайшее уваженіе. Хороша послѣдовательность! Сначала дѣло ведется такъ, какъ будто бы надо было нарочно извратить всѣ человѣческіе умы, а потомъ начинается благоговѣніе передъ тѣми немногими умами, которые, по какому нибудь случаю, не успѣли извратиться. До сихъ поръ люди всегда относились къ массѣ своей породы съ глубокимъ преврѣненіемъ, и всегда были расположены ползати на колѣняхъ передъ счастливыми исключеніями, которыя только потому были и остаются рѣдными исключеніями, что масса не знала и не знаетъ себѣ цѣны и безразсудно пренебрегала и пренебрегаетъ своими естественными богатствами. Такіе люди, какъ Лопуховъ, въ настоящее время рѣдки, но такіе люди нисколько не выше обыкновеннаго человѣческаго роста. Каждый человѣкъ, не родившійся идиотомъ, можетъ развить въ себѣ мыслительную способность, можетъ укрѣпить ее полезнымъ трудомъ, можетъ возвыситься до правильнаго и яснаго пониманія своихъ отношеній къ людямъ, и когда это будетъ исполнено, поступки Лопухова будутъ казаться ему совершенно простыми и естественными, и онъ будетъ спрашивать съ искреннимъ недоумѣніемъ: да развѣ же можно было поступить иначе? Дѣйствительно, иначе поступить нельзя; кто въ положеніи Лопухова сдѣлаетъ меньше, чѣмъ сдѣлалъ Лопуховъ, тотъ перестанетъ быть честнымъ человѣкомъ, а удержать за собою достоинство честнаго человѣка не значитъ еще совершить геройскій подвигъ. Когда Лопуховъ замѣтилъ, что Вѣра Павловна худѣетъ и блѣднѣетъ отъ напрасныхъ усилій преодолѣть свое чувство, онъ мягко и осторожно предложилъ ей отказаться отъ тяжелой борьбы; Вѣра Павловна разгнѣвалась на него за это предложеніе, но потомъ черезъ нѣсколько времени объявила ему, что борьба становится для нея дѣйствительно невыносимою; Лопуховъ почувствовалъ, что его присутствіе можетъ сдѣлаться мучительнымъ для Вѣры Павловны; онъ уѣхалъ на нѣсколько недѣль; на его мѣстѣ всякій порядочный человѣкъ поступилъ бы точно также, потому

что порядочному человѣку чрезвычайно неприятно мучить своимъ присутствіемъ кого бы то ни было. Возвратившись изъ своей непродолжительной отлучки, Лопуховъ увидѣлъ, что ему лучше было бы совсѣмъ не возвращаться; онъ понялъ — и понять было вовсе не трудно — что его присутствіе и даже его существованіе ставятъ между Кирсановымъ и Вѣрой Павловною такую преграду, черезъ которую конечно перешагнуть не очень трудно, но которую гораздо пріятнѣе было бы совершенно устранить. Нога Лопуховъ передъ обществомъ и передъ закономъ сохраняетъ въ отношеніи къ Вѣрѣ Павловнѣ права мужа, до тѣхъ поръ Кирсановъ и Вѣра Павловна принуждены даже передъ ближайшими знакомыми играть нелѣпѣйшую комедію, которая только утомляетъ актеровъ, не обманывая рѣшительно никого. Самому Лопухову также предстоитъ мало удовольствія. Въ этой нелѣпѣйшей комедіи ему приходится играть неблагодарную роль щита, подставного мужа и подставного отца. Самый узкій эгоистъ, въ томъ смыслѣ, какъ это слово понимается самыми отсталыми рутинерами, — самый узкій эгоистъ, говорю я, поставленный на мѣсто Лопухова, пожелалъ бы, ради своего личнаго комфорта, развязаться съ супружескими правами, потерявшими всякое фактическое значеніе. А развязаться можно или разводомъ, или смертью; но разводъ невозможенъ, потому что дѣло это затруднительно и хлопотливо, и сопряжено съ неприятною огласкою; стало быть, остается смерть: но, во первыхъ, всякому порядочному человѣку жизнь такъ дорога, что онъ рѣшится разбить ее только въ случаѣ самой крайней необходимости; во вторыхъ, самоубійство Лопухова было бы жестокимъ воступкомъ въ отношеніи къ Кирсанову и къ Вѣрѣ Павловнѣ; эта смерть отравляла бы все ихъ счастье и оставалась бы для нихъ на всю жизнь кровавымъ упрекомъ. Конечно они тутъ ни въ чемъ не были бы виноваты; но бываютъ такія происшествія, которыя, поразивъ воображеніе людей, навсегда оставляютъ по себѣ болѣзненное воспоминаніе, похожее на упрекъ, и этого воспоминанія не вытравить потомъ самый острый анализъ. Очевидно, слѣдовательно, что Лопухову всего расчетливѣе было бы поступить какъ ни-будь такъ, чтобы безъ ущерба для себя устранить пренятствіе, которое личность его представляла счастьемъ другихъ, и онъ рѣшился умереть въ глазахъ закона, ожить за границею подъ другимъ именемъ и объяснить потомъ Кирсанову и Вѣрѣ Павловнѣ, въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать его самоубійство. Затруднительная зада-

ча разрѣшена, но разрѣшилъ ее не одинъ Лопуховъ; ему принадлежала главная роль, но эту роль было бы невозможно выдержать до конца, если бы Вѣра Павловна и Кирсановъ не были люди не новаго типа. Чувства, мысли и, слѣдовательно, поступки Лопухова были бы далеко не такъ просты, спокойны, послѣдовательны и человѣчны, если бы онъ не имѣлъ возможности во всякую данную минуту уважать свою жену и своего друга. Если бы Вѣра Павловна не была безукоризненно честна въ отношеніи къ своему мужу, то у Лопухова не было бы постоянного и горячаго желанія купить для нея счастье, какою бы то ни было цѣною. Если бы Лопуховъ не былъ увѣренъ, что его жена полюбила Кирсанова серьезно и прочною любовью, то ему было бы невозможно и съ его стороны было бы неразумительно дѣйствовать съ такою энергіею. Стоить ли въ самомъ дѣлѣ поднимать тревогу ради того, чтобы удовлетворить половому капризу взыбаломной женщины, у которой черезъ недѣлю можетъ явиться новый капризъ? Если бы Кирсановъ не заслуживалъ полного довѣрія, то со стороны Лопухова было бы недѣло и безсовѣстно бросить въ нему на шею свою жену. Если бы вообще эти три человека не были въ состояніи во всякую данную минуту смѣло глядѣть другъ другу въ глаза, довѣрчиво совѣтоваться между собою о своемъ общемъ дѣлѣ и любовно разрѣшать это дѣло общими силами, то между ними непременно появились бы тѣ недоброжелательныя чувства, которыя называются въ обществѣ антипатіею, боязнью, подозрѣніемъ, ревностью, и которыя всё вытекаютъ изъ недостатка довѣрія и уваженія. Поэтому, переложить исторію Лопухова на тѣ нравы, которыми удовлетворяется почти все наше современное общество, нѣтъ никакой возможности. Тотъ рядъ поступковъ, который былъ со стороны Лопухова совершенно логиченъ и необходимъ въ отношеніи къ такимъ людямъ, какъ Вѣра Павловна и Кирсановъ, становится недѣльнымъ и смѣшнымъ, если мы на мѣсто Вѣры Павловны поставимъ пустую барыню съ чувствительнымъ сердцемъ, а на мѣсто Кирсанова столь же пустого вздыхателя съ пламенными страстями. Лопуховъ не сталъ бы поступать недѣло и смѣшно. Онъ вовсе не похожъ на Донъ-Кихота и всегда съумѣетъ понять, что вѣтряная мельница не исполнитъ и что бараны не рыцари. Новые люди только въ отношеніяхъ между собою развертываютъ всё силы своего характера и всё способности своего ума; съ людьми стараго типа они держатся постоянно въ оборонительномъ

положенія, потому что знаютъ, какъ всякій честный поступокъ въ испорченномъ обществѣ перетолковывается, искажается и превращается въ пошлость, ведущую за собою вредныя послѣдствія. Только въ чистой средѣ развертываются чистыя чувства и живыя идеи; давно уже было сказано, что не слѣдуетъ вливать вино новое въ ибхи старыя, и эта мысль такъ же вѣрна теперь, какъ была вѣрна двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ.—Весь образъ дѣйствій Лопухова, начиная отъ его поѣздки къ Кирсанову и кончая его подложнымъ самоубійствомъ, находятъ себѣ блестящее оправданіе въ томъ полномъ и разумномъ счастьи, которое онъ создалъ для Вѣры Павловны и для Кирсанова. Любовь, какъ понижаютъ ее люди новаго типа, стоитъ того, чтобы для ея удовлетворенія опрокидывались всякія препятствія.

«— Вѣрочка, говорятъ Кирсановъ своей женѣ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ свадьбы:—что? хвалиться или не хвалиться мнѣ передъ тобой? Мы—одинъ человѣкъ; но это должно въ самомъ дѣлѣ отражаться и въ глазахъ. Моя мысль стала многа сильнѣе. Когда я дѣлаю выводы изъ наблюденій — общій обзоръ фактовъ, я теперь въ часъ кончаю то, надѣ чѣмъ прежде долженъ былъ думать нѣсколько часовъ. И я могу теперь обнимать мыслью гораздо больше фактовъ, чѣмъ прежде, и выводы у меня выходятъ и шире, и полнѣе. Если бы Вѣрочка, во мнѣ былъ какой нибудь зародышъ гениальности, я съ этимъ чувствомъ сталъ бы великимъ гениемъ. Если бы отъ природы была во мнѣ сила создать что нибудь маленькое новое въ наукѣ, я отъ этого чувства приобрѣлъ бы силу пересоздать науку. Но я родился быть только чернорабочимъ, темнымъ, мелкимъ труженникомъ, который разрабатываетъ мелкіе частные вопросы. Такимъ я и былъ безъ тебя. Теперь ты знаешь, я уже не то: отъ меня начинаютъ ждать больше, думаютъ, что я переработаю цѣлую большую отрасль науки, все ученіе объ отправленияхъ нервной системы. И я чувствую, что исполню это ожиданіе. Въ 24 года у человѣка шире и смѣлѣе новизна взглядовъ, чѣмъ въ 29 лѣтъ (потомъ говорится: въ 30 лѣтъ, въ 32 года и такъ дальше); но тогда у меня не было этого въ такомъ размѣрѣ, какъ теперь. И я чувствую, что я все еще расту, когда безъ тебя я давно бы ужъ пересталъ расти. Да я ужъ и не росъ послѣдніе два-три года передъ тѣмъ, какъ мы стали жить вмѣстѣ. Ты возвратила мнѣ свѣжесть первой молодости, силу идти гораздо дальше того, на чемъ я остановился бы, на

чемъ я ужъ и остановился было безъ тебя. А энергія работы, Вѣрочка, развѣ мало значить? Страстное возбужденіе сидѣть вносится и въ трудъ, когда вся жизнь такъ настроена. Ты знаешь, какъ дѣйствуютъ на энергію умственного труда кофе, стаканъ вина; то, что даютъ они другимъ на часъ, за которыми слѣдуетъ расслабленіе, соразмѣрное этому внѣшнему и мимолетному возбужденію, то ишью я теперь постоянно въ себѣ, — мои нервы сами такъ настроены постоянно, сильно, живо».

Надо стоять на довольно высокой степени развитія не только для того, чтобы испытывать подобное чувство, а даже для того, чтобы понимать его возможность и вѣрить въ его дѣйствительное существованіе. Наша рутинная критика конечно не возвысится до этого пониманія. Обвиняя г. Чернышевскаго въ цинизмъ, она кромѣ того обвиняетъ его въ идеализаціи, и такимъ образомъ, по своей собственной естественной слабости, впадаетъ въ неразрѣшимое противорѣчіе. Если г. Чернышевскій—циникъ, и если цинизмъ ставится ему въ прокъ, то это значитъ, что онъ слишкомъ мрачно смотритъ на жизнь и оскорбляетъ такимъ взглядомъ человѣческое достоинство. Если же онъ повиненъ въ идеализаціи, то, значитъ, онъ слишкомъ свѣтло смотритъ на жизнь и не замѣчаетъ недостатковъ человѣка. Но нельзя же приписывать одному предмету два противоположныя свойства; нельзя же обвинять писателя въ двухъ порокахъ, которые взаимно исключаютъ другъ друга. Что нибудь одно: или циникъ, или идеализаторъ. А если онъ и циникъ, и идеализаторъ, то это значитъ, что онъ ни циникъ, ни идеализаторъ, а просто человѣкъ, глубоко уважающій человѣческую природу и превосходно понимающій неисчерпаемое богатство ея физическихъ и умственныхъ силъ. Когда этотъ человѣкъ говоритъ о томъ, что унижаетъ и искажаетъ человѣческую природу, онъ приходитъ въ негодованіе, и тогда его обвиняютъ въ цинизмъ тѣ люди, которые слишкомъ близоруки и испорчены, чтобы замѣчать униженіе и искаженіе. Когда этотъ человѣкъ говоритъ о тѣхъ рѣдкихъ явленіяхъ, въ которыхъ выражается чистота и сила человѣческой природы, въ его голосѣ слышится радость и надежда, и тогда его обвиняютъ въ идеализаціи тѣ люди, которые, считая грязь за норму, видятъ въ нормальныхъ явленіяхъ созданія праздно-фантазіи. Что можно сказать этимъ обвинителямъ? Имъ можно сказать только, что они слѣпы и потому не понимаютъ ни того, что стоитъ въ уровень съ ними, ни того, что стоитъ выше ихъ.

Въ подтвержденіе моихъ словъ о такъ называемомъ цинизмѣ г. Чернышевскаго, я приведу здѣсь самое рѣзкое мѣсто его романа. «Сторешниковъ (первый женихъ Вѣры Павловны) уже нѣсколько недѣль занимался тѣмъ, что воображалъ себѣ Вѣрочку въ разныхъ позахъ, и хотѣлось ему, чтобы эти картины осуществились. Оказалось, что она не осуществить ихъ въ званіи любовницы—ну, пусть осуществляетъ въ званіи жены; это все равно, главное дѣло не званіе, а позы, то есть обладаніе. О, грязь! о, грязь!—«обладать»—кто смѣетъ обладать человѣкомъ? Обладаютъ халатомъ, туфлями.—Пустяки: почти каждый изъ насъ, мужчинъ, обладаетъ кѣмъ нибудь изъ васъ, наши сестры; опять пустяки: какія вы намъ сестры?—вы наши лакейки! Иныя изъ васъ—многія—господствуютъ надъ нами—это ничего: вѣдь и многіе лакеи властвуютъ надъ своими баррами.» Очень рѣзко, неправда ли? Но развѣ можетъ быть иначе? Человѣкъ, понимающій любовь Кирсанова, можетъ относиться мягко и снисходительно къ любовнымъ грезамъ Сторешникова только въ томъ случаѣ, если онъ допустить предположеніе, что Кирсановъ и Сторешниковъ—животныя различныхъ породъ. А если онъ этого предположенія не допустить, то ему, разумѣется, будетъ обидно и досадно видѣть поруганіе человѣческой святости, которая точно также заключается въ Сторешниковѣ, какъ и въ Кирсановѣ. А если обличители г. Чернышевскаго скажутъ, что Кирсановыхъ совсѣмъ не бываетъ, то мы скажемъ на это: поживемъ, увидимъ. Будущее покажетъ намъ, дѣйствительно ли существуетъ новый типъ, или его выдумали только въ пиву солиднымъ людямъ негодные нигилисты.

VIII.

Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна, являющіеся въ романѣ «Что дѣлать?» главными представителями новаго типа, не дѣлаютъ ничего такого, что превышало бы обыкновенныя человѣческія силы. Они — люди обыкновенные, и такими людьми признаетъ ихъ самъ авторъ; это обстоятельство чрезвычайно важно, и оно придаетъ всему роману особенно глубокое значеніе. Если бы авторъ показавъ намъ героевъ, одаренныхъ отъ природы колоссальными силами, и если бы даже повѣствовательный талантъ его заставилъ

насъ повѣрять въ существованіе такихъ героевъ, то все-таки ихъ мысли, чувства и поступки не имѣли бы общечеловѣческаго интереса, и каждый читатель имѣлъ бы право сказать, что онъ не герой и что ему за рѣдкими исключеніями нечего и гоняться. Человѣческая природа вообще осталась бы по прежнему подъ гнетомъ тѣхъ несправедливыхъ и нечестныхъ обвиненій, которыя набросала на нее вѣковая рутина прошедшаго, побѣдоносно отстаивающая свое существованіе и доказывающая свою законность въ настоящемъ. Конечно, этотъ гнетъ обвиненій и предразсудковъ не снять съ человѣческой природы романомъ г. Чернышевскаго; никакое литературное произведеніе, какъ бы оно ни было глубоко задумано, не можетъ выполнить такую задачу, которой разрѣшеніе связано съ радикальнымъ измѣненіемъ всѣхъ основныхъ условій жизни; но чрезвычайно важно уже то, что романъ «Что дѣлать?» является въ этомъ отношеніи блестящею попыткой; этимъ романомъ г. Чернышевскій говоритъ всѣмъ самодовольнымъ филистерамъ, что они клеветаютъ на человѣческую природу, что они свою искусственную забитость и ограниченность принимаютъ за нормальное явленіе, освященное естественными законами, что они ставятъ чрезвычайно низкій уровень своихъ умственныхъ и нравственныхъ требованій, что они своимъ тупымъ или корыстнымъ самодовольствомъ наносятъ всему человѣчеству значительный вредъ и тяжелое оскорбленіе. Указывая на Лопухова, Кирсанова и Вѣру Павловну, г. Чернышевскій говоритъ всѣмъ своимъ читателямъ: вотъ какими могутъ быть обыкновенные люди, и такими они должны быть, если хотятъ найти въ жизни много счастья и наслажденія. Этимъ смысломъ пронянуть весь его романъ, и доказательства, которыми онъ подтверждаетъ эту главную мысль, такъ неотразимо убѣдительно, что непременно должны подѣйствовать на ту часть публики, которая вообще способна выслушивать и понимать какія нибудь доказательства. «Будущее, говоритъ г. Чернышевскій, свѣтло и прекрасно. Любите его, стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее, сколько можете перенести: на столько будетъ свѣтла и добра, богата радостью и наслажденіемъ ваша жизнь, на сколько вы умѣете перенести въ нее изъ будущаго. Стремитесь къ нему, работайте для него, приближайте его, переносите изъ него въ настоящее все, что можете перенести». Это свѣтлое будущее, въ которое такъ горячо вѣрятъ лучшіе люди, придетъ не для однихъ геро-

евъ, не для тѣхъ только исключительныхъ натуръ, которыя одарены колоссальными силами; это будущее сдѣлается настоящимъ именно тогда, когда всѣ обыкновенные люди, дѣйствительно почувствуютъ себя людьми и дѣйствительно начнутъ уважать свое человеческое достоинство. Кто старается пробудить уваженіе обыкновенныхъ людей къ ихъ природѣ, возвысить уровень ихъ требованій, возбудить въ нихъ довѣріе къ собственнымъ силамъ и внушить имъ надежду на успѣхъ, тотъ посвящаетъ свои силы великому и прекрасному дѣлу разумной любви; въ такой дѣятельности выражается живое стремленіе къ будущему, потому что свѣтлое будущее можетъ быть достигнуто только тогда, когда много единичныхъ силъ будетъ потрачено на такую дѣятельность. Романъ г. Чернышевскаго дѣйствуетъ именно въ этомъ направленіи, между тѣмъ какъ вся остальная масса нашей беллетристики сама ходитъ ошунью и не дѣйствуетъ ни въ какомъ направленіи.

Желая убѣдительно доказать своимъ читателямъ, что Лопуховъ, Кирсановъ и Вѣра Павловна дѣйствительно люди обыкновенные, г. Чернышевскій выводитъ на сцену титаническую фигуру Рахметова, котораго онъ самъ признаетъ необыкновеннымъ и называетъ «особеннымъ человекомъ». Рахметовъ въ дѣйствіи романа не участвуетъ, да ему въ немъ нечего и дѣлать; такіе люди, какъ Рахметовъ, только тогда и тамъ бываютъ въ своей сферѣ и на своемъ мѣстѣ, когда и гдѣ они могутъ быть историческими дѣятелями; для нихъ тѣсна и мела самая богатая индивидуальная жизнь; ихъ не удовлетворяетъ ни наука, ни семейное счастье; они любятъ всѣхъ людей, страдаютъ отъ каждой совершающейся несправедливости, переживаютъ въ собственной душѣ великое горе миллионъ и отдаютъ на исцѣленіе этого горя все, что могутъ отдать. При извѣстныхъ условіяхъ развитія эти люди обращаются въ миссіонеровъ и отправляются проповѣдывать Евангеліе дикарямъ различныхъ частей свѣта. При другихъ условіяхъ они успѣваютъ убѣдиться, что въ образованнѣйшихъ странахъ Европы есть такіе дикари, которые глубиною своего невѣжества и тягостью своихъ страданій далеко превосходятъ готтентотовъ или папуасовъ. Тогда они остаются на родинѣ и работаютъ надъ тѣмъ, что ихъ окружаетъ. Какъ они работаютъ и что выходитъ изъ ихъ работъ—это объяснить довольно трудно, потому что работы ихъ начались очень недавно, всего лѣтъ пятьдесятъ или семьдесятъ тому назадъ, и потому что окончательный результатъ этихъ работъ, передающихся отъ одного поколѣнія дѣятелей къ другому, лежитъ

еще далеко впереди. Видя, что настоящее дурно, стараются, чтобы будущее было лучше, и прилагают къ дѣлу тѣ средства, которыя находятся подъ руками. Ихъ не понимаютъ, имъ мѣшаютъ дѣлать добро, и отъ этого ихъ мирная работа принимаетъ совершенно несвойственный ей характеръ ожесточенія и борьбы. Имъ чаще всего приходится брать въ руки шдольную указку и объяснять взрослымъ дѣтямъ и цивилизованнымъ дикарямъ азбуку правильного пониманія самыхъ простыхъ вещей. Эти люди, способные по уму и характеру обдумывать и разрѣшать на практикѣ самыя сложныя задачи современной исторіи, обыкновенно бываютъ припуждены возиться съ самою мелкою черною работою въ теченіе всей своей жизни, и они не отворачиваются отъ черной работы, потому что главная потребность всего ихъ существа состоитъ въ томъ, чтобы дѣлать что нибудь для облегченія человѣческаго горя. Нельзя сдѣлать все, такъ они будутъ дѣлать, что можно. На свое мѣсто, на которомъ они могли бы развернуть все свои способности, эти люди попадаютъ чрезвычайно рѣдко, и всегда явными-нибудь эксцентрическими путями. Правильной карьеры эти люди не сдѣлали себѣ съ самаго сотворенія міра. Природа всегда отказываетъ имъ въ канцелярской смѣтливости и во всякихъ другихъ служебныхъ дарованіяхъ. Поэтому какой нибудь Робертъ Пиль могъ быть первымъ министромъ Англіи и прослыть благодѣтелемъ своего народа, а другой Робертъ, только не Пиль, а Оуэнъ, долженъ былъ непременно во время всей своей жизни терпѣть притѣсненія отъ тупыхъ мѣщанъ, а подъ старость прослыть помѣшаннымъ. Поэтому графъ Кавуръ могъ считаться ангеломъ-хранителемъ Італіи и возбудить своею смертію нескончаемые вопли въ европейскихъ журналахъ, поющихъ на голосъ Times'a, а Іосифъ Гарибальди непременно долженъ былъ получать сначала рану при Аспромонте, а потомъ вслѣдъ за раню амнистію, которая была бы обиднѣе всякой раны, если бы прежде всего не была смѣшна до послѣдней степени. Гарибальди и Оуэнъ все-таки выдвинулись изъ неизвестности, и дѣятельность ихъ получила себѣ широкій просторъ; но первый изъ нихъ могъ выдвинуться потому, что для Італіи наступило время политическаго обновленія, а второй потому, что Англія при всѣхъ недостаткахъ своего общественнаго устройства обезпечиваетъ за своими гражданами значительную свободу дѣйствій. На одного выдвинувшася Оуэна или Гарибальди приходится, навѣрное, по нѣскольку необыч-

новенныхъ людей, которымъ на всю жизнь суждено оставаться полезными чернорабочими въ дѣлѣ служенія человѣчеству. Къ числу этихъ необыкновенныхъ людей, обреченныхъ на неизвѣстность, относится Рахметовъ. Въ то время, когда г. Чернышевскій вводитъ его на короткое время въ свой романъ, ему 22 года. Онъ — потомокъ стариннаго рода и сынъ богатаго помѣщика. Рахметовъ съ 16 лѣтъ былъ студентомъ и на половинѣ 17-го года проникнулся тѣми идеями, которыя дали опредѣленное направленіе всѣмъ богатымъ силамъ его молодой и любящей природы. Кирсановъ, познакомившись съ нимъ, отвѣчалъ на его тревожные вопросы и указалъ ему на нѣкоторыя книги. «Жадно слушалъ онъ Кирсанова въ первый вечеръ, плакалъ, прерывалъ его слова восклицаніями проклятій тому, что должно погибнуть, благословеній тому, что должно жить. Потомъ началъ читать и читалъ, не отрываясь отъ книги, съ 11 часовъ утра четверга до 9 часовъ вечера воскресенія; первыя двѣ ночи не спалъ такъ, на третью выпилъ восемь стакановъ крѣпчайшаго кофе, до четвертой ночи не хватило силъ ни съ какимъ кофе, онъ повалился и проспалъ на полу часовъ 15.» Черезъ годъ послѣ этого онъ оставилъ университетъ, «поѣхалъ въ помѣстье, распорядился, побѣдивъ сопротивленіе опекуна, заслуживъ анафему отъ братьевъ и достигнувъ того, что мужья запретили его сестрамъ произносить его имя, потомъ скитался по Россіи разными манерами, и сухимъ путемъ, и водою, и вѣшкомъ, и на расшивахъ, и на носныхъ лодкахъ». Съ земли, оставшейся у него послѣ распорядженія по иждивенію, онъ получалъ 3,000 рублей дохода, но себѣ изъ этихъ денегъ бралъ только 400 рублей, а на остальные содержалъ семь человѣкъ стипендіатовъ, двоихъ въ казанскомъ университетѣ и пятерыхъ въ московскомъ. На половинѣ 17 года Рахметовъ началъ развивать въ себѣ физическую силу, занимаясь гимнастикой, возилъ воду, таскалъ дрова, рубилъ дрова, пилилъ лѣсъ, тесалъ камни, копалъ землю, ковалъ желѣзо, и при этомъ кормилъ себя почти исключительно полусырою говядиною. Наконецъ, въ время странствованій своихъ по Россіи, онъ прошелъ бурлакомъ всю Волгу, отъ Дубовки до Рыбинска, и за свою непомѣрную силу получалъ отъ своихъ товарищей по лямкѣ прозвище Никитушки Ломова, по имени одного силача, ходившаго по Волгѣ лѣтъ 20 тому назадъ и пользовавшагося между пародамъ значительною извѣстностью. Свою приобрѣтенную силу Рахметовъ поддерживалъ, не щадя

ни труда, ни времени; «такъ нужно, говорили:—это дастъ уваженіе и любовь простымъ людей. Это полезно, можетъ пригодиться.» Во всемъ своемъ образѣ жизни Рахметовъ соблюдалъ крайнюю умеренность. «По цѣлымъ недѣлямъ у него не бывало во рту куска сахару, по цѣлымъ мѣсяцамъ—никакого фрукта, ни куска телятины или пулярки.» Обѣдая въ гостяхъ, онъ съ удовольствіемъ ѣлъ нѣкоторыя блюда, которыхъ не позволялъ себѣ ѣсть дома, но были такія кушанья, отъ которыхъ онъ навсегда отказался. «Причина различія была основательная: «то, что ѣсть, хотя по временамъ, простой народъ, и я могу ѣсть при случаѣ. Того, что никогда не доступно простымъ людямъ, и я не долженъ ѣсть. Это нужно мнѣ для того, чтобы хотя нѣсколько чувствовать, на сколько стѣснена ихъ жизнь сравнительно съ моею.»—«Онъ сказалъ себѣ: я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь къ женщинамъ», и объяснялъ слѣдующимъ образомъ причину этого отреченія: «такъ нужно. Мы требуемъ для людей полного наслажденія жизнью, мы должны своею жизнью свидѣтельствовать, что мы требуемъ этого не для удовлетворенія своимъ личнымъ страстямъ, не для себя лично, а для человѣка вообще, что мы говоримъ только по принципу, а не по пристрастію, по убѣжденію, а не по личной надобности.» Это разсужденіе Рахметова въ логическомъ отношеніи нигуда не годится. Если я доказываю, что людямъ необходимо полное наслажденіе жизнью, то мнѣ нѣтъ никакой надобности подрывать свои доказательства примѣромъ собственной жизни. Принимать самого себя за исключеніе и ставить себя выше человѣческихъ потребностей и внѣобщихъ фізіологическихъ законовъ во всякомъ случаѣ нерационально. Проповѣдуя противъ монашества, монахъ Лютеръ самъ женился на монашенкѣ, и его личный примѣръ былъ самымъ убѣдительнымъ подтвержденіемъ его проповѣди. Вообще жизнь и ученіе человѣка должны всегда находиться въ возможно полномъ согласіи; аскетъ, проповѣдующій наслажденіе жизнью, въ своемъ родѣ явленіе такое же нелѣпое и безобразное, какимъ были средневѣковые папы, которые, пьянствуя, роскошничая и развратничая, проповѣдывали постъ, нищету и истязаніе. Людямъ мѣшаютъ наслаждаться или собственные ихъ предразсудки, или внѣшнія обстоятельства. Чтобы побѣждать предразсудки, надо дѣйствовать убѣжденіемъ и примѣромъ, стало быть для борьбы съ предразсудками личный аскетизмъ Рахметова можетъ быть только вреднымъ.

Внѣшнимъ же обстоятельствамъ, очевидно, нѣтъ никакого дѣла до личныхъ страстей или до принциповъ Рахметова; было бы наивно думать, что внѣшнія обстоятельства пронинутся уваженіемъ къ личному безкорыстію проповѣдника и, убѣдившись въ собственной непригодности, стыдливо отойдутъ въ сторону. Внѣшнія обстоятельства, какъ слѣпыя стихійныя силы, не поддаются ни на какія убѣжденія, какъ бы ни была высока и чиста личность убѣждающаго мыслителя. Впрочемъ самый фактъ Рахметовскаго аскетизма нисколько не представляется мнѣ невозможнымъ или сомнительнымъ. Бываютъ натуры, въ которыхъ любовь къ людямъ, сохраняя всю пылкость чувства, принимаетъ непреклонность догмата, управляющаго всѣми мыслями и поступками человѣка. Чѣмъ меньше силы такого человѣка могутъ быть приложены къ внѣшней плодотворной дѣятельности, тѣмъ больше эти силы обращаются внутрь, на самаго дѣятеля, котораго они тиранятъ безъ малѣйшей пощады и безъ всякой пользы. У дѣятеля сердце обливается кровью отъ того, что онъ почти ничего не можетъ сдѣлать для облегченія общихъ страданій, и онъ на самаго себя изливаетъ свою законную досаду. «А, говоритъ онъ себѣ, ты не можешь имъ помочь, не можешь? такъ вотъ же тебѣ! не помогаешь другимъ, такъ страдай же самъ вмѣстѣ съ ними, страдай больше ихъ!» И дѣйствительно, наваливаетъ онъ на себя груду ненужныхъ тягостей и стѣсненій. Рахметовъ отказывается отъ какого нибудь кушанья, чтобы чувствовать, насколько жизнь простыхъ людей стѣснена сравнительно съ его жизнью. Ну кто-жъ этому повѣритъ? Какой человѣкъ, знающій Рахметова, можетъ подумать, что Рахметовъ когда нибудь, во снѣ или на яву, забываетъ о нуждахъ и стѣсненіяхъ простыхъ людей? А если онъ ихъ никогда не забываетъ, то зачѣмъ же ему напоминать себѣ о нихъ ненужными лишеніями? Причина одна—общая такимъ натурамъ потребность взимать на себя грѣхи міра, бичевать и распинать себя за всѣ людскія глупости и подлости. Объяснить эту потребность я не умѣю, потому что ее испытываютъ и понимаютъ только исключительныя натуры; но сомнѣваться въ дѣйствительномъ существованіи этой потребности значило бы отрицать множество достовѣрнѣйшихъ историческихъ явленій. Въ общемъ движеніи событій бываютъ также минуты, когда люди, подобныя Рахметову, необходимы и незамѣнимы; минуты эти случаются рѣдко, и проходятъ быстро, такъ что ихъ надо ловить на лету, и ими надо пользоваться, какъ можно пол-

нѣе. Я говорю о тѣхъ минутахъ, когда массы, понявъ или, покра-ней мѣрѣ, полюбивъ какую нибудь идею, воодушевляются ею до самозабвенія, и за нее бываютъ готовы идти въ огонь и въ воду; эти минуты рѣдки, потому что массы вообще понимаютъ туго и самыми ясными идеями проясняются чрезвычайно медленно; эти минуты коротки, потому что энтузіазмъ вообще испаряется скоро, какъ у отдѣльныхъ людей, такъ и у цѣлыхъ народовъ; только въ эти минуты массы способны сдѣлать что нибудь умное и хорошее; поэтому такими минутами надо пользоваться. Тѣ Рахметовы, которымъ удастся увидеть на своемъ вѣку такую минуту, развертываютъ при этомъ случаѣ всю сумму своихъ колоссальныхъ силъ; они несутъ впередъ знамя своей эпохи, и уже конечно никто не можетъ поднять это знамя такъ высоко и нести его такъ долго и такъ мужественно, такъ смѣло и такъ неутомимо, какъ тѣ люди, для которыхъ девизъ этого знамени давно замѣнилъ собою и родныхъ, и друзей, и всѣ личныя привязанности, и всѣ личныя радости человѣческой жизни. Въ эти минуты Рахметовы выпрямляются во весь ростъ, и этотъ колоссальный ростъ какъ разъ соотвѣтствуетъ величію событій; если бы въ эти минуты могли выступить изъ толпы десятки новыхъ Рахметовыхъ, то всѣ они нашли бы себѣ работу по силамъ; но ихъ вообще мало, и по недостатку въ такихъ людяхъ всѣ великія минуты въ исторіи человѣчества до сихъ поръ обманывали общія ожиданія, приводили за собою горькое разочарованіе и смѣнялись вѣковою апатіею. Въ обыкновенное время, когда господствуетъ невозмутимая рутинѣ, когда тянутся скучные и томительно длинныя историческіе антракты, силамъ Рахметовыхъ нѣтъ приложения; эти силы давятъ и гнетутъ своихъ обладателей, и тѣ мелкія дѣла, къ которымъ онѣ прикладываются, только разжигаютъ въ этихъ людяхъ стремленіе къ полезной дѣятельности, не доставляя этому страстному стремленію ни малѣйшаго удовлетворенія. Вотъ чѣмъ занимается нашъ Рахметовъ: «гимнастика, работа для упражненія силы, чтеніе—были личными занятіями Рахметова; но по его возвращеніи въ Петербургъ они брали у него только четвертую долю его времени; остальное время онъ занимался чужими дѣлами или ничьими въ особенности, постоянно соблюдая тоже правило, какъ и въ чтеніи: не тратить времени надъ второстепенными дѣлами и съ второстепенными людьми, заниматься только капитальными, отъ которыхъ уже и безъ него измѣнятся второстепенныя дѣла и

руководимые люди.» Эта дѣтельность была, можетъ быть, очень обширна и важна по своимъ результатамъ, но что она не удовлетворяла Рахметова, это всего убѣдительнѣе доказывается всей его системой ригоризма, которая придумана безъ малѣйшей необходимости. Отдѣльные случаи, въ которыхъ проявляется его ригоризмъ, могли бы быть устранены безъ малѣйшаго ущерба для его любимаго дѣла. Онъ встрѣчается съ молодою вдовою, которая влюбляется въ него; онъ также чувствуетъ къ ней симпатію. Между ними происходитъ объясненіе, вызванное ею, въ которомъ онъ говоритъ: «я былъ съ вами откровеннѣе, чѣмъ съ другими; вы видите, что такіе люди, какъ я, не имѣютъ права связывать чью нибудь судьбу съ своею.»—Да, это правда, сказала она, вы не можете жениться. Но пока вамъ придется бросить меня, до тѣхъ поръ любите меня. — «Нѣтъ, этого я не могу принять, сказалъ онъ: — я долженъ подавить въ себѣ любовь; любовь къ вамъ связывала бы мнѣ руки, онъ и такъ не скоро развяжутся у меня—ужь связаны. Но развяжу. Я не долженъ любить». Это уже ни съ чѣмъ несообразно или, вѣрнѣе, сообразно только съ непреодолимою потребностью самобичеванія. Такіе историческіе дѣтели, которые каждый день рисковали головою, не отказывали себѣ въ любви и не находили, чтобы любовь въ какомъ нибудь отношеніи связывала имъ руки. Даже тѣ люди, которыхъ нашъ русскій Тацитъ, Страбонъ, давно заклеилъ заслуженнымъ названіемъ чудовищъ и злодѣевъ, даже они (по свойственному мнѣ цѣломудрію, я не называю ихъ по имени), даже они были люди женатые, или, еще того лучше—имѣли невѣсты и мечтали объ идилліяхъ, которыми конечно никогда не суждено было осуществиться. И руки у нихъ—ничего, не были связаны. Потребность обижать себя доходить у Рахметова до того, что онъ буквально тиранитъ свое тѣло, подъ тѣмъ предлогомъ, что ему надо испытать, какъ велика его способность переносить физическую боль. «Спина и бока всего бѣлья Рахметова (онъ былъ въ одномъ бѣльѣ) были облиты кровью; подъ кроватью была кровь; войлокъ, на которомъ онъ спалъ, также въ крови; въ войлокѣ были натыканы сотни мелкихъ гвоздей шляпками съ исподу, остріями вверхъ; они высовывались изъ войлока чуть не на полвершка; Рахметовъ лежалъ на нихъ всю ночь. — Что это такое, помидуйте, Рахметовъ? съ ужасомъ проговорилъ Кирсановъ. «Проба. Нужно. Неправдоподобно, конечно; однако же на всякой случай нужно.

Вижу, могу.» Ну, а если бы онъ увидѣлъ, что не можетъ, развѣ онъ переимѣнилъ бы чтонибудь въ своемъ образѣ жизни и въ своей дѣятельности? Разумѣется, нѣтъ. Скорѣе умеръ бы, чѣмъ переимѣнилъ. Стало быть, какая же это проба? Очевидно, что всѣ подобныя выдумки происходятъ отъ избытка силъ, ненаходящихъ себѣ достаточно широкаго и полезнаго приложенія.

Попытку г. Чернышевскаго представить читателямъ «особеннаго человѣка» можно назвать очень удачною. До него брался за это дѣло одинъ Тургеневъ, но и то совершенно безуспѣшно. Тургеневъ хотѣлъ изъ Инсарова сдѣлать человѣка, страстно преданнаго великой идеи; но Инсаровъ, какъ извѣстно, остался какою то блѣдною выдумкою. Инсаровъ является героемъ романа; Рахметовъ даже не можетъ быть названъ дѣйствующимъ лицомъ, и, не смотря на то, Инсаровъ остается для насъ совершенно неосязательнымъ, между тѣмъ какъ Рахметовъ совершенно понятенъ даже по тѣмъ немногимъ выпискамъ, которыя приведены въ моей статьѣ. Правда, мы не видимъ, что именно дѣлаетъ Рахметовъ, какъ не видѣли того, что дѣлаетъ Инсаровъ, но зато мы вполне понимаемъ, что за человѣкъ Рахметовъ, а, разсматривая Инсарова, мы только до нѣкоторой степени можемъ догадываться о томъ, каковы были намеренія и желанія автора. Я говорю это совсѣмъ не съ тою цѣлью, чтобы сравнивать г. Тургенева съ г. Чернышевскимъ и отдавать преимущество тому или другому изъ нихъ. Я хочу выразить только ту мысль, что никакой художественный талантъ не можетъ пополнить недостатка матеріаловъ; г. Тургеневъ не видалъ въ нашей жизни ни одного живаго явленія, соответствующаго тѣмъ идеямъ, изъ которыхъ построена фигура Инсарова; г. Чернышевскій видѣлъ, напротивъ того, много такихъ явленій, которыя очень вразумительно говорятъ о существованіи новаго типа и о дѣятельности особенныхъ людей, подобныхъ Рахметову. Если бы этихъ явленій не было, то фигура Рахметова была бы также блѣдна, какъ фигура Инсарова. А если эти явленія дѣйствительно существуютъ, то, можетъ быть, свѣтлое будущее совсѣмъ не такъ неизмѣримо далеко отъ насъ, какъ мы привыкли думать. Гдѣ появляются Рахметовы, тамъ они разливаютъ вокругъ себя свѣтлыя идеи и пробуждаютъ живыя надежды.

Д. Инсаровъ.

О КАПИТАЛѢ.

(по поводу милля).

Капиталь — лихонство.
Всѣ экономисты.

IV.

«Работой создаются всѣ богатства», говорятъ экономисты и, по завѣту Мальтуса, своего учителя, постоянно доказываютъ, что рабочее населеніе осуждено *природой* на нищету и голодную смерть.

«Хорошо бываетъ, восклицаетъ Милль, когда имѣешь возможность сослаться на книги, въ которыхъ предметъ, требующій разъясненія, изложенъ съ большою полнотою. По вопросу о населеніи эту полезную услугу оказываетъ *знаменитая* книга Мальтуса» (Т. I, стр. 208).

Въ 1803 году экономистъ Мальтусъ, пасторъ англиканской церкви, пришелъ къ тому убѣжденію, что «въ принципѣ населенія кроется главная причина нищеты и бѣдствій низшаго класса и бесплодности усилій высшаго сословія облегчить его участь». Дѣло въ томъ; утверждалъ Мальтусъ, что населеніе каждой страны, не встрѣчая препятствій своему размноженію, возрастаетъ такъ быстро, что должно непремѣнно вымирать отъ нищеты и голода, вслѣдствіе недостатка средствъ пропитанія.

Эту зловѣщую выдумку Мальтусъ выразилъ двумя математическими формулами:

1) Населеніе стремится размножаться въ *геометрической* прогрессіи — 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128,...

2) Средства пропитанія увеличиваются гораздо медленнее и только въ прогрессіи *арифметической*— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,...

На основаніи этихъ страшныхъ формулъ, Мальтусъ объявлялъ, что бѣдному и многочисленному классу рабочихъ приходится или перестать размножаться, воздерживаясь отъ брачной жизни, или же умирать съ голоду, не ожидая и не требуя помощи отъ сытыхъ и богатыхъ. «Бѣднякъ не имѣетъ права, говоритъ Мальтусъ, даже на кусокъ хлѣба, если семейство не въ состояніи его прокормить или общество не нуждается въ его работѣ. Такой человекъ значить лишній на землѣ. Сама природа велитъ ему исчезнуть, и это приказаніе она не замедлитъ привести въ исполненіе.»

Мальтусъ, примѣрный гражданинъ Великобританіи, ученый и добрый пастырь церкви, всю жизнь свою проповѣдывалъ воздержаніе отъ брака, былъ самъ женатъ, имѣлъ одиннадцать дочерей и умеръ со славой въ концѣ 1834 года. «Благодарное потомство, говорятъ экономисты, должно оцѣнить заслуги этого друга человечества и воздвигнуть ему памятникъ». Вѣчная память знаменитому Мальтусу! Онъ обратилъ политическую экономію въ ученіе о нищетѣ и смерти рабочаго народа. Онъ же завѣщалъ экономистамъ проповѣдывать это ученіе, безъ страха и совѣсти, для успокоенія тунеядцевъ и лихоимцевъ. Такъ образовалась въ Европѣ секта экономистовъ-мальтузіанцевъ, которые стоятъ въ рядахъ реакціонеровъ и отъявленныхъ враговъ рабочаго народа. Въ обществѣ дармоедовъ и барышниковъ они слывятся либералами, потому что защищаютъ «право на лихоимство» и съ негодованіемъ отрицаютъ «право на работу», безъ котораго страшно существовать бѣдному рабочему.

«Всякою выгодною переменною въ своихъ обстоятельствахъ, говоритъ Милль, рабочіе обыкновенно пользуются для того, чтобы размножаться и лишать слѣдующее поколѣніе этой выгоды».

«Государство, продолжаетъ онъ, могло бы обезпечить работу съ хорошею платою всѣмъ, уже родившимся на свѣтъ. Но если оно сдѣлаетъ это, то, для самосохраненія и по требованію всѣхъ цѣлей, для которыхъ существуетъ правительство, должно принять мѣры, чтобы не родился ни одинъ человекъ безъ его согласія. — Необходимо будутъ ограниченія права вступать въ бракъ, ограниченія строгія, существующія въ нѣкоторыхъ нѣмецкихъ государствахъ, или *строгая наказанія* людямъ, которые рождаютъ дѣтей, не будучи въ состояніи содержать ихъ. Общество можетъ кормить нуждающихся,

если оно беретъ подъ свой контроль ихъ размноженіе, или можетъ оставить его на произволь пуждающихся, оставляя ихъ самихъ безъ помощи. Но оно не можетъ безнаказанно принять на себя прокормленіе бѣдныхъ, оставляя имъ свободу размножаться.

«Давать вспоможеніе народу подъ именемъ благотворительности или *работы*, значитъ расточать средства, не достигая цѣли, если народъ вмѣстѣ съ этимъ не воздерживается отъ размноженія... Какое бы благостояніе вы ни дали людямъ, они и дѣти ихъ не поймутъ, что воздержность должна служить истиннымъ средствомъ поддержать это благостояніе: они будутъ только требовать съ ожесточеніемъ, чтобы вы продолжали обезпечивать судьбу ихъ и всего потомства, какое могутъ они имѣть.—Неудивительно поэтому, что Мальтусъ и его послѣдователи возставали противъ вспоможенія бѣднымъ» (Милль. О распредѣленіи богатствъ, кн. II, гл. XII).

Вотъ проповѣдь экономиста, проповѣдь о невоздержности рабочаго народа, нищаго, голодающаго народа, который виноватъ въ томъ, что не предается разврату, мастурбаціи или педерастіи, а размножается почеловѣчески! Народъ слѣдуетъ морить голодомъ или строго наказывать за невоздержаніе отъ брачной жизни и за размноженіе рабочихъ, способныхъ и желающихъ работать! Какъ же, послѣ этого, слѣдуетъ поступать съ тѣми тунеядными существами, которые плодятъ наслѣдниковъ, нравственно-уродливыхъ, прожорливыхъ и способныхъ только бездѣльничать, развратничать и бѣсноваться отъ жиру? Какъ поступать, наконецъ, съ лихоимцами, которые избѣгаютъ работы и не воздерживаются отъ посягательства на чужой карманъ? Положимъ, что всякая невоздержность вредна и должна возбуждать сожалѣніе, омерзѣніе или негодованіе. Положимъ, что Милль правъ, когда совѣтуетъ смотрѣть на бѣднаго работника, родившаго много дѣтей, какъ на горькаго пьяницу. Положимъ, что работникамъ надо отказывать даже въ работѣ, если они хотятъ вести брачную жизнь, не соглашаясь быть скопцами или онанистами. Говоря короче, положимъ, что всѣ нелѣпости и гадости, которыя сочиняютъ экономисты изъ ненависти къ рабочему народу, слѣдуетъ считать великими истинами. Что же оказывается? Такъ или иначе, а приходится укорять за невоздержность не однихъ рабочихъ, но и дармоедовъ и лихоимцевъ. Какъ Милль рассуждалъ о пагубной привычкѣ рабочаго народа размножать бѣдняковъ, желающихъ работать, такъ приходится рассуждать и о позорной страсти

тунеядцевъ наживаться безъ труда и нарождать уродовъ, заѣдающихъ чужой хлѣбъ. И такъ, ссылаясь на разсужденіе Милля о невоздержности рабочихъ, я долженъ высказать другое, обратное мнѣніе, болѣе разумное и правдивое, о невоздержаніи лихонимцевъ отъ веровства-кражи.

Когда Милль увѣряетъ, что всякое улучшеніе быта рабочихъ только поощряетъ ихъ на невоздержность въ дѣторожденіи, онъ забываетъ прибавить, что горькое положеніе бѣдняковъ вовсе не удерживаетъ дармоѣдовъ отъ корыстолюбія и страсти наживаться безъ труда. Чѣмъ болѣе развивается тунеядство и лихонимство, тѣмъ сильнѣе свирѣпствуетъ нищета въ рабочемъ народѣ и тѣмъ становится труднѣе облегчить его жалкую участь. Какъ бы успѣшно ни работало возрастающее населеніе, оно не въ состояніи избавиться отъ нищеты, если классъ тунеядцевъ, размножаясь постоянно, пожираетъ вдесятеро болѣе того, сколько нужно для пропитанія такого же числа рабочихъ. Трудиться за другихъ и для другихъ, значить осуждать себя на каторгу и преждевременную смерть отъ истощенія силъ. Лучше, въ самомъ дѣлѣ, не родиться на свѣтъ бѣдному работнику, если ему приходится работать для самоубійства.

Неправду говорить Милль, утверждая, что государство можетъ обезпечить работу и хорошую плату всѣмъ рабочимъ, если они перестанутъ самовольно размножаться. Нѣтъ, обезпечить и оплатить трудъ рабочаго народа возможно только въ такомъ случаѣ, когда прекратится размноженіе тунеядцевъ, и каждое семейство будетъ расходовать не болѣе того, что заработало. Основной вопросъ общественной экономіи заключается въ томъ, чтобы уровнять запросъ и предложеніе труда, то есть поставить членовъ общества въ такія взаимныя отношенія, чтобы они нуждались другъ въ другѣ и поддерживали свое существованіе полезной и производительной работой. Для разрѣшенія этой задачи вовсе не слѣдуетъ уменьшать населеніе рабочихъ, какъ думаетъ Милль, а, напротивъ того, надо сокращать число неработающихъ, которые живутъ чужимъ трудомъ. «Все, что производится—потребляется,» говорятъ экономисты. Но кто, спрашивается, долженъ потребить производимое? Разумѣется тотъ, кто самъ участвовалъ въ производствѣ, то есть работникъ. На этомъ основаніи каждый непроеводительный потребитель расхищаетъ чужое добро и лишаетъ работника возможности пользоваться плодами своего труда. Люди трудятся не для препровожденія времени, а съ

цѣлью удовлетворять своимъ потребностямъ и желаніямъ; поэтому если рабочій народъ все производитъ и почти ничѣмъ не пользуется, то зачѣмъ же, спрашивается, онъ работаетъ? Неужели изъ состраданія къ дармоѣдамъ, которые обрекли себя на бездѣйствіе и воздержаніе отъ труда, какъ отъ порока или преступленія? «Кто не работаетъ, тотъ не долженъ ѣсть,» сказалъ ап. Павелъ. Кто бѣденъ, тотъ не смѣетъ ѣсть, если женится, увѣряютъ ученики Мальтуса и доказываютъ, что государственная власть должна запрещать бѣднякамъ вступать въ бракъ. Если бы экономисты были послѣдовательны, то сказали бы прямо, что народу слѣдуетъ воздерживаться отъ пищи: такое воздержаніе гораздо дѣйствительнѣе противъ размноженія населенія, чѣмъ отреченіе отъ брачной жизни. «Государство, говоритъ Милль, должно принять мѣры, чтобы не родился ни одинъ человекъ (разумеется—бѣдный) безъ его согласія. Оно должно ограничить право вступать въ бракъ или строго наказывать людей, которые рожаютъ дѣтей, не будучи въ состояніи содержать ихъ.» Нѣтъ, если государство можетъ и способно воздавать каждому гражданину по дѣламъ его, то оно обязано принять мѣры не противъ женатыхъ бѣдняковъ, а противъ тѣхъ негодяевъ, которые не хотятъ работать и занимаются только лихоимствомъ. Если карать, то карать не рабочихъ, а бездѣльниковъ. «Общество, продолжаетъ Милль, можетъ кормить бѣдныхъ, если беретъ подъ свой контроль ихъ размноженіе, или позволять имъ произвольно нарождаться, оставляя ихъ безъ помощи.» Нѣтъ, общество можетъ обезпечить рабочихъ отъ нищеты, если возьметъ подъ свой контроль не размноженіе бѣдныхъ, а промышленность, торговлю, финансы и все распредѣленіе богатствъ, которое основано на обманѣ и насиліи лихоимствующихъ. «Предметомъ сожалѣнія, предметомъ заботы объ исправленіи должно быть то, что богатство *распредѣляется съ изумительною неравномѣрностью*, и большая часть достается на долю людямъ, которые не возвращаютъ за нее равномѣрныхъ услугъ обществу.» Такъ рассуждаетъ Милль на стр. 68, а затѣмъ, на 235 стр. той же книги утверждаетъ, что «несправедливое распредѣленіе богатства не порождаетъ и даже не увеличиваетъ страданій народа!» Какъ назвать такое противорѣчіе?

Теорія населенія, вымышленная Мальтусомъ, такъ понравилась буржуазнымъ экономистамъ, что они рѣшительно отказались отъ здраваго смысла и потому постоянно впадаютъ въ отчаянное противо-

рѣшіе. Образцомъ эиономической безсмыслицы можетъ служить сочиненіе Милля о политической экономіи, которое буду я долго еще разбирать для поученія пасквильнаго писави «Современника», сбивающаго съ толку свою публику...

«Напрасно говорить, восклицаетъ Милль, что съ каждыиъ желудкомъ рождаются и руки. Новые желудки требуютъ столько же пищи, какъ и прежніе, а руки производятъ меньше (?). — Если бы населеніе продолжало возрастать въ своей пропорціи, то скоро пришло бы время, когда никто не имѣлъ бы ничего, кромѣ предметовъ первой необходимости, а вслѣдъ затѣмъ скоро наступила бы пора, когда никто не имѣлъ бы и этихъ предметовъ въ достаточномъ количествѣ, и дальнѣйшее возрастаніе населенія было бы остановлено *смертью*» (Т. I, кн. I, гл. XIII).

И такъ, рабочему народу, который воздерживается отъ наслажденія богатствами и пресмыкается въ нищетѣ, слѣдуетъ еще отказаться отъ размноженія, подѣ страхомъ насильственной смерти. И такъ, рабочему народу, который поить, кормить, одѣваетъ и ублажаетъ дармоѣдовъ, не слѣдуетъ нарождать дѣтей и умножать число рабочихъ. На какомъ основаніи? На томъ, что «новые желудки требуютъ столько же пищи, сколько и прежніе, а руки производятъ меньше». Почему же меньше, а не больше? Почему, съ возрастаніемъ населенія, уменьшится производительность работы? Неужели работники стануть рождать какъ-бъ, «однорукихъ или безрукихъ дѣтей, негодныхъ для работы? Что же нужно, по мнѣнію экономиста, для поддержанія и развитія производства? Неужели ограниченіе числа рабочихъ? Но вѣдь они старѣютъ, выбиваются изъ силъ и умираютъ даже несравненно скорѣе дармоѣдовъ, заѣдающихъ вѣкъ рабочаго. И такъ, если смерть безжалостна въ народу, то кто же станетъ работать за него, когда онъ перестанетъ размножаться и работою своихъ дѣтей поддерживать производство? Неужели тунеядцы, которые воздерживаются теперь отъ труда, согласятся получить въ наслѣдство отъ рабочихъ обязанность работать, какъ награду за свое прошлое бездѣлье? Если такъ, то рабочіе могутъ еще воздержаться отъ размноженія себѣ подобныхъ и умирать спокойно въ надеждѣ на покаяніе дармоѣдовъ. Но вотъ въ чемъ бѣда: работники съ дѣтства привыкали трудиться, а въ зрѣломъ возрастѣ работали много и успѣшно; что же касается тунеядцевъ, то на успѣшность ихъ работы рассчитывать нельзя, по крайней мѣрѣ въ первое вре-

мя, когда они примутся за дѣло. Для всякой работы, кромѣ доброй воли, нужна еще подготовка, нужна и привычка трудиться; а праздная жизнь ни къ чему дѣльному не подготавливаетъ и не приучаетъ. Вотъ почему тушеядецъ, который привыкъ къ процессу пищеваренія, а не къ процессу труда, неспособенъ производить ничего, кромѣ жирныхъ и тупыхъ дѣтсей, и для блага человечества долженъ воздержаться отъ такого производства. Если же откормленный бездѣльникъ, отъ угрызения совѣсти, рѣшится приняться за работу, не переставая дѣлать наслѣдниковъ, то напрасно станетъ увѣрять тогда, что съ каждымъ желудкомъ, который онъ производитъ, рождаются и руки. Милль въ правѣ будетъ сказать ему, что новый желудокъ требуетъ столько же пищи, какъ и родительскій, а руки не произведутъ ничего или очень мало.

Напрасно Милль говоритъ о вредѣ размноженія рабочихъ. Онъ клеветаетъ на нихъ, увѣряя, что они станутъ работать меньше, когда будутъ плодиться. Не даромъ кормится рабочій народъ; его кормитъ работа, тяжелая, неоплаченная работа, и кормитъ такъ мало, что нерѣдко умираетъ онъ съ голоду. Да, желудокъ бѣднаго рабочаго требуетъ пищи, хорошей, здоровой и сытной пищи; къ сожалѣнью, она ему не достается, а варится въ желудкѣ даромъ. Дѣло въ томъ, что работа такъ же непродуцательна для работника, какъ продуцательна даровая пища для тушеядца. Зачѣмъ она входитъ въ мозгъ и кровь такого существа, которое не мыслить и не работаетъ, слѣдовательно, не тратитъ своихъ силъ и не пуждается въ ихъ подкрѣпленіи? Зачѣмъ живетъ такое существо, которое не только бесполезно для общества, но даже положительно вредно? И зачѣмъ, наконецъ, размножаются такія существа въ такой же пропорціи, какъ и рабочіе? — Вотъ вопросы, которые долженъ былъ бы разрѣшить Милль прежде, чѣмъ осмѣлиться востать противъ *невоздержанія* рабочихъ отъ размноженія. Бѣда, если такіе софисты, какъ Милль, станутъ плодиться въ геометрической прогрессіи!

Все, что производится, должно потребляться съ производительною цѣлью. Другими словами, каждый, кто не жаждетъ умирать голодной смертію, обязанъ работать. «Производительнымъ потреблениемъ», говоритъ Милль, слѣдуетъ считать только то, которое обращено на поддержаніе и увеличеніе общественныхъ *производительныхъ силъ*, находящихся въ землѣ, въ матеріалахъ, въ количествахъ

и въ качествѣ орудій производства и въ людяхъ, составляющихъ это общество» (Т. I, стр. 66). Такимъ образомъ самъ Милль убѣждаетъ, что въ интересахъ общества надо содержать и размножать не туеядцевъ, которые ничего не производятъ, а только рабочихъ. Для общества несравненно выгоднѣе, если заведется лишняя машина на фабрикѣ, чѣмъ если прокормится даромъ непродуцательный человѣкъ. Почему жѣ Милль, высказывая подобныя мысли, возстаётъ противъ размноженія рабочаго народа, который постоянно заявлялъ и заявляетъ свои производительныя силы? Почему этотъ экономистъ позволяетъ себѣ говорить, что давать народу возможность работать, «значитъ расточать средства *благотворительности*, не достигая цѣли, если народъ вмѣстѣ съ тѣмъ не воздерживается отъ размноженія»? Развѣ народъ размножается для туеядства, а не для поддержанія и увеличенія своихъ производительныхъ силъ? И развѣ помогать рабочимъ, подъ предлогомъ благотворительности, не значитъ возвращать ничтожную часть того, что имъ слѣдуетъ по праву работы? Нѣтъ, народъ не нуждается въ милостынѣ, а желаетъ только трудиться на себя и за себя. Работа обезпечитъ его судьбу и дастъ ему возможность жить безъ страха голодной смерти, лишь бы туеядцы и лихоимцы убѣдились наконецъ, что они не только пользуются чужимъ трудомъ, но и мѣшаютъ рабочему работать. Лицемерный Милль восклицаетъ: сколько ни давай рабочимъ, они и дѣти ихъ не поймутъ, что собственная воздержность должна служить истиннымъ средствомъ поддержать свое благосостояніе; они будутъ только съ ожесточеніемъ требовать, чтобы вы (кто вы? — не дармоѣды-ли?) продолжали обезпечивать судьбу ихъ и всего потомства, какое могутъ они имѣть. — Нѣтъ, скажу я въ свою очередь, какъ бы ни богатели лихоимцы, эти вампиры, сосущіе кровь рабочаго народа, они и дѣти ихъ не скоро поймутъ, что воздержаніе отъ воровства-мошенничества и кражи только и можетъ спасти ихъ отъ позора. Нѣтъ, эти хищники будутъ съ ожесточеніемъ требовать, чтобы бѣдный, ограбленный рабочій откармливалъ ихъ самихъ и все паразитное ихъ потомство, откармливалъ, какъ скотину на убой.

Милль съ бѣшенствомъ отвергаетъ право работника на работу, потому что признаетъ одно лишь право туеядца на лихоимство. «Безчестно (!!), говоритъ онъ, человѣку съ претензіей учить общество игнорировать эти (мальтузіанскіе) выводы, проходить ихъ

молчаніемъ и разсуждать или декламировать о налогѣ въ пользу бѣдныхъ» (Т. I, кн. II, гл. XII). Выводы Мальтуса и его послѣдователей, въ томъ числѣ и Милля, извѣстны, слишкомъ даже извѣстны, чтобы о нихъ умалчивать. Безчестность состоитъ не въ томъ, чтобы разсуждать о налогѣ въ пользу бѣдняковъ, лишенныхъ работы и умирающихъ съ голоду, а въ томъ, чтобы по теоріи Мальтуса защищать налогъ въ пользу лихоимцевъ, тотъ капитальный налогъ, который взимается съ рабочаго народа. И такъ Милль, разсуждающій и декламирующій о правѣ на лихоимство, поступаетъ безчестно. Пусть знаютъ это экономистъ «Современника» и всѣ вообще миллисты, которые обходятъ молчаніемъ разсужденія своего безстыднаго софиста о полезномъ размноженіи лихоимцевъ и о вредномъ рожденіи рабочихъ, «навѣрное обреченныхъ нищетѣ и пороку» (Т. I, стр. 406).

V.

«Работой создаются всѣ богатства», говорятъ экономисты и, ссылаясь на теорію Мальтуса, доказываютъ, что рабочая плата должна быть ничтожна и постоянно падать, вслѣдствіе размноженія рабочаго народа и закона конкуренціи.

«Нѣтъ, нѣтъ! восклицалъ Мальтусъ, — если для накопленія богатствъ слѣдуетъ заставлять рабочихъ довольствоваться ничтожною платою, то я смѣло скажу — *да погибнутъ богатства!*» (Malthus. Principes d'Econ. polit. tr. par Constancio, t. I, p. 339).

Ни одинъ еще экономистъ не упоминалъ о томъ, что Мальтусъ, этотъ мизантропъ и прорицатель неизбежной нищеты рабочаго народа, изрекъ такое проклятiе богатству лихоимцевъ! Мало того: ни одинъ еще экономистъ не пророчилъ слова о томъ, что Адамъ Смитъ, основатель политической экономіи, раньше Мальтуса открылъ причину, настоящую и достовѣрную причину нищеты и бѣдствій рабочихъ классовъ, независимо отъ ихъ размноженія. Разсуждая о прибыляхъ съ капитала, Адамъ Смитъ указалъ на тотъ постоянный фактъ, что лихоимство, не встрѣчая препятствій своему развитію, пожираетъ работу съ неизмѣнною быстротою и обращаетъ задѣльную плату въ ничто, сравнительно съ продажною цѣною вещей и товаровъ.

Вотъ наглядное описаніе этого страшнаго, возмутительнаго факта, о которомъ умышленно избѣгаютъ разсуждать экономисты, ученики Мальтуса.

«При каждой новой обработкѣ какого нибудь продукта, говоритъ Адамъ Смитъ, не только возрастаетъ число барышей, но и всякій послѣдующій барышъ бываетъ больше предъидущаго, потому что самый капиталъ, откуда онъ является, становится всегда значительнѣе. Въ самомъ дѣлѣ: если повышеніе рабочей платы дѣйствуетъ на цѣну товара подобно *простому* проценту, при наростаніи долга, то накопленіе барышей возвышаетъ эту цѣну *сложными* процентами. Если на полотняной фабрикѣ, напримѣръ, задѣльная плата чесальщиковъ льна, прядильщицъ, ткачей и остальныхъ рабочихъ увеличилась на два пенса въ день для каждаго, то придется непремѣнно возвысить цѣну всякой штуки холста на два пенса взятыхъ столько разъ, сколько было занято работниковъ, умножая число ихъ на сумму рабочихъ дней. При всякой новой, отдѣльной выдѣлкѣ товара, та часть его цѣны, которая опредѣляется размѣромъ задѣльной платы, вслѣдствіе ея повышенія, *увеличится только въ прогрессіи арифметической*. Но если барыши всѣхъ хозяевъ, нанимающихъ этихъ рабочихъ, возвысились на пять процентовъ, то часть цѣны товара, которая опредѣляется прибылью съ капитала, послѣ каждой особой выдѣлки возвысится уже въ прогрессивномъ отношеніи къ величинѣ процента, то есть *въ прогрессіи геометрической*. Хозяинъ чесальщиковъ, продавая свой ленъ, потребуеетъ надбавки 5 на 100 не только на всю цѣну матеріала, но и на сумму задѣльной платы, выданной рабочимъ. Хозяинъ прядильщицъ возьметъ также добавочный барышъ 5 на 100, какъ съ цѣны чесаннаго льна, который онъ продастъ, такъ и съ общей суммы, заплаченной работницамъ. Хозяинъ ткачей, наконецъ, надбавитъ въ свою очередь 5 на 100 и на цѣну льняной пряжи, и на рабочую плату своихъ ткачей.»

О Мальтусъ, великій Мальтусъ! Зналъ ли онъ, какъ нелѣпа его выдумка о размноженіи населенія въ сравненіи съ этимъ живымъ, хотя и безхитростнымъ описаніемъ промышленной рутинны, которая укоренилась въ нравахъ и обычаяхъ всѣхъ практическихъ людей и въ понятіяхъ отсталыхъ и лицемерныхъ экономистовъ.

1) Населеніе возрастаетъ въ геометрической прогрессіи, а средства пропитанія въ арифметической. Вотъ вымышленная причина нищеты рабочаго народа, вотъ ложь Мальтуса и его послѣдователей.

2) Цѣна вещей и товаровъ возрастаетъ въ геометрической прогрессіи, *вслѣдствіе взиманія барышей*, и только въ прогрессіи арифметической, когда изрѣдка повышается задѣльная плата. Вотъ настоящая причина нищеты рабочихъ классовъ, не по сознанію Адама Смита, а по его ясному и вѣрному объясненію практики лихоимства. Не все ли равно—размножается или вымираетъ рабочее населеніе, если участь его не измѣняется, потому что сила лихоимства развивается неудержимо. Напрасно утверждаетъ Милль, что рабочіе должны воздерживаться отъ брака, съ цѣлью облегчить свое жалкое положеніе. Нѣтъ, ихъ спасетъ не собственная воздержность, а только одно отреченіе лихоимцевъ отъ своего позорнаго ремесла, которое экономисты объявляютъ просто добродѣтелью, подъ названіемъ бережливости.

И такъ очевидная и безспорная причина нищеты и страданій рабочаго населенія кроется въ лихоимствѣ и барышничествѣ, которое возвышаетъ продажную цѣну всѣхъ вещей и товаровъ въ такой громадной пропорціи, что дѣлаетъ ихъ недоступными для работниковъ. Задѣльная плата, которую они получаютъ, такъ ничтожна, что не позволяетъ имъ покупать ничего, кромѣ грубыхъ и дурныхъ продуктовъ, и то въ ограниченномъ количествѣ. Между тѣмъ экономическая правда требуетъ, чтобы рабочіе пользовались плодами своего труда и получали такую плату, которая каждому давала бы возможность выкупить свое произведеніе. Только при этомъ непремѣнномъ условіи трудъ оплачивается сполна и становится производительнымъ для работника. Что же касается барышей лихоимцевъ, то наука доказываетъ, что въ общественной экономіи не должно быть чистой прибыли. Общій расходъ на плату всѣмъ работникамъ опредѣляетъ цѣну всего производства; сколько получаетъ работникъ за свое издѣліе, столько оно и должно стоить, ни больше ни меньше; откуда же возмется барышь?

Адамъ Смитъ положительно говоритъ: «каждая продажная вещь—произведеніе труда; настоящая ея цѣна опредѣляется издержками на производство, т. е. рабочей платой. Вотъ почему каждый работникъ имѣетъ право требовать и получать въ обменъ за свое издѣліе (to command) такое количество другихъ вещей, какое можно приготовить съ тѣми же расходами». — Другими словами, работники, какъ дѣйствительные производители, должны покупать все, что про-

отд. II. 4

дается. Если же они этого не дѣлаютъ, то значить работают не для себя и почти даромъ.

Другой извѣстный экономистъ, Ж.-Б. Сэй, рассуждаетъ такъ: «когда фабрикантъ, заводчикъ или вообще капиталистъ нанимаетъ работника, то его задѣльной платы онъ не считаетъ въ итогѣ барыша своего предпріятія; напротивъ того, эту плату онъ исключаетъ изъ своего дохода. Но задѣльная плата составляетъ весь приходъ работника, а сумма всѣхъ платъ, которыя получаютъ рабочіе за производство всевозможныхъ вещей и предметовъ потребленія, составляетъ такимъ образомъ приходъ всего рабочаго класса. Затѣмъ, если рабочая плата вообще выражаетъ издержки производства, а общая сумма этихъ платъ опредѣляетъ цѣну всѣхъ произведеній труда, то отсюда слѣдуетъ очевидно, что *валовой доходъ* общества долженъ равняться доходу, который получаетъ рабочій классъ въ видѣ задѣльной платы.—«*Chaque produit vaut ce qu'il coûte*», т. е. каждое произведеніе труда оцѣнивается издержками производства или рабочей платой, говоритъ Сэй и, въ силу этого закона, отрицаетъ чистый доходъ.

Послѣ Адама Смита и Сэя, этихъ авторитетовъ политической экономіи, Джонъ Стюартъ Милль утверждаетъ тоже самое, а именно, что «трудъ — главный элементъ стоимости производства, передъ которымъ ничтожны всѣ остальные. Предметъ обходится производителю или ряду производителей во столько, сколько на него пошло *рабочей платы*. Правда, на первый взглядъ кажется, что это лишь часть расхода, потому что капиталистъ не только платитъ рабочимъ, а также снабжаетъ ихъ орудіями, матеріалами и, быть можетъ, постройками. Но эти орудія, матеріалы и строенія произведены трудомъ, и цѣнность ихъ опредѣляется стоимостью производства, которая опять приводится къ стоимости труда» (Т. I, кн. III, гл. IV).

Такимъ образомъ, по опредѣленію Милля, слѣдуетъ, что цѣна вещей и всѣхъ товаровъ, поступающихъ въ продажу, должна быть равна издержкамъ производства, то есть общей суммѣ рабочихъ платъ. На этомъ основаніи, рабочій народъ, живущій задѣльной платой, долженъ имѣть право и возможность покупать и потреблять все, что производить своимъ трудомъ. Слѣдовательно, работнику остается только работать, чтобы обезпечить свое существованіе и насладиться благами жизни.

Лихоимцы рѣшили иначе и обратили трудъ работника въ пытку

и самую непроизводительную для него затрату силъ и способностей. Воздерживаясь сами отъ труда, лихоимцы позаботились о томъ, чтобы скопить капиталъ, и этимъ орудіемъ казни заставили рабочихъ трудиться въ потъ лица и за самую ничтожную плату. «Даже невысказанная справедливость, замѣчаетъ Адамъ Смитъ, и та требуетъ уже, чтобы работники, которые одѣваютъ, кормятъ и обезпечиваютъ жизнь всѣхъ членовъ общества, получали бы за свой трудъ достаточное вознагражденіе и могли бы существовать сносно. — Но нѣтъ, продолжаетъ великодушный экономистъ, вездѣ и всегда хозяева рабочихъ составляли тайный, постоянный и однообразный заговоръ, съ цѣлью удержать задѣльную плату на низкомъ ея уровнѣ. Нарушать это правило, значить поступать предательски. И къ довершенію позора законодательство снисходительно смотритъ на такой заговоръ хозяевъ и въ тоже время строго преслѣдуетъ стачки рабочихъ!»

Съ своей стороны, Ж.-Б. Сэй утверждаетъ: «Плата рабочихъ возвышается лишь на столько, чтобы дать имъ возможность кое-какъ просуществовать. Промышленники всегда являются монополистами труда. Рабочіе не находятъ хозяевъ по своему желанію, а хозяева всегда могутъ нанять сколько угодно работниковъ, если только въ состояніи обезпечить имъ необходимыя средства жизни. — Правда, хозяинъ нуждается въ работникѣ, потому что безъ его помощи не получить барыша; но хозяйская нужда не особенно настоятельна. Мало найдется между капиталистами такихъ людей, которые не могли бы прожить нѣсколько лѣтъ безъ найма рабочихъ; но врядъ ли между послѣдними встрѣтятся такіе богачи, которые были бы въ состояніи въ теченіе нѣсколькихъ недѣль остаться безъ работы, не дойдя до крайности. Это различіе положеній должно, разумѣется, имѣть вліяніе на величину рабочей платы.

«Страшная нужда; въ которой находится рабочее населеніе и ничтожность его задѣльной платы, заключаетъ Сэй, постоянно ограничиваютъ народное потребленіе предметами крайней необходимости; въ этомъ и обнаруживается язва социальнаго устройства» (J.-B. Say. Cours complet d'Écon. polit. 1840. 2 v.).

Такъ разсуждаютъ самые благонамѣренные писатели, которыхъ всѣ экономисты признаютъ своими учителями. Но не такъ разсуждаетъ бездушный Мелль, продавшій капиталу свою совѣсть.

«Растетъ сочувствіе къ несчастіямъ бѣдняковъ и готовность при-

знавать ихъ права на помощь со стороны другихъ людей; не почти никто не хочетъ прямо взглянуть на истинную причину ихъ тяжелаго положенія. Разсуждающіе какъ будто согласились между собою не думать совершенно *о принципѣ, опредѣляющемъ рабочую плату*, или мимоходомъ отдѣливаться отъ него какою нибудь фразою въ родѣ выраженія: «безжалостный мальтусіанизмъ» (Т. I, стр. 40G).

Нагло рисуясь своимъ безстрастіемъ, Милль видимо увлекается ненавистью буржуазіи къ рабочему народу и потому отвергаетъ не только право бѣдняковъ на помощь со стороны богатыхъ, но даже ихъ право на состраданіе. Да не смущается сердце ваше, говоритъ онъ тѣмъ чувствительнымъ людямъ, которые не могутъ смотрѣть равнодушно на положеніе несчастныхъ жертвъ грабежа и насплія... Невозмутимый Милль какъ будто заключилъ условіе съ лихоицами— не упоминать вовсе о воровствѣ-кражѣ, какъ принципѣ нищеты и бѣдствій рабочаго населенія, или отдѣливаться отъ этого принципа, ссылаясь на Мальтуса или отпуская мимоходомъ такую фразу: «рабочіе и дѣти ихъ навѣрное обречены нищетѣ и пороку.»

Безстрастіе буржуазныхъ экономистовъ доходитъ положительно до безсовѣстности. Устами Синьора, друга Милля, эти фарисеи увѣряютъ, что «экономистъ не долженъ позволять себѣ, чтобы сердечное участіе къ нищетѣ, негодованіе противъ мотовства или скупости, ненависть къ настоящимъ злоупотребленіямъ или увлеченіе популярностью могли мѣшать ему утверждать то, что онъ считаетъ основаннымъ *на фактахъ* (замѣтьте на фактахъ, а не на правдѣ!), или выводить изъ нихъ такія заключенія, которыя ему *кажутся законными*» (Senior. Esquisse de l'Econ. pol., p. 130).

Вотъ что за люди, эти экономисты, которые опираются только на факты и выводятъ изъ ихъ *законныя* заключенія въ пользу лихоимства и тунеядства. «По удачному выраженію Синьора, говорить Милль, барышъ капиталиста служитъ собственно *вознараженіемъ за воздержаніе*» (Т. I, стр. 454). Вотъ какіе законные выводы дѣлаютъ экономисты, глядя на нищету рабочихъ и богатство тунеядцевъ, на эти факты цивилизаціи и прогресса!

«Почти никто не хочетъ прямо взглянуть на истинную причину тяжелаго положенія бѣдняковъ. Почти никто не хочетъ думать о принципѣ, опредѣляющемъ рабочую плату»—такими словами вызываетъ Милль своихъ читателей на размышленіе о нищетѣ рабочаго народа, который чѣмъ болѣе трудится, тѣмъ сильнѣе страдаетъ

Отчего это происходит? Оттого, что трудъ не оплачивается, какъ слѣдуетъ, а капиталъ лихоимствуетъ, какъ не слѣдуетъ. Другими словами, рабочая плата такъ ничтожна, что работники не могутъ пользоваться плодами своего труда и часто принужденны воздерживаться даже отъ пищи. Вотъ факты, которые вѣдѣсны каждому, не только рабочему, но и дармоѣду. Вотъ автѣ, которые выставили на видѣ такіе экономисты, какъ Адамъ Смитъ и Ж.-Б. Сей. Они доказали, что цѣна всѣхъ вещей и товаровъ должна равняться платѣ за ихъ производство; на этомъ основаніи, работники не должны быть лишены возможности выкупать произведеній своего труда, т. е. не должны быть нищими; кто трудится, тотъ не обязанъ голодать. Кажется ясно?

«Нѣтъ, кто работаетъ или хочетъ работать, говорятъ мальтузианцы, тотъ не спасется отъ нищеты и голода, если населеніе рабочихъ не перестанетъ размножаться. Зависимость рабочей платы отъ числа трудящихся или желающихъ трудиться — вотъ истина, которую должны знать всѣ рабочіе». — «Если бы въ рабочемъ классѣ, говоритъ Милль, утвердилось мнѣніе, что для благосостоянія работниковъ нужно известное *ограниченіе числа ихъ дѣтей*, то работники солиднаго и почтеннаго характера будутъ поступать сообразно этому требованію, а нарушать его станутъ лишь тѣ, которые вообще не уважаютъ общественныхъ обязанностей. Тогда очевиднымъ образомъ можно будетъ оправдать обращеніе въ законную обязанность нравственной (!!) обязанности не производить на свѣтъ дѣтей, которыя были бы обремененіемъ для общества» (Т. I, стр. 426).

На это безсовѣстное и бессмысленное разсужденіе я выскажу совершенно другое убѣжденіе и почти въ тѣхъ же самыхъ выраженіяхъ, какія употребилъ Милль, нападая на бѣдныхъ рабочихъ:

Если бы въ классѣ лихоимцевъ и тунеядцевъ утвердилось мнѣніе, что для блага рабочаго народа нужно воздерживаться отъ обмана, насилия и воровства — кражи, то дармоѣды солиднаго и почтеннаго характера будутъ поступать согласно этому требованію, а нарушать его станутъ тѣ праздные и развратные негодии, которые вообще не уважаютъ общественныхъ обязанностей. Тогда очевидно можно будетъ оправдать обращеніе въ законную обязанность нравственнаго долга не жить безъ работы, не бездѣльничать и не лихоимствовать, — *порочъ* — не вредить рабочему народу.

Надо замѣтить, впрочемъ, что обществу наносить вредъ собственно не бездѣлье, а лихоимство тунеядцевъ. Если бы бездѣльники только воздерживались отъ труда, не предаваясь лихоимству, то они прежде всего повредили бы самимъ себѣ, потому что имъ пришлось бы проѣдать свое добро и, рано или поздно, идти по міру или искать работы. Но какъ бы ни былъ глупъ тунеядецъ, онъ понимаетъ однако, что безъ труда можно прожить опокійно только въ такомъ случаѣ, когда лихоимство даетъ средство пользоваться чужимъ добромъ и сберегать свое. Вотъ почему рѣдкій бездѣльникъ воздерживается въ одно и то же время и отъ труда, и отъ лихоимства. Такая воздержность въ настоящее время, когда каждый либеральничаетъ и тянетъ съ ближняго деньги, признается уже ретроградствомъ, постыдной отсталостью даже юными дармоедами. Въ разгульную пору барства и самодурства они беззаботно веселились и прокучивали наследственное имущество, вовсе не думая извлекать изъ него тѣхъ выгодъ, какія можетъ дать всякій капиталъ, пущенный въ оборотъ. «Глупому сыну не въ помощь богатство», говорили практическіе люди, глядя съ сожалѣніемъ или досадой на беззаботныхъ кутилъ, которые, при всей своей порочности, гнушались заниматься лихоимствомъ. Сравните же теперь этихъ самодуровъ, этихъ развратныхъ, но все-таки безкорыстныхъ тунеядцевъ прошлаго времени съ ищущими дѣловыми бездѣльниками, которые будто бы и трудятся, а въ сущности предаются лихоимству, какъ самому вѣрному средству наживаться и жить на чужой счетъ. Какая громадная разница между этими образцами тунеядства! Все пороки празднаго, но не лихоимствующаго барича кажутся едва-ли не добродѣтелями въ сравненіи съ корыстолюбіемъ практическихъ либераловъ, которые не считаютъ безчестнымъ гоняться за барышами. Пока человекъ воздерживается отъ лихоимства, то есть воровства-кражи, до тѣхъ поръ онъ остается человекомъ, въ нравственнои значеніи этого слова, и можетъ имѣть право на уваженіе и довѣріе. Нѣтъ порока гаже и опаснѣе лихоимства, и потому нѣтъ людей безнравственнѣе и вреднѣе лихоимцевъ.

Корень экономическаго зла и главная причина всѣхъ страданій рабочаго народа—лихоимство, которое господствуетъ въ промышленности и торговлѣ. Но лицемѣрные экономисты не только не указываютъ на эту язву, а даже прикрываютъ ее въ угоду буржуазіи. Было время, когда Мальтусъ, желая успокоить совѣсть англій-

своей аристократіи, сочинялъ теорію населенія и доказывалъ, что земля не въ состояніи прокормить бѣдныхъ рабочихъ, если они не перестанутъ размножаться. Ученики Мальтуса превзошли его и, желая подслужиться буржуазіи, стали доказывать, что капиталисты не могутъ давать хорошей платы своимъ работникамъ, потому что ихъ много, а капитала мало и его слѣдуетъ накапливать лихоимствомъ. Какъ Мальтусъ оправдывалъ насиліе землевладѣльцевъ, такъ его послѣдователи оправдываютъ теперь алчность корыстолюбивой буржуазіи и, притворяясь либералами, нападаютъ на аристократію за ея презрѣніе къ барышникамъ. Кто внимательно читалъ сочиненіе Милля, тотъ долженъ былъ замѣтить, что этотъ софистъ постоянно либеральничаетъ на счетъ аристократіи, съ цѣлью возвысить буржуазію, которую онъ считаетъ, какъ я уже выразился однажды, «цвѣтомъ человѣчества». Въ интересахъ этой низкой, корыстной и жестокой буржуазіи, Милль искажилъ даже ученіе Мальтуса, ученіе чисто аристократическое, а не мѣщанское.

Другія времена, другіе нравы. Съ конца XVIII вѣка въ западной Европѣ падаетъ феодальная система и возникаетъ новый буржуазный порядокъ, основанный не на завоеваніи, а на лихоимствѣ. Этотъ гнусный порядокъ господствуетъ теперь преимущественно въ Англіи, Франціи, Бельгіи, Голландіи и отчасти въ Германіи.

«Въ Англіи, наивно говорятъ Милль, много обстоятельствъ, придающихъ особенную силу наклонности къ накопленію (т. е. къ лихоимству). Англія давно избавлена отъ военныхъ опустошеній; въ ней раньше, чѣмъ въ другихъ земляхъ, собственность оградилась отъ военного насилія и произвольнаго (т. е. неконституціоннаго) грабежа. — Географическія причины, заставившія Великобританію искать могущества и значенія болѣе въ промышленности, чѣмъ въ природныхъ средствахъ (т. е. въ земледѣліи), обратили къ фабрикамъ и торговлѣ большую пропорцію самыхъ предприимчивыхъ и энергическихъ (т. е. корыстолюбивыхъ и подлыхъ) характеровъ, чѣмъ въ другихъ странахъ. — Много тутъ завистло и отъ хорошихъ политическихъ учрежденій Англіи: они облегчаютъ возникновеніе большихъ промышленныхъ предпріятій и, съ другой стороны, даютъ самое прямое и сильное возбужденіе стремленію обогащаться. Ранній упадокъ феодализма устранилъ или очень ослабилъ ненавистное различіе между сословіями, коренное занятіе которыхъ—промышленность (это

внудило буржуазіи), и бесловидны, привычными презирать ихъ (эти сословія—аристократія и духовенство).» (Т. I, стр. 218).

Мальтэ очевидно разсуждаетъ, какъ настоящий, кровный буржуа. Онъ доказываетъ: 1) въ Англіи сильно развита страсть лихонимства. 2) развитію этой страсти способствовали историческія и географическія причины и политическія учрежденія, выгодныя для барышниковъ, а потому и хорошія; 3) лихонимствующая буржуазія одержала верхъ надъ аристократіей, и 4) лихонимство перестало для почти перестало казаться пресрѣннымъ занятіемъ. Все это произошло въ Англіи, въ лучшемъ изъ лучшихъ буржуазныхъ государствъ.

Въ то самое время, когда англійская аристократія, запуганная французской революціей и страшной нищетой земледѣльческаго населения, поддавалась нажору разбогатѣвшей буржуазіи, настырь церкви, Мальтэсъ писалъ свое сочиненіе о неизбежной смерти рабочихъ отъ недостатка средствъ пропитанія. Кого хотѣлъ онъ утѣшить такимъ открытіемъ? Разумѣется, аристократію, которая владела всей землей и морила голодомъ земледѣльцевъ. О какихъ рабочихъ говорилъ онъ, что они размножаются, какъ сальди, и потому не имѣютъ права на существованіе? Разумѣется, о тѣхъ же земледѣльцахъ, которые работали на поляхъ аристократовъ, а вовсе не о заводскихъ и фабричныхъ рабочихъ, потому что ихъ было тогда несравненно меньше, чѣмъ теперь. И такъ, Мальтэсъ выдумалъ свое ученіе въ пользу аристократіи; объ интересахъ буржуазіи онъ не помышлялъ по той простой причинѣ, что въ его время она только что подымала голову. Притомъ еще по своему происхожденію Мальтэсъ принадлежалъ къ духовному сословію, которое всегда презирало торгашей.

Но вотъ еще при жизни Мальтэса его теорія о населеніи находитъ въ средѣ буржуазіи самыхъ ревностныхъ проповѣдниковъ, которые величаютъ себя «экономистами» и распространяютъ ученіе о лихонимствѣ подъ названіемъ «политической экономіи». Какъ объяснить такой страшный и безпримѣрный успѣхъ теоріи, придуманной для оправданія жестокостей аристократіи? Дѣло объясняется очень просто: Мальтэсъ доказывалъ, что главная причина нищеты рабочихъ кроется въ принципѣ населенія, а не въ чемъ другомъ. Этимъ выдумкой и воспользовались наущенны буржуазіи, чтобы увѣрить фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ въ необходимости воздерживаться отъ размноженія, которое будто бы понижаетъ рабочую дѣлову, вслѣдствіе соперничества. Почему однако экономисты стали увѣ-

рять въ этомъ фабричномъ населеніи? Потому что оно жаждетъ на свое отчаянное положеніе.

«Мы видимъ, говоритъ Мидль, что въ сословіи земледѣльческихъ работниковъ почти не существуетъ задержки размноженію. При нѣвѣршіи своихъ привычекъ народъ впадъ бы въ положеніе столь же бѣдственное, какъ ирландцы, если бы *значительная часть* ежегодной прибыли сельскаго населенія не поглощалась развитіемъ городовъ и капитала городекой промышленности, — развитіемъ, которое поддерживаетъ нѣмалую среднюю (весьма ничтожную) плату фабричнымъ работникамъ, не смотря на быстрое ихъ размноженіе. Если бы рынокъ для нашихъ фабрикъ — не говорю — стѣснился, но только пересталъ расширяться съ быстротою, съ какою расширился въ послѣдніе 50 лѣтъ, то судьба ирландцевъ могла бы постигнуть и англичанъ» (Т. I, стр. 405).

Наивность Мидля безподобна! Оказывается, что земледѣльческое населеніе, доведенное до крайней нищеты аристократами, бѣжитъ въ города и поступаетъ въ ряды наемныхъ фабричныхъ рабочихъ, которые обогащаютъ буржуазію. Положеніе этихъ несчастныхъ еще не совсемъ отчаянно, потому что англійскіе дикомцы умѣютъ эксплуатировать всѣ страны свѣта. Но лишь только эта всемірная эксплуатация перестанетъ развиваться съ прежнею быстротою, что весьма возможно, то все рабочее населеніе Англіи обратится въ толпу рабовъ и нищихъ. Утѣшительное предсказаніе! На чемъ же, однако, оно основано, и неужели нѣтъ никакого выхода изъ настоящаго положенія? Другими словами, неужели земледѣльцы, бросившись на фабрики и заводы, попали изъ огня да въ полымя?

Дѣйствительно такъ. Буржуазія обращается съ рабочими безжалостнѣе аристократіи, которая, покрайней мѣрѣ, придумала таксу для бѣдныхъ и гордилась своей филантропіей. Не такова буржуазія, жадная, бездушная буржуазія, которая равнодушно смотритъ на нищету рабочаго народа и боится только его размноженія. Заставлять наемниковъ работать за самую ничтожную плату. — вотъ вся мудрость барышниковъ, вся ихъ филантропія. Понятно, что всякое ученіе, которое оправдываетъ дикомство и причину нищеты рабочихъ находитъ въ постоуцахъ самихъ же рабочихъ, должно нравиться буржуазіи и дѣлывать ея одобреніе. Такимъ гнуснымъ ученіемъ стала политическая экономія, которая проповѣдуетъ, что плата рабочихъ не можетъ опредѣляться иначе, какъ соперничествомъ много-

численного класса рабочих. Имъ приходится, по увѣренію экономистовъ, или умирать съ голоду, или воздерживаться отъ размноженія, и во всякомъ случаѣ подчиняться власти капитала, который долженъ лихоимствовать.

«Рабочая плата, утверждаетъ Милль, зависитъ отъ отношенія между спросомъ и предложеніемъ труда или *между населеніемъ и капиталомъ*.—Рабочая плата можетъ подниматься или отъ увеличенія капитала, употребляемаго на наемъ рабочихъ, или отъ уменьшенія числа наемниковъ; падать же она можетъ или отъ уменьшенія капитала, или отъ увеличенія числа работниковъ, получающихъ плату.»

«Для рабочихъ важна пропорція между ихъ числомъ и оборотнымъ капиталомъ. Положеніе рабочаго класса можетъ улучшиться не иначе, какъ измѣненіемъ этой пропорціи въ ихъ пользу, и всякій планъ улучшенія, неоснованный на этомъ—просто обольщеніе, если ждуть отъ него какой нибудь пользы» (гл. XI, Т. I, кн. II).

Такъ, именно такъ рѣшается экономистами страшный вопросъ о рабочей платѣ, вопросъ жизни или смерти рабочаго народа. Всякое другое рѣшеніе политическая экономія признаетъ обольщеніемъ, пустою и бесплодною выдумкою, потому что интересы буржуазіи святы и неприкосновенны. Рабочая плата поднимается, когда рабочіе воздерживаются отъ брака, а хозяева ихъ предаются лихоимству, которое увеличиваетъ оборотный капиталъ. Вотъ теорія экономистовъ! Нельзя не сознаться, что они превосходно поняли и усвоили практику барышниковъ. Думалъ ли Мальтусъ, что его пропорціи *между населеніемъ и земледѣльческимъ продуктомъ* будутъ передѣламы въ интересахъ буржуазіи и, взаи́мъ земледѣльческаго продукта, вставится слово «капиталъ?» Да, перехитрили экономисты своего учителя!

«Чѣмъ больше остается за продовольствіемъ рабочихъ, говоритъ Милль, тѣмъ больше можетъ быть сбережено и накоплено.» (Т. I, 208). И такъ для рабочаго выгодно, когда онъ много работаетъ, мало получаетъ и позволяетъ капиталу накапливаться въ сундукъ барышника. Такова логика Милля и всѣхъ буржуазныхъ экономистовъ, которые доказываютъ, что трудъ—нищета, а *капиталъ*—*лихоимство*. Какъ они доказываютъ это, я расскажу въ слѣдующей и послѣдней статьѣ «о капиталѣ».

И. Соловьевъ.

БИБЛОГРАФИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ.

Душа человека и животныхъ. Лекціи профессора (?) гейделбергскаго университета В. Вундта. Переводъ съ нѣмецкаго Е. К. Кемница. Томъ первый. Изданіе П. А. Гайдебурова. Спб. 1865. — Прогрессъ. Сочиненіе Эдмонда Абу. Переводъ съ французскаго. Части 1 и 2. Спб. 1865. Изданіе Генкеля. — Общее государственное право Блунчли. Переведено съ третьяго изданія подъ редакцію профессора О. М. Дмитріева студентомъ Императорскаго Московскаго университета юридическаго факультета IV курса Николаемъ Ляпидевскимъ. Томъ первый. Выпускъ I. М. 1865.

Психологія, какъ наука, составляетъ одну изъ самыхъ смѣлыхъ попытокъ человѣческаго ума, попытокъ, которыя показываютъ все превосходство естественнаго, т. е. фактическаго метода, надъ методомъ метафизическимъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ она не пошла еще дальше попытки. Причина этого очень понятна; изученіе, изслѣдованіе дѣлаются только тогда наукою, когда они выработываютъ себѣ методъ, который примѣнялся бы къ фактамъ и, выходя изъ наблюденія и опыта, приводилъ бы къ объясненію ихъ и къ законамъ, которыми управляются эти факты. До конца прошлаго столѣтія психологія не имѣла другого метода, кромѣ метафизическаго; двадцать пять вѣковъ бесплоднаго размышленія или, лучше сказать, умствованія, двадцать пять вѣковъ умственной работы, оставшейся безъ всякаго результата, доказали блистательно, казалось бы, его несостоятельность. Rien, rien, rien, приходится сказать философамъ и психологамъ, какъ недавно сказано было о результатахъ царствованія Луи-Филиппа. Но двадцать пять вѣковъ не проходятъ безслѣдно; они дали уму психологовъ извѣстный складъ, отъ котораго тѣ,

большую часть, никакъ не могутъ избавиться. Въ концѣ прошлаго столѣтія въ первый разъ въ психологію было введено не разсужденіе и такъ называемое самонаблюденіе, но дѣйствительное, научное наблюденіе и изслѣдованіе; оно относилось, правда, не къ здоровой, а къ болѣзненной душевной дѣятельности, но, создавъ психіатрію, Пинель положилъ начало, и дѣйствительной научной психологіи. Съ того времени, т. е. въ семьдесятъ лѣтъ, психіатрія своими блестящими релътатами доказала, что естественный методъ, принятый ею, вѣрнѣе и плодотворнѣе метафизическаго; она, какъ изслѣдованіе одной изъ дѣятельностей и отравленій человѣческаго организма, вошла составною частью въ медицину. Такимъ образомъ медики, эти люди, неспособные понимать женскаго сердца, по мнѣнію дамъ города N, сдѣлали въ семьдесятъ лѣтъ болѣе, нежели философы и присяжные психологи въ теченіи двадцати пяти вѣковъ. Но психіатрія—наука молодая и потому мало, еще извѣстна; она не вышла еще изъ небольшого кружка занимающихся ею людей, такъ что о ней, болшею частью, не имѣютъ ни малѣйшаго понятія. Въ психіатріи, психологія сдѣлала очень мало; натуралисты не занимались ею, потому что ихъ отталкивала эта странная будто бы наука, основанная на словахъ, не выходящая изъ фразъ, не имѣющая не только никакого метода, но даже и положительныхъ фактовъ, такъ что психологія метафизическая продолжала процвѣтать, не смотря на естественныя науки и психіатрію. Въ послѣднее время, впрочемъ, она отошла совершенно на задній планъ, оттѣсненная естественными науками и положительными знаніями; психологи стали убѣждаться даже въ необходимости принять другой методъ, болѣе сообразный съ новымъ направлениемъ; попытками этого рода можно считать «Le sommeil et les rêves» Альфреда Мори и, главнымъ образомъ, гениальное сочиненіе Фехнера «Elemente de Psychophysik», можетъ быть также «Physiologie de la pensée» Лелю.

Послѣ Вебера и Фехнера психологія, казалось, стала уже переходить въ руки физиологовъ, которые сдѣлали уже первыя попытки создать научный положительный методъ; поэтому понятнo, какъ можетъ удивить книга Вундта. Вундтъ не только физиологъ, но еще докторъ медицины; онъ ученикъ и теперь помощникъ Гельмгольца, одного изъ самыхъ гениальныхъ физиологовъ настоящаго времени; очевидно, что при подобныхъ условіяхъ отъ него можно было бы ожидать чего нибудь если и не блестящаго, къ чему у него нѣтъ достаточныхъ

индивидуальныхъ данныхъ, то по крайней мѣрѣ разумаго; можно было ожидать, что онъ хотя попытается свести психологію на физиологію. Повидимому, онъ и задалъ себѣ эту задачу. Въ предисловіи и первыхъ лекціяхъ онъ очень справедливо указываетъ на недостаточность метафизическаго метода самонаблюденія, о чемъ впрочемъ говорилъ уже Бѣкъ; онъ замѣчаетъ, что психологія должна принять обыкновенный методъ естественныхъ наукъ, т. е. непосредственное наблюденіе и *опытъ*. Это послѣднее очень смѣло; психологическій опытъ — дѣло трудное; до сего времени подобныя опыты были дѣланы только очень немногими, напр. Моро и Мори, и то главнымъ образомъ надъ собой; поэтому понятно, какъ много можно ожидать отъ физиолога, который берется за психологію, отказываясь отъ метафизическаго опыта и хочетъ прибѣгнуть къ психологическому опыту. Опытъ *in anima pavili* представляется чѣмъ-то страшнымъ, даже ужаснымъ; читатель съ замѣраніемъ сердца ожидаетъ, какъ авторъ будетъ дѣлать нравственныя вивисекціи, — но напрасно.

Гора родитъ мышь. Всѣ психологическіе опыты ограничиваются нѣсколькими, очень интересными, конечно, оптическими опытами, извѣстными уже изъ его «*Beiträge für Theorie der Sinneswahrnehmungen*», а главнымъ образомъ изъ физиологической оптики Гельмгольца; но Вундтъ силится придать имъ необыкновенно важное психологическое значеніе. Книга его, которую не хочетъ сдѣлать краеугольнымъ камнемъ новой науки физиологической психологіи, въ сущности есть смѣсь небольшого количества физиологическихъ данныхъ и огромнаго числа страницъ психологическихъ разсужденій, выведенныхъ точно также независимо отъ фактовъ, какъ это дѣлалось и прежде тѣми несчастными психологами, которыхъ Вундтъ такъ нещадно критикуетъ.

Въ настоящее время доходить своимъ умомъ до чегонибудь, будь даже это хотя бы и психологія, не только трудно, но почти невозможно. Вундтъ хотѣлъ сдѣлать этотъ опытъ и жестоко оборвался. Онъ самымъ докторальнымъ тономъ и съ полной самоувѣренностію говорить или избитыя, старыя вещи, или просто собственные фантазіи, не подозревая, что по этому предмету сдѣлано уже очень и очень много, и притомъ людьми, несравненно болѣе талантливыми, чѣмъ онъ, дѣлавшими свои изслѣдованія путемъ дѣйствительнаго наблюденія, а не праздною фантазіи. сверхъ того онъ

упустилъ совершенно изъ виду факты, имѣющіе огромное значеніе для изученія душевной дѣятельности человѣка, — именно частную потерю памяти, галлюцинаціи, сны, внутреннее безпокойство, — все то, что играетъ такую важную роль въ психіатріи. Принимаясь за психологію, онъ не вспомнилъ, что нормальное явленіе часто совершенно непонятно само по себѣ, и объясняется только отклоненіемъ отъ нормы, такъ называемой уродливостью; онъ до такой степени не имѣетъ понятія о психіатріи, что не знаетъ даже основной терминологіи ея, употребляя напр. безразлично слово Irresein и Verrücktheit. Онъ, очевидно, никогда не заглянулъ ни въ одну психіатрическую книгу, и въ этомъ отношеніи сочиненіе его дѣйствительно можетъ обратить на себя вниманіе. Въ Германіи рѣдко появляется работа, сдѣланная такъ безсовѣстно-небрежно и съ такимъ полнымъ незнаніемъ предмета. Онъ старается доказать что его пріемъ и теорія совершенно новы и оригинальны; ему хочется быть основателемъ школы какъ Гейнротъ, какъ Гербартъ, какъ Локкъ, — и въ этомъ онъ частью успѣлъ. Дѣйствительно, онъ отмежевалъ себѣ такое мѣсто въ психіатрической литературѣ, которое занимаютъ немногіе, такое, какое заняли бы въ теоретической сравнительной анатоміи человѣка люди, имѣющіе о ней понятіе по руководству Гегенбауера и никогда не слыжавшіе о существованіи эмбриологіи и тератологіи (науки объ уродахъ). Но лучше обратиться къ самой книгѣ и разсмотрѣть ее.

Уже въ предисловіи Вундтъ говоритъ о единствѣ и нераздѣльности души, оставляя впрочемъ читателя въ совершенномъ недоумѣніи относительно того, что онъ называетъ душою; онъ впоследствии высказываетъ свой взглядъ, если только можно назвать взглядомъ какую-то странную, неопредѣленную болтовню, блистающую самыми рѣзкими противорѣчіями. Въ предисловіи онъ, впрочемъ, называетъ душой сумму душевныхъ отправления (или способностей), именно: чувства, желанія, ощущенія, представленія, понятія, и т. д. Но принимать эти отправления независимыми или, по крайней мѣрѣ, не безусловно связанными между собою, въ сущности вовсе не нелѣпо; этотъ взглядъ оправдывается очень многими фактами душевныхъ болѣзней, въ которыхъ, повидимому, поражена одна какая нибудь способность, даже очень ограниченная, напр. способность къ нѣкоторымъ представленіямъ. Частное пораженіе воли создало даже всю теорію мономаній, которую очень многіе психіатры защищали

еще недавно, и даже въ 1862 г. Мори, въ своемъ превосходномъ сочиненіи о душевныхъ болѣзняхъ, высказался въ пользу мономаній въ томъ смыслѣ, какъ ихъ понималъ Эскироль.

Опытъ, говорить Вундтъ, составляетъ главный методъ естественныхъ наукъ, и потому его должно употребить и въ психологіи. Это, конечно, совершенно справедливо, но недостаточно высказать истину, въ которой никто, вѣроятно, не сомнѣвается; нужно еще показать, какъ примѣнить ее, нужно создать методъ,—это главная и самая трудная задача современной психологіи. Физиологія мозга еще почти неизвѣстна; исключительно психологическіе опыты дадутъ всегда только сомнительные и спорные результаты, и притомъ производить ихъ чрезвычайно трудно,—и, конечно, не опытъ съ цвѣтными тѣнями можетъ объяснить физиологическій процессъ мысли, понятія и чувства. Вундтъ предлагаетъ сверхъ того еще исторію, какъ богатый матеріалъ для психологическихъ выводовъ; но неужели онъ думаетъ, что это новая мысль? Исторія давно уже употребляется, какъ доказательство различныхъ психологическихъ системъ, но уже одного этого достаточно, чтобы сдѣлать ее доказательствомъ, чрезвычайно сомнительнымъ, и притомъ это значить не выходить изъ прежняго метафизическаго метода, а лишь слегка измѣнить его. Историческій методъ не даетъ ничего; какая изъ общественныхъ системъ, отъ крайняго социализма до крайняго консерватизма, не извлекала изъ исторіи доказательствъ въ свою пользу? Историческій методъ можетъ быть употребленъ развѣ только какъ подтвержденіе.

Первая глава посвящена исторіи психологіи и разбору, а, слѣдовательно, и опроверженію умозрительнаго и діалектическаго метода. Съ первыхъ же строкъ авторъ говоритъ, что ни одна наука не представляетъ столько спорныхъ вопросовъ, какъ психологія; даже самое существованіе ея подвержено сомнѣнію. Одни, говоритъ онъ, думаютъ, что психологія давно уже отжила, другіе — что она только что создается. Въ этомъ нѣтъ ничего страннаго, даже болѣе, — надо сказать, что обѣ стороны правы; психологія, какъ метафизическая наука, отжила свой вѣкъ, и ничто уже, никакая физиологическая подкраска не воскреситъ ее; но психологія, какъ естественная наука, какъ часть физиологіи, конечно, едва начинаетъ свое существованіе.

Изложеніе метафизическаго метода чрезвычайно просто и понятно, такъ что изъ нѣсколькихъ страницъ можно получить уже ясное представленіе о томъ, какими полезными и пріятными соображеніями за-

нимались будто бы серьезные и ученые люди. Но странно и иронично Вундта; онъ находитъ, что философія должна только объяснять, а не исправлять то, что возникло историческимъ путемъ. Трудно понять, какая же практическая выгода будетъ въ этомъ объясненіи? Наконецъ, каждый можетъ стараться исправлять то, что кажется ему неправильнымъ, хотя бы оно и возникло историческимъ путемъ (а что же возникло иначе?), и почему именно философія будетъ лишена этого права? Или она вовсе не должна «спускаться въ общественную жизнь», а витать гдѣ-то въ высотѣ, не трогая «проклятыхъ вопросовъ»?

Во второй главѣ разбирается материализмъ — и какъ разбирается, и что за материализмъ разбирается! Вундтъ очень наивно замѣчаетъ, что материализмъ есть древнѣйшее міросозерцаніе, которое возвращается отъ времени до времени снова, какъ односторонній протестъ противъ излишняго пристрастія къ утѣствованію. И такъ, Молешотъ и Гексли не больше, какъ односторонній протестъ противъ какого нибудь Фрошшамера? И какое сходство между древнимъ материализмомъ, который считалъ душу особымъ тонкимъ веществомъ, достаточно тонкимъ, какъ говоритъ Грзингеръ, чтобы при случаѣ прослыть за духъ — «*um gelegentlich für Geist passiren zu können*», — и нынѣшнимъ воззрѣніемъ Молешота, доказывающаго, что мысль есть продуктъ организма, его отправленіе! Впрочемъ Вундтъ говорить это больше по наивности; онъ самъ не понимаетъ ни что такое материализмъ, ни что такое его собственное мнѣніе, — иначе онъ никогда не относился бы такъ къ тому, что онъ называетъ материализмомъ. Онъ говоритъ, что материализмъ развился изъ сепсуализма Локка и Кондильяка, — но самъ не понимаетъ, что все основаніе его собственного взгляда есть чистый сепсуализмъ, который неизбежно приводитъ къ материализму, котораго Вундтъ такъ бонется, и если самъ Вундтъ не пришелъ къ нему, то это, вѣроятно, болѣе изъ постороннихъ соображеній, — «чтобы гусей не раздражить», — можно было-бы сказать, если-бы этому не протпворѣчило наивное тупоуміе автора. Интересно было-бы, если бы Вундтъ нѣсколько объяснилъ болѣе реально, какъ же изъ ощущеній, которыя онъ признаетъ материальными, т. е. органическими, по которыя сопровождаются сужденіями, развиваются представленія и понятія? Ощущенія составляютъ отправленія организма, — а что же такое сужденія, представленія и т. д.? Что-же это, — нѣчто, лежащее внѣ организма, да или нѣтъ? Если онъ отвѣтитъ *да*, то впадетъ неизбежно въ идеалистическое

возрѣніе, котораго онъ такъ боится; если *нѣтъ* (и онъ дѣйствительно говоритъ *нѣтъ*), то ему неизбѣжно приходится согласиться, что они берутъ начало въ организмѣ, зависятъ отъ него, производятся имъ. Этого Вундтъ хочетъ избѣгнуть словами, фразами, неясностями, но логика неминуемо приводитъ къ одному изъ двухъ старыхъ возрѣній,—и фразами, что все это не особыя отправленія, а одно цѣлое, составляющее одинъ процессъ, никакъ не спасешься отъ ужаса, называемаго матеріализмомъ. Каково напр. слѣдующее соображеніе: «естествоиспытатель, отождествляя мышленіе и отправленіе мозга, очевидно дѣлаетъ самъ ошибку противъ перваго правила естественной логики, которая говоритъ, что только та связь явленій, необходимость которой можетъ быть доказана, должна разсматриваться, какъ причинная». Читатель, конечно, останавливается въ недоумѣніи и спрашиваетъ себя: какъ же это, пеужели пѣтъ необходимой связи между мозгомъ и мыслью? Оказывается, что связь эта еще не доказана; но Вундтъ, говоря это, забылъ о психіатріи, которая вся основана на этой связи. Или, быть можетъ, онъ не признаетъ и психіатріи? Вотъ нигилизмъ! «Но, прибавляетъ онъ въ видѣ уступки, предположимъ даже, что связь эта доказана, *тѣмъ не менѣе мышленіе есть нѣчто дѣйствительное и составляетъ предметъ нашего опыта*»,— въ томъ смыслѣ, что мы можемъ разсматривать наше мышленіе, можемъ изучать его. Это можно сравнить съ тѣмъ, если бы читатель, беря въ руки книгу Вундта, замѣтилъ, что авторъ—физиологъ; на это я возражаю,—«о нѣтъ, авторъ не физиологъ, онъ нѣмецъ!» И когда меня убѣдили бы, что Вундтъ дѣйствительно приватъ-доцентъ физиологіи въ Гейдельбергѣ, я съ тупымъ упорствомъ говорилъ-бы, «положимъ, что онъ и физиологъ, но тѣмъ не менѣе онъ нѣмецъ.» Читатель, прочтя книгу Вундта, можетъ быть даже нашелъ бы, что я правъ.

На одной изъ своихъ лекцій Гельмгольцъ замѣтилъ, что матеріализмъ тоже философская система, потому что онъ выходитъ не изъ непосредственныхъ фактовъ, а главнымъ образомъ изъ философскаго положенія, что нѣтъ явленія безъ причины, т. е. изъ закона причинности. Недурно было бы Вундту вспомнить это; тогда, вѣроятно, онъ не говорилъ бы такого вздора и не дѣлалъ бы такихъ наивныхъ возраженій матеріализму, какъ напр. то, что не все можетъ быть воспринято чувствами, что есть эфиръ, который не имѣетъ тяжести и о существованіи котораго мы знаемъ только по произво-

димымъ имъ явленіямъ—свѣту и теплотѣ. Интересно знать, какъ же мы узнаемъ о существованіи всѣхъ другихъ предметовъ, если не по производимымъ ими явленіямъ? И чѣмъ же воспринимаемъ явленія свѣта и теплоты, какъ не чувствами? Аристотель, котораго такъ любить Вундтъ, давно уже сказалъ, что у насъ въ душѣ нѣтъ ничего, чтобы не было прежде въ чувствахъ. И какъ же мы знали бы о существованіи ээира, если бы онъ не производилъ на наши чувства какого нибудь впечатлѣнія? Напр. послѣ того томительнаго чувства невыносимой скуки, которое я испыталъ, читая книгу Вундта, я навѣрное знаю, что она существуетъ; я могъ бы даже сказать, читая ее, знаменитую фразу Декарта, нѣсколько измѣнивъ ее: «я скучаю, слѣдовательно книга Вундта существуетъ».

Но еще курьезнѣе слѣдующее соображеніе нѣмецкаго Киоа Мокиевича: протяженіе есть точно такое же свойство «матеріи, какъ и тяжесть». Но тяжесть, не есть неизбѣжное свойство, по его словамъ; доказательство—эфиръ. Слѣдовательно, и протяженіе не есть непремѣнное свойство вещества, такъ что есть вещества, неимѣющія протяженія. «Это, конечно, трудно себѣ представить» (очень трудно), говоритъ Вундтъ, но развѣ все, что существуетъ, непремѣнно должно производить впечатлѣніе на наши чувства? Развѣ нѣтъ, вѣроятно, безчисленнаго множества міровъ, о которыхъ ничего не знаютъ сами астрономы, потому что они находятся за предѣлами нашего зрѣнія, даже съ помощью телескоповъ?» Необыкновенно находчиво! Точно матеріализмъ говорилъ когда-нибудь, что нѣтъ ничего, чего бы мы не ощупывали, не видѣли и т. д. Вундтъ подозреваетъ, что матеріалисты отрицаютъ эти міры, о которыхъ онъ говоритъ: странное понятіе составилъ онъ себѣ о матеріалистахъ! Возразивъ такъ побѣдоносно матеріалистамъ, Киоа-Мокиевичъ пускается уже въ дальнѣйшія разсужденія. «Кто скажетъ намъ, вопрошаетъ онъ, что протяженіе (опять протяженіе!) есть непремѣнное свойство вещей?» «Только опытъ могъ-бы сказать намъ это, продолжаетъ соображать онъ, но опытъ говоритъ противное, именно—что есть нѣчто, ускользающее отъ нашихъ чувствъ, и это нѣчто есть мышленіе». Вотъ такъ сообразилъ! Самъ считаетъ мышленіе вещью, а упрекаетъ еще матеріалистовъ! Кабанисъ сказалъ въ прошломъ столѣтіи, а Карлъ Фогтъ повторилъ въ нынѣшнемъ, что мозгъ точно также образуетъ мысль, какъ печень—желчь. Вундту этого показалось мало: онъ просто причислялъ—и даже не мысль, а мышленіе, das Denken, къ ве-

щамъ, и говорить, что эта вещь не имѣеть протяженія и, слѣдовательно, составляетъ исключеніе. Помилуйте, да это такой матеріализмъ, который вы сами называете *грубѣйшимъ*, при видѣ котораго Молешотъ съ ужасомъ отступить, а Фогтъ стыдливо закроется и станетъ читать «да воскреснетъ Богъ». Онъ просто самъ не знаетъ, что говорить, и это у него нечаянно съ пера сорвалось; онъ даже не прочь вступить въ бесѣду съ матеріалистомъ (я ошибся—съ самимъ матеріализмомъ); матеріализмъ говоритъ ему: «конечно мозгъ, который я могу оцупать, не есть еще мысль, но онъ образуетъ ее», и т. д.; на это Вундтъ остроумно отвѣчаетъ: «дѣятельность мозга, дѣйствительно, составляетъ одно изъ условій мышленія (мозговая дѣятельность есть только условіе мышленія!), но, *можетъ быть*, есть еще и другія условія,—почемъ мы знаемъ? Сказать, что я знаю *одно* только условіе явленія, слѣдовательно, другаго условія нѣтъ, или даже (здѣсь Вундтъ уже закусываетъ удила и со всѣхъ четырехъ ногъ бросается въ безмыслицу), если я не знаю, *какъ* совершается явленіе, говорить, что его вовсе нѣтъ—значитъ идти противъ правилъ здраваго разсудка. Если человѣкъ потерялъ свое свидѣтельство о рожденіи, кто скажетъ, что онъ не родился? Можетъ быть полиція, но, конечно, не естествоиспытатель.» Я даже подозреваю, что и полиція не скажетъ. Не стыдно-ли обвинять полицію въ такомъ нигилизмѣ, будто она станетъ отрицать, что человѣкъ родился, если у него нѣтъ свидѣтельства о рожденіи? «Но новѣйшій матеріализмъ не далъ ни одного результата положительнаго изслѣдованія, о которомъ стоило бы говорить», важно продолжаетъ Вундтъ, и напрасно дѣлаетъ; лучше было бы если бы остановился. Вотъ что значитъ говорить о вещахъ, до которыхъ своимъ умомъ дошелъ,—рискуешь жестоко изовратиться. Если бы Вундтъ прочелъ хотя-бы «*Physiologie de la pensée*» Лелю, то въ книгѣ его было бы однимъ взоромъ меньше; впрочемъ въ такой массѣ вдора и болтовни немного больше, немного меньше—ровно ничего не значить. Матеріализмъ создалъ психіатрію, создалъ сумасшедшіе дома, гдѣ больныхъ лечатъ, обходятся съ ними хорошо, а не держатъ на цѣпи и не бьютъ кнутомъ, какъ было до 1792 г. во Франціи и до 1840 еще случалось въ Бедламѣ въ Англіи; матеріализмъ отмѣнилъ наказанія и водяныя холодныя души Лере, считавшаго больныхъ людьми, которые ошибаются. Внѣ матеріализма психіатріи нѣтъ и не можетъ быть; хотя Фальре и говорить о двой-

ственной натурѣ чловѣка, но въ сущности онъ отъявленнѣйшій материалистъ; а Гривингеръ, величайшая знаменитость настоящаго времени по психіатріи, а Моро, сдѣлавшій первый психологическій опытъ (дѣйствительно психологическій, а не съ цвѣтными тѣнями), они даже и не скрываютъ своихъ гнусныхъ убѣжденій и откровенно признаются въ материализмѣ. Мало того, они прямо говорятъ, что только материализмъ даетъ возможность идти впередъ въ психіатріи; въ тотъ моментъ, какъ психіатры отказались бы отъ этого взгляда, нужно было бы уничтожить сумасшедшіе дома, «и всѣ мы, врачи и больные, директоры и сидѣлки, обратились бы въ сборище преступниковъ». А Вундтъ находитъ, что материализмъ не далъ ни одного результата, о которомъ стоило бы говорить!

Далѣе, прославляя опытъ, Вундтъ замѣчаетъ, что до сего времени въ психологіи почти не дѣлалось опытовъ. Это совершенно справедливо, но только потому, что опытомъ въ психологіи называется нѣчто совершенно иное, чѣмъ то, о чемъ говоритъ Вундтъ. Понятно, что такіе психологическіе опыты, какіе дѣлали Моро, Бріерръ-де-Буа-монъ, Мори, дѣлаютъ немногіе; опытовъ же въ родѣ цвѣтныхъ тѣней сдѣлано очень много — и не Вундтомъ. Но психологіи они ничего почти не дали; Мюллеръ, Фехнеръ, Веберъ, Фальманъ, Гельмгольцъ, Шельске, Шюеъ, Фикъ, — да всѣхъ не перечтешь, — всѣ они дѣлали подобные опыты, но дѣлали добросовѣстно и скромно, и, опредѣляя токъ живого нерва, не кричали, что измѣряютъ скорость мышленія. О дѣйствительно психологическихъ опытахъ Вундтъ, очевидно, никогда не слыживалъ, и на этомъ основаніи совершенно отрицаетъ ихъ существованіе, т. е. именно поступаетъ такъ, какъ поступаетъ фантастическій идиотъ-материалистъ, съ которымъ онъ нускается въ пренія въ своей книгѣ. Психологическіе опыты — дѣло страшное и трудное: въ нихъ субъектъ рискуетъ разсудкомъ, т. е. величайшимъ своимъ благомъ; понятно, что на такіе опыты находится немного охотниковъ. Ихъ дѣлаютъ обыкновенно надъ собой, потому что дѣлать ихъ *in anima nobili* нельзя, — попадешь въ нигилисты, какъ попали Фаллопій въ старину, Рикоръ, Лере, Шюда — въ новѣйшее время; относительно Шюды обвиненіе въ нигилизмѣ (*nihilismus*, даже слово это было употреблено) было выказано печатно. Вотъ какая знаменитая родня у Базарова!

Затѣмъ, сяясь доказать, что опытъ необходимъ, въ чемъ ему

никто не противорѣчитъ, Вундтъ говоритъ, что недостаточно собрать большое количество наблюдений: «развѣ причина бури была найдена тѣмъ, что наблюдали по возможности большее количество бурь?» Совершенно справедливо, что причины бури были найдены иначе и что статистическій методъ (согласитесь, что это статическій методъ) не можетъ ничего дать ни въ объясненіи бурь, ни въ психологіи. Потрудитесь теперь перевернуть назадъ страницу, и вы найдете слова: «въ статистическихъ данныхъ, не смотря на ихъ недостаточность, лежитъ богатое сокровище психологическихъ наблюдений». Какъ же это совмѣстить? И нужно наблюдать много бурь, и не нужно наблюдать? Вотъ къ чему можетъ привести желаніе непременно написать два тома о предметѣ, о которомъ ничего не знаешь. Вещь извѣстная, что въ психологіи статистика не можетъ дать еще никакихъ результатовъ; статистическій методъ хорошъ тамъ, гдѣ нужно опредѣлить большее или меньшее значеніе какого-нибудь фактора, но никуда не годится, если неизвѣстно, какіе даже могутъ быть факторы.

Извѣстно, что все имѣетъ границы, развѣ кромѣ скуки, которую нагоняютъ разсужденія Вундта, и потому очень важно знать эти границы. Воодушевившись важностью опыта въ психологіи, Вундтъ увлекся и сталъ утверждать, что даже астрономія, эта наука по преимуществу наблюдательная, первоначально основывается на опытѣ. Читатель приходитъ въ нѣкоторое смущеніе и начинаетъ перебирать, какой опытъ можетъ служить первоначальнымъ основаніемъ астрономіи. Не трудитесь напрасно; вы никогда не догадаетесь: дѣло идетъ объ опытѣ, сдѣланномъ Коперникомъ, «чтобъ доказать земли вращеніе». Смущеніе читателя, конечно, увеличивается, — онъ никогда не слыхалъ объ опытѣ Коперника, кромѣ того, что въ пѣсни поется. Вотъ какъ было дѣло: «прежде думали, что солнце вертится вокругъ земли, и хотя многія явленія противорѣчили этому, но наблюденіе не давало лучшей объясненія. Тогда появился Коперникъ и сказалъ: хорошо, теперь я встану на солнце! Смотрите, теперь земля начинаетъ вертѣться, — и новая система міра была готова (буквально!). Это былъ опытъ, хотя и опытъ умственный». Какъ славно понимаетъ Вундтъ, что такое опытъ! Если онъ будетъ дѣлать подобныя опыты, то сомнительно, чтобы отъ нихъ психологія много выиграла.

Не только человѣческую душу (что такое душа, это объяснится

впослѣдствіи; пока довольно знать, что такое мышленіе), но и душу животныхъ беретса объяснить намъ Вундтъ. Наблюденіе надъ животными и изслѣдованіе ихъ, конечно, расширяетъ рамки работы, и во многомъ должно бросить яркій свѣтъ на многія темныя явленія человѣческаго духа; мы увидимъ «одну большую картину духовной жизни всего оживленнаго міра», которую обѣщаетъ показать намъ Вундтъ. Но чтобы исполнить такую широкую задачу, нужно много наблюдать, много читать, много учиться; нужно, однимъ словомъ, долгое подготовленіе и большія знанія, требующія долгой и упорной работы. Что же Вундтъ—онъ зоологъ, сравнительный анатомъ? Ничуть не бывало; онъ—смѣлый человѣкъ, который надѣется дойти до сотворенія міра своимъ умомъ; до сотворенія-то онъ не дошелъ, но зато дошелъ до потери собственнаго смысла.

Но чтобы говорить о душѣ животныхъ, надо имѣть понятіе хотя о системѣ животнаго царства. Нисколько! такимъ блестящимъ умомъ, какъ Вундтъ, достаточно знать, что на свѣтѣ есть животныя. «Духовная жизнь есть также рядъ силъ, гдѣ одно существо примыкаетъ къ другому въ необозримой цѣпи.» Итакъ, по его мнѣнію, животное царство составляетъ одну непрерывную цѣпь! Достаточно уже этого, чтобы показать, что Вундтъ не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о зоологіи и сравнительной анатоміи: это представленіе животнаго царства было еще въ ходу въ 20-хъ, 30-хъ годахъ, и Жоффруа-Сентъ-Илеръ былъ едва-ли не послѣднимъ защитникомъ этой теоріи, «послѣдній могикианъ собственныхъ своихъ идей», какъ сказалъ Клапаредъ о Келликерѣ. Съ того времени всѣ работы показали, что животное царство составляетъ чрезвычайно сложную сѣть, гдѣ одні вѣтви не переходятъ извѣстнаго геологическаго періода, другія въ немъ раздѣляются на двѣ, на три отрасли, вѣтви переходятъ одна въ другую, сливаются, идутъ иногда внизъ для нѣкоторыхъ видовъ животныхъ, которые вырождаются, и т. д. Дарвинъ и Броннъ представили это даже графически, но обо всемъ этомъ Вундтъ знать ничего не хочетъ и непремѣнно желаетъ объяснить намъ душу животныхъ.

Третью свою лекцію онъ пачинаетъ словами: «я начинаю съ человѣческой души». Увы, зачѣмъ не остановился онъ на ней? О человѣческой душѣ можно говорить всякій вздоръ, — извѣстно, что психологу все спускается, «совреть, простятъ», — на то онъ и психологъ; но отъ человѣка, говорящаго о животныхъ, по стран-

пой нелогичности, требуютъ дѣйствительныхъ знаній. Зачѣмъ не оставился Вундъ на чѣловѣческой душѣ? Мы ничего не проиграли бы, а онъ много выигралъ бы.

Итакъ, метафизическій методъ похороненъ; онъ окончательно нигуда не годится, по мнѣнію Вундта; надо обращаться къ фактамъ; по даже простое наблюденіе не удовлетворяетъ Вундта; онъ требуетъ опыта. «Развѣ открыли причину бури и т. д.» Посмотримъ же, въ какой степени дѣйствительно онъ отказался отъ «злоупотребленія мысли».

«Какъ только я перестану мыслить, я непремѣнно долженъ перестать существовать. Я всегда убѣжденъ, что и въ слѣдующую минуту буду думать, потому что опытъ никогда не противорѣчитъ этому. Но опытъ и не можетъ противорѣчить такой увѣренности. Если я хочу убѣдиться опытомъ, что я не думаю, то я долженъ продумать этотъ опытъ. Не думая, я ничего не могу узнать и т. д.» Вотъ какъ понимаетъ и объясняетъ Вундтъ этотъ вопросъ. Между тѣмъ факты показываютъ намъ, что сумасшедшіе при остромъ слабоуміи (*dementia acuta*) напр. очень хорошо чувствуютъ, что у нихъ нѣтъ болѣе мысли, что они не могутъ мыслить; положимъ, это можно объяснять иначе,—но какъ же объясните, что больные, выздоровѣвъ, очень хорошо помнятъ, что они не думали во время своей болѣзни? Въ этомъ случаѣ они, слѣдовательно, могли убѣдиться опытомъ, что можно существовать и не думать; это очень хорошо извѣстно психіатрамъ и не однимъ психіатрамъ. Но, повидимому, такого простого обстоятельства Вундъ и не подозреваетъ. Какой же методъ принялъ онъ для своихъ изслѣдованій или измышленій — метафизическій или фактический? Но это еще ничто въ сравненіи съ дальнѣйшимъ. Конецъ перваго тома и почти весь второй наполнены исключительно личными соображеніями автора о томъ, что такое нравственность, что такое понятіе, и т. д. Неужели онъ считаетъ свой методъ естественно-научнымъ, а не метафизическимъ? И еще какимъ метафизическимъ!.. Это метафизика именно въ томъ смыслѣ, какъ понималъ ее Вольтеръ.

Далѣе мы узнаемъ, что «мышленіе есть время», и, вмѣстѣ съ тѣмъ, что время есть вѣрное мѣрило мышленія, и разныя тому подобныя измышленія. Любопытно было бы знать, какъ это можно дойти до подобныхъ соображеній естественнымъ, а не метафизическимъ методомъ, и насколько соображенія эти подвигаютъ психологію, какъ

опытную науку, о чемъ такъ хлопочетъ Вундтъ. Но замѣчательно, что въ своихъ измышленіяхъ Вундтъ особенно несчастливъ; ужъ Богъ его знаетъ по какой причинѣ,—но только всѣ положенія его рѣзко противорѣчатъ научнымъ фактамъ. Такъ напримѣръ, онъ говоритъ, что «время и мышленіе идутъ всегда вмѣстѣ»; что они тождественны между собою», а между тѣмъ мы очень хорошо знаемъ, что въ нѣкоторыхъ формахъ бѣшенства и особенно безумія (Wahnsinn или почти то, что французы называютъ folie systematisée), и иногда при помѣшательствѣ (Verrücktheit) больной думаетъ, но совершенно теряетъ понятіе о времени; Моро доказалъ опытомъ, что тоже самое совершается при дѣйствіи хашиша, и нѣкоторыя указанія на нѣсколько похожее состояніе можно найти въ чрезвычайно любопытной книгѣ «Воспоминанія курильщика опиума».

«Потребность измѣрять время показываетъ, что время было уже предварительно. Нельзя искать чего нибудь, о чемъ узнаешь въ первый разъ по находеніи.» Странно! Обыкновенно въ наукѣ именно то и ищутъ, чего еще не знаютъ; вотъ самъ Вундтъ отъискиваетъ, что такое и какъ совершается духовная дѣятельность оживленныхъ существъ, и, написавъ объ этомъ два тома, не имѣетъ даже ни малѣйшаго понятія о предметѣ,—слѣдовательно, можно отъискивать предметъ, о которомъ ничего не знаешь, не только прежде, но и послѣ. Въ этомъ случаѣ впрочемъ Вундтъ вѣроятно хотѣлъ сказать, что нельзя искать предметъ, о существованіи котораго не знаешь, что вовсе не все равно; но съ Вундтомъ надо всегда догадываться.

Любопытно, какъ Вундтъ понимаетъ самъ свои собственныя разсужденія; онъ кончаетъ эту длинную тираду слѣдующимъ образомъ: «И такъ, раньше всякаго искусственнаго измѣренія времени самое время должно уже было существовать.» Вслѣдъ затѣмъ онъ говоритъ: «Но если существовало время, то оно должно было какъ нибудь измѣряться; *время безъ измѣренія также немисливо*, какъ пространство безъ протяженія. Но для всякаго измѣренія нужны три предмета: то, что измѣряется, тотъ, кто измѣряетъ, и то, чѣмъ измѣряется. Время должно быть измѣряно. Является человекъ, чтобы измѣрить его» и т. д. Какъ же это—время существовало до его измѣренія, и время немисливо безъ измѣренія? Если время не можетъ существовать безъ измѣренія, а измѣряетъ его человекъ, то, слѣдовательно, предшествовавшіе геологическіе періоды, когда человека

еще не было, были внѣ времени? И это называется естественнымъ, а не метафизическимъ методомъ?

Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Мы узнаемъ далѣе, что «время есть самъ человѣкъ», и вмѣстѣ съ тѣмъ, что человѣкъ есть мѣрило времени, и что онъ самъ себя и самъ собою мѣряетъ. Не правда-ли, какъ это все ясно, и какіе важные практическіе, реальныя результаты даетъ подобный *естественный* методъ изслѣдованія для пониманія духовной дѣятельности человѣка съ физиологической точки зрѣнія!

Относительно наименьшей единицы времени, величина которой, конечно, регулируется для насъ быстротой нашей психической дѣятельности, Вундтъ приводитъ нѣсколько любопытныхъ (не своихъ) замѣчаній. Извѣстно, что мы не можемъ замѣтить очень мелкаго дѣленія времени, и потому для этого давно уже прибѣгаютъ къ графическому способу, единственному, который можетъ дать вѣрные результаты. Графическій способъ основанъ на очень простой связи между временемъ и пространствомъ; если тѣло проходить въ секунду одинъ дюймъ и притомъ движется равномерно, то, очевидно, $\frac{1}{100}$ дюйма будетъ соотвѣтствовать $\frac{1}{100}$ секунды, $\frac{1}{1000}$ дюйма — $\frac{1}{1000}$ секунды и т. д.; а такъ какъ тонкое дѣленіе пространства намъ гораздо доступнѣе, нежели тонкое дѣленіе времени, то такой графическій способъ и употребляется обыкновенно при измѣреніи большихъ скоростей, напр. скорости тока въ нервѣ ($61\frac{1}{2}$ метръ въ секунду). Къ сожалѣнію, Вундтъ торопился перейти опять къ собственнымъ соображеніямъ и сказалъ только нѣсколько словъ о чрезвычайно любопытномъ и важномъ опытѣ измѣренія скорости тока въ нервѣ; это тѣмъ болѣе жаль, что во всѣхъ популярныхъ физиологіяхъ о нервной физиологіи говорится очень мало и вскользь. Если бы Вундтъ рассказалъ главные опыты нервной физиологіи, объяснилъ законы, найденные въ ней, то, не смотря на все его тушуя разсужденія, ему можно было бы сказать большое спасибо; но ему некогда; онъ едва говоритъ нѣсколько словъ о Гельмгольцѣ и ни слова о работахъ другихъ физиологовъ, и торопится скорѣе къ своей психологической ерундѣ.

Говоря объ опытѣ, которымъ опредѣляется скорость нервнаго тока въ живомъ чедовѣкѣ, Вундтъ умолчалъ объ одномъ чрезвычайно важномъ обстоятельстве, на которое между тѣмъ слѣдовало бы обратить особенное вниманіе. Оно состоитъ въ томъ, что первые опыты обыкно-

венно не годятся, потому что человекъ, надъ которымъ они производятся, еще *не привыкъ* и потому не достаточно дѣлаетъ движенія. Эту *привычку* нѣкоторые объясняютъ, и не безъ основанія, тѣмъ, что при первыхъ опытахъ человекъ долженъ каждый разъ *подумать*, что ему нужно сдѣлать движеніе; впоследствии же онъ дѣлаетъ его *машинально*, т. е. движеніе производится уже автоматизмомъ *по привычкѣ, на память*, т. е. дѣлается уже простымъ рефлексивнымъ движеніемъ. Эта память движенія прекрасно объяснена у Гризингера въ его «Патологіи и тераціи душевныхъ болѣзней». Тотъ-же автоматизмъ (кромя многихъ другихъ обстоятельствъ) встрѣчается и при счетѣ; Вундтъ говоритъ, что если мы будемъ считать «одинъ, два, три и т. д.», то передъ каждымъ числомъ мы имѣемъ представленіе этого числа, и потому скорость счета можетъ быть мѣрломъ скорости смѣны представленій, т. е. мышленія. Но это совершенно неправильно; считая, мы вовсе не имѣемъ представленія о каждомъ числѣ особенно, а только о всемъ счетѣ вообще. Попробуйте считать на языкѣ, къ которому вы не особенно привыкли, тогда этого автоматизма нѣтъ,—считающій долженъ непременно вызывать каждое отдѣльное представленіе, и счетъ идетъ гораздо медленнѣе. Это же замѣчается при всѣхъ движеніяхъ или дѣйствіяхъ; если мы *привыкли* къ нимъ, т. е. если не должны вызывать для каждаго отдѣльнаго движенія представленіе объ этомъ движеніи, если мы не должны *хотѣть* сдѣлать каждое движеніе отдѣльно, и если достаточно вызвать въ себѣ представленіе о всемъ дѣйствіи вообще, которое уже несознательно для насъ разлагается на составляющія его отдѣльныя движенія, то самое дѣйствіе будетъ производиться гораздо увѣреннѣе и быстрѣе. Такимъ образомъ счетъ, стуканье пальцемъ и проч. никакъ не могутъ служить для измѣренія скорости мысли, какъ думаетъ Вундтъ; надо замѣтить притомъ, что физиологи, которые придумали эти опыты, никакъ не измѣряли ими скорость мысли, что уже совершенно и исключительно принадлежитъ воображенію Вундта.

Опытъ самого Вундта, которымъ онъ доказываетъ, что мы не можемъ въ одинъ и тотъ же моментъ сознать двухъ впечатлѣній, очень любопытенъ, конечно, но далеко не имѣетъ того значенія, которое хочетъ придать ему авторъ. Во всякомъ случаѣ это *единственный* опытъ, который сдѣлалъ Вундтъ, и притомъ онъ не вывелъ изъ него никакого положенія, особенно важнаго для психи-

ческой жизни человѣка, и, чтобы рассказать его, не стоило писать двухъ томовъ вздора тѣмъ болѣе, что о немъ уже говорилось въ другой работѣ Вундта, болѣе скромной и потому болѣе любопытной.

Безчисленные противорѣчія, встрѣчающіяся въ книгѣ Вундта, показываютъ, что онъ не умѣлъ примѣнить и того метафизическаго метода, о которомъ онъ между тѣмъ отзывается такъ неблагопріятно; что же касается естественнаго метода, то читатель уже видѣлъ, какъ понимаетъ его Вундтъ и насколько онъ сумѣлъ справиться съ нимъ. Между тѣмъ, прочтя предисловіе и первыя страницы, можно подумать, что работа Вундта составитъ основаніе новой науки, откроетъ неизвѣстные до сего времени методы. Но не хвалися, идучи на рать, говорить пословица, и можно только пожалѣть, что Вундтъ не зналъ ее. Замѣчательна между прочимъ та путаница логическихъ приемовъ, которая царитъ въ головѣ Вундта. Мы уже видѣли остроумное сравненіе матеріализма съ полиціей, которая будто бы отрицаетъ рожденіе человѣка, потерявшаго свою метрику; Вундтъ полагаетъ, что матеріализмъ знаетъ только одно условіе мышленія (мозговую дѣятельность), а потому отрицаетъ существованіе всякаго другого. Между тѣмъ въ пятой главѣ, защищая мнѣніе Дюбуа-Реймона (несчастный Дюбуа-Реймонъ!), что верные процессы суть процессы исключительно электрическіе, Вундтъ говоритъ, что мы не знаемъ никакой другой силы, и что принимать чтонибудь другое — будетъ совершенно бесполезной гипотезой. Кто же въ этомъ случаѣ уподобился фантастической полиціи? Непонятно, какъ могутъ въ головѣ человѣка укладываться такіа противорѣчивыя представленія.

Седьмая глава заключаетъ чрезвычайно любопытные опыты Вебера и Фехнера о *приращеніи*, т. е. объ увеличеніи ощущенія при увеличеніи раздраженія; можно опять только пожалѣть, что Вундтъ не привелъ всѣхъ опытовъ и примѣшалъ собственныя объясненія, которыя по меньшей мѣрѣ бесполезны. Непонятно, почему въ физиологической части, которая ему, конечно, болѣе извѣстна, нежели психологическая, Вундтъ передаетъ чужое, а въ психологическихъ вопросахъ совершенно умалчиваетъ о предъидущихъ работахъ; знаетъ же онъ о воспоминательныхъ образахъ Фехнера, и трудно себѣ объяснить, почему не говорить о нихъ. Между тѣмъ отчетъ о работахъ Фехнера конечно интереснѣе и полезнѣе всѣхъ тупыхъ раз-

суждений, которыми наполнены конец первой части и вся вторая. Впрочем о всемъ сочиненіи можно сказать, что оно приводит много хорошаго и поваго, и жаль только, что новое не хорошо, а хорошее не ново. Жаль, что нитя поталантливѣ Вундта и съ меньшими претензіями на славу реформатора науки не возмется за популяризацию новѣйшихъ работъ по нервной физиологiи. Какъ интересны напр. всѣ работы Гельмгольца по звуку и свѣту, Вебера по ощущенію, и психофизическія Фехнера, даже не смотря на собственные словоизверженія Вундта. Примѣненіе аналитической геометріи къ опредѣленію зависимости между раздраженіемъ и ощущеніемъ имѣеть чрезвычайно важное значеніе для будущности нервной физиологiи. Гельмгольцъ доказалъ непосредственную зависимость между такъ называемою эстетическою стороною музыки и числомъ колебаній, составляющихъ звукъ, и направленіе это или, лучше сказать, этотъ методъ изслѣдованія распространяется все болѣе и болѣе. Бѣда эстетикамъ; какъ толковать тогда объ искусствѣ, если для этого будутъ требоваться положительныя знанія физики, математики и физиологiи!

Странно, что Вундтъ, говоря такъ много о чувственныхъ впечатлѣніяхъ, указывая даже на ихъ физиологическія ошибки, ни разу не вспомнилъ нѣкоторыхъ патологическихъ явленій. Разбирая ощущенія слуха, онъ замѣчаетъ чрезвычайно справедливо, что для уха почти нѣтъ покоя, потому что органъ этотъ такъ чувствителенъ, что уже раздражается слегка совершающимися въ немъ питательными процессами, т. е. кровообращеніемъ. Обыкновенно это раздраженіе намъ незамѣтно; но мы можемъ искусственно усилить его, приставивъ къ уху резонаторъ, и тогда ясно услышимъ шумъ. Это извѣстно, вѣроятно, каждому; стоитъ приложить къ уху раковину напр. или даже просто руку, чтобы услышать неопредѣленный гулъ. Но есть несчастныя натуры, имѣющія роковой даръ *d'entendre crier à toute heure les ressorts de leur machine*, какъ говорятъ Мэнъ-де-Биранъ; для нихъ эти пейсныя, незамѣтныя для насъ раздраженія чрезвычайно ощутительны и обыкновенно производятъ страшную болѣзнь—галлюцинаціи. Галлюцинаціи играютъ едва-ли не главную роль въ сумасшествіи; но легкія, едва замѣтныя или, лучше сказать, психическія внутреннія галлюцинаціи сопровождаютъ, вѣроятно, всякое ясное представленіе; поэтому и въ нормальной психологiи онѣ имѣють важное значеніе для возобновленія представленій и идей.

Исходя изъ этого факта, Лелю сдѣлалъ даже раздѣленіе идей на категоріи, но Вундтъ ничево не говоритъ объ этомъ, хотя совершенно сходится съ Лелю во многомъ касательно отношенія органовъ чувствъ къ мышленію. Такъ, Вундтъ постоянно старается доказать, что впечатлѣніе, полученное нами черезъ органы чувствъ, не сознается только какъ впечатлѣніе, но непосредственно переходитъ въ заключеніе, т. е. въ психическій процессъ, и это составляетъ, по его мнѣнію, основаніе психической жизни. Онъ рѣшительно не понимаетъ, что все это чистѣйшій сенсуализмъ, отъ котораго его нисколько не спасаетъ его мнѣніе, что это первоначальное заключеніе или сужденіе перерабатывается въ логическій процессъ, такъ какъ онъ не объясняетъ, какъ и гдѣ совершается эта переработка. Въ этомъ случаѣ нужно или согласиться, что процессъ этотъ происходитъ въ мозгу, т. е. прямо прійти къ крайнему матеріализму, такъ пугающему Вундта, или сказать, что онъ происходитъ независимо отъ организма въ особомъ, нравственномъ существѣ, т. е. впасть въ тотъ идеализмъ, который такъ несостоятеленъ по словамъ самого же Вундта. Впрочемъ онъ избѣгаетъ, по его мнѣнію, матеріализма именно тѣмъ, что смотритъ на психическую дѣятельность не какъ на непосредственное отправленіе нашей нервной системы, а какъ на особый процессъ, гдѣ органическое, матеріальное явленіе ощущенія производитъ уже духовное явленіе сужденія, которое въ свою очередь порождаетъ представленіе и т. д., и нѣсколько разъ обращаетъ вниманіе читателя на эту новую, по его словамъ, теорію, не подозревая, что онъ только очень плохо и несовершенно догадывается о томъ, что давно уже высказалъ Фальре и что въ психологін называется *théorie de la résultante psychique*, а въ психіатрін—*production du délire par le délire*. Но между догадками Вундта и теоріей Фальре та разница, что Фальре подтверждаетъ свое мнѣніе фактами и выводитъ его изъ наблюдений, слишкомъ одностороннихъ, конечно, но реальныхъ, тогда какъ Вундтъ лепечетъ свои догадки больше по вдохновенію.

Трудно понять, для кого писалъ Вундтъ. Если для людей, болѣе или менѣе знающихъ, то его книгу можно скорѣе принять за насмѣшку, за шутку, мистификацію, чѣмъ за серьезную работу; если же для людей, не имѣющихъ понятія о его предметѣ, то такимъ читателямъ часто придется стать въ тупикъ. Такъ напр. въ десятой главѣ онъ говоритъ, что свѣтъ и цвѣтъ (можно бы прибавить, что

и звукъ) — явления чисто субъективныя, а четыре страницы ниже замѣчаетъ, что только основной цвѣтъ (Grundfarbe) — субъективное явление, а спектральный цвѣтъ — явление объективное. Такое противорѣчье, вѣроятно, поставитъ въ тупикъ многихъ: что-же, наконецъ, цвѣтъ, — явление субъективное или объективное? Такая неясность не составляетъ большого недостатка въ специальной работѣ, которая прочтется специалистами, очень хорошо понимающими, что эти два цвѣта составляютъ совершенно различныя явления, — одинъ есть ощущение, и потому, конечно, субъективенъ, другой есть колебаніе эфира, и потому объективенъ; но въ популярной книгѣ это непростительная небрежность. Популяризаторъ не долженъ быть сфинксомъ, и популярная книга не должна нуждаться въ комментаріяхъ. Полезнѣе было бы яснѣе выражаться въ такихъ случаяхъ, чѣмъ доказывать на нѣсколькихъ страницахъ, что человекъ не можетъ въ одно и то же время, одною и тою же рукою, отрывать шпильку и работать молоткомъ или топоромъ.

Разбирая свойство ощущенія, Вундтъ разсматриваетъ вопросъ, гдѣ оно можетъ опредѣляться, — въ периферическомъ ли окончаніи чувствующаго нерва, т. е. въ органѣ чувства, или въ центральномъ, т. е. въ мозгѣ; но, прибавляетъ онъ, здѣсь не можетъ быть никакого сомнѣнія, если мы обратимъ вниманіе на разнообразіе и сложность периферическихъ окончаній и на одинаковость нервныхъ элементовъ въ мозгѣ. Затѣмъ онъ объясняетъ, какъ однообразны составныя части мозга. Не возражая даже на это, можно замѣтить, что, слѣдовательно, Вундтъ признаетъ самую тѣсную связь между строеніемъ мозга и психической дѣятельностью организма, что, между тѣмъ, онъ отвергаетъ въ началѣ своей книги. Сверхъ того, если однообразіе нервныхъ элементовъ указываетъ на однообразіе отправленій, то должно также существовать нѣкоторое вѣроятіе принимать и обратное, т. е., что анатомическое несходство мозга, вѣроятно, будетъ имѣть результатомъ и несходство психологическое духовной дѣятельности. Потрудитесь же теперь развернуть любую сравнительную анатомію и сравнительную гистологію, напр. хотя-бы Лейдига, и взгляните на нервныя элементы человѣка и безпозвоночныхъ; Вундтъ, вѣроятно, не станетъ отрицать, что они очень мало похожи другъ на друга: какъ же онъ не остановился передъ этимъ несходствомъ, и смѣло увѣриетъ, что между человекомъ и животными психологическая разница только количественная,

и что все царство животных и въ психическомъ отношеніи составляетъ непрерывную цѣпь? Неужели можно предположить одинаковое отправление въ столь сложномъ, собранномъ въ одно цѣлое, мозгѣ человѣка, и въ нервной цѣпи рака или лучисто расположенныхъ пяти узлахъ иглокожаго? Какъ же Вундтъ не подумалъ объ этомъ? Это мысль далеко не новая, и многіе уже высказывали мнѣніе, что мы никогда не поймемъ душевной дѣятельности насѣкомаго, потому что всѣ отправления его нервной системы должны имѣть характеръ, совершенно отличный отъ нашего; этимъ пытались даже объяснить инстинктъ, какъ особую способность, не имѣющую ничего аналогичнаго въ человѣкѣ.

Анализируя ощущение, Вундтъ приходитъ къ заключенію, что физическіе и психическіе процессы совершенно тождественны, и что все различіе ихъ зависитъ отъ того, съ какой точки зрѣнія смотрѣть на нихъ; такимъ образомъ, продолжаетъ онъ, уничтожается дуализмъ матеріальныхъ и психическихъ явленій. Но вѣдь и матеріализмъ не отказался бы отъ этой фразы; онъ даже никогда и не говорилъ ничего кромѣ этого; такимъ образомъ Вундтъ дѣлается матеріалистомъ, самъ не подозревая этого, какъ Журденъ говорилъ прозой. Онъ самъ чувствуетъ это, и, чтобы чѣмъ нибудь доказать свою независимость, взводитъ на матеріализмъ разныя небылицы, увѣряя напр. (въ началѣ четырнадцатой лекціи), будто матеріализмъ говоритъ, что вся духовная жизнь не только исходитъ изъ ощущенія, но и состоитъ единственно изъ ощущенія. Гдѣ же слышалъ Вундтъ что нибудь подобное? Никогда матеріализмъ ничего такого не говорилъ; но сенсуальная теорія, дѣйствительно, сводила все или, лучше сказать, выводила все изъ чувственныхъ ощущеній. Только противъ этого Вундту едва-ли прилично возставать, такъ какъ онъ самъ старается доказать самую тѣсную связь между чувственнымъ ощущеніемъ и представленіемъ, а слѣдовательно, и понятіемъ. Впрочемъ самыя поразительныя противорѣчія у него на каждомъ шагѣ. То онъ отрицаетъ напр. всякую цѣлесообразность въ рефлексивныхъ движеніяхъ, то говоритъ, что производящее ихъ раздраженіе возбуждаетъ воспоминаніе о подобномъ же раздраженіи и о слѣдующемъ затѣмъ движеніи, и это-то воспоминаніе производитъ новое движеніе; но очевидно, что движеніе въ такомъ случаѣ должно быть неминуемо цѣлесообразно. Притомъ подобное объясненіе, совершенно вѣрное, конечно, приводятъ къ той теоріи памяти и автоматизма, которая со-

вершенно противорѣчать его объясненію скорости мышленія, — это именно та теорія, которую еще такъ недавно высказалъ Гризингеръ. Эта теорія объясняетъ между прочимъ, какая огромная разница должна существовать и дѣйствительно существуетъ въ томъ случаѣ, гдѣ головной мозгъ не началъ еще дѣйствовать, т. е. у новорожденнаго ребенка, и тамъ, гдѣ онъ пересталъ дѣйствовать, какъ у обезглавленной лягушки. Кромѣ того, она ведетъ еще къ догадкѣ, что въ спинномъ мозгѣ есть нѣкоторая память ощущеній и движеній, и что, вслѣдствіе этого, онъ можетъ возбуждаться ощущеніями и возбуждать движенія; но это уже говоритъ въ пользу мнѣнія Шиффа, Флюгера и др., которые допускаютъ въ спинномъ мозгѣ нѣкоторую, конечно, темную, психическую дѣятельность. Между тѣмъ Вундтъ совершенно отрицаетъ эту психическую дѣятельность, не замѣчая, что она выводится какъ прямое слѣдствіе изъ его собственныхъ положеній. Но онъ считаетъ, вѣроятно, логику метафизическимъ методомъ и потому пренебрегаетъ ею.

Нападки на метафизическій методъ со стороны Вундта просто черная неблагодарность; единственно этому методу обязанъ онъ, что написалъ разбираемую книгу. Уже было говорено выше, какъ онъ понимаетъ, что такое время и мышленіе. Изъ семнадцатой лекціи мы узнаемъ, что такое пространство: «пространство есть опытъ». Это онъ доказываетъ слѣдующимъ образомъ: «я опытомъ убѣждаюсь, что существуютъ предметы внѣ меня; вмѣстѣ съ тѣмъ я опытомъ убѣждаюсь, что между предметами есть разстояніе, и что самые предметы имѣютъ различныя измѣренія, т. е. что они существуютъ въ пространствѣ и что, слѣдовательно, существуетъ пространство. Но что такое пространство? На это теперь мы можемъ уже отвѣчать: *пространство есть опытъ.*» Но такъ какъ посредствомъ опыта мы получаемъ понятіе не объ одномъ только пространствѣ, а о весьма многихъ предметахъ, то точно также можно опредѣлить и всѣ эти прочіе предметы. Подумайте, что это выйдетъ! Пространство Вундтъ справедливо тѣснымъ образомъ связываетъ съ чувствомъ зрѣнія. Дѣйствительно, это чувство составляетъ необходимое основаніе понятія о пространствѣ, такъ что мы не можемъ представить себѣ, какъ думаетъ объ этомъ слѣпой отъ рожденія. Но съ чувствомъ зрѣнія у насъ связано не одно это представленіе, а почти и всѣ другія; даже мышленіе и воспоминаніе сопровождаются легкимъ возбужденіемъ чувства зрѣнія, и потому понятно, до какой степени оно для

насъ важно. Это можно было бы вывести и а priori, изъ анатомическаго строенія мозга; зрительный нервъ распространяется центрально (въ головномъ мозгѣ) болѣе другихъ. «Внутри полушарій можно прослѣдить вѣрообразное распространеніе зрительнаго хода до конца задней доли; другія подобныя расширения идутъ впередъ во всѣ тѣ извилины, сильное развитіе которыхъ особенно характеризуетъ человѣческій мозгъ; самъ зрительный нервъ и его корень у четверныхъ тѣлъ у человѣка сравнительно малъ, мозговое же расширение его чрезвычайно развито. Оно составляетъ, повидимому, существенный характеръ мозга человѣка и высшихъ обезьянъ, и аппаратъ для нѣкоторыхъ новѣйшихъ психическихъ процессовъ. У животныхъ, гдѣ корень зрительнаго нерва идетъ, главнымъ образомъ, къ четвернымъ тѣламъ, зрительныя впечатлѣнія, повидимому, производятъ гораздо простѣйшіе, непосредственные рефлексы; у человѣка же, напротивъ, зрительныя впечатлѣнія, какъ вѣдается, подвергаются въ этомъ центральномъ расширеніи дальнѣйшей психической переработкѣ» (Гризингеръ, Грасіоле). У собаки и вообще у млекопитающихъ, особенно у вмѣющихъ хорошее чутье, зрительный нервъ теряетъ свое высокое значеніе и уступаетъ мѣсто обонятельному. Очевидно, что у нихъ самыя сильныя представленія и высшія психическія отправленія связаны не съ зрѣніемъ, какъ у насъ, а съ обоняніемъ. Мы не можемъ представтъ себѣ, даже приблизительно, міросозерцаніе собаки, которая главныя свои психическія возбужденія получаетъ не черезъ чувство зрѣнія, а черезъ обоняніе. Во всякомъ случаѣ мы должны думать, что ея понятія и идеи существенно отличаются отъ нашихъ, напр., хотя бы въ томъ же вопросѣ о пространствѣ. Вундтъ, повидимому, не подозреваетъ этого; для него психическая жизнь собаки отличается отъ психической жизни человѣка только количественно. Это показываетъ, какъ важно значеніе сравнительной анатоміи для сравнительной психологіи, и что нельзя писать о душѣ животныхъ, не занявшись предварительно этимъ вопросомъ. Ничтожное, повидимому, измѣненіе въ строеніи животнаго должно имѣть огромное значеніе для его психической жизни. Мы, напр., измѣряемъ разстояніе главнымъ образомъ по движенію нашихъ глазныхъ яблокъ, но какъ опредѣляетъ его насекомое, у котораго глаза неподвижны? Какого рода представленія могутъ имѣть животныя, глазъ которыхъ такъ устроенъ, что они едва различаютъ

свѣтъ отъ темноты и не могутъ различать предметовъ? Понятно, какъ важны всѣ эти вопросы для психологiи животныхъ, и только въ строго фактическомъ изслѣдованiи ихъ нервной системы и нервныхъ отправленiй можно найти ключъ къ пониманiю ихъ психической жизни. Но все это не существуетъ для Вундта; онъ даже и не подозреваетъ о существованiи подобнаго метода изслѣдованiя, и смотритъ на умственную жизнь животныхъ больше съ анекдотической стороны: такое-то животное строить гнѣздо, другое разставляетъ сѣти и пр.

Не желая томить читателя, я не буду говорить о томъ, какъ опредѣляетъ Вундтъ, что такое сознание, самосознание и наконецъ человеческое я. Путемъ разсужденiя онъ приходитъ къ тому, что наше я находится не во внѣшнемъ мiрѣ, а въ насъ самихъ (не правда-ли, какая новая и смѣлая мысль!), т. е. въ нашемъ организмѣ. Далѣе онъ продолжаетъ разсуждать такъ: «человѣкъ можетъ потерять руки и ноги, другiя части тѣла могутъ прекратить свои отправленiя волѣдствiе болѣзни, но я остается. Поэтому человѣкъ дѣлаетъ заключенiе: мое я заключается не въ рукахъ и ногахъ, и не въ какомъ нибудь органѣ моего тѣла. Однажды дойдя до этого, естественная склонность быть послѣдовательнымъ заставитъ его сказать: мое я вообще не заключается въ какомъ нибудь органѣ, но оно есть нѣчто свободное, стоящее выше тѣлеснаго существованiя». Не знаю, какой это человѣкъ придетъ къ подобному заключенiю, если только приметъ этотъ методъ опредѣленiя мѣстопребыванiя своего я. Если онъ не идиотъ, то, вѣроятно, будетъ продолжать свое разсужденiе такъ: если сердце перестанетъ дѣйствовать, то я умру, а слѣдовательно уничтожится условiе существованiя моего я,—и это не опредѣлитъ еще отношенiя къ нему сердца; если сердце будетъ поражено, но такъ, чтобы существованiе организма было возможно, мое я не измѣнится, или измѣнится чрезвычайно мало; то же разсужденiе онъ приложитъ къ желудку, вѣшкѣмъ и т. д., наконецъ онъ дойдетъ до мозга, и тутъ замѣтитъ, что всякое измѣненiе и поврежденiе этого органа измѣнитъ самымъ существеннымъ образомъ его я; болѣзни и поврежденiя мозга могутъ измѣнить я (въ меланхолiи, бѣшенствѣ, безумiи), ослабить его (въ слабоумiи), уничтожить совершенно (въ высшихъ степеняхъ слабоумiя, особенно параличнаго), даже раздвоить его или разбить на нѣсколько отдѣль-

ныхъ частей (въ нѣкоторыхъ формахъ помѣшательства, безумія, и, можетъ быть, у такъ называемыхъ бѣсноватыхъ), когда человекъ воображаетъ себя двумя, тремя и даже цѣлымъ легиономъ существъ. Видя такую непосредственную и тѣсную связь, человекъ (съ оговоркой, если онъ не идиотъ), непременно придетъ къ заключенію, что его я заключается въ мозгъ или, по крайней мѣрѣ, тѣсно связано съ этимъ органомъ. Но всѣ дѣйствующіи (или разсуждающіи) лица у Вундта имѣютъ способность говорить самые вопіющіе абсурды, рѣшительно не стѣняясь здравымъ смысломъ.

Нигдѣ, можетъ быть, изученіе отклоненій отъ нормы не имѣетъ столь существеннаго значенія для пониманія нормальнаго хода, какъ въ психологій; нормальное психологическое явленіе такъ сложно и запутанно, что разобрать его составныя части и ихъ взаимную связь нѣтъ никакой возможности; опытъ, который выдѣлялъ бы нѣкоторыя условія, здѣсь почти невозможенъ; но зато мы имѣемъ нѣкоторые факты, гдѣ это выдѣленіе сдѣлалось само собою, безъ нашего вмѣшательства, такъ что намъ остается только наблюдать. Одно изъ самыхъ сложныхъ явленій умственной жизни, это ассоціація идей, или ходъ представленій (*Verlauf der vorstellungen*), какъ ее называетъ Вундтъ, почему-то не желая употреблять обыкновеннаго и общепринятаго термина. Вундтъ справедливо замѣчаетъ, что постоянная примѣсь новыхъ чувственныхъ впечатлѣній затемняетъ ходъ представленій; но онъ забылъ, что есть два состоянія, гдѣ мы можемъ соблюдать ее почти совершенно безъ всякой примѣси,—это во снѣ и въ нѣкоторыхъ формахъ сьумасшествія. Относительно сна есть даже очень умная и совершенно фактическая работа Мори. По сьумасшествію же есть множество работъ; но онѣ, по видимому, остались совершенно неизвѣстны Вундту, по крайней мѣрѣ, онъ не вспоминаетъ не только объ этихъ работахъ, но даже, по видимому, и не подозреваетъ этого метода наблюденія. Я полагаю, что продолжать разборъ послѣ всего, что мы видѣли, бесполезно; читатель уже могъ оцѣнить, что такое книга Вундта, и потому я перечислю только статьи, составляющія конецъ перваго тома и весь второй томъ; изъ этого перечисленія читатель убѣдится, на сколько отказался Вундтъ отъ метафизическаго метода. Вотъ разбираемые имъ вопросы: индивидуальное богатство представленій (здѣсь приведено очень любопытное наблюденіе Макса Мюллера о числѣ словъ, упо-

требляемых различными писателями и разными классами людей: въ Англии обыкновенный образованный человекъ употребляетъ 3—4000 словъ, въ газетахъ до 6000, Мильтонъ 8000, великіе ораторы 10,000, Шекспиръ, самый богатый въ этомъ отношеніи писатель, употреблялъ 15,000 словъ. Пиктографическій языкъ египтянъ состоялъ изъ 900 словъ; англійскій поеденщикъ довольствуется 300 словами); память и воспоминаніе; вліяніе мозговыхъ отправленій на память; физическія условія воспроизведенія; фантастическіе образы; механическое и логическое развитіе представленій; распознаваніе, его цѣль; общее представленіе; эмпирическое понятіе; законъ причинности; отвлеченное понятіе; различіе эмпирическаго и отвлеченнаго понятія; разграниченіе понятій по содержанію и объему; анализъ и синтезъ понятій, гипотеза и символъ; физическія основныя понятія, понятіе измѣняемости и вещества, бытіе и небытіе, движеніе и число, цѣль, вещество и форма; виды сужденій, аналитическое и синтетическое сужденіе и проч. Затѣмъ десять страницекъ о животныхъ, о томъ, какая птица поетъ и какая не поетъ, какая вьетъ гнѣзда и т. д.,—причемъ Вундтъ успѣваетъ однако доказать свое замѣчательное неваніе зоологіи,—и этимъ оканчивается первый томъ.

Второй томъ весь сплошн посвященъ исключительно психологическимъ соображеніямъ Вундта, безъ всякой прихвси физиологіи,—и чего ужъ тамъ нѣтъ! Передать, что заключается въ первыхъ восьми лекціяхъ, нѣтъ никакой возможности: въ нихъ все есть,—разборъ, что такое чувство, волненіе, настроеніе, эстетика, нравственность, прекрасное въ природѣ и въ искусствѣ, въ музыкѣ, и т. д.,—совѣсть, обычай, и проч. и проч. Затѣмъ слѣдуетъ лекція о дикихъ народахъ, какъ матерьялъ для психологическихъ изслѣдованій. Какъ въ первыхъ 9 лекціяхъ (30—38) Вундтъ показалъ, по обыкновенію, свое полное незнаніе положительныхъ работъ по психологіи и психіатріи и свою неспособность понимать эти вопросы съ реальной, дѣйствительно научной точки зрѣнія, такъ въ статьѣ о дикихъ народахъ онъ неоспоримо доказалъ свое незнаніе простыхъ фактовъ и совершенное непониманіе условій жизни народовъ. Такъ напр. онъ находитъ, что жители сѣвера развратны, и въ доказательство говоритъ, что якуты страшно много ѣдятъ. Такую вещь крайне странно слышать отъ физиолога, кото-

рый, конечно, не может не знать, что если бы сѣверные жители не ѣли такъ много мяса и особенно жиру, то ихъ организмъ не могъ бы производить достаточнаго количества теплоты, чтобы не замерзнуть въ ихъ ужасномъ климатѣ. Далѣе, онъ говоритъ, что въ Африкѣ канибальство никогда не было особенно распространено и теперь давно уже совершенно исчезло, забывая, что въ центральной Африкѣ обширная страна заселена племенемъ Нїамъ-Нїамъ, или которыхъ есть звукоподражаніе жеванію и названныхъ такъ по своему прожорливому канибальству. Что же касается до людоедства на островахъ Тихаго Океана, то не слѣдуетъ упускать изъ виду, что острова эти почти вовсе не имѣютъ илекопитающихъ, а это объясняетъ многое, тѣмъ болѣе, что жизнь дикаря, вооруженнаго стрѣлами, далеко не обезпечена. Вообще характеристики Вундта живо напоминаютъ доброе старое время, когда Англію называли коварнымъ Альбіономъ и говорили, что испанецъ гордъ, англичанинъ коваренъ, французъ легкомысленъ, русскій безгласенъ и т. д.

О животныхъ, о которыхъ много говорится во второмъ томѣ, Вундтъ не сказалъ ничего, кромѣ нѣкоторыхъ вѣдшихъ, чисто анекдотическихъ чертъ; внутренняя же психическая жизнь ихъ осталась не тронутой. Статья о религіозномъ чувствѣ и различныхъ религіозныхъ воззрѣніяхъ представляетъ довольно много фактовъ, сами по себѣ интересныхъ, но нисколько не объясняющихъ психическую дѣятельность. Притомъ Вундтъ былъ къ фактамъ очень не разборчивъ, бралъ все, что попадалось подъ руку, вѣрное рядомъ съ невѣрнымъ; и такъ какъ онъ не приводилъ источниковъ, то весь этотъ сырой матеріалъ фактовъ не можетъ имѣть научнаго значенія.

Переходя потомъ къ разсужденіямъ о любви, онъ говоритъ, что одинаковость воззрѣній, занятій, вкусовъ и т. д. часто порождаетъ дружбу, но что также часто дружба является и вслѣдствіе различія, такъ какъ въ такомъ случаѣ одно лицо какъ бы дополняетъ другое: все это очень ново и любопытно! Такое пополненіе и происходящая вслѣдствіе его связь будто бы особенно сильны для лицъ разныхъ половъ. Но какъ одинъ полъ пополняетъ другой въ физическомъ отношеніи, этого Вундтъ не объяснилъ, а только высказалъ, какъ аксіому, но зато подробно распространился о нравственномъ пополненіи. Хотя можно, и не читавъ Вундта, заранее предвидѣть всѣ общія мѣста, которыя онъ повторить по это-

му поводу, однако, наслушавшись самодовольных обещаний и претензий его создать новую науку, трудно повѣрить, чтобы такой ученый и солидный съ виду мужъ договорился въ концѣ, послѣ толпкихъ разсужденій, до расхваливанія, тономъ фельетоновъ Евгения Туръ, — чегобы вы думали? — женскаго кокетства! Онъ объясняетъ, что обыкновенная форма любви, чувственная и эстетическая, обыкновенно прекращается послѣ удовлетворенія; но женщины, по его словамъ, своимъ инстинктивнымъ тактомъ, о которомъ онъ тоже разсуждаетъ обстоятельно, поняли искусство дѣлать эту любовь продолжительною. Искусство это есть — кокетство, «такъ что кокетка только перенесла въ сознание общій женскій инстинктъ». И вотъ печальныя результаты эстетико-метафизическихъ разглагольствованій Вундта! Пошлыя и грязныя отношенія половъ возведены въ теорію, въ перлъ созданія! Встѣ находка для нашихъ эстетиковъ: физиологъ-доцентъ Гейдельбергскаго университета говорилъ то же самое, что всѣ они съ своей alma mater — фельетоншей «Голоса»!

Еще нѣсколько словъ о русскомъ изданіи этого продукта полуученаго тупоумія и издательской спекуляціи.

У насъ о Вундтѣ было говорено, по выходѣ его въ подлинникѣ, только въ «Заграничномъ Вѣстникѣ», но зато говорено такъ, какъ будто Вундтъ и въ самомъ дѣлѣ произвелъ всѣ чудеса, которыя наобѣщала. Если этотъ лестный отзывъ подалъ г. Гайдебурову мысль переводить книжицу Вундта на русскій языкъ, то это очень жаль, потому что мы могли бы обойтись и безъ нея. Книга издана по русски очень хорошо, въ хорошемъ переводѣ, что у насъ не такъ то часто бываетъ, и хотя стоятъ баснословныхъ денегъ (5 р. за 2 тома, а за первый, который вышелъ 3), по чего добраго можетъ ввести въ соблазнъ публику громогласнымъ заглавіемъ и непомерными претензіями. Г. издатель, съ своей стороны, не щадитъ усилій, чтобы зарекомендовать свое изданіе и называетъ книгу Вундта — «громаднымъ зданіемъ», а первый томъ ея — «фундаментомъ» этого зданія, а самого Вундта возвелъ въ профессора Гейдельбергскаго университета.

П. Я.

Въ прошломъ мѣсяцѣ я упомянулъ о выходѣ «Прогресса» — пошлою книжкою неприличнаго французскаго писани, Абу. Теперь я докажу справедливость этого отзыва и вмѣстѣ съ тѣмъ покажу читателю образчики мнѣній, которыя полѣзали теперь у насъ на свѣтъ божій, какъ будто и они ждали возможности выходить безъ цензуры.

Абу этотъ говоритъ въ своей книжкѣ обо всемъ на свѣтѣ самымъ либеральнымъ тономъ. Хотя онъ сознается, что пришель къ убѣжденію, что никогда не будетъ великимъ человѣкомъ, но полагаетъ однако, что можетъ кое что прибавить къ человѣческому знанію. Заявивъ это скромное убѣжденіе, онъ вступаетъ въ разговоры съ разными лицами, съ Ж. Зацкъ, съ садовникомъ, съ пропріеторомъ, съ мелочнымъ торговцемъ, и т. д. Потомъ онъ толкуетъ о какой то школѣ, въ которой будто бы принадлежитъ онъ самъ и его читатель, и школа эта оказывается состоящей изъ умовъ положительныхъ, желающихъ придумать «систему правилъ чисто практическихъ», такую систему, которая «могла бы быть принята какъ христіанами, такъ и мусульманами, какъ денстами, такъ и атеистами». Можно догадываться, что книжка о прогрессѣ и есть именно построеніе подобной положительной системы.

Намѣреваясь строить систему, Абу прежде всего объясняетъ, кто онъ такой и кто такіе его собратья, писатели, и пишетъ такую рекомендацію: потомство должно будетъ благодарить «два класса людей, безъ которыхъ девятнадцатый вѣкъ не сдѣлалъ бы почти ничего или очень мало. *Я говорю о ростовщикахъ и журнальныхъ писакахъ.* Не думайте, наивный читатель, что это невинная шутка. Нѣтъ, Абу совершенно серьезно ставитъ ростовщиковъ и писателей на одну доску и также серьезно прославляетъ и тѣхъ, и другихъ. Такъ онъ подробно доказываетъ, что ростовщики обогатили міръ и что «наши потомки благословятъ ихъ», и точно также краснорѣчиво доказываетъ, сколько пользы принесли писатели, что не мѣшаетъ ему снова повторить — «всякій способный публицистъ выполняетъ тѣ же обязанности, какъ и г. Ротшильдъ; вся разница только въ томъ, что онъ остается въ меньшихъ барышахъ».

Рекомендую эти цитаты сотрудникамъ «Голоса». Быть можетъ, сравненіе покажется имъ черезъ чуръ жестокимъ. Но, становясь на точку зрѣнія Абу, можно упрекнуть его развѣ въ томъ, что своимъ

сравненіемъ онъ слишкомъ польстилъ писателямъ. Имѣя въ виду самого себя и себѣ подобныхъ, Абу оказался, пожалуй, виноватъ въ излишнемъ превознесеніи своей касты, а уже никакъ не съ самоуничиженіи. Не говоря уже о томъ, что ростовщики облагодѣтельствовали міръ, чего писани конечно не сдѣлали, не говоря объ этомъ. такъ какъ это основано только на авторитетѣ Абу, можно сказать, что ростовщики во всякомъ случаѣ болѣе писакъ заслуживаютъ уваженіе, потому что эксплуатируютъ только карманъ челоуѣка, а тѣ посягаютъ на его здравый смыслъ и нравственное достоинство. Притомъ ростовщики покупаютъ свои барыши цѣною общественнаго презрѣнія и потерю собственного достоинства, тогда какъ писани, напротивъ того, занимаясь дѣломъ гораздо постыднѣйшимъ, скромно сознаютъ, что не могутъ быть великими людьми, а претендуютъ лишь на то, чтобы увеличить массу челоуѣческихъ знаній. Они публично расхваливаютъ другъ друга и превозносятъ до небесъ, какъ и простодушные люди, которые эти нахалы пускаютъ пыль въ глаза, въ самомъ дѣлѣ вѣрятъ, что они какія-то Пифи, и что ихъ должно уважать и награждать. Впрочемъ публика начинаетъ лучше цѣпить ихъ, такъ что они начинаютъ считать излишнимъ дальнѣйшее пусканье пыли въ глаза и самоотверженно становятся на одну доску съ ростовщиками. Такое сравненіе со стороны Абу и откровенное сознаніе другихъ писакъ, что они не пужаются въ честности, показываетъ однако, что барыши, получаемые ими, если и не могутъ сравниться съ ротшильдовскими, то все таки довольно почтенны, чтобы заставить ихъ согласиться занять въ общественномъ положеніи то мѣсто, которое отводятъ имъ эти признанія. Что касается до Абу, то это дѣйствительно такъ и есть, какъ видно изъ собственныхъ его показаній. Онъ получаетъ по 10,000 франковъ за книгу, и разсуждаетъ по этому поводу такъ: «какъ яблоко есть плодъ яблони, такъ и капиталъ есть плодъ труда. Напр. книга, которую я въ эту минуту пишу, чтобы заставить васъ часика два подумать, есть трудъ, который дѣйствительно, а не метафорически (шуточка мавочника, которому удалось обвѣсить покупателя) создать капиталъ. Я купилъ на 1 фр. бумаги, на 50 сант. перьевъ и маленькую бутылочку чернилъ за 25 сант. При посредствѣ этихъ матеріаловъ, вся цѣнность которыхъ равна 1 фр. 75 сант., я произведу въ

десять мѣсяцевъ рукопись, цѣнна литературнаго достоинства — слъ зависитъ отъ вашего благоусмотрѣнія, но продажная цѣна его (достоинства? продажная цѣна литературнаго достоинства! — вотъ циникъ-то!), примѣрно, 10,000 фр. Я создалъ (слушайте!) изъ ничего или вызвалъ изъ небытія къ бытію цѣнность въ 9,998 фр. 25 сант., которая не существовала бы, если бы я прогуливался въ саду, вмѣсто того чтобы сидѣть въ кабинетѣ».

Подобнымъ же образомъ можете разсуждать и ростовщикъ: какъ яблоко есть плодъ яблони, слаженъ онъ, такъ и капиталъ — плодъ труда. Это аксіома, изъ которой слѣдуетъ, что гдѣ есть капиталъ, тамъ, значитъ, былъ и трудъ. Вотъ, напримѣръ, мой бумажникъ, въ которомъ у меня 1,000 рублей; бумажникъ этотъ — трудъ, который дѣйствительно, а не метафорически (вотъ вы увидите) соиздастъ капиталъ. Я купилъ на 25 коп. бумаги, на гривенникъ перьевъ и склянку чернилъ на 5 коп. При посредствѣ этихъ матеріаловъ, величина которыхъ равна 40 копѣйкамъ, я буду записывать вещи, поступающія въ закладъ и выдавать на нихъ билеты. Черезъ годъ у меня, вмѣсто 1,000 рублей окажется 3,000. Вы можете быть какого вамъ угодно мнѣнія о моихъ нравственныхъ качествахъ, но не можете отрицать, что у меня въ карманѣ 3,000 цѣлковыхъ; этой суммы на улицѣ не подыметь. Такимъ образомъ я создалъ изъ ничего или вызвалъ изъ небытія къ бытію сумму въ 1,999 рублей 60 коп. серебромъ, которая не существовала бы, если бы я прогуливался въ саду, вмѣсто того, чтобы сидѣть въ кабинетѣ; выдавая деньги, принимая заклады, и хлопотать о выгодномъ сбытѣ просроченныхъ вещей.

Оба разсужденія, конечно, совершенно равно справедливы, хотя писакъ толкуеть о созданной имъ цѣнности, а ростовщикъ о нажитой суммѣ. Здѣсь разница въ словахъ, потому что какую же цѣнность можетъ имѣть рукопись писакъ; кромѣ литературной; но именно это-то онъ и оставляетъ въ сторонѣ, чтобы толковать о *продажной* цѣнѣ рукописи. Очевидно для всякаго, что, помимо литературнаго достоинства, рукопись не можетъ имѣть другой цѣны, кромѣ какъ грязная бумага, годная на обертку салныхъ свѣчей и мыла. А между тѣмъ Абу увѣряеть, что она стоитъ, помимо литературной цѣны, 10,000. Ясно, что онъ вретъ; ясно, что, какъ предметъ продажи, рукопись его стоитъ гораздо дешевле, чѣмъ

употребленные на нее материалы, потому что чистая бумага, перья и чернила стоят дороже старой, грязной бумаги. Если писака сошлется на свой труд, на убитые на писанье 10 мѣсяцевъ, то и ростовщикъ скажетъ, что и онъ потерялъ столько же времени на свои хлопоты и такъ же усердно сидѣлъ за своей конторкой, какъ тотъ за своей. Конечно, оба они будутъ лгать, потому что сидѣніе это было совершенно непроизводительно; во все время его оба они производили только одно вещество, имѣющее матеріальную цѣнность, — а именно навозъ, и, слѣдовательно, разсужденіе ихъ о томъ, что они вызвали изъ небытія къ бытію капиталы — безстыдная ложь. Не было бы несправедливо отвергнуть доводы ростовщика и принять въ уваженіе аргументы писака. Было бы несправедливо даже въ томъ случаѣ, если бы писака былъ меньше цимвикъ и ссылался бы на литературное достоинство своей рукописи. Если бы онъ сказалъ напр., что цѣнить рукопись въ 10,000 не какъ кипу исписанной бумаги, а какъ произведеніе умственного труда, имѣющее большое литературное достоинство, могущее принести много нравственной пользы, — словомъ, если бы онъ оцѣнилъ на франки свой умъ, свою нравственность, свои убѣжденія, свои вѣрованія — и продуктъ всего этого, представляемый рукописью, то ростовщикъ въ свою очередь могъ бы сказать, что считаетъ свой барышъ законнымъ пріобрѣтеніемъ, какъ плату за свое униженіе, за презрѣніе къ нему общества, за обиды, полученные отъ должниковъ, за безчестіе, которыми онъ покрылся въ своихъ собственныхъ глазахъ, словомъ за всѣ нравственныя лишенія, которыми онъ подвергся.

Очень жаль вообще, что Абу, говоря о своихъ 10,000, забылъ свое собственное сравненіе писателей съ ростовщиками. Помня его, ему слѣдовало просто сказать: купилъ на 1 ф. 75 сант. матеріалу, настроилъ, что, самъ не знаю, — объ этомъ пускай судить потомъ читатель, а мое дѣло зашибать побольше деньжатъ. Вѣдь ловкій я человекъ, не правда-ли? слѣдовало еще прибавить.

Къ такому объясненію очень подошелъ бы тонъ дальнѣйшихъ разсужденій Абу о томъ же предметѣ, т. е. о своей рукописи. Онъ испугался, чтобы читатель не подумалъ, что сочиненіе его — самостоятельный трудъ, требовавшій умственныхъ усилій. Нѣтъ! Тогда, по его мнѣнію, было бы съ его стороны не столь ловкой штукой собрать за рукопись 10,000. Поэтому онъ спѣшилъ сознаться, что

повыражаъ всё мысли, наложенныя въ его книгѣ, у разныхъ писателей, причѣмъ выставляетъ нѣсколькихъ писателей къ позорному столбу, называя ихъ поименно и указывая, что именно имъ-то и принадлежатъ идеи, проданныя имъ за 10,000. Въ числѣ этихъ жертвъ оказывается О. Контъ, Литтре, Тэнъ и рядомъ съ ними М. Шевалье, Геру, Лабуле и даже какіе то римляне и греки. Сознавшись, что продалъ вещь краденную, онъ съ самодовольствомъ прибавляетъ: «я только придалъ этимъ мыслямъ особенную форму (чтобы не быть уличеннымъ, конечно), и эту форму я завтра продамъ 'Monsieur Hachette'у за 10,000».

Вотъ такъ безстыдство! Вотъ такъ цинизмъ! Какой тонъ! какая невозмутимость! Ну, нечего сказать, ополченію г. Краевского еще далеко до этакого совершенства. Учитесь, дѣти, учитесь; недаромъ г. Геннелъ надалъ внизу Абу: вамъ въ назиданіе надалъ онъ ее. Вотъ вы, наприм., обижаетесь, если ваши произведенія сыщиковскими назовутъ; а Абу, на вашемъ мѣстѣ, сказалъ бы: да, да, я сыщикъ, да какой еще сыщикъ — страсть: мнѣ поручено всё ходы изслѣдовать, всё эти самыя проказы пропозйти, и я потомъ объ этомъ романъ напишу, и деньги еще за него отъ Monsieur Краевского получу: вотъ я каковъ!

Но возвратимся къ исторіи 10,000 франковъ, ибо, нужно вамъ напередъ сказать, читатель, — у нихъ длинная исторія, въ которой замѣшаны самыя священнѣйшія начала человѣческихъ обществъ.

«Подумавъ немного», Абу рѣшился употребить эти деньги «на покупку земли» и отправился покупать сосѣднее поле. Хозяинъ поля вступилъ съ нимъ въ разговоръ и рассказалъ, какъ онъ купилъ его. «Правда, сназалъ онъ, я не добылъ его изъ своего мозга (довольно трудно добыть изъ мозга поле), а выковалъ его молоткомъ на своемъ заводѣ». Затѣмъ объясняется странный процессъ выковыванія поля изъ желѣза. Оказалось, что у хозяина былъ стальной заводъ, съ котораго онъ получилъ барыши и на нихъ купилъ себѣ поле; такъ что выковываніе поля просто метафора, тѣмъ болѣе, что хозяинъ самъ ничего не ковалъ, а за него работали другіе, которымъ онъ давалъ себѣ трудъ платить рабочую плату. Однако онъ до того отождествляетъ свою персону съ личностями своихъ бывшихъ рабочихъ; что въ другомъ мѣстѣ опять говоритъ: «я самъ говорю себѣ каждый годъ, когда отвѣдываю прекрасныя сливы своего

сбора: вотъ фрукты, созданные моими руками, хотя я никогда не обрабатывалъ земли; деревья, которые ихъ произвели—дѣти моего труда, хотя я не умѣю садить деревьявъ; земля, на которой они выросли, и эти груши получились на моемъ заведѣ (гдѣ тоже работала не опѣ), я самъ создавалъ ее подѣ другой формой, потому что вымѣнялъ ее на капиталъ, который мнѣ обязанъ существованіемъ (какъ Абу обязанъ существованіемъ его 10,000 фр., а растовщикъ его 3000 рублей).» Зачѣмъ этотъ почтенный человекъ каждый день лжетъ наединѣ самъ съ собой—этого понять нельзя; должно быть ужъ такъ пристрастился къ лганію, что ни съѣсть, ни выпить, ни солгать не можетъ. Но интересно, что онъ приглашаетъ къ тому же уединенному занятію и Абу, говоря ему: «когда мы совершимъ вупчую, то вы тоже можете снавать себѣ: эта земля, это поле, эти фрукты, это сѣно, — все это мое, потому что я добылъ все это изъ своего мозга посредствомъ операціи весьма похвальной, называемой трудомъ». Но Абу знаетъ, что во первыхъ рукопись свою добылъ не изъ своего мозга, а изъ мозговъ Геру, Шевалье и К°, а во вторыхъ видитъ, что хозяина обворовать нельзя, потому тотъ безъ купчей ни на шагъ, и вообще самъ боится, какъ бы кого не обворовать. Поэтому они другъ друга понимаютъ и заводятъ невинную и для постороннихъ незанимательную бесѣду о томъ, что оба они «имѣютъ весьма ясное понятіе о движимой и недвижимой собственности», и отвѣдя такимъ образомъ душу, Абу возвращается домой. Здѣсь къ нему приходитъ работникъ арендовать поле, которое онъ сторговалъ. Абу принимается вдругъ доказывать ему, что съ его стороны будетъ очень честно дать ему поле въ аренду и что онъ даже сдѣлаетъ этимъ ему одолженіе. Для читателя, посвященнаго въ тайну, дѣло ясно: Абу смущаетъ мысль о краденныхъ 10,000, на которыя онъ покупаетъ землю, и онъ хочетъ нѣсколько оправдать самого себя, забывая, что ему гораздо лучше остаться при угрызеніяхъ совѣсти и только постараться получить съ нихъ доходъ, который онъ очень легко можетъ получить, написавъ напр. стихотвореніе «Грѣшникъ», или «Раскаяніе», или «Судьба», или что нибудь въ этомъ родѣ и продавъ его тому же Monsieur Hachette'у. Но работникъ не понимаетъ причины этихъ ненужныхъ потоковъ краснорѣчія, однако заподозриваетъ, что дѣло не ладно. На другой день онъ снова приходитъ, начитавшись Прудона, и объ-

являетъ Абу, что Прудонъ называетъ его воромъ, Хотя, собственно говоря, для Абу въ этомъ названіи нѣтъ ничего обиднаго, но онъ все таки смущенъ и начинаетъ городить чепуху о томъ, что Прудонъ душитъ будто бы въ объятіяхъ свою возлюбленную—справедливость, но что тѣмъ не менѣе онъ не откажется на практикѣ утвердить воровской, по его мнѣнію, договоръ. Возникаетъ разговоръ, напоминающій книжку о «Трудѣ» изданія Общественной Пользы. Работникъ доказываетъ Абу, что стыдно брать то, чего не давалъ и что хозяинъ, которому арендаторъ выплатилъ все, чего ему стоила земля, не можетъ требовать больше ни сантима; далѣе онъ доказываетъ ему, что собратья его, ростовщики, поступаютъ несправедливо, беря съ должника больше, чѣмъ околько дали ему. Тогда Абу, по примѣру экономистовъ «Общественной Пользы», грозитъ, что зароетъ въ землю свои краденныя деньги и будетъ беречь ихъ на черный день. По примѣру всѣхъ своихъ единомышленниковъ, онъ хватается, какъ за последнее средство, за этотъ доводъ, какъ утопающій за соломенку. Горькій опытъ досадѣ не научилъ ихъ, какъ непрочна и прозрачна эта ошора, и Абу думаетъ, что сразилъ этимъ противника. Съ свойственнымъ ему одному энергическимъ цинизмомъ онъ восклицаетъ: что станется съ торговлей, съ цивилизаціей, промышленностью, что станется съ міромъ, если никто не будетъ давать взаймы на проценты?! Привыкнувъ въ качествѣ писака оцѣнивать всѣ принципы, наларать тамъ же на всѣ идеи, извлекать барыши изъ всѣхъ чувствъ, онъ уподобляется лихву—чувству признательности. «Я вамъ кинулъ доску, когда вы утопали, говоритъ онъ, и рассчитываю, что, выйдя на берегъ, вы позмете мнѣ руку. Развѣ вы рассчитаетесь со мною, если сможете только: вотъ вамъ ваша доска?» А любознательно знать въ самомъ дѣлѣ, сколько Абу или другой единомышленникъ его потребовалъ бы денегъ съ спасеннаго имъ человѣка? Вѣроятно, смотря потому, сколько бы предвидѣлось возможности слупить.

Все, что говоритъ Абу далѣе во славу капитала, благоухаетъ тѣмъ невозмутимымъ цинизмомъ, что хотя по смыслу ничѣмъ не отличается отъ разсужденій экономистовъ «Общественной Пользы», но краснорѣчіемъ далеко оставляетъ ихъ за собой. Такъ, на примѣръ, онъ говоритъ о томъ, что «капиталъ, однажды созданный, самъ работаетъ, кормитъ своего творца и доставляетъ ему утѣщенія въ пре-

клонныхъ лѣтахъ, связываетъ его узами благодарности съ послѣдующими поколѣніями» и т. д., такъ чувствительно, точно рѣчь идетъ не о деньгахъ, а о любимомъ дѣтвѣщѣ, о патриархальныхъ отношеніяхъ нѣжнаго отца къ благодарному сыну. Потомъ оказывается, что капиталы не только сами работаютъ, но и сами «плодятся, какъ кролики подъ лѣскомъ». Затѣмъ слѣдуетъ, точь въ точь какъ въ изданіи «Общественной Пользы», застрашиваніе бѣдняковъ, посягающихъ на капиталъ, которые будто бы намѣрены «опрокинуть гору (все-таки капиталъ) и раздѣлить между собою ея обломки». «Но, увѣщаетъ ихъ Абу, послѣ недѣли кутежа они проснутся безъ хлѣба и васъ же (злонамѣренныхъ агитаторовъ) стануть обвинять въ томъ, что вы ихъ руками убили курцу (т. е. все же капиталъ), которая несла (кому?) золотыя яйца».

Однако хотя капиталы плодятся сами собой, какъ кролики, тѣмъ не менѣе Абу не можетъ скрыть отъ себя, что иногда происхожденіе ихъ не имѣетъ ничего общаго съ дѣтороженіемъ, а скорѣе походить на *generatio spontanea*. Напримѣръ, его собственныя 10,000 франковъ, о которыхъ было столько толковъ, пріобрѣтены имъ отъ Ашета продажей краденныхъ мыслей. Можно ли сказать, что здѣсь капиталъ родилъ капиталъ? Очевидно, нельзя: здѣсь капиталъ явился, богъ вѣсть, откуда, благодаря тому, что у обладателя его такая же желѣзная совѣсть, какъ у ростовщиковъ. Точно также трудно сказать, чтобы капиталъ самъ себя породилъ, когда онъ пріобрѣтенъ лихвой, игрой, по наслѣдству и т. д. Видя это, Абу предпринимаетъ защитить всѣ эти источники происхожденія капиталовъ. По поводу лихвы онъ съ пренебреженіемъ, приличнымъ либералу, отзывается объ отцахъ церкви и приглашаетъ французское правительство сдѣлаться отцами народа, давъ поощреніе ростовщикамъ. При этомъ онъ, конечно, не пропускаетъ случая воззвать къ свободѣ, которая, по мнѣнію этихъ радикаловъ, должна именно состоять въ томъ, чтобы не иѣшать разбойникамъ и ворами грабить и воровать. Что же касается до пріобрѣтенія игрой, то онъ негодуетъ, что законъ не освящаетъ владѣнія, основаннаго на такомъ способѣ пріобрѣтенія. Онъ говоритъ, что игрокъ, выигравшій деньги, пріобрѣтъ капиталъ столь же законнымъ (т. е. онъ хочетъ сказать—справедливымъ; такъ какъ собственно это пріобрѣтеніе незаконное, не признаваемое закономъ) образомъ, какъ и тотъ, кто десять лѣтъ тру-

дися въ потѣ лица, чтобы извлечь его изъ земли? Конечно, такой энергическій способъ выраженія имѣеть то преимущество, что стоитъ выше всякой сатиры; но можетъ показаться удивительнымъ, изъ-за чего Абу хлопочеть: вѣдь если правительство не признаеть пріобрѣтенія игрой законнымъ, то это еще не значитъ, чтобы оно препятствовало пріобрѣтать такимъ образомъ или лишаю пріобрѣвшаго права пользоваться плодами своего пріобрѣтенія. Никто не препятствуетъ, напримѣръ, биржевому игроку «пользоваться и злоупотреблять» своимъ капиталомъ, нажитымъ игрою. Но дѣло въ томъ, что Абу и его собраты благоговѣють передъ принципами; они не довольствуются тѣмъ, что имъ позволяютъ веровать, лихоимствовать и шуллерничать и наслаждаться плодами такого образа дѣйствій: имъ еще нужна для этого нравственная санкція, и они требуютъ отъ законодателей, чтобы тѣ напрягали свой умъ на пріобрѣтеніе принциповъ, освящающихъ ихъ поступки, и отъ лица всего общества провозглашали ихъ образъ дѣйствій согласнымъ съ вѣчною истинною, естественнымъ, абсолютнымъ правомъ и предписаніями высшей морали. Конечно, юристы понатужатся и придумаютъ, но пока они будутъ придумывать, Абу будутъ; будировать, и не услѣютъ они еще дать своей выдумкѣ соответствующее мѣсто въ какой нибудь «теоріи права», какъ ростовщики снова завалять ихъ новыми требованіями.

Французскій законъ, которымъ ограничивается не право наследства, а только, и то до извѣстной только степени, — право распоряжаться своимъ имуществомъ послѣ своей смерти, т. е. совершенно невообразимое, фиктивное право, право, приписываемое трупу, мертвену, обитателю Елисейскихъ полей, которому, — казалось бы нѣтъ уже никакого дѣла до земныхъ передрагъ, этотъ законъ Абу называетъ «сапымъ посягательствомъ на личную свободу и родительскую власть». Это конечно въ высшей степени нелѣпо, потому что какая же личная свобода можетъ быть у покойника, и какъ можно лишнить какой нибудь власти трупъ, или дать ему какую бы то ни было власть? Если даже допустить, что человекъ имѣеть право «пользоваться и злоупотреблять» своимъ имуществомъ, если даже допустить, что отецъ можетъ убивать, продавать въ рабство, бить, отдавать въ монастырь и насильно женить своихъ дѣтей, то все-таки придется сознаться, что все это мыслимо лишь при его жизни, а

никакъ не по смерти. Если же допустить, что человекъ, можетъ, посредствомъ завѣщанія, распоряжаться своимъ имуществомъ и потомствомъ и по смерти своей, нельзя найти основанія, почему неплюдность можетъ распространяться только на первое поколѣнiе. Если признается замогильная власть отца, то почему же ограничивается она только первымъ поколѣнiемъ, тѣмъ болѣе, что для него не существуетъ фактической невозможности распоряжаться судьбой самыхъ отдаленныхъ потомковъ своихъ. Посредствомъ того же завѣщанія, онъ можетъ крестовенно управлять тридцатью поколѣнiями, и строгая логика требуетъ, чтобы, разъ доуствуивъ такой принципъ, привнали всѣ послѣдствiя его. Моралисты вѣдственной школы, которыхъ логика не оставляла такъ часто, какъ нынѣшнихъ юристовъ, поняли это и выразили этотъ принципъ во всей его силѣ и послѣдовательности въ ученiи о первородномъ грѣхѣ. Но нынѣшнiе либералы смѣются надъ этой школой, называютъ себя рационалистами, и продолжаютъ право пользоваться и злоупотреблять за предѣлы Елисейскихъ полей.

Абу впрочемъ говорить не объ отрицанiи права наследственности, а только объ ограниченiи права завѣщанія, и потому рассужденiе его неумѣстно. Вѣдь дѣло въ томъ, чтобы доказать законорожденность капитала даже въ томъ случаѣ, гдѣ онъ является, какъ подкидышь безъ роду, безъ племени, и гдѣ нельзя сказать, что онъ рождень другимъ капиталомъ. Поэтому если бы Абу и удалось доказать, что покойникъ можетъ распоряжаться земными благами, то дѣло его ни мало бы не выиграло, и законность капитала, доставшагося по наследству, остается недоказанной.

Если недостатокъ нравственной санкцiи для лихоимства и шулерства смущаетъ бѣднаго Абу, то еще болѣе смущаетъ его, «тревожить и даже заставляеть иногда просыпаться ночью—мысль, что наши уголовные законы не утверждены еще на прочномъ основанiи», т. е. что мы поставлены въ необходимость казнить, ссылать и сажать въ тюрьму, сами не зная зачѣмъ, и по какому праву. Теорiи возмездiя, примѣра и проч. отжили и потеряли довѣрiе. Смертная казнь обратилась въ тайное похищенiе жизни. «Пойщемъ же новаго основанiя, говоритъ Абу, но въ случаѣ неудачи не будемъ унывать», потому, такъ или сякъ, а все-таки судья еще не вымерли. Основанiе, выдуманное Абу, весьма плачевно. Признавъ

право чловѣка защищаться, онъ говоритъ, что для удобнѣйшей защиты люди соединились и сложили съ себя право расправляться самимъ, предоставивъ это право каждому общественной власти. Такимъ образомъ, основаніе уголовныхъ законовъ онъ находитъ въ правѣ каждого защищать свою личность. Изъ этого прямо слѣдуетъ, что если обществу ввѣрена эта обязанность и власть для удобнѣйшей защиты каждого изъ членовъ его, то каждый членъ въ свою очередь имѣетъ право на самоуправство, какъ скоро общественная власть медлитъ, не можетъ или не хочетъ прійти на его защиту. Въдѣ общество получаетъ отъ своихъ членовъ уголовную власть, а не члены отъ общества; слѣдовательно она имѣетъ точникъ свой въ нихъ, и они въ случаѣ надобности всегда могутъ прибѣгнуть къ своему личному праву. Это такъ логично, что даже Абу понимаетъ и высказываетъ это. Но если такъ, то спрашивается, кто будетъ рѣшать, когда именно обстоятельства позволяютъ чловѣку снова взять свое право самозащиты, отъ котораго онъ отрекся въ пользу общества—самъ-ли онъ или общество? Абу говорить, что всякій можетъ законно приготовиться къ самоуправству, если считаетъ, что общественная безопасность не вполне гарантирована, всякій можетъ вооружиться, если ему предстоитъ путь, гдѣ еще недавно кого нибудь ограбили? Но если такъ, если каждая личность можетъ сама рѣшать, когда ей слѣдуетъ приняться за самоуправство; то понимаетъ ли Абу, къ чему это ведетъ? Понимаетъ ли онъ, какъ логически вытекаетъ изъ этого право возстанія, противъ котораго онъ съ такимъ жаромъ ораторствовалъ за нѣсколько главъ передъ этимъ? Плохи же ростовщики, подобные Абу, если они излечиваются отъ безсонницы страха такими соображеніями. При такой безпечности имъ не долго придется наслаждаться продуктами своего лихоимства.

Для большаго успокоенія себя онъ придумываетъ, точно богъ знаетъ какую новость, ссылать преступниковъ «куда нибудь въ Новую Каледонію и заключаетъ успокоительно такъ: «такимъ образомъ три самыя простыя средства (чего проще!) тюрьма, денежный штрафъ и ссылка доставятъ намъ такую безопасность, какой не пользовались наши предки. Въ заключеніе онъ предается еще уморительнымъ соображеніямъ о наказаніяхъ за нарушение супружеской вѣрности. Онъ изображаетъ печальное положеніе мужа, въ которому

«какойнибудь красавчикъ залѣзетъ въ окно, переломастъ замки, которые мужъ имѣлъ предосторожность запереть (вотъ какъ! въ цивилизованной Франціи либеральные буржуа имѣютъ эту предосторожность! И объ этомъ такъ пишетъ человѣкъ, которому говоритъ комплименты сама эманципированная Жоржъ-Зандъ! Это достойно вниманія) и завладѣетъ его женой, чтобы пользоваться ею до самаго утра для своего удовольствія». Положеніе это весьма грустно, по мнѣнію Абу: у человѣка отнято домашнее счастье, честь, довѣріе къ любимой женщинѣ, имя его, которое она продолжаетъ носить, подвергается презрѣнію — однимъ словомъ, нанесено ему разомъ нѣсколько тяжкихъ нравственныхъ ударовъ и оскорбленій. Положимъ, что все это такъ, и впрочемъ многіе изъ этихъ ударовъ и обидъ дѣйствительно тяжелы. Но что же изъ этого слѣдуетъ! Вѣтхій человѣкъ скажетъ, что слѣдуетъ крѣпче запираеть замки; человѣкъ умный и порядочный скажетъ, что слѣдуетъ измѣнить условія, поражающія такое безобразіе. Но никому, вромѣ либеральнаго буржуа, не прійдетъ въ голову сказать того, что говоритъ Абу. Любовникъ разрушилъ нравственный міръ человѣка, разбилъ его чувства, нанесъ ему самое тяжкое оскорбленіе — если этотъ любовникъ богатъ, тѣмъ лучше: судья долженъ приговорить его отдать все свое состояніе мужу, и тогда они квиты, и если любовникъ можетъ считать себя наказаннымъ, то мужъ всегда сочтетъ себя удовлетвореннымъ и притомъ съ лихвой, ибо что же на свѣтѣ можетъ быть безъ любви? Бѣда вовсе не въ томъ, что съ людьми могутъ случаться такіе пассажи, какъ брачныя катастрофы; бѣда въ томъ, что «законъ принуждаетъ любовника въ самомъ крайнемъ случаѣ только къ трехгодичному тюремному заключенію и 2,000 фр. штрафа. Какой прокъ мужу изъ того, что любовника посадятъ въ тюрьму на три года? Не лучше ли ему слупить побольше штрафа? Люди, понятія которыхъ помрачены предрасудкомъ, скажутъ, конечно, что нравственныя несчастія и оскорбленія не вознаграждаются денежными пенями. Но писака-ростовщикъ далеко отъ таковаго предрасудка: для него истина имѣетъ свою опредѣленную цѣнность въ франкахъ; для него благодарность тоже, что процентъ; онъ съ изумительнымъ, неподражаемымъ краснорѣчіемъ говоритъ объ историческомъ ремеслѣ, совершенно обновленномъ О. Тьерри, Гизо, Минье, Тьеромъ, А. Мартеномъ, Сентъ-Бэвомъ, Мишле, Тэнномъ и

нѣсколькими другими фабрикантами, повѣряющими истину философски и безпристрастно»; онъ «рекомендуетъ эти фирмы и (о, верхъ цинизма!) надѣется, что вы не оставите ихъ своимъ покровительствомъ», такъ какъ «ихъ произведенія не уступаютъ по добротѣ произведеніямъ лучшихъ европейскихъ фабрикъ, за исключеніемъ, можетъ быть, знаменитаго дома, основаннаго Маколесмъ». (Этой несравненной, болѣе удачной, чѣмъ думаетъ самъ Абу, характеристикой сочиненій Гизо, Минье, Тьера, Сеитъ-Бава, Тэна, и главное, Маколея, любяся на стр. 132 и 133, 2 части русскаго изданія). Если такимъ образомъ человекъ, желая похвалить историковъ, философски повѣряющихъ истину, не находитъ сказать ничего лучше, какъ назвать ихъ «фабрикантами», школы ихъ—«фирмами», сочиненія—«добротными произведеніями», а занятія и труды—«ремесломъ», если онъ считаетъ писателя мелкимъ ростовщикомъ, то почему же ему не оцѣнить свою любовь, почему ему не приложить тоже разсужденіе ко всякому нравственному оскорбленію и не оплакивать публично въ печати несправедливость закона, который даетъ только отъ 1 франка до 500 за пощечину? Его идеаль—чтобы все было выражено въ франкахъ и на все положена денежная цѣна: за пожатіе руи жены либеральному буржуа слѣдуетъ столько-то; за любовную записку— столько-то; за взломъ замковъ, которые онъ имѣлъ предосторожность повѣсить— столько-то; за избітіе его фантоміи или лохани, какъ говорятъ глуповцы— столько-то, а чѣмъ дороже будетъ цѣна, тѣмъ лучше. Онъ съ такимъ же самодовольствомъ положить въ карманъ 10,000, полученныя за семейное счастье или за пзмятую фантомію, съ какимъ теперь владеть эти деньги за ворованныя мысли, проданныя Гашету, и будетъ потомъ разсуждать о законности владѣнія, основаннаго на этомъ способѣ пріобрѣтенія, будетъ взывать къ юристамъ-законодателямъ, чтобы они придумали необходимую для него санкцію. Все это очень забавно, тѣмъ болѣе, что все это либеральные буржуа придумываютъ и желаютъ стянуть другъ съ друга, потому что съ бѣднякомъ поневолѣ прійдется удовольствоваться «трехлѣтнимъ тюремнымъ заключеніемъ и скромнымъ штрафомъ отъ 1 франка до 500».

Хорошо также и то, что Абу съ непоколебимымъ цинизмомъ настаиваетъ на экспроприаціи всѣхъ мелкихъ поземельныхъ собственниковъ и вознагражденій ихъ за потерю земли бумагами, причемъ прѣ-

но говорить, что, какъ бы это ни оказалось для нихъ невыгодно и въ какую бы бѣду вслѣдствіе этого они ни попали, они во всякомъ случаѣ должны будутъ все стерпеть, такъ какъ всякое возмущеніе повлекло бы за собой невыгодное для нихъ пониженіе курса ихъ бумагъ. Но всѣхъ достопримѣчательностей книжки Абу не перечтешь до завтра. Того, что мы видѣли, уже за глаза достаточно, чтобы знать, какія гнусности, составляющія позоръ западной прессы, переводятся у насъ.

Чтобы исчерпать до дна всеъ помои западныхъ литературъ, недостаточнo такихъ изданій, какъ «Прогрессъ» Абу; кромѣ цинической болтовни невѣжественнаго буржуа, надо представить русскимъ читателямъ образцы gründlich написанныхъ ученыхъ пакостей пѣщаныхъ авторитетовъ. Такой трудъ предпринялъ профессоръ московскаго университета г. Дмитріевъ при помощи студента своего факультета, г. Лянидевскаго, рѣшившагося содѣйствовать своему наставнику въ изданіи такой книги, какъ «Общее государственное право» піюна Блунчли. Этотъ Блунчли—одно изъ самыхъ, послѣ Камитца, опозоренныхъ именъ Германіи и Швейцаріи. Надъ докладами его о коммунистахъ, о которыхъ онъ дѣлалъ въ сороковыхъ годахъ розыскъ въ Швейцаріи, смѣются даже такія шрапты тупицы, какъ авторъ Staats-Lexicon'a, называя его показанія «преувеличенными и лживыми». Другія сочиненія его, равно какъ и Ф. Ромера, на котораго онъ нерѣдко ссылается въ своей «государственномъ правѣ», всегда цитировались, какъ рѣдкіе экземпляры самаго яснаго образа мыслей самыми крайними обскурантами. И вотъ произведеніе такого человѣка предлагается публикѣ учеными московскаго университета: не назидательный ли это фактъ? Не говорятъ ли онъ краснорѣчиво о духѣ, который господствуетъ въ нашихъ храмахъ науки и о степени развитія, на которой стоятъ жрецы ея?

О самой книгѣ я не буду много разговаривать: довольно, если я для примѣра и въ предостереженіе приведу нѣсколько цитатъ. Вотъ напр. какъ разсуждаетъ Блунчли въ области теоріи: «Правовыя идеи сами по себѣ не составляютъ дѣйствительнаго права; поэтому познаніе ихъ

правде всего есть дѣло свободной дѣятельности науки, не имѣющей непосредственнаго вліянія на юридическій порядокъ. Правовыя идеи становятся правомъ только тогда, когда онѣ, такъ сказать, воплощаются, т. е. признаются въ государствѣ твердыми правилами и приобретаютъ положительное значеніе. Будущи признаны національнымъ сознаніемъ за опредѣленные и обязательныя, достойно прилагаясь въ государствѣ, правовыя идеи черезъ это само имѣютъ философскія мысли и моральныхъ предписаній превращаются въ юридическія положенія» (стр. 16). Въ этомъ вкусѣ написаны всѣ теоретическія разглагольствація Блунчи, и по русски таюй способъ разсуждать называется: Андроны ѣдутъ. Впрочемъ въ такихъ мѣстахъ ученый авторъ не столько противенъ, сколько жабокъ, напоминая собой помѣшаннаго, который бормочетъ, самъ не зная что, и не отдавая себѣ ни малѣйшаго отчета въ своихъ словахъ. Эту умственную мастурбацію должно разсматривать, какъ плачевное послѣдствіе соотвѣтствующаго физическаго порока, и я снова повторяю, что только заволочка и холодныя души могутъ изцѣлить отъ гибельной страсти къ подобнымъ словозверженіямъ. Если бы Блунчи на нихъ остановился, то я былъ бы готовъ отъ души сожалѣть о немъ. Но когда онъ начинаетъ разсуждать о вещахъ болѣе дѣйствительныхъ, чѣмъ правовыя идеи или ѣдущіе Андроны, то становится ясно, что онъ только прикидывается идиотомъ, а въ сущности большой шарлатанъ. Таково его разсужденіе о сословіяхъ и о пролетаріатѣ особенно. Хотя и здѣсь попадаются фразы такого рода, что «не организованное сословіе представляетъ только субстратъ для сословія, ибо дѣйствительное сословіе имѣетъ тѣло» (стр. 145), — фразы, заставляющія снова подумать о пользѣ заволочки, но тутъ же рядомъ стоятъ разсужденія гораздо худшаго свойства. Очень хорошъ перечень лицъ, которыя, хотя, подобно пролетаріату, «суть части населенія немущія и обособленныя», но къ пролетаріату не принадлежатъ. «Немущія дѣти, говоритъ Блунчи, не составляютъ пролетаріевъ, потому что пользуются въ семействѣ родителей уходомъ, воспитаніемъ и содержаніемъ. Имъ сообщается состояніе родителей, и даже для бѣдныхъ сиротъ общинный организмъ восполняетъ и замѣняетъ родителей. Громадное число крестьянскихъ работниковъ и работницъ тоже не составляютъ пролетаріевъ, потому что не стоятъ въ мірѣ изолированно, а находятъ себѣ въ крестьянскомъ

дворѣ и семействѣ приютъ и обеспеченное участіе въ сословной жизни. При лучшей, въ сравненіи съ теперешней, организаціи ремесль и подмастерья составляли членовъ семейства мастера, и даже при теперешнемъ разстройствѣ въ нихъ живо чувство своей принадлежности къ сословію ремесленниковъ, чувство, которое возвышаетъ ихъ надъ пролетаріатомъ. И прислуга посредствомъ связи съ хозяевами достигаетъ спокойнаго существованія и принимаетъ участіе въ сословныхъ отношеніяхъ послѣднихъ. Солдатамъ принятіе въ ряды арміи доставляетъ жалованье и честь.» (стр. 146)

Все это такъ неподражаемо хорошо, такъ въ своемъ родѣ единственно, что въ комментаріяхъ не нуждается: всякій самъ пойметъ и оцѣнитъ эту несравненную страницу.

Ш. Вайцель.

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ.

ПОЛИТИКА.

Оцѣнка политической дѣятельности Пальмерстона.—Былъ-ли онъ великій человекъ?—Былъ-ли онъ честный человекъ?—Ничтожность его государственной карьеры.—Сравненіе Пальмерстона съ пустой бутылкой Пѣнчель.—Смерть «старого Дюпена».—Процессъ г. Сандона и оторатительная шутка министра Бильо.—Плачевная роль Nationalverein'a.—Этикетъ виртембергскаго двора.—Демонстрація прусскихъ юнкеровъ въ пользу Франциска II.—Отставка Мерода.

Недавно Англія схоронила человекъ, который былъ совершеннѣйшимъ типомъ ея современнаго поколѣнія. Мы назвали этого человекъ созданіемъ и воплощеніемъ великобританской буржуазіи, человекъ, столько же ловкаго и находчиваго, сколько ничтожнаго по своимъ нравственнымъ качествамъ, которыя мы привыкли видѣть въ настоящихъ дѣятеляхъ XIX столѣтія. Впродолженіи полувѣка Пальмерстонъ стоялъ во главѣ всѣхъ дѣлъ, не смотря на то, что всегда зависѣлъ отъ прихоти партій. Ему дали огромное вліяніе и силу, но съ условіемъ, чтобы онъ никогда не забывалъ, что онъ избранный представитель того всемогущаго сословія, которое безусловно располагаетъ свободой, имуществомъ, трудомъ и жизнью своей страны. Чѣмъ внимательнѣе исполнялъ онъ желанія этого сословія, чѣмъ болѣе подчинялся его волѣ, его мыслямъ и его инстинктамъ, тѣмъ тверже онъ чувствовалъ себя на своемъ политическомъ поприщѣ и свободнѣе дѣйствовалъ въ отно-

шеніи націи. Англія видѣла, что онъ управлялъ ею такъ, какъ она желала быть управляемой; она видѣла въ немъ свое собственное произведеніе и гордилась имъ, какъ отраженіемъ самой себя. «Лордъ Пальмерстонъ, говоритъ Times, оплакивая его на своихъ скабрѣзныхъ столбцахъ, — не только первый министръ, но и первый человѣкъ нашего времени. Онъ лучший гражданинъ между своими согражданами. Сказать: Пальмерстонъ—все равно, что сказать—Англія.

Человѣкъ, надъ которымъ произносится такое надгробное слово, во всякомъ случаѣ заслуживаетъ подробнаго анализа его дѣйствій, намѣреній, характера и судьбы. Надъ свѣжею могилою его мы задаемъ себѣ вопросъ: былъ ли всемогущій Пальмерстонъ дѣйствительно гениальнѣйшій и честнѣйшій человѣкъ, какъ называетъ его большинство самихъ англичанъ?

Генрихъ Джонъ Темплъ, Виконтъ Пальмерстонъ родился въ 1784 году въ семействѣ, которое относитъ свое происхожденіе ко времени завоеванія Англіи норманнами и которое поселилось въ Ирландіи еще въ XVII вѣкѣ. Эта фамилія была въ родствѣ съ домою Букингемовъ, и изъ нея вышло много извѣстныхъ личностей, между которыми самымъ знаменитымъ былъ сэръ Вильямъ Темплъ, министръ Карла II.

Молодой Генрихъ обучался въ Гарроуской аристократической школѣ, въ одно время съ Байрономъ, Эбердиномъ и Робертомъ Пилемъ. Образование свое онъ докончилъ въ университетахъ Эдинбургскомъ и Кембриджскомъ. По достиженіи совершеннолѣтія, онъ тотчасъ же былъ выбранъ партіею тори въ кандидаты на званіе представителя Кембриджскаго университета на мѣсто умершаго Питта. На выборахъ его забалотировали, но это не смутило его покровителей, они тотчасъ же сдѣлали его депутатомъ отъ одного изъ своихъ милыхъ бурговъ, и съ 1806 года, т. е. въ продолженіе почти шестидесяти лѣтъ, онъ постоянно засѣдалъ въ парламентѣ. Въ 1807 году онъ былъ назначенъ членомъ адмиралтействъ совѣта, въ 1809 получилъ мѣсто секретаря въ военномъ министерствѣ и здѣсь оставался очень долго, при пяти или шести министерствахъ. Его рукою въ 1815 году былъ подписанъ декретъ, въ силу котораго схватили побѣжденнаго Наполеона, какъ плѣнника Англіи и посадили на Беллерофонъ. Уже въ то время молодой чиновникъ отличался рѣдкимъ прилежаніемъ, примѣрною акуратностію и полнѣйшею готовностію ходить на заднихъ лапкахъ передъ тѣмъ, кто непосредственно вліялъ на его судьбу. Какъ человѣкъ смѣтливый и умный, онъ быстро оканчивалъ порученія

своихъ начальниковъ, каждый министръ находилъ въ немъ самаго полезнаго чиновника и передавалъ его своему врсемнику съ отличнѣйшею рекомендаціею. Почетное и выгодное положеніе, которое онъ въ теченіе двадцати лѣтъ занималъ между политическими *не-
нужностями*, повидимому совершенно удовлетворяло его, и честолюбивая мысль занимать высшій правительственный постъ, казалось, никогда не щемила его сердца. Зато онъ всѣми силами старался поставить себя на видъ передъ свѣтомъ, улаживалъ за чужими женами, и никогда не искалъ въ нихъ ничего, кромѣ орудія для достиженія своихъ служебныхъ цѣлей; министръ удостоивалъ молодого секретаря полнѣйшею благожелательностію, и жена министра, любовница или дочери его смотрѣли на Пальмерстона, какъ на самаго пріятнаго собесѣдника. Такимъ образомъ онъ дожилъ до 44 лѣтъ. Въ 1828 году онъ поссорился съ герцогомъ Веллингтономъ, вышелъ въ отставку, перешелъ на сторону вигговъ, началъ сражаться въ рядахъ оппозиціи—самое дѣйствительное средство для усиленія политическаго значенія. Дѣйствительно, какъ только вигги стали во главѣ правленія, Пальмерстонъ былъ избранъ членомъ совѣта. Онъ былъ слишкомъ уменъ или слишкомъ разсчитливъ для того, чтобы сдѣлаться человекомъ исключительно одной партіи; онъ понималъ, что для признанія его власти цѣлою націею, ему слѣдовало давать залогомъ своей вѣрности и тѣмъ и другимъ, имѣть друзей, гарантій, связи въ той и другой партіи. Будучи въ душѣ консерваторомъ и торі, онъ подавалъ голосъ въ пользу освобожденія ирландскихъ католиковъ, понимая, что лучшимъ средствомъ для примиренія Ирландіи съ Англіею было дружеское обращеніе съ этою странюю,—чего не могли понять лучшие умы, именно, что съ человекомъ, дружба котораго необходима, нельзя обращаться, какъ съ врагомъ. Это открытіе было сдѣлано уже Питтомъ и Каннингомъ, но заслуга Пальмерстона состоитъ въ томъ, что онъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими государственными людьми, примѣнилъ его къ дѣлу. Изъ торі съ образомъ мыслей вигга онъ сдѣлался виггомъ съ образомъ мыслей торі... Но возвратимся къ кризису, разразившемуся не задолго до 1830 года. Подъ вліяніемъ Питта и Бёрка, Англія объявила себя врагомъ французской революціи и защитникомъ всѣхъ соціальныхъ, феодальныхъ и религіозныхъ гнусностей среднихъ вѣковъ. Она принялась за эту борьбу съ такимъ озлобленіемъ, что возставала противъ Франціи безъ всякаго разбору. Съ начала она дралась съ республикой, потомъ дралась съ имперіей—которая сама принесла въ жертву республику,—подобно тому, какъ Неронъ убилъ свою мать,

Наполеонъ I поставилъ себѣ задачей сначала эксплуатировать, потомъ изувѣчить и наконецъ истребить революцію, создавшую этого деспота; но онъ успѣлъ исполнить только половину своей задачи. Англійская аристократія не поняла, что этотъ *выскачка* говорилъ правду, когда объявлялъ, что беретъ въ образцы себѣ Цезаря и Карла Великаго, — Цезаря, который посредствомъ эксплуатации римской демократіи основалъ самое сильное и здоровое государство — образецъ всѣхъ абсолютныхъ монархій, — Карла Великаго, бывшаго наслѣдникомъ этой имперіи и создателемъ феодализма. Обстоятельства крайне благоприятствовали тому, кто желалъ захватить въ одно и тоже время въ свои руки наслѣдство Цезаря и наслѣдство Карла Великаго. Не трудно перевести народъ изъ войны наступательной въ оборонительную. Не трудно превратить свободу въ распущенность, а распущенность въ рабство; не трудно дать народу слугу, который потомъ дѣлается господиномъ, — поставить надъ народомъ власть чисто исполнительную, которая потомъ переходитъ во власть деспотическую. Такова была *наполеоновская идея*, которой суждено было изъ Франціи распространиться по всей Европѣ. На островѣ св. Елены оскорбленный плѣнникъ горько жаловался, что Европа не поняла его. Еслибъ его поняли народы, Лейпцигъ и Ватерло не заставили бы ждать себя такъ долго. А еслибъ его поняли Веллингтоны и Блюхеры, они не вступили бы въ союзъ съ своими народами противъ императора французовъ, врага народовъ и революціи, а скорѣе заключили бы съ нимъ вѣчный союзъ противъ всякаго покушенія націй идти впередъ. Но они не сдѣлали этого. Коалиція, правда, восторжествовала, но послѣ побѣды народы потребовали свою часть и получили грубый отказъ. Въ этомъ обстоятельствѣ до сихъ поръ заключается причина всѣхъ политическихъ движеній въ Великобританіи.

Англія серьезно повѣрила, что она сыграла антиреволюціонную роль. Тори, управлявшіе ея дѣлами, были убѣждены, что, восторжествовавъ надъ Наполеономъ, они побѣдили и революцію, и теперь единственною заботою ихъ было утвердиться на этомъ островѣ, который, послѣ нашествія норманновъ, они завоевали во второй разъ. Англія 1815 года представляла собою самую странную смѣсь всѣхъ средневѣковыхъ негѣпостей. Въ ней уживались вмѣстѣ насилие и свобода, привилегіи и права, всевозможныя политическія, религіозныя, нравственныя и экономическія учрежденія. Все это существовало еще недавно, и описаніе всѣхъ этихъ мерзостей показалось бы невѣроятнымъ теперь, когда это Авгіево стойло немного очищено. Въ разгарѣ войны всѣ взоры, то омраченные по-

раженіемъ, то упоенные побѣдой, были обращены исключительно на внѣшнія событія; всѣ только и думали о нихъ; повидимому, не осталось никого для пониманія и устраненія всѣхъ гадостей, совершавшихся внутри Англіи. Но когда побѣдившая аристократія захотѣла съ комфортомъ усѣсться въ своихъ владѣніяхъ,—оказалось, что въ этихъ владѣніяхъ невозможно жить. Всѣ стѣны обрушились, всѣ фермеры, разоренные налогами, готовы были лучше сжечь свое имущество, чѣмъ платить оброкъ. Прибавьте къ этому нѣсколько лѣтъ холода, дождей и неурожая. Народъ былъ раздраженъ до крайней степени; повсюду начинали ходить слухи о грабежахъ и убійствахъ; но люди свѣдущіе были спокойны, думая, что нетрудно справиться съ націей, невѣжественной до животной тупости, разоренной лихонимствомъ, истощенной голодомъ. Эта мысль была утѣшеніемъ, но утѣшеніемъ самымъ горькимъ.

Изъ всего этого вышло, что побѣдившая Англія очутилась почти въ такомъ же положеніи, въ какое стала побѣжденная Франція. Реставрація, которая должна была возстановить абсолютизмъ Людовика XIV и даже германскій феодализмъ, не только не сдѣлала этого, но напротивъ того открыла собою рядъ парламентовъ, хартій и т. п.; во Франціи король долженъ былъ присягать, что онъ будетъ ненарушимо слѣдовать своду гражданскихъ законовъ (Code civil),—то есть, произведенію революціи. Въ Англіи аристократическая власть теряла одинъ оплотъ за другимъ: сегодня совершалась эмансипація диссидентовъ, квакеровъ, методистовъ, анабаптистовъ и другихъ; завтра освобождался католики; вслѣдъ затѣмъ сгнившіе города и замки осаждались и брались приступомъ одинъ за другимъ. И такимъ-то образомъ въ обѣихъ странахъ почти одновременно пришли къ великому кризису — къ побѣдѣ буржуазіи надъ аристократіей. Французская революція 1830 года отозвалась въ Англіи провозглашеніемъ Reform-Bill.

Благодаря гибкости своего ума, Пальмерстонъ понялъ, что чистый торизмъ не могъ существовать во что бы то ни стало,—и онъ сдѣлался либеральнымъ тори, чтобы по окончаніи своихъ маневровъ превратиться въ предводителя виговъ. Ловкій человекъ умѣетъ стать въ запутанное положеніе, держаться въ немъ. Пальмерстонъ провозглашаетъ себя то консервативнымъ прогрессистомъ, то прогрессивнымъ консерваторомъ, смотря по надобности, и благодаря этой системѣ, онъ могъ участвовать во всѣхъ успѣхахъ, эксплуатировать всѣ побѣды, засѣдать на всѣхъ банкетахъ реформистскихъ или антиреформистскихъ. Какъ только доходило дѣло до того, чтобы высказать свое мнѣніе рѣ-

пительно, Пальмерстонъ отшучивался каламбурами и, не желая быть орудіемъ одного лица или одной партіи, высматривалъ и выжидалъ, на чьей сторонѣ будетъ полдній перевѣсъ. Гдѣ была сила, тамъ былъ и омы. Вотъ почему Пальмерстонъ, наперекоръ своимъ убѣжденіямъ, сталъ въ ряды защитниковъ знаменитаго Reform-Bill, предложеннаго Джемомъ Росселемъ, — того билля, который, по словамъ его противниковъ, долженъ былъ повлечь за собою величайшія несчастія, но на самомъ дѣлѣ спасъ Англію отъ революціи. Любопытно, что уже въ то время Пальмерстонъ требовалъ эмансипаціи многихъ тысячъ гражданъ не во имя справедливости, но только во имя приличія и необходимости. Весь Пальмерстонъ заключается въ прекраснѣйшемъ мѣстѣ своей прекраснѣйшей рѣчи, — которая, какъ говорятъ, была причиною позднѣйшаго назначенія его министромъ иностранныхъ дѣлъ; это мѣсто не перестаютъ повторять газеты и журналы:

«Въ Европѣ есть двѣ большія партіи: одна старается первенствовать силою общественнаго мнѣнія, другая — грубою силою. Въ природѣ есть только одна движущая сила — сила ума; все остальное пассивно и неподвижно. Въ человѣческихъ дѣлахъ этою силою является идея, а въ дѣлахъ политическихъ — общественное мнѣніе. Кто овладѣваетъ этою силой, тотъ смиритъ руку силы физической и заставитъ ее дѣйствовать по своей волѣ».

Въ переводѣ на болѣе простой языкъ это значитъ: друзья мои, опирайтесь на общественное мнѣніе, потому что это самая дѣйствительная сила вездѣ, гдѣ она существуетъ. А вы знаете, что право сильнаго всегда лучше всякаго другаго права. Я несовсѣмъ хорошо понимаю значеніе словъ: истина, прогрессъ, справедливость, — это только принципы, только отвлеченныя понятія; но общественное мнѣніе всегда проявляется въ фактахъ и говоритъ языкомъ событий. Конечно, общественное мнѣніе измѣняется каждый день; оно стояло за инквизицію противъ еретиковъ; оно не было на сторонѣ тѣхъ великихъ мучениковъ, которыхъ жгли, колесовали и позорили во имя общественнаго мнѣнія. Рѣшать — гдѣ истина и гдѣ право — дѣло людей мыслящихъ; а мы, политическіе люди, слѣдуемъ только указаніямъ общественнаго мнѣнія...

И такъ единственною цѣлью Пальмерстона быть успѣхъ; средствомъ къ достиженію этого успѣха было внимательное наблюденіе за общественнымъ мнѣніемъ и, въ случаѣ нужды, ловкое обращеніе съ нимъ. Конечно, мы гораздо выше цѣнимъ того министра, который управляетъ сообразно съ національнымъ чувствомъ, чѣмъ

того, который идетъ наперекоръ народу; но мы думаемъ, что есть нѣчто выше популярности, и это — справедливость.

Политика, руководившая Пальмерстономъ въ вопросѣ объ эмансипаціи католиковъ и диссидентовъ и о Reform-Bill, не оставила его и тогда, когда онъ вступилъ въ управление министерствомъ иностранныхъ дѣлъ и когда, слѣдовательно, въ рукахъ его сосредоточились дѣла гораздо большей важности. Оцѣнивъ, какъ слѣдуетъ, ту поддержку, которую билль Джона Росселя нашелъ въ июльской революціи, Пальмерстонъ сталъ въ хорошія отношенія съ Людовикомъ-Филиппомъ, котораго другія великія державы Европы держали въ почтительномъ отдаленіи, вслѣдствіе его слишкомъ подозрительнаго происхожденія. Пальмерстонъ скоро угадалъ въ королѣ буржуа честолюбиваго поклонника абсолютизма. Правительства Великобританіи и Франціи скоро вступили въ тѣсный союзъ, который, какъ говорили, былъ основанъ на тождествѣ конституціонныхъ учрежденій и успевъ необходимою бороться съ противоположною политикой европейскихъ государствъ; европейскій либерализмъ, упоенный побѣдами, одержанными въ Бельгій, Испаніи и Португаліи, думалъ, что подъ сѣнью этого союза ему предстоить самая блестящая будущность. Это были золотые дни знаменитой Entente cordiale. Эта дружба конечно не жѣлала тому, что французскіе либералы искали вездѣ случая декламировать противъ коварнаго Альбіона, а англичане всевозможныхъ отгѣнковъ чувствовали искреннее отвращеніе къ народу, состоявшему, по ихъ убѣжденію, изъ отъявленныхъ революціонеровъ и развратниковъ. Оба правительства тоже не особенно честно поступали другъ съ другомъ. Инициатива въ этомъ принадлежала Пальмерстону, который повелъ дѣло такъ ловко, что, не смотря на желаніе Франціи и даже Бельгій, эти два государства не соединились въ одно и что самъ Людовикъ-Филиппъ не посмѣлъ принять для своего сына, герцога немурскаго, предложенную этому послѣднему, бельгійскую корону; французскій король скрылъ свою досаду, — но ударъ попалъ въ цѣль. Англія очень желала имѣть въ своемъ сосѣдствѣ конституціонную Францію, но для нея показалось бы унижительнымъ стоять рядомъ съ Франціею, распространившею свои владѣнія. Мало по малу многимъ стало ясно, что оба союзника тайно заботились о томъ, какъ бы надуть другъ друга. Подписаніе лондонскаго трактата въ іюль 1840 года было самымъ кровавымъ оскорбленіемъ, какое только одно государство могло нанести другому; и этотъ ударъ былъ тѣмъ болѣе мучителенъ, что отомстить за него было почти невозможно. Франція увидѣла, что ее обманули, поставили

въ смѣшное положеніе, и въ тоже время видѣла невозможность объявить войну и смыгъ кровью это оскорбленіе. Она вознегодовала на Людовика-Филиппа за эту рану, нанесенную ей самолюбію, и это негодование не мало содѣйствовало взрыву Февральской революціи.

Съ тѣхъ поръ двѣ великія конституціонныя державы Европы вездѣ боролись между собою. Въ Греціи, по поводу жалкаго дѣла жида Пачифио, Пальмерстонъ угрожалъ сжечь Афины и разрушить ту самую Грецію, которая была обязана ему своимъ освобожденіемъ, и все это изъ-за сомнительнаго долга въ четыре тысячи франковъ. Въ Италіи тотъ же Пальмерстонъ сѣялъ возмущеніе и потомъ оставилъ инсургентовъ на жестокое мщеніе неаполитанскаго короля.

Едва февральская революція восторжествовала въ Парижѣ, какъ англійское правительство поспѣшило признать ее, хотя оно ненавидѣло ее отъ всей души, что не было ни для кого тайною. Если Пальмерстонъ былъ въ Испаніи революціонеромъ до тѣхъ поръ, пока у революціонной партіи не было ни одного шанса на успѣхъ, то онъ возсталъ противъ революціонеровъ какъ италіанскихъ, такъ и венгерскихъ, тогда когда одно слово Англии могло доставить имъ побѣду. Пусть наши читатели вспомнятъ только поздравленіе, съ которымъ Пальмерстонъ обратился къ убійцамъ римской республики, его жестокіе отвѣты и даже угрозы герою Маниви; пусть они вспомнятъ, какъ онъ распечатывалъ въ Парижѣ письма Мадзини и сообщалъ ихъ содержаніе всѣмъ полиціямъ континента.

Coup d'état декабрьской ночи нашель въ Пальмерстонѣ соучастника. Едва онъ узналъ объ этомъ переворотѣ, какъ, не сказавъ ни слова королевѣ, не сказавъ ничего своимъ товарищамъ, поспѣшилъ послать во Францію согласіе Англии. Этотъ поступокъ былъ измѣною государству, оскорбленіемъ величества. Въ былое время онъ заплатилъ бы за это преступленіе головою на эшафотѣ или, покрайней мѣрѣ, вѣчнымъ заключеніемъ въ тюрьмѣ; но теперь его наказали только просьбою подать въ отставку, и за такое дѣло всемогущій министръ оставался всего три мѣсяца внѣ власти.

Исторія отношеній Пальмерстона къ декабрьскому правительству есть повтореніе отношеній его къ правительству іюльскому. Дружба мало по малу уступила мѣсто враждѣ.

Начало положило крымская война. Императору Наполеону, какъ говорятъ, очень хотѣлось выбрать мѣстомъ сраженія Польшу; но Пальмерстонъ, который уже въ 1830 году неблагосклонно смотрѣлъ на польское возстаніе, воспротивился этому плану, и увлекъ свою

армію въ страшныя бѣдствія. Уѣзжая изъ Англіи во главѣ великолѣпнѣйшаго флота, какой когда либо выходилъ изъ европейской гавани, адмиралъ объявилъ на прощальномъ обѣдѣ, что черезъ шесть недѣль онъ будетъ или въ Кронштадтѣ или въ раю. Шесть недѣль спустя, этотъ милый человѣкъ не былъ ни въ Кронштадтѣ, ни въ раю; прошло еще шесть мѣсяцевъ—онъ все еще не попалъ ни туда, ни сюда, и его великолѣпный флотъ все еще оставался совершенно нетронутымъ. Когда императору Бонапарту показалось, что онъ добился желаемого успѣха, тогда онъ поспѣшилъ заключеніемъ мира, къ великой досадѣ англичанъ, все еще искавшихъ случая прославиться и все-таки не находившихъ его. Съ тѣхъ поръ военная слава Англіи все болѣе и болѣе клонилась къ упадку; теперь за Англіей признается только морское могущество, а что касается до ея арміи, то даже Пруссія смотритъ на нее съ пренебреженіемъ. Несомнѣнно, что англійская политика не подверглась бы тому униженію, которое еще недавно обрушилось на нее со стороны Германіи, если бы осада Севастополя не доказала, что военная сила Англіи есть чистый призракъ, созданный случайной удачей при Ватерло. Отъ того-то Англія обратилась къ принципу невмѣшательства, которому она слѣдуетъ весьма искренно въ отношеніи ко всѣмъ тѣмъ, кто можетъ противустоять ей.

Затѣмъ послѣдовало дѣло Орсини. Императоръ Бонапартъ, получившій ясное понятіе о слабости Англіи, рассудилъ, что онъ можетъ принять повелительный тонъ и дать волю своему гнѣву на то, что Англія давала убѣжище французскимъ и италіанскимъ эмигрантамъ—Мадзини, Ледрю-Роллену и другимъ. Между тѣмъ какъ полковники французской арміи изливали свою храбрость въ грозныхъ письмахъ, печатавшихся въ «Монитѣрѣ», между тѣмъ какъ г. Де-Мопа требовалъ гласно, чтобы его назначили лондонскимъ префектомъ, — императоръ требовалъ выдачи Симона Бернара, — т. е. требовалъ нарушенія англійскаго закона, оскорбленія британскаго гостепріимства. И что же? Надмѣнный Пальмерстонъ выказалъ готовность исполнить это требованіе. До того времени имя Пальмерстона было синонимомъ высокоумія и непоколебимой стойкости, а теперь вдругъ увидѣли всѣ, что это самый гибкій и покорный слуга ненавистнаго французскаго правительства. Англія почувствовала себя уязвленной и униженной, и въ февралѣ 1858 года, палата депутатовъ сдѣлала ему строгій выговоръ, вслѣдствіе котораго онъ долженъ былъ выйти въ отставку, но только на нѣсколько мѣсяцевъ. Англія начала успокаиваться только тогда, когда употребила всю энергію устрашенія и патриотизма на преобразова-

ніе своей арміи, на вооруженіе своихъ волонтеровъ, на укрѣпленіе своихъ береговъ и особенно на преобразование своего флота. Британскій леонардъ оскалилъ бѣлые зубы и гнѣвно раздулъ ноздри; увидѣвъ это, императорскій орелъ повернулъ въ другую сторону и устремился на товарища, который всего менѣе ожидалъ этого нападенія—на разслабленную Австрію. Итальянская война была также гибельна для первенства Англіи, какъ и крымская кампанія. Европейскіе народы съ удивленіемъ устышали, какъ въ одно и тоже время французское правительство утверждало, что одна Франція способна вести войну изъ-за идеи, а правительство неизбежнаго Пальмерстона увѣряло, что оно пытается полнѣйшее сочувствіе къ дѣлу Италіи, но не хочетъ тратить на него ни одного человѣка и ни одного шиллинга. И, слушая это, европейскіе народы вспоминали, что еще наканунѣ правительство лорда Пальмерстона объявило Китаю войну, до того несправедливую и подъ такимъ чудовищнымъ предлогомъ, что люди всѣхъ партій разразились въ палатѣ депутатовъ единодушнымъ крикомъ оскорбленной человѣческой совѣсти. Къ чести Джона Росселя, Гладстона, Лейарда, Милнера Джобсона, Кобдена, Брайта, даже Дизраэли, надо сказать, что ихъ охватило равное негодованіе, и лордъ Пальмерстонъ былъ осужденъ общаею подачею голосовъ. «Но здѣсь—восклицаетъ одинъ изъ самыхъ тонкихъ знатоковъ англійскаго характера—здѣсь раскрывается тайна громадной популярности Пальмерстона. Чѣмъ гнуснѣе было дѣло, въ которомъ упрекали его, тѣмъ болѣе общественное мнѣніе, ослѣпленное имъ, благодарило его за то, что онъ ставитъ интересы Англіи даже выше священнѣйшихъ интересовъ справедливости. Это было заявлено съ весьма прискорбною кротостію однимъ пальмерстоновскимъ кандидатомъ въ начавшейся затѣмъ избирательной борьбѣ, такъ какъ ловкій министръ протестовалъ распущеніемъ парламента противъ общаго приговора и апеллировалъ къ народу. Его побѣда—да позволить мнѣ Англія записать это событіе—его побѣда была полная». — «Мы всѣ гордимся Пальмерстономъ!» — воскликнулъ Робертъ Пилъ, который еще недавно произнесъ противъ него рѣчь, по поводу гнуснаго дѣла Пачифико. Да, это такъ; Англія похожа на тѣхъ надменныхъ, ревнивыхъ и жадныхъ любовницъ, которыя вѣрятъ въ любовь своихъ возлюбленныхъ только тогда, когда эти послѣдніе жертвуютъ имъ всѣми своими предшествовавшими симпатіями и привязанностями, своею честію и даже честностію. Первую войну съ Китаемъ Пальмерстонъ затѣялъ для того, чтобы заставить китайцевъ отравляться опиумомъ къ великому барышу купцовъ: а

вторую объявить: потому, что одинъ китайскій контрабандистъ вздумалъ вывѣсить на своемъ кораблѣ знамя съ изображеніемъ вѣста святаго Георгія, чтобы держать таможенныхъ досмотрщиковъ въ почтительномъ разстояніи отъ себя. И англійскія пушки успѣли расправиться съ контрабандистомъ.

Послѣ итальянской войны, Англію сильно раздосадовало то обстоятельство, что императорское правительство, выставившее себя етоль безкорыстнымъ, захватило себѣ Ниццу и Савойю въ награду за свое противодѣйствіе Австріи,—и Россель отпрѣвилъ въ Тульерійскій кабинетъ нѣсколько депешъ, написанныхъ подъ вліяніемъ сильной досады и самыми ядовитыми чернилами.

Затѣмъ вышли на сцену мексиканскія дѣла. Англія сначала, по видимому, дѣйствовала заодно съ императоромъ Бонапартомъ, но въ рѣшительную минуту отступилась отъ него, слишкомъ снательная тѣмъ, что оставила своего союзника запутываться дальше въ предпріятіи, исходъ котораго долженъ быть непременно пагубенъ и съ которымъ соединяется перспектива страшной войны съ Соединенными Штатами.

Этотъ примѣръ не пропалъ даромъ. Когда императоръ французъ и лордъ Пальмерстонъ задумали присоединиться къ рабовладѣльцамъ, для того чтобы раззорить федеральную республику, — тогда, въ рѣшительную минуту, ни Людовикъ Бонапартъ; ни лордъ Пальмерстонъ не посмѣли впутаться въ это дѣло, потому что каждый изъ нихъ боялся измѣны другого. Въ дѣлѣ польскаго возстанія они дѣйствовали точно также, т. е. не довѣрили другъ другу и одинъ другого выжидали.

Когда французское правительство, съ цѣлью пустить политическій и международный фейерверкъ на диво всѣмъ зѣвакамъ Европы, выдумало планъ конгресса,—тогда Пальмерстонъ и Россель рѣшительно отказались принять участіе въ этомъ газрствѣ, и стали преслѣдовать своими насмѣшками проэктъ, который не осуществился, именно вслѣдствіе ихъ сарказмовъ.

Что же вышло изъ этого? Правительство императора Бонапарта отказало Англіи во всякой помощи, когда возникъ вопросъ о датскомъ наслѣдствѣ, и когда нѣмцы потребовали Шлезвигъ-Гольштинію на основаніи трактата, составленнаго въ 1850 году лордомъ Пальмерстономъ. Не одинъ разъ Сень-Джемскій кабинетъ бралъ на себя отвѣтственность въ этомъ дѣлѣ; не одинъ разъ онъ отдавалъ датчанамъ приказаніе, какъ говорится, дѣйствовать; онъ дошелъ даже до того, что угрожалъ противникамъ своимъ гнѣвомъ, онъ даже заставилъ «британскаго льва» зарычать и потрясти гриву.

вой. Но г. Бисмаркъ имѣлъ дерзость не обратитъ на все это ни малѣйшаго вниманія, и тогда лорды Россель и Пальмерстонъ стушевались и замолчали, обманувъ послѣднія надежды растерзанной націи.

Это былъ финалъ политической карьеры знаменитаго Пальмерстона.

Мы прослѣдили главные эпизоды долгой и бурной жизни этого государственнаго человѣка; шестьдесятъ лѣтъ прошли предъ нашими глазами. Какое же заключеніе выведемъ мы изъ этого обзора? Былъ ли Пальмерстонъ великій человѣкъ? Былъ ли онъ просто человѣкъ честный?

До великихъ людей ему далеко. Чтобы заслужить этотъ титулъ, надо быть или героемъ, или мыслителемъ. Герою дана чистота, доброты и простота сердца, герой испытываетъ наслажденіе преданности, самопожертвованія, забвенія своей безопасности, своихъ интересовъ, даже своихъ заслугъ. Мыслителю доступны великія и благотворныя идеи, осуществленію которыхъ онъ отдаетъ всѣ свои силы и всю свою жизнь. Въ Пальмерстонѣ не было ничего подобнаго; въ немъ не было ни одного изъ свойствъ, дѣлающихъ человѣка великимъ. Да и какъ онъ могъ быть великимъ? Онъ, повидимому, даже не понималъ, что такое истина и справедливость.

Былъ ли онъ покрайней мѣрѣ, честенъ? Увы, онъ всегда имѣлъ въ виду только минутный интересъ своей политики, только непосредственный успѣхъ своихъ мелкихъ расчетовъ. Онъ лгалъ, какъ ярморочный комедіантъ, онъ обманывалъ свою государыню и нарушалъ законы, желая содѣйствовать успѣху государственнаго переворота, основаннаго на убійствахъ; онъ поддѣлывалъ документы, для того чтобы рѣзать жителей Авганистана, — и все это въ интересахъ своей политики. Нѣтъ, виконтъ Пальмерстонъ былъ отнюдь не честный человѣкъ.

Пальмерстонъ счастливый человѣкъ. Вотъ что помогло его огромной популярности и дало ему право на удивленіе его современниковъ. Но отчего онъ былъ счастливъ?

Причина — и весьма основательная — его успѣховъ заключалась въ чисто — англійской веселости его характера. Не разъ было замѣчено, что толстяки получаютъ больше наслѣдства, чѣмъ тощіе. Это намъ кажется правдоподобнымъ. Пальмерстонъ принадлежалъ къ числу этихъ счастливыхъ толстяковъ; онъ былъ веселъ, потому что наслаждался отличнымъ здоровьемъ; физическое сложеніе его было изумительное, и способность много рабстать — безпримѣрная. До послѣднихъ дней жизни онъ еще игралъ въ бильярдъ и дѣлалъ 25 километровъ верхомъ. Онъ былъ отличный наѣздникъ, не пропускалъ

ни одной скачки въ Дерби, выводилъ на призъ своихъ лошадей и увѣрялъ, что если бы какая нибудь изъ нихъ выиграла призъ въ Эпсомѣ, то это порадовало бы его болѣе самого блистательнаго дипломатическаго успѣха. Англичане помѣшаны на лошадяхъ; большею долей своей популярности Пальмерстонъ обязанъ тому, что онъ самъ былъ наѣздникъ.

Пальмерстонъ былъ человекъ вполне свѣтскій. Обладая изящными манерами и безукоризненно ровнымъ характеромъ, онъ умѣлъ нравиться дамамъ; скандалезная хроника постоянно упражнялась на его счетъ, даже злословіе примѣшивалось къ этому; однажды имя перваго министра провозглашалось въ судѣ, по поводу одного скандала въ супружеской жизни.

Имѣя много друзей, Пальмерстонъ почти не имѣлъ враговъ между своими политическими противниками. Это происходило отъ того, что въ немъ самомъ не было чувства ненависти; во первыхъ, на это у него не хватало времени, а во вторыхъ, онъ былъ слишкомъ большой скептикъ для того, чтобы ненавидѣть. Къ чему ненависть, когда цѣль и средства составляютъ только личный интересъ? Ненависть никогда не приносила пользы тому, кто ощущалъ ее.

Пальмерстонъ крѣпко держался своихъ друзей, и умѣлъ пользоваться ихъ услугами. Поступая въ этомъ случаѣ гораздо ловчѣе своего товарища, Росселя, непотизмъ котораго приобрѣлъ даже скандальную извѣстность, Пальмерстонъ раздавалъ мѣста въ своемъ министерствѣ тѣмъ изъ своихъ молодыхъ противниковъ, которые нападали на него сильнѣе и искуснѣе другихъ.

Кромѣ того, онъ былъ гостепріимный хозяинъ, любившій угощать пріятелей и угощаться ими; какъ большая часть англичанъ, чувствующихъ потребность по временамъ насильственно сбрасывать съ себя китайскую сдержанность, онъ обожалъ *собесѣдничество*. Послѣобѣденныя рѣчи его всегда отличались юморомъ и заразительно-веселымъ расположеніемъ духа. Народъ любилъ его слушать, потому что никто такъ искусно не поддѣлывался подъ его вкусъ и понятія, какъ виконтъ Пальмерстонъ. Собственно говоря, снѣ не былъ ораторомъ. Онъ рѣдко становился выше свободнаго и умнаго разговора, къ которому весьма удачно примѣшивалось много хитростей и кажущагося простодушія. На какой нибудь доводъ онъ находчиво отвѣчалъ анекдотомъ, и его невозмутимое хладнокровіе, смягченное веселостью, защищало его лучше, чѣмъ могло бы защищать другого самое первостепенное дарованіе. Тѣ мѣста его рѣчей, которымъ слушатели неустово аплодировали, въ устахъ другого были бы признаны отвратительными общими мѣстами; ан-

англичане чувствовали себя наэлектризованными, когда государствен-
ный человек, державший в своих руках все важнейшие дела
мира, уверял их, что изъ Лондона въ Ливертонъ нельзя поѣ-
хать, когда одна нога привязана къ Лондону,—или что флотъ,
плавающий въ открытомъ морѣ, не можетъ обратигъ въ бѣгство
сухопутную армію,—или что армія въ 30 тыс. человекъ меньше
арміи въ 300 тысячъ... Все эти вульгарности на языкѣ Пальмер-
стона имѣли свое неприятное очарованіе для его слушателей.

У Лорда Пальмерстона было еще драгоценное свойство, ко-
торое одно было бы достаточно для объясненія его постоянной
популярности: онъ былъ полнѣйшій типъ буржуа—джентельмена.
Правда, что англичане, взятые въ массѣ, совсѣмъ не джентельмены;
у нихъ грубая натура, грубый темпераментъ, а привычки и об-
разъ мыслей—положительно low and vulgar. Но они приняли какъ
догматъ, съ одной стороны, что лордъ Пальмерстонъ англичанинъ
чистой крови, совершеннѣйшій образецъ туземнаго племени,—а
съ другой стороны, что онъ совершеннѣйшій типъ джентельмена.
Вслѣдствіе этого британцы въ его лицѣ признавали, любили и бо-
готворили самихъ себя. Каждый изъ нихъ готовъ былъ сказать:
«какой красавецъ, этотъ Пальмерстонъ! Какой онъ великій чело-
вѣкъ! Но знайте, что Пальмерстонъ—не Пальмерстонъ! Пальмер-
стонъ—это я!» Все похвалы, расточавшіяся старикъ Пэму, каждый
англичанинъ принималъ съ улыбкою самодовольствія и услаждался
ими какъ комплиментомъ, обращеннымъ къ его собственной особѣ.
Первый министръ признавался до такой степени истымъ англича-
ниномъ, что на послѣднихъ выборахъ все голоса были поданы во
имя Пальмерстона; министерская партія, естественно, вотировала въ
пользу пальмерстонистовъ, а кандидаты оппозиціи дѣйствовали по
министерской программѣ и требовали себѣ Пальмерстона, какъ че-
ловѣка ихъ партіи. Когда вспоминаешь эти факты, то не ограни-
чиваешься замѣчаніемъ, что Пальмерстонъ умѣлъ сообразоваться съ
потребностями мѣста и положенія,—не ограничиваешься удивлені-
емъ къ тому замѣчательному такту, съ которымъ Пальмерстонъ
умѣлъ узнавать тенденціи и желанія данной минуты: нѣтъ, здѣсь
еще приходишь къ убѣжденію, что какъ по инстинкту, такъ и по
натугѣ онъ былъ въ одно и тоже время вигъ и тори и соединялъ
въ своемъ лицѣ все буржуазные и аристократическіе оттѣнки. За-
мѣтимъ кстати, не придавая, впрочемъ, особой важности этому за-
мѣчанію, что онъ происходилъ изъ англійскаго семейства, принад-
лежалъ къ ирландскому дворянству и воспитывался въ Шотландіи.

Всѣ эти разнохарактерные элементы отразились въ его характерѣ и въ образѣ мыслей.

Итакъ Пальмерстонъ былъ человекъ необыкновенно счастливый. Онъ усилъвалъ тамъ, гдѣ великій другой непременно потерпѣлъ бы поражение; извѣстно, что чѣмъ крупнѣе была нялость этого избалованнаго ребенка, тѣмъ съ большею горичностью относилось къ нему общественное мнѣніе. Когда онъ имѣлъ нязость погрозить Афинамъ бомбардировкой, и палата пришла въ сильное негодование на этотъ политическій разбой, лондонскій народъ ожидалъ его при выходѣ изъ парламента и хотѣлъ нести съ триумфомъ. Когда нижній парламентъ осудилъ его общей подачей голосовъ за гнусный поступокъ съ Китаемъ, народъ привѣтствовалъ его самими восторженными криками. Когда королева сдѣлала ему строгій выговоръ за то, что онъ даже не сообщилъ ей многихъ депешъ (причина этого неприличнаго поведенія заключалась въ его неприязни къ принцу Альберту.)—когда послѣ того онъ долженъ былъ выйти въ отставку за измѣнническое признаніе французскаго *coup d'état*,—когда онъ такъ низко смирился передъ угрозами бонапартистскихъ полковниковъ,—его, правда, уволили, но всего на три или четыре мѣсяца и потомъ снова поставили во главѣ правленія, уполномочивъ его еще болѣе сильной властію и вліяніемъ. А когда онъ лишился обаянія военную славу англичанъ во время крымской кампаніи и итальянской войны; когда его недобросовѣтная политика чуть-чуть не вовлекла Англію въ страшныя несчастія—въ войну съ Соединенными Штатами; когда онъ позволилъ маленькому Бисмарку унизить великую Великобританію,—тогда-то именно онъ сдѣлался окончательно всемогущимъ, и тогда-то любовь и симпатія его согражданъ перешли всѣ границы. Можно было подуматъ, что онъ околдовалъ Англію. Въ послѣднее время откладывали даже всторону всѣ важныя внутренніе вопросы, какъ на примѣръ вопросъ о реформѣ,—потому что никто не хотѣлъ тревожить послѣдніе дни старика. Чѣмъ болѣе Англія теряла во мнѣніи иноземныхъ державъ, чѣмъ болѣе пораженій терпѣла политика перваго министра,—тѣмъ надменнѣе, тщеславнѣе и нахальнѣе становился Пальмерстонъ и тѣмъ болѣе восхищались имъ его добродушныя сограждане, которые (надо отдать имъ эту справедливость) ничего не понимаютъ въ дѣлахъ континента. Тутъ поневолѣ приходили на умъ слова Александра Гумбольдта, котораго все болѣе и болѣе украшали почестями, по мѣрѣ того какъ онъ старѣлся: «слава, сказавъ онъ—увеличивается, по мѣрѣ того какъ человекъ тупѣетъ!»

Это понятно. Когда исключительныя дарованія или счастливый

случай выдвинуть человѣка изъ уровня толпы, — этому человѣку чтобъ не быть скоро забытымъ, надо оставаться постоянно на виду. Въ этомъ случаѣ ничто не дѣйствуетъ такъ успѣшно, какъ долговременная жизнь. При такой жизни слава скопляется мало по малу: нечувствительно, но непрерывно просачивается она въ человѣческіе умы и утверждается въ памяти. А достаточно сдѣлаться человѣкомъ всемірно—извѣстнымъ для того, чтобы получить всемірное значеніе. Тутъ человѣкъ становится великимъ мало по малу помимо своего вѣдома, подобно тому какъ въ гидравлическомъ инструментѣ Монгольфьери вода собирается постепенно и наконецъ брызжетъ полнымъ каскадомъ. Впрочемъ это сравненіе не совсѣмъ правильно въ томъ отношеніи, что въ монгольфьеровскомъ сосудѣ вода поднимается силою своей собственной тяжести, тогда какъ Пальмерстонъ поднялся такъ высоко только потому, что умѣлъ цѣпляться за хвосты лондонскихъ аристократовъ и взлѣзать на плечи людей, стоявшихъ выше его. Если не смотря на всѣ униженія, претерпѣнныя Англіею за-границею, внутреннее положеніе ея довольно сильно, то этимъ благосостояніемъ, виновникомъ котораго большинство признаетъ Пальмерстона, она обязана совсѣмъ не ему, а Кобдену, Пилу, Брайту, Гладстону и многимъ другимъ. Пальмерстонъ не только пожалъ то, чего онъ никогда не сѣялъ, но еще воспользовался всѣми реформами, осуществленію которыхъ онъ не могъ помѣшать. Это въ тысячный разъ доказываетъ, что лучше быть вторымъ или третьимъ вездѣ, чѣмъ первымъ въ одномъ какомъ нибудь мѣстѣ. Пальмерстонъ участвовалъ во всѣхъ побѣдахъ, онъ пировалъ со всѣми побѣдителями, онъ украшалъ свое чело вѣткой изъ лавровыхъ вѣнковъ каждаго изъ нихъ. Не въ его характерѣ было идти первому на приступъ или подставлять свою грудь въ самомъ разгарѣ битвы. Но когда битва кончилась, онъ являлся на готовый пиръ, и присутствовалъ на немъ, какъ дѣйствующее лицо. И никто никогда не рѣшался спросить его: «а вы, почтенный Пэмъ, откуда взялись и по какому праву протягиваете руку къ лакомому блюду, котораго вы не стряпали?»

И что за удивительная наглость этого человѣка въ самомъ его счастиі! Онъ пользовался имъ такъ хладнокровно, что, повидимому, не онъ его искалъ, а оно ухаживало за нимъ. Ему удавались всѣ предпріятія, а между тѣмъ отъ него не останется ничего, кромѣ развѣ нѣсколькихъ развалинъ; даже его система, если только ее можно назвать системой, не переживетъ его.

У него въ виду были двѣ задачи: униженіе Франціи и Россіи. А между тѣмъ онъ не унизилъ ихъ. Его политическій идеалъ за-

ключался въ вѣнскомъ конгрессѣ, изъ котораго онъ, какъ паукъ, ткалъ паутину для всѣхъ континентальныхъ государствъ, но его соображенія оказались слишкомъ мелкими и близорукими, чтобы помѣшать европейскому движенію.

Единственно для того, чтобы подставить ногу Россіи, онъ хотѣлъ, во что бы то ни стало, продлить существованіе Турецкой имперіи. Но эта *больная* все таки при смерти, и никакія *британскія пилулы*, конечно, не спасутъ ее. Между цивилизаціей франкской и исламизмомъ, т. е. между наукою и слѣпымъ, одряхлѣвшимъ фанатизмомъ ничего не можетъ быть общаго. Исламизмъ—старый крокодилъ или старая черепаха при послѣднемъ издыханіи; ему не возможно возвратить молодость влитіемъ птичей крови въ это сердце пресмыкающагося. Такъ рѣшено ходомъ событій!

Что же сдѣлалъ Пальмерстонъ, чтобы сохранить Турецкую имперію? Прежде всего онъ содѣйствовалъ разрушенію ея тѣмъ, что въ наваринскомъ сраженіи бомбардировалъ турецкій флотъ; онъ началъ съ того, что отсѣкъ у главы правовѣрныхъ правую руку. Помогая основанію Греческаго королевства на счетъ Турціи, Пальмерстонъ не понималъ, что этимъ онъ создавалъ новаго претендента на наслѣдство умирающаго,—претендента на константинопольскую Греческую имперію; онъ не понялъ и того, что онъ, тори и консерваторъ, дѣлался исполнителемъ плановъ либеральной партіи, орудіемъ революціонеровъ, которые, не смѣя еще возстать противъ болѣе близкихъ государствъ, были на столько ловки, что перенесли вопросъ въ другое мѣсто, на крайнюю грань Европы, гдѣ предметомъ ихъ нападенія дѣлается язычникъ, котораго не стали бы защищать ни католики, ни протестанты, ни греки, ни евреи и который, на свою бѣду, былъ еще представителемъ восточнаго деспотизма въ Европѣ. Такимъ образомъ, всѣ накинулись на бѣднаго *больнаго*, опрокинули его, поколотили, вырвали у него кусокъ живаго мѣса, чѣмъ, очень понятно, не возстановили его здоровья.

Но, можетъ быть, Англія предвидѣла образованіе Греческой имперіи, которал, по ея соображеніямъ, поселилась бы въ Константинополь, чтобы помѣшать водворенію въ немъ Россіи?

Въ такомъ случаѣ Англія не притѣсняла и не терзала бы Грецію такъ, какъ она это дѣлала впослѣдствіи изъ за нѣсколькихъ шиллинговъ, неуплаченныхъ ей банкиромъ. Она не давила бы всю греческую націю, она не позволила бы своему Пальмерстону сдѣлать скандалъ въ дѣлѣ Пачифико.

Если бы по той или другой причинѣ она не хотѣла, чтобы Греція наслѣдовала Турцію, то ей слѣдовало бы содѣйствовать

какойнибудь другой комбинации, напр. плавание честолюбивого вице-короля египетскаго. Махмудъ-Али не желалъ ничего дурнаго, какъ завладѣть Сирією, Малою Азією и потомъ Константинополемъ; маленькая революція, ловко подготовленная британскими агентами, вѣро-подобно отдала бы въ его руки европейскую Турцію. Но въ этомъ вопросѣ проницательность Пальмерстона не заходила такъ далеко. Когда онъ давилъ турецкаго султана, тогда онъ думалъ только объ одномъ, какъ бы надуть Францію, ту самую Францію, съ которой онъ впоследствии соединился противъ Россіи въ томъ же самомъ восточномъ вопросѣ. Не противъ преобладанія русскихъ въ Константинополѣ возставалъ онъ въ 1840 году, а противъ преобладанія французовъ въ Каирѣ. Четырнадцать лѣтъ спустя, онъ соединится съ тѣми же французами для крымской кампаніи; результатъ этого союза извѣстенъ. Парижскій договоръ много повредилъ Англіи, вслѣдствіе чего Франція и Россія выиграли все то, что проиграла страна, такъ сильно завидовавшая имъ.

Съоро подосѣло дѣло суэцкаго перешейка, начатое энергическимъ и упорнымъ Лессепсомъ. Англія сдѣлала непростительную ошибку тѣмъ, что не взяла на себя инициативы въ этомъ предпріятіи. Потомъ, когда французскіе спекуляторы пустили его въ ходъ, Англія еще болѣе увеличила свою неловкость тѣмъ, что не начала содѣйствовать этому дѣлу всѣми своими капиталами. Въмѣсто того, чтобы помочь этому дѣлу, представлявшему международный интересъ, и обратить его въ свое предпріятіе, какъ она сдѣлала съ заатлантическимъ телеграфомъ, Англія, руководясь совѣтами Пальмерстона, старалась разрушить его всевозможными основательными и неосновательными возраженіями, мелочными придирками и даже гнусными клеветами. Знаменитымъ инженерамъ платились большія деньги, за которыя они доказывали въ своихъ донесеніяхъ физическую невозможность прорытія канала; черезъ посредство экономистовъ и негоціантовъ утверждали, что для торговли этотъ новый путь сообщенія рѣшительно не пригоденъ; интриговали даже въ Каирѣ, заставляли султана произносить veto, подкупали даже герцога Морни и журналистовъ оффиціозной парижской прессы.... Но не смотря на все это, каналъ уже открытъ на разстояніи отъ Средиземнаго до Краснаго моря,—открытъ, правда, еще не вполне, но товары уже перевозятся этимъ путемъ отъ одного моря къ другому.

Этотъ каналъ есть и будетъ драгоценное приобрѣтеніе для міра но поведеніе Пальмерстона въ этомъ дѣлѣ рекомендуетъ его только съ одной стороны—со стороны тупаго и крайне-жалкаго упорства. Оно прибавитъ новую скверную страницу къ исторіи Англіи.

И такъ, что мы находимъ въ политикѣ Пальмерстона по отношенію къ Турціи? Мы находимъ, что, ненавидя Россію и въ тоже время ненавидя Францію, онъ, вслѣдствіе этого, наносилъ невѣрные удары и претерпѣвалъ поражение въ Каирѣ, когда думалъ о Константинополѣ, и поражение въ Константинополѣ, когда думалъ о Каирѣ. Это понятно; въ политикѣ нельзя дѣйствовать удачно, когда есть желаніе подставлять ногу въ одно время и лѣвъ и дружимъ,—нельзя дѣйствовать удачно, когда вмѣешь своимъ идеаломъ только *statu quo*.

Пальмерстонъ не сдѣлалъ въ политикѣ ничего хорошаго, потому что постоянно имѣлъ въ виду только настоящую минуту; вотъ почему, переходя отъ успѣха къ успѣху, онъ одинакомъ шелъ къ гибели. И большая опасность для будущности Англіи заключается въ томъ, что у нея нѣтъ ни будущихъ надеждъ, ни великихъ руководящихъ идей. Пальмерстонъ оскотилъ ее своимъ мѣщанскимъ консерватизмомъ.

Что касается до политики Пальмерстона, въ отношеніи къ Франціи, то она резюмируется нѣсколькими словами: содѣйствовать Людовіку Филиппу, потомъ стараться погубить его; признать республику, потомъ стараться погубить ее; составлять заговоръ въ пользу принца Бонапарта, потомъ стараться погубить его. Что же этотъ образъ дѣйствій принесъ міру, Франціи и Англіи?

Какую цѣль имѣлъ Пальмерстонъ, когда старался усилить Бельгію? Воспрепятствовать расширенію Франціи, построить для противодѣйствія ей новый рядъ аванпостовъ и въ рѣшительную минуту отдать Антверпенъ англичанамъ, для того чтобы они, посредствомъ этой крѣпости, держали въ своихъ рукахъ сѣверо-востокъ Европы, какъ держатъ теперь, благодаря Гибралтару, юго-востокъ ея. Чѣмъ окончится этотъ планъ—это мы увидимъ.

Какую цѣль имѣлъ Пальмерстонъ, вмѣшавшись въ дѣло Португаліи? Дать новый престолъ Кобургскому дому, платить за вина Опорто англійскими бумажными товарами, обезпечить за собою береговое пространство съ превосходнымъ портомъ на пути къ Антилльскимъ островамъ и къ мысу Доброй Надежды, не терять изъ виду мыса Торресъ-Ведръ, откуда Веллингтонъ выѣхалъ для того, чтобы пріѣхать въ Тулузу, а потомъ и въ Парижъ. Чего же добивался Пальмерстонъ въ Португаліи? Сомнительнаго вліянія — и ничего больше.

Чего хотѣлъ Пальмерстонъ въ Испаніи? Платить за хересь англійскими бумажными товарами, выдать, можетъ быть, Изабеллу за другого Кобургскаго принца, усилить конституціонное влія-

ше, укрѣпить соперницу Франціи занятіемъ всего пути отъ Марсели до Алжира. А чего добился Пальмерстонъ? Самой искренней ненависти испанцевъ.

Чего хотѣлъ Пальмерстонъ въ Италиі? Захватить Сицилію, избавить отъ нея неаполитанскаго короля и утвердиться въ Средиземномъ морѣ, въ виду Италиі. Затѣмъ, онъ хотѣлъ сохранить австрійцамъ Ломбардію и Венецію. Потомъ, хотѣлъ смерти Римской республикѣ. Кромѣ этого, не хотѣлъ содѣйствовать освобожденію Италиі. Наконецъ желалъ, чтобы Италиа получила солидную организацію, но все-таки только для того, чтобы оставаться оплотомъ противъ Франціи.

А чего добился Пальмерстонъ въ Германіи? Презрѣнія нѣмцевъ и торжества г. Бисмарка. Въ началѣ онъ принялъ на себя отвѣтственность за бомбардированіе Копенгагена; въ концѣ позволилъ бомбардировать Альзень,—дѣло, въ которомъ отвѣтственность также падаетъ на него. Какъ другъ и недругъ, онъ былъ одинаково жалокъ и противенъ бѣдной Даніи.

Въ окончательномъ итогѣ выходитъ, что Пальмерстонъ не сдѣлалъ ничего. И это потому, что онъ самъ былъ ничто.

Былъ ли онъ консерваторъ? Не думаемъ, потому что въ такомъ случаѣ для чего бы онъ сѣялъ возмущеніе въ Неаполѣ, въ Сициліи, на сѣверѣ Италиі, во Франціи, въ Греціи? Для чего бы онъ дѣйствовалъ за одно съ либералами противъ абсолютистовъ, какъ въ Швеціи, такъ въ Испаніи и Португаліи?

Такъ, можетъ быть, онъ былъ революціонеръ? Но въ такомъ случаѣ, отчего онъ дѣйствовалъ за одно съ ричмондскими рабовладельцами противъ Линкольна, съ австрійцами противъ Венеціи, съ императоромъ Бонапартомъ противъ французской и римской республики, противъ свободы мексиканцевъ, съ Австріей противъ Венгрии? На этотъ счетъ рассказываютъ прелестный анекдотъ, превосходно обрисовывающій этого человѣка и заслужившій ему характеристическое прозвище *Bottleholder* (человѣкъ, держащій бутылку), прозвище, которымъ наградили его «Punch» и которое такъ и осталось за нимъ. Но прежде, чѣмъ рассказать этотъ анекдотъ, надо напомнить читателямъ, что въ Англии, на вулачныхъ бояхъ, всегда избираютъ президента; онъ сидитъ во время битвы въ креслѣ и держитъ въ рукахъ бутылку воды, изъ которой, въ критическую минуту, даетъ бойцамъ нѣсколько глотковъ, для подкрѣпленія ихъ.

Это было въ 1848 году. Италиа поднялась, и вся либеральная Европа отъ души желала успѣха этому славному дѣлу. Депутація

отъ народа отправилась къ Пальмерстону и просила его поддерживать итальянцевъ какою нибудь помощію со стороны Англіи. Министръ принялъ просителей съ своею обычною привѣтливостію и веселостію и, извинившись въ невозможности открыть тайну дипломатическихъ сношеній, прибавилъ: «будьте спокойны, мои милѣйшіе друзья; вы знаете, что я bottleholder революціи. «Правда — отвѣчалъ одинъ изъ членовъ депутаціи, но до сихъ поръ въ бутылкѣ не было ровно ничего».

Не таково, по всей вѣроятности, было бы мнѣніе его величества императора Людовика Наполеона, который сказалъ однажды Кавуру: «Въ Европѣ только три человѣка: вы, Пальмерстонъ и я».

Значить, теперь въ Европѣ остался только одинъ человѣкъ. Будемъ надѣяться, что г. Бисмарка можно будетъ признать вторымъ.

Смерть Пальмерстона во всякомъ случаѣ событіе важное, — важное не потому, что способности и искусство этого человѣка замѣнить трудно. Нѣтъ, въ Лондонѣ найдутся сотни людей, стоящихъ совсѣмъ не ниже его, — по уму и государственной опытности; его тактъ *savoir-faire*, глубоко разсчитанное хладнокровіе выходили изъ ряда обыкновенныхъ, но не на столько, чтобы ихъ нельзя было найти въ другихъ людяхъ. Все это такъ, — но дѣло въ томъ, что Пальмерстонъ былъ не только правитель, какъ отдѣльное лице; онъ представлялъ собою цѣлое государственное положеніе, цѣлую цѣпь обстоятельствъ, которыя исчезаютъ вмѣстѣ съ нимъ. Въ немъ были воплощены дипломатическія традиціи Великобританіи. До послѣдняго времени, въ правительственныхъ сферахъ все дѣлалось или вигамп, или торіями, и первенство постоянно оставалось то за верхнимъ, то за нижнимъ парламентомъ, то за аристократіей, то за высшею буржуазіей. Что касается до народа, то его оставляли въ сторонѣ, считая вполне возможнымъ управлять безъ его содѣйствія. Руководимые Пальмерстономъ, аристократъ и буржуа условились дѣйствовать по одной и той же программѣ, сущность которой состояла въ томъ, чтобы воспрепятствовать новой избирательной реформѣ. Первый министръ былъ главнокомандующимъ двухъ первенствующихъ классовъ, составившихъ собою союзъ противъ народа.

Теперь все заставляетъ предвидѣть разрывъ союза, лишившагося главы и средоточія. Аристократы никогда не захотятъ видѣть во главѣ правленія слабого и упрямого Джона Росселя, котораго они ненавидятъ отъ души за его *Reform Bill*; — буржуазія никогда не захочетъ отдать управленіе государствомъ ни Дерби, ни Дизраэли. Разрывъ между обѣими партіями, вѣроятно, скоро обнаружится, и

на сцену выступить английская демократія, болѣе или менѣе представляемая Гладстономъ, но олицетворенная въ Брайтъ. По всему видно, что политическая исторія Англии утратитъ характеръ исключительно британскій, непонятный для иностранца; Великобританія возвратится къ Европѣ и перестанетъ быть чѣмъ-то въ родѣ Японіи. Реакціонеры материка станутъ дѣйствовать за одно съ реакціонерами острова, а либералы по сю и по ту сторону Ла-Манша тоже протянутъ другъ другу руку. Этотъ переворотъ подготовился уже давно; но всѣ ждали смерти Пальмерстона, никто не хотѣлъ безповоинтъ стараго *доконтральмена*...

И такъ, онъ похороненъ въ Вестминстерѣ. Его пышный гробъ опущенъ въ глубокій склепъ. Въ мрачную яму присутствовавшіе набросали золотыхъ перстней, брильянтовъ, ожерелій. Такое же обыкновеніе существуетъ у дикарей. Трупъ виконта Пальмерстона лежать рядомъ съ Питтомъ, Чатамомъ, Фоксомъ, Нельсономъ, Веллингтономъ...

Карль Темплъ виконтъ Пальмерстонъ! Ты былъ знаменитъ, ты былъ силенъ. Долго, очень долго ты царствовалъ въ Великобританіи и первенствовалъ въ Европѣ. Ты служилъ успѣху и пользовался имъ, ты старался стяжать вѣнецъ славы, и добился его. Потому-то имя твое не будетъ упоминаться, когда міръ будетъ говорить о добрыхъ и сильныхъ людяхъ. Ты заботился только о настоящемъ,—за это будущность никогда не вспомнитъ о тебѣ. Наше надгробное слово кончено... Теперь зарывайте могилу!

Едва сошелъ въ могилу первый министръ Англии, какъ смерть поразила челоуѣка, бывшаго первымъ сановникомъ Франціи, президентомъ республики, предшественникомъ декабрьскаго *суп д'этат*. Онъ тоже умеръ въ глубокой старости, осыпанный богатствами, почестями, орденами,—но въ тоже время покрытый стыдомъ и позоромъ. Его имя сдѣлалось ругательствомъ, синонимомъ подлости, лжи, корыстолюбія, неблагодарности, ханжества, измѣны и клятвопреступленія. Всѣ эти пороки, соединенные притомъ съ физическимъ безобразіемъ, резюмировались въ двухъ словахъ: «старый Дюпенъ».

За гробомъ этого низкаго челоуѣка ѣхалъ длинный рядъ каретъ всѣхъ высшихъ сановниковъ государства; но большая часть этихъ каретъ были пусты. Народъ съ отвращеніемъ хохоталъ, глядя на гробъ, покрытый крестами, медалями, орденами; сословіе адвокатовъ

отважались проводить въ могилу тѣло челоуѣка, бывшаго долгое время одною изъ первыхъ знаменитостей юридическаго міра. Друзья его или, вѣрнѣе, соучастники сочли самымъ лучшимъ сохранить глумовое молчаніе надъ его трупомъ.

Въ «Рус. Словѣ» когда-то было упомянуто вскользь о скандальной исторіи министра Бильо, преслѣдовавшаго г. Сандона. Теперь до насъ дошла изъ Брюсселя одна брошюра, подробно раскрывающая эту исторію. Исторія выходитъ презаннимательная и какъ нельзя лучше характеризующая современный порядокъ Франціи Наполеона III. Замѣтьте, что дѣйствующимъ лицомъ служитъ министръ Бильо, величайшій изъ министровъ имперіи, который давалъ тонъ и направленіе всей вн. тренней политикѣ Людовика Наполеона. Послушаемъ, что рассказываетъ г. Сандонъ въ его процессѣ противъ тѣхъ медиковъ, которые заключили его въ шарантонскій смирительный домъ, какъ съумасшедшаго:

«Я буду скромень, какъ совѣтуетъ мнѣ быть г. президентъ уголовнаго трибунала.

Я жалуясь на медиковъ, посадившихъ меня въ домъ умалшпенныхъ. Я утверждаю, что свидѣтельство ихъ, объявившее меня одержимымъ припадками безумнаго самолюбія, нервическимъ разстройствомъ сердца и параличемъ мозга, было холопской угодливостью передъ всемогущимъ министромъ. Никто изъ нихъ не представилъ ни одного факта, заслуживающаго довѣрія судей, и потому они, по чувству стыда и позора, совершили свой заговоръ въ тайнѣ, такъ что я не былъ даже призванъ къ гласному суду.

Прежде чѣмъ они были приглашены къ участию въ ложномъ обвиненіи меня, префектъ полиціи арестовалъ меня уже семнадцать разъ. Половина этихъ арестовъ продолжалась отъ 2—3 дней: По окончаніи заключенія меня приводили къ начальнику внутренней стражи, осыпавшему меня угрозами и оскорбленіями и, подъ наравломъ полицейскихъ агентовъ, отправлявшему меня назадъ. Шесть разъ бросали меня въ Мазасъ, гдѣ я сидѣлъ по мѣсяцу и больше; потомъ отсылали меня въ судъ первой инстанціи, гдѣ судья убѣждалъ выѣхать изъ Париза, потому что присутствіе мое въ императорской столицѣ очень не нравится г. первому министру; что его превосходительство, для сохраненія императорскаго расположенія, долженъ показать своему государю декларацію, такъ или

иначе подписанную мною, и судья представлялъ мнѣ ее совершенно готовую, написанную рукою самого министра. Я отказывался во первыхъ переписывать ее и во вторыхъ скрѣплять своей подписью. Послѣ моего рѣшительнаго отказа меня снова отводили въ Мазась, гдѣ заперали меня на два или на три дня безъ всякой пищи, и потомъ опять приводили къ судѣ, который объявлялъ мнѣ, что я не буду выпущенъ изъ тюрьмы, покрайней мѣрѣ, въ продолженіи двухъ лѣтъ, и затѣмъ буду заключенъ въ домъ умалишенныхъ на всю мою жизнь. «Вы, говорилъ онъ по всѣмъ правиламъ риторики, находитесь въ когтяхъ юпитеровскаго орла, и потому надо имѣть поменьше упорства и побольше благоразумія. Наконецъ я уступилъ; тогда дали мнѣ ѣсть и пить, принесли книгъ, а на другой день выпустили на свободу. Но шпионы постоянно слѣдовали за мной до амбаркадера, представивъ предварительно начальнику внутренней стражи, повторявшему мнѣ все тѣ же угрозы.

При пятнадцатомъ арестѣ жандармскій начальникъ былъ взбѣшенъ на меня, какъ дикій вепрь. Два солдата явились схватить меня на орлеанской желѣзной дорогѣ въ то самое время, когда я выходилъ изъ вагона; они отвели меня въ контору префектуры, и, осмотрѣвъ со всевозможнымъ усердіемъ мой чемоданъ, раздѣли меня донага и обыскали съ ногъ до головы; потомъ въ два часа пополудни представили самому начальнику. Прежде онъ казался мнѣ отъ злости краснымъ, а теперь голубымъ или, вѣрнѣе, зеленымъ и до того сердитымъ, что икота мѣшала ему кричать. Я разобралъ только нѣсколько словъ, отрывистыхъ и сдавленныхъ: «А! вы имѣете дерзость опять являться въ Парижъ; вѣдь я говорилъ вамъ, чтобъ вы не шевелились изъ вашей дыры. Такъ мало этого! хорошо! я васъ угощу самымъ удобнымъ помѣщеніемъ. Стражи! отведите его въ простую арестантскую и бросьте на полу, въ *демократической комнатъ*. Къ вечеру я пришлю дальнѣйшія приказанія.» Меня отвели въ такъ называемую демократическую комнату, гдѣ валялось, какъ попало, двѣсти или триста бродягъ и уличныхъ воровъ. Присутствіе мое неприятно подѣйствовало на это общество; каждый въ свою очередь подходилъ ко мнѣ и осматривалъ меня, какъ рѣдкость; потомъ они передавали другъ другу свои наблюденія. Ничего не можетъ быть оскорбительнѣе и неприятнѣе для свѣжаго человѣка, какъ отвратительныя насмѣшки и цинизмъ этого развращеннаго населенія, украшающаго собою наши столичные казематы. Несчастные эти чувствуютъ, что они заводятъ на васъ страхъ, потому чтобрызгать васъ однимъ своимъ прикосновеніемъ. Такимъ образомъ, я пробылъ въ средѣ все-

возможныхъ мошенниковъ до 6 часовъ вечера. Около этого времени тюремщикъ принесъ обѣдъ и подалъ его черезъ окошко. Надо было видѣть, съ какою скотскою жадностію заключенные бросились къ мискѣ съ супомъ. Такъ какъ я стоялъ въ сторонѣ и боялся подойти къ толпѣ, то одинъ изъ арестантовъ принесъ мнѣ мою порцію и, подавая ее, сдѣлалъ знакъ рукой, что онъ высморкался въ мою чашку. Я ничего не могъ ѣсть въ этотъ вечеръ. Впослѣдствіи я самъ подходилъ брать свою порцію и съѣдалъ ее съ волчьимъ аппетитомъ. Но чего только я не вынесъ въ этомъ иреисподнемъ мірѣ полицейскаго благонравія!... Впродолженіи одиннадцати дней моего заключенія я терпѣлъ и молчалъ; меня били сзади по ушамъ такъ больно, что начиналась головная боль, меня толкали въ спину деревянными башмаками, бросали въ голову куски дерева, меня щипали за самыя чувствительныя мѣста, такъ что я наконецъ не зналъ, куда дѣваться. Такъ я проводилъ дни, а ночи были еще хуже и мучительнѣе!—никогда не забуду я этихъ ночей. Надо было спать одѣтымъ, въ повалку съ другими, на нарахъ, подъ однимъ общимъ одѣяломъ. Настѣкомыхъ было тьма; они путешествовали по арестантамъ кучами и первыя ночи не давали мнѣ ни на одну минуту сомкнуть глазъ; а встать было нельзя, потому что запрещалось правилами полиціи. Однажды я хотѣлъ подняться, но прямо за лицо схватила меня дюжая и паршивая рука сторожа, и я опять опустился на нары.

(Тутъ г. президентъ прерываетъ г. Сандона и объявляетъ ему, что дебаты этого процесса не могутъ быть опубликованы).

Эти воспоминанія васъ орскорбляютъ; вообразите же, каково все это переносить въ дѣйствительности. По прошествіи одиннадцати дней, меня освободили. По обыкновенію, я былъ отведенъ къ начальнику полиціи, который, торжествуя и улыбаясь, спросилъ меня: «доволенъ ли я его послѣднимъ угощеніемъ?» и немедленно приказалъ двумъ шпіонамъ проводить меня на желѣзную дорогу.

И за всѣмъ тѣмъ я все еще не могъ освоиться съ своимъ положеніемъ, не могъ понять, какъ это среди бѣлаго дня, противъ всякаго закона и общественнаго приличія, можно схватить чело-вѣка только потому, что присутствіе его не нравится министру. И это происходитъ не въ Японіи, не на Магадаскарѣ, а въ столицѣ Франціи, послѣ столькихъ героическихъ битвъ и жертвъ за достоинство чело-вѣка и за неприкосновенность его личной свободы. Но съ этимъ послѣ... Я былъ молодъ, считалъ себя неглупымъ и совершенно правымъ. Я подалъ пресбу въ сенатъ. Сенатъ положилъ ее подъ сукно и я не дождался никакого отвѣта.

Я прѣѣхалъ въ Парижъ и сталъ совѣтоваться съ своими друзьями, что мнѣ дѣлать въ моемъ положеніи. Они уговорили меня подать жалобу въ государственный совѣтъ и просить у него позволенія преслѣдовать судебнымъ порядкомъ министра Бильо. Г. Дюбуа принялъ на себя трудъ представить мою просьбу.

Черезъ мѣсяць я получилъ письмо, которымъ приглашали меня явиться въ Парижъ, передъ присяжнаго судью. Я хотѣлъ отпра- виться, но моя напуганная мать написала г. Героньеру, прося его увѣдомить, какъ онъ смотритъ на это дѣло. Г. Героньеръ отвѣ- чалъ, совѣтуя удержать меня отъ поѣздки. Такимъ образомъ я остался, и черезъ восемь дней два парижскіе шпіона явились за мной въ пять часовъ утра и арестовали меня въ постели.

По прибытіи въ Парижъ, немедленно отвели меня въ полицей- скую тюрьму, а на третій день свели меня къ присяжному судью; судья объявилъ мнѣ, что я обвиненъ въ клеветѣ, введеной на министра Бильо и поданной, въ видѣ просьбы, въ государственный совѣтъ, что по тщательномъ изслѣдованіи фактовъ, они оказались совершенно ложными, и потому жалоба моя считается неумѣстной. Я замѣтилъ судью, что поведение его кажется мнѣ страннымъ... «Меня предупредили, отвѣчалъ онъ, и я вижу, что вы помѣшанный; одержимый мономаніей: Я предписалъ тремъ докторамъ — Бланшу, Тардье и Фовиллю освидѣтельствовать васъ, и если они подтвердятъ ваше умственное помѣшательство, — въ чемъ я не сомнѣваюсь, — то васъ посадить въ домъ умалишенныхъ».

Этотъ планъ, конечно, принадлежалъ геніальному Бильо. Онъ хотѣлъ разомъ отдѣлаться отъ меня и погасить дѣло навсегда.

Медники, разумѣется, не отказались засвидѣтельствовать мое по- мѣшательство. Но этого было мало для ихъ холопскаго усердія; они изобрѣли еще такія болѣзни, о которыхъ я и не мечталъ; они нашли во мнѣ параличъ правой руки и ноги, нервическія судороги между лѣвымъ глазомъ и ухомъ, сопровождающіяся тридцатью гри- масами на моемъ лицѣ въ одну минуту; они нашли, что у меня парализована половина языка и что наконецъ я одержимъ при- падками бѣшеннаго самолюбія; что всѣ эти болѣзни неизлѣчимы по своему свойству и что развитіе ихъ увеличивается по мѣрѣ лѣтъ. Но вотъ видите, господа, какъ парализованъ у меня языкъ! Вы видите также и этотъ воображаемый судороги между лѣвымъ глазомъ и ухомъ. Что же касается паралича моей правой руки, то если бы докторъ Тардье находился теперь около меня, и доказалъ бы при всѣхъ васъ, что я владѣю совершенно здоровой рукой.

Вотъ на основаніи какихъ данныхъ я попалъ въ Шарантонъ

Вѣроятно, я остался бы тамъ на всю мою жизнь, по крайней мѣрѣ, въ продолженіи всей жизни министра Бильо или его милости у императора; г. Бильо, какъ гуманный министръ, платилъ за меня даже деньги на мое содержаніе, и тѣмъ, разумѣется, прибавлялъ новое страданіе къ моему заключенію. Въ Шарантонѣ есть три разряда пансіонеровъ. Семейство мое нѣсколько разъ и все напрасно просило вносить за меня полный пенсіонъ, чтобы перевели меня во второй разрядъ, гдѣ отпускается лучшая пища и дается отдѣльная комната, въ которой я могъ бы работать и совершенно спокойно спать. Но префектъ полиціи на это не соглашался. Такимъ образомъ мнѣ пришлось оставаться въ третьемъ разрядѣ, къ которому принадлежатъ пансіонеры, обязанные ложиться спать въ общемъ дортуарѣ и вставать въ опредѣленный часъ.

Въ этихъ общихъ дортуарахъ случается по нѣскольку разъ въ недѣлю, что несчастные сумасшедшіе пробуждаются и, нападая на сонныхъ, тормошатъ и даже бьютъ ихъ; иногда они поднимаютъ такой шумъ и гамъ, что зрители принуждены укладывать ихъ насильно; когда они бросаются на другихъ и кусаютъ ихъ, то имъ связываютъ руки, причемъ иногда слышатся стоны, крики и ругань въ продолженіи всей ночи. Послѣ болѣзненной безсонницы надо вставать по первому звонку, — лѣтомъ въ 5 часовъ, а зимой въ 6, и проводить цѣлый день на дворѣ или въ корридорахъ, не встрѣчая ни одного дружескаго взгляда и ни одного умнаго слова. Я положительно убѣжденъ, что средневѣковая пытка, ломавшая ноги и руки, не такъ мучительна, какъ это насиліе надъ душою чело-вѣка.

Такимъ образомъ, я проводилъ свои безконечные дни въ Шарантонѣ, безъ книгъ, безъ чернилъ и бумаги, не имѣя ни одного свободнаго уголка, чтобы уединиться и, по крайней мѣрѣ, выплакать свою необыкновенную тоску.

Но вотъ о моемъ дѣлѣ стали говорить въ городѣ. Адвокатъ мой въ государственномъ совѣтѣ, г. Дюбуа, нашелъ случай рассказать о моемъ заключеніи во дворцѣ и даже напечатать нѣсколько строкъ. Принцъ Наполеонъ услышалъ, что г. Бильо содержитъ одного несчастнаго въ Шарантонѣ, признаннаго, по его прощамъ, за сумасшедшаго, хотя этотъ несчастный обладаетъ вполне здравымъ умомъ. Принцъ обѣщалъ побывать самъ въ Шарантонѣ и удостовѣриться собственными глазами въ моемъ дѣйствительномъ состояніи. Онъ скоро пріѣхалъ и потребовалъ меня къ себѣ. Къ нему подвели какого-то идиота, влачившаго ногу и руку, корчливаго гримасы и едва бормотавшаго безсвязныя слова, грязнаго и безобразнаго.

Принцъ спрашивалъ его о разныхъ предметахъ, и не добился отъ него никакого отвѣта. Онъ возвратился въ Парижъ, вполне убѣжденный, что онъ видѣлъ Сандона, и что если я и былъ когда нибудь въ нормальномъ состояннн, то теперь впалъ въ совершенное ступѣнн. Послѣ этого происшествнн легко понять, что полицнн ни подъ какимъ предлогомъ не могла выпустить меня на свободу. Даже поговаривали о необходимости моей смерти, и она непременно была бы устроена тѣмъ же г. Бильо и его холопами-докторами, еслибъ онъ самъ не отправился къ отцамъ скоропостижно.

Помнится, что однажды я горько жаловался главному доктору на свое ужасное положенн и упрекалъ его въ томъ, что онъ, зная меня за совершенно здороваго человѣка, не хочетъ настоять на моемъ освобожденн и, называясь другомъ человѣчества, участвуетъ въ отвратительномъ полицейскомъ заговорѣ. На это онъ не отвѣчалъ мнѣ прямо, и, обратившись къ смотрителю, сказалъ: «отвѣдите г. Сандона въ мой кабинетъ.» Когда я вошелъ въ его кабинетъ, онъ всталъ и, положивъ руку на мое плечо, сказалъ: «Бѣдный Сандонъ, вы сердитесь на меня, вы считаете меня соучастникомъ вашихъ палачей. Но какая же мнѣ польза въ томъ? Корыстолюбн? Но знайте же вы и не забывайте этого, что если бѣ я былъ жаденъ, то уже давно съ вами было бы все кончено. Идите къ себѣ и не обвиняйте меня.»

По просьбѣ министра Бильо, одинъ сенаторъ, извѣстный лакейской готовностн дѣлать все, что его заставятъ, отвѣчая Турангену, объявилъ передъ цѣлымъ сенатомъ, что я былъ съумасшедшимъ и въ продолженн цѣлаго часа поносилъ меня ругательствами, а сенатъ его слушалъ и ни одинъ журналъ не напечаталъ ни одного слова въ мою защиту.

Когда эта подлая диффамацин лакея-сенатора была напечатана въ газетахъ, въ Шарантонѣ рвали ее въ клочки мои товарищи по заключенн, а мать моя, покрытая позоромъ, умерла съ горя.

Мое положенн также ухудшилось... Было объявлено, что мое помѣшательство нѣсколько измѣнило свой характеръ и, повиднмому, обратилось въ религнзную мономанн. Для утѣшенн и пособнн меня сажали въ холодную, какъ ледъ, ванну на четыре часа; потомъ закрывали меня такъ, что невозможно было повернуться и на придавленную голову накладывали губку, которую каждая десятъ минутъ мочили въ холодной водѣ. Я выходилъ изъ этой ванны полуживымъ и едва могъ держаться на разслабленныхъ ногахъ. Медики утверждали, что это уменьшитъ мою меланхолн и возвратитъ мнѣ аппетитъ. Но чтобы избѣжать частаго повторенн этихъ

медицинскихъ пытокъ, я иногда ѣлъ насильно и употреблялъ страшныя усилія, чтобы не плакать, когда мнѣ хотѣлось.

..... Наконецъ я узналъ о болѣзни министра Бильо,—этого *украшенія второй имперіи*; впрочемъ многіе говорили, что это просто легкая простуда, которая скоро пройдетъ. Но воображеніе мое работало, и предчувствіе ли, или нервное напряженное состояніе — объяснить этого не умѣю,—такъ ясно представило мнѣ событіе, что я однажды ночью почувствовалъ нѣжный голосъ надъ своимъ лицомъ, который прошепталъ мнѣ довольно внятно: «Бильо умеръ!» На другой день я съ улыбкой повторилъ: «Бильо умеръ!» и въ вечеру дѣйствительно его не стало.

Но въ чемъ же тайна этого адскаго преслѣдованія, которому я подвергся со стороны этого министра — ренегата, этого упорнаго фанатика въ систематическомъ преслѣдованіи подлостей, которыя ему были необходимы. Тутъ онъ не щадилъ ничего и готовъ былъ на всякое средство, отъ котораго отказался бы любой палачъ. Ни дружба, ни свобода лица, ни уваженіе къ себѣ и къ другимъ — ничто не останавливало силы воли этого инквизитора, когда онъ шелъ къ своей цѣли. Это называлось у иезуитовъ *побѣждать плоть ради спасенія принципа*. Бильо былъ по натурѣ своей существо грубое и грязное и до фанатизма упорное въ непримиримой враждѣ къ своимъ политическимъ противникамъ.

Дѣло было въ томъ, что въ 1848 году той партіи, къ которой я принадлежалъ, нуженъ былъ кандидатъ... Г. Бильо открылъ мнѣ тогда свое *profession de foi* того социализма, котораго онъ держался: «Это слишкомъ, это ужъ черезъ чуръ, сказалъ я ему,—столько никто не требуетъ отъ васъ». Потомъ онъ говорилъ мнѣ о президентѣ республики, объ окружающихъ его людяхъ, о министрахъ и о палатахъ, съ выраженіемъ такой ненависти и презрѣнія, что я былъ сильно озадаченъ. Мое *profession de foi*, говорилъ онъ, все заключается въ моей рѣчи, произнесенной въ національномъ собраніи *о правѣ на трудъ*. Мы рѣшили, что я попрошу у него мнѣнія и совѣта на многіе вопросы и о многихъ лицахъ и, между прочимъ, о принцѣ Бонапартѣ; г. Бильо написалъ мнѣ письмо, въ которомъ также сильно и презрительно отзывался о президентѣ, какъ и на словахъ.

Послѣ *coup d'état*, перечитывая корреспонденцію г. Бильо и видя его занимающимъ высшій государственный постъ, я усумнился въ искренности его прежнихъ разговоровъ со мною и почувствовалъ къ нему, какъ къ ренегату, глубочайшее презрѣніе. Я написалъ ему очень рѣзкое письмо, а онъ отвѣчалъ мнѣ, увѣряя меня въ его

дружбѣ и постоянномъ уваженіи ко мнѣ. Онъ рѣшительно хотѣлъ видѣть меня, обнять меня и *устроить*. Я явился къ нему. Во время нашихъ свиданій, я велъ себя очень неосторожно; онъ предлагалъ мнѣ мѣсто генерала-прокурора, префекта, денегъ, а я называлъ его паяцомъ.

Наконецъ онъ убѣдился, что всякія отношенія между нами кончены. Съ этого времени онъ и началъ преслѣдовать меня, приказавъ арестовать меня каждый разъ, какъ только я буду являться въ Парижъ, и похитить у меня свою корреспонденцію. Онъ и похитилъ ее съ помощію обмана. Ла-Героньеръ просилъ меня дать ему на нѣсколько дней письма Бильо, увѣряя меня честнымъ словомъ, что никто не будетъ знать объ этомъ: я повѣрилъ Героньеру, какъ человѣку честному, и послалъ ему корреспонденцію Бильо. Черезъ два часа вся она была въ рукахъ министра.

Съ тѣхъ поръ, какъ двѣ завистливыя кумушки стакнулись на счетъ своего поведенія въ отношеніи Герцогствъ, Германія представляетъ умиленное зрѣлище почтенной нѣмецкой семьи, сидящей за однимъ столомъ и за однимъ блюдомъ, изъ котораго впрочемъ кушаютъ только старшіе члены, а младшимъ дозволяется лишь смотрѣть и облизываться. Пруссія и Австрія, изображаемые Кладерадачемъ въ лицѣ двухъ унтеръ-офицеровъ, которые подъ хмелькомъ одной рукой обнимаются, а другую запускаютъ въ карманъ другъ друга, дѣйствуютъ такимъ образомъ не только между собою, но и съ другими меньшими своими сестрами и кузинами. Прежде всего онѣ принялись за маленькую Франкфуртскую республику. Поводомъ къ придириѣ послужило то, что въ этомъ будто бы вольномъ городѣ было собраніе депутатовъ *національнаго фрейна*, которые намѣревались обратиться къ сенату съ строгимъ выговоромъ по поводу его поведенія. Онѣ были крайне удивлены тѣмъ, что франкфуртскія власти дозволили на своей территоріи замышлять безразсудные и вредные для всѣхъ политическіе проэекты. Мы не можемъ допустить на будущее время, вослѣдуетъ Пруссія, чтобы такъ снисходительно относились къ этимъ возмутительнымъ тенденціямъ; чтобы въ самомъ мѣстопребываніи сейма старались подрывать основанія той власти, которая существуетъ въ преобладающихъ государствахъ Германскаго союза, и что отсюда по всему свѣту распространяютъ посредствомъ прессы такія произведенія, которыя отличаются прежде всего своею дерзостью. Снисходительность сената въ этомъ случаѣ заслуживаетъ порицанія. Мы согласны

съ австрійскимъ правительствомъ, что невозможно оставлять безъ вниманія повтореніе подобнаго публичнаго скандала.

Нота вѣнскаго кабинета была, по своей формѣ, нѣсколько менѣе оскорбительна, но и въ ней жаловались на невниманіе, съ которымъ г. первый бургомистръ принялъ уже разъ сдѣланныя ему замѣчанія; сенату говорилось весьма вразумительно, что если не будутъ приняты мѣры противъ узурпаторскихъ дѣйствій комитета тридцати шести и національнаго конгресса депутатовъ, то вѣнское и берлинское правительства будутъ поставлены въ тяжелую необходимость прибѣгнуть къ самымъ энергическимъ средствамъ.

Къ 28 октября было созвано собраніе комитета тридцати шести а къ 29 собраніе National-Verein'a. Вѣрно ли, ложно ли было это извѣстіе,—только стали поговаривать, что начальникамъ австро-пруссскихъ войскъ, стоящихъ, по приказанію союза, гарнизономъ во Франкфуртѣ, были разосланы предписанія, помѣшать «даже вооруженною силою» всякому собранію, которое не оговорено въ статутахъ сейма.

Франкфуртскій сенатъ пришелъ въ справедливое негодованіе отъ этого вышательства въ его собственныя мѣстныя дѣла, и очень хорошо понималъ, что разумѣется подъ самыми энергическими средствами: дѣло шло о томъ, чтобы въ случаѣ неповиновенія пустить въ ходъ штыки. *Франкфуртская газета* объявила, что маленькій городъ составляетъ независимое государство въ силу того же самаго права, по которому существуетъ большая держава Пруссія. Онъ былъ вольнымъ городомъ Германской имперіи гораздо раньше, чѣмъ графъ Фогенцоллернскаго дома купилъ за деньги у принца Сигизмунда его божественное право на Бранденбургъ. Но всего замѣчательнѣе то, что франкфуртскія власти не приняли никакихъ мѣръ, чтобы изгнать комитетъ тридцати шести или запретить собраніе депутатовъ National-Verein'a.

Германія была смущена заранѣе, помышляя о ровновомъ днѣ 27 октября, который долженъ былъ сдѣлаться знаменитымъ въ лѣтописяхъ союза. Журналы умоляли объ отмѣнѣ предписанія, которое получилъ гарнизонъ; потому что всѣ уже начали бояться кроваваго столкновенія между солдатами и негодующимъ населеніемъ, которое, какъ говорили, горячо вступилось бы за представителей Германіи. Всѣ боялись, что это было бы искрою, отъ которой легко могъ вспыхнуть большой пожаръ.

Но вотъ—наступило 29 октября. Собрался комитетъ тридцати шести, съѣхалось собраніе National-Verein'a, но не произошло никакого столкновенія, никакого кровопролитія; оберкдирекскіе шобѣ-

дители и дуппельскіе рубаки не обагрили своихъ штыковъ германскою кровью; они просто на просто по обыкновенію дѣлали разводы, стояли на караулѣ, а вечеромъ, на бульварахъ, гремѣла военная музыка. Германія вздохнула свободно: у нея точно гора свалилась съ плечъ.

Но что же сдѣлалъ въ свою очередь страшный National-Verein, предметъ жалобъ и причина опасеній сильной Пруссіи и храброй Австрій? Дѣйствительно ли онъ оказался такимъ опаснымъ революціонеромъ, какимъ считали его вѣнскіе и берлинскіе дипломаты? Хватило ли у него смѣлости водрузить знамя германскаго народа противъ знамени прусскаго короля и австрійскаго императора, отстаивалъ ли онъ права Герцогствъ, права города, который изъ-за него рисковалъ своимъ существованіемъ?

Онъ принялъ сильнымъ большинствомъ голосовъ предложенія своего комитета тридцати шести. Передъ лицомъ всего свѣта, передъ лицомъ своей возлюбленной Германіи, онъ, какъ оракулъ, провозгласилъ:

1) Собраніе сохраняетъ свою старую программу относительно составленія федеративнаго нѣмецкаго государства, съ передачею центральной власти Пруссіи, ставя непремѣннымъ условіемъ согласіе всей германской націи, представителемъ которой будетъ парламентъ.

2) Шлезвигъ-гольштинскій вопросъ долженъ быть рѣшенъ на основаніи права населенія подавать голосъ, когда дѣло идетъ о его судьбѣ.

Это право ограничивается только выгодами Германіи. (Намъ было бы пріятнѣе слышать, что выгоды Германіи ограничиваются только правомъ).

За неимѣніемъ центральной власти одна только Пруссія можетъ съ успѣхомъ защищать сѣверныя границы.

3) Необходимо немедленное созваніе представителей Герцогствъ (!).

Что же все это значить? А вотъ что: Пруссія хотѣла казнить National-Verein, а National-Verein захотѣлъ избавить ее отъ этого труда и прибѣгнулъ къ самоубійству, но предварительно назначилъ Пруссію своею душеприящицею.

Въ глазахъ людей мыслящихъ Германскій сеймъ является въ отношеніи къ корню германскихъ учрежденій гнилымъ сучкомъ, а National-Verein—засохшимъ побѣгомъ, который уже никогда снова не позеленѣетъ.

Германскій сеймъ есть продуктъ вѣнскаго трактата; это было кровивведеніе реакціи. National-Verein появился на свѣтъ вслѣдствіе

противоположнаго толчка, даннаго послѣднею итальянскою войною; въ сущности и онъ тоже былъ дѣйствителемъ реакціи; цѣлью его было вызвать Пруссію (на помощь Австріи противъ итальянской національности). Онъ стремился увеличить Германію путемъ несправедливости. Онъ силился добиться субординаціи федеральныхъ контингентовъ подъ верховнымъ начальствомъ Пруссіи, а отъ этого до знаменитой прусской гегемоніи оставался всего одинъ шагъ.

Впослѣдствіи, движимый желаніемъ привлечь къ себѣ всѣ либеральные элементы, разсѣянные въ націи, онъ выставилъ на своемъ знамени созваніе парламента и возстановленіе конституціи 1849 года.

Эта прибавка къ программѣ измѣняла ея характеръ, вводя въ нее совершенно противоположный принципъ и, въ концѣ концовъ, діаметральная несовмѣстимость прусскаго абсолютизма и радикальной партіи должны были неминуемо выступить наружу. Это-то именно и происходитъ въ настоящее время и вотъ почему National-Verein вступилъ въ періодъ полнѣйшаго разложенія. Но въ прежнее время никто и не подозрѣвалъ этого илц, вѣрнѣе, не хотѣлъ этого понимать. Къ этимъ либераламъ золотой середины, къ этимъ Gothaer'amъ, которые составили себѣ такую печальную извѣстность во время событій 1848—1851 годовъ, стекалось со всѣхъ сторонъ множество приверженцевъ, республиканцевъ и шовинистовъ. Демократія южной Германіи, которая никогда не приняла бы гегемонію Пруссіи, присоединилась, по крайней мѣрѣ, отчасти, къ людямъ, требовавшимъ созванія парламента.

Какъ только успѣло кончиться потрисеніе, произведенное ломбардскою войною, такъ National-Verein тотчасъ же выдвинулъ впередъ дѣло эльбскихъ герцогствъ. Когда умеръ король Даніи, Фридрихъ, лига съ горячностью бросилась въ препирательства, и ей-то, по преимуществу, мѣръ обязанъ войною, которая завязалась по этому случаю. Родилась она шовинистскою, прожила такою же; она родилась, чтобы сказать: Берегите! Она жила, чтобы сказать: Берите, берите! О справедливости, объ умѣренности она никогда не заботилась и, по своему собственному наивному признанію, всегда смѣшивала свое право и свою выгоду. Если таковы были чувства патриотовъ, никто послѣ этого не удивится, что архипруссакъ г. Бисмаркъ смѣшиваетъ свое право и свою власть. Не имѣя ни справедливости, ни чувства уваженія къ себѣ, National-Verein не могъ имѣть и разумной политики; лишенный руководящаго принципа, онъ превратился въ игрушку обстоятельствъ и капризовъ берлинскаго кабинета.

Такииъ образомъ, не имѣя поддержки ни съ права, ни съ лѣва,

National-Verein самъ по себѣ впадаетъ въ безсиліе со времени Га-стейнской конвенціи, съ той минуты, когда вслѣдствіе рѣшитель-ной выходки Австрія приняла на себя отвѣтственность за всѣ проп-ляя и будущія рѣшительныя мѣры Пруссіи. Если National-Verein не разошелся, если онъ не положилъ конецъ своему существо-ванію торжественнымъ и откровенно мотивированнымъ заявленіемъ, то это произошло потому, что, лишенный уже силы жить, онъ да-же не имѣетъ силы умереть. Въмѣсто того, чтобы умереть честно, прилично, какъ слѣдуетъ умереть всему тому, что жило, онъ пред-почитаетъ отдать на съѣденіе червямъ свое заживо сгнившее тѣло.

Такъ какъ National-Verein годится только на то, чтобы быть насильно погребеннымъ, посмотримъ, покрайней мѣрѣ, нѣтъ ли какогонибудь учрежденія, которое могло бы замѣнить его, нѣтъ ли какогонибудь общества, нѣтъ ли людей, дѣйствующихъ во имя рациональной и достойной успѣха программы. Увы! Ничего этого нѣтъ, и даже нельзя ожидать въ ближайшемъ будущемъ. Отдѣль-ныя личности, разсѣяныя по Германіи, дѣйствуютъ врозь, и слѣ-довательно ничего общаго не представляютъ для поддержанія даже той идеи о справедливости и свободѣ, которая сознавалась поли-тическими реформаторами Германіи еще въ XVI вѣкѣ.

Прибавимъ, что въ Виртембергѣ въ сотый разъ повторяется пре-образование придворнаго этикета, и вся законодательная мудрость правительства истощается на эти преобразования. Рѣшивши, что буржуа и въ особенности ихъ супруги недостойны сидѣть въ ко-ролевскомъ театрѣ на мѣстахъ, на которыя бывають обращены взоры его величества, новый король обнаруживаетъ разныя предпи-санія, вызванныя самою очевидною необходимостью. Вотъ главныя изъ нихъ:

1) Его величество изволилъ замѣтить, къ крайнему своему не-удовольствію, что при появленіи его въ ложѣ не всѣ офицеры встають разомъ и что тѣ, которые сидятъ съ одной стороны, вста-ють позднѣе, чѣмъ тѣ, которые сидятъ съ другой стороны. По-добное злоупотребленіе должно быть прекращено.

2) Такъ какъ произошли ошибки касательно почестей, которыя слѣдуетъ отдавать принцу Фридриху, то замѣчаютъ, что тѣ же са-мыя почести должны быть отдаваемы и принцессѣ Еватеринѣ.

Чтобы предупредить всякія могущія возникнуть ошибки, объяв-ляется, что когда ихъ высочества будутъ проѣзжать въ каретѣ

лакей, стоящій на запяткахъ, будетъ поднимать руку и этотъ знакъ будетъ служить сигналомъ для караула.

3) Если солдатъ не отдастъ королю или членамъ его семейства предписанной чести, то на будущее время ему не будетъ служить извиненіемъ то, что онъ не знаетъ ихъ въ лицо. Вѣрныя фотографическія карточки должны быть приобрѣтены всѣми полками и развѣшаны въ казармахъ.

4) На будущее время запрещается, въ случаѣ, если не отдали чести ихъ величествамъ, извиняться тѣмъ, что они ѣхали въ каретѣ. Отнынѣ предписывается отдавать честь всякой придворной каретѣ, хотя бы она была и пустая.

И т. д. и т. д.

Отецъ теперешняго короля былъ не такъ взыскателенъ на счетъ этикета, какъ его сынъ. Вспоминаютъ даже, что когда одна принцесса жаловалась ему однажды, что ей не отдали честь по установленнымъ правиламъ, то его величество приказать, во избѣжаніе всякаго недоумѣнія, не отдавать этой принцессѣ вовсе никакой чести.

Плебеи Нассауской палаты депутатовъ осмѣлились вычислить талерами и пфенигами всѣ издержки, которыхъ требуютъ дипломаты, посылаемые къ иностраннымъ дворамъ. Изъ официальныхъ документовъ видно, что вся служебная дѣятельность нассаускаго чрезвычайнаго посланника и уполномоченнаго министра при Дармштадскомъ дворѣ ограничилась въ 1863 году: визитомъ къ гессенскому министру, аудіенціею у великаго герцога, и присутствіемъ на свадьбѣ одной принцессы. По случаю каждаго изъ этихъ подвиговъ чрезвычайный посланникъ и уполномоченный министръ присылалъ счетъ издержекъ, который былъ еще *чрезвычайно*, чѣмъ онъ самъ. Правда и то, что тотъ же самый дипломатъ разносилъ нассаускую министерскую газету по отелямъ и вербовалъ для нея подписчиковъ.

Кромѣ того палата узнала также, что такой-то дипломатъ, которому она платила за то, чтобы онъ былъ на сеймѣ представителемъ Нассаускаго герцогства, получалъ деньги и отъ Брауншвейга въ качествѣ его представителя. Вслѣдствіе этого въ 1861 г. этотъ дипломатъ былъ поставленъ въ необходимость отъ имени Нассаускаго герцогства горячо противиться на сеймѣ торговому договору съ Франціею и энергично отстаивать тотъ же самый договоръ отъ имени Брауншвейга. Точно также онъ протестовалъ отъ имени Нассаускаго герцогства противъ прусской депешы, отно-

сившейся къ федеральному преобразованію, и категорически под- держивалъ ту же самую депешу отъ имени Брауншвейга.

А какъ вамъ, напримѣръ, понравится мысль, которая возникла въ умахъ великихъ государственныхъ людей Пруссіи? Они подняли таксу учета до $7\frac{1}{2}\%$. Но эта мѣра простирается только на плебеевъ и всякій сбродъ торговаго и промышленнаго міра. Дворянину, который удостойтъ представить билетъ, спускаютъ $1\frac{1}{2}\%$ и требуютъ съ него всего только 6% . И дворяне гуртомъ скупаютъ кредитныя бумаги и спекулируютъ на эту разницу. А происходитъ это въ 1865 году, вѣкъ спустя послѣ великаго Фридриха!

Этимъ благороднымъ пруссакамъ нужно было сколотить денегъ, послѣ того какъ они заплатились въ пользу Франциска II. И дѣйствительно, графъ Штольбергъ, майоръ королевской гвардіи и братъ президента палаты дворянства явился недавно въ Римъ, во дворецъ Фарнези и, на торжественной аудіенціи, поднесъ неаполитанскому государю великолѣпный серебряный щитъ, сдѣланный на сумму, собранную по подпискѣ юнкеровъ; на этомъ щитѣ былъ изображенъ en relief молодой Францискъ, съ наружностью и костюмомъ Ахиллеса, поражающаго Гарибальди и толпу революціонеровъ, между которыми находятся Люи-Бланъ и дѣдушка Кабе. Когда это произведеніе искусства было положено на столъ, графъ произнесъ рѣчь, въ которой объяснилъ, что этотъ щитъ подносится государю въ память знаменитой защиты Гаэты.

«Мы пользуемся этимъ случаемъ, воскликнулъ Штольбергъ, чтобы заявить передъ лицомъ свѣта, что еслибъ насъ не удерживали наши обязанности въ отношеніи къ нашему собственному государю, мы бросились бы сюда съ оружіемъ въ рукахъ, приняли бы участіе въ оборонѣ Гаэты и умерли бы на ея стѣнахъ, жертвами принципа и законности.

Видимо растроганный, Францискъ II отвѣчалъ двоюродному брату Миссундскаго канонера:

«Это признаніе даетъ вамъ вѣчное право на нашу признательность. Потому что желаніе помочь чужому королю и отдаленнымъ націямъ доказываетъ, что вы — истинные столбы вашихъ правительствъ и вашихъ согражданъ.

При этомъ у *столба своихъ согражданъ* вырвалось восторженное восклицаніе. Герой Гаэты продолжалъ болѣе смиреннымъ тономъ: «Признаюсь, я еще надѣюсь, что провидѣніе возвратитъ меня въ мое королевство и отдастъ мнѣ наслѣдство моихъ отцовъ. Но

во всякомъ случаѣ надо ждать. Это горькая необходимость, но надо вооружиться терпѣніемъ. Господинъ графъ, передайте вашимъ друзьямъ увѣреніе въ моей королевской признательности».

Графъ отправился обратно въ Берлинъ и передалъ своимъ со товарищамъ благодарственное порученіе.

Развѣ не правда, что въ Германіи вромѣ замѣчательной капусты есть и замѣчательные люди!

Этому заявленію прусскихъ рыцарей предшествовала женская демонстрація вдовствующихъ дамъ знатнаго происхожденія, представительницъ германскаго дворянства, которыя послали неаполитанской королевѣ альбомъ съ своими именами, гербами и портретами въ числѣ нѣсколькихъ тысячъ. Эти совершенно невинныя демонстраціи укрѣпляютъ духъ эксъ-короля и эксъ-королевы, которые нуждались въ подогрѣваніи ихъ бодрости и мужества. Давно объявленное выступленіе французскихъ войскъ никакъ не могло ихъ развеселить. Три полка ушли наконецъ, — но что же это доказываетъ? —

Это не доказываетъ ровно нечего, а между тѣмъ папа и его приближенные были весьма взволнованы этимъ. Событіе это произвело нѣкоторое вліяніе на отставку, которую получилъ знаменитый военный протоминистръ, монсиньеръ Меродъ. Его личный врагъ, кардиналь Антонелли, воспользовался обстоятельствами, чтобы низложить его. Подкупъ готовился уже давнымъ давно, съ самаго процесса Фосси, который долженъ былъ погубить Антонелли. Но онъ сумѣлъ оградить себя, смягчить до нѣкоторой степени нанесенный ему ударъ и, какъ хитрый итальянецъ, въ тихомолку и въ потьмахъ сталъ точить мечъ, который долженъ былъ освободить его отъ его соперника, холерическаго и сварливаго бельгіяца. Дѣла благочестиваго Мерода шли кое-какъ; министерство его поглощало громадныя суммы то на постройку казармъ, то на мундиры зуавовъ; выдавались векселя болѣе чѣмъ на милліонъ, а выплачивать ихъ было нечѣмъ; ломбардъ требовалъ отъ трехъ до четырехъ милліонсвъ, одинъ милліонъ былъ отданъ на проценты въ Бельгію и объ этомъ милліонѣ невозможно было представить никакого отчета; во всемъ дѣлѣ пансео-бельгійскаго займа царствуетъ невообразимый беспорядокъ; часть денегъ безъ сомнѣнія шла на жалованье бурбонскихъ разбойниковъ, а остальное расходилось по карманамъ ужасныхъ негодяевъ, окружавшихъ прелата и составлявшихъ отвратительный сбродъ лицемѣровъ, ростовщиковъ, мошенниковъ и всякихъ плутовъ. Къ тому же — и это чрезвычайно тронуло папу — скандальная хроника рассказывала черезчуръ забавныя вещи о

монсиньерѣ. Происходили очень тяжелыя объясненія между святымъ отцомъ и его бывшимъ любимцемъ, который наотрѣзъ отказывался подать въ отставку и сдѣлалъ это наконецъ только послѣ рѣшительнаго приказанія и то горько жаловался на неблагородность господина, выгонявшего его послѣ того, какъ онъ пожертвовалъ для него здоровьемъ и состояніемъ.

Отставка Мерода и возвращеніе власти въ руки хитраго итальянца сильно обрадовала сторонниковъ примиренія между монархією Виктора Эмануила и папскимъ престоломъ. Боджіо, самодовольный и напыщенный Боджіо, засіялъ счастіемъ, вернувшись съ своихъ переговоровъ; если послушать его, такъ подумаешь, что Италіи и папѣ только и остается обняться. Пронесся слухъ, что конкордаты съ святымъ отцомъ заключены, но что папа не хочетъ, чтобы его подпись стояла рядомъ съ подписью короля, котораго онъ отлучилъ отъ церкви и на котораго всегда смотрѣлъ, какъ на похитителя его владѣній. Поэтому король долженъ отказаться отъ престола въ пользу своего сына. Слухи эти объ отреченіи весьма романтичны, весьма неправдоподобны, но мысль, что папство можетъ обнять и не задуть Италію, мысль, которая все глубже и глубже въѣдается въ умы богатой итальянской буржуазіи, обнаруживаетъ полное непониманіе сущности вещей.

Итальянскіе выборы дали гораздо лучший результатъ, чѣмъ отъ нихъ ожидали, хотя они и происходили подъ вліяніемъ извѣстія о выходѣ французскихъ войскъ и о примиреніи папства съ савойскимъ домомъ. Лѣвая сторона приобрѣла все то, что потеряли министерство и Consorteria или иначе клика. Духовенство, которое наконецъ рѣшилось признать Итальянское королевство для того, чтобы на избирательной почвѣ выставить противъ него враговъ, потеряло окончательное пораженіе. Нельзя было представить себѣ, что эта партія такъ слаба. Впрочемъ мы подождемъ хвалить новую палату до тѣхъ поръ, пока она не начнетъ дѣйствовать. По работѣ узнаешь и работника.

P. S. Въ настоящую минуту мнѣ рассказываютъ, что знаменитый Grand Guillot, подрядчикъ общественнаго мнѣнія во Франціи, близкій человѣкъ г. Мориа, фанатикъ, влюбленный въ имперію, исчезъ съ 600,000 франковъ изъ конторы Constitutionnel, этого журнала честныхъ и умѣренныхъ людей и патриотовъ. Быть можетъ, это окажется пустой сплетней, но неужели вы предпочли бы разсужденіе о либеральныхъ реформахъ, которыя намъ по прежнему общающъ, и объ удивительныхъ сбереженіяхъ, которыя проектируются министеромъ финансовъ, г. Фульдомъ?

Ж. Лефернь.

ДОМАШНЯЯ ЛѢТОПИСЬ.

Пьянство, какъ общественное явленіе въ Россіи.—Причины пьянства.—Меры, предлагаемыя противъ него нашими провинціальными и столичными публицистами.—Непониманіе дѣла тѣми и другими.—Соціально-экономическій взглядъ на это народное зло.—Тѣсная связь его съ условіями общественной жизни.

I.

Люди, слѣдящіе за народной нравственностію и народнымъ здравіемъ, съ незапамятныхъ временъ огорчаются безпутствомъ и пьянствомъ народовъ. Пьянствовали древній Римъ, пьянствовала Греція; пьянствовала Европа во времена варварства, пьянствуетъ она и нынче. Нѣтъ такого народа, котораго бы не укоряли въ пьянствѣ его доморожденные моралисты. Лютеръ совсѣмъ приходилъ въ отчаяніе отъ пьянства нѣмцевъ и говорилъ, что аллегорически можно изобразить Германію только въ видѣ свиньи. Въ то время, какъ Лютеръ относился такъ не деликатно къ своимъ соотечественникамъ, датскій король обозвалъ тѣмъ же словомъ русскихъ, не объясняя, впрочемъ, скрывается-ли тутъ какой нибудь аллегорическій смыслъ. Въ прошедшемъ столѣтіи пьянство при дворахъ и между дворянствомъ доходило до совершенной виртуозности. Ниче каждая нація старается оспорить у другой пальму первенства въ количествѣ испиваемыхъ ею ежегодно спиртуозныхъ напитковъ. Послѣдствія этого зла еще мало оцѣнены съ медицинскою точкою зрѣнія, но многіе писатели, вовсе не изъ числа тупыхъ моралистовъ, давно уже указываютъ на губительное вліяніе пьянства. Такъ напримѣръ Бушарда грозитъ рѣшительнымъ бѣдствіемъ всей Ев-

ропѣ. Онъ говоритъ, что пьянство создаетъ нервныя и мозговныя болѣзни, переходящія наследственно изъ поколѣнія въ поколѣнія; такъ что разрушающія послѣдствія пьянства являются началомъ, противодѣйствующимъ прогрессу и ведущимъ къ вырожденію человѣческой породы. По словамъ Жюля Симона, «пьянство создаетъ такую бѣдность, что рабочіе становятся совершенно неспособными думать о будущемъ.» Есть еще и такіе писатели, которые увѣряютъ, что «народы, злоупотребляющіе спиртовыми напитками, совершенно неспособны сохранить или создать себѣ свободу, на которой основано равенство передъ закономъ, этимъ, по ихъ мнѣнію, источникомъ всего соціальнаго прогресса.» Если всѣ эти писатели говорятъ правду только вполонину, то и затѣмъ все-таки слѣдуетъ заключить, что зло, о которомъ они говорятъ, не есть зло частное, а общее, обхватывающее все человѣчество; зло, коренящееся глубоко и ниѣющее непремѣнно какія нибудь и общія причины.

На долю русскихъ выпадаетъ упрекъ, чуть-ли не самый сильный, и въ общемъ европейскомъ мнѣніи мы стояли въ этомъ отношеніи далеко выше даже шведовъ. Сами мы смотрѣли прежде на отечественное пьянство весьма спокойно, ювидимому не замѣчая его, потому что вообще мы не замѣчали тогда у себя ничего. Но въ послѣднее время, съ уничтоженіемъ откуповъ, вопросъ о народномъ пьянствѣ выступилъ впередъ, въ нынѣшнемъ году возбудилъ даже горячіе толки въ литературѣ и занялъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ ряду нашихъ общественныхъ вопросовъ. И конечно, если обратить вниманіе на нѣкоторые современные факты и клиническія наблюденія, то пьянство можно принять за повальную болѣзнь, дѣйствующую съ опустошительностію холеры. Такъ по наблюденіямъ, сдѣланнымъ въ первомъ сухопутномъ госпиталѣ, оказывается, что «почти пятая или шестая часть умирающихъ крестьянъ, отставныхъ и временно-отпускныхъ солдатъ, ихъ безпріютныхъ женъ и дочерей, умираетъ съ кровоточивымъ воспаленіемъ твердой мозговой оболочки». А болѣзнь эта является почти исключительно отъ пьянства. Даже возвратную горячку, свирѣпствовавшую въ Петербургѣ, приписываютъ многочисленнымъ болѣзненнымъ усложненіямъ, созданнымъ пьянствомъ. Если этотъ расчетъ вѣренъ, то значитъ, что изъ 2.000,000 умирающихъ у насъ ежегодно, отъ пьянства у насъ умираетъ отъ 333,000 до 400,000 человѣкъ. Это стоитъ десяти генеральныхъ сраженій! Свѣденія, сообщаемыя нашими газетными корреспондентами, заключаютъ въ себѣ подробности, усиливающія еще болѣе мрачность этой печальной картины. Такъ,

корреспондентъ «Сѣверной Почты» говоритъ, что въ Москвѣ пьютъ нинче даже дряхлые старики, даже женщины и дѣти... Другіе корреспонденты приводятъ факты повальнаго пьянства, когда пьяна, отъ мала до велика, вся деревня. Напримѣръ, одинъ корреспондентъ пишетъ, что ему случилось разъ прїѣхать въ село. Онъ спрашиваетъ сельскаго старосту и ему «на-силу указали на лежавшаго возлѣ плетня мужика, растолкать котораго было уже невозможно. Привели также подъ руки десятскаго, единственнаго въ селѣ блюстителя благочинія; но блюститель благочинія самъ едва держался на ногахъ и заболталъ такой вздоръ, что отъ него нельзя было ровни ничего добиться. Внутри кабака виднѣлось чело-вѣкъ около двадцати крестьянъ, шумѣвшихъ и спорившихъ. По селу ходили, пѣли, обнимались, бранились и валялись пьяные мужики. Кажется, и былъ трезвъ только одинъ сидѣлецъ кабака». Я привелъ только два факта; но если послушать все то, что говорилось о повсемѣстномъ ужасномъ пьянствѣ народа, обрадовавшагося дешевкѣ; если прочитать всѣ корреспонденціи, со всѣхъ концовъ Россіи, о томъ, сколько повсюду пьется водки и совершается разныхъ безобразій, то можно подумать, что Россія спилась кругомъ и что, не сегодня, такъ завтра, вся она умретъ отъ кровооточиваго воспаленія твердой мозговой оболочки. На сколько были сильны слухи и толки о повальномъ русскомъ пьянствѣ, можно судить потому, что при министерствѣ финансовъ образована особая коммиссія для пересмотра вновь (только что изданныхъ) правилъ о торговлѣ наитками, съ цѣлю уменьшенія пьянства въ народѣ.

Но если съ одной стороны шли ужасающіе слухи, и Россія грозила окончательной погибелью, то съ другой явились адвокаты народа, доказывавшіе цифрами, что всѣ слухи и толки не только преувеличены, но что даже народъ сталъ пить менѣе, чѣмъ прежде. Такъ господинъ Бентковскій, на основаніи официальныхъ данныхъ, выводитъ (Бирж. Вѣд.), что въ 1864 году Россія вышила водки на 8.878,125 ведеръ менѣе, чѣмъ въ 1863 году. Изъ составленной имъ таблицы видно, что только въ губерніяхъ Бессарабской, Эстляндской, Лифляндской, Орловской, Витебской, Ковенской и Олонецкой выпито водки больше; во всѣхъ же остальныхъ губерніяхъ потребление водки уменьшилось.

Защитники даже старались скрасить дѣйствительность, придумать несуществующія добродѣтели. Тотъ же г. Бентковскій въ пылу желанія доказать, что народъ сталъ пить меньше, не довольствуясь такимъ сильнымъ доводомъ, какъ 9 м. ведеръ, на которыя уменьшилось въ 1864 г. потребление, дѣлаетъ расчетъ, изъ

котораго оказывается, что у насъ приходится въ годъ на человѣка по одному ведру или по $\frac{4}{363}$ ведра въ день, т. е. по *обыкновенной рюмкѣ* или нѣсколько болѣе. Ошибка этого расчета въ томъ, что русскій человѣкъ, какъ извѣстно, водку рюмками не пьетъ, а тѣмъ болѣе по одной въ день, и что г. Бентковскій принялъ въ расчетъ и женщинъ, т. е. предположилъ, что каждая изъ нихъ, т. е. всѣ русскія бабы и дѣвки выпиваютъ тоже каждый день, вѣроятно передъ обѣдомъ, по рюмкѣ водки. Если же исключить изъ расчета женщинъ, а затѣмъ принять изъ остальнаго населенія только половину пьющихъ, то расчетъ возвышается въ четверо, т. е. вмѣсто одной рюмки на человѣка въ день выйдетъ четыре, и вмѣсто одного ведра въ годъ—четыре ведра. Но и этотъ расчетъ по нѣкоторымъ губерніямъ возвышается значительно болѣе; напримѣръ, у г. Бентковского на каждого жителя Петербургской губерніи приходится 2 ведра и $7\frac{4}{10}$ кварты, а по принятому выше расчету выйдетъ 11 ведеръ $8\frac{6}{10}$ кварты. Но вѣдь и эта цифра невѣрна, она только средняя; а есть для Петербургской губерніи свои максимумы и минимумы, и тогда можетъ быть окажется, что въ Петербургской губерніи, и преимущественно въ Петербургѣ, есть молодцы, выпивающіе въ годъ ведеръ по тридцати. Ну гдѣ же тутъ *обыкновенная* рюмка передъ обѣдомъ? Такіе-то молодцы и производятъ на общественное мнѣніе впечатлѣніе того сильнаго пьянства, которое заставило испугаться за благоденствіе Россіи и породило боязнь, что русскій народъ совсѣмъ сопъется въ какіе нибудь два-три года. Румѣется, если бы каждый русскій выпивалъ въ день, по расчету г. Бентковского, только по одной рюмкѣ, то такое поведеніе не вызвало бы ничего, кромѣ похвалы; но мы видимъ, что и защитники и порицатели приходятъ къ одному заключенію; мы видимъ, что, по клиническимъ наблюденіямъ, шестая или пятая часть больныхъ умираетъ отъ болѣзней, порождаемыхъ пьянствомъ; изъ судебныхъ рѣшеній мы знаемъ, что значительная часть преступленій совершены или въ пьяномъ видѣ, или вино служило, при совершеніи ихъ, вспомогательнымъ средствомъ, возбуждающимъ энергію; мы видимъ и въ городахъ и въ деревняхъ валяющихся по улицамъ пьяныхъ людей и цѣлыя толпы шатающагося народа. Что же это, пьянство, или нѣтъ? Хуже это, или лучше Швеція? Наши друзья народа и всякіе славянофильствующіе господа сами не знаютъ, что они говорятъ. Имъ непременно нужно сантиментальничать и возбуждать чувствительность къ народу. Они никакъ еще не могутъ свыкнуться съ мыслію, что у каждого человѣка, кто бы онъ ни былъ, есть свои прирожденные права, которыя всякій долженъ соблюдать

и уважать, потому что эти права составляют юридическое выражение законовъ природы, управляющихъ жизнью человѣка и обуславливающихъ его органическое совершенствованіе и прогрессъ всего человѣчества. Только во имя этихъ законовъ и слѣдуетъ говорить съ людьми. Если же мы будемъ изнывать только въ похвалахъ самимъ себѣ, если мы всякую собственную гадость будемъ прикрывать розами, то въ результатѣ этого явится только приниженность, гражданская беспомощность и китайскій застой. Странное дѣло, что даже наши публицисты не знаютъ этой простой истины и приходится повторять ее имъ, какъ нѣчто совершенно новое. И кого хотимъ мы очаровать собой, рисуя себя въ видѣ добродѣтельныхъ и трезвыхъ Діогеновъ? Ну кто же не знаетъ, что ни одинъ народъ въ Европѣ не пьетъ до такого безобразія, какъ мы? Кто же не знаетъ, что мы имѣемъ такого рода недостатки и такія слабыя стороны въ нашей общественной и гражданской жизни, какихъ нѣтъ ни у англичанъ, ни у нѣмцевъ, ни у французовъ? вмѣсто того, чтобы пѣть лазаря, выпрашивая, неизвѣстно у кого, какихъ-то милостей, было бы проще говорить о себѣ съ зрѣлостію людей мыслящихъ, сознательно устроивающихъ свои дѣла и знающихъ, что и почему имъ это нужно. Этой азбукой гражданского общежитія мы не владемъ еще до сихъ поръ. И потому, вмѣсто того, чтобы сказать, что русскій человѣкъ, предаваясь разгулу, испиваетъ по тридцати ведеръ водки въ годъ, и разобрать, отчего именно это происходитъ, мы съ видомъ скромности увѣряемъ кого-то, что мы пьемъ каждый день предъ обѣдомъ только по маденькой рюмочкѣ.

Но и тѣ, кто имѣлъ довольно храбрости, чтобы замѣтить и высказать наконецъ громко, чѣмъ мы больны, были въ то же время на столько трусливы, что впали въ отчаяніе, вообразивъ гибель и распадѣніе нравственности въ томъ, въ чемъ этого рѣшительно нѣтъ, и не на столько проникательны, чтобы взглянуть въ корень вещи.

Главной причиной сильно развившагося въ народѣ пьянства одни считаютъ откупъ. Они говорятъ, что въ откупѣ заключается все зло; что откупъ устроилъ коварную систему завлеченія, такъ что вышкололенные и ловкіе сидѣльцы разными ухищреніями умѣли заставлять пить не только тѣхъ, у кого не было денегъ, но даже тѣхъ, кто вовсе не хотѣлъ пить. Никакія установленія и мѣры правительства не могли обуздать коварствъ откупа и ограничить его дѣйствія предѣлами, установленными закономъ. Откупъ умѣлъ ладить такъ хорошо съ полиціей, что, не говоря уже про городо-

выхъ, но и лица болѣе вліятельныя охотно исполняли всѣ его желанія и смотрѣли сквозь пальцы на то, на что слѣдовало смотрѣть во всѣ глаза. Однимъ словомъ, по мнѣнію этихъ людей, откупъ изображалъ собой нѣчто въ родѣ мефистофеля, противъ сатанински-коварныхъ дѣйствій котораго не могла устоять ни одна чистая, невинная русская душа, и который задаль себѣ задачей развратить Русь и научить ее всякой неумѣренности и пьянству. Другіе, люди болѣе сердечные, видѣли въ пьянствѣ послѣдняго времени проявленіе народной мстительности. Они говорятъ, что «во время существованія откуповъ едва-ли была хоть одна деревушка, не говоря уже о городахъ, селеніяхъ и мѣстечкахъ, гдѣ бы гнетъ откупа не оставилъ саммкъ жестокихъ послѣдствій и грустныхъ воспоминаній; а потому, при одной вѣсти объ уничтоженіи откуповъ, восторгъ нашего простого народа проявлялся ежедневно въ различныхъ формахъ и выраженіяхъ. Ненависть къ откупщикамъ возрасла въ послѣдніе дни бытія ихъ до чувства народной къ нимъ мести; такъ что не только откупщика, но даже каждаго, служащаго у него, народъ вездѣ встрѣчалъ и провожалъ безконечною бранью, уворами и насмѣлками. Нужно было видѣть, чуть не благоговѣніе простого народа къ чиновникамъ, которые на 1-е января 1862 года явились снимать остатки по питейнымъ заведеніямъ. Цѣлыя деревни стекались изъ одного недоумѣнія къ такому великому событію и, убѣдившись въ истинѣ, цѣлыми хорами пѣли отходную откупу. Что же послѣ этого можетъ быть удивительнаго, что народъ, до того озлобленный, быть можетъ нѣсколько и увлекся на первыхъ порахъ, праздно свое освобожденіе отъ жестокаго ига?!» Наконецъ, третью причину усиленнаго пьянства видѣли въ томъ, что съ удешевленіемъ водки развилось слишкомъ много кабаковъ.

Всѣ эти объясненія причинъ пьянства замѣчательны собственнотѣмъ, что они ничего не объясняютъ. Конечно, для откупа было выгодно, чтобы народъ пилъ больше, и весьма вѣроятно, что онъ употреблялъ для этого какія нибудь приманки; но его мефистофельство никакъ не могло идти дальше того, на сколько самъ народъ имѣлъ готовности и желанія идти на приманки. Утверждать, что откупъ спаввалъ народъ и развилъ въ немъ пьянство—то же самое, что приписывать усиленіе пьянства размноженію кабаковъ. Можно въ каждомъ дощѣ устроить кабакъ съ самыми плѣнительными приманками, но если нѣтъ охоты и желанія пить, то никакія приманки не поведутъ ни къ чему. Въ Кур-

ской губерніи, въ первое полугодіе 1863 года, было 4,550 кабаковъ и выпито вина 940,000 ведеръ, а въ первое полугодіе 1864 года питейныхъ заведеній было 5,780 или на 1,230 болѣе, а вина выпито 720,000 ведеръ или на 220,000 менѣе. Что же касается до того, что народъ будто бы уже очень разсердился на откупъ; что онъ съ благоговѣніемъ встрѣчалъ чиновниковъ, снимающихъ остатки вина; что цѣлыя деревни составляли хоры и пѣли откупу отходную и что народъ, принявшись пить больше, праздновалъ этимъ свое освобожденіе отъ ига, да еще жестокаго, то все это—чистое сочиненіе, потому что никто никогда не составлялъ хоровъ, не пѣлъ отходной; а если и принялся съ 1-го января 1863 г. пить больше, такъ вовсе не изъ мести къ откупу, а просто потому, что подешевѣла водка. Совершенно такой же наивностію отличаются и мѣры, предлагаемыя для искорененія пьянства. Основной мѣрой и самой радикальной считается большинствомъ нашихъ публицистовъ образованіе народа. Мѣра конечно очень хорошая, но вопросъ въ томъ: какъ же образовывать народъ? На это одинъ господинъ изъ Тулы даетъ въ «Русскихъ вѣдомостяхъ» такой отвѣтъ: «Много между фабрикантами г. Тулы идетъ толковъ о пьянствѣ; довольно и въ газетахъ пишутъ; но эти письма только входятъ въ уши читающихъ, доходятъ до людей возможныхъ (?), т. е. кто имѣетъ средства выписать себѣ какую либо газету. А пьяницы остаются тѣми же пьяницами, которые ничего не слышатъ и не понимаютъ, что соотечественники объ нихъ говорятъ и пишутъ, и что къ восстановленію ихъ нравственности хотятъ предпринять власти. Между тѣмъ, все это необходимо надо внушить самой пьяной личности: у нихъ не совѣсьмъ зачерствѣлыя сердца. Прежде всѣхъ предпріятій надо прибѣгнуть къ легкому средству: нельзя-ли словомъ смягчить и согрѣть ихъ душу? А если они не примутъ въ резонъ, не послушаютъ добрыхъ совѣтовъ, тогда уже потребуется принять и мѣры строгости: измѣненіе правъ на игія (?), и вопросъ о пьянствѣ поворотить на благо постановленіемъ новаго закона... Нельзя сваливать всю вину на однихъ пьяницъ; въ этомъ виноваты частію и духовные пастыри, и сельскія правленія, и значительные фабриканты, портные, сапожники, булочники, дворники и прочіе хозяева различныхъ заведеній, гдѣ только находятся чернорабочіе; виноваты даже и домовладѣльцы, у кого есть много прислуги. Есть между хозяевами грамотники, есть изъ нихъ люди образованные—и что же?—всѣ эти власти (?) нисколько не слѣдятъ за собой относительно обращенія съ рабочими; а въ этомъ-то мы болѣе виноваты,

нежели пьяницы. Вотъ нашъ взглядъ на это дѣло. Священники должны внушать народу, что значить пьянство и что отъ него можетъ произойти; обязанность сельскихъ правленій собирать крестьянъ и читать имъ газеты, гдѣ говорится о пьянствѣ; дѣло каждаго фабриканта и вообще хозяина выписывать ту или другую газету. Привожу слова одного рабочаго: «Я, говорить, отсталъ отъ вина по случаю книгъ; хозяинъ мой читать охотникъ; онъ бываетъ у насъ въ мастерской каждый день во время завтрака и послѣ шабаша, и, дай Богъ ему здоровья, читаетъ намъ разныя книжки. Если бы я не попалъ къ нему, то не слыхать бы мнѣ добраго слова, и отъ пьянства бы не отстать. Истину вамъ говорю!» Авторъ письма подписался буквами В. П. Скромность совершенно не простительная, потому что благодарное отечество лишено теперь возможности почтить своего спасителя какой нибудь монументальной благодарностию. Тысячу лѣтъ, а можетъ и больше, пьетъ Россія, вовсе не подозрѣвая, что существуетъ простое и очень дешевое средство избавиться ей отъ этого недуга. Прежде всего слѣдуетъ смягчить и согрѣть душу пьяницъ, и для этого, конечно, приподнести имъ по рюмкѣ водки, потомъ дать нѣсколько назидательныхъ совѣтовъ; но какъ они, разумѣется, ихъ не послушаютъ, то измѣнить права на питье,—что это значить, авторъ не объясняетъ, но вѣроятно это значить, что, согласно табели о рангахъ, денежнымъ средствамъ и общественному положенію, опредѣлить, кто сколько можетъ пить рюмокъ водки; но какъ и это не поможетъ и найдутся нарушители, которые стануть пить не по рангу, то *поворотить на благо*, какъ выражается авторъ, и издать новый законъ, вѣроятно объявляющій питье водки уголовнымъ преступленіемъ; а какъ, разумѣется, не поможетъ и эта рѣшительная мѣра, то затѣмъ приступить уже къ радикальному средству, противъ котораго не устоитъ ни одна черствая душа: заставить сельскія правленія собирать крестьянъ и читать имъ газеты, въ которыхъ говорится о пьянствѣ, а еще лучше издавать на общественный счетъ специальную газету для пьяницъ, и господина В. П. назначить ея редакторомъ; а того добродѣтельнаго мужа, который читалъ своимъ рабочимъ книжки, и того тульского Діогена, который отъ этого простаго средства превратился внезапно въ трезваго человѣка, сдѣлать или помощникомъ редактора или дать ему назначеніе, какое г. В. П. признаетъ болѣе соотвѣтственнымъ для блага Россіи. Ну, а если чтеніе газетъ не поможетъ? Если образованіе, кажущееся для большинства такимъ радикальнымъ средствомъ

противъ всѣхъ общественныхъ золъ, не поведетъ ни къ чему? Напримѣръ, въ «Тобольскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ» сообщаютъ, что изъ 193 лицъ, умершихъ въ послѣдніе десять лѣтъ въ Тобольскѣ отъ пьянства, было: дворянъ 9, духовнаго званія 1, мѣщанъ 13, крестьянъ 118, поселенцевъ 26, солдатъ 19 и инородцевъ 7. По отношенію къ населенію cadaго сословія оказывается, что смерть отъ пьянства поражала ежегодно: между дворянами 1 изъ 5,700 ч., между мѣщанами 1 изъ 10,512, между поселенцами 1 изъ 12,023, между солдатами 1 изъ 21,621, между духовными 1 изъ 28,174, между крестьянами 1 изъ 32,282, и между инородцами 1 изъ 40,035 человекъ. Слѣдовательно дворяне и чиновники пили вдвое болѣе мѣщанъ и поселенцевъ, почти въ четверо больше солдатъ, почти въ пятеро больше духовныхъ, почти въ шестеро больше крестьянъ и почти въ восемь разъ больше инородцевъ. Что эти цифры вовсе не далеки отъ истины, убѣждаютъ наблюденія надъ пьянствомъ англичанъ, нѣмцевъ и французовъ, гдѣ люди изъ буржуазіи пьютъ гораздо сильнѣе простаго народа и преимущественно земледѣльцевъ, отличающихся вообще наиболѣе умѣренной и трезвой жизнью. Отчего этотъ, повидимому, невѣроятный фактъ? Отчего какъ разъ болѣе образованные и пьютъ больше? Если средство просвѣтителей народа такъ радикально, то отчего же оно приводитъ не къ тѣмъ результатамъ, какихъ желаютъ г. В. П. и подобные ему писаки? Ничего не можетъ быть легче и дешевле, какъ проповѣдывать противъ человѣческихъ пороковъ, но ничего не можетъ быть и бесплоднѣе, какъ терять время и слова на эти проповѣди. Охотниковъ поучать всегда было много, потому что это праздное занятіе ничего не стоитъ. Но подвинула ли какая нибудь проповѣдь хоть на одинъ вершокъ впередъ человѣческую нравственность — это болѣе чѣмъ сомнительно. Человѣка формируетъ и дѣлаетъ нравственнымъ не поученіе, а та обстановка жизни, въ которой онъ находится. Хороша она — и человѣкъ выходитъ хорошимъ и нравственнымъ; грязна и пошла она — и человѣкъ обращается въ свинью и негодяя. Неумолимая цифры статистики и факты исторіи такъ очевидно доказываютъ ту истину, что условія общественной жизни вполне опредѣляютъ человѣческую нравственность, и измѣнять ее могутъ не проповѣди и напускное негодование компаніи напихъ просвѣтителей, а улучшеніе этихъ условій и постоянное стремленіе общества къ этому улучшенію. Но эту простую и ясную истину, вѣроятно, еще долго не втолкуешь нашимъ публицистамъ, и всегда найдется какая нибудь почтенная редакція,

которая обрадуется провинциальной корреспонденции и, во имя патриотизма, любви къ ближнему или по другимъ соображеніямъ не менѣе возвышеннаго свойства, напечатаетъ присланный ей вздоръ, а другая газета этотъ вздоръ перепечатаетъ. Такъ было нынче съ письмомъ г. В. П. Корреспонденты и редакторы газетъ думаютъ вѣроятно, что подобными корреспонденціями они открываютъ своимъ читателямъ Америку; да, Америку, — но не Америку свѣта и знанія, не новое полезное слово, а къ сожалѣнію—печальный фактъ нашего тупоумія, нашей неспособности понимать самыя простыя явленія жизни, нашего незнанія прошедшаго, нашего неумѣнья глядѣть въ будущее, нашего крайняго самоумнѣнія и пустого, мелочнаго самолюбія, этого вѣрнаго признака умственнаго слабосилія. Замѣчательно, что изъ сотни газетныхъ статей о причинахъ пьянства и средствахъ для его уничтоженія только въ двухъ статьяхъ заключаются разсудительныя мысли; во всѣхъ остальныхъ рутинна, рутинна, рутинна, — только повтореніе того, что повидимому, давно бы должно уже надобѣсть людямъ и убѣдить ихъ въ томъ, что это пустая, бесполезная болтовня, не принесшая до сихъ поръ человѣчеству ни одной крупницы практической пользы.

II.

Извѣстно, что съ тѣхъ поръ, какъ существуетъ человѣчество, существуетъ и вино и его злоупотребленіе — пьянство. Человѣчество пило прежде, пьетъ оно и теперь; нѣтъ страны и народа, гдѣ бы не существовало пьянство и одуреваніе себя разными веществами. Во Франціи напиваются виномъ и коньякомъ, въ Англіи портеромъ, элемъ и ромомъ; въ Швеціи и Россіи хлѣбной водкой; въ Германіи водкой и пивомъ; киргизъ напивается кумысомъ, китаецъ одурѣваетъ себя опиумомъ, дикари готовятъ или напитки, подобные нашей водкѣ, или даже пьютъ разведенный сокъ ядовитыхъ растеній. Такое повсемѣстное употребленіе одурѣвающихъ веществъ, дѣйствующихъ на нервную систему, доказываетъ то, что они также необходимы для человѣческаго организма, какъ и питательныя вещества. Разнообразіе и видоизмѣненіе веществъ, дѣйствующихъ возбуждительно на нервную систему, чрезвычайно велико, и нѣтъ ни одного народа въ мірѣ, который бы ихъ не употреблялъ: изъ нихъ табакъ и вино распространены наиболѣе. Употребленіе возбуждительныхъ

веществъ въ небольшомъ количествѣ необходимо для равномернаго, нормальнаго проявленія всѣхъ сторонъ органической дѣятельности человѣка. Безъ возбуждающихъ веществъ человѣку также невозможно жить, какъ безъ воздуха и пищи. Но возбуждающія вещества представляютъ ту особенность, что, при употребленіи ихъ, является скоро такъ называемая привычка, т. е. утрачивается способность возбужденія извѣстныхъ, установившимся разъ размѣромъ потребленія, и для произведенія возбужденія требуется уже принять въ себя большее количество возбуждающихъ веществъ. Это отсутствіе постоянныхъ границъ или точной мѣры, какая устанавливается потребляющимъ организмомъ въ пищевыхъ веществахъ, дѣлаетъ то, что, при употребленіи возбуждающихъ веществъ, являются легко злоупотребленія. По отношенію къ потребляющему организму злоупотребленія эти заключаются въ разстройство здоровья; а по отношенію къ другимъ членамъ общества въ разныхъ неразумныхъ дѣйствіяхъ, вредныхъ частному или общественному интересу. Поэтому понятно, что во всѣ времена злоупотребленіе возбуждающихъ веществъ встрѣчало сильное порицаніе или даже противодѣйствіе со стороны общества, страдавшаго отъ этихъ злоупотребленій, и что неразумные люди думали, подобно г. В. П., что изданіемъ какихъ нибудь полицейскихъ постановленій или строгаго карающаго закона можно установить черту, далѣе которой люди не должны переходить при употребленіи вина и подобныхъ ему возбуждающихъ веществъ. Но какъ опредѣлить эту границу? Гдѣ кончается предѣлъ нормальнаго потребленія и гдѣ начинается злоупотребленіе? Можетъ ли этотъ предѣлъ опредѣлить законъ или полицейская власть одной, общей для всѣхъ, мѣрой, когда ее не въ состояніи опредѣлить каждый отдѣльный человѣкъ для себя и когда эта черта то приближается, то отодвигается, смотря по разнымъ обстоятельствамъ и условіямъ, иногда вовсе неавѣстнымъ или извѣстнымъ худо самому потребителю?

Такъ какъ границу между потребленіемъ и злоупотребленіемъ опредѣлить чрезвычайно трудно и, не смотря на поговорку, что душа мѣру знаетъ, человѣческая душа, какъ показываетъ опытъ, этой мѣры въ дѣйствительности вовсе не знаетъ, то очевидно, что должны существовать какія нибудь причины, ведущія къ большому или меньшему злоупотребленію. Причины эти заключаются въ неудовлетвореніи органическихъ потребностей и, по характеру своему, раздѣляются на матеріальныя или физическія и на нравственныя.

Нравственныя причины проще и понятнѣе всего можно опредѣ-

лить выраженіемъ *тоска жизни*. Эта тоска жизни вовсе не выдумка праздныхъ или безпутныхъ людей, сами незнающихъ, чего они хотятъ. Тоска жизни существовала всегда и, вѣроятно, всегда будетъ существовать, потому что она происходитъ отъ сознания лишеній и человѣческой неудовлетворенности. Въ древнемъ Римѣ она выражалась самоубійствомъ, въ наше время—въ одурѣваніи себя виномъ или наркотическими веществами. Этой болѣзнью страдаютъ по преимуществу городскіе жители, въ сельскихъ же мѣстностяхъ она или совсѣмъ неизвѣстна или встрѣчается очень рѣдко. Лѣтъ 25 или 30 назадъ ей подвергались у насъ такъ называемые передовые люди художественной, страстной природы; тоска жизни воспѣвалась въ стихахъ, заглушалась разгуломъ и заливалась виномъ. Бывали, разумѣется, случаи тоски напускной, какъ бывали случаи, что поэты, воспѣвавшие вино, сами его никогда не пили, напримѣръ Языковъ; но вообще тоска эта не была выдумкой, она существовала дѣйствительно, потому что люди дѣйствительно не были удовлетворены тѣмъ, что ихъ окружало, и хотѣли лучшаго. Очень можетъ быть, что они заблуждались и хотѣли невозможнаго, но вѣдь и каждый беспомощный бѣднякъ, мечтающій о богатствѣ, желаетъ тоже невозможнаго; но какъ же сдѣлать, чтобы онъ его не желалъ? Очень можетъ быть, что у нихъ не доставало той спокойной разсудочности и силы характера, которыя даютъ силу переносить вліянія превратности и гадости жизни съ гордымъ величіемъ человѣка, понимающаго, что у него нѣтъ силы измѣнить все то, что стоитъ ему поперекъ дороги и мѣшаетъ ему жить. Но вѣдь оттого, что у человѣка не достаетъ силы переносить тоску, вовсе не слѣдуетъ, чтобы этой тоски не было, и здѣсь рѣчь вовсе не о слабости или силѣ человѣка, а о человѣческой неудовлетворенности. Оттого, что, при извѣстномъ состояніи общественныхъ учреждений и общественной жизни, не удовлетворяющихъ людей болѣе передовыхъ и страстныхъ, является непремѣнно недовольство и тоска, являлись въ средѣ такого общества всегда и люди, которые или умирали преждевременно, наживая себѣ чахотку, или искали удовлетворенія въ разгулѣ, чтобы заглушить хотя чѣмънибудь свое постоянное недовольство. То же недовольство является и въ простомъ народѣ и преимущественно между городскими жителями. Въ сельской жизни неравенство состоянія и общественнаго положенія не поражаетъ такъ сильно, какъ въ жизни городской, гдѣ бѣднякъ встрѣчаетъ на всякомъ шагу роскошь и богатство; гдѣ неравенство положенія даетъ себя чувствовать въ такой

степени, и гдѣ отдѣльная личность подавляется окружающею ее внѣшней жизнью и чувствует свое полное безсиліе измѣнить ее въ свою пользу. Въ деревнѣ, гдѣ нѣтъ ничего,—и желать нечего; но въ городѣ и бѣднякъ хочетъ испытать тѣ радости и наслажденія, которыми пользуется сильный и богатый, или же онъ заливаетъ свое горе, когда не видитъ другого выхода. Эта причина гораздо важнѣе и сильнѣе дѣйствуетъ, чѣмъ думаютъ моралисты, потому что то, что по ихнему называется развратомъ, въ сущности только злоупотребленіе наслажденіями и радостями жизни, ведущее къ разстройству организма. Корреспондентъ «Сѣверной почты», котораго я цитировалъ выше, говоря, что теперь стали пить всѣ, замѣчаетъ: «но вотъ бѣда: пить Русь теперь невесело», и затѣмъ прибавляетъ: «въ самомъ дѣлѣ, что тутъ веселаго, когда отъ чрезмернаго пьянства тратятся даромъ плоды тяжелаго труда, когда гибнетъ явно смыслъ, когда погибаетъ нерѣдко жизнь». Замѣчаніе справедливое, но объясненіе его невѣрно, потому что оно принадлежитъ автору, а не Руси, за которую онъ говоритъ. Если бы авторъ, подмѣтивъ, что Русь пить теперь невесело, спросилъ бы у пьющихъ, отчего они пьютъ и скучаютъ, или вникнулъ бы глубже въ смыслъ того, что онъ говоритъ самъ, то конечно, при искреннемъ желаніи добраться до истины, онъ дошелъ бы до тѣхъ основныхъ элементовъ, изъ которыхъ складывается это «невесело». Описывая пьянство столяровъ и портныхъ, онъ говоритъ вездѣ: рабочіе—столяры, рабочіе—портные,—отчего же рабочіе, а не хозяева? Говоря о рабочихъ—столярахъ, онъ замѣчаетъ, что страшно и омерзительно смотрѣть на ихъ испитыя отъ разврата и пьянства лица. Но отчего же, задавшись мыслию, что всему причиной пьянство и развратъ, онъ не спросилъ себя и другихъ, а что же причиной пьянства и разврата? Между тѣмъ, при маленькомъ умственномъ усиленіи, вопросъ разъяснился бы самъ собой. Извѣстно, что портныхъ, сапожниковъ и фабричныхъ мастеровыхъ укоряютъ въ пьянствѣ наиболѣе. Но отчего пьютъ по преимуществу они, а не кузнецы, плотники, земледѣльцы; отчего пьянствуютъ фабричные рабочіе, но не пьянствуютъ сидѣльцы? Вѣдь не на роду же написано однимъ пить такъ, другимъ иначе. Или, можетъ быть, моду пить ввели только у сапожниковъ и портныхъ? Но извѣстно, что и между кузнецами и земледѣльцами есть тоже запасные пьяницы: отчего же они до сихъ поръ не установили между собою подобной моды? Наконецъ, отчего портные такіе испиты: оттого-ли, что они пьютъ и развратничаютъ, какъ увѣ-

риетъ корреспондентъ, или они оттого пьютъ и развратничаютъ, что они испитые, т. е. люди съ разстроеннымъ здоровьемъ?

Къ сожалѣнiю, статистики пьянства вовсе не существуетъ, и доктора, толкующiе, что пить вредно—что и безъ нихъ извѣстно всѣмъ, не потрудились подумать о томъ, что ихъ обязанность не лечить, а предупреждать болѣзни, и слѣдовательно отыскивать причины разныхъ органическихъ страданiй и указывать на нихъ обществу. Извѣстно, что каждое ремесло создаетъ свои спеціальныя органическiя страданiя. Одно создаетъ чахотку, другое водяную, третье горячку или воспаленiе, при четвертомъ является наибольшее число смертныхъ случаевъ отъ бѣлой горячки. Точно также извѣстно, что мастеровые разныхъ ремеслъ отличаются различнымъ пьянствомъ, и самое большое количество вина пьютъ шоденщики, посильщики, бурлаки и вообще чернорабочiе. Этихъ однихъ фактовъ совершенно достаточно, чтобы придти къ безошибочнымъ соображенiямъ и къ заключенiю о томъ, что тѣ рабочiе пьютъ больше, чей трудъ требуетъ наибольшаго расхода силъ, кто пользуется худшей пищей и находится вообще въ худшемъ матеріальномъ положенiи. Для бѣднаго человѣка, обремененнаго тяжелымъ трудомъ, стаканъ водки вещь совершенно необходимая; она замѣняетъ ему говядину и сообщаетъ энергiю и хорошее расположенiе духа, т. е. создаетъ довольство, котораго ему не достаетъ. А какъ отъ потребленiя къ злоупотребленiю переходъ совершается легко и незамѣтно, то понятно что бѣдный, и голодающiй человѣкъ, найдя такое простое средство создать себѣ хотя временное счастье и довольство, прибѣгаетъ къ нему очень часто и такъ легко дѣлается пьяницей. Кроме того, простой народъ видитъ въ винѣ еще и цѣлебное средство, и при разныхъ мѣстныхъ страданiяхъ и болѣзняхъ, происходящихъ отъ застоевъ крови, прибѣгаетъ къ вину, какъ къ средству, облегчающему эти страданiя. Вотъ почему портные и сапожники по преимуществу пьяницы; здоровье ихъ разстроено отъ жалгiй, и водка для нихъ—лекарство, имѣющее двойную выгоду. Оно уничтожаетъ органическое страданiе и сообщаетъ воображенiю приятное направленiе. Разумѣется, было бы лучше, если бы портные, сапожники и фабричныя напши бы другое средство; но къ сожалѣнiю никакiя радикальныя средства для нихъ невозможны, потому что для этого имъ нужно перестать быть портными, сапожниками и фабричными. И самъ московскiй корреспондентъ В. П. жалуется только на рабочихъ—портныхъ и на рабочихъ—сапожниковъ,—отчего же онъ не жалуется на хозяевъ? Очевидно, оттого, что хо-

злева не пьютъ. А отчего хояева не пьютъ? Разумѣется, оттого, что они не сидятъ цѣлый свой вѣкъ, подогнувъ ноги налачомъ, сжавши грудь, перегнувши желудокъ, и не тревожатся отсутствіемъ своей воли и экономической зависимостью. Сдѣлайте, г. корреспондентъ, всѣхъ рабочихъ хозяевамъ, и вамъ не придется жаловаться на испытія фізіономіи и возмущаться грязью и развратомъ. Но для васъ и для подобныхъ вамъ публицистовъ и общественныхъ дѣятелей такое разсудительное заключеніе совершенно невозможно, потому что вы больше занимаетесь моралью и видите только два средства для излеченія человѣчества отъ всѣхъ его недуговъ: для развитія ума и просвѣщенія народа, поученія — а для нравственнаго воспитанія — полицейскія учрежденія. Думаю, что такое заключеніе слѣдуетъ непременно изъ словъ г. корреспондента, кончающаго свою статью такъ: «Но что же именно дѣлать? Какъ помочь горю? спросать, можетъ быть, нѣкоторые, прочитавъ эту бѣглую замѣтку. На вопросъ этотъ я не отвѣчу, ибо полагаю, что на него должно отвѣтить отнюдь не словами.» А чѣмъ же? Ужъ не собрать-ли всѣхъ пьяницъ и не выпороть-ли ихъ розгами? Но розги, какъ тутъ, такъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ не помогутъ горю: высѣченному будетъ больно, а лучше онъ не сдѣлается, и что мнѣ кажется особенно страннымъ — медоточивость нашихъ провинціальныхъ и столичныхъ публицистовъ почти всегда оканчивается палочной расправой, какъ послѣднимъ и самымъ спасительнымъ средствомъ противъ человѣческихъ заблужденій. Но для пьяницъ и это средство практически было бы непримѣнимо, потому что для исправленія ихъ полицейски-нравственными доводами у насъ не достало бы нашихъ березовыхъ дѣсовъ. Поэтому кто желаетъ понять такое громадное общественное явленіе, какъ русское пьянство, тотъ долженъ посмотреть на него съ другой точки зрѣнія, съ строго-соціальной. Въ этомъ свѣтѣ оно явится не вопросомъ нравственнымъ, какъ утверждаютъ нѣкоторые, противъ котораго можно дѣйствовать исключительно нравственными мѣрами, а вопросомъ экономическимъ, при которомъ нравственныя причины играютъ роль второстепенную. Значить, чтобы дѣйствовать противъ него радикальнымъ образомъ, нужно устранить экономически-соціальныя причины, его создающія. Возможно это — зло исчезнетъ само собой; если же нѣтъ, то останется употреблять или палліативныя средства, или ровно никакихъ, предоставивъ все дѣло тому медленному, но всеизлечивающему теченію истори-

ческой жизни, которое устранило уже много золъ и устранить наконецъ и это.

Изъ экономическо-соціальныхъ причинъ, создающихъ пьянство, самая главная, основная, отъ которой зависятъ всѣ остальные, есть бѣдность и разныя матеріальныя лишенія, т. е. нездоровое, сырое, холодное помѣщеніе, непитательная пища и дурная одежда. Въ прямой связи съ бѣдностью находится физическій трудъ не по силамъ, создающій болѣзни — постоянное физическое страданіе и слѣдовательно, недовольство жизнью. Затѣмъ уже наступаютъ причины нравственнаго порядка—невѣжество, недостатокъ чувства чести, грубость чувствъ и мыслей, способность удовлетворяться только грубыми удовольствіями, нелѣпыя народныя обычаи и празднества, однимъ словомъ все то, что вытекаетъ изъ своеобразнаго народнаго воззрѣнія, созданнаго всѣмъ соціально-экономическимъ складомъ народной жизни.

III.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ само собой, что стремиться къ радикальному уничтоженію пьянства и дѣйствовать на него способами г. В. П. или подобныхъ ему умозрителей, значитъ бесполезно тратить слова и время. При существующихъ общественныхъ условіяхъ нечего и думать о воспитаніи простонародья въ трезвой жизни, и все, что можно сдѣлать, заключается въ созданіи для народа суррогатовъ, которые бы замѣнили его очень грубыя привычки привычками менѣе грубыми. Достигнуть этого теоретическимъ преподаваніемъ народу правилъ вѣжливости и общежитія по учебникамъ г. Золотова, или по прозекту г. В. П., совершенно бесполезно, потому что народъ воспитывается не теоріями, а практикой. Слѣдовательно, если ужъ неизбежно воспитывать народъ въ воздержаніи, и для этого нельзя сдѣлать ничего, что бы могло измѣнить основы его экономически-соціального быта, то единственно практически-полезной мѣрой останется Петровская система воспитанія. А по этой системѣ нужно предпринять преобразование кабака.

Кабакъ въ томъ видѣ, какъ онъ существуетъ, похожъ дѣйствительно на источникъ разврата, чумы и всѣхъ семи смертныхъ грѣховъ. Вѣчные винныя пары, днемъ какіе-то сумерки, вечеромъ мер-

цаніе сальнаго огарка въ туманѣ винной и табачной атмосферы, крики и ругань, разстроенное пиликанье пьянаго скрипача, растрепанныя полупьяныя женщины — все это въ цѣломъ едва ли можетъ служить школой хорошаго тона и великосвѣтскихъ манеръ. А между тѣмъ кабакъ для простонародья вовсе не вертѣль разврата, это его ассамблея, клубъ, танцевальное собраніе, биржа, казино, кондитерская, однимъ словомъ, все—что хотите. Джентельмены въ лайвовыхъ перчаткахъ, заботящіеся о просвѣщеніи народа и его нравственномъ образованіи, услаждаютъ свой досугъ у Дюссо, Береля, Рабона, Доминика, въ Англійскомъ клубѣ, въ дворянскомъ собраніи, въ оперѣ, балетѣ, маскерадѣ; для мужика же все это соединяется въ кабакъ, съ его сивухой и холодными закусками, и ни одинъ джентельменъ и ревнитель народнаго просвѣщенія и народной нравственности не умѣетъ догадаться, что ужъ черезъ-чуръ неравномѣрно, забравъ къ себѣ всѣхъ кондитеровъ, поваровъ, музыкантовъ, оставитъ своего *младшаго брата* при одной сивухѣ съ соленымъ огурцомъ.

Другая ошибка джентельмена въ лайвовыхъ перчаткахъ въ томъ, что онъ добродушно думаетъ, будто бы только у него одного есть экономическія дѣла, торговыя предприятия и тѣ разнообразныя хозяйственно-экономическія отношенія, которыя создаютъ громадное экономическое міровое движеніе съ его промышленными, ослѣпляющими своимъ блескомъ явленіями. Конечно, простолюдинъ во всемъ этомъ не играетъ блистательной роли, но зато онъ похожъ на плотника, создающаго театральныя подмостки, на которыхъ плѣнаетъ публику какойнибудь Ольриджъ. Не будь этого плотника и Ольриджъ, безъ подмостковъ, потерялъ бы часть своей силы. Впрочемъ, по отношенію къ экономическимъ явленіямъ, роль простолюдина гораздо серьезнѣе, чѣмъ роль плотника по отношенію къ Ольриджу. Если она не видна, зато она существенна, и во всякомъ случаѣ экономическія сдѣлки простонародья обнимаютъ такое громадное число лицъ, что даже, при всей несложности этихъ отношеній, не мѣшало бы для сдѣлокъ и переговоровъ, которыя по исконному русскому обычаю, соблюденному повсюду, сопровождаются угощеніемъ, устроить биржу болѣе удобную, чѣмъ нашъ всероссійскій кабакъ. Для всѣхъ коммерческихъ и промышленныхъ людей есть подобныя мѣста; всѣ люди, занимающіеся торговлей и промышленностію, могутъ собираться, чтобы переговорить о нихъ, въ какоенибудь публичное заведеніе, болѣе или менѣе приличной, человѣческой наружности; но двери этихъ заведеній откры-

ты для синихъ кафтановъ и пальто, а сѣрмага отпрапляйся въ кабаки или толкуй о своихъ дѣлахъ на улицѣ. Между тѣмъ этихъ сѣрмэгъ по меньшей мѣрѣ тридцать милліоновъ, и ихъ экономическою дѣятельностью создается все матеріальное благосостояніе остальныхъ людей и та плодородная почва, на которой произрастаютъ матеріалы, производящіе лайковыя перчатки и объды Дюсо. Однимъ словомъ, старшій братъ понимаетъ худо свои дѣла, потому что заставляеть терпѣть брата младшаго, отъ котораго онъ зависитъ, и въ то время, какъ этому брату—въ сѣрмэгѣ хотѣлось бы отдохнуть отъ своихъ утомительныхъ трудовъ, развлечься или усладить свой досугъ чѣмъ нибудь хорошимъ, его братъ—джентельменъ предлагаетъ ему чтеніе сочиненій г. Золотова, а вмѣсто всего того, чѣмъ пользуется самъ, устраиваетъ младшему брату кабаки, который хорошъ только для распространенія холеры, а больше ни для чего. — На послѣднее обстоятельство комитетамъ общественнаго здравія не мѣшало бы обратить серьезное вниманіе; потому что около провинціальныхъ кабаковъ, особенно въ уѣзльныхъ городахъ, скопляются отъ разныхъ разлагающихся жидкостей такіе мазмы, которые безъ всякаго сомнѣнія будутъ способствовать немало усиленію холерной эпидеміи. Замѣчаніе это хотя и сдѣлано между прочимъ, но оно вовсе не маловажно, если только мѣстныя власти будутъ принимать какія нибудь предупредительныя мѣры противъ холеры.

Такимъ образомъ, чтобы уменьшить пьянство, надо стремиться къ тому, чтобы прежде всего поднять матеріальное благосостояніе народа. Всякій шагъ впередъ, сдѣланный въ этомъ направленіи, будетъ самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для уничтоженія этого колоссальнаго нашего безобразія. Пьянство русскаго человѣка находится въ совершенной гармоніи съ его повседневной обстановкой. Въ верхнихъ слояхъ общества напиваются отъ праздности и пустоты жизни, гдѣ недостатокъ нормальной умственной жизни и животное отупѣніе восполняются игрою воображенія, подогрѣваемаго винными парами. Въ этомъ отношеніи наши такъ называемые образованные классы представляютъ образцовое явленіе людей, напивающихся отъ горя и отъ радости, т. е. всякое чрезвычайное впечатлѣніе, поражающее ихъ бездѣятельный мозгъ, сопровождается необходимою прибѣгнути къ насильственнымъ средствамъ, чтобы возстановить равновѣсіе между ихъ внутреннимъ состояніемъ и внѣшнимъ событіемъ. А многіе ищутъ въ винѣ простаго забвенія окружающей ихъ мерзости, того самаго забвенія, котораго про-

силъ Манфредъ у нечистой силы. Въ массѣ то же самое явленіе, но другого характера. Грязь домашней жизни, постоянныя лищенія, холодъ и голодъ и многое множество непопятныхъ намъ и незримо гнетущихъ оскорбленій жизни заставляютъ русскаго человѣка искать искусственнаго облегченія въ кабацѣ. Здѣсь онъ смываетъ всю свою внутреннюю нечисть, подобно тому, какъ въ банѣ, подъ 50° жаромъ стираетъ съ себя наружную грязь. Когда онъ будетъ опрятнѣе, т. е. когда его курная изба будетъ чище, вмѣсто лучины будетъ горѣть свѣчка, когда его пища сдѣлается сытнѣе, одежда теплѣе, когда гнетъ крѣпостной зависимости отодвинется отъ него дальше, тогда и только тогда гг. публицисты, поучающіе моральнымъ совершенствамъ, народъ не будетъ нуждаться въ кабацѣ и самъ, безъ вашихъ холопскихъ книжекъ, примется за образованіе.

А пока было бы хорошо и то, если бы въ видахъ народнаго здоровья, преобразовать нашъ кабакъ и сдѣлать изъ него что нибудь болѣе приличное. Уже онъ нѣсколько разъ былъ на пути къ этому преобразованію, но регламентація и жалобы трактирщиковъ держали его на той степени безобразія, на которой онъ находится и теперъ, такъ что всѣ завоеванія, какія успѣлъ сдѣлать кабакъ, заключаются въ томъ, что онъ можетъ предложить своимъ гостямъ холодныя закуски. Преобразование кабака въ трактиръ тотчасъ же подняло бы уровень народной общественной жизни, и у народа явился бы казино, клубъ, биржа, какихъ онъ до сихъ поръ не имѣлъ и имѣть не могъ, потому что мѣшала регламентація. Если же въ настоящее время, путемъ регламентаціи, будетъ уничтоженъ кабакъ и продажа вина будетъ производиться въ немъ исключительно на выносъ, а распивочная продажа будетъ разрѣшена только въ трактирахъ, то этимъ только осуществится стремленіе народа, и трактиръ превратится въ ассамблею, которой у народа до сихъ поръ не было. Разумѣется, эти ассамблеи нужны не для горькихъ пьяницъ, не для тѣхъ, кто пьетъ запоями, но такихъ и не много, потому что всю массу нашего простонародья, не смотря на то, что они пьютъ при случаѣ неумѣренно, все-таки нельзя считать пьяницами: надъ пьяницами народъ смѣется и слово пьяница считается словомъ браннымъ. Нашимъ народнымъ образователямъ, думающимъ воспитывать народъ книжками и поучительными афоризмами, разсужденіе объ ассамблеяхъ покажется страннымъ; но въ такомъ случаѣ они забываютъ, что ихъ прародители воспитались этимъ путемъ, и не обращаютъ вниманія

на то, что всё ими написанныя книжки не принесли до сихъ поръ никакой пользы, да никогда и не принесутъ. Наконецъ, если заботятся объ ассамблеяхъ и клубахъ для матросовъ и солдатъ, то отчего же не устроить чего нибудь подобнаго для мѣщанъ и для прїѣзжающихъ въ города въ базарные дни крестьянъ, и изгнать наконецъ со свѣта русскій кабакъ, эту гадость, не существующую нигдѣ въ мїрѣ, хуже и омерзительнѣе которой едва ли можно что выдумать. Что у насъ существуетъ кабакъ, въ этомъ виновать не народъ, а его воспитатели и регламентаторы; поэтому имъ теперь и нужно поправить то, что они сами надѣлали.

И. Шелгуновъ.